144

КОНТИНЕНТ

2010 КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№144





Русский богослов о.Георгий Флоровский одну свою статью начинает ссылкой на слова Марка Блока: «Христианство – религия историков». Флоровский обращает внимание на то, что христианство – это прежде всего свидетельство веры в определенные исторические события.

АЛЕКСАНДР КЫРЛЕЖЕВ



В российской тюремной традиции обмануть, обойти дуру-цензуру значило проявить превосходство узника над охраной. «Эзопов язык» в старых тюрьмах России знали все. Советский тюремный «новояз» был гораздо более изощренным. Надо было «не проколоться», прежде всего подчеркивать идеологическую верность режиму и «лично товарищу Сталину». Иначе ты – плохой зэк.

МАРК РОЗОВСКИЙ

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ • 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи **Елены Аксельрод, Марины Кудимовой и Владимира Салимона** • Материалы юбилейной конференции **«К двадцатилетию падения Берлинской стены»** • Статью **Владимира Можегова** об Александре Дугине и эволюции «правой идеи» в постмодерне • Материалы нашей новой рубрики **«Полемика»**

«Дневник редактора» **Игоря Виноградова**, выпуск восьмой
«Мой ответ И. Роднянской, В. Сендерову и С. Белякову»

А также наш постоянный раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»



Моя сегодняшняя тема – человеческий разум, знание и рациональность – то есть, все то, что связано с представлением о человеке разумном. Вопрос о разуме касается многих болезненных точек нашей актуальной ситуации: ситуации культурной, творческой и даже общественной и экономической. Потому что и в этих областях наша цивилизация явно ведет себя не мудро и не осмотрительно.

ОЛЬГА СЕДАКОВА



Поезд, которым ехал я вместе с моими попутчиками, не был обыкновенным, в каких ездят женатые и холостяки, отставные полковники, мелкие коммерсанты и обремененные семейством разведенки. Хотя маршрут был проложен не нами, мы впадали в него, как колесо впадает в колею, как металл – в изложницы, как люди – в судьбы, как литературные и исторические факты – в сочинения автора.

ОЛЬГА КУЧКИНА



Сердечно поздравляем

наших дорогих зарубежных друзей,
бессменных членов редколлегии «Континента»

Эрнст НЕИЗВЕСТНОГО –
с 85-летием

Мишеля ОКУТЮРЬЕ –
с 75-летием

Жорж НИВА –
с 75-летием

А также поздравляем с 70-летием
нашего постоянного автора
политолога **Андрея ПИОНТКОВСКОГО**

Желаем им доброго здоровья, творческих успехов
и многих лет плодотворного сотрудничества
с нашим журналом!

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

144

2010, № 2
апрель — июнь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1
Время работы редакции: 13:00–17:00 по будням

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(499) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
http://continent-rus.ru/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор

Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Александр и Татьяна
СЕРГИЕВСКИЕ
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Елена АКСЕЛЬРОД
...Просто скрывается солнце. *Стихи* 9

Ольга КУЧКИНА
Русский вагон. *Роман* 14

Марина КУДИМОВА
Матчасть. *Стихи* 169

Владимир САЛИМОН
С точки зрения простолюдина. *Стихи* 176

РОССИЯ И МИР

Реквием по стене. К двадцатилетию падения Берлинской стены
Материалы юбилейной конференции Горбачев-форума 181

Владимир МОЖЕГОВ
Ползущий ангел. *Части первая и вторая* 204

Библиографическая служба «Континента»

Проблемы российской современности
в русской сетевой и бумажной периодике
первого квартала 2010 г. 235

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Марк РОЗОВСКИЙ
Семен и Лидия 254

РЕЛИГИЯ

Александр КЫРЛЕЖЕВ
Эсхатологическое измерение христианства 323

Хроника событий религиозной жизни (январь – май 2010 г.)

I. Вождь, духовность, капитал 330
II. Основные события церковной жизни
в зеркале прессы 344

ГНОЗИС

Ольга СЕДАКОВА
В защиту разума 352

Библиографическая служба «Континента»

Философская, социологическая, историософская
и культурологическая мысль России
в русской периодике первого квартала 2010 г. 364

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

К столетию Александра Твардовского (1910 – 1971)

Игорь ВИНОГРАДОВ
Он остался одной из самых светлых личностей в моей жизни... 372

Библиографическая служба «Континента»

Художественная литература
Первый квартал 2010 г...... 391

ПОЛЕМИКА

Ирина РОДНЯНСКАЯ
Россия в прозекторской..... 420

Валерий СЕНДЕРОВ
О «вечевой империи», скверных русских традициях
и небессмысленном бунте..... 429

Сергей БЕЛЯКОВ
Другой России не будет 436

Игорь ВИНОГРАДОВ
ДНЕВНИК РЕДАКТОРА
Выпуск восьмой. Апрель-июнь 2010 г.
Мой ответ И. Роднянской, В. Сендерову и С.Белякову 445

Елена АКСЕЛЬРОД

...ПРОСТО СКРЫВАЕТСЯ СОЛНЦЕ

* * *

Подножки тридцатых, усатых,
И Вдовий с колоннами дом...
Панамка, кофтенка в заплатах.
Горбушку крошу для пернатых
Под маминым чутким крылом.
Июль... Зоопарк ежедневный,
Лишь выйти из круглых ворот.
Там в клетке сова, как на троне,
В тележках кружат королевны,
Звенят колокольцами пони
И маленький принц меня ждет.

В каморке сырой, закопченной
Отец — самый добрый король.
Клубок распускается черный,
Но, может, и помнить зазорно,
Как, послевоенная голь, —
Зубрили мы в классах бесполых
Нехитрую азбуку лжи.
Забудь об уроках, о школах,
О драках, подначках, уколах,
А все ж узелок завяжи...

Победу встречаю на крыше,
Над всей возвышаюсь Москвой,
И мрак фейерверками вышит,
А сам-то в затылок нам дышит
С дороги своей столбовой...

Елена АКСЕЛЬРОД — родилась в Минске. Окончила Московский городской пединститут им. В. Потемкина. Автор восьми поэтических сборников и десяти книг для детей. Постоянный автор «Континента». Последние годы живет в Израиле.

Соседка

Был свет в полнакала, дитя невпопад
И шепотом окрик, и запах карболки.
Над матерью горбился белый халат,
А после — стенанья, толпа, кривотолки...
Отца увели... Тихий бабушкин плач,
Одежка из маминой вытертой шали,
Учителка хмурая, клетки задач
С подругами сходство ей видеть мешали.
Линялые рыбки в трех гранях пруда
На ширме, кренящейся над кушеткой.
Молчком примостилась, присохла беда,
Незваной родней, неотвязной соседкой...
Уйти, отмахнуться, следить, замерев,
За праздником листьев, рябою игрою,
Вбирать голоса предзакатных дерев,
Колючую, всех пережившую хвою.

Холодно

Я озябла... В людях заблудилась.
Кто пригреет чуть, тот и хорош.
Утро, как на свадьбу, нарядилось
В накрахмаленное платье-клеш.
Чьи-то лица в белизне сверкают.
Может, те, чей свет давно угас, —
Ободряют или попрекают —
Слышу голоса, не вижу глаз.
Что теперь о нас, живущих, помнят
Те, кто в снегопаде растворен?
В дом вхожу — как много в доме комнат —
По зиме несущийся вагон
Изнутри согрет и заколдован
Сотней лиц, а впереди — тупик.
Нет юнца, и старца нет седого —
Все равны, едины в этот миг.
У окон, под перекличкой звездной,
Вместе мы потягиваем чай.
Улыбнемся же, пока не поздно
Глянуть друг на друга невзначай.

* * *

Когда мы сквозь холодный тротуар
Почувствуем земное притяженье
И каждый шаг свой ощутим, как дар,
Знак высшей милости в простом движенье,
Когда о руку обопрусь твою,
— А в ней уже не та, былая, сила, —
Я обернусь к последнему жилью
И к первому, что нас благословило.

Когда замедлит бег веретено
И оборвется, истончится пряжа,
И взглянем мы на бледное рядно,
Где углем черным каждая пропажа, —
Осядет все случайное на дно,
Все то, что подлинно, взойдет высоко,
Коль будет это счастье нам дано,
Коль небеса не призовут до срока.

* * *

Горнят, горнят
За лесом, за рекой.
И мне б в отряд,
Мне б затесаться в строй!

Чтоб галстук ал,
Панамка — белый блин,
Чтоб горн позвал —
И все мы, как один.

Я вам кричу,
С кем в сомкнутом строю
Плечом к плечу
В сороковых стою.

Опять горнят,
И мой не слышен зов.
Другой отряд
На все «всегда готов!»

Возвращаясь в Малеевку

Ни просветления, ни забытья.
Помнишь, цвела над оврагом скамья
Ультрамарином... Дрожащий дымок
Прели и тлена стелился у ног,
И восходил холодок не спеша
Кверху, туда, где дремала душа.
Вот и теперь пробирает озноб,
Ладно, не хмурь свой забывчивый лоб.
Скользкою кромкой ползем кое-как,
Лезем на холм, дышит в спину овраг.
А над оврагом скамья, березняк
И государства заносчивый флаг.

* * *

Ф. Я.

День занимался в Мертвом чумном переулке.
Нехотя ночь погружается в Мертвое море.
Меж них наше время —
морозные знойные сутки —
Бочком проскользнуло,
как будто сквозь щелку в заборе.

Хранит нас, не отпускает
брошенный переулок.
Выталкивает, просаливая,
жалостливое море.
Мы рады стараться, хоть, вроде бы, не до шуток —
Пока еще не в Содоме,
пока еще не в Гоморре.

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРЕДЕЛКИНО»

* * *

Ладони розовые елей голубых
Прильнули к липам и не лезут в стих.
Березы крапчатые в небо рвутся,
А пальмы иностранками зовутся,
Как я, надевшая седой парик
И сросшаяся с ним, со стопкой книг,

Где силилась другою оказаться,
А та же все — что семьдесят, что двадцать —
Среди берез — немолчных богомолок,
Лохматых пальм и старящихся елок
И среди вас, исчезнувших давно
Там, где неведомо, там, где темно.

* * *

Меркнет зрение, сила моя...
Арсений Тарковский

1

Когда на глаза
падает черный покров,
не надо пугаться — просто скрывается солнце,
просто в горах
семейство овец пасется,
просто клубится шерсть
заждавшихся облаков.

Когда в закрытых глазах
игры белых овец,
не надо пугаться —
солнце сквозь тучи брезжит.
И если слегка обжигает, колет и режет,
не надо пугаться — это еще не конец.

2

Я завтра обязательно проснусь,
а все ж сегодня говорю: Покуда!
Спокойной ночи!.. В плед свой завернусь,
услышу: в кухне тренькает посуда
и на прогулку пес тебя зовет.
Придешь, опустишь на окне гардину,
и жизнь наружную она сотрет,
такая ж верная, как чай вечерний,
как думка, подпирающая спину,
когда листаю книгу перед сном,
как мрак, который с каждым Божьим днем
все невозможней, глубже и безмерней.

От редакции

Продолжаем нашу новую традицию* представлять читателям «Континента» тексты, печатаемые в «Литературной гостиной». На этот раз мы попросили помочь нам в этом Леонида Зорина, чьим вступительным словом к роману Ольги Кучкиной «Русский вагон» мы и предваряем публикацию этой сатирически-реалистической фантасмагории:

«Новый роман Ольги Кучкиной "Русский вагон", прежде всего, интересно читать.

Есть захватывающий сюжет, есть повествователь, полуреалистическое-полуфантастическое лицо, есть жанр путешествия — вслед за Гоголем и Радищевым, — дающий возможность, по слову поэта, "привлечь к себе любовь пространства". Перед нами как бы листки из альбома, а не огромное полотно, хотя на круг полотно и выходит.

Путешествие по железной дороге через всю страну дает возможность увидеть срезы и образы современной России. Языковая палитра автора богата самыми разными многоцветными красками — достоинство редкое и примечательное».

---

* См. Вступительную заметку к рубрике «Литературная гостиная» в № 142 «Континента».

Ольга КУЧКИНА — родилась в Москве. Окончила Факультет журналистики МГУ. Работает обозревателем в «Комсомольской правде». Стихи и проза печатались в «Арионе», «Звезде», «Знамени», «Дружбе народов», «Континенте», «Новом мире», «Октябре» и др. Автор шести прозаических и трех поэтических книг, десяти пьес, а также нескольких сборников интервью и публицистики. Живет в Москве.

Ольга КУЧКИНА

РУССКИЙ ВАГОН

Роман

> В коротких, но определительных словах изъяснял, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии промыслов и разнообразия почв...
>
> *Н. В. Гоголь*

1

Бурый шар солнца, прорвавший небесную холстину, всю в белесых лохмотьях, застыл там, в высоте, в своих владеньях. Постояв немного, не обогревая, да почти что и не освещая землю, буряк снова скрылся, укрывшись обесцвеченной ветошью, и уж больше не показывался. Россия лежала, заброшенная, дебелая, с холмами грудей, какая-никакая-всякая, скучно раскинув свои телеса под нависшим скучным небом. Вот-вот должен был пойти снег.

Крис, люби меня, Крис!

Крис, зачем ты так, Крис, не покидай меня!

Будь ты проклят, Крис!

Между этими восклицательными знаками, знаками восклицаний, знаковыми восклицаниями — жизнь.

Либо ее фрагмент.

Либо одно мгновение.

Как считать.

Можно было бы подумать, что это из младшего Тарковского.

Но это не было из него, просто имя одинаковое: Крис.

Было — из меня.

Всплыло и торчало. Так всплывает коряга в текучей речной воде и торчит независимо, манит загадочной загадкой, не исчезая. Там — зримо. Тут незримо и неслышимо. А повторяется с регулярной настойчивостью. В голове звенит? Если бы в одной голове! В проживаемой реальности. Хотя что такое реальность? Кто ее знает? Кто знает самого себя? А если и вовсе неизвестно, откуда ты родом, как и когда заявился на белый свет и почему к тебе так прилипчивы женщины и

мужчины, и что означают твои деяния, и с какой, в конце концов, целью ты действуешь?

Скучный пейзаж примагничивается к тебе с такой силой, что не может не быть родным, и что-то замирает у тебя в районе средостения, и ты, с какого бодуна, как говорят здесь, сопливым мальчонкой себя ощущаешь и ощущаешь, как ни с того, ни с сего мокреют твои давно сухие глаза. Что за сантименты, ровно почки на весеннем дереве, выстрелили в этой поездке, а ведь зима, зима, сдается, что круглый год зима и нет ничего в этом мире, кроме зимы. Я не первый раз в этих широтах. Но всегда было коротко. Сейчас длинно. Всегда набито делами. Сейчас образовалось время ощущать и чувствовать

Крис, где ты, Крис? Не покидай меня!

Будь проклят, Крис!

На заснеженных станционных часах пробило четыре. Снег летел параллельно земле. *Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным.* Чужое попервоначалу всплыло, как та коряга, и торчит присвоенным, как родное.

Белой пудрой припорашивало и без того похожую на белую моль девицу на билборде, кулачком подпиравшую бесцветное личико, с капризным призывом: *Dessange, создай мне настроение!* Какой, к бесу, Дессанж, как попал сюда рекламный щит, не совместимый ни с чем в этой глухомани, где в длину проживало точным счетом две тысячи семьсот восемьдесят пять особей и в ширину столько же?

Пора было загружаться. Попутчики, галдя, как вороны, несмешно перешучиваясь и натужно пересмеиваясь, покидали перрон. Тут были *звезды* и *звездочки*, как они сами себя именовали, знакомые населению по ТВ и знакомые только своих знакомых, *элита* и граждане попроще, они и заходили с платформы в вагон по-разному, кто деловито, обыкновенно, ничем таким не заморачиваясь; кто, не забывая демонстрировать себя даже и впотьмах, старательно откинув плечики и держа спинку, не стирая с лица клейкой улыбки; кто, съежившись, стараясь проскользнуть поскорее и понезаметнее, чтобы не помешать следующим, так же, как, старательно съежившись, проводили они годы и годы своей незадачливой биографии, тоже по привычке, но прямо обратной демонстрантам; кто по-хозяйски солидно и неторопливо, с благоприобретенной размеренностью и выработавшейся привычкой нести голову, точно дорогой глиняный жбан, с непременным видом покровительства, уверенно занимая свое место наверху иерархии, где другие занимали внизу.

Я поднялся последним.

Купе было пусто. Очевидно, сосед сразу завалился в чье-то другое, и я знал, в чье.

Я отодвинул синюю шелковую занавеску, хотелось сказать, синий шелковый занавес, и принялся смотреть в вагонное окно.

За чистейшим стеклом тронулись и поползли унылые пристанционные постройки, чахлые деревья, дальняя дорога, по которой передвигались игрушечные автомобильчики, жилое скоро стало пропадать, уступая нежилому, и вот уже одна беспредельная снежная равнина заняла господствующее положение, но все же попадались редкие далекие избы, в которых вспыхивали желтые огоньки, отдельные водонапорные башни и шахтные сооружения, и сумеречное серое небо сомкнулось с сумеречными серыми снегами.

Покинув Ушумун, двинулись к Тыгде. Как интересно расположилось название: Ты где?

Обычный поезд делает в Ушумуне трехминутную остановку. Наш, шедший вне расписания, стоял минут двадцать, все хотели и успели размяться, закупить соленых огурцов и кислой капусты у бабок в толстых платках, понабежавших к путешествующим пассажирам, дабы с обменом произведенного скудного продукта на скудную денежку продлить свое нищее захолустное существование, а поболтать с бабками за жизнь или просто благотворительно поддержать их небольшими финансами входило в перечень занятий путешествующих. Те останутся, а эти, слава Богу, пообщавшись с народом и добыв очередной классической закуси для очередной классической выпивки, поедут дальше, ближе и ближе к дому, туда, где их настоящая жизнь, а это всего лишь эпизод, потому в охотку, и забудут они в ближайшем будущем и этих бабок с их искательным, недоверчивым и обвыкшимся ко всему взглядом, и эту местность, а представить, что твоя настоящая жизнь — ихняя, то и твой собственный взгляд навсегда поменяет выражение.

Одна бабка привлекла отдельно мое внимание. Не сама бабка, а бабкины руки. Без перчаток, красные, кожа сморщенная, загрубевшая, как и полагается в ее возрасте и социальном положении, однако пальцы такой совершенной формы, что странно было для старухи, длинные и, я бы даже сказал, изящные. Я купил у нее четыре горячих картофелины, и пока она передавала мне кулечек, а потом рылась в кармане поношенного зимнего пальто, чтобы найти сдачу с моих пятидесяти рублей, я все смотрел на ее длинные пальцы и узкую ладонь. И лицо у нее было узкое, с правильными чертами и высоким, хоть уже и сильно немолодым лбом. Что-то она мычала себе под нос. Прислушавшись, я скорее догадался, чем понял, что она напевает старую большевистскую песенку *Штормовые ночи Спасска, Волочаевские дни...*

— Как звать вас, бабушка? — неожиданно для себя спросил я.

— Мария Николаевна, — не стала чиниться она.

— А фамилия у вас какая? — задал я еще более неуместный вопрос.

— А фамилия Волконская, — последовал ответ.

— Вы что же, из известных Волконских будете? — глупая ирония неконтролируемо окрасила мою интонацию.

— Да не буду, а была уже, — ничуть не смешалась старуха. — Тут, в Сибири, разные ветки ветвились, одно обрубали, другожды не отрубили.

— Сдачи не надо, — так же глупо бросил я.

— Надо, — усмехнулась старуха и протянула три десятки, зажатые между длинным средним и длинным указательным пальцами.

Жест был непрост.

Я взял.

Ступив на площадку тамбура, оглянулся.

Старухи на платформе убирали товар в давно отжившие свое клеенчатые сумки. Прямо позади Марии Николаевны Волконской похожая на белую моль девица по-прежнему просила Дессанжа создать ей настроение.

Было впору к ней присоединиться.

Физика этой земли насквозь была пронизана метафизикой. Все здесь переплелось, как переплетаются земляные корни могучих деревь: география с историей, верх с низом, родовитость с безродностью, образование с невежеством, вера с безверием, убожество с роскошеством, грязь с чистотой, обман с честностью, искренность с лицемерием, совесть с бессовестностью, простодушие с изворотливостью, глубина с поверхностностью, мужество с трусостью, доброта с жестокостью, подозрительность с наивностью, здоровье с болезнью, мастерство с халтурой, удача с неудачей, умные с дураками. Все на пике противоречий в разных углах общежития, в разном образе жизни, в разных натурах, а то и, случалось, все в одном. Но это уж такой *коктейль Молотова*, что Боже ты мой!

Бережно стучали колеса на стыках рельсов, рессоры нового поколения обеспечивали бережность, а все равно вспоминалась байка про колесный стук, будто и впрямь *пи эр в квадрате*, описывающий окружность, содержал в себе квадрат.

Проводник Саша, вышколенный или сам по себе утонченный, похожий в своей безукоризненно белой рубашке с черным галстуком на стюарда, капитана и наследного принца одновременно, читающий во всякую свободную минуту *Опыты* Монтеня, постучал: вам ничего не нужно? Мне ничего не было нужно.

Сидя у окна, уставившись в быстро темнеющие за ним виды, боролся я с самим собой, как бывало это в ранней молодости и притупилось

с возрастом. Мировая печаль с русской печалью слившись, слипшись воедино, свалились на меня, как тяжелый чемодан сваливается из сетки, и придавили неслабо. Я чувствовал себя Онегиным, Печориным, Рудиным, Обломовым, князем Андреем попеременно и вместе. Прелестные образы русской литературы именно что прельщали, никаким не объяснением, нет, колдовским касанием к глубоко спрятанному, как спрятаны в этой земле руды и алмазы. И этим не кончилось. Этим началось. Век сменился нечувствительно, от Бродского перешло к Солженицыну, а там и до Пелевина с Улицкой рукой подать. Интересно, думал я, отчего в позапрошлом столетии прельстительны образы, а в только что минувшем и во вновь наступившем — авторы без образов, то есть безобразные авторы? Не хозяин я был воображению своему.

Я надвинул на лоб шляпу и закрыл глаза. Пусть сосед, когда появится, думает, что человек задремал.

Я не снимал своей черной шляпы. Лишь выключив освещение и растянувшись на удобной, не в пример стандартным, полутораспальной вагонной полке, которую и полкой язык не поворачивался назвать из-за ее сугубой комфортности. Можно бы подумать, что я лыс или кому-то подражаю. Но я не лыс и никому не подражаю. Разрешили бы, — я бы натянул на голову камуфляжную маску с прорезью для глаз. Шутка. Они тут то и знай натягивали. Во всех сериалах, во всех новостных программах. Напротив меня на стене располагалась цифровая панель, я включал ее и поглядывал изредка, как я всегда делал, наезжая в Москву. Включал ее — включало тебя. Но Москва — не Россия. Эта поездка отличалась от всего, что происходило раньше. Получив — предложение? совет? завет? — проехаться по России, я и не подозревал, какой выброс гормонов ждет меня.

Только волей пославшего мя...

— Вы спите? — прозвенел голосок-колокольчик.

Не было нужды открывать глаз, чтоб узнать, кому он принадлежит. Человеку с музыкальным слухом, как у меня, легко определить звучание в оркестре альта или скрипки, валторны или кларнета. Несколько дней пути ознакомили меня со всей вагонной партитурой.

Небольшого росточка, широконькая в плечах, талии и бедрах, она была бы похожа на подростка, если б не значительная грудь, туго натягивавшая не одну трикотажную майку, а и телогрейку тоже. Еще она напоминала отчасти комод, но это был до чрезвычайности симпатичный комодик.

— Я не сплю, Маня.

— Тогда откройте глаза.

— Зачем? Я вас и так чувствую.

— Я хотела с вами посидеть, но если вы...

— Что если я?

— Если вы предпочитаете меня чувствовать, а не видеть...

Значит, она покинула купе вкупе с оставшимся там Пенкиным.

Я открыл глаза:

— Сядьте. Вы покраснели и сейчас убежите, а я хочу того же самого.

Маня была в привычной майке, на ногах привычные белые кроссовки, на щеках вспыхнувший румянец. Он вспыхивал частенько. Ее тонкая свежая кожа была подвержена румянцу, как бывает подвержено ему яблоко, получающее свой цвет непосредственно от солнца. Из всех эпитетов, сочиненных мною про нее — про себя, — больше всех подходил: *солнечная*. Аппетитная ямочка на подбородке, губки бантиком, зубки чистый рафинад, короткий прямой нос, неожиданно вздернутый на кончике, высокие скулы, длинная рыжая челка до омутных зеленых глаз, рыжий цвет такой интенсивности, о каком говорят: поднеси спичку, загорится. Она вся светилась, и я любовался ею скрытно, из-под полей шляпы, как любуются ребенком. Да она и была им. Лет ей от рождения стукнуло то ли девятнадцать, то ли двадцать.

— Чтобы вы посидели рядом со мной, — закончил я предыдущую мысль.

— Что? — переспросила рассеянно Маня.

— Я сказал, что хочу, чтобы вы посидели возле, — повторил я.

Упрямая девчонка села не возле, а напротив, в кожаное кресло, уперлась кроссовками в край и прижала колени к подбородку, спрятав таким образом выдающиеся груди и вовсе превращаясь в подростка.

— Хотите картошки? — спросил я. — У меня есть горячая. И красное вино.

— Под горячую картошку идет водочка, а не вино, — со знанием дела проговорила Маня и опять заалела.

— Водки у меня нет, — честно признался я.

— У нас есть, — расщедрилась она. — Я принесу.

Расставила руки, как крылья, сделала *ж-ж-ж* и полетела, как маленький самолетик, комод-самолет, только я ее и видел, столько в ней было горючего.

Я успел прикрыть глаза до прибытия соседа.

Я делил купе с известным московским журналистом Пенкиным. Он был уже мертвецки пьян, что было заметно по исключительной прямизне позвоночника, заданной механистичности движений и криво сфокусированному взгляду из-под круглых старомодных очочков — последний писк московской моды.

— Есть выпить? — спросил Пенкин, умудряясь грохнуться в мягкое кресло, как в жесткое, складно складываясь в нем всеми своими несоразмерными членами.

— Есть красное вино, — отозвался я.

— Какое? — спросил Пенкин.

— *Ахашени*, — назвал я.

— О! — с уважением поднял палец вверх Пенкин. — Кому нужен этот морс! А покрепче?

— Покрепче нету, — признался я.

— Слушайте, — придвинулся ко мне вместе с креслом Пенкин. — Вы голубой?

— Нет. А что? Почему вы решили?

— Пьете вино, а водки нет.

— А у вас есть?

— У меня тоже нет.

— Стало быть, вы тоже голубой?

— Уважаю логику, — поднял вверх указательный палец Пенкин. — Я все выпил, и теперь до следующей остановки в большом городе. А вы не выпивали. Я наблюдал за вами.

— Профессионал.

— Вы?

— Вы.

— В смысле выпивки?

— В смысле наблюдения.

— Это правда. Разбуди меня на рассвете, о моя терпеливая мать, после самой эксклюзивной поддачи, я, как стеклышко, пойду в бой и победю. Побеждю. Побежду.

— Сейчас придет Маня, — сообщил я Пенкину. — Вы не могли бы пойти поспрашивать водки у других коллег?

— Не мог, — вздохнул Пенкин. — Мог бы только лечь и умереть. То есть уснуть мертвым сном. Если вас это устроит. Но перед смертью я про-де... про-де... про-де-кларирую... то есть продемо... ну, неважно... свою логику. Значит, Маня, оставив нас с Ваней, отправилась к вам. Мы выпили всю водку, и я пошел по каютам интересоваться, у кого есть еще. Маня попалась мне по дороге. Если она собиралась к вам вернуться, значит, пошла за чем-то. Один вариант — пописать. Другой — за бутылкой. Но бутылки больше нет. На что вам Маня? — неожиданно закончил он свою речь вопросом.

— Именно так вы проводите ваши расследования? — спросил я, в свою очередь.

— Угадали, умник.

Явное пренебрежение, с каким Пенкин относился к своей известности, уравновешивалось тайным тщеславием, так же, как семитские черты физиономии и фигуры уравновешивались антисемитскими. Широкие бедра и неширокие плечи, выпирающие ключицы и небольшой мешок живота, круглые выпуклые глаза и впалые щеки, нос репой и шишковатый лоб, растительность на голове, еще недавно густая, как щетка, внезапно начала катастрофически редеть. За время пути мелких знаний о нем набралось с достатком, люди охотно сплетничают о себе подобных — и не всегда из злонамеренности, а *так*. Народ знал героя, поскольку, помимо работы в скандальной газете, он вел маленькую злую программку на ТВ, где разоблачал всех и вся, беря деньги за услугу, что покажет клиента на экране, и за услугу, что не покажет. В правой шишке лба у него содержались правые взгляды, в левой — левые. В письменных и устных выступлениях все мешалось в клубок: либеральное, демократическое, социалистическое, державное. Его книга *Тайный советник президента* прошумела, как шумит жестяным звуком оливковая ветвь под напором ветра. Ветер составляли мнения. Пылкие, восхищенные, раздраженные, уничижительные, обескураживающие. В своем сочинении Пенкин расследовал тайны режима в оригинальной форме любовных записок президенту. Пенкина возносили и Пенкина уничтожали. Зависело от тусовок, где преобладали те или иные юристы, экономисты, журналисты, политологи, политтехнологи, обслуживающие власть и оппозиционные к ней. У Пенкина хватало цинизма радоваться ругани больше, чем похвале. Оливки в этом контексте также не сбоку припека. Оливковая ветвь мира была тайным посланием Пенкина адресату. Тексты, издевательские по тону, на самом деле содержали глубоко скрытую мольбу обратить внимание на государственный ум корреспондента, не оставлявшего камня на камне от строящейся начальством башни и в то же время сведущего в том, как уложить камни правильно, то есть призыв использовать пенкинской гос. ум в гос. нуждах. Вольтер и Екатерина — вот модель, страстно влекшая Пенкина, вот на что он готов был голову положить, но только войти в историю.

Кабы не пьянка.

Началось еще в пору его жизни в балете. Мальчик-ростовчанин был балетоман. Прекрасное едва не убило его. От ножки, битой другой быстрой ножкой, мужской ли, женской, без разницы, он едва не терял сознание, настолько тонка была его душевная структура. Мама станет звонить из Ростова в Москву: Пенкин, ты ведь и не ешь, небось? У них в семье завклубом и завскладом звали друг друга по фамилиям. Так же происходило в общей семье народов. Разумеется, если

речь шла о значащих персонажах: Ленин, Сталин, Гамзатов, Айтматов. Завклубом, завскладом и их ребенок значили друг для друга. С незапамятных времен Одесса-мама и Ростов-папа поставляли интересный человеческий материал в столицу. Поставки Одессы кончились примерно на Жванецком. Поставки Ростова — на Пенкине. Он, и правда, в столице почти не ел, тратя все деньги на билеты в Большой. Трепещущий, сидел с потными ладонями, отбивая их по окончании спектакля в нескончаемых овациях. Быстро разобрался в балетных партиях как на сцене, так и за сценой, примкнул к одной, затем к противоположной, хватило дерзости и способностей выступить в печати, сделал себе небольшое имя, после побольше, после еще побольше. Каботинская среда требовала малой толики алкоголя. Начав с малой, перешел к немалой. Поточив перо, принялся выпускать самиздатский балетный журнал, написанный двумя перьями, его и еще одного его друга. Подвергся преследованиям. Заложил друга. Тот спасся от репрессий тем, что погиб, попав под машину. Этот выкрутился, *закрутив фуэте* не хуже признанных солистов Большого. Но попивать стал серьезнее. Остыл в области балета, разгорячился в области политики. Сделал другой самиздатский общественно-политический журнал, вдвоем с другим другом. История повторилась один к одному: небольшие репресссии — сдача друга — новое восхождение. Похоже, было не выбраться из *фуэте,* крученных судьбой. А что такое судьба? Характер. Поражало, что репутация инакомыслящего при этом худо-бедно сохранялась. Некие слухи ходили, да мало ли что где ходит. Чай, не гений, который якобы несовместим со злодейством, всего лишь талант. А талант, как показывает опыт, совместим с чем угодно. Какие-то чистюли все же им брезговали, однако помалкивали, — делая вид, что якобы из чувства брезгливости.

На подходе была либеральная эпоха. За ней последовала антилиберальная. Пенкин и там, и там был тут как тут.

Пьянка, в которой он отводил все более и более неудовлетворенную душу, все более и более разрушала его ординарный талант. Он сознавал, что разрушается. Два спринтера мчались в нем наперегонки, и неизвестно было, кто быстрее достигнет цели: неуемное ли честолюбие или алкоголь.

Маня задерживалась.

Моя способность к экстраполяции помалкивала, вызвать искусственно ее я не мог, но я и без нее уже все, что нужно, о нем знал.

— Я прочел вашу книгу, — сказал я.

— Да что вы! — насмешливо восхитился Пенкин. — И что скажете?

— Предпочитаете лесть или честность? — поинтересовался я.

— Валяйте, — высокомерно дал он мне карт-бланш.

Ну я и навалял.

— Знаете, в чем разница между русскими и американцами? — спросил я.

— Ну-ну! — подбодрил он меня по-прежнему свысока.

— Мы во всем подобны, и только одна-единственная разница: нам легче всего сказать правду, а вам солгать. Иногда вы простодушны и лжете, как дети, без всякого личного интереса, но иногда коварны и лжете из неутоляемой личной корысти...

Ирония сползла с его лица, как разбитые яйца, изготовившись в яичницу, сползают со сковородки, обнажая металл.

— Оставим общие места... — очевидно сосредоточился он. — Насколько я понял, ты обвиняешь меня в том, что я умственная проститутка...

Я не успел похвалить его за сообразительность, как он ударил меня в грудную клетку левой. Что он был левша, я знал. Хорошо, что левша, иначе удар пришелся бы не в правую, а в левую часть груди, а у меня последние дни пошаливало сердце. Видимо, по этой причине я был не совсем собран. Я не ожидал, что пьяный так быстро восстанет из мягкого кресла и сгруппируется, и не успел сгруппироваться сам. Следующий удар я получил по физиономии. Но и он получил такой же. Мы схватились в полуобъятии, и я первым вмазал ему коленом промеж ног, как учат во всех школах выживания. Он взвыл. Круглые очочки свалились с мясистого носа, я не совсем непреднамеренно раздавил их каблуком ботинка.

— Вы с ума сошли! — прозвенел голосок-колокольчик.

Симпатичный комодик храбро втиснулся третьим лишним между двумя мебелями. Не драться же с девушкой под рукой. Остывая, мы плюхнулись, он в кресло, я к себе на полку.

— Что случилось? — строго потребовала объяснения Маня.

— Русско-американский коллоквиум, — дал я требуемое объяснение.

Я обратил внимание, что она пришла с пустыми руками. А между тем был тот редкий случай, когда я бы охотно сделал хороший глоток крепкого спиртного.

— Я тебе этого не забуду, — пообещал Пенкин, закрепляя дружеское *ты*.

Он с трудом поднялся и великодушно оставил нас с Маней вдвоем.

— Так что у вас случилось? — не удовлетворилась моим объяснением милая молодая женщина, сопровождая потерпевшего бойца взглядом, исполненным соболезнования.

— Дискуссия, я же сказал.

— А тема?

— Творчество господина Пенкина.

— Нашли, о чем дискутировать, — вздохнула Маня. — Здесь нельзя ни с кем ни о чем подобном и заикнуться. Иначе к концу поездки будет сплошная инвалидная команда.

— Вы не шли, а время шло, — пожаловался я.

— Я искала водку, — попыталась оправдаться она. — Ту, что была у нас, Пенкин с Ваней вылакали. В общем, все, чем затарились в Белогорске, вагон заглотнул.

— А до того, чем затарились во Владивостоке, Хабаровске, Облучье...

— Что делать, рашен привычка... — засмеялась Маня.

— Рашен вопрос... — подхватил я. — И картошка остыла...

— А давайте, я вам холодной картошки к фингалу приложу! — предложила Маня.

Я чувствовал, как наливается фингал, но не ведал, что для облегчения участи можно использовать холодную картошку.

— Я и сам кудесник, а такого рецепта не знал, — признался я.

— У меня бабка так делала, — поделилась прошлым Маня.

— Деда целила?

— Меня. До чего ж я драчливая была в детстве!

Прохладные пальчики коснулись моей щеки.

— Я готов быть битым каждый день, если вы будете меня целить, — галантно произнес я.

— Фи, как старомодно, — поморщилась Маня.

— Вы предпочитаете новую моду в отношениях? — осведомился я.

— Если честно, — Маня тряхнула челкой, — я предпочитаю смесь и свободный выбор, чтобы ни ограждений, ни правил, ни колючей проволоки, а легко и играючи, печально и весело, чтобы кустом росло во все стороны, а не вычислялось по линейке, чтобы путаница-перепутаница, и чтобы ямщик лихой, лихая тройка, и над розовым морем чтоб вставала луна, а в воде холодела бутылка вина, и вдаль чтобы и ввысь, и босиком в теплой летней дорожной пыли, и чтобы луг, и жара, и бух в озеро, русалкой в воде и под водой, хотя какая из меня русалка, такая толстуха...

Ее нахмуренное личико было совсем рядом с моим. Не почему-либо, а потому, что она старательно прикладывала к моей битой морде холодную картошку и хмурилась от своей старательности.

Я взял ее пальчики в свои, картофель отвалился сам собою, и почти отечески поцеловал прямо в губы.

Я не собирался этого делать. У меня и дальнего расчета на это не было, не то, что ближнего. Я привык осторожничать с женщинами, тем более столь юными. Так вышло. Невозможно было не развязать своим ртом бантик ее рта, не попробовать кончиком языка сладкий рафинад ее зубов, когда они были совсем рядом с моими. Я просто не сдержался.

— Я бы дала вам пощечину, но вы уже получили свое сегодня, — проговорила Маня, с трудом от меня оторвавшись.

В который раз я оценил ее чувство юмора.

— Перейдем на *ты,* — предложил я шутливо. — После того, что случилось между нами... Вот и с Пенкиным мы перешли.

Комодик выдвинулся в коридор и исчез из моего поля зрения.

Оставшись один, я рассмеялся. Говорят, что мужчины не любят ушами. Они любят глазами. Я был и то, и другое. Неловко сказано, да и про любовь заявлено смело, но пусть уж останется как есть.

Собрав с пола рассыпавшуюся картошку, я ни с того, ни с сего сунул ее в рот.

Накатило с маху и, как всегда, без предупреждения. То, что я называл экстраполяцией, не было никаким умственным актом, а чем-то вроде внезапного внутреннего преображения. Интуиция ли срабатывала, род воображения или перевоплощения, не знаю. Подобная резкая смена кадра случалась со мной нечасто, но не столь уж и редко, а я все не научился приуготовляться к ней. Голова у меня закружилась, следовало сделать усилие, чтобы овладеть собой, да в том и штука, что оно было не в моей власти. Как в калейдоскопе, складывались стекляшки, голубые, белые, красные, только не цветок выходил, а замороженные картинки, похожие на исцарапанный целлулоид старого кино, где голубая мерзлая поленница дров в полуразрушенном сарае, мимо которого медленно плыл наш поезд, превращалась в очертания заиндевелых, смерзшихся человеческих тел, с натекшими когда-то и превратившимися в лед лужицами крови, буденовки на них указывали на принадлежность к красным, а в следующем сарае, набитом такой же голубой поленницей дров-трупов, фуражки с околышами выдавали белых, и мать моя лежала на печи, из которой сто лет назад выдуло остатки жара, выношенное до дыр одеяло сползло с нее наполовину, бесстыдно оголив голубые ноги, и она не поправляла, потому что была уже неживая и не заботилась о том, чтобы мы, дети, не видели ее исхудалых голубых ног, похожих на палки, тем более что и дети были неживые и шли другие поезда, везя окровавленных раненных в тыл, где было хуже фронта, потому что фронт хоть как-то обеспечивали кормежкой, а тыл нет, тыл сам должен был помогать фронту,

где за Родину и за Сталина смертью храбрых пали на поле боя сотни тысяч людей, превратившись в сотни тысяч мертвых трупов, и Маня Волконская, Мария Николаевна, что ребенком, что подростком, в толк не могла взять, от кого и как родятся в СССР дети, когда народ в массе своей погиб, когда и украденный с полей страны хлебный колосок не мог спасти, потому что вместо зерна поля были засеяны мертвецами, и так и шло, так и шло, сперва понавыпадало прабабкам и бабкам, а после подступилось к наследницам всего, чем наследила русская история.

Свойство, каким я был наделен, или состояние, в какое входил сам по себе, даровано мне было даром. Уминая картошку с пола, я был нелогично сначала дитем, а потом братиком Мани Волконской там, где в холодной избе выскребали оловянной ложкой остатки каши из оловянной миски, хлебали из нее же пустой суп, а пролив по неуклюжести или слабости рук, отсасывали с липкой клеенки до последнего взасоса. Разница заключалась в том, что вековая грязь с клеенки не отмывалась, а пол в вагоне, покрытый качественным ламинатом, мыли с шампунем дважды в сутки, так что мы с моей Маней были в фактической безопасности, а Маня Волконская и я лизали заразу, и если не заболевали смертельно, то исключительно из-за привычки к заразе и грязи, хотя другие-то братья и сестры перемерли.

К слову, моя Маня — выражение фигуральное.

Моей она не была не могла быть.

Она была Ваниной.

Напевая новорожденной Мане Волконской вместо колыбельной песню *Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни,* ее мать, а наша бабка вспоминала, как она, голоштанная беднота, захудалый род, боком из ссыльных декабристов, отбывавших срок в Читинском остроге, выходила замуж за подобного себе, из захудалых ссыльных, проживая в отдельной Дальневосточной Республике, со столицей сперва в Чите, потом в Верхнеудинске, будучи всей душой против братьев Меркуловых, ставленников враждебной Японии, как заклеймит их *Большая Советская энциклопедия*, крупных буржуазных собственников и спекулянтов, перехвативших власть у большевиков и образовавших Временное Приамурское правительство, зато всей душой за большевиков, когда те выковыряли Меркуловых из правительственных кресел, а сами в них забрались по новой. Большевики писали на кумачовых лозунгах близкое: про хлеб, про землю и фабрики, которые отныне будут в ведении народа, про сытую жизнь, которая вот-вот нагрянет, и бабка, дурочка, с такими же длинными пальцами и узким лицом, как у Мани, поверила и родила, помимо Мани, еще пятерых, и все пя-

теро, включая меня, последыша, перемерли, а за малыми перемерли большие, знакомые и незнакомые, ни земли, ни хлеба так и не дождавшись, и бабка тоже померла, оставив Маню сиротой-одинешенькой. Власть, однако, о Мане позаботилась. Как и о других трудящихся ДВР. По их просьбе ДВР присоединили к СССР, Маню наладили на учебу швеей-мотористкой, определив в общежитие, и во всю жизнь она не проронила ни слезинки, сколько бы бед на ее долю ни выпало, и выжила лишь потому, что, невзирая на все пляски смерти вокруг да около, из последних сил училась и научилась выживать. Русские женщины, спаси их, Господь, и помилуй.

Штормовые ночи Спасска, Волочаевские дни.

У нас в маршруте были и Чита, и Верхнеудинск, переименованный в Улан-Удэ, и еще около полутора сотен городов и городков заснеженной России, и названия их волновали меня до одури.

Я вытащил из кейса старенький IBM и нажал кнопку включения.

2

Поезд, каким ехал я вместе с моими попутчиками, не был обыкновенным, в каких ездят женатые и холостяки, отставные полковники и капитаны, мелкие коммерсанты и обремененные семейством разведенки либо вдовы. Хотя маршрут был проложен не нами, мы впадали в него, как колесо впадает в колею, как металл — в изложницы, как люди — в судьбы, как литературные и исторические факты — в сочинения автора, но еще более Автора.

Владивосток — Угольная — Уссурийск — Озерная Падь — Сибирцево — Мучная — Спасск-Дальний — Шмаковка — Ружино — Дальнереченск 1 — Губерово — Лучегорск — Бикин — Вяземская — Хабаровск 1 — Хабаровск — Ин — Биробиджан — Бира — Теплое Озеро — Биракан — Известковая — Облучье — Кундур-Хабаровский — Архара — Бурея — Завитая — Екатеринославка — Поздеевка — Возжаевка— Белогорск — Серышево — Свободный — Ледяная — Шимановская — Ушумун — Тыгда — Магдагачи — Талдан — Сковородино — Уруша — Ерофей Павлович — Амазар — Могоча — Ксеньевская — Зилово — Жирекен — Чернышевск-Забайкальск — Куэнга — Приисковая — Шилка Пасс. — Солнцевая — Карымская — Чита 2 — Чита — Хилок — Бада — Петровский Завод — Горхон — Заиграево — Улан-Удэ Пасс. — Улан-Удэ — Селенга — Тимлюй — Мысовая — Байкальск — Слюдянка 1 — Иркутск Пасс. — Иркутск — Иркутск Сорт. — Ангарск — Усолье-Сибирское — Черемхово — Залари — Зима — Куйтун — Тулун — Нижнеудинск — Алзамай — Тайшет — Юрты — Решоты — Ингашская — Иланская

— Канск-Енисейский — Заозерная — Уяр — Красноярск Пасс. — Красноярск — Ачинск 1 — Боготол — Тяжин — Мариинск — Анжерская — Тайга — Юрга 1 — Юрга — Болотная — Новосибирск-Главный — Новосибирск — Чулымская — Каргат — Барабинск — Озеро-Карачинское — Чаны — Татарская — Омск — Называевская — Мангут — Маслянская — Ишим — Ялуторовск — Тюмень — Талица — Камышлов — Богданович — Свердловск Пасс. — Первоуральск — Шали — Кунгур — Пермь — Верещагино — Кез — Балезино — Глазов — Зуевка — Киров Пасс. — Котельнич 1 — Свеча — Шабалино — Гостовская — Поназырево — Якшанга — Шарья — Мантурово — Нея — Николо-Полома — Антропово — Галич — Судиславль — Кострома Новая — Нерехта — Бурмакино — Ярославль Пасс. — Ярославль — Ростов-Ярославский — Москва — Москва Ярославская.

Я включил программу *Google earth*, на которой земной шарик смотрелся, как мячик, кликнул несколько раз *мышью,* почти *мысью по древу*, мячик быстро рос и приближался, многократное увеличение показывало континенты и страны, и среди них распятую медвежью шкуру России, прошитую ниткой знаменитого Транссиба, Транссибирской магистрали, скрепляющей Европу с Азией, девять тысяч двести восемьдесят девять километров железной дороги.

Не пропустите ни одной станции, раз уж вы едете со мной. Вчитайтесь и вы, вчувствуйтесь в имя каждой, не откажите себе в удовольствии поиграть не только целыми словами, но и отдельными слогами, и даже буквами, поперекатывайте во рту, чтобы ощутить их соединения, их музыкальный строй, почувствуйте, как от европейских к азиатским, от русских к нерусским и потом обратно от нерусских к русским наименованиям шло, катилось, спотыкалось, падало и поднималось, кровило и зализывало кровавые раны широко забирающее вчерашнее, чтобы стать завтрашним; как не отвязывалось оно, скажем, от слога Бир, что означало татаро-монгольскую поголовную подать, дублем повторяясь в Биробиджане и Бирокане; как запомнило Ерофея Павловича, крестьянина по фамилии Хабаров, добытчика и прибыльщика, устроившего в XVII веке соляную варницу и мельницу, с которых якутский воевода поначалу брал вдвое больше оговоренного оброка, а засим и все отнял, а мужика посадил в острог, и так повторялось в мужичьей жизни не единожды, а все одно каждый раз мужик выходил победителем над барином, пока не затерялся в сибирских просторах, а память о себе оставил в веках; как от Облучья то ль облучком, то ль лучом дотягивалось до Заиграева, а, поиграв им, зажигало Свечу, натыкаясь на Якшангу чуть не в рифму уже проеханной Куэнге, пересекало философски означенную местность Нея, отдыхая на чис-

то славянских Галиче с Судиславлем, чтобы через Кострому, Нерехту и Ярославль прибыть в столицу необъятной родины Москву, которая знать не хотела, на самом-то деле, необъятной родины.

Володеть хотела, а знать — нет.

Мы знать хотели.

Проект принадлежал Адову.

Мы приятельствовали с Адовым по телефону и вживую в те разы, когда приходилось мне бывать в Москве по делам сотрудничества с некоторыми фондами и компаниями.

Он был не Адов, он был Кольт. Отец его, кинорежиссер, взял в пятидесятые псевдоним, чтобы не звучать по-еврейски: тогда всем известным евреям рекомендовано было не звучать по-еврейски и чтобы брали псевдонимы. Кольт не был еврей, он был по происхождению англичанин, но это никого не колыхало, поскольку звучало по-еврейски. Адов звучало тоже плохо, поскольку адресовало к религиозным пережиткам прошлого, поповскому обману и опиуму для народа в насквозь атеистическом государственном новоделе. Со стороны Кольта это был такой английский юмор, бравада, тайная издевка, на какую пошел с абсолютно серьезным видом, как и полагается британцу. Вглядываясь в эту его серьезную светловолосую и голубоглазую внешность и не имея формальных поводов отказать, паспортные власти записали его по высказанному им пожеланию Адовым. Дальнейшие дети и внуки Кольта носили псевдоним как фамилию, а настоящей фамилии никто больше и не помнил.

Кроме меня. Я помнил все, зная Адова-сына не первый год.

Сердце Адова, инициативного телевизионщика, перевлюбившегося во всех сколько-нибудь хорошеньких женщин Москвы, успокоилось на красивой и талантливой Сельяниновой, тоже телевизионщице, и они вдвоем, будто друг на друга и не глядя, но глядя в одном направлении параллельным курсом, что есть истинная любовь, то и дело придумывали что-нибудь вне ряда; но придумать — не фишка, они и воплощали придуманное немедля — вот где фишка. Производственные репортажи Адова смотрелись как экономические детективы. Документальные фильмы Сельяниновой отличались от бессмысленного и безобразного телевизионного *продукта* соединением высокой эстетики и смысла. Оба любили забраться в глубинку. Оба любили народ. Не спешите высмеять меня за мою кондовость, — хорошее, кстати, русское словечко. Я мог бы расписать мысль и как-нибудь поинтереснее, но мне пришло в голову, что в предлагаемое время в предлагаемых обстоятельствах нет ничего интереснее просто и ясно выраженной честной мысли. У вас и кризис-то, господа, протекает ост-

рее из-за отсутствия просто и ясно выраженной честной мысли — вот вам мой на скорую руку кратенький диагноз.

Едва я это подумал, возникло, как обычно, ощущение, будто я снимаю свою черную шляпу. Я не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд на зеркальную дверь купе. Пенкин продолжал где-то гостевать, я куковал в одиночестве, дверь была закрыта и, соответственно, отражала жизнь в анодированном стекле, ибо *равно чудны стекла, отражающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых,* по слову русского классика. *Господин средней руки*, как выразился тот же классик, смотрел на меня в отражении. Шляпа была на месте.

Из пересечения Адова с производителями железнодорожного транспорта, а именно вагонов, все и образовалось. Кризис, прости, Господи, стукнув по башке, запустив часть иных процессов взамен тех, к каким худо-бедно привыкли, там перераспределив, здесь отняв, заставив если не вскрывать вены, то шевелить мозгами, отечественным производителям дал шанс. Не всем. Тем, что сумели соорудить нечто пристойное. Вагонщики сумели. По первому образованию я инженер-путеец (civil engineering), так что материя мне близкая.

Снаружи, если смотреть в формате *Google earth*, новый поезд походил на акулу, с ее зализанными, текучими формами. Или ужа. Подобно акуле, он не ехал, а плавно тек-перетекал, подобно ужу — извивался на поворотах. Только раскрашен был диковинный зверь не по-зверски, а по-человечески. Три цвета времени, ярко-красный, ярко-синий и ярко-белый, волнообразно и продуманно утолщаясь и утончаясь, бросали вызов пространству. Натуральный белый, по идее, должен был слиться с белизной чистого снега. Синева, пожалуй, могла бы отзываться небесной, если небо чисто. Красный ничему не соответствовал, кроме крови, а она, пока не прольется, течет в жилах скрытно. В соседстве с ненатуральным красным белый и синий почему-то также теряли свою натуральность, переходя в разряд ненатурального. То была движущаяся инсталляция. То был хепенинг. Концептуальный постмодерн то был. Производители как подлинные художники-концептуалисты, играя красками, имели в виду свою художественную цель. Художественно-патриотическую, если точно. Волнующаяся и волнующая боевая раскраска двигательного средства повторяла знамя. Поезд, можно сказать, нес себя по просторам России в виде железного знамени России, как бы трепетавшего на ветру, создаваемом движением. Для Запада подобные *ужи* и *акулы* не в новинку, Россия, стуча всеми сочленениями на переходах-перекатах, то есть на стыках истории, только-только приступила к освоению плавных форм, плавного хода и больших скоростей. И тотчас принялась хвастать, что пе-

реплюнула Запад. Честно сказать, такого уж решительного переплевка я как специалист не обнаружил. Но публика в поезде и на станциях излучала рассчитанный энтузиазм.

Публику и остальное придумал Адов. Производителям, разумеется, понадобился PR. Плоский *пи ар,* или *пи эр,* не мог заинтересовать фонтанирующего Адова. И он вдохновенно сочинил путешествие *Москва-Владивосток-Москва*, пригласив пишущую и снимающую братию с тем, чтобы братия не просто вульгарно отрекламировала новые вагоны, а, оторвавшись от московского паркета, заглянула бы по дороге в глубинку, куда сто лет не заглядывала и где могла бы поднабраться новых впечатлений для обогащения творческого репертуара. С этой целью по всему пути разослали пресс-релизы на имя глав администраций. От глав требовалось обеспечить не какого-нибудь местного зеваку и бездельника, готового глазеть на что угодно, а отечественного предпринимателя, каков он есть на сегодняшний день. Таким образом, предполагал Адов, проект *Русский вагон*, будучи, с одной стороны, рекламной поездкой, с другой, окажется содержательным путешествием, наподобие радищевского *из Петербурга в Москву.*

Тем приятнее, что проект халявный.

Нарисовалась, правда, одна *единая* партия, пожелавшая взять мероприятие под партийный контроль. Но тут уж Адов стеной встал и притязания отверг. Как ему удалось — другой вопрос.

Ничего удивительного, что едва руководители медиа и бизнеса сошлись, стакнулись, стукнули по рукам во вдохновенном свободном полете мысли, публика набежала тотчас и с перебором. Интеллигенции навалом, местов на всех не хватило, как говорилось в одном советском анекдоте. Кому-то пришлось отказать. Отказники злобствовали и заранее старательно чернили мероприятие, подсчитывая, как водится, чужие деньги в чужих карманах. В испытательный рейс запросились политологи с политтехнологами, обслуживающие Кремль. Этим надо было что-то предлагать тем, кого они обслуживали, а что предлагать в новых условиях, они не знали, потому что не знали условий. Они давно жевали одну жвачку на всех, различаясь в незначащих деталях, и боялись, что их прогонят. Проект *Русский вагон* пришелся как нельзя кстати. Их Адов взял. *Не на облаке живем,* пояснил он мне.

Наблюдая поезд в формате *Google earth* снаружи, я обживал его изнутри.

Внутри было так же плавно и текуче. Все формы закруглены, сглажены, стекла овальных окон-иллюминаторов безупречно чисты, коридор широк, как в гостинице, светлое дерево дверей и стен гармонировало со светлой ламинатной половой доской, все лакирован-

ное-никелированное, с иголочки, каждая деталь блестела и сияла. Так же блестело и сияло в поместительном купе, две полки, одна над другой, с удобной вмонтированной лестничкой, овальное зеркало на двери рифмовалось с окном, ручки едва ли не благородного металла, столик того же светлого дерева с синими крахмальными салфетками на нем, высокого качества синее постельное белье, вчера все было красное, позавчера белое, про безукоризненный пол я уж говорил. Два кожаных кресла предлагали расслабиться сидя, если вы устали расслабляться лежа, в стену встроена плазменная панель телевизора, там же дверь, ведущая в душевую, оборудованную по последнему слову сантехники, как в лучших отелях мира, с двумя белоснежными халатами на вешалках, со стопкой белоснежных махровых полотенец на стеклянном табурете. Хотелось сидеть и лежать, принимать душ и включать телевизор. Хотелось тут жить. *Могут, если захотят*, пришло мне в голову распространенное местное выражение. *Интересно, за какой срок все закакают,* — следующее, столь же распространенное.

В купе постучали.

— Можно?

Адов с Сельяниновой стояли на пороге.

— Вы заняты...

— Ничего срочного, заходите, рад вам.

Адов вкатился, Сельянинова просочилась.

Я закрыл свой ноутбук.

Адов, с разбросанными там и сям жировыми прослойками, несоразмерными его росту, держал, как всегда, голову набок, привычно сложив на выдающемся животе пухлые ручки, сцепленные последними фалангами пальцев: иначе не зацеплялись. Шкиперская седая бородка очень шла его обветренному лицу, внушительному носу и голубеньким, в отца, глазкам. Начиная любую речь и тотчас увлекаясь, он как бы слегка всхлипывал, в этих его всхлипах таилась переполненность жизнью, которой он щедро и доброжелательно делился с другими. При сомнительных внешних данных он был наделен несомненным обаянием, отчего его долго и со вкусом любили женщины. Высокая, вся какая-то прозрачная, в золотистом облаке массы кудрявых волос, Сельянинова затмила всех. Прелестное лицо обидно портили красные пятна по обе стороны острого, тонко вырезанного носика, но я знал, что так было не всегда.

— Будем откровенны? — спросил Адов, хлопая меня по плечу.

— Будем, — согласился я. И добавил: — Я вас ждал.

Сельянинова чуть удивленно вскинула на меня прозрачные глаза в густых еловых ресницах.

— Садитесь, — предложил я.

— Вы, правда, врач? — спросила Сельянинова, с мальчишеской грацией подталкивая мужа вперед, чтобы прошел и занял кресло у окна, а сама садясь в кресло у двери.

У двери темнее, и пятна менее заметны.

— В том числе, — кивнул я.

— Но вы дипломированный врач? — настаивала она.

— Селя-я-ночка!.. — с укором протянул Адов.

— А-а-дик! — протянула Сельянинова.

Он звал ее Селяночка, она его — Адик.

В их семье роли распределялись наоборот, если сравнивать с другими семьями. Живчик, несмотря на полноту, Адик легко увлекался, был по-детски доверчив, мгновенно вспыхивал и столь же мгновенно гас, если не был поддержан сообщниками, сожителями, согражданами, но уж если поддержан, тут его было не остановить. Комплекция предполагает. Считается, что основательным сангвиникам, в противовес костлявым меланхоликам, даровано позитивное восприятие мира и себя в нем. Так оно и происходило, пока Адик был по макушку погружен в работу. Выходя из творческого транса, он немедля впадал в творческий кризис, Господи, прости! Он мог часами лежать на диване, отвернувшись к стене, прекрасная Селяночка, всегда на страже, подступалась к нему, опускалась на колени возле и начинала убеждать его в его таланте. Он рыдал, что бездарен, что лучше сдохнуть, чем продолжать бездарное существование, в промежутках между рыданиями тщательно ловя тон возражений Сельяночки: не ослабел ли, не лишился ли прежней энергии? У Селяночки находились силы возражать ему всякий раз, как в первый, с тем же невозмутимым убеждением. Она хорошо изучила своего Адика и знала, что если его не остановить на первой стадии, он впадет во вторую, а то и в третью. Вытягивать из каждой последующей было трудней, чем из предыдущей, потому она старалась приступить к делу сразу и на полную катушку. Иной раз ей удавалось перехватывать развитие депрессии, работавшей по той же схеме, что все природные явления. Поняв, что это природно, она никогда на Адика не сердилась. Едва близился финал проекта, покупала авиабилеты, делала визы и увозила его либо в Турцию, либо в Египет, либо в Италию или даже в Японию. Признаки грозовых туч небесная корова как языком слизывала, Адик превращался в совершенное дитя, радуясь новым впечатлениям, радуясь жизни, радуясь своей Селяночке, выигранной у жизни в лотерею.

Три года, как нежное лицо ее покрылось проклятыми пятнами. Я услышал об этом между делом от Адова, позвонившего мне в Мон-

пелье, где я обретался последнее время. Адов и соблазнил меня этой поездкой, согласовав приглашение с верхами, на которые имел выход. Сделать это было нетрудно. Мое реноме, в общем, было известно. Мои русские проекты загибались, в конце концов, не по моей вине. Мое глубоко прячущееся честолюбие, носившее маску непритязательности, плюс, быть может, еще более глубокие чувства, настолько глубокие, что я в них себе не признавался, манили меня в Россию. А по Адову я почти соскучился. Я поставил единственным условием присоединиться к ним не в Москве, а во Владивостоке, то есть на обратном пути. Я должен был закончить кое-какие дела в Америке, прежде чем вылететь в Россию. Как хочешь, — добродушно бросил Адов. — Твоя воля.

Воля была не моя. И это было еще одно обстоятельство, по которому я сюда рванул.

Кто-то, читая мои мысли, мог бы покрутить пальцем у виска. Не мне крутить пальцем у своего виска.

В моем городке Монпелье, штат Вермонт, я взял *rent-car*, оставив свою машину дома, чтобы не бросать ее в аэропорту в Бостоне надолго, доехал до международного терминала *Логан*, занял место в самолете компании *Дельта*, летевшем рейсом на Солт-Лейк-Сити, штат Юта, оттуда в Анкоридж, штат Аляска, пересел там на рейс *Аляска Эйрлайнз*, следующий во Владивосток с посадкой в Магадане. Во Владивостоке на железнодорожном вокзале назначена была встреча с Адовым.

Ирония судьбы заключалась в том, что я повторял маршрут своего выдающегося предшественника. Для каких целей понадобился великой пересмешнице этот дубль? Я отдавал себе отчет в том, что по сравнению с большим *слоном* я маленькая белая собачка, которую Крылов назвал *моська*, но в мои намерения ничуть и не входило облаивать *слона*. Я был малое существо, получившее возможность неким волшебным образом *прислониться* к большому, чтобы обозреть вслед за ним, по возможности, животный мир в его нынешнем состоянии. Естественно, это всего лишь метафора, однако образ белой собачки, всплывая от времени до времени, странно тревожил. Моего великого земляка — хоть по одной земле, хоть по другой — манили протяженные, длительно звучащие закономерности, то есть общее, меня — частное. В некоей точке сходилось. Манили живые души, если без метафор, а попросту.

Магадан, столица Колымского края, как физическая и метафизическая местность, вызывал наибольший азарт.

Перед тем, как зайти Адову и Сельяниной, я вытащил из Интернета данные о численности тамошних заключенных, разнесенные по датам, начиная с 1932-го и кончая 1953-м.

12.1932 — 11 100.
01.01.1934 — 29 659.
01.01.1935 — 36 313.
01.01.1936 — 48 740.
01.01.1937 — 70 414.
01.01.1938 — 90 741.
01.01.1939 — 138 170.
01.07.1940 — 190 309.
01.01.1941 — 187 976.
01.01.1942 — 177 775.
01.01.1943 — 107 775.
01.01.1944 — 84 716.
01.01.1945 — 93 542.
01.01.1946 — 73 060.
01.01.1947 — 93 322.
01.01.1948 — 106 893.
01.01.1949 — 108 685.
01.01.1950 — 153 317.
01.01.1951 — 182 958.
01.01.1952 — 199 726.
01.01.1953 — 175 078.

Известно, расправа с одним человеком — трагедия, с тысячами — статистика.

Статистика СВИТЛа, Единого Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря, пробрала меня, как мороз пробирает, до костей.

Магадан — побратим Анкориджа, между прочим. Аляска ведь была русской. А Анадырь, через который я однажды летел, — побратим Бетла. Тоже Аляска. На территории американской Аляски я воспользовался сверкающим чистотой туалетом. Ну воспользовался и воспользовался, ничего не колыхнуло, — чего колыхать: подобных бесчисленное число по всем Штатам. На территории русской Чукотки, в ремонтируемом Анадырском аэропорту, оскользаясь и падая, танцуя неверными ногами на ледяных торосах, натасканных ветром, пробираясь вслед за служащим порта в деревянный домик с деревянным *очком,* я вдруг остановился и застыл: слабое ребячье воспоминание, не знаю, о чем, внезапно пробило, как пробивает кабель, и сноп электрических искр брызнул во все стороны — эффект умственной электросварки.

Я взял такси, назвав водителю план: Охотское море — Тауйская губа — бухта Нагаево. Водитель, невозмутимый и почти неподвижный, уткнулся в ворот каляной брезентовой куртки и не отреагировал. Таксисты чаще всего люди разговорчивые. Этот молчал всю дорогу.

Пытаясь втянуть мужика в беседу, я сообщил, что приехал взглянуть на колымские лагеря или на то, что от них осталось. Он будто не слышал, не отвечал, глядя прямо перед собой, ко мне не поворачивался, лица его я так и не рассмотрел. На каком-то километре дороги он притормозил и махнул рукой в сторону. Я проследил направление жеста, однако ничего похожего на лагерь не обнаружил. Стояли жилые постройки, деревянные и каменные, крашенные желтенькой краской, какой выкрашено пол-России, давно и сильно облупившейся, детишки в зимних пальто с хлястиками и в нахлобученных на головенки шапках-ушанках игрались с консервной банкой как с футбольным мячом, что-то неразборчивое снова тронуло нервишки, как смычок трогает струны, тетки воевали с бельем, вставшим колом на морозе, преобразившись из пошивочного материала в строительный, подобие гипсокартона, лишь кое-где из-под снега торчали куски ржавой колючки. Пейзаж был точно таким, каким застал его Туманов, возвращавшийся в эти места взглянуть на свое зэковское прошлое, а прошлого не было. Хорошо это или дурно, не мне судить.

Таксист, которого я уже почитал за глухонемого, внезапно бросил отрывисто, по-прежнему не глядя на меня: хотите, отвезу на сопку Крутую, там *Маска скорби*. Хочу, сказал я, припоминая все, связанное с Эрнстом Неизвестным.

Сопка Крутая оказалась совсем не крутая, а довольно плоская. Поименовавшие ее то ли пошутили, то ли возвысили окружающий пейзаж, чтобы возвысить себя. Дорога к сопке вела мимо гаражей, складов, свалок, присыпанных снегом, сквозь который пробивались какие-то железные прутья, бутылки, куски пластика и прочий житейский мусор.

Пятнадцатиметровое лицо-маска из тесаного серого бетона, показавшись, едва ли не испугало. Теперь оно близилось, вырастая из груды камней, — метафорический человек либо человечество, из одной глазницы которого вытекали слезы, они же более мелкие маски-лица, вторая глазница являла собой окно, забранное решеткой. Машина остановилась на автостоянке, я двинулся к памятнику пешком. Бетонная лестница с металлическими поручнями вела наверх. Другая, узкая и тоже бетонная, вниз. Я пошел по этой. У входа на гвозде висела рваная телогрейка, еще какое-то тряпье, дальше камера, нары, стол с керосиновой лампой, зарешеченное окошко. На улице яркое солнце, тут тьма, только из-за решетки лился свет.

Я поспешил выбраться наружу. Вокруг были разбросаны камни с религиозными знаками разных верований, на бетонных брусках высечены прозвища лагерей: Ленковый, Широкий, Борискин, Спокойный, Прожарка.

У Неизвестного родители были репрессированы. Но почему *маска*? На маскараде человек выдает себя за другого. Люди скрывают лицо, желая спрятать под маской, какие они настоящие. Или под шляпой. Шляпа честнее. Маска лукавее. Маска скорби — значит, не настоящая скорбь? А что? Притворство? Вы этого хотели, Неизвестный?

Два художественных символа — *поезд-знамя* и *маска скорби* — два прямо противоположных художественных высказывания. И оба, если кому-то интересно, не мои.

Фронтальная надпись на отдельно стоящей стеле: *Построен на средства президента России Б. Н. Ельцина.* Крупными каменными буквами. Ниже перечисление организаций, поторопившихся вслед за президентом вложить средства в памятник. Тоже крупными буквами. Как будто это самое важное. Людское тщеславие нередко смешно, иногда — неприятно.

Я сел в машину и сказал водителю: в аэропорт.

Минут через пять он проговорил:

— Сколько денег угрохали, сволочи, лучше б людям роздали.

Людям он ударил на последнем слоге. *Роздали* — на первом.

Перед входом в здание аэропорта машина остановилась, я достал бумажник. Я отлично знал, как расплачиваются в новой России, и, помимо карты *Master Visa*, прихватил с собой некоторое количество долларов *кэшем*. Водила повернулся ко мне, внимательно следя за тем, как я перебираю банкноты в бумажнике. В сгущающихся сумерках я, наконец, увидел его физию с несообразными, будто наспех набросанными деталями: набрякшие веки, кривой рубильник, костистый подбородок, черный провальный рот и кожа в угрях — физия вырожденца. Он был не стар и не молод, что-то между тридцатью и сорока.

— Ну и чё? — спросил он злобно.

— В каком смысле? — Я еще перебирал доллары.

— Проехался, и чё?

— Ничё, — пожал я плечами.

— То и оно, что ничё... — Он выругался матом. — Тебе ничё, позырил, и хвост трубой, а мы коротай свой век на чужих костях, а чё души их мертвые по ночам волками воют, а мы вой слушай и сами вой, ничё ж не поменялось...

Еще на сопке я заметил, что шашечек на машине не было, и теперь сказал примирительно:

— Ну как же ничё, жить-то, небось, получше стало, особенно, как на себя, а не на дядю начал работать...

— Получше на том свете будет, — не принял он моего мирного тона.

— Где же, если там мертвые души волками воют, — поймал я его на противоречии.

— Дак загубленные воют, може, устанете губить, одна надежа на вашу, душегубов, усталость...

Он равнял меня с душегубами. Возможно, он был не так уж неправ.

— Сидел? — спросил я.

— Сидел, — зыркнул он маленькими, злыми, как у медведя, глазками. — Это вы там, на материке, дела делаете, а на нас дела как заводили, так и заводют...

— На безвинных? — Я спрятал бумажник.

— Разных, — отрезал он и выдал то, что я его не просил: — Я-то сразу понял, что у тебя полно баксов, всю дорогу мучился, стоит или нет... твое счастье, что решил, нет...

— Или твое, — веско уронил я.

Я дал ему четыре бумажки по полсотне долларов, это было более чем щедро.

Он не сказал ни спасибо, ничего.

Он убыл в свою сторону, я в свою.

— ...Селя-я-ночка!.. — повторил Адов и, будто выходя из рамы того же пейзажа, в каком был нарисован я, любовно спросил: — Тебе шашечки или ехать?..

Я рассмеялся.

— Что, не слыхал этого анекдота? — удивился Адов.

— Слыхал. Вот мой диплом.

Вытащив из кейса, с каким ездил повсюду, мои гомеопатические корочки, я помахал ими перед носом Сельяниновой. Она потянулась, чтобы взять, Адов выставил руку между ею и мной:

— Да ну же, детка!..

Корочки благополучно вернулись на место.

— Мое лицо... — приступила Сельянинова.

— Я в курсе, — мягко прервал я ее.

— Я в курсе, что вы в курсе. Что дальше?

Лицо Сельяниновой всплыло в нашей необязательной болтовне с Маней, когда мы перемывали косточки всей честной компании. Маня делилась информацией, я шутливо комментировал. Она смеялась каждой моей шутке. Про политолога Молоткова и политтехнолога Молодцова едва я успел сказать, что вылитые Бобчинский с Добчинским, как девушка уже зашлась в смехе. Я не приписывал себе излишних достоинств, понимая, что юное создание находится в том возрасте,

когда покажи палец — и уже смешно. Если есть настроение. Я только чуть-чуть посожалел о своем возрасте, и это мне стоило того, что я тут же сбился с ритма: про Сельянинову уже пошутил крайне неловко, сострив что-то насчет *цветущей водоросли,* имея в виду прозрачность и упустив из виду цветение пятен. Увлекся — и переборщил. Как юнец. Половой инстинкт, который никуда не деть, попер из моих лет туда, где пребывали Манины. Глупо, что и говорить.

Маня встала. Смех ее иссяк.

— Не понял, — сделал я вид, что не понял, понимая, что сделал только хуже.

— Некрасиво, — съежила мордочку Маня, как-то сразу подурнев.

Надо было срочно менять диспозицию.

— Я помогу ей, — сказал я.

— То есть? — распахнула Маня свои зеленые.

— Я уберу эти пятна на ее щеках, — пообещал я.

— Как?! — Маня распахнула их еще шире .

— Я говорил, что я кудесник. — Я был серьезен как никогда.

— Можно сказать ей? — Маня все еще не доверяла мне.

— Можно, — разрешил я.

Мы разошлись в тот раз мирно, не поссорившись.

Аппарат Фолля, моя аптечка — все необходимое было при мне.

— Я и не знал, что ты лекарь. — Адов внимательно наблюдал за моими манипуляциями.

— А разве мы уже все-все сказали друг другу?.. — пробормотал я и, обратившись к Сельяниновой, попросил: — Снимите, пожалуйста, колготки.

— Но тогда мне придется стянуть джинсы, — обратилась она к Адову, а не ко мне.

— Значит, стянешь джинсы, — по-королевски распорядился Адов.

Она стянула то и то молниеносно, оставшись в хорошеньких, телесного цвета трусиках, почти совпадавших с цветом тела, отчего ее стройные ноги открылись во всей красе, что вызвало мою неконтролируемую реакцию, впрочем, секундную.

— Мне выйти? — спросил Адов.

— Необязательно.

— Выйди.

Взаимоисключающие реплики прозвучали одна в одну, Адов предпочел послушаться жены, нежели приятеля.

Мы остались наедине.

Я надел резиновые перчатки и установил ее правую ногу на металлическую дощечку, сперва прикрыв металл бумажной салфеткой в ги-

гиенических целях, в правую руку вложил металлическую гильзу, взял наконечник, соединенный проводочками с аппаратом, включил аппарат и принялся нажимать наконечником нужные точки на пальцах ноги, между пальцами и на боковой поверхности стопы. Движение стрелки прибора, сопровождаемое слабым звуком, показывало напряжение. Так проверялось состояние меридианов тела, а через них — органических функций.

Сельянинова была практически здорова. Барахлили надпочечники. Но это я знал и без Фолля. Для порядка я проделал ту же процедуру с пальцами и ладонью правой руки, переложив гильзу в левую и ничего нового не обнаружив.

— Что скажете? — спросила Сельянинова, беззащитная в своих телесных трусиках.

— Что скажу... — потянул я. — Будь у меня возможность взять пробы на аллергены...

— Пищевые? Пыль? Шерсть?.. — нетерпеливо прервала меня Сельянинова. — У меня брали.

— И результат?

— Хороший результат. Ничего не обнаружили. Никакой аллерген не выявлен.

— Ну, если это считать хорошим... — улыбнулся я.

— Можно одеться? — Она взяла свои вещи и прижала к худенькой груди.

— Пожалуйста.

Пока она подтягивала колготки и застегивала джинсы, я думал, как ей сказать то, что я собирался сказать. Спросил, оттягивая момент:

— Давно это у вас?

— Три года. — Она закончила туалет.

— Вы ведь и замужем три года, — посмотрел я ей прямо в глаза.

— Вы хотите сказать... — Ум у нее был такой же острый, как нос.

— Да, именно это я и хочу сказать. — Я выбрал кратчайший путь. — Я полагаю, что ваш муж — носитель аллергена. Его запах, его пот, его волосы, где-то там оно гнездится. Разумеется, требуется клиническая проверка, но я убежден, что так оно и есть.

— И как же мне быть? — скорее требовательно, чем растерянно, проговорила Сельянинова.

Она принадлежала к тем редким натурам, которые, будучи реально творческими, не занимаются собой. Творцы, чаще всего, сосредоточены на себе. Несение мученического креста облегчается эмоциональным выплеском, который воплощается в креативе, как нынче говорят, в работе, как говорю я. Сельянинова была лишена эгоцентризма. Ее

киношная деятельность поглощала ее целиком, Адов счастливо поместился там же, где помещалось ее все. Я понимал, что речь идет о тектоническом сдвиге. Но что делать, не я наградил ее аллергией на родного мужа, так случилось. Я лишь исполнял то, что исполнил бы любой врач.

— Как быть? — повторил я. — Лечиться, наверное. Я дам пилюли, которые помогут. Но нужно удалить источник, который вызывает патологическую реакцию, вырабатывая в организме антитела, иначе все пойдет прахом, бездонную бочку не наполнить.

— Вы хотите сказать... — Прозрачные глаза Сельяниновой сузились, она будто прислушивалась к тому, что совершалось в ней.

— Я дам пилюли, — еще раз повторил я. — Чтобы они подействовали, как должно, я предлагаю вам попробовать перейти на оставшееся время в другое купе. Или пусть Адов перейдет. Тогда и вы, и я, и он, мы увидим эффект, и не надо будет гадать на кофейной гуще...

— А если вы ошибаетесь? — перебила она меня.

Я промолчал.

Она тоже молчала.

— Хорошо, я позову его, — сказала она через полминуты твердым голосом.

Я готов был поцеловать ей руку. Я испытывал восхищение.

3

Железный характер. Железная воля. Железная хватка. Железная логика. Метафора, опирающаяся на тяжелый ковкий металл серебристого цвета. Таков выбор языка.

Железо прообразовывалось в чугун и сталь, которыми гордилась страна Советов.

...я верю, будет чугуна и стали на душу населения вдвойне, пел уголовник-поэт недавних лет.

...выжечь каленым железом, настаивал уголовник-вождь давних лет.

Железная маска.

Железная дорога.

Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю, быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою.

Гремели встречные поезда. Вечером в них горели окна, как и в нашем, лица и фигуры из-за удвоения скоростей были неразличимы, там шла своя жизнь, во всем подобная нашей, но и неведомая нам, обратная нашей, потому что обратным был их путь, им надо было что-то

в тех местах, которые оставляли мы, а нам в тех, что оставляли они, и это хаотическое, хотя в то же время строго организованное движение означало нечто большее, чем простое перемещение людей, заключенных в построенные ими клетки и капсулы. Каждый в капсуле имел свою прагматическую цель, все вместе мы участвовали в осуществлении цели, нам неведомой.

В проекте *Русский вагон,* строго говоря, был не один вагон. Пять. Не считая локомотива. В первом ехало начальство, включая несколько высокопоставленных чиновников, несколько банкиров и несколько депутатов, среди которых — Чевенгуров, признанный дока по части халявы. Во втором ехали представители завода, инженеры, рабочие-наладчики, те, кто по делу требовался в испытательном рейсе. В третьем — шоу-бизнес. Хитроумный Адов продумал и эту составную ради *картинки* в будущем телефильме. Взвесь существовала, особо не перемешиваясь. Свои общались со своими, в принципе не допуская диффузии. Творческий десант вносил приятную ноту в контакты. Почти домашние выступления на ходу прошли в областных центрах по дороге туда, по дороге обратно главные шоумены типа бесподобного г. Алкина, как он писал себя на афишах, отсыпались, сберегая здоровье, вспомогательный состав, не имея надобности и обычая в сбережении, развратничал по мере возможностей. Имелся вагон-ресторан. Наш, с журналюгами и политолюгами, замыкал поезд.

В вагоне-ресторане экспедиция завтракала, обедала и ужинала по расписанию, — чтобы из одного вагона не столкнулись с другим. Я подозревал еще и то обстоятельство, что кормили нас по-разному. Как-то я пропустил свое время и пришел на обед позже, когда рассаживалась *элита.* Меня покормили, вежливо посоветовав в другой раз время не пропускать и посадив как-то так, что я оказался за столиком на одного, лицом к кухне, остальные у меня за спиной. Занимая указанный столик, я машинально мазнул взглядом по остальным, заметив коньячок-балычок плюс целый ряд деликатесов, какими наш вагон не баловали. Мне хотелось рассмотреть и первое-второе, но не станешь же выворачивать шею, как какой-нибудь невоспитанный раздолбай типа газетчика Мелентьева, искренне почитавшего себя нутряным талантом, а воспитание — погибелью нутра. Мимо меня разносили в закрытой супнице первое и на большом противне под фольгой второе. Аппетитно пахло подкопченной бараниной, карри и еще какими-то приправами. Нас кормили курятиной и говяжьими котлетами. Страна переживала кризис, прости, Господи, но, как и полагается, все в стране переживали его по-разному. Мария Николаевна Волконская перебивалась с хлеба на воду, наш вагон-ресторан обходился без видимых

трудностей, никто ни с чего никуда не перебивался, ели помногу и, как выяснилось, разнообразно. Журналистскому вагону тоже выделялось спиртное, но не дорогой коньяк, а дешевое вино в обед и водка на ужин. И все равно иногда, особенно если начинали пить с утра, то уж ни на обед, ни на ужин не ходили. Забивались в чье-нибудь купе человек по десять, а если не умещались, скапливались в салон-гостиной, ради устройства которой в вагоне не досчитывалось пары купе, вместо них вас принимало удобное помещение с толстым ковром под ногами, мягкими диванами и креслами, уютными бра и низкими столиками зеркального стекла на витых чугунных ножках, где возлежали журналы и книги, тотчас сметаемые на пол, когда вместо интеллектуального продукта водружался понятно какой и лился уже безостановочно в тонкие рюмки и бокалы, что брались тут же из резного буфета. Колотилось тонкое стекло без устали. Говорили, что на пути туда натасканный персонал ежедневно молча и вежливо восполнял недостачу. На пути назад терпение поездных иссякало, предупредительность заканчивалась, неудовольствие выражалось все прямее, особенно когда гость блевал непосредственно на мягкую мебель, пушистый ковер или зеркальный столик. Хорошо, эти последние уцелели, хотя пара сколов на зеркальной столешнице при какой-то инспекции были обнаружены. Взамен разбитых тонких рюмок в ход пошли граненые стаканы, которые мы сами же и приобрели в Богом забытом привокзальном магазинчике с философской вывеской *Химия, посуда, материя.* Ибо даже и чай погруженный в философию стюард Саша разносил нам не в стаканах, а в тонких фарфоровых чашках на подносе. Что касается закуси, в одних случаях посылали кого-нибудь более или менее трезвого в упомянутый вагон-ресторан за сухим пайком, то есть что осталось и сколько принесет, пару раз подобным посыльным был я, я не гордился, исполнял, что просили, хотя однажды Маня, покраснев, велела мне сидеть и отправила за пищей Ваню вместо меня, пробурчав с укором *помоложе не нашли*, в других — от казенной пищи высокомерно отказывались, да она, признаться, и приелась, поскольку уж какие сутки все одно и то же, и полностью переходили на подножный корм, то есть на то, что либо покупали на платформах у Марий Николаевн, либо бывали одарены занятыми в бизнесе соотечественниками, принимавшими понаехавших с рассчитанной Адовым провинциальной щедростью.

Я видел, что, несмотря на праздность, которая многих приятно расслабила, а вернее, что из-за ее излишества, моим спутникам порядком надоела железнодорожная ветка как таковая вместе с крупными центрами, обсевшими ее, точно крупные птицы, да и крупные

птицы, принимавшие путешественников в крупных центрах, также приелись. Хорошо погужевавшись на пути туда в Ярославле, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске, Уссурийске и самом Владике, как они панибратски называли Владивосток, по пути назад томились, почти не обнаруживая для себя и в себе ничего нового. Если не считать одного чувства, да и не чувства даже, а тени его, о котором пыталась поведать мне Маня. Рассудком оно было трудно объяснимо, поскольку лежало за его пределами и соотносилось, сдается, не с личным, а генетическим, не индивидуальным, а родовым. Говорила это Маня синкопами и смутно, переходя с одного на другое, с себя на других, не понимая ни других, ни себя и вдруг прорываясь к пониманию, — дальнейшее я попробую пересказать сам.

Движение из Москвы во Владивосток и из Владивостока в Москву уподоблялось движению самой крови в кровеносной системе, как она сложилась издревле. В шуме суеты, в инициациях и перформансах разного вида и толка, занятые своей и чужой спесью, путешественники не слышали, да и не могли расслышать в себе этого тока общей крови. А наевшись-нагулявшись, напившись вина и водки, когда, кажется, и делать больше нечего, скука позади и скука впереди, в скуке вдруг и обнаруживали нечто чудное, угловатое, углами беспокоящее, именно на малых станциях внезапно являвшееся, и тогда, отставив переборы-пересмешки, замирали, вглядываясь и вслушиваясь в то, что не называемо словами и что исподволь таинственными узелками привязывало и к одной на всех местности, и друг к другу. Завороженные, боясь расплескать это нечто, возвращались в вагон и, глядя в окошки-иллюминаторы, ехали, ехали и ехали, отдаваясь скорости, ибо *какой же русский..,* заново или впервые открывая в себе русских людей.

Провинциальная Россия ложилась под колеса, стучали исподнизу не бездушные механические стыки стальных рельсов, а пульс такой бился земляных дней, билось такое сердечко земляное, утишающее, утешающее, успокаивающее, как мать успокаивает дитя, и вагонное тепло обволакивало, и ритм выстукивал озабоченно и заботливо свою дорожную песнь о том, частью чего мы являемся.

Краснея, сбиваясь и увлекаясь, говорила мне это Маня, с храбростью маленького воина открывая чужому человеку душу, когда мы еще не ссорились, а напротив, едва познакомились и я сразу почуял в ней ее дар, а она, не признаваясь в том себе, сразу почуяла, что я почуял, и безо всяких объяснений расположилась ко мне, как я расположился к ней, готовый слушать ее всякий раз, как ей хотелось говорить, сближаясь со мной семимильными шагами.

В вагоне-ресторане меня посадили за их с Ваней стол, и первое, что я спросил обоих: что они думают обо всем об этом.

— О чем? — переспросил Ваня, жуя котлету.

— О нашем путешествии, — расшифровал я.

— Я в восторге! — перехватила инициативу Маня.

— В восторге от чего? — ласково наставил я очаровательное создание продолжать.

— От всего! — Моя визави чуть не захлебнулась. — От величия, от широты, не высосанных из пальца, а взаправдашних. Смотрите, Подмосковье, срединная Россия, Урал, Зауралье, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, то взгорки, то долины, то леса дремучие, то речки подо льдом блестят, я и не думала, что однотонные в общем-то пейзажи могут с такой силой воздействовать на душу. Вы знаете, сколько идет обычный поезд, — семь суток туда и семь обратно, а нам дали их целых двадцать восемь, вдвойне, чтоб могли с головкой погрузиться во все это, все перепробовать на вкус, на цвет и на запах, прожить и пережить, почувствовать и перечувствовать, что за земля и что на ней производят, и что думают, и как выглядят, и отчего страдают ее жильцы и работники, каждый наособицу, толковые, искренние, я таких в Москве и не встречала. А какой разговор, какой словарь, интонации... Я спать не могу, лежу с тетрадочкой и все записываю, записываю, как какой-нибудь летописец седобородый!..

— Вместо того, чтобы с мужем... с тетрадочкой... и с бородой... — пошутил я, впервые неудачно.

Я уже знал, что они муж и жена. Возможно, это меня смущало, хотя с какой стати меня это должно было смущать.

— У вас испорченное воображение, — покраснела Маня.

— У меня сильное воображение, — поправил я.

Ваня меланхолично продолжал жевать котлету, как будто ничего из этого его не касалось. Прожевав, однако, проговорил:

— Ты романтик, Маня. Население разнообразнее, нежели идиллическая картинка, тобой расписанная. Не говоря уже о баронах.

— О каких баронах? — нахмурилась Маня.

— Баронах отечественного бизнеса. Надеюсь, они тебя не обманули.

Бароны отечественного бизнеса, они же бывшие крупные ответработники, возглавлявшие оборонку, космос, тяжелую металлургию, станкостроительство, так и продолжали их возглавлять, но теперь либо как руководители *госкорпораций*, либо в качестве *физических лиц*. Получив приказ *сверху*, они послушно развозили столичных журналюг по вверенным им предприятиям; послушно демонстрировали образцы продукции, образцы выглядели лучше продукции; послушно

называли казенный ряд проблем, никак не сказывавшихся на их уровне жизни, а только на уровне жизни работяг, о чем тактично не упоминалось; послушно устраивали парадный обед, обмениваясь тостами и визитками, которые выбрасывали спустя час или день. Пустое было встречаться с ними.

Я понял Ваню, но решился поддержать Маню:

— Если не в юности быть романтиком, то уж более никогда этого сладостного чувства не испытать.

Ваня вытер тонкий рот бумажной салфеткой:

— Горькое полезнее сладкого.

Они совсем-совсем разные, подумал я вдруг с неясной отрадой.

Меня устраивало расписание обратной дороги. Все совпадало, поскольку и мой интерес лежал именно что в земляных днях земляной России, а не в судьбе более или менее удачливых шишек что в провинции, что в столице. Страна, сошедшая с катушек, двадцать лет спрашивала, когда будет лучше, не желая знать ответа из анекдота: лучше уже было. Мария Николаевна Волконская как отечественный предприниматель, зарабатывающий на своем малом полустанке на горячей картошке, была из этой страны. И магаданский таксист, зарабатывающий если не на колесах, то на грабеже, был из нее же. Меня устраивало, что в центрах на обратном пути останавливались коротко, а то и совсем не останавливались, удивляя случайных ротозеев появлением и исчезновением странного поезда, закамуфлированного под летящий флаг России. Тем непонятнее была объявленная по внутренней трансляции незапланированная трехчасовая стоянка в Чите. Я пошел к Адову за подробностями.

Подробности заключались в Скунчак. Выяснилось, что запланированную стоянку в Чите на пути из Москвы во Владивосток эта особа, хорошо принявшая накануне, проспала, впав почти что в летаргический сон, а когда ее будили, швырялась сапогами, бутылками, альбомами, всем, что попадало под руку, не открывая глаз. Продрав их среди ночи и узнав у напарницы и подруги Очковой, что Читу благополучно миновали, она ринулась в купе Адова и, ворвавшись без стука, закатила грандиозный скандал, требуя чуть ли не повернуть поезд вспять, поскольку ее самым хамским образом фраернули, не дали посетить родину отца, из-за чего она, собственно, и отправилась в поездку, иначе какого рожна ей было терять месяц жизни на общение в поезде с дебилами, каких и в Москве хватает. Отец Скунчак уродился где-то возле Читы, и дочь навоображала себе сентиментальное мемориальное путешествие к пенатам, о чем потом можно будет похвастать в окружении дебилов, которое презирала и без которого ей не жилось.

Адов и Сельянинова спали. Хорошо, что спали в прямом смысле слова, переспав до этого тоже в прямом, но в другом. Сонный Адов пытался сопротивляться, однако Скунчак цепко схватила его за ворот пижамы и, тряся тяжелый куль, как тонкую липку, не отпускала, словно он и впрямь обладал возможностью немедля пустить поезд назад по рельсам. Выручая мужа, разумная Сельянинова нашла выход из положения, пообещав лично посодействовать тому, чтобы на обратном пути специально для Скунчак запланировали повторную остановку в Чите, чтобы ей попасть туда, откуда началась, если, конечно, она не исполнит тот же номер. Скунчак, пропустив мимо ушей спокойное ехидство Сельяниновой, отпустила воротник Адова и отправилась досыпать.

Я увидел впервые распростертое тело Скунчак на снегу, животом вниз, с широко расставленными ногами, откинутой головой и упертыми в землю локтями, как если б она загорала. Но солнца не было, и она не загорала. Держа аппарат, как автомат, она выстреливала снизу очередями в проходящие человеческие фигуры.

— Кто это? И что она делает? — удивленно спросил я кого-то.

— Как, вы не знаете? — удивился кто-то в ответ. — Снимает. Это же Скунчак.

— А кто такая Скунчак? — задал я следующий вопрос.

— А вы с Луны свалились? — поинтересовался, в свою очередь, собеседник. — Стальная челюсть в газовой косынке.

Очень скоро я знал о ней все.

Точка съемки снизу была ее фирменным знаком. Она снимала взрослых и детей, мужчин и женщин, артистов и писателей, богатых и нищих исключительно распростершись на полу, на дороге, между креслами, между столами, в любой обстановке, не принимая во внимание ничего из происходящего вокруг. Что ее поза ниц, что она сама были хорошо известны, и потому никто никогда не делал ей замечаний, будь то даже на похоронах. Она являлась, затянутая в черное, крупная, осанистая, с копной черных как смоль волос, мелированных белым, что делало ее похожей на диковинную птицу, на копну водружена маленькая черная шляпка с траурными лентами, траурным подведены узко поставленные птичьи глаза, — и со всего размаха бросалась на пол, ничуть не стесняясь производимого ею шума. Расстреляв всю обойму, поднималась, перемещалась и, не отряхнув грязи, хорошо видной на черном, находила место, где упасть по новой и по новой направить свой объектив туда, куда его влекло. Тем более она не отряхивалась, когда надевала цветное, сколь бы роскошным оно ни было. Цветное и роскошное — был ее стиль. Крепдешины, файдешины, шелк, бархат,

зимняя и летняя норка, бриллианты, жемчуга или, на худой конец, стекла Сваровски украшали ее пышное, отовсюду выбивавшееся тело. Время от времени у нее напрочь сползала какая-нибудь бретелька в стразах, и тогда кусок плеча и груди выступал во всем своем мясном естестве, на что одни бесстыдно глазели, желая ее всю целиком и сейчас, а другие стыдливо отводили взор, желая того же. Как мужчины, так и женщины. Помимо первых и вторых, имелись третьи, кто готов был ее убить, кто презирал, ревновал, подозревал и одуревал. От демонстрации манер, тела, роскоши. Скунчак не испытывала от того ни тепла, ни холода. Ей не исполнилось и двадцати пяти. Заключив пять или шесть помолвок с дипломатом, иностранцем, банкиром, тенором, разведчиком, с кем-то еще, осуществив шитье свадебного наряда, получив в дар от жениха очередные алмазы, заказав Зимний дворец, Оружейную палату и здание ФСБ на Лубянке в качестве места проведения свадебного торжества, большая уже девочка Скунчак ехала к папе-маме, где, клацая стальной челюстью и утирая слезы газовой косынкой, объявляла о расторжении помолвки, после чего родители давали интервью желтой прессе, заверяя, что ребенку рано замуж.

Прислониться к надежному денежному партнеру — мечта любой современной девицы.

Чем дальше, тем больше выяснялось, что Скунчак — не любая. Собственный, а не прислоненный образ жизни вырисовывался все отчетливее. Скунчак была индивидуальность, а деньги у нее и так не переводились. Деньги являлись той смягчающей подушкой, что позволяла ей падать на пол, валяться в пыли, направляя на цель дуло своей камеры как дуло автомата Калашникова, прошивая очередью все, что шевелится.

Коротко о ней говорили: сталь и газ. Папа Скунчак был стальным королем, мама Парусова — газовой королевой.

Дочь явилась ко мне в купе со стопкой своих альбомов сама, никто ее не звал.

— Нас не представили друг другу, давайте обойдемся без представлений, будем проще, — протянула она мне руку.

— Будем, — с охотой пожал я ее.

Работы ее произвели впечатление.

Ракурс. Все дело было в ракурсе, который она изобрела, обрела, которым сделалась обуреваема. Ракурс — перспектива, возникающая вследствие неодинакового удаления частей снимаемого предмета от объектива при его направленности на предмет под углом. Съемка снизу рождала монстров, как сон разума рождает чудовищ. Огромные каменные ноги-столбы, ладони-лопаты, удаляющиеся ввысь тулови-

ща с последовательным уменьшением грудной клетки, плеч и головы, голова как самая миниатюрная часть тела, малая малость, венчающая свод, — это был портрет человечества, в его развитии и его деградации, в его физической мощи и умственной немощи, с его прописанной и предписанной судьбой. Сотни фигур, с известными и неизвестными лицами, как ни странно, несли в себе что-то детское. Может быть, потому, что игровое. Игра с моделью была не мстительной, не злой, скорее, в ней таилось непреходящее удивление перед формами жизни, тайну которой можно вырвать и представить еще и таким способом. От чего-то было страшно, что-то заставляло улыбнуться или засмеяться, что-то рождало ком в горле. Три гигантских мента трогательно ковыряли ложечками в бумажных стаканчиках с мороженым. Тетка-гора красила готической темно-лиловой помадой, невпопад ничему ни в одежде, ни во внешности, маленький рот на маленькой физиономии. Еврей с остаточной шевелюрой, похожий на Норштейна, а может, сам Норштейн, разговаривал по мобильному, задрав подбородок к небу, так что была полная иллюзия, что он и разговаривает с небесами. Сухорукий грузин, похожий на Сталина, но точно не Сталин, грозил небу сухой рукой. Главной чертой облика Пугачихи оказывались не перекрашенные глаза, в обрамлении стога перепутанных волос, похожих на стог сена, а мосластые колени, в которых заключалась крепость, толстые крепостные мослы были ее орудие и защита, мосолыжники вокруг были подлизы и подъедалы, глодавшие остатки. У Пугачихи хватило ума не запрещать этот снимок, а наоборот, всячески его пропагандировать, зная силу открытости своих мослов.

Скунчак засматривала мне в глаза, ища реакции. Моя шляпа мешала ей, она схватила ее обеими руками, чтобы сорвать с головы. Барышня была непосредственна в каждом жесте и поступке. Возможно, я видел естественность там, где другие видели хамство и вседозволенность, но кто смеет сказать, что знает, где граница, когда одно переходит в другое? И что зависит от нашего восприятия фигуранта, а что все-таки от самого фигуранта? Что зависело от позы ниц, в которой Скунчак ловила свои моменты истины? А что от меня и других, считывающих замысел и реагирующих так или иначе на его воплощение? Мне, во всяком случае, была очевидна причина, по которой ее фаны перемежались с ее ненавистниками.

Что можно было точно сказать: чем ниже она падала, тем выше поднималась. Впрочем, так можно сказать не о ней одной. Но тут было буквально.

Я сжал ее руки железной хваткой и не дал сорвать с меня шляпу. Она удивилась:

— Вы и железяка!

— Вы даже не представляете, до какой степени.

— А вот это уже интересно.

— Не так интересно, как ваши фотографии.

Все-таки я понимал, ради чего мы с ней здесь вдвоем и что составляет цель ее визита. Не прагматическую, нет, у вольного или невольного художника цель часто бесцельна.

Если не считать нужды в признании.

Даже у самых-самых признанных.

А не считать ее нельзя.

Последняя моя фраза заставила заблестеть ее и без того блестящие черные птичьи глаза.

В Чите к поезду подали белый *мерседес*. Специально для Скунчак, чтобы быстренько свозить знаменитость на родину отца и обратно. Повсюду ее сопровождала напарница и подруга Очкова, по прозвищу Очковая Змея. Если Скунчак навезла в своем желтом кожаном чемодане ярких пестрых шелков и Сваровски, то гардероб Очковой Змеи, не менее обильный, ударял в нежные палевые тона, из украшений предпочтение отдавалось янтарю и яшме. Они познакомились на тусовке в Английском клубе и тотчас влипли друг в друга, обильная Скунчак и субтильная Очкова. Кто-то тут же прозвал их вогнуто-выпуклой парочкой. Очкова, бывшая солистка какой-то распавшейся группы, писавшая светскую хронику для журналов, умевшая ее писать, имевшая несколько профессиональных секретов, отчего ее тексты выделялись из сонма подобных, очень скоро превратилась в обслугу Скунчак. Так говорили злопыхатели. Лояльные предпочитали говорить о дружбе, упирая на то, что Очкова обслуживает Скунчак ровно в той степени, в какой один друг обслуживает другого и наоборот, а что в подобных отношениях каждый имеет свою выгоду, так это относится ко всем лирическим отношениям, если покопаться. Скунчак была заинтересована в Очковой, а стала заинтересована еще больше, когда последняя принялась сочинять тексты к снимкам первой. Я успел прочесть в одном из альбомов два — в обоих была изюминка.

Никто не сомневался, что на родину папы Скунчак приятельницы поедут вдвоем.

Поезд еще только подходил к Чите, когда из соседнего купе, которое они занимали, до меня донеслась базарная брань и в коридор полетели тряпки, коробки, чемоданы. В открытый проем я видел вылетавшее хозяйство и слушал нечто едва ли не в ритмах джаза: дура, сучка, мля, для чего я держу тебя около, мля, сучка, дура, возомнила

о себе невесть что, мышей не ловит, дура, мля, сучка, обленилась, как последняя плешивая шавка, сучка, мля, дура, все, терпение мое лопнуло, убирайся к матери, мля, дура, сучка, пешком в Москву поплетешься, сучка, дура, мля, со мной не поедешь, мля, сучка, дура...

Местами напоминало заезженную пластинку, местами прорывалось содержание: в частности, что Скунчак Очкову с собой не берет.

Барышня уже пробушевала мимо, когда я успел возвысить голос:

— Не возьмете меня с собой?

Диалог был лаконичен.

— Интересуетесь?

— Интересуюсь.

— Поехали.

Я схватил ватную телогрейку и выскочил вслед за Скунчак. Такая же фирменная телогрейка с надписью *Русский вагон* маячила перед мной. Мы все здесь были как из одного детдома, прошило.

Адов, в изумлении остановившийся перед грудой вещей в коридоре, крикнул вслед:

— Не забывать, что у вас ровно три часа! Не опаздывать!

Человек от природы добрый, Адов предпочитал ставить глаголы в неопределенную форму, тогда складывался определенный командирский тон. Налицо противоречие. Да из чего же, как не из противоречий, сотканы люди. В каждом подобии цветка найдется немного говнеца, и чуть ли не в каждой навозной куче отыщется жемчужное зерно, замечено до меня.

Мы уселись на заднее сиденье поданного нам белого *мерседеса,* и Скунчак распорядилась:

— В город.

— В какой? — развернулся к нам всем торсом шофер.

— В Читу, какой еще! — фыркнула Скунчак.

— Я полагал, мы поедем в окрестности, — тронул с места шофер.

— Я тоже так полагала, — раздраженно парировала Скунчак. — Но девушка предполагает, а Господь Бог располагает. Я не виновата, что Господь Бог расположил Хохотуй в трехстах пятидесяти километрах от Читы, а мне не сказал!

— Хохотуй? — невольно рассмеялся я.

— Хохотуй, — напряглась Скунчак, — а что?

— Это и есть место рождения вашего отца? — догадался я.

— Это и есть его месторождение, — подтвердила дочь. — А она, дрянь, не могла узнать заранее, одарила сообщением в последний момент, дура, сучка, мля!

— А спросить у папы?.. — логично предположил я.

— Я собиралась преподнести ему сюрприз, — резко оборвала меня нежная дочь.

— А самой узнать заранее?.. — Я не сдавался.

В ответ на меня опрокинулся ливень, поток, извержение.

— Да не умею я заранее! По схеме! По чертежам! Разложив по полочкам! Чтобы все расчислено! Ты можешь себе представить, что было б на моих негативах, если б я заранее рассчитывала, кто, как, где, с кем и с чем обязан расположиться передо мной, а не доверяла бы своему глазу, слуху, нюху! Да на кой мне рассчитанное существование! Чтобы не жизнь, а логарифмическая линейка! Я не желаю так! Мне так неинтересно! Мне скучно! Тошно! Уныло! Понимаешь? Сказать тебе, почему я рассталась один за другим с мужчинами, за которых собиралась замуж? И не говори, что ничего не слыхал, это все слыхали! Сопливая девка, считала, что хочет того же, что все! Да не что все все, а что все, кто возвышается над всеми, поскольку сама принадлежу к возвышенным! И каждый раз облом! Как подумаю, что навсегда и что этот мой русский, американский, румынский плейбой навсегда, а все одно и то же, одно и то же, так бегом, стремглав из-под венца! Папаша злится, мамаша *Наполеоном* снимает давление, а поделать ничего не могут! Потому что я вся в них, в сталь и нефть, и к тому ж единственная наследница, так что если они скрутят мне руки или запихнут в психушку, как неоднократно обещали, то пропаду зазря не я, пропадут зазря их капиталы! Короче, пришлось им приноровиться к моему норову, а не мне к их! Они приняли правила моей игры, а не я их! Сочли, что полезней для здоровья уважать и гордиться! Особенно, когда идею возвышения я вывернула наизнанку и она проросла в креатив! Это ведь долго варилось, прежде чем сварилось! Кто над кем, мать их дери, возвышается? Кто на кого глядит свысока? А началось с простой физики! На улице, на приеме, на ипподроме, на аэродроме просто глазела на людей! Ничего нет интересней! Я вровень, и со мной вровень, ну, у меня деньги, а у него нету, и что? Интерес жизни в чем? Не в деньгах же. Надо, чтоб они были, но интерес не в них. И тогда я поняла, что должна унизиться. Примочка такая, понимаешь? Взяла камеру и стала щелкать снизу. Таджика запомнил? Я спрашиваю тебя, таджика запомнил?

Шофер хмыкнул.

Я немного поплыл в волнах самоизвержения, при котором слушатель, кажется, уже и не требовался, и не сразу сообразил, ни почему хмыкнул шофер, ни про какого таджика она говорит.

— Какого таджика?

— Ну, будет, будет, не выеживайся! Там у меня таджик! С таджика начинается! Не мог не запомнить!

Она говорила мне *ты*, как все верхние в этой стране говорили всем нижним. Она была бесконечно самоуверенна, и она была права. Я запомнил таджика. Он стоял среди палой листвы, опершись на метлу, среди небольшого столпотворения слетевшихся голубей, его крошечную голову украшала бейсболка с надписью Chelsy, а выражение лица, с каким он смотрел на голубей, которые пока еще были тут, но вскоре должны взлететь, неизъяснимое выражение лица околдовывало.

— Вспомнил?

— Да.

— Он был мой первый. Шла по скверу и вижу: он и голуби, он убирал сквер и присел на корточки передохнуть, знаешь, как они сидят, а они прилетели, он смотрел сначала как будто вровень, а потом выпрямился и стал смотреть сверху вниз, и на лице его была написана вся многовековая мудрость его народа...

— Или тупость... — хмыкнул шофер.

— Так можно сказать о любом народе, — примирительно заметил я.

— Ну и что? — ощетинилась она.

— Ничего, — констатировал я. — И ты тут же пала перед ним ниц?

— Да! И я тут же пала перед ним ниц! Механизм какой-то сам по себе сработал. Чтобы я внизу, а он чтобы возвышался, и над птицами, и надо мной. И защелкала.

— Не испугался?

— Не испугался.

— И не удивился?

— Он, по-моему, меня даже не видел.

— Настолько туп? — спросил я.

— Или настолько мудр, — переменил диспозицию шофер.

Впрочем, как тот таджик не видел Скунчак, так и она шофера не слышала.

— Стало быть, ты живешь по вдохновению, — решил я сделать ей приятное.

— Я предпочитаю называть это случаем, — припечатала она.

— А что в Хохотуе? — Мне хотелось продолжить общение.

— А почем я знаю! — Она отвернулась и стала смотреть в окно.

За окном не было ничего интересного. Обычные городские улицы, обычный железобетон, перемежавшийся с обычными деревянными домишками, снег.

— В Хохотуе река Хохотуй, старая водяная мельница и лесопилка, — доложил шофер. — Но мне точно Хохотуй не называли, а то бы я отказался, туда и обратно мы реально не успеваем.

Скунчак скрипнула зубами.

— Значит, иногда надо что-то и планировать, детка... — кротко отреагировал я на ее скрип.

— А для чего я держу эту дубину стоеросовую?! — снова взвилась Скунчак.

На дубину стоеросовую небольшая Очкова совсем не тянула. А большая Скунчак, неожиданно сменив тон, как ни в чем не бывало, обратилась к шоферу:

— Хорошо, а что у вас в Чите из увеселений? Казино есть?

— Есть, — засмеялся шофер.

— Чему смеетесь? — надменно вскинула нарисованные брови Скунчак.

— Смеюсь, потому что смешно, — невозмутимо отвечал шофер.

— Поехали в казино! — потребовала Скунчак.

— В какое? — спросил шофер.

— А что, у вас не одно? — изумилась Скунчак.

— *Алекс-клаб, Голден-плаза, Джек-пот, Панама-сити*... — назвал шофер.

— В *Панама-сити*! — распорядилась Скунчак.

— Правильный выбор, — опять засмеялся шофер. — Там же и ресторан, и ночной клуб.

— До ночного клуба нам не дожить, а ресторан освоить можем, если немного и по-быстрому, — на сей раз распланировала наше ближайшее будущее Скунчак.

— Ты играешь? — полюбопытствовал я.

Скунчак кивнула утвердительно.

По раскрашенному фасаду *Panama City* бегали электрические огни, как это делают все огни казино во всех уголках земного шара от самых крутых до самых провинциальных. Провинция заключалась не в безвкусности заведения, безвкусны они все, а в какой-то общей потертости и обшарпанности. Я подавил зевоту.

Шофер, выйдя из машины, распахнул даме дверь. Огромный детина, под два метра ростом, с огромным лбом, занимавшим полголовы, остальная часть поросла пышными седыми кудельками, напоминавшими торчащие в разные стороны стальные проволочки, от чего он казался еще выше ростом. Молодому, гладкому его лицу обилие проволочек шло. Во всем облике его было что-то птичье, как и в Скунчак, с одним уточнением: если птица — орел-стервятник. И глаза у него были посажены так же близко, как у нее. Это придавало им странное родство. Их можно было принять за брата и сестру. Еще он походил на казачьего полковника. Не просто казака и не просто полковника, а именно казачьего полковника, кажется, он называется войсковой

старшина. Ярко-черные усы топорщились упрямо и гонористо. Он был одет в темно-синее пальто от Армани и отменные бурки, коричневая кожа приторочена к белой валяной основе, шарф на шее отсутствовал, однотонный галстук и воротник белоснежной сорочки, как у нашего стюарда Саши, семафорили о полном служебном соответствии. Все было по-русски. Армани и валяные бурки являли собой такую же *Шехерезаду Степановну*, что и *prêt a porter* на шофере и телогрейки на его пассажирах.

— Вы будете нас ждать!.. — скорее приказала, чем спросила Скунчак.

— Нет, — не подчинился шофер. — Я пойду с вами. Одну минуту, только переобуюсь.

Действительно, через минуту на нем оказались хорошо начищенные ботинки, а бурки небрежно брошены в багажник. Он шел впереди, широко разворачиваясь всякий раз, когда нужно было подать Скунчак руку или пропустить ее вперед. Люди из служащих здоровались с ним, но не как с ровней или знакомцем, а как с начальником.

— Чей вы шофер? — повернулась, наконец, к нему как человеку Скунчак. — Кто прислал за нами машину?

— Никто, ничей, — отвечал наш спутник. — Я сам и прислал, и сам приехал. Мне сказали, кто вы.

— А вы кто? — Скунчак была явно заинтригована.

— А я и есть настоящий хозяин *Панама-сити*.

Скунчак расхохоталась:

— Во как в точку попали! А зачем было называть прочие? Из честности?

— Из судьбы, — услышали мы.

Для начала он предложил нам перекусить, и мы перекусили. Меню: зеленый салат с крабами, налимья печенка, медальончики из лосиного мяса, пельмени по-сибирски с горчичным соусом, терамису и кофе-эспрессо. Матерчатые салфетки в кольцах, мельхиоровые приборы почти как серебряные, роза алая в бутылке, как у Окуджавы. Хозяин не пил, я пил красное вино, Скунчак пила водку маленькими глотками, морщась после каждого глотка, и ничего не ела. Я хотел увлечь ее хоть чем-то, пообещав, что пальчики оближет, но она подняла не облизанный пальчик кверху и помотала головой, чтоб я умолк.

Хозяин несколько раз отлучался звонить по мобильному. Затем сел и, отключив его, отдался нам:

— Я ваш.

— Рассказывайте, — потребовала Скунчак.

Он рассказал.

Был секретарем райкома партии по идеологии. Хотя реально — по делам молодежи. В работе по самые уши. Диспуты типа кто нужнее стране, физики или лирики, студенческий КВН, студенческий НТТМ, коммунистические субботники *сделаемнашгородкраше,* спортивные праздники, конкурсы художественной самодеятельности, экскурсии в Нерчинский острог и другие места лишения свободы при царизме, развлекались, как могли, отчетные галки так и садились на бумажные поля как живые. И надо же, чтобы Горбачева он возненавидел — по той причине, что все в райкоме стало трещать по швам. И когда некая Андреева написала письмо в газету *Советская Россия* про двурушничество, отступничество, ренегатство и ревизионизм нового генсека, бросился писать отклик в поддержку геройской ленинградки. Да что-то ему стало скучно, перечел написанное, перечел напечатанное, понял, что запутался в своем *верую,* скомкал одно и другое, уехал в тот самый Хохотуй, к родной бабке, жил у нее в щелястой избе, поправлял венцы, ловил изворотистую рыбу в речке, смотрел, как бегут наверху легкие вольные облака, а, воротившись в Читу, угрюмо положил партбилет на стол. Пошел к своим ребяткам в НТТМ, что расшифровывалось как *научно-техническое творчество молодежи,* по примеру Москвы, где, по примеру той же Москвы, ребятки уже вовсю крутили спекуляции с компьютерами, что стало называться малым бизнесом, принося немалый доход. Работа с деньгами — та же работа с людьми. Это заинтересовало. Присоединился, а скоро, в силу бывшей должности и натуры, возглавил. Деньги ребятки вложили в первый частный ресторан, потом в сеть ресторанов, потом все между собой расплевались, кто сел, кого убили, для него дело кончилось *Panama City,* единоличным теневым владельцем которого он стал.

— От идеологии как развлечения к развлечению как идеологии, — сформулировал я.

— Красной нитью, — согласился он.

Он был гладок на морозе, в тепле стали заметнее провалы щек, ползший по чисто выбритому подбородку шрам, извилистый, как червяк, складки на лбу. Видно было, что он не врет, а рассказывает, как, бывает, рассказывают попутчикам в поезде, когда понятно, что сойдутся и разойдутся, и никогда больше не встретятся, и ложь, которая склеивает отношения близких, с далекими излишня. Но все же кое-какие пропуски были. Ни я, ни Скунчак в душу к нему не лезли, довольствуясь добровольными признаниями, взгляд у нее, однако, обострился. Следовало признать, что если у меня и был шанс поглубже узнать в автомобильной поездке эту женщину, что возможно при розыгрыше

партии на двоих, шанс этот упущен, поскольку в партию вступил третий, и на неслабых основаниях.

Пошли в игральный зал. Народу было три человека за рулеткой и человек пять у автоматов. Полутьму подчеркивали низко висевшие медные лампы. В их направленном свете отливал темный лак высоких стульев, косивших под красное дерево. Рулетка крутилась, шарик прыгал и носился, как заводной, игроки делали ставки, крупье, как и положено, в бабочке, заторможенно двигал туда-сюда фишки своей лопаточкой. Увидев хозяина, проснулся и задвигал посноровистее.

Скунчак присела к столу на край стула как бы ненадолго. Я знал эти приседания. Я знал силу притяжения бегающего шарика, придуманного Паскалем вовсе в иных видах. Желая изобрести вечный двигатель, философ и математик изобрел по ходу дела рулетку. Бескорыстным изобретением воспользовались корыстные, как это и бывает что в частной, что в общей истории. Теперь во всех так называемых цивилизованных уголках земли, за исключением самых диких, азартные игроки, теряя и не теряя голову в надежде на крупную удачу, опираются на системы *Martingail, Tomas Donald, Titanic, Dalamber, Contr-Dalamber* и прочие, включая доморощенные, придуманные на коленке, помогающие столь же слабо, сколь и научные. Достоевский, чтобы ему засветила удача, должен был уложиться ровно в одну тысячу четыреста пятьдесят семь шагов от съемных комнат до здания вокзала в Баден-Бадене, где располагался игральный зал, и там ставил на цифры, кончающиеся семеркой, а в итоге надо было бежать с пересохшей глоткой закладывать серьги, обручальное кольцо и свадебное платье Анны Григорьевны, чтобы и эту не искупаемую жертву бросить в пасть Молоха, именуемую рулеткой. Угадать, на какое число упадет волшебный шарик, — о, я перепробовал все системы, пока не догадался, что есть ученый, случайно набредший на свое открытие, но нет науки. Вы можете рассчитать научно вашу жизнь? А жизнь и есть рулетка, простите за примитивность, где мало кто в выигрыше, остальные в проигрыше. А ежели вы не верите в бессмертие, а признаете элементарную конечность жизни, то выигравших ни одного, все проигравшие.

Я не заметил, как и когда за столом образовалась большая компания, как и когда пошла большая игра. Мои попытки оторвать Скунчак от рулетки были напрасны. Она вошла в такой раж, что только алмазы ее сверкали, как сверкают пятки, когда человек бежит. Она бежала на месте, она тряслась от бега, это было похоже на бег от судьбы или за судьбой. Хозяин наблюдал за ней свысока в силу своего двухметрового роста, время от времени взглядывая на часы. По лицу его ничего нельзя было прочесть. Почему-то в голову пришла идиот-

ская фантазия, что этот человек мог бы бросить все и пойти за ней, хотя мне был неизвестен багаж, который ему при этом пришлось бы бросать. Бросила бы она все, чтобы пойти за ним, учитывая ее биографию, — вряд ли.

Он оторвал ее от стола, когда до отхода поезда оставалось не больше четверти часа:

— Бегом!

Она проиграла кучу денег.

Обратно мы мчались на страшной скорости, нас то и дело швыряло по дороге так, что мы подскакивали, едва не пробивая потолок черепом, я на заднем сиденье, она на переднем. Хозяин *Panama City* при всем при том был безмятежен или казался таковым.

Я постарался сделать хорошую мину при скверной, во многих смыслах, игре:

— Чита ведь тоже начиналась как Читинский острог...

— Читинский, Нерчинский, Краснокаменский... — перечислил он остроги, как давеча перечислял казино.

— Это где Федорковский сидит? — оживилась Скунчак. — А нельзя к нему съездить?

— У нас семь минут, но если вы останетесь, то можно съездить и к Федорковскому, и в Хохотуй, и на озеро Байкал, куда угодно. Оставайтесь, — вдруг попросил, как потребовал он.

Машину круто бросило в сторону. У меня засосало под ложечкой. Не из-за поворота машины. Из-за поворота судьбы.

— Но должен предупредить, что казино я закрываю, — добавил хозяин казино.

— Почему? — спросил я.

— Потому, — сказал он. — Кризис, с одной стороны, с другой, все заведения выводятся, что из Москвы, что отовсюду, на пустом месте создается несколько игровых зон, но мне это уже неинтересно.

— А что интересно? — подпрыгнула в какой раз на сиденье Скунчак.

— Деньги нужны мне не сами по себе. Был план привести в порядок как раз вот окрестные тюрьмы и лагеря. Чтобы как в Европе. Народ наш в большинстве своем ведь через что прошел? Через места заключения и прошел. Поэтому тюряга на экране, феня в литературе, вся народная и авторская песня на этом замешана, тут наше воспитание. Так пусть начнется не с вонючей параши, а с фарфорового унитаза.

— А теперь... — начал и не кончил я.

— Теперь осуществление плана, — закончил он.

— Вы тоже сидели? — спросила Скунчак в лоб.

— Да, — последовал лаконичный ответ.

Семь минут истекли. Я шел по перрону. Один. Поезд стоял. Скунчак не вылезла из белого *мерседеса*. На прощанье пообещала, что свяжется с Адовым по е-мейлу или по мобильному, сообщит, куда прилетит, в Красноярск, Новосибирск или Тюмень, и чтоб Очковая Змея к тому времени убралась, если не из поезда, то уж из купе непременно. Притянула меня к себе, поцеловала и сунула что-то в руку: сувенир на память, я клептоманка.

Это была утащенная ею из казино фишка.

Я положил нагретый теплом рук Скунчак кружок в карман телогрейки и благополучно позабыл о нем.

4

Я нашел серьезные перемены у себя в купе. Вещи Пенкина исчезли. Их место заняли вещички. Мужской багаж отличается от женского множеством признаков. Яркий платок, брошенный на спинку кресла, бархатные тапочки с помпонами на полу, лак для ногтей и смывка на столике не оставляли сомнения, что отныне у меня не сосед, а соседка. Через минуту она появилась.

— Вы не возражаете? — спросила Сельянинова.

— Больше того, я на это рассчитывал, — двусмысленно ответил я. — Если позволите, я перестелю постель.

Красные пятна на ее лице сделались свекольными.

— Я хотел сказать, что займу естественное положение сверху, а вы снизу, — поспешил объяснить я и, кажется, сделал еще хуже.

Алая Сельянинова села в кресло и, потянувшись ко мне, взяла мои руки в свои.

— Лучше нам сразу условиться обо всем, что между нами может быть и чего быть не может, — сказала она и раздула ноздри своего тонко вырезанного носа, как молодая кобылка.

— Разговор займет часы? — любезно осведомился я.

— Минуты, — посчитала она. — Дамское кокетство мне несвойственно, поэтому в двух словах. Не знаю, отчего, я вам поверила. Думаю, оттого, что Адов к вам расположен. Это все. Сверх того ничего. Меня все устраивает в моей жизни.

Мне нравился ее стиль. Она была женщиной во всем и в то же время обладала мужской хваткой. Как мужчинам-творцам свойственно женское начало, так женщинам-творцам свойственно мужское. Раздвоение — сложная штука, прежде всего для самих носителей. А кто сказал, что люди, самые интересные из людей, — инфузории-туфельки?

— Вы мне по душе, — сказал я, поворачивая ее ладони так, чтобы они оказались в моих. — Не выпадало случая сказать вам это раньше. Да я и не знал вас так раньше, как узнал за эти несколько дней. И контракт, предлагаемый вами, мне по душе. Я, по крайней мере, обещаю его исполнять.

— В подтексте: не пожалею ли я об этом контракте? — Она чуяла своим остреньким носиком даже не мысль, а дуновение мысли.

Я рассмеялся. Она отняла свои руки и вспушила ими и без того пушистое светлое облако своих отливающих золотом волос. Ее пластика была безукоризненна. Ее красные пятна на щеках я почти перестал замечать.

— Пенкин переселился к Адову? — спросил я.

Кивнула утвердительно.

— На самом деле, есть возможность упростить ситуацию. — Я был честен с ней. — Освободилось место в купе Очковой, если хотите, можете перебраться туда.

И я рассказал ей об эмиграции Скунчак.

— Шикарная девка! — одобрила Сельянинова поступок Скунчак. — Я бы с удовольствием сделала о ней кино.

— Зачем вам-то лепиться к эпатажной особе! — укорил я Сельянинову, словно пару часов назад сам не лепился.

— Это другое. Мне любопытно. Мне кажется, она гораздо содержательнее своего эпатажа.

Ночь в поезде я провел один. Крепкий сон, которому не мешали шаркающие шаги Пенкина, шлявшегося туда-сюда, его хриплое дыхание и отхаркиванье курильщика, звяканье чашки о блюдце при утолении посталкогольной жажды, — крепкий сон мой оставил меня. Казалось, напротив, спи всласть, сколько душе угодно. Вконец обнаглевшая, встала и не уходила бессонница, нависая над моим одиночеством. Последняя подружка, смеясь, остроумно обозвала меня Крисом Среднего Возраста. Исполняя надлежащую роль не по своей воле, кем оставался я сам для себя? Этот *русский вопрос,* из серии классических, будоражил нервы, вызывая нервные судороги. Для меня не было тайной, что мною и через меня пишется история, как она пишется через других и другими, вероятностное отличие состояло в том, что не все другие о том задумывались. Бессонница мучила более отчетливой, более безжалостной постановкой вопроса, чем это было в часы активного бодрствования. Правда являлась тяжелая и холодная, как сырой кусок мяса, всегда страшивший, — когда я видел красное мясо во сне, возвращалась болезнь, мясо было предвестником. Частный *русский вопрос* нечувствительно перерастал в общий. Через резкую смену пейзажа,

через трудный, рвущий жилы переход, через переизбыток и недостачу, через массовое крупное и мелкое мошенничество, сопровождавшееся отдельными пусть героическими, но жалкими попытками честности хотя бы с собой, — так катилось это *красное колесо* кризисных времен, как будто когда-то они были иными! Исторические подробности, как злые собаки, рвали на куски подробности личные. *Земную жизнь пройдя до половины...* Бессмертная строчка бессмертного итальянца, которую русские простаки повторяют чаще, чем *Отче наш*, приходила на ум и мне, бедолаге, когда одиночество накатывало, как... как *Русский вагон,* не находись я в нем в качестве участника *пиара,* а бреди по железнодорожным рельсам, подобно Карениной. *Как сумасшедший с бритвою в руке* старшего Тарковского тоже годилось сюда.

Убаюкивающий стук колес, меж тем, по-прежнему выводил *пи эр в квадрате,* или *пи ар в квадрате.* Получалось, что формула, описывающая окружность, одновременно описывала цель, которую осуществлял *Русский вагон*, о чем не догадывался древний геометр, догадавшийся о многом. Умники редко догадываются о пошлости, какую наследуют глупцы. Или лучше сказать, в какую глупцы превращают наследство умников. Паскаль, тот же Бродский с Солженицыным... Я рисковал, размышляя о великих как о своих домашних. Но не о ничтожных же размышлять в ночном вагоне в полном одиночестве, принадлежа себе и Вселенной. От самовозвеличивания к самоуничижению и обратно — вечный перестук колес, вечная рулетка. На ум пришли строчки, возникшие ни с того, ни с сего в позапрошлый приезд в Россию, когда похожей ночью я стоял у окна гостиницы *Россия,* позже разрушенной, а дописывал их другой похожей ночью, у окна так называемой новой гостиницы *Националь,* также затем разрушенной. Строить и разрушать — похоже, в этом заключалась *русская национальная идея.*

Вечный Жид — это вечно жидовская морда,
жизнь в кусках и отрезках как вечная мода,
и несчастье как приговоренное платье,
и проклятье — заплатой, а расплатой — распятье.
Вечный Жид — это нетривиальная штука,
это вечное бегство и вечная адская скука,
это вечный огонь для солдата, что не оставил редут,
в Александровском и Гефсиманском саду.

Уж лучше бы храпящий Пенкин под боком.

Простенькое чувство это примиряло с неизбежностью: мне не оставить редута.

Прогрохотал встречный. На этот раз как беспримесная метафора жизни и смерти: для нас все было позади там, где для них впереди.

Тусклый рассвет за чистым стеклом *Русского вагона,* на котором кто-то извне успел процарапать три буквы, еле-еле одолевал ночную темноту, когда я, в скомканных простынях, переложив в очередной раз жаркую, как женское тело, подушку прохладной стороной под щеку, стал болезненно задремывать.

Маленькая станция Селенга ждала нас на утро.

Едва успев умыться и почистить зубы, я выскочил на платформу, уже забитую толпой наших и не наших. Оглядывая ее, я еще раз порадовался тому, что, минуя стоянки в центрах, миновал и братания с баронами отечественного бизнеса, о каких упоминал Ваня. Порода функционеров, длинными руками загребавших длинные деньги на крупных участках крупной промышленности, была мне известна до последней пуговицы на их пиджаках либо мундирах, называйся они советскими или российскими, без разницы. Люди растут, как поганки, говаривал мой закадыка, когда был жив, переиначивая пафосный штамп в анекдот. Начальники от века росли в этих лесах, как на подбор, лобастые, с двумя-тремя шейными складками, зычными голосами и писклявым смехом, зык и рык годились по-прежнему для употребления с работягами, подобострастный смешок по-прежнему предназначался высшему начальству, всяк знал свой маневр, кому сунуть зуботычину, кого вылизать до гланд, официальная отчетность и личная выгода мешались, как встарь. Конечно, среди поганок, глянь, и попадется крепкий боровичок или свежий красноголовик, человек-ядрен-корень, самостийный самородок. Шанс встретить такого увеличивался на открытой, продуваемой всеми ветрами поляне. *Искоренить частника* — семьдесят тощих лет звенело из радиоприемников, вбивалось в каждую башку. Частник — частная жизнь — частный человек — частная собственность. Все чужое и чуждое. Все запрещено. Почва, на которой произрастал советский человек, удобрялась бумагами с резолюциями. Двадцать лет, как резолюции отменены, бумаги сожжены. А что изменилось? Воротился ли частный человек, живущий свою частную жизнь? Счастливее ли он в двадцать первом веке, нежели в восемнадцатом либо девятнадцатом? Про двадцатый не говорю, что о нем говорить, он вот он, только что просвистел, в репьях и полыни, в дорожной пыли и болотной жиже, в колючей проволоке и бритвенных лезвиях, в кровавых сгустках и гнойных язвах. Наверное, я не выспался.

Перед выходом Адов сунул мне бумажку с перечислением бизнесов встречавших. Если в центрах царила постоянно действовавшая спецвыставка согласованных в *инстанциях* баронов, на окраинах дело, по счастью, пустили на демократический *самотек*. Быстро пробежав

бумажку глазами, я поставил крестик против коптильного хозяйства П. Ухова. Сказать честно, проявил *вкусовщину в работе*. Рыбки копченой захотелось, как школьнику.

По обыкновению, напоминало то ли базар, то ли биржу труда. Выясняли, кто есть кто, кто с кем куда идет и едет, составлялись пары, тройки и даже шестерки. Кто-то пользовался наибольшим успехом, кто-то грустно стоял в сторонке, как дурнушка на ярмарке невест, которой никто не сделал предложения. Адов и Сельянинова выгрузились со своей компактной аппаратурой и уже садились в чей-то микроавтобус. Пенкина вместе с Мелентьевым вел к *субару* квадратный, бородатый, с перебитым носом и полузатекшим глазом, похоже, бывший боксер. Среди *новых русских*, не в криминальном, а в прямом смысле, было множество бывших. На самом деле, бывшие и стали новыми. От бородача исходила удаль. Пенкин то подслеповато, чуть согнувшись, глядел себе под ноги, без очков он как-то утерял свою осанку, то неуверенно оглядывался по сторонам, пытаясь оторваться от сложившейся компании, но бородач крепко держал его за руку. Мелентьев, с вечно двусмысленным выражением отекшего лица, что вроде он и свой парень, а все равно умнее всех тут, уверенно шагал впереди. Они не разговаривали, Пенкин с Мелентьевым, они даже не здоровались, поскольку были идейные враги. Случай сыграл с ними злую шутку: не сговариваясь, оба выбрали бородача с его бизнесом и теперь были скованы невидимой цепью.

Я закричал:

— Кто здесь Ухов?

Выдвинулся куривший в сторонке невысокий ладный мужичок в летной меховой куртке и летной фуражке, с физиономией красно-коричневого цвета, будто навеки удерживающей летний загар. О таких физиономиях говорят: кирпичная морда.

— Я Ухов.

Тут же возле него каким-то манером оказалась прежде не замеченная мной Маня:

— Вы Ухов?

— Я Ухов, — повторил он.

Кирпичную морду украшали два волглых, как у сериального артиста Домогарова, глаза, такие глаза нередко попадаются у пьющего российского народа.

— Берете меня с собой, — распорядилась Маня и бросила на меня вызывающий взор.

— Меня тоже, — мирно попросился я.

— Поехали. — Мужичок затоптал окурок в снег.

Мы направились в сторону *уазика,* золушкой смотревшегося среди *субару, тойот, мазд* и прочего ношенного и не ношенного иностранного ширпотреба, каким обогатились за два десятка лет Сибирь и Дальний Восток. По пути я увидел, как вслед за Пенкиным и Мелентьевым четвертым в *субару* бородача с перебитым носом залезает Ваня. Будет буфером, подумалось мне уместно железнодорожное.

— А что же муж? — счел я нужным проявить вежливость.

— Монетку кинули, кто к рыбокоптильщику, кто к золотодобытчику, мужу выпало туда, мне сюда. — Маня забралась на высокое переднее сиденье и вещала оттуда.

На миг я посожалел, что был невнимателен при чтении списка: золотодобытчик-то поинтереснее рыбокоптильщика будет. Но тут же возблагодарил судьбу, что монетка упала так, а не иначе.

— К *Русскому дому Селенга* имеет отношение? — не столько спросил я, сколько подумал вслух.

Ухов ответил, заводя мотор:

— Имел. Пока вся ихняя афера не накрылась медным тазом. Кого посадили, кто успел за кордон смыться, кто продолжает. Золотодобыча никуда не делась, как мыли песок, так и моют. Переменилась схема. В первом приближении, или через госкооперативы, или старательская, артельная. Хотя золото так и так государству идет, на него же госмонополия.

— А что лучше?

Уазик, загремев не хуже бульдозера, больше не утихал, приходилось не говорить, а кричать.

— Артельная али государственная? — прокричал Ухов. — Ежу понятно, что артельная! При любых издержках! Воруют и частник, и чиновник! У чиновника выработки минимум, жульничества максимум! Правда, и частник бывает такой мерзавец, что хоть святых выноси!

Мне понравилось, что он не выгораживает своих.

— Ваня поделится сюжетом, когда вернется? — тронул я Маню за плечо. — Предмет уж больно интересный!

— Золото? — уточнил Ухов. — Рыба не менее интересна! — В голосе его прозвучала не ревность, а превосходство.

— Золото — материал мистический! — возразила Маня. — А рыба — что рыба?..

Я не был уверен, что Ухову доступно понятие мистического. Он, однако, рассмеялся, смех выдавал человека знающего.

— Рыба, считаете, менее мистический?!. Когда вся эта груда золотая, вынутая из воды, из среды, где была жизнь!.. лежит-колышется-переливается на солнце на палубе!.. хлюпая жабрами, в ожидании

конца жизни!.. что обязательно последует в чуждой, воздушной среде!.. для человека годной, а для рыбы нет!.. невольно в башку приходит!..

Неровность под колесами чуть не вышибла руль из рук Ухова, но он ловко справился.

Мы как-то очень быстро выбрались из города и теперь мчались по заснеженной кривой колее, справа и слева от которой ничего не было, кроме дальнего, синей стеной стоящего, будто заколдованного леса.

— Что в башку приходит? — поторопила Ухова Маня.

— Разные мысли приходят!.. Скажем, что кончилась Эра Рыб и началась Эра Водолея!.. А что это значит... не для рыб, для людей... какими вышли из одной эры и перешли в другую?.. Я напомню вам слова пророка Исайи о Египте: *и восплачут и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для рыбы, упадут в духе...*

Ночного моего настроения как не бывало. Ухов лечил лучше доктора Джонсона.

Маня не отставала:

— Значи,т вы занимаетесь не богоугодным делом?!.

— Что не безрассудно, то богоугодно!.. — в очередной раз вывернул руль на скользком повороте Ухов. — Он предупреждал египтян не жадничать безрассудно!.. Жадничающий да будет наказан!.. Но сам же накормил пять тысяч человек двумя хлебами и пятью рыбами!.. А какая эмблема христиан первой Церкви?.. Рыба!..

— И на берегу Кинаретского озера в Иерусалиме стоит Храм Приумножения рыб и хлебов!.. — выступил я на стороне Ухова.

— Петр ловил там с рыбаками рыбу!.. — подхватил Ухов. — Ничего не поймал!.. И тогда предложил Петру попробовать еще... И Петр вытащил сеть, полную больших рыб!..

— Числом сто пятьдесят три!.. — подхватил я.

— И Он возвел Петра в ранг Первосвященника!.. — завершил Ухов.

Маня слушала, приоткрыв свой восхитительный ротик. Кожа на ее лице сияла, будто умытая свежим молоком. Про лицо ее Вани можно было сказать, что тот умывался прокисшим молоком. Я сделал над собой усилие и выкинул Ваню из головы.

— В бумажке вы П., вас тоже Петр зовут? — спросила Маня.

— Петр! — подтвердил Ухов.

Снег вокруг сверкал, как набриолиненный. Узкая лента трассы, сто лет не чищенная, изобиловала буграми и рытвинами, на которых наш сумасшедший *уазик* даже не тормозил, взлетая вверх и опускаясь вниз с таким грохотом, что держись. Я вспомнил магаданского человека и

читинского тоже и подумал, что на сибирских просторах все водилы норовили одолеть пространство за счет времени. Я ошибался. Не все. Изредка попадавшиеся встречные машины приостанавливались и пережидали, пока наш летательный аппарат пролетит мимо, и лишь после этого возобновляли движение. Целью нашей была деревня, где располагался рыбокоптильний заводик Ухова.

— Знают меня!.. — ответил Ухов на не заданный вопрос, кивая на очередной пережидавший транспорт. — Я ж летчик!..

— По характеру?!.. — спросила Маня.

— И по профессии!..

— Можно включить?.. — Маня достала диктофон.

— Не надо!.. — воспротивился Ухов. — Так я так с вами разговариваю!.. А так буду стараться, как президент в телевизоре!..

Мы все трое рассмеялись.

Пилот первого класса, он летал на *сушке* с напарником, которому до пенсии оставалось три года, а вместе они налетали около двух тысяч часов. Загружаясь в свой СУ-26 для очередного вылета, Ухов напарника не узнал. Вместо знакомого ястребиного лика из-под шлема выглядывал круглый блин с маслянистым носом. Блин с маслом, родственник какой-то шишки из Генштаба, поведал Ухову, что отныне он его штурман, а предыдущий товарищ, по кличке Цыган, списан на землю. У штурмана, с которым Ухов отлетал семь лет, и впрямь в роду был дед-цыган, но уже он не кочевал шумною толпой, а осел на земле, а внук, тот просто в небо взлетел. Кадровый цирк Ухова напряг. Так не полагалось ни в какой армии. Если армия цивилизованная. Генерал, разъевшийся на генеральском пайке до таковских размеров, что ни в какую пилотскую кабину больше не помещался, прыснул вроде прыщавого школьника, которому рассказали мужской анекдот, когда Ухов произнес последнюю фразу — насчет цивилизованной армии. Она реально оказалась последней. Ухов, не отходя от генеральского стола, сей же час накатал рапорт об отставке. Он не хвалился, что был лучшим летуном в отряде, но по каким-то боковым ответвлениям рассказа выходило, что не худшим. Ухов подал бумагу из гонора, что честно нам и сказал. На донышке идеалистической души его застенчиво жила-дышала фантазия, что вот сейчас генерал разорвет рапорт и вернет дружбана-напарника. В сорок три года можно уже не быть таким фантазером. Он пошел на принцип, но и генерал пошел на принцип. В результате потомственный летчик-ас, военная косточка, оказался вне доблестной армии. И запил по-черному. Дело дошло до суицида, жена из петли вынула, настаивала: иди лечиться, — но тут кто-то сказал, что в деревне, поблизости от летной части, есть старая рыбокоптильня, продается за

гроши, и что и пускай продается, какое отношение имеет рыбокоптильня к пилоту военной авиации, хочу рыбки, сказала жена, знавшая мужа лучше, чем он сам, пошли сняли с книжки накопления, купили рыбокоптильню, и закрутился небесный челнок земным челноком, с ремонтом, кадрами, сырьем, оборудованием, финансами, продуктом на выходе и реализацией продукта, а там не за горами оказалась начальная денежка, и жена впервые за жизнь выехала на заморский курорт в страну Турцию. Редко-редко посреди крутежки останавливался Ухов и замирал, глядя в небо, и душа у него тогда болела, как зубной нерв. Спасала Библия. Батюшка подарил, как покрестился Ухов после черного своего запоя, а уж позднее в рот не брал.

Вдалеке на дороге из ниоткуда показался парнишка. Почудилось, будто стоит. Через полминуты стало ясно, что не стоит, а двигается, и в ту же сторону, что мы. Не оглядываясь, ступил вбок, чтобы пропустить наш аппарат. Ухов тормознул.

— Колька!.. Садись!..

Я подвинулся, Колька сел рядом. Выглядел он лет на четырнадцать. Шмыгнул носом, размотал пестрый шарф, обнажив беспомощную петушиную шею, снял черную шерстяную вязаную шапку, какую взяли моду носить молодые парни от кавказцев до скинхедов, под шапкой буйно вились темные кудри, огнем горели темные цыганские глаза. Я заглянул в них и пропал. Я больше не был я, а был Колькин папаша.

...Мы стояли в стоячку в нашем заплеванном, закаканном шалмане, тянули пиво с водкой, разлитой в кружки под столом. Хорошо принявший Ухов уставился взором в дешевый порушенный пластик, не обращая внимания на маленького Кольку, который тянул меня за штанину: пошли, да пошли, мамка ждет и плачет. Я стал собираться. Ну как собираться — застегнулся на все обе пуговицы, остальные оторваны, — мороз ведь какой на улице, — натянул на голову ушанку, стал надевать меховые рукавицы, останки былой роскоши, и пропустил момент, когда погруженный в себя приятель мой и командир, из себя выйдя, шибанул Кольку по ушам: пшел отсюда, шкет, нечего сопливым тут делать, а мамке скажи, отец сам придет, как решит, а не как сопливый шкет за собой потащит, ровно пса шелудивого. Не снимая рукавицы, заехал я кулаком Ухову в скулу, чтоб не смел лупцевать мое единственное чадо. Цыгане рожают много детей. Но я был цыган в третьем поколении, а супруга моя и вовсе русская, по женской части нездоровая, потому Колька единственный уродился. От удара Ухов пошатнулся, на ногах, однако ж, устоял и залепил мне ответную плюху, по пути к скуле заехав в челюсть, отчего пришлось выплюнуть два передних, самых красивых моих белых, в кровище, зуба. Колька

захныкал, за что сей же час получил строгого отцовского воспитательного подзатыльника. Кончилось дело в ментовке, где два боевых товарища разошлись полностью и бесповоротно, вслед за чем отпущенный Ухов вернулся домой, потопал в сарай, где у него лежал разный рабочий инструмент, включая веревку, и наложил там на себя руки, и кабы не сверхъестественная интуиция его любящей супруги, был бы этот храбрый и честный друг мой, эта сволочь, поднявшая руку на моего ребенка, мертв бесповоротно и полностью.

Я видел все, что случилось, как на киноленте, вплоть до окровавленных зубов Колькиного отца, которым я и был, и когда все было кончено, потрогал свою верхнюю челюсть, не веря, что мои собственные зубы на месте и не шатаются.

— Что отец?!. — прокричал Ухов.

Колька не ответил.

Не стесняясь его присутствием, Ухов стал рассказывать. То, что исполнялся рассказ форсированным голосом, придавало описанию странное остранение, словно это про чужих, но я-то знал, что не про чужих, а про меня и моего двойника.

Учась в профучилище на повара, пацан мог бы жить в общежитии, педчасть предлагала; но Колькин папаша уперся рогом, негоже, мол, сыну при живом родителе уходить из дома, словно сироте-нищенке, отцовская гордость не позволяла. Бывший штурман взял себе манеру трезвым везти на старом *жигуленке* сына в город, в училище, там надираться, пока сын учится, а, возвращаясь из города уже на бровях, по дороге обязательно с парнишкой ссориться и выгонять из *жигуленка*, так что остаток пути тому приходилось одолевать пехом, если кто не подвезет. Гаишники выписывали штрафы, проштрафившийся не платил, а они не настаивали: мужик свой, к тому ж из летунов, а денег нет, какие деньги у пропойцы.

— Мы это дело начинали на пару с его отцом!.. — щелкнул Ухов желтым ногтем себе по кадыку. — И прикончили одновременно!.. И на рыбокоптильный завод я взял его номером первым как товарища и дружбана!..

А дальше стряслось то, что стряслось. Супруга моя, Колькина мать, померла от опухоли, что обнаружилась в матке, а резать было уже поздно. Мы жили неплохо вместе, но молча. Я сказал ей про любовь, когда она была еще зеленая пигалица семнадцати годков от роду, едва из школы, а я уж служил в летной части, занятие это примирило ее родителей с цыганской кровью будущего супруга; сказал один раз, а больше не повторил, чего повторять, ничего же ж не изменилось, и, лишь бросив горсть мерзлой земли на крышку гроба и прикинув

разницу между ее обиженным мертвым лицом и прежним терпеливым живым, понял, что она и обижена на то, что ей моих слов при жизни не хватило. И что-то со мной стряслось, что стал заявляться на могилку, как в гости, падать на коленки и твердить слова, словно она могла их услышать. Не просыхал. Кризис.

— Крис!.. — услыхал я.

Маня спрашивала:

— Крис, с вами все в порядке, Крис?!..

Я не любил своего имени и не знал, что сказать.

Ухов кричал:

— Вот и получился водораздел между нами!.. А ведь уже оба бросили это пьяное дело!.. Я директор, он зам, бизнес пошел!.. Колька рос!.. Я еще пытался тянуть его, зарплату платил согласно штатного расписания!.. И он единственный, кто нарушал сухой закон и кому я прощал!.. Все же видели, все знали, что мы друзья, и что случилось, знали. Но вечно же продолжаться не могло!.. Сказал ему: вот тебе срок десять дней, прекратишь — все между нами и в штатном расписании по-прежнему!.. Нет — нет!.. Четыре дня держался!.. На пятый сорвался!.. И я его уволил!..

Колька сидел рядом со мной с безразличным лицом. Мне хотелось взять его за худые плечи и встряхнуть. А лучше прижать к себе. Но он бы вырвался. Я знаю таких ребятишек. И реакцию их знаю.

Россия — страна контрастов. Деревенские виды за окнами *уазика* подтверждали незамысловатое общее место. Покосившиеся, черные деревом избы, как бывают черны ликом старики. Заборы с выбитыми штакетинами. Кривые колодцы с намерзлым вокруг льдом, подступиться страшно, воду из них умеют брать одни обвыкшие профессионалы этого занятия. Среди черноты, кривизны и старости залетными жар-птицами смотрелись штук восемь новеньких коттеджей, скромных по сравнению с Москвой, шикарных по сравнению с соседским жильем. Еще несколько находились в состоянии возведения. Рабочих не видно, должно, по причине низких температур. Редкие туземцы, бредущие по снегу меж избами и дворцами, сплошь пьяны.

— Сколько ж у вас пьющих!.. — сокрушенно выдохнула Маня.

— А все!.. Кроме моих работников!.. — Форсированный тон Ухова заводил.

— А кто в хоромах живет? — Манин вопрос был как из сказки.

— А мои и живут! — как в сказке, отвечал Ухов.

Уазик остановился у низкого квадратного здания, весело крашенного в желтое с зеленым, что выглядело, как яичница с луком, а на самом деле являлось классической окраской зданий дворцового типа в

классические времена. По наитию ли выбирал краски пилот или имел подходящего дизайнера, — заводик смотрелся отлично.

— Подай мне руку!.. — попросила Кольку Маня, вылезая из машины.

Колька с тем же безразличным лицом протянул Мане руку. Она решительно схватилась за нее и быстро притянула Кольку к себе. Она была лучше меня. Она была моложе меня. Рефлексия ее не мучила, и она была свободна совершать верные поступки. Колька сделался красный, как вареный рак. Впрочем, возможно, мороз щипал ему щеки.

Барышня-крестьянка, встретившая нас в дирекции, была натурально городская барышня, в лаковых туфлях, в накинутой на плечи шубке из меха серебристой лисы.

— Знакомьтесь, мой бухгалтер, — представил Ухов.

Барышне-крестьянке было года двадцать два.

— Выходное или повседневное? — деловито осведомилась Маня, трогая мех.

— Каждый день носим, зима же ж, только валенки на туфли меняем в конторе и обратно, когда идем на улицу, — обстоятельно изложила бухгалтер.

Колька стоял в сторонке и не уходил. Видно было, что он тут дома.

Серебристая чернобурка на плечах нового поколения там, где старое бродило, нетрезвое, в обносках, спотыкаясь, а то и падая носом в снег, — оно таило в себе ту же опасность, что и *дворцы* рядом с *хижинами*. *Мир* первым, *война* вторым — лозунг Октября Семнадцатого был больше не в моде, но был в крови. Боюсь, в крови оставалось кроваво кровившее, однажды провозглашенное, отвечающее пра-инстинктам толпы и человека толпы.

Ухов приказал бухгалтеру принести какие-то папки, вдвоем они тыкали пальцами в строчки и цифры, он — заскорузлым, твердым, желтым от курева, она — в наклеенном темно-красном лаке, удлиняющем ноготь, возражая и соглашаясь. Я попытался вникнуть в их отношения, надеясь на мелочь, которая прояснит обстановку. Ничего не прояснило. А может, ничего и не было. Судя по интонациям, начальник был требователен и дотошен, чернобурая бухгалтер — малость туповата и послушна.

— Сами послали на учебу, сами вырастили кадр, — с гордостью отчитался Ухов, на этот раз деликатнее, когда бухгалтер вышла. — За поросятами ходила. Пока имелись в наличии в колхозе. А когда не стало ни колхоза, ни поросят, явилась ко мне. Отца-мать за руку привела. За ними брательника. Так семью и вытянула. А так вся семейка пила. Кроме ее одной.

— Кто у вас враги? — неожиданно вырвалось у меня.

— Кто враги... — протянул Ухов.

— Чиновник, пожарник, санэпидстанция... — подсказала опытная журналистка.

— Самые враги они — пьяницы, — не принял подсказки Ухов.

— Значит, надежды нет? — поинтересовался я.

— А кто вам сказал, что она есть? — в свою очередь, поинтересовался он.

Маня смотрела на него влюбленными глазами.

В цеху, естественно, провонявшем рыбой, редкий народ в объемистых резиновых фартуках, забрызганных рыбьей кровью, с налипшей на них чешуей, стоя в резиновых сапогах на мокром скользком полу, чистил рыбу, беря ее из одних чанов и бросая в другие. Я, наверное, не вытерпел бы рыбного запаха, забивайся он в мои ноздри целый рабочий день, да и в свободное от работы время дня и ночи тоже, потому как человеческий нос имеет нюхательную память и, даже когда источник далеко, привычку помнить и морщиться. Сейчас запах был волшебен. Я любитель-рыбак, и мне ничуть не противно ни соскабливать с рыбы чешую, ни вынимать из нее внутренности, пусть она при этом продолжает хлопать жабрами или вдруг забьется, как в припадке, словно живая, да еще и упадет с разделочной доски на пол. Я не могу ходить на охоту и стрелять в птиц и зверей. Рыба в моем внутреннем реестре под запрет не подпадает. Может, потому, что ею кормились первые христиане.

Ноздри мои особо затрепетали, когда мы вступили в малое царство непосредственно коптильни. Здешние ароматы были ни с чем не сравнимы. Какой-нибудь дух *Кристиана Диора* в подметки не годился духу копченой рыбы.

— Будете пробовать? — задал нелепый вопрос Ухов, будто не видя, что мы истекаем слюною.

Нас привели в комнату с деревянными лавками и таким же столом, один угол стола накрыт вощеной бумагой, на ней лежали четыре рыбины, по числу едоков.

Сглотнув слюну, Маня сказала:

— А можно, мы не будем пробовать? Можно, вы завернете, и мы отвезем нашим?

— Вашим уже завернуто, — махнул рукой Ухов. — Приступайте.

Отличная попалась мне коллега.

Мы ели аппетитнейшее рыбье мясо и продолжали философский спор о русском алкоголизме.

— Хорошо, а конкуренция вашей коптильне есть? — спрашивала Маня.

— Конкуренты небо коптить могут, а рыбу нет, — отвечал воздухоплаватель.

— Отчего? — любопытствовала Маня.

— Все оттого же. Пьют, — коротко объяснял летчик.

— Отчего? — настаивала Маня, будто не в этой стране жила.

— От скуки. Не работают и скучают, — детализировал Ухов, явно скуки не знающий.

— Вам их жалко? — не унималась Маня.

— Нет, — жестко бросал предприниматель. — Нет. За исключением Колькиного отца и еще, может, одного-двух несчастных, нет. Я ж вот не пью. Я работаю. Значит, можно работать и не пить.

— Но вы пили! — рубила правду-матку Маня.

— Тем более. Значит, в человеческих силах перестать пить, — стоял на своем Ухов.

— Но для этого нужно быть вами, — не льстила, а указывала Маня. — Энергичным, дельным и самостоятельным человеком. А основная масса привыкла к колхозу и к председателю, чтобы ничего за себя не решать, и так столетьями...

— Вот видите, вы сами все знаете... — усмехался Ухов. И, становясь серьезным: — По сути, это спор о яйце и курице. Если один смог, то и другой сможет. Просто один научается не давать себе поблажек, а выкладываться по полной, а другой себя жалеет, хнычет, находит любые поводы, чтобы прозябать, и чем дальше, тем плотнее вязнет в трясине, из которой до смерти не выбраться. Как в Библии о таланте сказано? Одному Бог дал пять талантов, другому два, третьему один, первый употребил их в дело и приобрел еще пять талантов, второй сделал то же и приобрел еще два таланта, а третий закопал свой один талант в землю. Последнего Господь называет лукавым и ленивым рабом и отдает его талант тому, у кого своих десять. Между прочим, талант — денежная единица.

— А почему раб и работник одного корня? — задумчиво спрашивала Маня. — Раб — невольник. Значит, и работник — невольник?

— Не умею вам на это ответить, — честно признавался Ухов. — Может быть, моя неволя — Его воля. Угадаешь Его волю, и уже не надо больше пить. Любовь ведь тоже неволя. То есть не ваша воля, а выше любви ничего и нет...

Коля ел свою рыбу и молчал.

На обратном пути Маня прокричала рыбнику:

— А Колю нельзя приспособить к вашему делу?!..

— Для того и учим!.. — крикнул рыбник в ответ. — Выучится — придет на производство!..

— И отца потянет?!. — крикнула Маня.

— Вряд ли!.. — трезво и честно ответил Ухов.

Мы сидели с Маней рядом, сзади, дорога то и дело прижимала нас друг к другу, но ни она, ни я так и не воспользовались этой дорожной услугой.

— А представляете, — вдруг тихо сказала мне Маня, — как они бьются, добро и зло в Колькиной душе, как на поле брани, где, с одной стороны, Ухов, а с другой, вечно нетрезвый отец-вдовец...

Пальцы наши пахли копченой рыбой, и сколько мы ни оттирали их простой бумагой, выделенной нам Уховым, ничто не помогало.

Прощались на перроне. Ухов закурил. Было заметно, что он нервничает. Маня неловко поцеловала его куда-то между носом и щекой. Он отбросил сигарету, обхватил ее лицо двумя руками и поцеловал в лоб.

— Спасибо, — буркнул он.

— Вам спасибо, нам-то за что? — удивилась Маня. — Мы пока еще ничего не сделали...

— Что хорошие люди... встретились вот... поговорили... это помогает, знаете ли...

На мгновенье он поднял свои волглые глаза к небу. И зажег новую сигарету.

Из окна вагона сцену наблюдал Ваня.

У меня на лбу под шляпой проступил пот.

5

Маня работала в *Новой газете*, Ваня — в *Старой*. Маню взяли работать в *Новую* со второго курса университета, нынче она заканчивала третий. Ваню пригласили три года назад вести семинар у первокурсников. Не столько пригласили, сколько уговорили. Он вяло сопротивлялся, ссылаясь на то, что не умеет говорить, что писать и говорить — две разных профессии, его уверяли в излишней скромности, он вытягивал бледные губы, облизывая их бледным языком, после этого возвращал язык и губы на место, такая у него была нервная привычка. Сошлись на одном семестре. Ради пробы. Длинный, с длинными руками и ногами, затягивавший длинные волосы резинкой, не обеспеченный ни одной выразительной чертой, он и на журналиста-то не походил, а походил на офисного клерка и говорил, как клерк, которому поручили годовой отчет по теории и практике его офисного, то есть канцелярского дела. Аудитория потихоньку приступила к игре в *скрабл*, запуску бумажных самолетиков, напевам модных мотивчиков

и сплетням из уст в уста — детским забавам еще не выросших детей. Он преобразился в ту же минуту, как маленькая, с большой грудью, напоминавшая комодик первокурсница подняла руку:

— Скажите, а может журналист быть объективным?

Вновь испеченный педагог чуть не поперхнулся.

— Он обязан быть объективным, — рубанул он воздух бледной ладонью.

— То есть журналист не должен брать ничью сторону, — как будто согласилась студентка. — А если одна сторона ему симпатична, а другая нет, тогда как?

— Причем тут симпатия! — с недоумением уставился на нее педагог. — Журналист имеет дело с фактами, которые он обязан объективно, полно и беспристрастно изучить и сделать из них объективные, беспристрастные и полные выводы.

— Понятно, — студентка не желала отступать. — А представьте себе, что из двух сторон одна вам чужая, а другая — ваша мать?

— Причем тут ваша мать! — педагог потер ладони одну о другую. — Мы говорим не о вашей матери, не о родственниках и друзьях, мы говорим о профессии!

— То есть как профессионал вы не сможете защитить вашу мать, если она попала в беду? — не унималась маленькая.

— Если хотите, да, я не могу использовать служебное положение в личных целях... — облизал педагог бледным языком бледные губы.

Маленькая не дала ему продолжать:

— Не хочу.

Семинар, за исключением самых ограниченных, с удовольствием слушавший диалог, больше похожий на дворовую перепалку, разразился смехом.

И тогда педагог сделал то, чего от него меньше всего ждали: присоединился к чужому смеху. Он хохотал звонче всех. Кислая физиономия его утеряла кислоту, бесцветные зрачки алмазно засверкали, на бледных щеках расцвел румянец. Старше своих студентов лет на десять, он помолодел и стал, как они.

— У тебя гибкий ум, детка, — похвалил он первокурсницу. — Ты попала в яблочко. При том что теория твердит о необходимости объективности в нашей с вами профессии, на самом деле, по глубинной своей сути, она субъективна. Нельзя перевирать факты, это грех, большой грех, но даже в выборе слов, даже во фразеологии, даже в интонации, какой мы пользуемся, просвечивает наше *я*. У кого оно есть.

Теперь они смеялись вместе с ним. Они разделяли его иронию, убежденные, что к ним-то, к любому из них, она не относится.

Казалось, он мог праздновать победу. Не тут-то было.

На следующем занятии маленькая зашла с другого боку:

— А как вы относитесь к этому сидельцу, Федорковскому? С симпатией или наоборот?

— В общем, с симпатией, — признался преподаватель.

— А в частности? — не отвязывалась приставала. — Вы считаете правым его в его борьбе с властью или правой власть в борьбе с ним?

— Тебе случайно не попадалось мое интервью с матерью Федорковского? — спросил препод.

— Как раз случайно оно мне попалось, — ответила студентка, — отчего у меня и возникли вопросы.

— Оно тебе понравилось? — полюбопытствовал препод.

— Да, — одобрила работу старшего товарища студентка.

— Так в чем дело?

— В том, что есть две большие разницы между представлением читателю симпатичной женщины и поддержкой позиции ее сына. В вашем интервью я вычитала одно, и для меня осталось загадкой другое.

— Не входило в задачу, во-первых, а во-вторых, это долгий разговор, почему власть права со своей точки зрения, а Федорковский прав со своей...

Конец фразы потонул в общем гуле неодобрения.

— А вы короче! — пробилась сквозь гул маленькая.

— Короче? Короче, речь шла о борьбе между ним и властью не на жизнь, а на смерть. И обе стороны, закусив удила, загнали себя в тупик. Выиграл бы Федорковский — власти пришлось бы отступить, а то и уступить ему свое место. У власти не было другого выхода, как объявить его вором и убийцей и заключить в тюрьму. Власть проиграла в общественном мнении, но когда в России считались с общественным мнением, тем паче, что это мнение меньшинства, а большинству посадка Федорковского нравится...

— Вам она нравится? — напрямую спросила маленькая.

— Мне нет, — ответил журналист. — Она нравится *Старой газете*, в которой я работаю.

— А зачем тогда вы в ней работаете? — загоняла противника в угол маленькая.

— А тебе все нравится в стране, в которой ты живешь? — спросил противник.

— Нет, — ответила маленькая.

— А зачем тогда ты в ней живешь?..

Аудитория оценила безупречность хода.

Полемика невероятно оживляла его, превращая из меланхолика в холерика. Он ходил из угла в угол, зримо перенося вес с одной длинной ноги на другую, что делало его похожим на журавля, и эта журавлиная походка странно подчеркивала весомую реальность той картины человеческих отношений, в том числе властных, какую он рисовал, широко набрасывая мазки философем, которые столь важны для созревающего сознания, и если в сообщении есть жар и пыл, он проникает в слушателя и разгорячает его, а если жара и пыла нет, то и интереса нет, потому что нет контакта. Уж по крайней мере между маленькой студенткой и преподавателем контакт возник и все рос. Свою пылкую речь преподаватель заключил следующим образом:

— Одну вещь я хочу сказать вам напоследок. Это очень простая вещь. Методы, которыми действовала и действует власть, по моему мнению, отвратительны. Но люди, которых убедили в том, что Федорковский — преступник, прочитав в *Старой* мой разговор с его матерью, из которого с очевидностью вытекает, какого класса эта выдающаяся женщина, не смогут не сделать для себя элементарного вывода. А он заключается в очень простом: что у такой хорошей матери просто не может быть такого плохого сына. Вот и все.

Маленькая студентка замерла.

Так и пошло с Ваниными преображениями на занятиях. Начинал формально, тускло, натыкаясь на чье-то недоумение или возражение, как на колючую проволоку, будто раскровянивал себе лоб, и уже не клерк, а подранок и воитель собирал оставшееся вещество жизни — не для казенного отчета, а для продолжения боя как для продолжения бытия. Маленькая первокурсница, вызывавшая ассоциацию с ценным комодиком, ждала этих преображений, словно это был театр одного актера, а она — его единственная зрительница. Сокурсники переставали существовать для нее в этот момент. Он блистал, он заражал, он вдохновлял. То, что было в его публикациях, проникало в такие минуты в его речи. Даже и после, когда они стали жить вместе, она все никак не могла привыкнуть к его двоякости, к тому, как ярок в статьях и в редких жизненных проявлениях и как скушен в повседневности. Эта двоякость составляла часть загадки, привлекавшей Маню.

До поры, до времени.

Я имею возможность подробно пересказать не свое прошлое, потому что Маня пересказала мне его подробно. Мы глазели в коридоре в ночное окно, а точнее, в свое отражение в нем, а еще точнее, я в Манино, и она в него же, когда общее веселье в салон-гостиной все еще не утихало и лишь отдельные весельчаки, вываливаясь оттуда, пьяно

задевали нас локтями или плечами, взглядывая затуманенным взором и не решаясь отвлечь нас друг от друга, а мы и не отвлекались.

Вагон праздновал день рожденья Очковой Змеи.

Она явилась ко мне в купе с приглашением, едва поезд отошел от Селенги:

— К вам можно?

— Заходите, буду рад.

Любезному приглашению предшествовало вступление.

В Очковой не было ничего от змеи. Больше от кролика. В детском саду на праздник ее непременно должны были наряжать кроликом. Ей и сейчас подошли бы белые пушистые ушки, пушистый хвостик, а мягкие лапки, которыми она при общении слегка перебирала воздух перед собой, и так были при ней. У нее и зубки походили на кроличьи, мелкие, слегка торчащие вперед. Я подумал: интересно, а могла бы она этими зубками перекусить горло Скунчак? Вампирская мысль перелетела то ли от нее ко мне, то ли от меня к ней, но речь зашла именно о Скунчак.

— Вы ведь были последним, кто ее видел?

— А в чем дело?

— Адов получил е-мейл.

— Она и пообещала прислать е-мейл.

— Не от нее. От какого-то аборигена. Подпись — Никита Савич.

— Два *в* или одно?

— Одно. Фамилия, а не отчество.

Только сейчас я сообразил, что не знаю имени и фамилии человека, который возил нас в Чите на белом *мерседесе*. Был ли он Никита Савич?

— Что пишет? — полюбопытствовал я.

— Что с ней несчастье. Острый приступ. Срочная дорогостоящая операция. Он уплатил. Но полагает, что должны подключиться родные и коллеги.

— Приступ чего?

— Неясно.

— Большую сумму называет?

— Он не называет. Просит связаться по телефону. Адов звонил. Телефон не отвечает.

— Можно отстукать по е-мейлу на обратный адрес.

— Адов отстукал. Ждет ответа.

— Родителям сообщили?

— Пока нет. Кто такой этот Никита Савич?

— Понятия не имею.

— Как это, как это! Вы были с ней вместе! Вас куда-то там возили! Она с кем-то там осталась! И вы говорите, что понятия не имеете?

— Я не знаю, как зовут этого человека. Может, Никита Савич, а может, это вовсе другой человек.

— Ничего себе делишки!

Она погрызла мелкими зубками ноготь на мизинчике.

— Вы переживаете за нее? — нашел я время заняться человековедением.

— Она хамка и мерзавка, каких поискать! Думаете, она первый раз устраивает мне такие сцены! И думаете, после этого я могу за нее переживать! — Белый пушистый хвостик отвалился сам собой. — Вообразите, могу!

— Воображаю.

Кроличий хвостик пришился обратно.

— В чужом городе! Среди чужих людей! Попасть на операционный стол!..

— Или в какое-то другое место, — машинально добавил я.

Кроличьи ушки встали торчком:

— В какое другое?!

— Мы ведь не знаем точно, кто прислал е-мейл, ровно так же, как мы не знаем, что в нем правда, а что нет.

Я был честен с собеседницей и с собой. Ежу было понятно, что Скунчак увлек не пай-мальчик и не пионер-отличник. Хотя в раннем детстве он мог быть тем и другим. Взрослая биография орла-стервятника несомненно изобиловала темными пятнами.

— Вы думаете, это захват?! Ее могли захватить в заложники?! — Мягкие лапки взволнованно перебирали воздух.

— Я этого не говорил, а вашего телевидения, которое только из этого и состоит, я не смотрю.

— Зато я смотрю!

— При всех условиях рано гнать картину. — Я был неспокоен, но ее постарался успокоить. — Подождем развития событий.

— Это я и хотела от вас услышать.

Пушистый кролик обнажил в приятной улыбке мелкие зубки, после чего тема была сменена, стрелки переведены на день рожденья.

— Придете?

— Обязательно.

На сей раз она была во всем лилово-голубом, включая лилово-голубые туфли на высоченном каблуке, и пользовалась несомненным успехом. Так же как несомненным успехом пользовались наши с Маней рыбины. Их было больше, чем в библейском каноне, наро-

ду — меньше, поэтому никакого чуда в том, что все накушались, не было. Мы с Адовым коротко переговорили о случившемся. Адов сказал, что сразу доложил первому лицу экспедиции, замминистра, и тот взял на себя звонок папе Скунчаку, попросив Адова никого ни о чем пока не оповещать. Замминистра и сам явился на праздник к Очковой. Я видел его раньше издали, в группе руководящих работников. Подтянутый, моложавый, ухоженный, явно пользующийся услугами хорошего стилиста, знакомый с качественным массажем и дорогими лосьонами, в фирменном костюме от Бриони, на какой накидывал фирменный ватник, национальный вид одежды, что несло в себе кучу аналогий и смыслов, он относился к сегодняшнему первому разряду, в который так ловко и споро преобразились вчерашние третьеразрядники. Они кое-что знали, кое-что умели и даже иногда думали о стране. Но раньше всего они думали о себе. Пионерами, поспешно и на практике, они отреклись от запятнанного коллективизма в пользу незапятнанного индивидуализма, быстро захватав его жирными от дачных шашлыков периода первоначального накопления пальцами. Коллективизм помаленьку отмывался, от индивидуализма все резче воняло смесью протухшей рыбы и *Диора*. Нынешняя их повадка отдавала европейским лоском. Самым умным из них это шло. Впрочем, шло и глупым. Но если платье покупалось в одинаковых лавках, ум и глупость были розны. Правило царя Петра: *в сенате по-писанному не читать, а говорить изустно, дабы глупость каждого всякому была видна,* — преобразованное, насмешничало в телевизоре, когда *глупость всякого в сенате* лезла в глаза, несмотря на монитор, на котором были записаны тексты, произносившиеся якобы изустно. Я лукавил, когда отрицал, что смотрю ТВ. Смотрел. И панель в вагоне, и щелкал *мышкой* в ноутбуке, чтобы, не теряя лишнего времени, быть в курсе событий и понятий. Замминистра относился к неглупым. Облаченный на вечеринке в простую джинсу, он и вел себя запросто, не важничая. Впрочем, общая дороговизна властной фигуры проблескивала. Фигурой сопровождения маячил депутат Чевенгуров, одетый столь же просто, то есть в дорогой свитер, в отличие от патрона важничающий, не умеющий не важничать, поскольку важность приклеилась к нему, как выплюнутая жвачка приклеивается к подошве башмака, не отодрать. Он с важностью щипал коротенькие усики, с важностью тер толстую, разбухшую от тайной привычки ковырять в носу ноздрю, камуфлируя таким образом дурную привычку, с важностью крутил в ухе, похожем на сырой пельмень, мизинцем, на котором сверкал дорогой перстень, и делал еще десятки движений, какие принято именовать суетливыми, а у него они выражали именно что важность, и это составляло его

характерологическую черту. Тотчас политолог Молотков и политтехнолог Молодцов, в костюмных парах и при галстуках, исчезли, как будто развоплотились, и воплотились минут через пять без оных, то есть не голыми, разумеется, а тоже в свитерках и джинсах. У Молоткова голова грушей, узкой частью вверх, с тяжелой челюстью. У Молодцова — также грушей, но узкой частью вниз, и рот куриной попкой. Молотков имел привычку хихикать. Молодцов слегка заикался. У Молоткова руки всегда были влажными, но он беспардонно первым совал свою длань для рукопожатия. Молодцов держал руки в карманах, время от времени почесывая в них что-то, будто у него там водились доставшие его насекомые. Молодцов был нервен и искателен. Молотков тоже нервен, но с явно выраженным чувством собственного превосходства. Молотков был брит наголо. Молодцов обладал пышной шевелюрой, которая внезапно сходила на нет, превращаясь в обширную тонзуру на макушке. Молотков уже года четыре, как считался государственником. Молодцов также считался государственником, и стаж у него был побогаче, лет восемь. Прежде Молотков исповедовал либеральные взгляды, а Молодцов — социал-демократические. Молоткова пригласили в Кремль на беседу, Молодцова — поужинать в закрытом ресторанчике, не доступном обычным посетителям. Обоим предложили сотрудничество, пообещали финансирование, в результате у каждого образовалось по фонду. У Молоткова — фонд *Русский свет,* сокращенно *ФРС.* У Молодцова — *Фонд содействия преобразованию интеграционных процессов в процессы дружбы и взаимодействия на бывшем пространстве СССР,* сокращенно *ФСПИППДВБПСССР.* Молотков подарил Очковой фирменную папку своего фонда из кожзаменителя и маленькую модель земного шара, где золоченым были помечены пятна распространения *Русского света.* Молодцов подарил свою фирменную зажигалку и модель земного шара побольше, где распространение *ФСПИППДВБПСССР* было помечено розовым. Подарком от замминистра стал *Русский вагон,* уменьшенный в тысячу раз и предназначавшийся исключительно для вип-персон. Очкова по этому поводу радостно взвизгнула. Поэтесса-песенница Рублевская, затмившая успехом просто поэтессу Ахмадулину, читала свои стихи: *лепестки цветов опавших на сидении машины, их рассыпал опоздавший, мой несбывшийся мужчина.* На бис она исполнила: *он мне казался удивительным, на предыдущих непохожим, и волновала убедительно его обветренная кожа.*

Спиртное заволокло туманом очи празднующих, никто не замечал напряжения нескольких лиц. Танцевали. Пенкин пригласил Очкову, Мелентьев — Сельянинову, Ваня — Маню, Молотков прошелся

в шутливой пляске с Молодцовым. Все смеялись. Кому не хватило места для танцев, стояли в стоячку или лежали вповалку. В празднике участвовали: известный радиоведущий известной радиостанции с неимоверно тонким голосом и широкими, почти женскими бедрами; телеведущая первого канала, брала особенными модуляциями глубокого контральто и глубоким вырезом; репортер третьего канала, красивший просвечивавшую сквозь редкие волосы кожу головы путем использования черной копирки; седовласый классик четвертого канала, автор программы *Доверяй, но проверяй*, в которой он никому не доверял и никого не проверял; шоумен г. Алкин, настоящее имя которого от общественности скрывалось, он пел, танцевал. исполнял соло на трубе и еще немножечко штопал; пожилая газетная очеркистка с благородной репутацией, упорно кропавшая социальные очерки в старомодной манере, которую никто из молодых не воспринимал, но по традиции уважал, — кроме Мани, которая, ни с кем не считаясь, уважала и воспринимала. Маня, оставив Ваню, и представляла мне всех потихоньку, — я не ожидал встретить в добродушной с виду толстушке столько яду.

В процессе плясок замминистра ушел. Наверняка, он принял приглашение из-за Скунчак, а не из-за Очковой, а когда оказалось, что той не будет, повел себя по-джентльменски, лишь сократив время пребывания на неинтересном ему мероприятии. Сразу после этого друзья удалились, враги остались. Я подразумеваю, удалились Молотков с Молодцовым, остались Пенкин с Мелентьевым. Кто-то из них задел кого-то из них. Физически. В тесноте и в обиде. Конфликт, как и положено, сходу вызрел в идеологический.

— Вы подонок! — произнес сквозь зубы один.

— Нет, друг мой, это вы подонок! — ответил ему другой.

— Как в своих комментариях вы кривляетесь и лжете, точно так и в жизни! — заметил первый.

— Чья бы корова мычала! — возразил второй. — Под вашей якобы искренностью скрываются пуды лицемерия!

— Посредственность!

— Бездарность!

Сельянинова встала между ними:

— Мальчишки, молчать!

Она взяла на вооружение ту же неопределенную форму глагола, что использовал ее муж. Психологи по своей сути, оба знали особенности национальной психологии. Прикрикнуть, приказать — и у российского человека на подкорковом уровне, где издревле зависли кнут и пряник, выскочит нужда исполнить приказ. Так и произошло.

Разгоряченные Пенкин и Мелентьев затихли и разошлись по разным углам, как боксеры, бой между которыми не кончен, а лишь временно приостановлен.

В руках у Очковой оказалась гитара, и она милым голоском спела сочиненную ею самой песенку, со всхлипами:

Вокзальчик, перрончик, вагончик,
Разлука глазами в глаза,
Стаканчик, туманчик, обманчик,
Горючая льется слеза...

Мне вспомнился роскошный шофер из Читы, с его утверждением, что и блатная феня, и авторская песня в России произошли из одних и тех же мест заключения.

Никита Савич — он или не он?

Из моих намерений порасспросить Ваню о золотодобытчике ничего не вышло. Как-то оказалось не до золотодобытчика. Маня, я чувствовал, что-то чувствовала. После исполненной песенки она вдруг, сидя на полу возле кресла, в котором расположился я, спросила:

— У вас что-то произошло?

— Почему вы решили?

— Вы какой-то не такой.

— А какой?

— Другой.

Я мог себя поздравить. Комодик был, по меньшей мере, внимателен ко мне.

А потом была эта ночь, которую мы провели вместе. У окна-иллюминатора в коридоре. О Скунчак я молчал, зато Маня неожиданно разговорилась о себе. Ваня дважды прошествовал мимо нас своей журавлиной походкой, глубоко погруженный в свое занятие, заключавшееся в тщательной накрутке на палец пряди волос, на этот раз не схваченных резинкой, а распущенных по плечам, что сделало весь его облик совершенно иным, своеобразным и вдохновенным. Я должен был признать за ним эту переменчивость саламандры, что есть признак талантливого человека. Маня никак на его проходы не реагировала.

— Это он вас рекомендовал в *Новую*? — внезапно догадался я.

— Он, — подтвердила она.

— Интересный у вас брак, — заметил я.

— Интересный, — согласилась она. — Но эту тему мы с вами обсуждать не будем.

Мы расстались в середине ночи, когда последние гуляки занимали свои спальные места. Я занял свое. Сна ни в одном глазу. Из-за Скунчак? Было что-то поважнее Скунчак, что я гнал от себя и не мог прогнать.

6

Я открыл компьютер и кликнул *Google*. Очень скоро я нашел то, что искал. Ванины заметки в *Старой* и Манины заметки в *Новой*.

Ваня был классный профессионал. Его беседы, статьи, эссе были образцом интеллектуальной журналистики. Линия изложения вилась изящно и прихотливо, драматургия захватывала, парадоксы восхищали. Заметки о подземном переходе, деньгах и времени, о переходе категории денег в категорию времени и обратно, о переходе времени в точке миллениума я проглотил с восторгом. Он был свободен и свободолюбив. Обладая несомненно философским складом мышления, он опрокидывал современность в вечность, поднимаясь над злобой дня, в какую было вовлечено подавляющее большинство его коллег. Неясна была малость: *не хотел связываться* в силу слабости или силы? Его жена писала о *Курске* и *Норд-Осте*, о Чечне и Дагестане, сухо и жестко, чего, признаться, я от нее никак не ожидал. Я предполагал большую эмоциональность, во-первых, и другие темы, во-вторых. Она была слишком юна, чтобы разбираться в том жгуте политических хитростей и трагических наслоений обыденщины, каким хлестала кого ни попадя российская действительность. Бог мой, да ей бы пальчиком выстукивать на компьютере о весне, о цветущих деревьях и чувствах, о стихах, музыке, картинах художников, а она комментировала поступки властей, как заправский спортивный комментатор комментирует футбольную игру, компетентный в тонкостях. Многое из того, о чем она писала, было мне известно. Но она раскапывала и новое, ничуть не труся, последовательно и твердо. Ей не хватало яркой словесности, газетное преобладало над художественным, но елки-палки, о чем я, какая словесность, какая художественность, когда жизнь засбоила и кривая поволокла туда, где людям было безденежно, опасно, бесчестно и неправедно. Несчастен народ, в котором его лучшая, его нежная часть, предназначенная для любви и материнства, точит перо, как нож, вскрывая им не домашнюю банку овощных консервов, а государственный банк консервации полицейщины. Кажется, не было для этой земли счастливых эпох, все несчастные, властный монстр как простирал свою длань над частной жизнью, так и простирает, — возьмите любое историческое описание, как брал их я, начиная с *Путешествия из Петербурга в Москву*. Но и всегда этому монстру было сопротивление. Запечатленная мысль классиков — тому доказательство. Да и сегодняшние газетные заметки рядовой, в общем, девочки — тоже. Другой планктон, для другого, не для принуждения, а для свободного волеизъявления, —

когда он образовался? В последние двадцать лет? Или раньше, давно, от поколения к поколению передавая *иное*? Молотков с Молодцовым придумали своим хозяевам вместо *принуждения* более благозвучное *понуждение*. Слово вошло в дипломатический обиход. *Понуждением к миру* стала у них называться война. Поименования и переименования — заветная часть здешнего существования. *Вождь и учитель, враг народа, культ личности, эффективный менеджер, национальный лидер* — слова. Но они же идиомы, идеограммы. Они же идеи, что — так тут учили — превыше жизни. Восток превыше Запада. Азия побеждает в русском человеке Европу. Покорство и заносчивость. Господство и рабство. Коммунистические порядки, тождественные феодальным. Прорыв в космос и ходьба строем. В который раз исторический и психологический дуализм этого народа бродил в моей голове, ища прорыва из очевидного в неочевидное, туда, где содержались вечные ответы на вечные вопросы, да все никак не давались.

Я закрыл компьютер и погасил свет. Зажегся синий ночник. Я смежил веки. Синие звездочки, проникая сквозь несомкнутые складки кожи, играли то протяжными, то мгновенными лучами в моем глазу, в моем мозгу. Мозг отзывался вспышками и озарениями, грозя вот-вот высветить прятавшуюся тайну, которую я пытался разгадать ясным сознанием, а она именно что таилась, ускользала, обещая что-то сознанию неясному, на стыке, на границе, в переходе, и уже увиделся мне хвост этой кометы, светившейся синим... я заснул.

— Люди Скунчака вылетели в Читу.

На этих словах вошедшего Адова я проснулся. Было светло. Поезд замедлял ход. За окном крупными хлопьями валил снег.

— А наши люди о чем-нибудь знают? — Я глядел на Божий мир сквозь щелочки век, и он меня устраивал.

— Мне кажется, кто-то о чем-то догадывается, есть некоторое напряжение, вопросов не задают, а я и не отвечаю. — Адов улыбнулся.

Мы подходили к станции Уяр. Все уже позавтракали. Адов разбудил меня в самую последнюю минуту, не хотел будить раньше, и правильно сделал: завтраку я не в первый раз предпочитал сон.

К моменту остановки поезда я, как солдат, был готов. Пробежав глазами листок, оставленный Адовым, я сделал пометку против строки *частная клиника доктора Нагорной* и вышел на перрон. Маня, вся в снегу, как Снегурочка, бродила одна. Мы увидели друг друга и одновременно направились друг к другу. Ваня не просматривался.

— Вы куда? — спросили оба одновременно, и оба засмеялись.

— Я хочу к доктору Нагорной, — сказал я, показывая ей выделенную строку на листке.

— А я к мебельщику Цинцадзе, — сказала она, показывая мне на листке другую строку.

— Поехали со мной! — сказали оба одновременно и расхохотались.

Мне окончательно сделалось весело. Ночная тяжесть дум заместилась невесомостью утреннего снега, который наподобие живой кисеи отделял все, что в двух шагах, залеплял глаза и рот, отчего, как в детстве, хотелось безобразничать, скакать и прыгать. Маня, полускрытая от меня движущимся снежным занавесом, то и сделала, подпрыгнула, подняв голые, без варежек, руки кверху, ловя крупные хлопья и натирая ими лоб и щеки.

— Теперь я знаю ваш секрет, — ласково сказал я.

— Какой? — приблизилась ко мне Маня.

— Отчего у вас светится лицо. Оказывается, вы натираете его снегом.

— Вы поедете к Цинцадзе? — спросила она.

— А вы поедете к Нагорной? — спросил я.

И мы разошлись, ища каждый своего.

Цинцадзе и искать нечего было. Он бросался в глаза. Мохнатые брови, мохнатые усы, вислый нос, круглая сильная спина и руки лопатой — мебельщик с картины Пиросмани был один здесь такой.

Сельянинова, как всегда, выходила со своим маленьким итальянским желтым кожаным рюкзачком, куда без труда помещалась камера. Падающий ли снег создавал этот эффект, или мне хотелось так думать, но пятна ее казались побледневшими. Я подошел:

— Боюсь ошибиться...

Она перебила меня:

— Я тоже, доктор...

— К слову, — сказал я, — я обнаружил в списке частную клинику практикующего врача, может, имеет смысл ее посетить?

Сельянинова состроила гримаску:

— Врач в глухой провинции... Я, конечно, романтик, как и вы, но не до такой же степени...

— Кто вам сказал, что я романтик? — придал я своему лицу недоумевающее выражение.

— Мне показалось.

— А я собрался, еду к этому врачу. Не составите компанию?

— Я и говорю, романтик. Счастливого пути. Я еду к лесникам.

Нагорной я не нашел. Женщин вообще было две штуки, среди мужчин я ее не искал. Пришлось направиться в сторону Цинцадзе. Судьба делала свой выбор за меня. Маня сияла:

— Ваша Нагорная Проповедь вас обманула?

Переминавшийся с ноги на ногу молодой человек еврейской внешности подошел к нам:

— Вы не о докторе Нагорной говорите?

— О ней, — подтвердил я.

— Я то и подумал. Мы про себя ее тоже так зовем. Сугубо между нами, да? Позвольте представиться: Роман Абрамович Карупцинер, главный администратор клиники доктора Нагорной.

Мы переглянулись с Маней, как два школьника, еле удержавшись, чтобы не прыснуть.

— Вы двое со мной, да? — произнес Карупцинер. — Я почему спрашиваю, двоих мой Боливар вынесет, а больше вряд ли: у меня коробки с лекарствами, воспользовался случаем, съездил в Красноярск, заехал в пару аптек.

Маня нерешительно взглянула на меня. Цинцадзе, почуяв измену, закипал на глазах. Маня опустила взор долу. Я взял ее за локоть, чтоб уже не отпускать. В эту минуту к нашей группе сквозь снег пробился Пенкин.

— Вы Цинцадзе? — упер он палец в грудь грузину.

— Я! — встрепенулся тот, как боевой конь.

— Мебельщик? — Казалось, он собрался провертеть дырку в грузинской груди.

— Точно, — отрапортовал Цинцадзе.

— Вы-то меня и интересуете, — удовлетворенный Пенкин отнял палец.

— Заказ будете делать? — прозорливо осведомился Цинцадзе.

— Угадали. Если понравится, — пообещал журналист.

— Понравится, — пообещал мебельщик. — Вы не первый, кто ко мне из центра обращается.

— Значит, второй, поскольку я к вам по наводке первого, — ухмыльнулся Пенкин.

— Ну! — победоносно воскликнул Цинцадзе, с укором и надеждой оглядывая нас с Маней, не передумали ли. — Даже и с доставкой дешевле получается, я не говорю про качество, в Италии не найдете такого качества!

Мы не передумали.

Следуя за Карупцинером, Маня сокрушалась:

— Как вот все у нас так устроено, что даже провинциальный самодел, и тот по наводке!..

— Это везде, Маня, — утешал я ее. — В других странах тоже. Способ наводки разный, где профессиональная реклама, где личное знакомство, а суть одна.

— В других странах нет слова *блат*. А у нас что власть, что экономика, что детский сад, — всюду оно!..

— Зато у них нет слова *интеллигенция*.

— А где вы ее видели, интеллигенцию? Мифы прошлого!

— Признаться, я люблю мифы. Я сам из них, — то ли пошутил, то ли серьезно сказал я.

Маня хмыкнула.

Десятка Карупцинера стояла на маленькой привокзальной площади, сугроб среди прочих сугробов. Пока Карупцинер очищал машину щеткой от снега, я проинформировал Маню:

— Я читал сегодня ночью ваши статьи. Ваши и Ванины.

Маня покраснела.

— Я горжусь вами, Маня. — Я постарался не звучать чересчур уж торжественно.

— А Ваней? — уминая ногой продолжавший падать снег, спросила она.

В вопросе содержалась доля ревности. К Ване, или за Ваню.

— Ваня мне никто... — Я хотел сказать *а вы все*, но в последнюю секунду застеснялся, не желая смахивать на старого селадона.

Она вдруг развела руками полы ватника и сделала несколько танцевальных па. Сквозь падающий крупный снег походило на сцену из какого-нибудь детского балетного спектакля.

— А где он, кстати, ваш Ваня? — спросил я.

— Ночью перепил, как вы видели, остался в поезде досыпать, — рассеянно отвечала Маня, ловя ртом снежинки.

Карупцинер открыл ключом дверь *десятки*, мы уселись так же, как и в газике летчика Ухова: Маня впереди, я позади. Слева от меня громоздились большие картонные коробки, обмотанные скотчем.

Мы двигались в коконе из снежной пелены, снег налипал на стекла, дворники с трудом очищали лобовое стекло, было немного тревожно.

— Будем ехать осторожно, да? — будто услышал мою тревогу Карупцинер. — Тут недалеко.

Его то и дело возникавшее в речи словечко *да* напомнило мне Америку. Не столько Вермонт, где русских мало, сколько Брайтон-бич в Нью-Йорке, где сплошь русские, если называть русскими в основном евреев, и характерное *да* с подъемом интонации раздается на каждом углу. Потом я много раз слышал эту интонацию в России у тех русских евреев, которые побывали у американских евреев и переняли их привычку, убежденные, что так получается по-американски.

— Клиника в Уяре? — спросила Маня.

— По соседству. В райцентре Березовский.

Маня прыснула, все-таки не выдержав.

— Понял, — сказал умный Карупцинер. — Все местные привыкли, и к Березовскому, и к моему имя-отчеству-фамилии, а вообще, конечно, смешно, да?

То, что он умный, не подлежало сомнению. Евреи часто умны. Они хорошие ученые, музыканты и администраторы. Считается, что история их рассеяния и собирания, вековое отсутствие общей земли-родины выковали характер, в котором сообразительность, тщательность и интеллект по необходимости стали определяющими. У русских — земли от края и до края и, пожалуйста, лень пополам с трудолюбием, небрежение пополам с усердием, — привычная дихотомия предлагала свои услуги. Я отдавал себе отчет в банальности своих размышлений, однако это ничуть меня не смущало, поскольку я давно понял, что сама жизнь банальна. Собственно, большей банальности, нежели жизнь, не существует. Банальное есть ежедневное, повторяющееся, обычное, простое. Поэтому когда я говорю другим, а главное, себе: *проще, проще*, — это не означает свернуться к дураку. Моление о простоте как последней ценности ведет человека по пути к истине, я убежден. В молодости между простотой и выпендрежем я выбирал второе. Но молодость прошла.

— Расскажите про вашу Нагорную, — попросила Маня. — Что, кто, откуда?

Карупцинер отрицательно помотал головой:

— Этого у нас не принято. Сама расскажет. Если захочет.

— А может не захотеть? — спросил я.

— Она все может, — сказал Карупцинер.

— Настолько могучая женщина? — пошутил я.

— Настолько, — не принял шутки Карупцинер.

— Откуда название Уяр? — перевела Маня разговор на другое, и, как оказалось, удачно.

— Оттуда же, откуда Красноярск, — подхватил Карупцинер интересное, видать, ему. — Яр — холм. По Енисею жили киргизы, отсюда у многих сибиряков что-то азиатское в скулах и щелочках глаз, да? Это место у них называлось Кызыл-Яр. Красный Холм. Красный — красивый, да? Царь приказал найти место для острога, нашли и отписали примерно так: на яру место угожее, высоко и красно, и лес близко всякий есть, и пашенных мест и сенных покосов много, и государев острог на том месте поставить можно...

— Все в России начиналось с острогов, — вставил я. — Нерчинский острог, Читинский, Краснокаменский...

— Это где Федорковский сидит? — живо сообразила Маня, точь-в-точь повторив вопрос, который задавала Скунчак. — То есть все начиналось с тюрем...

— Острогом сначала называлось военное укрепление, — справедливости ради признал Карупцинер.

— Ну, значит, сначала с военных укреплений, а затем тюрем, — согласилась Маня.

— А вы ведь не местный, — вернулся я к личному, занимавшему меня больше исторического.

— Это видно, да? — Карупцинер взглянул на меня в зеркало заднего обзора. — Она нашла меня в Америке.

— В Америке?.. — удивилась Маня.

Но Карупцинер уже выключал мотор. Мы приехали.

Десятка остановилась у высокого крепкого крашенного заново темно-зеленой краской забора. Но когда Карупцинер отомкнул калитку, взору предстала старая изба о восьми подслеповатых оконцах. Такие же избы стояли по всей улице поселка, только заборами похожими не ограждены. Немецкую овчарку, свирепо бросившуюся на нас, Карупцинер привел в чувство коротким окриком:

— Стоять, Рекс, свои!

Овчарка, заворчав, ушла в будку и легла там.

Наивное это надувательство, при котором старое обличье избы пряталось за новой зеленой оградой, заставило меня улыбнуться про себя..

Следуя за вожатым, мы поднялись по трем провалившимся ступенькам, миновали крохотные темные сени, освещенные одной тусклой лампочкой, вслед за чем яркий свет ударил нам в глаза. Помещение, представшее взору, носило следы того, что в России называлось евроремонтом. Две хрустальные люстры свисали с потолка. Деревянные полы отливали лаком. Лаком же отливали лавки, расставленные вдоль чистых белых стен. Цветы в горшках и несколько летних пейзажей на стенах дополняли довольно стильную обстановку. Четыре двери были снабжены латунными табличками с выбитыми на них надписями: *Доктор Нагорная, Главный администратор Карупцинер, Процедурная* и *Лаборатория*.

Видя нашу реакцию, Карупцинер проговорил со скромной гордостью:

— Моих рук дело, да. Местами просто физически моих.

— И картины сами рисовали? — спросила Маня, не разобрать, с почтением или лукавством.

— Куплены у местных художников, — с достоинством отвечал Карупцинер.

Бархатная малиновая портьера, перехваченная шелковым шнуром, скрывала продолжение интерьера.

На лавках никто не сидел, клиника была пуста.

— А где ж народ? — спросила Маня.

— Так сегодня воскресенье, — напомнил Карупцинер.

— А то мы едем-едем в нашем *Русском вагоне* и часов не наблюдаем, — вздохнула Маня.

— Счастливые, — оценил Карупцинер.

Маня подумала немного и покраснела. Она легко краснела, славная девочка и зубастый журналистик.

Карупцинер отодвинул малиновый бархат, и мы очутились в жилой части дома. В опрятный коридор с зеркалом и торшером тоже выходили четыре двери. За одной из них, — показалось, или, правда, — слышался детский плач на два голоса. Мы притихли, плач стал отчетливее. Карупцинер постучал в дверь. Плач прекратился. Дверь распахнулась. На пороге возникла царственного вида женщина в белом халате, накинутом на холстинковое платье цвета бордо, с короной темных волос на голове, с некрасивым, грубой лепки лицом и говорящими руками. *Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет,* говорили они. Не мне пришлось открыть этот русский женский тип. Не мне и закрывать. Ей было около пятидесяти. С первого взгляда обнаруживался властный, сноровистый, а то и взбалмошный характер. Небольшие глаза ее под нависшими домиком веками меняли не только выражение, но и цвет. Дети позади нее, как будто ровесники, молча глядели на нас. Она улыбнулась нам, сразу помолодев лет на десять, зрачки из темно-карих сделались светло-зелеными. Я владел научным знанием, что зрачки расширяются на сорок пять процентов, если вам приятен или просто интересен человек, на которого вы смотрите; оттого и меняется их цвет. Сама она, утратив грубость, обрела почти что очарование.

— Поздоровайтесь, — приказала она детям и сама первая протянула руку: — Нагорная.

— Здравствуйте, — хором произнесли девочка и мальчик с американским акцентом и ударением на *у*.

Нагорная поправила их, переставив ударение.

— Их зовут Энтони, — представила она. — По-русски Антон и Антонина. Близняшки. Им по девять. Поздняя драгоценность. Плаксы. Не бью их, не ругаю. Никогда. Только читаю мораль. А они в слезы.

Она выстреливала в воздух короткими энергичными фразами.

— А зачем мораль? — едва ли не бестактно спросила Маня.

— Они знают. — Нагорная рассмеялась. — Их угрожали украсть еще в Хьюстоне. В штате Техас. Когда мы там работали. Украли в

Красноярске. А тут, видите ли, на рынок одни сами отправились. За рыбкой. Для кота нашего. Бэзила. То есть Васьки. Во дворе его нет? Гуляет где-то. Гуляка. На молоке обжегшись, на воду дуешь. А они одни, самостоятельные!..

Она выдала еще порцию сипловатого смеха. Должно быть, она курила, хотя в доме куревом не пахло.

— Вы-то где были? — проворчал Карупцинер.

— Поехала ставить капельницу супруге Гусинского, — недовольно, как мне показалось, обронила она.

Мы с Маней удержались от игры в переглядки,

— А Липа куда делась? — как бы между прочим проговорил Карупцинер.

— Рассчитала ее, — буднично сказала Нагорная.

— Опять... — лишь самую малость удивился Карупцинер.

— С тобой не посоветовалась, — съязвила Нагорная и решительно переменила тон: — Стало быть, вы москвичи! Живала я и в Москве, живала...

Я не стал уточнять, что приехал не из Москвы, а из штата Вермонт, по прозвищу Штат Зеленых Гор, располагавшийся по атласу примерно напротив штата Техас, по прозвищу Штат Одинокой Звезды.

Дети, почему-то слегка раскосые, словно в предках у них были те самые енисейские киргизы, утерли мокрые носы и повеселели: было ясно, что мать от них отстала. А она, широко расставив руки, как бы сгребая всех нас в кучу, статная и, я бы даже сказал, спесивая, двинулась на нас, слегка прихрамывая:

— Да что ж мы время впустую тратим! Закусим, чем Бог послал, а после и поговорим. Прошу.

Стол в столовой стоял уже накрытым. Бог послал нам селедки под шубой, фаршированной рыбы, моченых яблок, квашеной капусты и пирогов с вязигой, которых я либо никогда не едал, либо едал очень давно, тень воспоминания кузнечиком стрекотнула и тут же пропала в опавших кущах сознания, то ли обманув, то ли поманив чем-то реально существовавшим когда-то. Все блюда и тарелки были обтянуты прозрачным пластиком, который Карупцинер быстро поснимал, застоявшиеся ароматы полезли в ноздри. *Шехерезада Степановна* властвовала и тут. Новая цивилизация благодушно спаривалась со старой: цифровой телевизор на деревенской тумбе, компьютер на почерневшем бюро позапрошлого века, простецкая этажерка для книг рядом с холодильником последней модели. Из него Карупцинер извлек запотевшую бутыль без этикетки и водрузил на стол.

Мы расселись — не сами по себе, а по указанию хозяйки, кому где сесть. Она предложила мне снять шляпу, телогрейки мы сбросили раньше. Улыбнувшись, я сказал, что без шляпы я гораздо хуже. Она сделала великодушный жест: как изволите. Карупциner, с вниманием следивший за посадкой, занял скромное место у двери последним.

— Did you take all what I need? — негромко спросила его Нагорная.

Он кивнул.

— And why didn't you bring it? — В ее тоне сквозила легкая досада.

Он тотчас вскочил.

— Later, — проявила великодушие Нагорная.

Он опустился на стул обратно.

— Разливай, — махнула она рукой.

Он взял ледяную бутыль и аккуратно наполнил четыре рюмки жидкостью, лившейся густо, как масло. Оба два Энтони тянули квас из глиняных кружек.

— Со свиданьицем! — проблеснув серо-голубыми глазами, подняла рюмку Нагорная и предупредила: — Осторожно. Семьдесят градусов.

Рука, с коротко обрезанными ногтями, державшая рюмку, источала крепость и силу. Не требовалось объяснений, кто здесь главный и по какой причине. Простое холстинковое платье по снятии медицинского халата, отсутствие золота и драгоценностей на пальцах, в ушах и на шее не могли обмануть: внешние признаки первенства этой женщине были ни к чему.

Самогон, а это был он, благородно пах вишневым табаком моей трубки в ту пору, когда я ее курил. Я немного беспокоился за Маню, но она и в деле выпивки держалась молодцом.

— Закусывайте, — гостеприимно предложила Нагорная. — Я сказала, Бог послал. Бог его мне послал. За все злоключения. — Она указала крепким пальцем на своего администратора. — Ангел мой, хранитель. Нянька, мамка, кухарка, шофер, работник милостью Божией. А красавец!.. — Она поискала взглядом и выбрала Маню, кому подмигнуть. — Вот, на склоне лет...

— На каком склоне, окстись, матушка!

Полыхнув лицом, ничуть не напоминающим ангельское, скорее охранницкое, Карупциner не заметил, как обратился к Нагорной на *ты* при чужих. Он был лет на пятнадцать моложе ее и, в общем, мог называть матушкой. Но и я уже обо всем догадался, и Маня догадалась.

— Сегодня у нас только закуски... — У самой Нагорной аппетит был молодецкий. — Рома и так с ранья поднялся. Чтоб успеть и еду приготовить, и в Красноярск смотаться. В другой бы раз мы б вас и ухой угостили, и поросенком с гречневой кашей. Он мастер готовить.

Но и у вас время мало, а нам и поговорить еще. Зато есть творожный пирог к чаю. Cheese-cake. Чаю дашь, Рома? Дети, вам заниматься, а взрослые между собой поговорят! You'd get a cake in your room. Go, go on! Марш, марш, Энтони, кому я сказала! — командовала она.

Она была чудная. Назвать детишек одинаково — одно это было чудным. Чудна́я и чу́дная. С разными ударениями. Через полчаса полная картина нарисовалась, и не акварель, а пастозная живопись. Ни Мане, ни мне не пришлось понукать рассказчицу. Она будто ждала слушателей. *Кому повем печаль мою* в этой глуши, где только и света в окошке, что Роман Абрамович Карупциner.

Поначалу ее предупредили по телефону. Ее, которая ничего не боялась и на все отзывалась привычным хохотком, в ту пору не хриплым, а звонким. Следующим актом устрашения была автомобильная авария. Она привстала из-за стола и приподняла подол своего холстинкового платья: левая нога у нее была в шрамах и тоньше правой — результат операции, когда ей собирали косточки по одной и укладывали на место. Дело было в Красноярске. Цена вопроса — ее know how. Мать болела раком, а дочь только что вышла из Красноярского меда с новеньким дипломом. Официальная медицина не помогала. Дочь заново полезла в учебники, пошла по бабкам, по шаманам, списалась со столичными специалистами, искала повсюду, где можно и где нельзя. Она не успела. Мать умерла. А через год она открыла способ излечения рака. Сама себе не поверила, когда после ее капельниц выздоровела балерина Красноярского театра оперы и балета. За ней директор продовольственного магазина. За ним учительница сельской школы. За учительницей бизнесмен средней руки. Этот стал ей помогать. С его помощью зарегистрировала открытие, получила лицензию, оформила домашний медицинский прием как малый бизнес — народ валом повалил. Когда она вспомнила, что у нее нет личной жизни, ей перевалило за тридцать. Бизнесмен залез к ней в кровать, хотел залезть в душу и в кошелек — она его прогнала. Мелкий тип, пообещал отомстить. Может, это был и не он, кто наслал на нее бандитов. Медицинская мафия раскинула свои щупальца всюду — она ощутила на себе страшные присоски. Вырвалась. Улетела в Москву. Открыла в Москве свой кабинет. Высокопоставленные, кого излечивала, двигали ее. Кто держался за медицинский пост, не умея излечить, ставил палки в колеса. Помогал характер. Он же и мешал. Она все знала про свою прямоту и независимость, не умея ни к кому подстроиться, ни к кому подольститься, впрямую вталкивая официальным лицам, что невежды. За ней стояли ее результаты. За ними система. Система ее скрутила. Ей вновь начали угрожать. Очередной любовник, из депутатов, сделал

ей американскую визу, купил билет в одну сторону, дал пару адресов, так она очутилась в Соединенных Штатах. Подняв на ноги техасского миллиардера, открыла на его грант частную клинику в Хьюстоне, выучила язык, получила в Женеве медаль ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, за вклад в медицину XXI века, купила дом, родила близнецов от русского эмигранта, которого тоже вылечила, познакомилась с другим эмигрантом, над фамилией которого обхохоталась — Карупцинер, сама заболела раком горла, Карупцинер от нее не отходил, вылечила себя и получила по почте анонимное письмо: хочешь сохранить детей, исчезни и забудь о такой отрасли медицины, как онкология. Продала дом, ликвидировала медицинскую фирму и исчезла, согласно письму. Обратно в Россию. Однако об онкологии забыть не могла.

— Это все равно, как если бы пианисту сказали: отойди от инструмента и не играй, — сравнила она.

Снова Красноярск, теперь уже с парочкой Энтони, Карупцинером и Бэзилом, снова частный медицинский кабинет, снова излеченные больные, снова приличный доход и — пропавшие в один прекрасный день близнецы. День был, и впрямь, прекрасный. Лето, жара, жарки, огоньками пронизывающие лес, куда выехали на прогулку. Один из главных ментов Красноярска был ее пациент. Упала ему в ноги. Он спросил, сколько у нее есть денег. У нее были. Он сказал: это не мне, вы понимаете. Она понимала. Детей вернули. В Уяре у нее была больная. К ней и сбежали. Дом нашли в соседнем районе. С тех пор — в глухом поселке Березовском вроде Меньшикова в Березове, только ссылка добровольная. Карупцинер внутри все отремонтировал, снаружи ничего трогать не стали, но забор поставили. Спрятались, как дети прячутся, сунув голову в материны юбки, попой наружу.

Маня спросила:

— Это что, зависть?

— Это деньги, деточка, — засмеялась Нагорная.

— Но вы ведь все равно продолжаете! — Зеленые глаза Мани округлились, как у кошки.

— Если бы от тебя зависело, умрет человек или останется жить, ты бы тоже продолжала, милая, — просто и без гонора сказала Нагорная.

— А как вы лечите? Чем?

— Прямо все тебе и скажи! — Гонорная Нагорная вернулась. — Ставлю капельницы. В них лекарства. Из аптеки. И немножко не из аптеки. Know how.

— Больно? — слегка передернулась Маня.

— Что больно? — переспросила Нагорная.

— Колете больно? — Было очевидно, что Маня по-детски примерила лечение на себя.

— Ни в коем разе. Рука должна быть легкая. Я пока Липу нашла... — Тут она оборвала сама себя и замолчала.

Карупцинер, таскавший коробки из машины, слушал эту часть разговора с безразличным видом.

— Ну и что? — вдруг повернулась к нему Нагорная. — Была легкая — отяжелела. Больные стали жаловаться. Говорила ей: будешь халтурить — уволю. Вот и уволила. По профессиональным мотивам.

— Третий раз, — с тем же безразличным видом бросил Карупцинер.

— Ну и что? — снова повторила Нагорная.

— Ничего. — Он отправился за последней коробкой.

— Хочет сказать, опять возьму. Не возьму. — Нагорная поковыряла вилкой остатки чизкейка у себя на тарелке и неожиданно прямо посмотрела в глаза сперва мне, затем Мане. — Ревную его. Потом беру себя в руки и беру ее обратно. И на этот раз возьму. Рука, правда, волшебная.

Стемнело, когда мы вышли на крыльцо. Снег прекратился. Нагорная потребовала:

— Будете давать в газету, — аккуратно. Годы идут, я могу спасать людей, а я в западне. Мне нужен выход на самый верх. Это очень опасно. Но, может, это мой последний шанс.

Неожиданно Маня бросилась ей на шею:

— Вы такая... такая тетка... честное слово!..

На глазах у нее выступили слезы.

— Само-гон, само-гон!.. — протянула Нагорная и по-матерински утерла Мане лицо.

В машине Маня повернулась ко мне:

— Вот вы скажите, интеллигентка она или кто?

Карупцинер услышал.

— Еще какая, — сказал он. — Действующая.

Я вспомнил выражение военных лет *действующая армия* и произнес его вслух.

— Действующая армия — *устарел.*, как пишут в словарях, — заметил Карупцинер. — Сегодня в ходу — силовые структуры.

7

А дальше приключилось то, что приключилось.

Я сидел у себя в купе, тупо переключая каналы телевизора, как это делает множество людей на всем земном шаре, *занимая* себя телевизором

ровно так, как малые дети занимают себя погремушкой. Погремушка не только отвлекает детей от плача, она развивает до поры до времени. Позднее ее следует отбросить, если родители не поставили перед собой задачу вырастить из своего ребенка идиота. Взрослых их погремушка тоже развивает до поры до времени. Но если вы не в силах ее отбросить, берегитесь: есть кто-то, кто желает видеть вас взрослым идиотом.

Почему-то мне было холодно, и я накинул на плечи телогрейку.

Я отвлекался погремушкой от Мани, не стоило себя обманывать. Я еще попытался сверить то, что было на экране, с тем, что было обозначено в любезно приложенной программке передач, чтобы уж совсем одуреть. Потянувшись за программкой, я почувствовал, как что-то у меня выскочило из кармана телогрейки, нагнулся — это была фишка, которую сунула мне перед расставанием Скунчак. Мне показалось, она распространяет слабый аромат духов. *Общая терапия,* вертя в пальцах фишку, читал я название сериала, который сейчас показывали, *6-я серия — в отделение кладут генерала, у которого, помимо патологии внутренних органов, сложные отношения с сыном.* Ничего страшного, для одуревших в самый раз. Генерал, сняв погоны, переходил в другой сериал, где был здоров и командовал ФАС. ФАС — не как команда собаке, а как Федеральная антимонопольная служба. Его проблемный сын, перейдя во внутренние органы и переодевшись в пятнистое, обезвреживал наглого преступника. Каналы мелькали, мелькали те же исполнители, ненатуральный генерал из ФАС один в один переходил в натурального генерала ФСБ, ФСО, ФАПСИ, ФСФР, канальский, вспомнил я бессмертного Даля, есть бездельнический, мошеннический, канала у Даля не было, как и канализации, канализация как система сантехнических сооружений для очистки и обезвреживания сточных вод появилась позже, а телевизионная канализация всех стран, соединившись, еще позже, я знал, что вслед за Уяром последует Красноярск, и, видимо, задремывал, поскольку терял логические связи.

В телевизоре они уже врывались куда-то, в камуфляже и масках, с автоматами в руках. В моей полудремоте... или все же экстраполяции... я был среди врывавшихся, и не куда-то, а в *русский вагон*, с обыском, что было каким-то образом связано с исчезновением Скунчак, однако едва я ощутил сильную опоясывающую боль и в сознании моем проблеснуло, что это и есть боль несчастной Скунчак, как поезд стал плавно тормозить, медленно проехали большие буквы на вокзальном здании К Р А С Н О Я Р С К, и громкий топот множества армейских ботинок, затихая, стал растворяться в кокетливой музычке, которой сопровождались титры окончания 6-й серии.

Боль ушла. Фишка валялась на полу.

В Красноярске они и ворвались, в камуфляже и масках, с автоматами в руках. Они и действовали автоматически. Я, в своей магической шляпе, был всего лишь мишень для них, как и остальные.

— Всем оставаться на местах!! Не двигаться!! Кто старший?!.

События из телевизора и из моего заторможенного сознания не то, чтобы постепенно, а, можно сказать, рывком переместились в реальность. Они стояли возле каждого купе, расставив ноги циркулем или перевернутой буквой V, армия, заранее празднующая вооруженную победу над безоружным населением, и я, впервые наблюдавший происшествие не в качестве стороннего зрителя, а в качестве жертвы, ощутил, до чего же мне эта постановка не нравится. Рост, раза в полтора превышавший рост обыкновенного человека, здоровенные клешни на автоматах, дьявольские зрачки, сверкавшие в прорезях масок, делали их пришельцами из другого мира, не имеющего ничего общего с миром человеческим, готовыми включиться в действие при любом сигнале, о котором вы не знаете, что это сигнал, а они знают, так запрограммированы. Армия ли, ФСБ или ОМОН — они не представились. Бессилие против бессмысленной жестокой силы — одно из наиболее отвратительных человеческих переживаний. Вы унижены, ваше достоинство оскорблено, ваша жизнь расценивается в ломаный грош, при том что расценки насильников не в пример выше, они всемогущи, а вы ничтожны, — что же должно было произойти на свете, чтобы в мирное время так исказились пропорции, а леонардово золотое сечение где-то и вовсе за облаками, смешно говорить о золотом сечении в близком соседстве со свинцовыми пулями, замершими в стволах.

Я был холоден как лед. Если померить в тот миг температуру, она зашкалила бы за нижнюю отметку термометра. Я думал не своими мыслями и чувствовал не своими чувствами. Я думал и чувствовал то, что сейчас думал и чувствовал мой милый, бедный мой, несчастный комодик. Мне не из чего больше было черпать аргументы, что все, случившееся со мной, — пустяки, мол, расхожая история, имеющая место в биографии едва ли не каждого, кто погружается в вагон, оставив и отставив на короткий срок свои проблемы, и первое же смазливое личико тянет к легкому флирту, скрашивающему дорогу. Почва для аргументов иссохла. Меня тянуло к Мане с неодолимой силой. И этой силе, большей, чем я сам, я не мог сопротивляться.

На обратном пути из Березовского в Уяр она, засыпая, прислонилась ко мне и положила на мою свою руку. Она мне доверяла. Что-то повернулось в ней, а, стало быть, и во мне, какой-то выключатель или

включатель, пока мы были у Нагорной Проповеди. Я не должен был брать ее руку и целовать каждый ее пальчик, я не должен был склоняться к ее лицу и искать губами ее губы, я не должен был расстегивать верхнюю пуговицу ее ватника, чтобы дотронуться до шелковой кожи ее шейки, вспоминая при этом отчего-то *Серую шейку*. Я не должен был делать ничего из того, что мне фактически запрещалось делать моим контрактом. Пусть неподписанным. Я не мог этого не сделать, потому что она первой прильнула ко мне, первой сжала мою руку своей, первой засунула холодные пальцы в ворот моего ватника. Я даже не хотел ее. Я чуть не плакал от нежности к ней. И я позволил ей то, чего не позволял никому. Она сняла с меня шляпу, и я не рассердился на нее.

— Я думала, вы седой, — прошептала она, — а вы совсем не седой... надеюсь, вы не краситесь?..

Я засмеялся. Юмор смягчал пафос ситуации.

Сказочное объяснение, но ему придется поверить: без шляпы я словно бы терял свои таинственные связи, превращаясь в обычного человека. Не было там, в шляпе, ни встроенного чипа, ни еще какой-нибудь подобной чепухи, но я будто переставал получать сигналы, какие мне посылались. Я не исключаю, что тут был некий обман, точнее, самообман, что предмет на голове был просто средством сосредоточения, а лишение его приводило к рассредоточению. Обо всем этом я не размышлял тогда. Не до размышлений мне было. Я успел подумать лишь, как одни люди, с их обстоятельствами, врываются в жизнь других, меняя их обстоятельства, иногда и не подозревая о том, и как этот всеобщий обмен существ наряду с обменом веществ входит в мировой распорядок, и каким реально осторожным надо быть, чтобы не раздавить *брэдбериеву бабочку*. Прежняя защитная корка отвалилась, и забытые, а может, и никогда не ведомые прежде переживания юнца сжигали меня. И не в самогоне было дело, мы и выпили самую малость.

— Маня... — шепнул я.

— Что? — шепнула она.

— Ничего... мне просто нравится ваше имя...

— Редкое из редких... — пробормотала Маня

Ее спасительный юмор ни от чего не спас. Мы целовались как сумасшедшие, и единственное, чем я был озабочен, точно школьник, чтобы наши с ней губы не распухли так, что в вагоне не показаться.

— Маня...

— Крис...

Она второй раз называла меня по имени, и, не любимое мною, оно прозвучало мне ангельским пением.

Ворвавшаяся банда разрушила, сломала пение ангелов. Расставленные буквой V вниз, ноги в тяжелых берцах наступили на *бабочку*. Я не боялся. Я не понимал. Рейдерский захват? Но кого? Арест? Чей? Ошибка? Чья?

— Сюда!! — раздался призыв одного из пришельцев.

Мой пришелец уже успел прошмонать мое купе. Хорошо, что до шмона я успел поднять с пола и спрятать обратно в карман свою фишку. Мало ли. Вероятно, другие пришельцы прошмонали другие купе. И, очевидно, нашли искомое. Я выглянул в коридор. Гориллы в масках сгрудились возле купе Очковой. Адов, бледный, стоял напротив, с пальцами, сцепленными на животе. Рядом стояли Маня и Ваня. Маня — с ваниными руками на плечах, как защитой от противника. Сердце заболело. Адов попытался во что-то встрять, на что-то возразить. Ему возразили стволом. Очкову и Сельянинову, остававшихся в купе, оттуда прогнали.

Несколько минут суматохи, мата, глухих переговоров, после чего захватчики прогромыхали к выходу, один с желтым кожаным чемоданом в руках, второй с норковой шубой, остальные тащили кое-что по мелочи: норковую шапочку, сумку с умывальными принадлежностями, обувь, альбомы. Народ в вагоне проводил процессию молчанием. Что было делать? Отнимать у них вещи?

У Адова зазвонил мобильник.

— Адов, — назвался он.

Выслушав собеседника, проговорил:

— Спасибо, передам.

Отключился и передал:

— Замминистра извиняется перед нами, что не предупредил. Это люди Парусовой. Она прислала их за шмотками дочери.

Ответом был гул удивленных, возмущенных, растерянных, иронических голосов.

— А что с ней? — прорезался звонкий вопрос Очковой Змеи.

— С кем, с Парусовой? — переспросил мрачный Адов.

— С дочерью.

— Не информирован.

Сельянинова подошла к мужу:

— Не переживай, Адик, кто же знал... Твоей вины тут нет.

Адов махнул рукой и направился к себе. У двери купе обернулся:

— Он устраивает прием после Чулымской, всех приглашает.

— Ну, правильно, — сказала Сельянинова. — Шоу должно продолжаться. Даже если вас немного помял спецназ. Особенно, когда вас помял спецназ.

Получилось в рифму. Очкова криво улыбнулась.

Я обратил внимание, что Сельянинова была почти так же бледна, как Адов. Розовые пятна лежали слабой тенью на ее лице.

Народ начал расходиться.

Ваня увел Маню, которая ни разу на меня не взглянула.

На душе у меня было так, будто там нагадили Бэзил с Рексом.

Минут через десять раздался стук в дверь. Я вскочил. Это могла быть только Маня.

Это был Ваня.

— Мне нужно сказать вам кое-что, — произнес он с порога.

Я был в шляпе. Мое дело было в шляпе.

— Я вас слушаю.

— Маня сейчас плакала. — Волосы у него были скреплены резинкой, и выглядел он серо. — Я спросил, в чем дело. Она сказала. Причина ее слез — вы.

Под шляпой загорелось. Я не знал, как реагировать.

— Вам было известно, что случилось со Скунчак? — спросил он.

Я не понял.

— Что именно?

— Что она пропала. Она ведь пропала?

— Она пропала.

— Маня плакала, потому что вы ей не сказали.

— Не сказал что?

— Это. Что Скунчак пропала.

— А почему я должен был сказать ей это?

— Потому что вы ей доверяете или не доверяете. Она доверяет вам полностью.

— Она вам сказала?

— Да. Хотя могла бы промолчать. Это и так очевидно.

— Что очевидно?

— Что она доверяет вам. А ее доверие дорогого стоит.

— Меня попросили никому не говорить.

— Кто попросил?

— Адов.

— Он нам и сказал.

— Он сказал? Это его право.

Я все больше и больше чувствовал себя придурком.

— А вы не находите странным, что я пришел и говорю вам все это? — вдруг спросил Ваня. — В сущности, чужой человек чужому человеку... — И, помолчав: — Она мне как младшая сестра, а я ей вместо старшего брата...

Он ставил меня в тупик этим, и правда, странным разговором. Получалось, что не одна она, но и он доверяет мне, и это было самое сильное оружие, которое он мог бы выбрать, если поставил целью дуэль со мной за нее.

— Ваня, идите спать. Утро вечера мудренее. А вашей сестре-жене передайте, что я сожалею. Я, честно, не знаю, как я должен был поступить. Сохранить до поры до времени секрет, о чем меня просили, или наплевать на это и поделиться с ней.

— Спокойной ночи, — сказал Ваня, оставляя меня.

Я не сомкнул глаз до утра.

Снова и снова я возвращался мыслями к *бабочке* Брэдбери, которую могли погубить не только люди в тяжелых *берцах*, но и любое неверное движение человека в легких туфлях.

Приближение к станции Чулымская медленно, но верно меняло направление моих мыслей. *Прошлым летом в Чулимске, прошлым летом в Чулимске, прошлым летом...* Зашелестело, зашумело, зазвенело ветром, баргузином ли, сармой, верховиком или култуком, лодка шла при паре гребцов споро, раскачиваемая волной, сине-зеленая прозрачная глубина дышала упоительной свежестью, этой свежестью следовало продышаться, этой прозрачностью упиться за два дня до другого упоения, в эту царственную тишину окунуться до воцарения общего шума и гомона, прожить несуетно эти счастливые часы, остававшиеся до вселенской пьянки, пребывая тем же, прежним, и предощущая новое, счастливо отдавая себе отчет в том, что мучительная и веселая работа привела, наконец, к желанному результату, признанию; обещания жизни начинают сбываться, и те тридцать пять, что наступят через два дня, уже тридцать пять, всего тридцать пять...

Лодка зацепилась за топляк.

В реальности существовало то полуутопшее при сплаве бревно, что пригрезилось мне в начале моего железнодорожного путешествия как ментальная картинка, мазок для сравнения, пустяковая, случайная коряга, что могла стать, если суждено, и стала инструментом в руках судьбы, как все пустяковое и случайное или то, что кажется людям таковым. Мертвая тварь цапанула лодку не хуже живой, и лодка перевернулась. Был август, последний месяц лета. *Августейший сезон*, как назвал его земляк Вампилова Диксон. Вода в Байкале — восемь градусов. Оба друга припали к перевернувшейся лодке как к части тверди. Он один поплыл к берегу в холодной озерной воде, знакомой ему с малолетства. Он доплыл. Он ступил ногой на берег.

Он упал.

И сердце его остановилось.

Последняя, быть может, лучшая его пьеса *Прошлым летом в Чулимске* была дописана.

Время действия — тот же колдовской месяц август.

Я знал едва ли не все ее реплики и все ремарки. Я защищал диссертацию по Вампилову. Я волновался, думая о том, что приближаюсь к месту, которое, быть может, узнáю. Я отыщу дом, в котором жила Зина Кашкина, к которой ходил следователь Шаманов, я увижу палисадник, который то и дело чинила влюбленная в Шаманова девушка Валентина. Вампилов четко написал: *старый деревянный дом с высоким крыльцом, верандой и мезонином, за домом возвышается одинокая береза, дальше видна сопка, внизу покрытая елью, выше — сосной и лиственницей, на веранду дома выходят три окна и дверь, на которой прибита вывеска «Чайная», перед домом деревянный тротуар и такой же старый, как дом, палисадник с кустами смородины по краям...* Так пишут, когда хотят запечатлеть бывшее, уверенно можно сказать, что даже и любовно бывшее. Неужто не найду из-за разницы сезонов?

Перрон гудел голосами. *Русский поезд,* несмотря ни на что, продолжал выполнять свою миссию, играть свою роль, осуществлять свою клоунаду — выберите нужное. Собравшаяся публика один в один походила на ту, что собиралась на предыдущих стоянках. Те же кожухи, шубы или драповые пальто, те же меховые шапки, портфели, сумки или барсетки. Наших было поменьше. То ли не очухались от способа сбора виповского багажа девушки Скунчак, а иначе сборщики не умели, то ли одоленное расстояние давало себя знать, энтузиазма поубавилось. Я был воодушевлен отдельным лирическим намерением пройти по следам Вампилова, усугублявшимся общим состоянием, в какое впал, как юный придурок. Начальник станции, в форменной шинели, взяв под козырек форменной фуражки, что-то докладывал или чего-то просил у нашего замминистра, который хоть и был в ватнике и без никакой фуражки, по вальяжности фигуры и поведению свиты был однозначно вычисляем и, вычисленный, рассеянно кивал. Один из свитских, по своей ли угадке, по принятому ли меж ними незаметному сигналу, принялся слегка оттирать начальника станции от большого начальника. У маленького начальника свитских не было, чтобы восстановить равновесие и дать маленькому закончить дело у большого. Да и какое равновесие могло быть между начальниками столь разных уровней, а законы гостеприимства или, того хуже, демократии так далеко не простирались. Я подошел к расстроенному одинокому начальнику станции, показавшемуся мне в ту минуту одним из вампиловских персонажей.

— Вы, наверное, знаете и можете сказать, Вампилов часто бывал у вас здесь?

— Кто? — неприятно напрягся маленький начальник.

— Драматург Вампилов. Действие одной его пьесы протекает у вас, в вашем городе, «Прошлым летом в Чулимске», пьеса, вы должны знать...

— Не знаю я никакого Вампилова и никакого Чулимска, — еще более неприятно проговорил маленький начальник, с неприязнью глядя на меня как на досадную помеху в отправлении его служебных обязанностей. — Есть река Чулым, есть город Чулым, железнодорожная станция Чулымская, а Чулимска нет и отродясь не было.

И он пошел, подметая полами шинели снег; кажется, она была ему велика.

Тонкое движение человеческой души: если тебе дали по фуражке, отыграйся на шляпе.

Я свалял дурака. Не было никакого Чулимска. Был Чулым и станция Чулымская. Использовав существующее созвучие, Вампилов сочинил *свой* Чулимск. Так же как Диксон сочинил *свой* Хибаровск. А Салтыков-Щедрин сочинил город Глупов, основанный на болоте. Нет таких городов. Они есть сочиненные, лучше действительных, сочиненное всегда с какой-то точки зрения лучше действительного, ибо, являясь частью действительного, оно одновременно есть его концентрат и потому гуще, слаже или горчее, а иногда и невыносимее, нежели то, чья оно часть. Люди читают нечто в книгах и говорят: Господи, да как он, или она, могли это перенести! Хотя в жизни переносят и не такое. Не все. И в жизни, и в книгах. Каренина не перенесла. Шпаликов со Шкаликовым не перенесли. Да и Вампилов, по сути, не перенес. Чего? Невыносимой легкости бытия. Кто знает, отчего насылается на человека несчастный случай, обрывающий внезапно его бытие. Невидимые парки срезают невидимые нити, на которые подвешен живой, кому суждено стать мертвым.

— С нами поедете?

Вопрос Мани вывел меня из глубокой задумчивости.

— С кем с вами? Куда?

— К нему вот. Владелец хлебопекарни. Познакомьтесь.

Владелец хлебопекарни, основательный малый лет двадцати семи, в дохе, оценивающе взглянул на меня и сказал:

— Два-Хороших-два. Название хлебопекарни и сети хлебных лавок. Фамилие мое Хороших, заметьте.

Я захлебнулся свежим морозным воздухом. Все-таки он бывал здесь! В пьесе *Прошлым летом в Чулимске* у него действовала буфетчица Хороших!

— Ваша мать — буфетчица?!.

Вырвавшийся у меня возглас вызвал недоуменную гримасу Хороших:

— Моя мать?! С чего вы взяли? Никакая она не буфетчица! Всю жизнь на маслосыродельном комбинате, а ни в каком не буфете...

Он был приземистый, с тяжелыми руками-кувалдочками, с вывернутыми ноздрями небрежно приляпанного носа, признак страстности натуры, с глубоко спрятанными медвежьими глазками — распространенный тип смекалистого *простого человека*. Левое веко у него как-то не держалось и падало на глаз, отчего казалось, что он постоянно подмигивает. Что-то в нем отталкивало, но фамилия его была Хороших, и если для драматурга не составляло труда заменить Чулым на Чулимск, то и от настоящей изготовительницы масла с сыром до сочиненной продавщицы бутербродов с маслом-сыром рукой подать.

Возникший возле Ваня спросил жену:

— Ну что, едет?

— Еду, — ответил я вместо нее.

— Только вот какое дело, — почесал квадратный подбородок Хороших. — У моей родной тачки аккумулятор сел, пришлось взять хлебный фургон, там три места, с водителем, а внутри хлеб, мука, мы живых людей в муке не валяем, заметьте. Сделаем так: мужчины со мной, женщину содим в такси, об оплате не беспокойтесь.

— Я с мужем, — сказала Маня: — Пусть он на такси.

И указала пальчиком в мою сторону. Я пожал плечами.

Таксист был юркий, ртутный, с передними металлическими зубами, весь облик забияки. То и дело он шмыгал носом и издавал простуженный сип вместо голоса.

— С правительственного поезда? — просипел, едва тронулись.

— Да какой правительственный, рекламный, — сказал я.

— Без разницы, — хлюпнул носом таксист, — одно же и то же ж.

— Откуда про поезд слышали? — я откинулся назад и расслабился, дорога была на удивление ровная.

— Слухом земля полнится, — закашлялся он. — Вот вы откуда Хороших знаете?

— А вы его тоже знаете?

— Кто ж его не знает, олигарха клятого, живоглота!..

— А почему он олигарх?

— А кто ж, ежли один весь хлеб к рукам прибрал! Хлебные лавки его, слыхали, как называются?

— *Два-Хороших-два.*

— А почему так?

— Понятия не имею.

— А надо, чтоб *Один-Плохих-один.*

— Почему?

— А потому что брата родного ограбил и на нары отправил. Спор хозяйствующих субъектов там... налоговые преступления... как это у вас не то в правительстве, не то в рекламе... телевизор тоже смотрим, в курсе...

Он шумно втянул в себя сопли, быстро отвинтил окошко, сплюнул и снова завинтил..

— Ну а хлеб-то хоть у него хороший? — спросил я.

— Хлеб хороший, — признал таксист, как признают поражение.

— Вот видите! — Я будто праздновал неизвестно что.

Мы прибыли. Хлебопекарня находилась недалеко от железнодорожной станции. Вслед за нами прибыл фургон, который мы опередили. Вывеска на пекарне выглядела по-купечески, как я это видал в книгах на старых картинках, что было даже стильно. Хлебный дух вкусно шибанул в нос, едва мы переместились с улицы в помещение.

— Кое-что вводное я пересказал вашим, — подошел ко мне Хороших. — Повторять не буду, у них спросите. Щас кратенько рассмотрим процесс, затем хлебное угощение. Там зададите вопросы, какие вам нужно.

Я слегка напрягся, представив себе угощение хлебом. Впрочем, не было нужды запихивать его в себя буханками.

Хороших скинул доху и оказался в синем халате, на голову натянул синюю шапочку и сделался похож на хирурга. Нас облачили в такие же одежды. Экскурсия началась. Постояли у тестосмесительной машины, у расстоечной камеры, где тесто отдыхало перед запуском в готовку, у ротационной печи, где формовались изделия. Несколько пекарей и рабочих в том же синем остановились и глазели на нас, пока Хороших объяснял разные премудрости. Ваня, записывавший за ним, доверительно сказал мне:

— Сильный хозяин, хлебный бизнес повсюду падает, а у него растет...

— За счет чего, как вы думаете? — проявил я вежливость.

— За счет чего все растет? За счет ума, смекалки и энергии. А нет их — все гниет... — сокрушенно вздохнул Ваня.

Маня держалась в отдалении, время от времени оказываясь в позиции, при которой длинному Ване удобно было склониться к ней, маленькой, дружески похлопать по плечу или дернуть за ушко. Для чего она позвала поехать с ними? Для демонстрации теплых отношений между ними? Мстила за что-то? Неужели и впрямь за то, что не сказал ей о Скунчак? Или мстила себе? Каприз ребенка или сложная психология сформировавшейся женщины, мне не доступная?

К лавке, где торговали хлебом, примыкал гостевой зальчик, белизна крахмальной скатерти, постланной на столе, отдавала в голубизну. Я все же полагал, что к хлебу подадут какую-никакую закуску. Однако, как в рыбокоптильне Ухова была одна рыба, так в хлебопекарне Хороших был один хлеб. Темный с кунжутом, светлый с маком, еще один светлый с орешками и семечками, еще один темный с изюмом, буханки, батоны, багеты, а также блестевшие светло-коричневой и темно-коричневой корочкой ржаные и пшеничные булки, коржики и кексы. Я вдруг ощутил зверский аппетит.

— Вы не стесняйтесь, пробуйте все, не можете съесть целиком — отщипывайте, — подмигнул Хороших.

Я, правда, не едал такого хлеба. Он таял во рту, как таяло бы самое великолепное пирожное. Все смешалось во мне, как в доме Облонских. Вкусный хлеб и не вызывающий симпатии его изготовитель, Маня и Ваня, женщина, которую я не смел любить и любил, и мужчина, чьей женой она была...

— Вы сказали задавать вопросы, которые нам нужно, — отвлекся я от своей смуты. — А вам что нужно?

— Зачем приехал за вами и для чего привез к себе? — не тушуясь, прояснил Хороших. — Так для рекламы! Мы по разные концы, а посередке интерес, что ваш, то и наш, баш на баш.

Мне нечего было терять.

— Про вас говорят, вы родного брата в тюрьму упекли, чтобы завладеть его частью бизнеса, это так?

— Кто говорит, Сенька-таксист?

Угадать было нетрудно.

— А хоть бы и он. Или вы это моим товарищам уже пересказали?

— Товарищам? Не, не пересказал.

Можно было подумать, что он растерялся, но он не растерялся.

— Перескажу, ежли любопытно.

Маня и Ваня поворачивали головы, как если б мы играли в теннис, с интересом наблюдая обмен ударами.

Пересказ Хороших был жестким.

— Брательника моего так и так обводили вокруг пальца. Пришлось отодвинуть в сторону чужих и обвести самому, по-родственному. Иначе всему каюк. Он старший, заметьте. А я воротился из армии, вот с этим увечным нервом на глазу, тоже та еще школа жизни. А он как был грузчик в булочной, с грошовым заработком, так остался. И не пьяница, не слабоумный, заметьте. Безвольный. Уговорил его взять кредит на двоих, закупили оборудование. Директор булочной уступила за недорогую аренду угол. Через год мы ее выжили. А у нее племян-

ник в налоговой академии в Новосибирске студентом. Мы уж во всю раскрутились, когда он прибыл в райцентр свово детства. Вот не меняются люди, хоть тресни. Как был бандюган, так остался. На одном же пятачке все малолетки крутились. Короче, наехали налоговики. А у нас так: делаю все я, а бумажки подписывает брательник. Право подписи у него, заметьте. Вот и вся история.

— Значит, его посадил, а сам выкрутился, — мужественно выступил на моей стороне Ваня.

— По факту так, — подтвердил Хороших. — А по делу — дело спас. У него жена и двое детишек. И моих трое. Еще мать-старуха. Всех содержу. И людям работу даю. Все же ж четыре лавки. Всю местность обеспечиваю. Можете писать у себя в газетах все, как есть, я правды не боюсь, заметьте. А пиар так и так нужон.

Тень драматурга Вампилова нависала над местностью и местными. Вот и этот, заметьте, куда как годился в персонажи *Чулимска*. Десятилетия прошли. А что изменилось? В нравах? Отношениях? Экономической и юридической деятельности? В справедливости, наконец? Жизнь по-прежнему путала карты, где *хороших,* где *плохих*. У меня немного мутилось в голове, будто я заболевал.

Обратно Хороших отправил нас, остановив первого встречного *москвичонка*: хлебный фургон понадобился по делу.

Ехали молча. Маня первой прервала молчание:

— А говорят, хлеб надо делать чистыми руками...

— Мало ли что говорят... — пробормотал я, стараясь удержать в вертикальном положении голову, клонившуюся то вправо, то влево, словно я хорошо выпил.

— Вы молодец, — одобрил меня Ваня. — Как классный журналист сработали...

В зеркало заднего обзора мне хорошо была видна хозяйская Ванина рука на Манином плече.

Я заболел. Должно быть, заразился от Сеньки-таксиста. Как поднялся в вагон, не помню. Трясучка, значит, высокая температура, пожар в глазах, пересохший рот, провал в полусон-полубред. В голове перекатывались звенящие стальные шарики, они увеличивались, бились со звоном друг об друга, лопались, осколки превращались в нечто жестко-мягкое, подобное стекловате, она заполняла внутренность лица, челюсти, ушные проходы, заглазную область, хотелось эту вату прожевать-проглотить, а она не давалась, а продолжала свой упорный бесчувственный и безвкусный рост, но вдруг в какую-то секунду, сама по себе, исчезала изнутри, чтобы оказаться снаружи, делалась белыми клоками, они превращались в белые облака, плывущие над голубой

лентой реки, я плыл с ними, среди них, как будто бы в воздушном шаре, подо мной цвел летний луг, я летел все ниже, приближаясь, и луг, приближаясь, укрупнялся всеми своими цветами и соцветьями, и вдруг я лихо промахивал над ним, мимо, мимо, устремляясь к реке и слету погружаясь в теплую речную воду, в ее глубину, где ждала меня моя мать с распущенными волосами и прозрачными глазами, как на картинах Боттичелли, и платье на ней, волновавшееся в потоках воды, было прозрачное, как на боттичеллиевых женщинах, и она приманивала меня к себе, и я был уже совсем близко, и знал, что если она меня обнимет, я умру, но сладость материнского объятья превышала страх смерти, и я...

Я очнулся.

У меня в аптечке имелись пилюли, которые убирали самую жестокую лихорадку за несколько часов, и мне хватило остатков сообразительности, чтобы выпить их перед тем, как свалиться в полубеспамятстве; пилюли делали свою работу, помогая организму побороть вирус, борьба обессиливала, но слабость граничила с блаженством. Я был мокрый с головы до ног. Это означало, что температура упала, красные шарики справились, вирус погиб.

Мне крайне редко снилась мать, которой я не знал, и всякий раз я просыпался счастливым. У нее было лицо женщин Боттичелли, но откуда оно взялось такое, мне было неведомо, сознанию моему не на что было опереться, ни одной черты моей настоящей матери я не знал, а разгадать коленца, какие выкидывает подсознание, не умел. Всеми силами я стремился удержать это состояние счастья, которого был лишен наяву, и иногда мне удавалось растянуть его на час-другой. Чаще ограничивалось минутами. Реальное время истощало то, что только что было более чем реально и уходило, уходило, уходило, не в моих возможностях было его удержать. Оставалось запоминать, собирая обрывки снов в умственную копилку, как скряга собирает в сундук драгоценности.

Поезд двигался сквозь глухую тьму, подобно кораблю, что преодолевает океан в ночи, стылая территория которого оставляет человека наедине с Богом. Я плавал на корабле в океане, там мне впервые открылось страшное и прекрасное ощущение единства человека и Бога. Моя мать, являвшаяся мне в снах, принадлежала к этой, единой с Богом, территории.

А Вампилов, верно, еще и своего Зилова в *Утиной охоте* взял от станции Зилово, которую мы проехали трое суток назад, но я тогда был занят чем-то другим и об этом не подумал.

В дверь купе постучали.

Дверь уехала влево, и вошел Молодцов. Его груша хвостиком вниз блестела, как намазанная кремом. А может, так оно и было. Я уж упоминал про это разом явившееся мужское любовное ухаживанье за собой. Бывшее советское, а нынешнее новое русское мужичье, представлявшее собой правящий класс, к какому примыкал класс обслуживающий, один за одним принялось наносить на вчера еще одутловатую, в какой-то перхоти и чирьях морду кремы, делать маски, подтягивать кожу, чтобы ни в коем случае не стареть, а тем более, не умирать, ибо того и гляди умрешь, а твое место заступит другой, более удачливый в косметических процедурах.

— В-вы в-ведь б-были п-последним, к-кто в-видел С-скунчак...

И этот туда же.

— Ну, положим, видел.

— А п-позвольте с-спросить, она, д-действительно, д-добровольно осталась в Ч-чите или ее з-заставили остаться?

От волнения он заикался больше обычного.

Доморощенные расследователи смешили меня. Этот был либо дурак, либо провокатор, либо то и другое вместе. Я не стал, однако, доводить своего мнения до его сведения напрямую, а выразился фигурально:

— Я вас интересую как пособник или как трус?

Он засмеялся громко и фальшиво. Как шутке, которая удалась. После чего вернул на ухоженную физиономию озабоченное выражение.

— М-меня интересует С-скунчак. Эти л-люди в м-масках, к-которые явились з-за ее б-багажом, — откуда м-мы з-знаем, ч-что они от с-семьи, а не от т-тех-же б-бандитов? Я в-высказал с-свои на этот с-счет п-предположения Адову. Н-но м-мы же с в-вами в-видим, с-сколь н-недалекого ума этот г-господин...

— Разве? А что он вам сказал? — я тщетно попытался вообразить далекий ум господина, который стоял сейчас передо мной.

— Ч-что с-стоит иметь д-дело с р-реалиями, а не м-мыльными п-пузырями п-предположений, п-представляете?..

— Да что вы! — искренне удивился я.

Я удивился Адову. Говорить такое заслуженному деятелю политтехнологических наук, чье занятие — извлекать из мыльной пены мыльные пузыри, все равно что говорить дураку или провокатору, что он дурак или провокатор. Зачем? Все равно отскочит, как от стенки горох.

— Вы вправе строить любые предположения, — проявил я как можно больше деликатности, — тем более, что делаете это профессионально. Но лично я исходил бы из той данности, что Скунчак сама пожелала остаться в Чите с поклонником, которого стремительно там

обрела, а поклонник вряд ли стал снаряжать отряд головорезов, чтобы всего-навсего забрать из поезда ее шмотки.

— А С-скунчаки з-зачем с-снярядили? — продемонстрировал Молодцов гибкость своего ума, или чего-то, что заменяло ему ум.

— Затем, — нашелся я, — что мало ли что было у девушки в ее багаже, от бриллиантов до документов.

— Ага! Н-но это же м-могло п-привлечь и п-поклонника, к-как в-вы его н-называете! — победоносно вскинулся Молодцов.

Я склонил голову перед сообразительностью оппонента, через секунду, правда, вернув ее в прежнее положение.

— А почему вас это так волнует? — позволил я себе скромное любопытство.

— А в-вас н-нет? — парировал Молодцов.

— В определенной степени, — признал я. — Но у меня только что была температура сорок, и, возможно, это несколько изменило расстановку приоритетов в моем сознании.

— Ну вот! — с важностью провозгласил Молодцов, неожиданно перестав заикаться. — А я в норме, у меня температура тридцать шесть и шесть, и ничто не отвлекает меня от моих озабоченностей, которые касаются выработки своей точки зрения на происходящее, потому что уже очень скоро мы прибудем в Москву, где пресса, как обычно, попросит меня об интервью, а я буду стоять столб столбом, не зная, куда Макар загнал своих телят!

— Понимаю, — выказал я некоторую гордость от того, что меня посвятили, можно считать, в интимное, и позволил себе продвинуться чуть дальше: — А ваш коллега Молотков уже выработал свою? Точку зрения, я имею в виду.

— Между нами, — понизил голос Молодцов, — он настолько привык пользоваться плодами чужих размышлений, чаще всего, моих, что у него, кажется, и само место, каким размышляют, атрофировалось!

Мы оба дружески рассмеялись.

— Итак... — сказал он.

— Итак... — сказал я.

И в это мгновенье я понял, что безо всяких усилий с моей стороны, и без них же со стороны моего визави, мне только что была представлена модель работы этих истовых тружеников политической и иной мысли, когда в пыль перетирался любой факт, и отсутствие факта перетиралось в пыль, и нуль, с которого начиналось, нулем и заканчивалось, а меж двумя нулями лежало немереное поле бессмыслицы, якобы засеянное смыслами. О, это бессмертное сословие производителей пустоты! Убежденные в личных доблестях, они возлагают вину на кого

угодно и на что угодно, если попадают впросак со своими суждениями. Но еще более задирают нос, если их бессовестная и настырная пропаганда совпадает с самыми темными ожиданиями толпы, принимающей их всерьез. Несчастно общество, в котором это происходит.

— На прием в салон-вагон придете? — неожиданно переменил тему Молодцов.

— Приму сначала душ, а потом приму участие в приеме, — пообещал я.

Молодцов вышел. Я отправился в душ. Стало полегче. Не снимая махрового халата, прилег на пару минут. Лежа, вспоминал Монтеня, которого читал или делал вид, что читал, специально, должно быть, нанятый проводник Саша: *исключительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек.* Проникшись гуманизмом, подумал, что приложимо даже и к такому, как Молодцов.

После чего уснул.

Мертвецким сном.

8

— Мы едем или стоим?

— Едем.

— А сколько времени?

— Два часа.

— Дня?

— Ночи.

— Я проспал прием.

— Вы проспали больше суток.

В купе были задернуты синие занавески и горел синий ночник.

Маня, стоя на коленках возле моего лежбища, разглаживала пальчиком морщины у меня на лбу, возможно, надеясь на эффект омоложения.

Я замер. У меня пересохло горло. Не я, а кто-то во мне глухим, прерывающимся голосом произнес:

— Иди ко мне, девочка.

Она отпрянула от меня.

Встала.

Подошла к двери.

Повернула в ней защелку.

В слабом синем свете я видел ее очертания, она была в чем-то темном, кажется, нарядном, шелковом, коротком, на бретельках, подчеркивающим все ее тугие формы.

Я протянул к ней руки.

— Подожди, — шепнула она.

Одним движением она освободилась от шелка, оставшись только в трусиках. Ее тяжелые крепкие груди нависли надо мной. Я осторожно прильнул к ложбине между ними. Она была свежая и пригожая и среди зимы, в поезде, мчавшемся сквозь зиму, пахла луговыми травами. Она смотрела прямо на меня. Зрачки отсверкивали синим. Она не была похожа на боттичеллиевых женщин. Она не была похожа на мою мать, являвшуюся мне в моих снах. Но я знал, что если обниму ее, то умру.

И я заплакал. Здоровый, взрослый мужчина плакал!..

Она стала спрашивать, как у ребенка:

— Что ты? Что с тобой? Что, маленький?

Я обнял ее и умер.

Потом мы лежали рядом, касаясь друг друга всем, чем только можно было касаться.

Она спрашивала:

— Кто ты? Откуда? Зачем ты?

Голос-колокольчик прерывался переливами колокольчикового смеха.

Я рассказывал. Я хотел рассказывать. Я рассказывал и видел то, о чем рассказываю. Воспоминание для женщины, которую мы полюбили, относится к высшим минутам блаженства, пропустить, упустить эти минуты нельзя, не наверстаешь. Если б я был чей-то агент, а она контрагент, как раз это существо и следовало подослать ко мне, чтобы выведать все секреты агентуры.

Я не знал своих родителей. Меня подбросили в детдом в самом пубертатном возрасте. Это было где-то в Советском Союзе, как я догадался гораздо позже, но где, я не знал и не помнил, а отдельные вспышки памяти, например, о каких-нибудь оладьях, или каком-нибудь пальтишке с хлястиком, или каком-то окаемке луга у реки, не складывались в цельную картину. Меня разыскал отец, когда мне было четыре года. Он был грек и жил в Греции, и ему удалось чудесным образом приехать, найти меня, забрать из детдома и вывезти в Грецию. Он был пионер этого дела: детей из СССР в те годы не вывозили и не разрешали вывозить. Висел железный занавес. Как грек стал моим родителем, непонятно. Он никогда мне этого не объяснил. И никогда ничего не сказал про мою родительницу. А я и не просил сказать. Почему-то я ничего не просил у него, пока мы жили вместе. А когда бы я мог попросить, его уже рядом не было. Я заговорил по-гречески так же, как по-русски, и русский никуда у меня не ушел, потому что мой отец, или

человек, выдававший себя за моего отца, говорил и по-гречески, и по-русски. Меня как-то звали по-русски, но имя я позабыл, потому что отец хотел, чтобы я его забыл, а помнил только свое греческое — Крис. Его звали Акакис. И отца его звали Акакис. Если бы по-русски, отец был бы Акакис Акакисович. То есть Акакий Акакиевич, если совсем по-русски. Мы жили в маленькой деревушке на берегу моря. Я, когда подрос, смотрел по карте, там одно Средиземное море делится на ряд морей, Ионическое, Эгейское, Ливийское, но мне не сказали названия деревни, где я жил, и я понятия не имел, где ее искать. Это была обычная деревня, не курорт, но туристы наезжали и размещались где-то поблизости, купались в море, сидели в тратториях, где пили кислое вино и, отделяя розовые плевочки ракушечного мяса от створок черных раковин, с присвистом и причмокиванием отправляли в рот. Мы с отцом делали это круглый год. Это была еда бедняков. И потом, когда я ел суп из мидий в ресторане на Нью-Йоркском вокзале или устрицы в Париже, это не было для меня новостью, а было привычным вкусом. Я ходил закопченный, как головешка. Или лучше сказать, как мой отец. Он добывал мидий. Это был его хлеб. Я помогал ему. У него было свое местечко на прибрежных камнях. Так же, как свои места были у других добытчиков. Солнце жгло нас нещадно. Мне это нравилось. Я намерзся где-то в другом месте, которое было мне неизвестно, потому что отец о нем не заговаривал. Он был по характеру великий молчальник, и я стал таким же. Тем сильнее поразила меня его громкая бранная речь, которая донеслась, когда я бродил вдалеке по пояс в воде, погруженный в сбор ракушек. Я поднял глаза от воды и увидел трех верзил, которые с разных сторон обступили отца. Я сразу понял, что происходит что-то нехорошее, бросил корзинку с ракушками и побежал ему на помощь. Он, выставив вперед полусогнутые в локтях руки, перебирал ногами по гальке, кружась, как в танце, и скашивая глаза, чтобы видеть одновременно всех троих. Попав в поле его зрения, я услышал его приказ: беги! Может быть, мне не следовало исполнять его. Но мне было всего пять лет, и я привык во всем подчиняться отцу. Взрослым я много раз возвращался к этому важному эпизоду своей биографии, размышляя, правильно ли я сделал, не оставшись, а убежав. Вероятнее всего, они бы убили меня, как убили его. Если меня, на его глазах, сначала, — это доставило бы лишние страдания ему. Если бы его убийство произошло на моих глазах, — лишние страдания достались бы на мою долю. Впрочем, перед лицом смерти как конца всего, не уверен, важны или нет такие подробности.

Маня вцепилась в меня обеими руками и слушала, не шелохнувшись, только пальчики ее слегка сжимались и разжимались.

— Что это было? Почему они его убили? Куда ты делся?

Я не знал. Ни что это было, ни почему они его убили, ни куда я делся. Причудливая изрезанность морского берега создавала более и менее выгодные условия для добычи раковин, и существовал бизнес наследный и бизнес захваченный, вроде нынешних рейдерских захватов, только в более примитивной форме. Это я уже думал взрослым. Фрагментами мелькали мужчина и женщина, должно быть, семейная пара, спрятавшая меня. Ночной шепот, который я слышу, лежа без сна, или все же это был сон, и в этом сне мужчина говорил женщине, что мой отец был и не отцом мне вовсе, а чужим, которому были заплачены деньги за меня, и что его убили за то, что он не доставил меня кому-то, кому должен был по уговору и за деньги, а оставил у себя, укрывшись вместе со мной в этой Богом забытой деревушке. Кому могли понадобиться и для чего пригодиться подобные детишки, я не знал, я мог строить разные предположения, но все они возводились на песке, на чистом морском песке, на котором я любил валяться в свободное от сбора мидий время, потому что книжек я не читал, был неразвит и фантазии, переходящие в сны, и сны, переходящие в фантазии, заменяли мне мало-мальское образование.

Дальше я себя помню уже в Америке. Я сын приемных родителей, мы живем в Сент-Луисе, где протекает река Миссисипи, и я читаю по складам по-английски замечательную книжку *Приключения Тома Сойера,* а за ней вторую — *Приключения Гекльберри Финна,* и моя приемная мать, встряхивая кудельками, которые она красила в розовый цвет, рассказывает мне, что все тут поблизости и происходило и что Сэм Клеменс сперва плавал лоцманом по реке Миссисипи, а потом уже Марк Твен написал эти самые приключения двух мальчиков и их взрослого черного друга Джимми Граймса. Я не понимаю, какая связь между Сэмом Клеменсом и Марком Твеном, и она объясняет, что одно имя настоящее, а другое псевдоним. Я спрашиваю ее, что такое псевдоним и какое мое имя настоящее, а какое псевдоним. Она говорит, что псевдоним я выберу себе сам, когда стану взрослым, если захочу, а настоящее мое имя — Крис. Она была всезнайка, поскольку являлась профессором университета, но к тому времени, как мы познакомились, правильнее сказать, породнились, она уже вышла на пенсию и делать ей было нечего, взрослые дети разъехались, и она взяла себе приемыша. Я говорю про нее, потому что она была шея, а муж голова, и шея вертела головой, а отдельно от нее он никакой роли не играл, во всем ее слушаясь и подчиняясь, хотя и был проповедник. Про свое имя я сказал: нет. Что нет, не поняла Милда. Ее звали Милда, и я звал ее не мама и никак, а Милда, как все в ее окружении. Мое имя не Крис,

Крис псевдоним, заявил я. Что ты выдумываешь, сказала Милда. И спросила: а какое настоящее имя? Я не знаю, ответил я, но не Крис, какое-то противоположное. Может быть, Антикрис, засмеялась она. Не надо так говорить, вмешался Эрнст, Милдин муж, проповедник, не надо так говорить, Антикрис звучит как Антихрист...

Тут Маня меня прервала:

— Ты фантазируешь? Это твои фантазии или это правда? И про Антикриса-Антихриста ты выдумал, признайся!..

— Кто может поручиться, что знает границу между фантазией и правдой! — философски заметил я и спросил: — Хочешь дослушать про имена?

Маня провела прохладной ладошкой по моему лицу:

— А это еще не все?

— Это еще не все, — отвечал я. — Потому что вскоре я узнал, что и Милда не Милда, что в детстве ее имя было Люся, Людмила, потому что она тоже была русская, только я эмигрант в первом поколении, а она в третьем, потому что дед ее и бабка уехали в Америку с началом Первой мировой войны, и, кроме *Тома Сойера*, она давала мне читать русские народные сказки, *Детство Темы* Аксакова, *Дубровского* Пушкина, *Вечера на хуторе близ Диканьки* Гоголя, и вот почему...

— ...вот почему мы разнесли свои семена по всему белу свету, раз, и вот почему ты такой, два, — задумчиво закончила за меня Маня, и на этот раз я не стал любопытствовать, какой. — А дальше? — спросила она.

— А дальше вот по всему американску белу свету и носило, каменщиком, матросом, инженером-путейцем, медиком, славистом и прочее... Хватит обо мне, — прервал я свой отчет и поцеловал ее ладошку. — Давай о тебе. Скажи, ты скучала по мне на приеме в салон-вагоне?

Теперь мы оба засмеялись. Нам опять было весело так, словно мы были единственные на этом свете, и не занесенная снегом земля за окном поезда, и не стальные рельсы, по которым бежал наш поезд, неотменимо следуя своему маршруту из точки А в точку Б, где при всех обстоятельствах нам придется расстаться, имели значение, — а только вольная воля бродить на все четыре стороны, что из зрелости в детство, что из России в Грецию, что от одной души к другой, и это делало нас свободными и счастливыми.

Я всегда боялся быть счастливым. Многие люди боятся быть счастливыми и бегут от этого, сами не зная, куда. Сейчас я не боялся. Я не боялся сказать себе, что счастьем была эта случайно встреченная маленькая женщина, которая вела себя так, как в моем любовном

опыте не вела себя никакая другая. Даже в Америке, по-настоящему свободной стране, в которой мужчины и женщины отвечают сами за себя, выяснение отношений, пусть в самых ненавязчивых формах, начиналось почти сразу после постели. Я не говорю о формах навязчивых, какие присущи славянкам. И американки, и славянки после секса, а иные и до, затевают беседы, в каких они могли бы выяснить *настоящее* отношение партнера к себе. Как будто секс не есть настоящее, как будто организм мужчины не устроен так, что обмануть и обмануться невозможно. Если ты не хочешь эту женщину, ничто не поможет тебе ее хотеть. А хотеть — что ни на есть настоящее, стоящее, сущее. Маня не произносила ничего в том роде, в каком Евтушенко написал *ты говорила шепотом: а что потом, а что потом.* Что потом — расшифровывается по-разному, но одинаково. Женат ли ты. Спишь ли со своей женой. Что мне сказать мужу. Много ли у тебя было таких девушек, как я. Для тебя это проходной эпизод или что-то серьезное. И наконец, любишь ли ты меня. Это выпрашивание чего-то сверх любви, а может быть, сбоку любви или ниже любви, ибо момент соединения мужчины и женщины и есть акт любви, делает женщину навсегда отличной от мужчины, и они никогда до конца не поймут друг друга, потому что у них разная ориентация. Да, конечно, она отдается, он берет. Но не любимое он не возьмет. Пусть это длится один миг или целую жизнь, тут уж кому как повезет. Выход в компромиссе, в непроговариваемом договоре, на который идут все мужчины и все женщины, каких только выносила земля. Земляные дни мужчин и женщин делаются невыносимы, если одна из сторон нарушает договор. Тогда наступает кризис.

Маня ничем этим не занималась. Она ничего не выпрашивала и себя не объясняла, что является просто иной формой выпрашивания. Она честно и простодушно интересовалась мной.

— Крис! Я придумала тебе еще имя! Кризис!

Я вздрогнул. Моя последняя девушка, с которой мы плохо расстались, звала меня так, когда начала со мной ссориться. Она все допытывалась, где я работаю. В конце концов пришлось назвать известную контору, в которой я уже пять лет работал антикризисным менеджером. Она, злясь на меня, воскликнула: ты антикризисный менеджер? О ноу, ты кризисный менеджер! Ты создаешь кризисы, а не разруливаешь их, ты не Крис, ты Кризис!..

— Никогда не говори так, — поцелуем я закрыл рот Мани, чтобы она не могла возразить. — Расскажи лучше, что там у вас было.

— Где?

— На приеме.

Пружинисто подскочив, Маня села в постели, и я снова увидел ее прелестные очертания, но теперь у меня не сохла глотка, а блаженное тепло разливалось по телу, словно она была моя родная и мы соприкасались родными душами.

— Слушай!

Все же сначала, как истинная женщина, она начала с себя. Что надела новое платье, прихваченное на какой-нибудь резон, резон нашелся, все получили записочки *форма одежды парадная*, и расфуфырились по-черному, как она выразилась. Хотя в настоящем черном была она одна. Г. Алкин затянулся в голубую кожу, такой мягкости, по словам Мани, что временами казалось, будто это его натуральная кожа, настолько повторяла все его изгибы, уплотнения и утолщения. Его дружок, певец Степанида, в девичестве Степан, в узких брюках из новогодних блесток и страусином боа, увлеченно разглаживал от морщинок и складок спину г. Алкина, так портной разглаживает ткань, прежде чем начать ее кроить. Его подружка со сценическим именем Херувима, хотя публике было известно ее настоящее имя Серафима, скучая, впивалась в него кровавыми ноготками, силясь оторвать от голубокожего г. Алкина. Она была облачена во что-то типа атласной портьеры, хитроумно оставлявшей открытым целлюлитный животик и часть целлюлитного бедра. Главная девушка г. Алкина, по прозвищу Алка Зельцер, эстрадная балерина, которая, к тому же, рассказывала с эстрады страшные сказки собственного сочинения, в последний момент рассорилась с г. Алкиным и на вокзал не явилась, а он и не горевал. Или делал вид. Все-таки это она строила им двоим дом. А не он. Еще одна певичка, Лорелея, в расшитом стразами купальнике, к которому, как к корове седло, шел высокий парчовый воротник эпохи Людовика, впивалась коготками в самое себя, эдакий сценический прикол, которым, как считала, она возбуждала зрителей в зале. На самом деле возбужденный газетчик Мелентьев, в мятом смокинге и с двухдневной щетиной на щеках, почему-то именуемой *гарвардской,* простецки играл ее королевским воротником, отпуская ей за воротник мелкие поцелуйчики, Лорелея громко хихикала, ежась, как от щекотки, но скоро соскучилась, поскольку никто больше не врубался в их адреналиновую игру, и рванула от Мелентьева, раздался треск, ровно половина шикарной вещи осталась в руках газетчика, Лорелея взвыла. Откуда ни возьмись, явились два накачанных охранника, готовых вступиться за порванную честь или часть девушки. Да я приштопаю, раздался всеумиротворяющий голос г. Алкина, я умею. Маня, пересказывая эту чепуху, даже поймала дурашливую интонацию г. Алкина, от которой уже какой сезон млели юные девушки

вместе со старой девушкой Херувимой. Замминистра сделал знак, и вышколенные слуги исчезли, как сквозь днище вагона провалились. Замминистра был хорош, в темно-коричневом бархатном пиджаке, косынке на шее и светло-кофейных брюках. У Мани был острый глаз и ядовитый язычок, она живописала зрелище так, что я видел и эту голубую кожу, и этот парчовый верх, и этот светло-кофейный низ. От расфуфыренных бездельников отличались начальник поезда Путятин и старший машинист Ведмеденко. Оба были в костюмах и при галстуках, Путятин в полосатом серо-розовом, Ведмеденко тоже в полосатом, но розово-сером. У Путятина были белые зубы и седая шевелюра, у Ведмеденко черная шевелюра и золотые зубы. Ведмеденко, по сведениям Сельяниновой, был сочинец, Путятин — чеченец. Ведмеденко из литературы предпочитал *Вертера*, Путятин из музыки — Вагнера. Тандемы складывались в нашем путешествии сами собой: Молодцов и Молотков, Пенкин и Мелентьев, Скунчак и Очкова, Адов и Сельянинова, Путятин и Ведмеденко. Маня и Ваня. Последний образ мне удалось прогнать незаурядным усилием воли. Фуршетничали. Виски, коньяк, настоящие грузинские вина, свежие бутерброды с черной икрой, запрещенной к употреблению, но не в нашем поезде. Замминистра, взяв микрофон, в своем приветственном слове представил как главных на этом празднике жизни Путятина и Ведмеденко, себя скромно убрав в тень. Все, однако, понимали, что вышколенная пара ведет только один наш поезд, а скромный холеный замминистра ворочает поездами. Творческая натура, Адов, которому замминистра передал микрофон, произнес нечто заковыристое в том роде, что известно, мол, выражение *каждой твари по паре*, известны также библейские *семь пар чистых и семь пар нечистых*, обеспечившие продолжение жизни, вне пары ничего не родится, даже паранормальные явления, но паровоз, пуская пар, один заведует движением, и потому позвольте поднять тост за одного, энергией которого движется прогресс, но который также не может без пары, стало быть, за него и его супругу. Замминистра растянул губы в благосклонную улыбку. Около него внезапно очутилась серенькая, в сером платьице, женщина, не замеченная публикой прежде, со спокойными умными серыми глазками, по плечо мужу, он потрепал ее по волосам, как это делают очень близкие люди по отношению к очень близким людям. Это мой друг и талисман, негромко пояснил замминистра, склоняясь к микрофону, остававшемуся в руках Адова. Быстро наклюкавшийся Пенкин, держа в одной руке бокал с красным вином, другой выхватил у Адова микрофон и, обращаясь к замминистра, торжественно начал: как вам известно, я нахожусь в переписке с президентом... Замминистра,

поймав паузу, коротко проговорил: вы с ним — да, он с вами — нет. Всеобщий смех был ему наградой. Пенкин ничуть не смутился и продолжал: следующее письмо, которое он получит, будет с борта нашего корабля... Замминистра почти прошептал в микрофон: какой кошмар. Все опять расхохотались. Походило на клоунские репризы в цирке, о которых двое заранее договорились. Ответной репризой журналиста было: кошмар, но вы еще не знаете, какой, потому что я воспою гимн скромному олигарху, который на самом деле крутит руль как экономики, так и политики, вытекающей из экономики, после чего у вас найдут недостачу, или недогруз, или недоимку, или недоплату, то есть недосыл, сами знаете, чего... Салон-вагон замер. А нельзя ли наш рейс облить помоями, осведомился замминистра, и опять ситуация разрядилась смехом. Можно, отозвался гордо выпрямившийся Пенкин, но стоить будет дороже. После чего, сунувшись к партнеру с поцелуями, опрокинул бокал красного вина на светло-кофейные брюки того. Раздалось всеобщее *ах*. Из-под земли выросли охранники, отодрали Пенкина от замминистра, к которому злосчастный журналист, несмотря ни на что, прилип как липучка, и понесли вон из салон-вагона. Несомый Пенкин перебирал конечностями, будто балет танцевал. Замминистра произнес в микрофон: друзья, праздник продолжается, у меня есть еще пара брюк, к вопросу о пара-нормальном... И все ему захлопали. Проходя мимо Сельяниновой, снимавшей на маленькую камеру, он тихо попросил: аккуратно, да?

— Глядя на него, — говорила Маня, — я первый раз подумала, что и среди олигархов есть те, кого можно уважать, и, может, если б от них серьезно зависело, мы бы уже выбрались из задницы, в какой очутились...

Я отвел челку с ее лба и заглянул в омутную зелень ее глаз.

— А знаешь, — вдруг сказала она, — светскую жизнь обсуждают, чтобы не обсуждать жизнь. Правда?..

— Тебе хочется обсудить жизнь? — осторожно спросил я.

Маня засмеялась и вскочила.

— Пора, скоро утро, — произнесла она фразу Джульетты.

Мне до рези в желудке захотелось спросить у нее, что она скажет, вернувшись, мужу, раз, спит ли она с ним, два, почему она вела себя со мной сначала так, а теперь так, три, был ли у нее кто-то, помимо меня, четыре, серьезно ли все это для нее или пустяки, пять. Шесть: любит ли она меня. Физическая боль часто пронзала меня взамен душевной. Я готов был вести себя как женщина, это было ново, неловко, стыдно, но мне было плевать на стыд. Сколько я себя помню маленьким, я, молчун, закрытый, вещь в себе, в самой глуби своей нуждался в сострадании. Я выпрашивал его своим молчанием, своей немотиви-

рованной дерзостью, необъяснимыми выходками, от которых Милда столбенела, а Эрнст, выйдя с ней в другую комнату, где, считалось, я их не слышу, вздыхал: все-таки зверек, все-таки не американец. Она вздыхала в ответ: а ты не проповедник, ты расист. Лишь когда я стал мужчиной, до меня дошло, что это чисто женская черта — испрашивать сострадания, и от нее нужно избавляться, как от дурной болезни. Или мужчины и женщины схожи больше, чем я предполагал. Зависит от количества тестотерона в крови. На первой лекции не оконченного мной медицинского колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке, куда я поступил не как зверек, а как американец, первое, что я услышал от преподавателя, было: вы будете потрясены, когда узнаете, что все наши чувства, вплоть до самых интимных, зависят всего-навсего от сочетания в нас химических элементов.

Это сочетание сейчас бунтовало, не желая отпускать Маню, желая узнать у нее хотя бы последнее, любит ли она меня или все это просто так, и, конечно, желая ее самым юношеским образом.

— Девочка, скажи мне, милая...

— Что сказать?

— Что происходит?

— Где? Между мной и тобой?

— Да.

— А ты не догадываешься?

— Ты сказала: пора, скоро утро. Как Джульетта Ромео.

— О Господи, до чего высокопарно! Значит, догадываешься.

— Почему ты то убегала от меня, то...

— То что?

— Ты знаешь, что.

— А ты нет?

— Тебе трудно?

— Ты смешной. Мне легко. Трудно тоже.

— Он... он отпустил тебя?

Она рассердилась:

— Послушай, заткнись, а!

Она не была Джульеттой. Она была Маней, и мне не стоило распускать нюни.

Я заткнулся.

Уже одетая, она, сделав руки крыльями самолета, покачала ими, как маленькая, издала самолетный звук *ж-ж-ж* и исчезла.

Я понюхал простыню, которая хранила ее запах. Простыня пахла луговыми травами. А может, такой тонкий луговой парфюм разбрызгивали вагонные службы.

Я понимал, что дорого заплачу за все. Но меня не интересовали низкозатратные формы счастья.

Я не мог спать. Я встал, умыл лицо, зажег весь свет, открыл компьютер, кликнул нужный текст.

Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами телесными или естественными; что причина всех перемен, превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся...

А. Н. Р., один из многочисленных российских предшественников-путешественников, цитирует кого-то, я цитирую его. Руку, товарищ.

В размышлениях о причинах и следствиях одного, другого, пятого, десятого неизменным поводырем в будущее остается наше прошлое. Прошлая культура, прошлый опыт бывших и ушедших людей. Для антикризисного менеджера ровно в той же степени, что для каменщика, матроса или профессора-слависта.

9

Я владел семью языками и семью специальностями. По очереди. Все оказались полезны антикризисному менеджеру. Начиная с каменщика. Поэтому я мог профессионально оценить новую кладку. Она была отменной. Стыки нового кирпича со старым без швов. Все своды и арки выложены так, что ни к чему не придраться. Штукатурка легла, что на внешние, что на внутренние стены, легко и ровно, без никаких лишних нашлепок, скосов и провалов. Отец Олег, вышедший нас встречать, источал радость. Ему было за пятьдесят, по словам брата, но выглядел он молодо, должно быть, из-за чрезмерной худобы. Лопатки выпирали, как у подростка, запястья рук были настолько тонки, что, казалось, косточки можно пересчитать, протяженный птичий нос забрал весь строительный лицевой материал, так что остальные части были несоразмерно малы и бледны. Темная борода курчавилась, редкие волосы, струившиеся из-под митры, были светло-русы. Должно быть, молодости добавляла часто рождающаяся улыбка, преображавшая лицо. Было видно, как он рад и горд, что удалось восстановить полуразрушенное здание таким превосходным образом. Денег не было, рабочих рук не было, ничего не было, говорил он нам, собравшимся

в кружок около него, было только одно общее желание восстановить храм, и была на то Божья воля. Появились и деньги, и рабочие руки, и цемент, и дерево, и все-все-все, да вот постойте, я вам покажу фото, каково здесь было, принеси наш альбом, Антон. Хлипкий мальчик Антон сходил за альбомом, и отец Олег, сам изумляясь, демонстрировал нам на снимках хлам и пыльное запустенье, и заросшие крапивой углы, и кусок чистого неба над какой-то страшной дырой с торчащими балками и вороньими гнездами, и финальную красоту, еще без иконостаса, но уже чистую, светлую и радостную. Он словно проводил среди нас экскурсию, не чинясь, отзывался на наши вопросы и реплики, и от этого не встало перегородки между ним и нами, какая нередко остается между прихожанами и батюшкой, особенно попервоначалу. Но вот он подвел нас к маленькой позолоченной иконе Божьей Матери, не висевшей, а полулежавшей на высокой деревянной стойке, и даже тембр голоса у него изменился, с высокого на грудной, и трепетная дрожь пробежала по челу.

— Это наша святыня, святыня, ее прислали в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году монахи из Афона, благодарные пастве за пожертвования. Икона чудотворная, чудесная. Когда храм разрушили, она исчезла, а когда мы принялись его восстанавливать, она появилась, какой-то человек принес, завернутую в одеяльце, как ребенка, как ребенка, оставил на лавочке и ушел.

— Это называется аналой, — шепнула мне Сельянинова, не отрывая взора от иконы на деревянной стойке.

Все вместе почему-то так взволновало меня, что я сдернул шляпу с головы, запоздало заметив, что мужчины все без головных уборов.

— Давайте, я отслужу коротенькую службу за упокой ваших близких, ваших близких, если не возражаете, — предложил отец Олег, — вы только напишите мне имена на бумажке, на бумажке...

У него была привычка повторять слова и целые словосочетания, словно он и сам проверял их крепость, и давал возможность слушателям проверить.

Я написал Милду и Эрнста, подумав, присовокупил к ним Акакиса и, протянув ему бумажку, наткнулся на его вопрошающий взгляд.

— Это мои приемные родители, — объяснил я. — Я американец.

— Американец... — повторил отец Олег за мной, вроде как не зная, что дальше с этим делать. И сейчас же улыбнулся, будто отпуская мне этот грех: — Ну американец так американец. А Акакис кто?

— Мой отец. Он грек.

— Вон как, — протянул отец Олег. — А как переводится Акакис, знаете, знаете? Невинный, невинный, да, — он продолжал: — Я инте-

ресовался Грецией, интересовался, оттуда наше все, начиная с великого грека, от которого вообще все пошло. Я и в Афонский монастырь паломником добирался еще и по этой причине, если честно, если честно, хотелось на родине его побывать... — И он неожиданно прочел наизусть: — *Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал, многие души могучие славных героев низринул...*

Я слушал, остолбенев. В селе на тысячу человек, где всего-то и зданий административных, что почта, отделение Сбербанка, средняя школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт и четыре магазина, в затерянном вятском селе священник цитирует наизусть Гомера! И тут же я вспомнил летчика-рыбника Ухова, цитировавшего Библию.

— *...Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины...* — вырвалось у меня.

Он подхватил:

— *Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся...*

Мы обменялись Мандельштамом, как обмениваются паролем. Еще и так пригодилось отделение славистики в Иллинойском университете, который я окончил и где получил магистерскую степень.

— А что ж вы мать не поминаете? — вдруг ласково спросил отец Олег. — Она кто у вас?

Я сказал, что моя мать русская, но я о ней ничего не знаю, поскольку она меня бросила в младенчестве. Говоря это, я живо видел, как молодая женщина несет ребеночка, завернутого в одеяльце, такое же, как у человека, несшего икону, и что-то несходное и несходимое вдруг сошлось, так что у меня комок встал в горле.

— Это хорошо, что она русская, это хорошо, — похвалил отец Олег мою мать. — И что по-русски вы хорошо говорите, хорошо, и что поэта нашего знаете, хорошо, — похвалил он и меня тоже. И заключил с сожалением: — Но я не могу отпевать не православных, не могу. Отца вашего отпою, он, можно думать, крещен был в православную веру, а за приемных родителей Вы сами помолитесь, помолитесь за них, это Богу угодно будет.

В Америке я не ходил в церковь, не считая себя приверженцем никакой официальной религии. И соблазнился поездкой к отцу Олегу из любопытства, а не из какого-либо религиозного чувства. Однако что-то то ли в воссозданном чистом облике храма, то ли в чистом облике его настоятеля, то ли в переполненном сердце моем было такое, что отворило его, и я, не подбирая слов, бессловесно и непротиворечиво приник к Богу отца Олега.

Священник выпевал скороговоркой слова литии, в которой мне ясно различалось всего несколько слов: *Ты еси Воскресение и живот и покой... ныне и присно и во веки веков...* А может, я просто уходил в себя во все остальное время, и возвратила меня к действительности лишь эта фраза. Теперь настоятель не улыбался, а был возвышен и строг и уже никак не напоминал экскурсовода, или, по крайней мере, был экскурсоводом в другой мир, где все было по-другому, важно и серьезно, и я всей душой отдался этому *Ты еси Воскресение и живот и покой...,* не только желая поверить, но веря, что так оно и будет, так оно и есть.

Брат отца Олега, фермер Игорь, встречавший наш поезд на станции Котельнич, стоя в сторонке, крестился с сосредоточенным видом. Он и завернул свой *фольксваген* сюда, позвав нас сначала заехать к брату посмотреть восстановленную церковь, а уж затем отправиться в его фермерское хозяйство.

В поцарапанный *фольксваген* набилось народу порядочно, церковь, кажется, обещала разнообразить впечатления. Игорь, плотный, кряжистый, с опасно гуляющими желваками на сосредоточенном лице, моложе брата лет на десять, оказался ничем не сходен с ним, кроме улыбки. Улыбка роднила братьев Воскобойниковых, частая на губах старшего и редкая на губах младшего. Строго говоря, младший Воскобойников и улыбнулся нам один-единственный раз, когда мы рассаживались в его микроавтобусе, а он, вытащив из большой сумки пачку полиэтиленовых пакетов с майками, принялся раздавать каждому. Берите, берите, трикотаж классный, соответствует лучшим мировым стандартам, хвастал он, смягчая хвастовство улыбкой, после чего уж больше не одаривал нас ею. Мы решили, что это тоже его бизнес. Нет, сказал он, это производство младшей сестры Ольги, ее ООО купило швейный цех, который допрежь загибался, а как не загибаться, товар дрянной, никто не брал, а не брал, потому как сырье дрянное, а денег ни на нормальное сырье, ни на переоборудование взять негде, зарплату рабочим не платили, рабочие увольнялись, а сестра вложила денежку и в переоснащение, и в разработку новых моделей, дело пошло, вот в данную минуту в Москве заключает новые контракты на поставку товара. Видно было, что брату доставляет удовольствие говорить о сестре, что он гордится ее успехами, и это мирило с его гуляющими желваками.

Бесснежные поля, продуваемые ветрами, перемежались с островерхими лесами. Река Вятка подмывала высокий правый берег, на котором располагался старинный Котельнич, обнажая крутые глиняные отложения, присыпанные снегом, как солью. В них-то и находили те самые скелеты парейазавров, с которыми я предлагал вам

ознакомиться, кивал в ту сторону фермер Воскобойников, крутя баранку. Действительно, он предложил нам по дороге заглянуть в местный палеонтологический музей, где лежала мировая слава Котельнича — натуральный череп и натуральный скелет древнего парейазавра. А знаете, где еще, помимо Котельнича, нашли останки этого чудища рогатого, — дразнил он нас в надежде пробудить желание ознакомиться с раритетом, — в Африке, Южной Америке и Китае. Сельянинова, со своей маленькой камерой в рюкзачке, загорелась. Другие, однако, возражали. Мнения разошлись. Победили те, кто хотел только в церковь. Кто хотел, помимо церкви, еще и к парейазавру, потерпели поражение. Фермер оказался в меньшинстве. Было похоже, что показывать свое фермерское хозяйство он как-то не торопится.

Я рад был, что парейазавр обошелся без нашего визита. Я и в кино никаких *Парков юрского периода* не смотрел. Что мне древность, когда я жил сегодня, сейчас, сию секунду. Что те *парки*, когда другие *парки* всегда готовы перерезать нить твоей жизни и надо быть готовым к этому, а как? Как подготовиться? Отец Олег знал. Но это было его знание. Не наше, экскурсантов, пожаловавших к нему по случаю. Мы могли лишь к чему-то прикоснуться. Я. Мог или не мог. В этом деле нет *мы*, есть *я*. Я прикоснулся. И теперь боялся расплескать то, чем был переполнен. Какой парейазавр! Хотя, если подумать, все мы парейазавры, наследники малопонятного и малоизвестного наследуемого, чудища рогатые, только и разницы, что приличное обличье!.. С какого боку-припеку залетела мысль, пригрозившая разрушением мира, который теперь был во мне? *Мiра*, как писали во времена Толстого и писал Толстой. Я сложил пальцы троеперстием и перекрестился.

Короткий зимний день почти не удерживал света. Покидая отца Олега, вышедшего проводить нас к церковным вратам, мы попали в мглистый туман, быстро на нас надвигавшийся.

— Тут близко, — пообещал фермер Игорь.

Мы, и впрямь, добрались до его местообитания меньше, чем за полчаса. День, впрочем, скончался. Сельянинова, снимавшая в церкви, — отец Олег разрешил, — с сожалением убрала камеру в рюкзачок. Неприятный запах ударил в ноздри. То ли пареной химии, то ли жареной крови.

Зрелище, представшее во тьме, носило апокалиптический характер. Остов сгоревшей жизни. Выгоревшая ферма, головешки, оставшиеся от каких-то хозяйственных построек, безжизненная, опустелая зона. Стало одиноко и страшно, погибшая жизнь простиралась вовне, насильственно проникая внутрь, выхолаживая кровь, как это делает всякая мертвечина.

Целым оставался кирпичный жилой дом, куда мы, подавленные, молча прошли вслед за хозяином. Что говорить, когда и без слов все было ясно. Я еще раз припомнил деревню летчика-рыбника Ухова и мысленно помолился о нем, чтоб не напала на него, не дай Бог, подобная напасть.

— Знакомьтесь, моя семья, — младший Воскобойников улыбнулся второй раз за сегодняшний день.

Жена, со спутанными русыми волосами, небрежно схваченными на макушке роговым гребнем, в джинсах и клетчатой ковбойке с закатанными рукавами, видимо, оторвавшись от стирки, вытирала руки кухонным полотенцем. Один паренек, лет пятнадцати, чинил ботинок из чертовой кожи, прошивая его кривой иглой с навощенной суровой ниткой-дратвой. Второй, лет восемнадцати, возился с птичьей клеткой. Такие же клетки, числом три, стояли готовые, пахло свежим деревом и лаком, перекрывавшим идущий с улицы запах горелого.

— Малый бизнес. Пока большой убит, — отрывисто произнес фермер.

Жена укоризненно на него глянула. Глаза у нее были больные.

— Не хотела, чтоб я вас сюда привозил, — честно перевел муж ее взгляд. — Свози, говорит, в музей, к отцу Олегу свози, сестрин трикотаж подари, покорми в ресторане в Котельниче, там поговорите, чтобы людям приятно было, а неприятностей своих у каждого хватает.

— Кто сжег? — задал я ненужный вопрос.

— Парейазавры, — прозвучал отрывистый ответ. — Доледниковые люди. Злоба, она ведь древняя, как мир. Ничем не вытравить. Галь, дай наш альбом.

Женщина потянулась к книжным полкам, книг было немало, джинсы на ней натянулись, обнажив красивые сухие лодыжки, я невольно залюбовался ими, пока она доставала альбом и протягивала мужу. В ее жестах и поведении сквозило не подчинение мужу, а уважение. Несмотря на печать несчастья, лежавшую на предметах и людях, что-то гармоничное просвечивало в этой семье. Было видно, как они, плечом к плечу, ни в чем не упрекая друг друга, а поддерживая, молча выстаивали в совместной борьбе с невзгодами.

— У отца Олега вы смотрели снимки в том порядке, что у него было. Посмотрите, что у нас. — Воскобойников взял альбом из рук жены. — Да не стойте вы там в дверях, проходите, проходите, видите, сколько рабочих рук, отмоем за вами грязь, как миленькую.

Мы неловко сгрудились над столом, где хозяин переворачивал листы альбома.

Стройка. В целом, такая же, как у старшего брата, если не учитывать разницы: там для Бога, тут для скота. Но скот тоже библейское понятие. Новенькая ферма. Добродушные коровы, славные мордочки телят. Птичник. Трактор в гараже. Микроавтобус, каким мы приехали. Неодушевленные объекты фотографировались с той же любовью, с какой фотографируются одушевленные родные и друзья. Резким контрастом — пепелище. Много пепелища. Крупным планом. Битое стекло, разор, черная гарь, поднимающиеся кое-где дымки и язычки пламени. Трупы телят. Множество маленьких тушек цыплят, разбросанных, как игрушки. Смотреть на животных особенно тяжело. У них нет языка, чтобы рассказать об ужасе и боли, выпавших на их долю.

— Кричали... — Воскобойников как будто услышал мои мысли. — Утеплитель горел. А у него едкий отравный дым. От него, в первую очередь, гибли. У Гали инфаркт. Хотя ей всего тридцать восемь.

— Но это ведь одни и те же люди, что подняли церковь и что жгли вас! Как это может быть? — удрученно воскликнула Очкова.

— Наверно, разные, — предположил Адов.

— Да нет. — Воскобойников захлопнул альбом. — Они. Те самые. Суд показал.

— Вы хоть были застрахованы? — Сельянинова не отнимала глаз от кинокамеры.

— Да, — кивнул он. — Весна придет, начнем отстраиваться заново.

— А не боитесь? — спросил Ваня.

— Урок. Не верить даже ближнему. Найму охрану.

— Выходит, в одном случае Божья воля помогает, а в другом нет, почему?! — вырвалось у Мани ребяческое, но от того не менее закономерное.

— Люди поумнее нас тысячи лет этот вопрос задавали, — произнес рассудительно Ваня. — Не нам дадут ответ.

— Но он есть?!. — в голосе Мани была та же ребяческая надежда.

— Есть, — убежденно утешил ее Ваня.

Я прикусил губу до крови.

Изредка ловя их в поле зрения, я по-прежнему ничего не понимал.

Перед тем, как в трапезной нас напоили крепким чаем с дешевыми конфетами и бубликами, случилось одно небольшое происшествие. Я стоял в двух шагах, когда Ваня подвел к отцу Олегу Маню и негромко попросил: обвенчайте нас, батюшка. Маниного лица я не видел, видел только закаменевшую спинку моего комодика. Моего? Чужого. По-прежнему чужого. Еще более чужого, чем это было до нашей святой ночи. Ваня, крепко сжав локоть жены, повторил громче: вы можете нас обвенчать? Прямо сию минуту, спросил отец Олег со светлым выраже-

нием лица. Прямо сию минуту, подтвердил Ваня. Маня по-прежнему была недвижна. Ты против, спросил ее Ваня. Я за, медленно выговорила Маня. Вы прямо как на комсомольском собрании, улыбнулся отец Олег, и я отрешенно подумал, что у него был, должно быть, опыт таких собраний. Все напоминало замедленную киносъемку. А лучше сказать, сон, в котором не можешь пошевельнуть ни рукой, ни ногой и, беспомощный, с ужасом ждешь развития роковых событий. Я понимал, что сейчас их обведут вокруг аналоя, я ведь читал русскую классику, и все будет кончено. Что кончено? А разве что-то начиналось? Разве имела значение эта ночь, после которой они все равно вышли утром вдвоем, как ни в чем не бывало, а если в чем и бывало, то это нисколько не разрушило их отношений, а стало быть, не на чем строить новые отношения, пусть некий безумец и переполнен нелепой мечтой. Я хотел выступить, что, мол, у нас, у группы, нет времени ни на чей венчальный обряд, и, сознавая, что это было бы самым дурацким из всего дурацкого, что мне удалось совершить в жизни, молчал: болезненный ступор, слава Богу, лишил движения. Но и отец Олег отчего-то медлил. Ванино желание было ему явно по душе, однако что-то же заставляло его переводить светлый добрый взор с одного на другую. Маня, между тем, взяла Ваню под руку, — мне показалось, что на всю церковь раздается громкий стук моего сердца. А кольца у вас есть, спросил священник. Маня показала пальчик с узеньким золотым колечком на нем. Ваня огорченно разглядывал свои пустые пальцы. Вот видишь, вздохнула, как всхлипнула, Маня. И, обращаясь к отцу Олегу, доверительно, ровно близкой подружке, рассказала, как пропажу обнаружили уже в поезде: то ли он оставил кольцо в ванной, когда перед самым отъездом сглупу взялся пробивать засор в раковине, — он всегда снимает его, кольцо, когда делает что-то по хозяйству, — хотя она просила, просила заняться этим по возвращении, но он такой упрямый, если чего задумал, обязательно доведет до конца, то ли еще где посеял... Плохой признак, да, плохой, сокрушенно повторяла она, как только что это делал священник. Никакой он не признак, терпеливо возражал отец Олег, а предупреждение, что надо аккуратней быть и памятливей, да, а вот, видите ли, крестик у нас купить можно, можно, а колец нет, кольцами мы не торгуем, кольца в Котельниче, а без колец никак нельзя, нельзя. Я готов был броситься к нему на шею. Моя казнь египетская отменялась. А он, взяв одной рукой Ванину руку, а другой Манину, светло предлагал им: знаете что, вы не торопитесь, как купите обручальные кольца у себя там, в Москве, так и приезжайте, приезжайте, всего же полсуток пути, близко, а я вас и повенчаю, повенчаю.

Казнь не отменялась, а лишь откладывалась.

Из окна вагона я смотрел на железнодорожные пути, что шли то параллельно друг другу, то сходились и снова расходились, и шпалы напоминали ступени лестницы, а рельсы — поручни, по которым, если б удалось их вдруг вздыбить на всю длину, то есть на всю длину рельс сделать горизонталь вертикалью, можно было бы, перебирая ногами и руками, подняться прямо на самый верх, осуществив мюнхаузенову идею о железном уходе в небо, вот только кто бы или что бы внизу держало эту замечательную лестницу, чтоб она не грохнулась обратно, здесь, пожалуй, загвоздка.

Я достал бутылку красного вина и стал напиваться.

10

Говорили о лжи.

Компания была узкая и сугубо мужская.

Первые полчаса мы вообще провели с глазу на глаз. Когда я пришел, то решил, что ошибся с назначенным временем, поскольку он, сидя один за столом, по всей вероятности, работал. Хотя проводили меня к нему без проволочки. Он любезно поднялся и сказал:

— Я вас ждал, здравствуйте, проходите, садитесь, мы с вами еще не познакомились, давайте познакомимся.

Мы пожали друг другу руки.

— Если позволите, вашу шляпу? — вежливо наклонил он голову.

— Не стоит затруднений, — так же вежливо уклонился я.

Я уже слышал, что Шнурков прилетел в Киров, где мы останавливались перед Котельничем, и занял специально дожидавшийся его спецвагон. Впрочем, его поместили не одного. В вагоне имелись места для охраны, для кухонной прислуги, была и маленькая столовая, и купе для помощника, и второе купе, скажем, для гостя или гостей. Все отделано красным деревом. Не под красное дерево, а само оно. Для наивысшего начальства сооружалось по классу люкс, что так привычно для сплошь иерархической России, где на одном полюсе голод голодных, а на другом сытость сытых.

Шнурков был невысокий, хорошо сложенный брюнет, с битком набитой каракулевой шевелюрой, так бывает набита шерсть у барашков, а не у людей. Впрочем на этом сходство с барашком заканчивалось. У барашков влажные, добрые, глупые глаза, — взгляд темных глаз Шнуркова был непроницаем. Он как будто поглощал свет и больше уже не выпускал, так же, как он поглощал идущую отовсюду информацию: впускал и не выпускал. Помещал в какую-то внутреннюю мясорубку, откуда выходил строго нужный ему, хладнокровно перерабо-

танный фарш. Поэтому когда вы взглядывали на него, у вас возникало чувство, будто вас высасывают. Мне приходилось разговаривать и с Кондолизой, и с Хилари, и с Саркози, и с Мадонной, — я вспоминаю наиболее vip и pop. Это не было близким знакомством, но и вежливым кивком на лестнице славы не ограничивалось. И я не припомню, чтобы кто-то из них вас высасывал, обгладывал, кусочничал. Кусочничанье в чистом виде — занятие нищих. Почему ощущение кусочничества не оставляло в общении с одним из самых могущественных людей России — загадка. При том что Шнурков не выпячивал себя, был скромен и вежлив. Вполне вероятно, что таким он был не всегда и не со всеми. Я легко представлял себе, как он способен поступить с челядью или нерадивым подчиненным. Нерадивые подчиненные в этой стране — ее бич. И без труда можно вообразить гнев радивого начальника, который бьется над решением важных государственных или общественных задач, а сигнал, посылаемый им сверху вниз, не проходит и не проходит, и не раз или два, а месяцы и годы.

Шнурков был прелюбопытной фигурой. Певец, политтехнолог, бизнесмен и законник в одном лице, он не был самым главным официальным начальником. К нему прилепились две клички: Стальевич и Суслович. Стальевич — от *стали*, ибо он был вторым после Скунчака стальным королем. Суслович — от *сусла*, потому что вдобавок к стали занимался пивом. Шнурок — было его сценическое прозвище. Точеное лицо портил провальный, как у старухи, рот — неудачное строение челюсти. Я давно отметил: внешние диспропорции как правило влекут за собой диспропорции внутренние. Человек с чересчур близко посаженными глазами, кривым от рождения носом, скошенным подбородком или проваленным ртом обязательно обладает скрытыми комплексами, выбросы которых — как выбросы радиации, сколь бы умен и удачлив их носитель ни был. Шнурок, он же Стальевич, он же Суслович, был умен и удачлив. Не будучи первым лицом эстрады, не принадлежа по линии родства к партийной или, положим, академической знати, не имея первоначальной укорененности в бизнесе, не одолевая ступеньку за ступенькой номенклатурной лестницы, он выскочил буквально как черт из табакерки и сразу занял лидирующее место во власти. Всего и делов-то, что в розовой юности сходился с первым лицом государства за интеллектуальной игрой в покер. Вот уж не знаю, выигрывал или проигрывал. В политической игре — выиграл точно. Я тоже играл в свое время в покер. Прошел все позиции: и тайтового, и адекватного, и лузового игрока. Стратегия покера на префлопе для безлимитного холдема не была для меня тайной за семью печатями. Но я жил в другой стране, где связь между игрой и ка-

рьерой была не столь вульгарна, у меня, во всяком случае, игра не легла в основу карьеры. С появлением Шнуркова в экспедиции пейзаж местного Олимпа приобрел законченный вид. Не начальник поезда Путятин, не старший машинист Ведмеденко и даже не замминистра, видный администратор и олигарх, со всеми своими присными, руководили движением в этом составе. В этом Составе, я бы сказал. Главным был почти невидимый, не показывавшийся и вдруг показавшийся Шнурок. Если б не переданное приглашение заглянуть к нему на чашку чая, я бы, возможно, так и не узнал, кто среди нас и кто is who. При мне первое лицо государства звонило ему по мобильному дважды. Один раз Шнурок отвечал, чтобы посмотрел в левой, а не в правой папке, и не в нижней, а в верхней. Второй — что анекдот звучит так: блондинка говорит подруге, что до сих пор не может понять, как пишется: Иран или Ирак. Там, верно, сказали *спасибо*, потому что Шнурок ответил *не стоит благодарности* и отключился.

Принесли ароматный чай с крошечными печеньями.

— Вы ведь не журналист, Крис, нет, как многие у нас думают... — Полутона в его голосе содержали полувопрос-полуутверждение. — Вы ведь антикризисный менеджер...

Я утвердительно качнул головой, не поняв, у кого это у них думают, потому что контракт со мной как антикризисным менеджером — через Адова — заключали как раз верхние кремлевские люди.

— Кстати, вы не против, если по именам?.. — уставился он в меня своим непроницаемым темным взором. — Если да, зовите меня даже не Вадим, а просто Вадик.

Я опять качнул головой.

— Что вы думаете о лжи как о составной кризиса, Крис? — он подвинул ко мне вазочку с печеньем.

— Ложь, лежащая в основе кризиса, или ложь, сопровождающая проявления кризиса, какая вас интересует, Вадик? — Я взял печенье и подвинул вазочку к нему.

— Меня, Крис, интересует ложь как лечебная составляющая при кризисе. — Он рассеянно взглянул на вазочку, но печенья брать не стал.

— Иными словами, Вадик, входит ли ложь в стратегию борьбы с кризисом? То есть можно ли в этом случае лгать? — Печенье было умопомрачительного вкуса.

— Нужно ли лгать, Крис, — поправил он меня с мягкостью бронированной боевой машины пехоты, коротко БМП.

— Заповедь говорит: не лги, Вадик.

— А ложь во спасение, Крис?

Он отхлебнул глоток чая и зажмурился от удовольствия.

— Люблю, грешник, чаевничать. Ни один самый изысканный напиток не люблю так, как чай.

— Включая пиво, Вадик? — улыбнулся я, делая также глоток.

— Включая пиво, Крис, — подтвердил он без тени улыбки. — А вы?

— Пожалуй, и я. — Я поймал себя на невольной лжи, но поправляться было поздно.

В нем было не только что-то, высасывающее вас, но и что-то, внушающее вам.

— Ваши лгут, Крис? — спросил он, вновь придвигая вазочку ближе ко мне.

— Как и ваши, Вадик. — Я взял еще печенье.

— Так значит... — он не кончил фразы, допивая чай.

— Поверхностные люди должны всегда лгать, так как они лишены содержания, сказал Ницше, Вадик. — Я допил свой.

— О, обращаться к цитатам — дурачить себе и другим бошки! — он встал и сделал несколько физкультурных движений.

Значит, ладная и складная форма, в которой он находился, поддерживалась физическими упражнениями. Все правильно.

— Вы мне из Ницше, я вам из Пушкина: всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Оба два получили удовольствие, а приблизились ли к истине?

Он был нетруслив умом, этот Вадик.

— А можно, Крис, я задам вам личный вопрос? — спросил он.

И вновь я утвердительно качнул головой.

— Вы лгун, Крис?

— Скорее нет, чем да, Вадик.

— Вы хотите сказать, что не поверхностны и не лишены содержания, Крис?

— А вы, Вадик?

Он засмеялся. Но не глазами, не ртом, не лицевыми мускулами, а сухим звуком *ха-ха*.

— Лгун ли я, Крис? О да. Я врач. Я ставлю диагноз и обманываю больного, обещая ему, что он выздоровеет, а не умрет, и таким образом повышаю его иммунитет, мобилизую его внутренние силы и, возможно, помогаю ему протянуть столько, на сколько без моей лжи его бы не хватило.

— У нас в Америке, Вадик, врач сообщает больному его диагноз, исходя из которого больной сам решает, мобилизоваться ему или демобилизоваться, в зависимости от возраста, характера, семейного положения, состояния дел и прочего, — сказал я.

— У вас в Америке так, Крис, а у нас в России так, — сказал он. — В этом и заключается разница.

— Да, — подтвердил я, — мы разные. По истории, менталитету, устройству общества, институтам, что состоялись у вас и у нас.

— Потому у вас обычная демократия, а у нас суверенная, Крис, — подчеркнул он.

— Суррогатная, Вадик, — подчеркнул я.

Он переспросил:

— Какая у нас демократия?

— Суррогатная, — повторил я. — Как бывает суррогатная мать.

— А я думал, как бывает суррогат, то есть не настоящее, а замещающее, — сказал он.

— Так это одно и есть, — сказал я. — Весь вопрос в том, кому вынашивать ребеночка? Америке? Китаю? Венесуэле? Северной Корее? Если это Европа — одно, если Азия — другое.

— А если территория, как бесстыжая девка, раскинула ногами по обе стороны? — Он сел, буравя меня своими темными непроницаемыми глазами.

Зачем я ему понадобился, да еще на трезвую голову? Обычно подобное говорится в России под водочку, а не под чаек. Может, он был тайный алкоголик и пребывал в завязке? Ходили какие-то неясные слухи, что время от времени он исчезает на две-три недели. Но это мог быть банальный отпуск. Всякому человеку положен отпуск. Русскому тоже. Был ли Шнурок русским? Лично меня его национальность не занимала нисколько. Однако в этой стране, откуда ни возьмись, явилось множество людей, остро заинтересованных в составе чужой крови. Часть мира, кто более благополучно, кто менее, миновала эту стадию. Часть бурно ее переживала. Обидно, что замечательная страна упорно откатывалась к той стадии, где это еще переживалось.

Гуськом проследовали Адов, Пенкин, Мелентьев и Ваня, которых Шнурков также позвал на чаепитие,

— Как хорошо, что мы смогли побеседовать одни и без помех, — почти не раскрывая проваленного рта, интимно адресовался ко мне Шнурок, словно мы двое с ним были тут заединщики. — И без секундной задержки переадресовался к вновь прибывшим: — Вот господин американский аналитик убежден, что наш отечественный кризис смертелен и нам, в отличие от других стран, из него не выбраться. Вы ведь аналитик... — произнес он в свойственной ему манере полувопроса-полуутверждения.

Дружная ответная реакция негодования сплотила вошедших. Я не мог скрыть удивления перед последовавшей столь скоро искусной де-

монстрацией лжи. *Коктейль Молотова*. Одним ходом Шнурок переменил партию: заединщики теперь стали они все, вместе с моим другом Адовым, я в одно мгновенье очутился на противной стороне и в одиночестве. Что мне было делать? Оправдываться? Объяснять, что я ничего подобного не говорил? Зачем? Их было пятеро против одного, и, по существу дела, мы действительно играли за разные команды. Я решил, что правильнее всего выключиться из неловкой и ненужной игры и занять позицию стороннего наблюдателя.

Громче и наглее всех выступил Мелентьев:

— В русском языке, если американскому господину на хрен это неизвестно, есть слово *козел*. Только *козел* может не увидеть ни хрена из того, что ему соблаговолили показать в этой поездке с такой, в общем, неоправданной щедростью. А в самом деле, — обратился он к Адову, — какого хрена ты включил его в этот рейс, либерал хренов?

Слово *козел* я знал. И слово *хрен* знал. Мелентьев, похоже, только его и знал.

— Какой он аналитик, неизвестно, а вот что он дважды побывал в психушке, это факт, — перехватил древко знамени у своего старого врага, а в то мгновенье нового друга, Пенкин.

Он обещал мне не забыть нанесенной ему обиды и не забыл. Его месть содержала правильную стратегию: вызнать слабое место того, кому собрался мстить, и нанести точечный удар. Откуда сведения? Да мало ли откуда. Тем более у журналиста, набившего руку на расследованиях. Отовсюду. Мир повязан видимыми и невидимыми сетями, теория Вернадского о едином информационном поле давно обрела плоть и кровь. Искусственную плоть и искусственную кровь, виртуальное подобие природного, оно же притворное, если слушать подсказку языка... Я заморачивался, как обычно. Мгновенное предвестье перемены участи, однако, как пришло, так и ушло, ни во что не развернувшись. Я продолжал думать с того места, на каком остановился. Почти наверняка Пенкин сотрудничал с компетентными органами. Они все тут, его типа и класса, сотрудничали, сотрудничают и будут сотрудничать со своими органами.

— Да, я аналитик, антикризисный менеджер, или менеджер по катастрофам, если вам угодно... — открыл я рот.

— Видите, как удачно, что антикризисными менеджерами у них работают психи ненормальные, — с серьезным видом сострил, однако же не глядя на меня, а глядя на Пенкина, Адов. — Приносит чувство глубокого удовлетворения. Особенно твоему дружку Мелентьеву, с его зоологическим чувством ненависти к Америке, что психиатры толкуют как извращенное подростковое половое чувство...

— Сам ты извращенец хренов! — недолго думая, огрызнулся Мелентьев.

— Вы, правда, лежали в психиатрической лечебнице, Крис? — с какой-то особой, как мне показалось, заинтересованностью спросил Шнурков, словно он не знал больше всех в этой компании и уж, конечно, больше Пенкина.

— Правда, Вадик, — сказал я и кожей ощутил мгновенное общее напряжение от моего *Вадика.*

— И какой диагноз, Крис? — *Вадик* и не поморщился.

— Депрессия, Вадик, — честно ответил я.

— У всех у нас депрессия, — неожиданно вмешался Ваня. — Только мы больниц избегаем, на ногах переносим, по воздуху разносим, оттого воздух гнилостный, героизм доблестный, а кризис безжалостный.

— Стало быть, твое настроение поездка не развеяла, Ваня... — Шнурков, по своему обыкновению, полуспрашивал-полуразмышлял вслух.

— Развеяла, развеяла, — утешительный Ванин тон таил обманку. — Развеяла, развлекла, отвлекла, рассеяла, как дым, уничтожила...

Я вдруг почувствовал, как краска бросилась мне в лицо. Чтобы разговор, не дай Бог, не перешел на другое, я отважно ринулся в бой:

— Насколько я понял, вы желаете знать мое профессиональное мнение о вашем кризисе...

— А зачем? — хамски прервал меня Мелентьев, явно желая понравиться боссу. — Зачем нам на хрен знать ваше мнение, если вы заведомо нас не любите!..

— Кого вас? — любезно спросил я.

— Страну! Народ!.. — Фальшивый тон Мелентьева покоробил даже Шнуркова.

— Как банный лист к жопе, прилипла к некоторым из вас эта привычка советских партийцев отождествлять себя с народом, — я проговаривал каждое слово отдельно, чтобы и до последнего дурака, каким я считал этого умника, дошло. — Что касается любви, то у меня русская мать, а как можно не любить родную мать, это вы уж...

Я оборвал речь, чтобы показать, что не нахожу слов.

Я обманывал себя. Я и в самом деле неожиданно потерял дар речи. Мозг прошила внезапная мысль: а откуда я взял, что у меня была русская мать? А не, положим, грузинская? Или эстонская? Или еврейская? Почему-то же я начал стихи, которых до сих пор никогда не писал, строчкой *я Вечный Жид, я Вечный Жид...* Понятно, что *Вечный Жид* — не национальность, и все же, все же. В моих стертых чертах лица ни одна кровь не проглядывала с определенностью. Не правиль-

нее ли было всю жизнь говорить: моя советская мать? Меня это не устраивало. Больше того, меня это покоробило. Кто же грезился тогда мне в моих мечтах? Советская боттичеллиева женщина? Это было что-то не человеческое, не личное, а строевое. Это рушило легенду о самом себе. Пусть непроговариваемую, скрытую, но бывшую внутренним стержнем много лет.

Я растерялся.

Я был такой же демагог и приспособленец, как они. Происхождение ли тому причиной? Род занятий? Общежитие как таковое, с тем, что оно востребовало от своих жильцов, что здесь, что там?

Я не стал признаваться им, что моя мать меня бросила, как признался отцу Олегу. Там была одна компания, тут другая. С огорчением я констатировал, что вылез вон из кожи, то есть вышел из роли объективного наблюдателя, ввязавшись-таки в игру по понятиям, навязанную соперниками.

— Скажите, скажите им, Крис, что вы реально думаете о нашем кризисе, — вмешался Шнурков.

Провокация была метод их работы.

Нащупанная мной формула тотчас привела меня в чувство.

Теперь уже без колебаний переводя игру на свое поле, я произнес:

— Как все *козлы* на свете и особенно русские *козлы*, я думаю реально о том, где еще в этот период времени срубить *капусты*, то есть пощипать *зелени*, а как *хрен стоячий* я ощущаю падение уровня всеми своими яйцами, но надеюсь, что к ближайшей осени из них вылупятся цыплята, которых мировая статистика сумеет подсчитать и ободрит всех нас следующим сообщением: заседание продолжается, господа присяжные заседатели, заседание продолжается!..

Общий хохот был мне ответом. Даже Шнурков выдавил свое сухое *ха-ха*.

Он встал, и все встали. Он протянул руку каждому по очереди, каждый по очереди протянул в ответ свою. Мою руку Шнурков задержал:

— А вы, Штирлиц, останьтесь, — сказал он без улыбки.

Я остался.

— Не обижайтесь, Крис! — наедине Шнурок был почти мил. — Хотелось развлечься. Развлекся, спасибо вам. Скука — преобладающая вещь на этой забетонированной площадке, куда меня занесло случайным ветром или ветром истории, как хотите. Люди скучны. Журналисты тем более. Я знаю их всех как облупленных. И чего ждать от них, знаю, до последней запятой. Даже самые оппозиционные из них — обслуживающий персонал, желают они того или не желают. Все — обслуга Кремля. И Пенкин, со своими как бы ядовитыми пись-

мами президенту, — обслуга. И Адов. И ваш продвинутый интеллектуал Ваня. Не говоря о Мелентьеве, этом цепном псе власти на длинном поводке. Все кормятся, кто с руки, кто объедками с кухни Кремля. А думают... да пусть что угодно они думают, какая разница. Нужна хорошая провокация, вы угадали. Вы ведь угадали? Тогда еще это болото можно как-то взбаламутить. А в остатке — та же болотная тоска. Хорошо, что вы не журналист... И что не живете тут.

Между последней и предпоследней фразами повисла и повисела значительная пауза.

Это была самая важная, самая признательная пауза вечера.

Я вдруг почувствовал к нему жалость. В сущности, он был один на ледяной вершине, где не было жизни, только имитация ее в виде анекдотов о блондинках. Я хотел что-то сказать, он остановил меня своим нечитаемым взглядом.

— Знаете что, Крис, а приходите-ка на мой концерт в Доме музыки, ровно через неделю. Билеты вам доставят. Два или один?

Я замешкался. Он дружески хлопнул меня по плечу:

— Не та, так другая, Крис, простите за вторжение в вашу личную жизнь, конечно, два, Крис, разумеется, два, два, свободный счастливчик Крис...

Впервые за весь вечер он выпустил наружу печальную усмешку, как почтарь выпускает почтового голубя.

Добравшись до своей конуры, я первым делом повернул защелку в замке. Всю поездку купе оставалось незапертым. От кого было запираться? Я не спал. Прислушивался и ждал. Я не хотел ни ждать, ни прислушиваться. Когда постучали, я поднес часы к носу. Шел второй час ночи. Я ждал два с лишним часа. Я знал, кто стучит. Не было другого человека на свете, который мог бы постучаться ко мне во втором часу ночи в этом поезде. И не было другого человека, которого я бы так жаждал видеть во втором часу ночи, в этом поезде и везде. Как и в первом, и в двенадцатом, и в любом, и всегда. Я не встал и не отпер. Там поскреблись. Потом настала тишина.

Я не все рассказал, что происходило у Шнуркова. Было кое-что еще, о чем мы говорили с глазу на глаз. Шнурков сказал, что девушка Скунчак попалась на наркотиках, и папаша Скунчак делает сейчас все, чтобы замылить ситуацию. Я не понял и сказал, что не понял. А что тут понимать, потянулся всем телом вверх Шнурков, ее замели в Чите, потребовалась крупная сумма денег для отмазки, медицинская операция — операция прикрытия: действия охранных структур Скунчака и Парусовой, нагрянувших в Красноярске, имели целью спрятать концы в воду — изъять девушкин багаж, где были наркотики.

Жаль, сказал я. Кого, спросил Шнурков. Девушку Скунчак, ответил я, она талантливая. Пожалейте лучше папашу Скунчака, если вылезет наружу, его бизнесу конец, сказал Шнурков, президент подобных вещей не любит. А оно вылезет, спросил я. Если знают два человека, значит оно уже вылезло, сказал Шнурков, а знает гораздо больше. Стало быть, информация не конфиденциальная, спросил я. Конфиденциальная распространяется быстрее, чем не конфиденциальная, сказал Шнурков. Я вспомнил про фишку из казино, которую Скунчак сунула мне при прощании, и чуть было не ответил откровенностью на откровенность, что она, дескать, ко всему еще и клептоманка, но тут же прикусил себе язык. Не хватало еще участвовать в доносах, добивая лежачего.

Теперь, в глубине ночи и глубине сознания, когда у меня с Маней было кончено и я знал, что кончено и ждать больше нечего, я встал и полез за фишкой в карман телогрейки. Мне требовалось чем-то отвлечься. Мне нужен был какой-то предмет. Фишка была там, я нащупал ее. Она по-прежнему распространяла слабый аромат духов. Я потер ее в пальцах. Крупная дрожь сотрясла меня...

Она терла в пальцах фишку, будто собираясь высечь трением огонь из нее. В ее сумочке оказалась целая горсть фишек. Не отвлекаясь от ухабов, которые то и дело грозили тем, что мой *мерс* отбросит колеса, я осторожно спросил ее, зачем она их взяла. Вопрос меня не интересовал. И не интересовал ответ. Взяла и взяла. Подумаешь, важность. Мне не было дела до фишек, с которыми так и так было покончено. Мне нужно было отвлечь ее от боли. Поэтому, прыгая по ухабам, я говорил с ней о пустяках. Кусая губы, она отвечала: я люблю стащить что-то в отеле, в ресторане, где угодно, у меня дома этих пепельниц, подставок под пиво, открывашек полно, из всех городов мира, я люблю наткнуться на что-то и вспомнить, где мне было хорошо...

Залетная жар-птица. Мне и возмечталось всего-навсего вырвать перо из ее оперения, а она неожиданно уместилась вся целиком в моих ладонях. Забавная. Требовалось совместить несовместимое. Мчаться на предельной скорости и быть предельно осторожным. Что за приступ на нее свалился, не знала ни она, ни я. Я-то уж вовсе. Моя жена, когда я был женат, говорила мне: ты не аферист, ты авантюрист. Жена окончила иняз, преподавала французский в школе и была помешана на словах. Аферист происходит от французского *affair*, что значит *дело,* авантюрист от *aventure,* что значит *приключение, похождение,* и там, и там риск, говорила жена, а оттенки разные, причем *affair* как бы пристойнее, чем *aventure.* Пять лет мне дали за рисковую черту характера и за масштаб, с каким я развернулся, потому что мелочевка, размерен-

ность и умеренность от сих и до сих не по мне. И не по ней, жар-птице. Я сразу почувствовал. Я авантюрист, и она авантюристка. Я сказал ей *оставайтесь*, ничуть не надеясь, что она останется. А она осталась. И, Господи, как же искусна в любви она оказалась. Я, тертый мужик, не знал тех ласк, что производила она со мной, вызывая залп ответных. Но самое окаянство началось после. Дикое существо повело себя как прирученное. Послушно. Нежно. Нараспашку. Мне захотелось быть с ней всегда. Мне, прошедшему огонь, воды и медные трубы. И тут же заныло-застонало-заболело: куда я, сибирский валенок, лезу, когда этот стальной трезубец в газовой косынке, как сама себя, смеясь, отрекомендовала, имела и имеет все, чего можно пожелать, и она будет диктовать, а не я, а я сдохну, а не дам диктовать мне, и потому не быть нам любовной парочкой под этим солнцем и под этой луной на этой земле. Должно быть, мордешник мой искривился, потому что она приподнялась на локте и, как говорится в романах, заглянула мне прямо в душу, проговорив, как приговорив: не надо, не надо, миленький, думать ни о чем плохом, задвинь и не думай, считаешь, мне не о чем таком подумать, есть, миленький, есть, есть и одно, и другое, и еще третье, но я научилась отодвигать все от себя, чтобы не портить минуты счастья, а растягивать их как безразмерный чулок, делая длинными-длинными, а когда они порвутся, — время все когда-то рвет, — я буду помнить, что оно было, сумасшедшее, намоленное, бесстыжее, и не в постельном беспределе дело, миленький, а в другом, после постели, что бывает так редко, ты же такой же, как я, и сам все прекрасно знаешь. Про беспредел я знал. А то, что такой же, как она, узнал с ней. Мы еще несколько раз соединялись, и она все розовела и темнела зрачками, а после последнего раза вдруг побелела и закричала: больно, больно, ой, мне так больно, миленький! Ничего не спрашивая, что я мог спросить, здоровяк, понятия не имевший ни о каких болезнях, бегом-бегом одевая ее и нахлобучивая что-то на себя, звоня по телефону приятелю-главврачу и не умея ответить на его вопросы, собрал нас обоих наскоро и помчал в больницу, где приятель обещал быть раньше нас. Через тридцать минут она лежала на операционном столе, а через четыре часа все было кончено. Я имею в виду, операция кончена. Хирург сказал, что ее поймали в последний момент, еще немного и было бы поздно, у нее была тяжелая непроходимость. Она на что-нибудь жаловалась, спросил мой приятель. Ни на что она не жаловалась, пила, ела, хохотала и играла в рулетку, отвечал я. Про то, что мы еще занимались любовью, я как мужик промолчал. А приятель, зная меня, и не спрашивал, только сказал: сильная барышня. Я тек, как раздавленная слива, и внутри, и снаружи. Приятель еще добавил: у нее обнаружили опухоль в кишке, кажется,

плохая, отдали на гистологию. Его *глистология* меня доконала. Он еще говорил, что когда ее везли на каталке, он подумал, что наркоманка, с такими глазами, а она просто терпела боль, какую вытерпеть нельзя. Сперва он не хотел брать с меня денег, а потом назвал сумму, от которой можно было свихнуться, если бы я раньше не свихнулся от всего, что случилось. Я снял деньги со счета и привез ему. Деньги — это люди, я всегда знал. Люди были мне нужнее денег.

У себя в спальне я нашел на полу одинокую фишку, очевидно, выпавшую из кармана, когда я ее одевал. Я присел на корточки, взял пластмассовый кружок и так и сидел с ним долго, как тот неведомый таджик, о котором она говорила с этим американским прыщом, с кем, я думал, у нее роман.

От того, чтобы не распасться на составные молекулы, меня удерживала пенитенциарная система.

То бишь моя идея преобразования этой системы.

Жена говорила, что слово *пенитенциарная* происходит от латинского *poenitentia,* что значит *раскаяние.*

Встречный поезд, как пуля, просвистал мимо, рельсы, любовно прогибаясь под ним, пели что-то свое железнодорожное, заветное.

От тюрьмы и от сумы. И еще от рака. Русский рак уравнивал всех: цыганскую жену, стальную королеву в газовой косынке, мать докторши, научившейся его лечить, когда уже было поздно. Американский рак — тоже.

Медленно покидая чужую оболочку, я приходил в себя.

Как проклятье или как благословение дано мне было это свойство внезапно, при не зависящих от меня обстоятельствах, входить в чужую кожу, проникать в чужие мысли, ощущать себя другим человеком, быть свидетелем чужих событий? Милда-Людмила, со своими розовыми кудельками, вспомнила однажды какую-то пра-пра-бабку в их роду, что была, мол, *перекидчица, перекидывалась.* Я расспрашивал, как это, как это — объяснить Милда не могла. Но это в их роду. Не в моем же. В лечебнице у доктора Джонсона, где целили мою депрессию, моей главной задачей было удержать в тайне мое свойство. Я не хотел, чтобы меня от него исцеляли. Меня тянуло расспросить Джонсона, знает ли он других, кто обладает подобной способностью, и как наука трактует этот феномен. Я не мог. Однажды он прямо сказал — не про меня, а вообще, в воздух: когда человек воображает себя неким персонажем или автором, его создавшим, речь идет о сумасшествии. Плоско. А как же авторы, воображающие, что они авторы? Или персонажи, ими созданные? Я понимал, обнаружь я себя, дело даже не в

том, что будет грозить гораздо более суровое лечение, а в том, что я потеряю свою идентичность.

При воспоминании о своих длительных диалогах с доктором Джонсоном я всегда внутренне улыбался. Мне доставляло удовольствие чувство одержанной победы.

Ясно, что лгун Шнурок беспардонно лгал. Он плел свою паутину, следуя заветам своих учителей, которых звали Макиавелли, Муссолини, и другие, пользовавшихся грубой ложью как ложкой, какой черпают суп. Этому жалкому вершителю судеб я сострадал, тогда как надо сострадать его жертвам, — обычный психологический сбой, обычная ошибка людей, бессознательно отождествляющих себя с теми или с этими, пусть на мгновенье. А если сознательно? И не на мгновенье?

Другое в моем мозгу отпечаталось, как на бумаге: *тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть, надоело это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним, не могу, ей-Богу, не могу, ведь и раньше, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть, а теперь, теперь злое уныние находит на меня, я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал.* Первый поэт новой России — когда еще! — в письме написал. Есенин.

Через чистое стекло натекало мягкое золото низкого солнца, выцветшая голубизна неба напоминала о весенней поре, что не за горами, как ни крути, как ни вейся вечная зима.

Экспедиция *Русского вагона* доживала последние дни.

11

Чем ближе к Москве, тем тусклее становился заоконный зимний пейзаж. Белое заснеженное величие умалялось приблизившимися к железной дороге промышленными и жилыми сооружениями, ангарами, сараями, трубами котельных, навечно застывшей без движения техникой, брошенными цистернами, заржавленным автотранспортом, прошлогодней торчащей сквозь грязный снег там и сям жухлой травой, какими-то бегущими рядом с полотном собаками, лающими свирепо, словно наш поезд, не имея на то никаких прав, нахально вторгался в их собачье царство и требовалось его окоротить бескомпромиссной собачьей руганью. Обшарпанные бетонные панели, которых насооружали, чтобы оградить придорожные поселки от шума и гари проходящих составов, были испещрены граффити. К ним добавлялись частные и общие лозунги, начертанные куском угля. Один из них, с буквами вкривь и вкось, гласил: *Россия — все, остальные — нич-*

то. По запасному пути баба волокла дрезину, два мужика шагали рядом, разговаривая о чем-то своем и не обращая на нее внимания.

Пришел сумрачный Адов, колыхаясь всей своей толщиной, как арбузом в авоське, свалился в кресло.

— Слушай, какая кошка между нами пробежала...

— Какой масти?

— На язык просится — рыжая, но мы оба знаем, что она ни при чем.

У меня хватило выдержки промолчать.

— Хочу тебя предупредить, что Шнурок очень опасен, — выдавил он из себя.

— Потому вы и пляшете под его дудку.

В последний момент я ухватил за хвост фразу, собиравшуюся прозвучать иначе: *потому ты и пляшешь под его дудку.*

— А что делать?

— Ты меня спрашиваешь? Он ваше все, я ваше никто, вопрос не ко мне.

— Видишь, старик, новейшая история сложилась так, что американские советники у России уже были. Были да сплыли. Ты сегодня — исключение. В Кремле каждый второй, к кому я заходил по твоему поводу, с опаской отнекивался: ты что, ты что, мы не можем опять звать американцев для выработки антикризисной программы...

— Позовите китайцев.

— Будешь смеяться, я только что от него.

— От китайца?

— От Шнурка. Он при мне позвонил в колокольчик, и пришел китаец. Ты видел у него на столе медный колокольчик?

— Этим колокольчиком вызывают китайцев?

— Одного.

— И что делает этот один?

— Китайский массаж.

— Этого довольно, чтобы при выработке антикризисной программы использовать китайский вариант?

— Ты случаем не знаешь китайского?

— Случаем знаю.

— А я нет. Поэтому кто этот китаец реально и что они там говорят, для меня за семью печатями. Шнурок уже лет пять, как понял, что американский, то есть английский, можно благополучно забыть, а китайский — выучить. И выучил.

— Я могу открыть тебе страшный секрет, в чем разница между американским и китайским проектами, — сказал я. — Америка опирается на свободного предпринимателя, по-настоящему свободного, макси-

мум свободного, сотни лет свободного. А Китай — на послушание и дисциплину, веками послушание и дисциплину, тысячелетиями послушание и дисциплину, потому что китаец осведомлен, что последует за ослушание. Ворота Небесного Спокойствия звучат по-китайски Тяньаньминь. Площадь Тяньаньминь. Если забыл. Где китайцы положили тысячу китайцев. В России нет ни того, ни другого.

— Значит, ты, действительно, сказал Шнурку, что мы сдохнем в результате кризиса?

— Шнурок солгал. Ничего подобного я не говорил. Больше того, тебе я могу сказать, что как ни противно вашим либералам получать доктрину из рук вашего Шнурка, у России, действительно, свой путь развития.

— Стало быть, ты на его стороне?

— Я на своей стороне. Я всего лишь аналитик, как уже было сказано. Ты-то что делал у него с утра?

— Получал информацию.

— Какую?

— По Скунчак.

— Конфиденциальную?

— Конфиденциальную. Рассказать?

— Не надо, он мне эту лапшу на уши уже навесил.

— Конфиденциальную?

— Конфиденциальную.

— А почему ты решил, что это лапша?

— Потому что я знаю, что Скунчак не наркоманка, Савич не аферист, а папа и мама Скунчаки — несчастные люди, поскольку их дочь серьезно больна.

— Откуда ты взял?

— Из ноосферы.

— Ты шутишь, а папаша Скунчак так и так в челюстях у Шнурка и скоро будет сожран вместе с костями.

— И вместе с бизнесом, на который Шнурок положил глаз.

— Ты тоже это понял?

— Как слышишь.

— Тебе жаль Скунчака?

— Я уже сказал, что он несчастный отец, и это трогает меня гораздо больше, чем несчастный олигарх.

— Я тут на досуге сообразил, что мы судим людей, исходя из наших личных качеств, которые и почитаем ценностными. Застенчивый человек не ценит нахала, решительному противен мямля, вор хвалит ловкость, а не честность. У олигарха деньги, а не дети...

— А у тебя?

— А у меня... у меня моя Селяночка...

Слишком большое сближение изменяет ракурс отношений. Как ракурс на фотоснимках Скунчак изменял картину мира. Когда мы болтали с Адовым по *скайпу,* он в Москве, я в Вермонте, между нами было расстояние и в то же время никого между нами. В экспедиции *Русский вагон* между ним и мной расположилась толпа знакомцев и незнакомцев, а в то же время мы терлись нос к носу, без соблюдения правил общественной гигиены. Мне не хотелось терять Адова как товарища. Он был мне симпатичен. Кроме того, я хорошо понимал его. А когда мы понимаем человека, он входит составной в нашу жизнь, и это славно, иначе мы бы жили в ледяной пустыне, как живет Шнурок.

Я догадывался, что Адов пришел поговорить о своей Селяночке, все остальное являлось приправой к основному блюду. Я догадывался, что он каждый день исподволь жадно изучает изменения на личике жены, как ученый изучает изменения в поведении подопытного животного. Разница в том, что ученый беспристрастен, а муж, влюбленный в жену, страстен. Радуясь за нее, он тоскливо и мучительно опасался за себя, за свое будущее, в котором может не оказаться ее, и невольно искал виноватого. Не надо идти к гадалке, чтобы вычислить, кто виноват. Как высшая сущность Адов понимал, что должен быть благодарен мне. Как низшая — испытывал все более растущую неприязнь ко мне. Порядочный человек замучился в нем, он явился, неся обе свои сущности, чтобы все честно. В каждую следующую минуту он говорил то или примерно то, что я знал в предыдущую. Я мог прервать его в любую. Я не делал этого, давая ему возможность высказаться. Это была наука доктора Джонсона: высказывание есть дорога к исцелению, молчание обходится дороже. Я, повторюсь, был из молчальников.

— Очень сожалею, дружище, — подвел я итог, когда и он был близок к нему. — Исходя, прежде всего, из тех же эгоистических соображений, что и ты... а из чего ж нам еще исходить, если мы и наши чувства одно целое... сожалею, потому что вы оба, ты и она, из самых симпатичных мне людей на этом бескрайнем пространстве, по которому лично я несусь перекати-полем, Иваном, желающим знать родство и не знающим его, русским американцем, американским русским, русским греком, греческим русским, Крисом-Кризисом, Антикрисом-Антикризисом, брошенным матерью ребенком, одиноким гражданином мира, ищущим корней и привязанностей, потому что только через привязанности осуществляется смысл нашей жизни... и если вы еще лишите меня себя, что буквально на пороге...

Переходом на личности назывался метод доктора Джонсона, когда он, дав высказаться пациенту о своем, вдруг переходил на свое и его проблема, вырастая, заслоняла проблему пациента, уменьшала ее масштаб, ставила в ряд общих людских проблем, переключала и, в итоге, облегчала его состояние. Отношения психиатра и психа — из самых таинственных областей в науке психиатрии уже по одной только той причине, что психика врача мало чем отличается от психики больного. Ну, отучился он в своем меде, ну овладел кое-какой методикой, прошел кое-какую практику, пусть даже вырос как ученый, его собственная психика — не бронированная БМП. Она подвержена тем же воздействиям, что и психика любого. Где гарантия, что она устояла под натиском жизни, под натиском чужих больных психик, под натиском каждодневного выброса больной психической энергии погибающего от перенасыщения информацией мира?

Сказать, что я хладнокровно использовал практику доктора Джонсона в общении с Адовым, было бы неверно. Ни с Адовым, ни с кем другим я ничего не использовал. Я достаточно разумный человек, чтобы действовать разумно. И достаточно эмоциональный, чтобы действовать эмоционально. Как и у всех, эти потоки движутся слитно или неслиянно, — *зависит*, как говорят американцы. Позднее я умею кое-что проанализировать. Профессия обязывает. Но это позднее. Сначала подумай, а потом сделай — этому американскому принципу я так и не научился.

Метод удался. Порог эмпатии у Адова был столь же невысок, что и у меня. Высокий порог обеспечивает возможность спокойно отгородиться от чужого переживания, низкий — напротив. Темное лицо его просветлело, светлые глаза потемнели, налившись теплой влагой сочувствия.

— Знаешь, старик, мне кажется, что мы своей русской тоской, если не заполнили, то успешно заполняем все поры остального мира, и это и есть наша настоящая победа над Западом, не зря Достоевский — культовый писатель Запада... А ты... ты вообще ухитрился поиметь дьявольскую смесь Древней Греции, Советской России и современной Америки, они там, в твоих жилах, эти кровя, небось так еще бунтуют!..

Он вынул свои чресла из кресла, обхватил меня за шею обеими своими короткими ручонками, я в ответ обхватил его. Поза сросшихся в корне юношей работы Неизвестного под названием *Каин и Авель (Двое душат друг друга)*. Воздушное пространство между юношами образовывало форму сердца.

— Извини, старик... древняя привычка сваливать на вестника вину за известие... глупо, конечно...

И он пошел, круглый, печальный и мудрый, распрямившись под бременем ноши, которую жизнь взваливает на каждого из нас и вынести которую можно только в выпрямленном состоянии, а не согбенном.

С ним вдвоем мы и посетили Окормышева, владельца и издателя частной газеты *Слово и дело* в городе Судиславле. Маня на платформе станции Судиславль не показалась. Ваня тоже. Сельянинова отправилась в какое-то село не к частному предпринимателю, а искать место действия повести Пушкина *Метель*. Якобы в тамошней церкви происходил или должен был происходить обряд венчания некоего итальянца с некоей девушкой, состоявшей в родстве с поэтом Лермонтовым, а была зима и вьюга, как это заведено в России, замело пути-дороги и... и... далее фантазия Пушкина работает сама по себе, он берет эпиграфом из Жуковского *Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий... Вот в сторонке Божий храм Виден одинокий...* — и ему рисуется мутный, желтоватый пейзаж, в котором летят слепящие хлопья снега, скрывая все очертания и пряча окрестности, и в этом пейзаже жених, что собрался тайно венчаться с загаданной невестой, блуждает в снегах и, окончательно заблудившись, не находит ея... Было б здорово, чтобы и романтическую Селяночку закружила фантазия-вьюга и Селяночка не нашла бы церкви, в которой венчались живые прототипы Пушкина, и будущий фильм ее о *Русском вагоне* приобрел бы стереоскопические черты, от чего продвинутого зрителя проняло бы до мурашек. Но был грязноватый, кислый день, с разъезженными и уже мокреющими, однако же очевидными и не содержащими тайны дорогами, и прекрасная *метель* поэта представлялась фантомом, ускользающей мечтой, а поиски прошлого оборачивались тысячу раз описанным и отснятым бегством от настоящего.

Окормышев, жидкий, текучий, серый, такой же серый, как день за окном, видимо, недомогал. В валенках и меховой потертой безрукавке, он перебирал, сидя за большим фанерным столом, а лучше сказать, просто фанерой, положенной на примитивно сколоченные козлы, какие-то папки, какие-то вырезки и бумаги и то поглаживал ладонью область сердца, словно у него болело сердце, то прижимал ладонь к зубной челюсти, словно у него болели зубы. Тут же лежала тощая подшивка его *Слова и дела*. Ее он тоже успевал мимоходом тронуть рукой ласково, как домашнего котенка, и мягко отвести руку. Название газеты, написанное вычурной вязью, занимало полполосы. Очевидно, оно играло роль главной иллюстрации. Остальное место занимали слепые тексты. Стояли на фанере и компьютер с принтером, и толстая жестяная банка с большим количеством шариковых ручек и карандашей, и лежали еще папки, и плотно сложенные пачки бумаги, и убого

цвела бывшая когда-то то ли желтой, то ли белой, роза в высокой хрустальной вазочке советских времен. Эта деловая часть комнаты, напоминавшая часть творческой мастерской, странно дисгармонировала с ее похожим на тупого отставника владельцем, а заодно и с остальной домашней обстановкой, неуютной, замшелой, скучной, нелюбимой. Встретившая нас жена Окормышева, тоже, видать, нелюбимая, большая, оплывшая во все стороны, как ладья, сразу уплыла куда-то на кухню, не предложив ни кофе, ни чаю, и мы с Адовым переминались у входа с ноги на ногу, словно на приеме у столоначальника, который нарочно выдерживает посетителей. Наконец, разложив папки и бумаги в том порядке, какой его устраивал, Окормышев обратился к нам:

— Ну-с, спрашивайте, отвечаем, — и ухмыльнулся.

Очевидно, заплесневелая фраза из советского медийного быта служила ему шуткой.

— А можно взглянуть на вашу газету? — задал логичный вопрос Адов.

— Почему же нельзя, вот она, перед вами, — скупым жестом указал на подшивку владелец, издатель и главный редактор, никоим образом не сближая нас с целью.

Получалось, что посетителям предлагалось ознакомиться с органом Окормышева издали.

Я шагнул к столу и неспешно перелистнул первую страницу подшивки.

— Куда вы торопитесь, вы же даже не посмотрели передовую статью, — укорил меня Окормышев.

Я успел охватить взглядом такой же слепой текст без фотографий и перелистнул страницу обратно.

Адов, испросив разрешения, уже вовсю снимал владельца, издателя и редактора, подозрительность в котором мешалась с тщеславием,

Передовая называлась *Куда должны смотреть органы правопорядка.* Я внимательно изучил первый попавшийся абзац:

Нельзя дальше терпеть эти их фиги в карманах большей части населения. Органы должны, засучив рукава, очистить воздух от таких, с позволения сказать, как гр-ка Никодимова и ее сынок, который как гнилое яблоко от гнилой яблони, не учится и не работает, а пострижен под полубокс и развращает молодежь, включая старших, и хоть она учительница, есть основания, что вся их так называемая правозащитная деятельность финансируется противником из-за рубежа. Пора покончить с таким попустительным равнодушием, когда гр-ке Никодимовой разрешают учить наших детей. Чему она, с позволения сказать, их научит???

Статья была анонимная. Без подписи. Как и полагается передовой. Аноним был тот еще публицист.

Я спросил:

— Кто это писал?

— Я, — в быстром подглядывании Окормышева за нами содержалось ревнивое: спрошено с уважением или с иронией. — Я и пишу всю газету, и материал собираю, и печатать научился на компьютере, все я, — не удержался он от законного, на его взгляд, чувства гордости.

— Вы профессиональный газетчик... — Адов, все схвативший, постарался вложить в незаконченную фразу максимум доброжелательности.

— Не, не профессия. Практика. На практике овладел. События заставили, — отрапортовал Окормышев, и мысль об отставнике укрепилась.

— Служили?

— Служил.

Подозрительность его вернулась, словно собачка, сбегавшая побыстрому погулять.

— Где, если не секрет?

Окормышев помолчал, верно, взвешивая обстановку, после чего решил типа: а чего, в натуре?

— Не секрет. В органах.

— В каких? — спросили мы вдвоем с Адовым.

— В тех самых.

Сообщив это, он ловко откинулся назад вместе со старым, насиженным стулом и авторитетно покачался на его ободранных ножках. Мы с Адовым по-прежнему стоймя стояли.

— А конкретно? — спросил Адов, как бы еще продолжая знакомство с биографией героя.

— Конкретно? — герой поколебался на ножках стула взад-вперед, размышляя о допустимой мере откровенности. — Конкретно, в Костромской тюрьме, в охране. Сейчас на пенсии. Три года вот выпускаю. Народу нравится.

— А деньги где взяли? У спонсоров? — дружественно предположил Адов.

— Ни у каких не спонсоров! — сходу отмел предположение как недостойное Окормышев. — Не одалживался. С книжки, с пенсии, то да се... А потом мы фонд создали. Отставники, я подразумеваю. *Щит и меч*. Хотели и газете новое название дать. Но ведь бренд уже. Люди привыкли к старому бренду.

— Бренд тоже сами придумали? — продолжал Адов без тени улыбки, как актер на сцене, играющий комедию всерьез.

— Не, не я. Это в истории такое выражение было. Пароль и отклик. У специальных людей. Не читали?

— У специальных служб, — поправил я, — читали.

Что-то в моем тоне не понравилось Окормышеву.

— А вы, я смотрю, вроде нерусский... — взялся он колоть меня.

— Я американец, — раскололся я.

Признание произвело оглушительный эффект.

— Таисия Прокофьевна! — громко позвал Окормышев.

Вплыла объемистая жена.

— Чего тебе?

— Познакомься, — потребовал он с каким-то издевательским торжеством, как бы празднуя неведомую победу над кем-то невидимым, может быть, даже над той же гражданкой Никодимовой. — У нас в гостях гражданин США, собственной персоной. А кто вам, дуракам, говорил, что и Судиславль у них под колпаком, как и все наши территории!

— И что? — равнодушно спросила Таисия Прокофьевна, поправляя пыльный волосяной кулечек на затылке.

— Что-что, прояви русское гостеприимство, вот что!

Новость Окормышева явно взбудоражила, но со стула он так и не слез.

— Да уж все готово, — пригладила Таисия Прокофьевна показавшиеся ей неаккуратными пыльные височки. — Добро пожаловать! На кухню... — пригласила она. — Мы кушаем не в этой зале, а на кухне.

Приблизившись к мужу, она подсунула одну руку ему под зад, второй перехватила первую, образовав таким образом кольцо из рук, он подобным же кольцом окольцевал ее шею, и в этом сидячем положении она понесла его на кухню. Адов шел за ними по пятам, снимая.

Вчетвером мы уговорили две бутылки водки. Таисия Прокофьевна пила с нами наравне. Рюмки были из того же старого советского быта, вынутые из *горки,* что располагалась *в зале,* как не разбились за десятилетия.

— Разбились, — обреченно махнула рукой Таисия Прокофьевна. — Набор-то был из шести, осталось четыре.

Она кормила нас селедкой под шубой, картошкой, жаренной на сале с луком, крутыми яйцами, солеными огурцами и солеными груздями, что собственноручно закатывала в банки прошлой осенью, а также рассказами о житье-бытье с Окормышевым, завоевавшим тридцать лет назад сердце тоненькой, как березка, девушки-работницы зверосовхоза

чтением стихов Есенина под темно-синим, с острым серпом месяца, небом, когда была не его тюремная вахта и он приезжал к ней гулять в пойменных лугах речки Корбы, впадающей в реку Андобу, впадающую, в свою очередь, в реку Кострому. В тюрьме и познакомились. У нее там сидел жених. Мастер с меховой фабрики при зверосовхозе. А он жениха сторожил. Жениха посадили за экономические преступления: раньше это называлось нарушением порядка учета и контроля, и тот размах ни в какое сравнение не шел с этим. Руки на пушнине грели все — жених попался. Он был некультурный, ничем, кроме денег, не интересовался, и когда ее позвал замуж культурный Окормышев, который интересовался стихами Есенина, историей и мыслями как таковыми, она пошла за него. Потом были разные разности, по мелочам и по крупному, жизнь устраивала козу, интересное русское выражение, что всем, то и им, он активничал, нервничал, лез куда не просят, учил всех уму-разуму, а шесть лет назад у него случился удар, после которого он потерял обе ноги, не в том смысле, что потерял как конечности, а как возможность ходить, и шесть лет, не прекращая, как заводной, занимается прописанной доктором гимнастикой, качается вот так на стуле, с упором подошв в пол, да как ни упирайся, а встать на ноги не может, но не сдается, и три года назад для моральной поддержки себя и соратников, — у него ж еще и соратники, — затеял это свое газетное дело, его даже по костромскому телевидению показали в виде инвалида, который не сдается перед ударами судьбы, будучи отставным офицером советской закалки. А два года назад от них ушел неженатый сын-полудурок, разругавшись с отцом на идеологической почве и перейдя из лесхоза официантом в кафе, поскольку зловредная училка Никодимова и ее сынок внушили полудурку буржуазную мораль и либеральные мысли, от чего отец, не хуже училки мыслитель, всю дорогу пытался его отучить, так что теперь всякий номер газеты, помимо международных, столичных и областных новостей из телевизора, содержит разоблачение опасной антигосударственной деятельности училки Никодимовой, а действующие органы, сочувствуя владельцу, издателю, главному редактору и единственному автору *Слова и дела* на словах, на деле не принимают мер, ища повсюду финансового интереса, финансовым этим интересом развращенные.

Таисия Прокофьевна солировала, Окормышев, с лицом, перецветшим из серого в багровый, одобрительно икая, подхватывал:

— Не беда, скоро и на нашей улице будет праздник... *Щит и меч* тоже не бездействует... А что вы, американцы, в личном качестве заинтересовались Судиславлем, тоже о чем-то говорит!..

Адов, опрокидывая рюмку за рюмкой, закусывал исключительно соленым груздем, к которому прямо-таки пристрастился на этой *party*,

однако и профи в нем не дремал: держа в свободной руке камеру, он прихотливо водил ею по ногам хозяина, по пыльному кулечку хозяйки, по моей шляпе, по всему, что попадало в неверный объектив.

Вдруг Окормышев встрепенулся, встопорщился, возбудился:

— А откуда русский Судиславль пошел, в Америке знают?

В Америке не знали.

Путаясь в событиях и датах, заплетаясь языком, Окормышев, тем не менее, доложил Америке, что был на святой Руси, слышь, в тыща девятьсот, нет, просто в девятьсот с чем-то году, такой князь Владимир Красно Солнышко, крестистель, — никак не мог произнести Окормышев правильно, — крестистель Руси, Киевской, слышь, а как дело было, поначалу к нему заявились болгары-мусульмане агитировать за Магомета, слышь, за ними из Рима пришли с предложением насчет католичества, за ними хазарские евреи, заманить в веру иудейскую, слышь, но Владимир, не будь дурак, отправил послов сперва в немецкие земли, чтоб разузнать, что там у них, слышь, затем в греческие, послы вернулись и рассказывают, у немцев скучно, зато у греков красота, слышь, и тогда Владимир пошел войной на греков, а после перекрестился в греческую православную веру, и народ покрестил, слышь...

Пока дело не дошло до города Судиславля, я слушал Окормышева вполуха, думая о загадках русской истории, в которой смертельная война и мирное крещение переплетались, словно плющ с дубом, впрочем и крещение, насколько помнится, было не мирное, а вполне себе насильственное. А еще я думал о маленькой частной загадке, которую задала моя маленькая частная греко-русская жизнь, которую миграцией, пусть от мигранта и не зависимой, перетащило по другую сторону океана, соединив несоединимое как естественное, потому что нет ничего естественнее целокупного бытия человеческого, без различия исповедания веры, места и образа жизни. Я был пьян, как и все, сказки Окормышева поводили к глубоким обобщениям на мелких местах.

— А как же Судиславль? — вспомнил Адов.

Окормышев икнул:

— Теперь, слышь, про Судиславль. Там все, ровно у нас, запутано, слышь. Короче, у князя Владимира было два сына, старший князь Ярослав и младший князь Судислав. По закону старшему полагалось все, а младшему кое-что. И вот папаша отдает Ярославу Новгородские земли, центр, слышь, а Судислава посылает на окраину, на северную государственную границу, где тучи ходят хмуро, слышь. Там крепость эта северная без имени, а ее надо охранять от иноземцев, чтоб не вторглись, они же с каких пор вторгались и вторгались, поляки, к примеру, а наш Сусанин конкретно в этих местах завел их в лесные болота и

погубил, хоть и сам утоп, и композитор Глинка конкретно приехал в наши места и написал на него оперу. В Америке, слышь, знают про русского Сусанина и русского Глинку?..

В Америке знали.

— То-то, — грозно предупредил Окормышев и перешел непосредственно к сюжету.

Выходило, что младший брат, владевший всего лишь безымянной крепостью, позарился на центральную власть старшего, а тот, прознав, засадил братка в земляную яму до конца дней его, чтобы тот проводил свои земляные дни в яме, а не на свободе, где мог бы перетянуть на свою сторону народ и отобрать власть у старшего брата, обещая людишкам больше сласти при новой власти.

Какая-то калька с нынешнего проглядывала в старинной истории. А Окормышев тем временем выходил на коду:

— И что же получается, слышь? По закону все верно, Ярослав прав, Судислав нет. Но народ любит Судислава, слышь! И нарекает несчастную крепость его именем! И становится город Судиславль, слышь! Хотя Ярославль тоже становится. А все равно получается, что у вора, пожелавшего украсть власть, такая же слава, как у того, у кого она по закону и кто прямо обязан засадить вора в яму! А может, и больше, слышь! Славы у вора больше!..

Федорковский — вот кто такое был Судислав. Появится ли город Федорковск на русской карте?

— Вы патриот Судиславля? — спросил я Окормышева, как на допросе.

— Патриот, — с достоинством, как на допросе, выпрямился Окормышев.

— А Судислав вор! — припер я его к стенке.

— Так о чем я говорю! Что все запутано, слышь. Так же и Никодимову можно прославить! — уж совсем дикую мысль мужественно высказал Окормышев.

— Мыслитель? — обратился ко мне интимно второй дознаватель, Адов, и сам же ответил: — Мыслитель! Все мыслители путаются в противоречиях, не все находят мужество признать это!..

Таисия Прокофьевна словно пробудилась от реплики Адова. До этого сидела, склонив голову с кулечком и сложив глинистые руки на опущенных грудях, как свидетельница, выполнившая свою часть работы.

— Я же говорила, что он мыслями смолоду интересуется... — напомнила она нам как факт и аккуратно разгладила юбку на коленях, чтобы не морщила.

Несколько раз я хотел свернуть на молодые годы Окормышева, когда он нес трудовую вахту в тюрьме, да он не давался, не глядя, переводил разговор на другое. Наконец я спросил его прямо, стыдится он тех лет или гордится ими.

— Чего стыдиться, слышь? — дробным смешком раскатился Окормышев. — Сиди я по другую сторону колючей проволоки, тогда бы стыдился, а я по эту, слышь!

Закончил собеседование он, будто мундир застегнул на все пуговицы, однако же перейдя на *ты:*

— Как пить дать, воротишься в свою Америку, клеветать начнешь, слышь, потому заранее предупреждаю, чтоб не заблуждался насчет гостеприимства и всего такого, порох держим сухим, бдительности не теряем, слышь, *Слово и дело* с контрпропагандой выступит, говорю честно.

— Твое право, — перешел и я на дружеское *ты.*

— Мое право и мой долг, — подчеркнул он, высасывая остатки из рюмки.

Таисия Прокофьевна провожала нас на улице, глядя из-под руки. Последнее, что попросила:

— Вы уж зла на него не держите, больной он, сами видели, кабы не *Слово и дело*... им и держится!..

Высоко взмахнула рукой и ушла в дом.

В доме сразу же загорелись окошки, наступал вечер.

— Ну, что, мыслитель? — я поддержал споткнувшегося Адова. — В каких противоречиях запутались мы, глядя на этого обезноженного владельца, редактора и автора инквизиционного *Слова и дела*?

— Такова действительность, Крис, — страдальческая интонация была близка и понятна мне. — Такова наша российская действительность.

Поезд сверкал в наступившей тьме всеми своими иллюминаторами наподобие гигантского брильянтового колье. Желтушные огни станции не выдерживали никакого сравнения с ними, как бедная провинциальная простушка не выдерживает сравнения с богатой столичной дамой. Мне вдруг привиделось, как эта сверкающая драгоценность внезапно трогается с места и исчезает в ночи, как и не бывшая, а все, что случилось с нами, не более, чем игра воображения, галлюцинация, фантастическое сочленение пушкинской метели, наброска современных техноформ и авторской грезы. О чем? О возможности правильного жизнепорядка, по существу всегда побеждаемого хаосом жизни. Не из Магадана в Москву двигался этот ирреальный поезд, а от начала бытия к его окончанию, и задержки наши на малых станциях

были всего-навсего жалкой попыткой остановить или хотя бы попридержать время.

— Как жаль, что ты не пишешь... — Адов встал в тамбуре и ждал меня.

— Что не пишу?

— Книжки. Знаешь, что сказал Бодлер? Пусть будет благословен тот, кто изобрел письменность, он предотвратил не одно самоубийство. А наши потенциальные самоубийцы разъехались и сидят, кто в Германии, кто в Швейцарии, кто в Бельгии, сидят, пишут книжки и получают наши нацпремии. Ты бы тоже получил.

Нас встречала Сельянинова с совершенно чистым прелестным лицом.

На Адова было тяжело смотреть.

12

Не Маня стучалась ко мне предыдущей ночью. Стучался Ваня. Он поставил меня в известность об этом лично. Я опять ошибся. Чересчур много ошибок для одной поездки. Я был слишком рассредоточен и не умел собрать себя.

Мы опять сидели друг напротив друга в моем купе, я заливал новым алкоголем старый, бродивший в крови, окончательно чувствуя себя никаким не греком и никаким не американцем, а русским, русским до последнего кровяного шарика. Кем чувствовал себя Ваня, мне было неведомо, но и он исправно надирался.

— Она попросила, чтобы я ее запер... своей воли не хватает, обратилась к моей... — говорил он, опрокидывая стопку и не притрагиваясь к закуске, которую я соорудил на скорую руку из того, что было под рукой.

Который раз за короткий срок со мной переходили на *ты,* и это не было дружеское, теплое *ты,* а пренебрежительное, плебейское. Единственное *ты*, пробуждавшее сердечный жар, было одно, обеспеченное любовью, и я от нее отказался. Либо мне отказали в ней.

— Бедный ребенок... — Ваня делал большие паузы, сохраняя общую логику повествования. — С ней никогда такого не происходило... она ведь умненькая... с ней интересно жить, а ей интересно со мной... ничего похожего на другие пары, где рано или поздно люди начинают досаждать друг другу... раздражать друг друга... на что-то претендовать... чем-то меряться... спорить, ссориться... мы тоже спорили и ссорились, но по-другому... и я считал, и она считала, что мы вытянули счастливый билет... и она, и я...

Он умолк. Я тоже молчал. Что я мог говорить, я был в самом дурацком положении, какое можно только представить. Обманутый муж приходит к любовнику, и что? Что должен делать любовник? Я нарочно думал о том, о чем думал, в самых пошлых выражениях, чтобы было так, будто это не со мной, а с кем-то, а я наблюдаю и, возможно, даже анализирую. Но что-то брали на анализ у меня, я был не врач, а пациент, как всегда, пациент, вообразивший себя врачом.

— Я понимал, что при всей нашей избранности с нами может случиться то же, что со всяким... ветром надует... внезапное увлечение, например ... обсуждали это, как умные люди обсуждают что-то дурацкое... или дураки что-то умное... ни минуты не веря, что и впрямь может случиться... и обещали не перестать доверять... и обещали быть первыми, кто узнает... и рассуждали, как одолеть напасть, чтобы союз наш стал только крепче... самоуверенные дети рацио, погрязшие в виртуальных играх... а когда оно вдруг свалилось с неба, пробив крышу этого *Русского вагона*...

Он с силой стукнул себя по колену.

Мне показалось, он немного рисуется. Печать гуманитария, который даже в драматической ситуации не забывает посмотреть на себя со стороны. Или это я смотрел на себя со стороны, прихватив заодно и его, и в этом заключалась ошибка, потому что мы никак не могли быть на одной стороне.

— Не знаю, право, что тебе сказать... — приступил я было к диалогу.

Он заговорил быстро, без пауз, остановив меня жестом:

— И не надо, я не собираюсь тебя слушать, ты слушай меня, ответишь, когда спрошу, она резкий человек, у нее резкое зрение, она резко и прямо смотрит на вещи, я за нее боюсь, потому что она в своих материалах ходит по лезвию ножа, Политковская была ее идеал и учитель, и я вижу, как она стремится перехватить эстафету, и если она выйдет за тебя замуж, и ты увезешь ее в Америку, я буду, по крайней мере, знать, что она в безопасности, и перестану так тревожиться за ее жизнь... ты готов на ней жениться?

От неожиданного поворота купе поехало у меня перед глазами. Я схватился за край стола, чтобы удержать себя на месте.

— Для непонятливых повторяю дважды: ты готов жениться на ней?!

Он сдернул резинку с волос, и они, на сей раз чисто промытые, рассыпались у него по плечам светлым мехом, сделав его похожим на какое-то экзотическое животное. Я невольно залюбовался им, понимая, что смотрю на него Маниными глазами.

— Мне кажется, ты торопишь события... — я еле ворочал ватным языком.

— Я тороплю?!. — он встряхнул своей пышной гривой. — А не ты, переспав на третий или четвертый день знакомства с моей женой, которая тебе в дочки годится?!.

— Она тебе это сказала?

— Про что?

— Про *переспав*?

— Запомни, я не душу тебе изливаю, я говорю ровно столько, сколько хочу сказать, и если ты думаешь, что переиграешь меня, ты ошибаешься!..

Все-таки он был дитя современной цивилизации, этот пьяный журналист-рогоносец.

Но и я как аналитик никуда не годился, ничего не понимая в том, что пытался анализировать.

— Ты провоцируешь меня... — Я по-прежнему не знал, что сказать, и ухватился за формулу, которая пришла мне на ум раньше и в другой ситуации. — Я вижу, что это провокация...

Он вдруг крикнул надсадным голосом:

— Отвечай, подонок, ты женишься на ней, или она для тебя просто подстилка?!.

Я не владел ни собой, ни своими мыслями. Одна мысль проблеснула: что это не его, а их общая провокация. Что по некой причине, личной или политической, они оба это все устроили, начиная от любви, якобы любви, и кончая заключением брака с иностранцем для проживания за границей. Сначала выезжает она, затем следует расторжение брака со мной, она вызывает его, и они снова женятся.

Я хватанул еще стопку, жар разлился по моим жилам. Никакой я был не железяка, как хвастался недавно Скунчак, когда она еще была нашей попутчицей. Лицо у меня загорелось. Не от водки. От стыда. Мне пригрезилось, что я напросвет и Ване насквозь видны мои мерзкие, мои грязные, невесть откуда взявшиеся пакостные мысли. Откуда? Из воздуха. Здешний воздух был пронизан миазмами мелкого и крупного обмана и самообмана, хитрости, интриг, поиска грошовой, пусть даже исчисляемой большими нулями дензнаков выгоды. Я был один из них, участник, а не наблюдатель. И магаданский шоферюга, и Скунчак с Очковой, и Пенкин с Мелентьевым, и Молодцов с Молотковым, Окормышев — все участники. Их, да не их, а наше, наше дыхание образует отравленный воздух, этим отравленным воздухом мы дышим, воспроизводя его вновь и вновь, получая тот самый заколдованный круг, к которому все приспособились и забыли, как пьется чистый воздух, а если кто не забыл, готовы забить его палками, чтобы не отнимал спасительных иллюзий насчет родных миазмов.

Я ни в чем не мог быть уверенным, я не знал, где правда, а где ложь, под моими ногами не было честной тверди, повсюду зыбкая почва со зловонными испарениями, искажавшими картину, я опирался на жижу.

Я не был готов жениться на Мане. Я не был готов жениться на ком бы то ни было, потому что это означало взять на себя ответственность за кого-то. А как это сделать, будучи глубоко больным человеком! Ну да, я жил в Америке, стране эмигрантов, но мы и в Америку привезли наш отравленный эмигрантский воздух, наши эмигрантские больные легкие и наши больные мозги. Русский-грек-американец, я был вечное перекати-поле, пациент клиники доктора Джонсона, менеджер по катастрофам. Мое воображение нарисовало мне поручение. *Поручение*. Разве кто-то давал его мне? Не сам ли я и дал, болея... и болея за свою историческую родину, а по факту кишка тонка, не Солженицын, чай, кто, в соответствии с циклами моей циклотимии, являлся мне в тайных и гордых моих мыслях. Хотя, видит Бог, я не собирался ничего проповедовать. Я хотел лишь увидеть своими глазами, прожить, продумать, понять, какова она, моя настоящая родина, такая же больная, как и я, или есть у нее шанс выздороветь.

Стук в дверь — панель отъехала. Маня стояла на пороге. Рыжина ее полыхала.

— Я так и знала, что ты здесь, — сказала она, глядя на Ваню.

— Как ты здесь очутилась? — изумился Ваня.

— Нажала кнопку, — объяснила она. — Оказалось, есть такая кнопка вызова бортпроводника, бортпроводник Саша оторвался от Монтеня и открыл меня.

— А то сломала бы дверь... — пробормотал Ваня.

— Уйди, — попросила она.

— Нет.

— Уйди.

— Нет.

— Ваня!

— Маня!

— Может, мне уйти? — предложил я, слушая их звенящую перекличку.

Так птичья пара перекликается в светлом высоком небе.

Я не мог смотреть в расширенные зеленые Манины зрачки. Не то что алкоголь не давал сфокусироваться. А то, что я по-прежнему был напросвет, и теперь они двое видели меня насквозь.

— Это правда, я готова была сломать дверь, я кричала и билась, как птица, — говорила Маня, и я не понимал, с иронией или всерьез. — Я

кричала, но никто не слышал. Крис, я кричала, люби меня, Крис, Крис, не покидай меня, будь ты проклят, Крис!.. Пока не заметила кнопку и не пришел бортпроводник Саша... Всего и делов-то оказалось, что нажать кнопку.

Голос, подобие жаворонкового колокольчика, пропал. Его заместило что-то каркающее, воронье. И это я, я, я был виноват! Искуситель. Антихрист. Я нагрузил ее подростковое содержание тяжким содержанием поживших, если не отживших взрослых. *Мертвые души* и *Живой труп,* написанные на этой земле взрослыми, нельзя давать детям. Если только не рассчитывать на то, что не поймут, поскольку у них нет соответствующего опыта. Но если нагрузить их этим опытом, то и получится, что получилось.

— Пойдем, — сказал Ваня. — Он не женится на тебе.

И они ушли.

А я остался.

Разыгран ли был передо мной спектакль? Придумали ли они его оба? Или она одна? С самого начала либо по ходу движения состава? Или я настоящий сумасшедший, с неуправляемой психикой, которая как дурной сценарист выдает на гора пошлый сериал, состряпанный по стандартам *российского голливуда*, искажая, пропуская, упуская подлинность? Мне хотелось завыть. Мне хотелось разбить башку о зеркало, либо разбить зеркало, чтобы осколки впились в мою кожу и кровь, настоящая кровь забрызгала бы этот искусственный, искусный, фальшивый *Русский вагон.* Физическая боль перепоясала меня.

Я говорил, что сильная душевная боль принимала у меня характер физической. Я снял шляпу и сидел так, без шляпы, точно голый, сотрясаемый ознобом. Что я мог сделать? Я пропал. Я попался. Я попался в ловушку, устроенную мне не хитрым и не коварным, а любящим человеком. Любовь продиктовала ему его поведение. Он должен был выиграть у меня свою жену. И он ее выиграл. А я проиграл. Не просить же у него ее руки! Им предстояла жизнь, я был не последним, но первым испытанием на их общем жизненном пути, и оттого, что я был всего-навсего функцией, назначенной для переживания чужого эмоционального опыта, охватывало ощущение гигантской пустоты.

Шатаясь, я поднялся и погасил свет.

Ночь за окном вывесила сырный ломоть луны, то и дело застилаемый лохмами туч, мчавшихся наперегонки с поездом, но вдруг тучи стали отставать, пропадать, будто устав гнаться за чем-то, вовсе им не нужным, как собака устает гнаться за машиной, отбегая от нее в сторону и независимо помахивая хвостом, с выражением *небольнотоихотелось,* сырный ломоть этот, местами порченный, на глазах терял свой

мутный окрас, преображаясь в полузанавешанный софит для кинематографических нужд горних сфер, острые мелкие звезды прокалывали черную материю занавеса, светились скупые декорации, рисованные легким облачным пером, похожим на птичье, или то была не материя, а дух, в горних высях обитает дух, а не материя, надо это помнить. Надлунная и подлунная территории отдавались друг другу, сливаясь в целое, не стесняясь одинокого наблюдателя, а, в свою очередь, наблюдая за ним из того космоса, что доступен только мертвым.

Очистившееся небо обещало пушкинский день: мороз и солнце.

Весь придорожный архитектурный мусор отодвигался, пропадал, и опять расчищенное дольнее пространство, с лесами и перелесками, взгорками и долинами, угадываемыми в белом лунном свете, волновало душу чем-то вечным и родным. Больше я не думал о ядовитых испарениях. Напротив, пейзаж моей родины, даже и за толстым стеклом окна-иллюминатора, проникал в отравленное сознание подобно целебному кислороду, я глубоко вдохнул один раз и другой, и вот уже дыхание мое восстановилось, и я задышал полной грудью. Я знал за собой эту особенность — переходить из предельного состояния в другое предельное состояние, не помня себя, бывшего вот только что. Вот только что я был несчастен до кончиков ногтей, но что-то поворачивалось в моем внутреннем хрусталике, и я уже счастлив и не помню, что мучило меня мгновение назад. Маленький Колька, 2-Энтони-2, Нагорная с Карупцинером, Савич, братья и сестра Воскобойниковы, Адов, Мария Николаевна Волконская... Я подбивал бабки, как бухгалтер подсчитывает дебет-кредит, чтобы не остаться с носом. Моя черная шляпа валялась на полу, мне не было до нее дела. Хотя точно так же мой внутренний хрусталик мог вывернуть ситуацию, как носок, шиворот-навыворот обратно.

Дверная панель зашаталась, на миг мне привиделось, что фигура в контражуре, который создавал свет из коридора, — Маня.

Это был мужчина, а не женщина.

Я включил свет. Мужчина был Пенкин.

— Не извиняюсь. Пришел занять свое законное место, — буркнул он.

— Располагайтесь, — пожал я плечами.

— Расположусь, — пообещал он с основательностью, для которой вряд ли имелись резоны: до Москвы оставалось меньше пяти часов.

— И с Адовым не ужились? — не удержался я.

— Сельянинова вернулась, — осадил он меня.

Посыпавшийся с души моей камнепад можно было, сдается, расслышать сквозь шум бегущего поезда. Пенкин не слышал.

— Вы, психи, любите такие вещи, какие нормальным людям наблюдать не под силу. Как она рыдала. Как он рыдал. Как они глядели друг на друга. Будто из преисподней вернулись. Ужас.

— Да ведь так и есть, — тихо проговорил я.

— Из преисподней?

— Ну да.

Трезвый Пенкин понюхал воздух:

— Осталось?

— Вряд ли.

— Пойти поискать. Отступать некуда. Впереди Москва. Глупо спать в последнюю ночь.

Пенкин ушел искать водку, а я сел на постели и сидел так долго. Жестокое похмелье давало себя знать. Во рту пересохло, как в пустыне Гоби. Надо бы выпить воды, захлебнуться прохладной водой, омыться чистой водой — воды не было. Никакой. Ни из бутылки, ни из родника. Мой внутренний хрусталик с сухим хрустом выворачивал ситуацию туда и обратно. Я натянул на себя шляпу, чтобы спрятаться и сделаться внутри себя невидимым для беды. Но беда зорко зарилась на меня из каждого угла, не отступая. Облако, похожее на белую собачку, бежало сбоку в темном небе.

Трое вышли из леса. Из синего леса, если смотреть издали, из серого с черным, если из близи. Первый — жгучий брюнет. Второй — блондин с густо поросшей светлой щетиной на пористой свинячьей коже. Третий — безбровый и безволосый типа альбиноса. Все трое принадлежали к кавказско-азиатско-арабо-иудейско-финно-угорской национальности. Они шли мимо заготбазы, мимо водокачки, вдоль линии высокого напряжения, обходя железнодорожный поселок, чтобы выйти непосредственно к железнодорожному мосту. Жгучий то и дело сплевывал, формируя слюну под языком и выталкивая ее через дырку в верхней челюсти, где отсутствовал один зуб. Щетинистый прихрамывал, до крови натерев большой палец правой ноги, поскольку снятые с мертвеца сапоги были ему малы. Альбинос, шедший первым, светил перед собой красным глазом как фонарем, он обладал необычным свойством видения в темноте, словно у него было инфракрасное зрение. Они пометили дорогу днем и теперь хорошо ориентировались на местности. Жгучий тащил самый тяжелый вещмешок, из них троих у него была самая широкая спина и самые крепкие кривые ноги. На его подбородке был как будто выгрызен кусок мякоти, кое-как позднее заросший. Ковылявшего Щетинистого вовсе освободили от поклажи, его вещмешок добавили к вещмешку впередсмотрящего Альбиноса. Щетинистый лучше всех соображал, и ценили его за это, а не за

спину и ноги, и за это поставили руководителем группы. Он мог бы, а может, и должен был, повыкобениваться, когда Альбинос забирал у него вещмешок, но, по правде говоря, было не до того, требовалось сделать дело, а не геройствовать попусту, тем более что и геройству две копейки цена в базарный день. Из них из всех он единственный был вооружен пистолетом с глушителем, у его спутников имелись только ножи. Вдруг Альбинос остановился и поднял руку вверх: это был знак остановиться шедшим за ним. Темное пятно, меняя конфигурацию, двигалось навстречу.

— Волки!.. — прохрипел Альбинос.

— Какие волки!.. Собаки!.. — сообразил Щетинистый.

Жгучий, лишенный какого бы то ни было воображения и потому никогда не трусивший, боялся собак. Одна, свирепый кавказец, не поделившая с ним чего-то заветного, как раз и выгрызла кусок его плоти, и плоть поражение запомнила. В других случаях Жгучий поражения не знал. Он уже собирался свалиться с ног, чтобы сделаться кулем, спрятав морду в снег и для большей безопасности прикрыв ее еще руками, когда Щетинистый схватил его за солдатский ремень, перепоясавший старый ватник.

— Стой... ты чаво, дурак, стае таку подставу... да они таку легку добычу на раз-два и в клочья...

Дикая стая была совсем близко. Щетинистый положил два пальца в рот и изо всей силы свистнул. В ночной тишине свист разнесся на всю округу. Стая встала как вкопанная.

Альбинос недовольно пробормотал:

— Этта... щас всюю округу подымешь...

— Заткнися... — цыкнул Щетинистый.

У всех у них был непонятный выговор: от южного до северного, от восточного до западного.

Собак было семь. Возглавлял стаю большой серый пес. За ним следовал тоже серый, поменьше. Два пса были черного окраса и два, по-видимому, рыжего. Замыкала отряд маленькая беленькая собачонка.

— Стоять на месте... — приказал негромко Щетинистый. — Не двигаться... руками не махать...

В этот момент Жгучий, стоявший немного обочь, вдруг, непонятно, с какого переляку, поскользнувшись, взмахнул руками. Большой серый, не раздумывая, в одну секунду бросился на него и свалил с ног.

— Режь... режь его, суку!.. — закричал Жгучий, изо всех сил отбиваясь от зверя.

Но уже вся стая, завертевшись клубком, с громким лаем накинулась на людей. Серый рвал Жгучего, пытаясь добраться до горла, Жгу-

чий выставлял руки перед собой, Серый рвал руки, Жгучий не ощущал боли, а чувствовал лишь что-то мокрое под толстым ватником. Другие собаки, прыгая во все стороны, кусали ноги, предплечья и бока Щетинистого и Альбиноса. Нож у Альбиноса, так же, как у Жгучего, был за голенищем, ни тому, ни другому не удавалось вытащить сталь, звериное нападение не давало передышки. Почувствовав вкус человечьей крови, урчащая стая захлебывалась восторгом атаки. Жгучий, теряя способность к сопротивлению, терял сознание. Говорила ему цыганка на площади трех вокзалов в Москве *опасайся серого зверя,* а в отряде у них *Серым* звали бывшего сержанта российской армии, настоящего зверя, жесточе самого жестокого, зубами рвал пленных, не хуже этого проклятущего пса, его Жгучий и опасался, балда балдой, ведь уже нападал один пес, этот второй, но, значит, должен быть и третий, всегда ведь все по три раза...

Он очнулся, когда Щетинистый бил его со всего маху по щекам. Вокруг лежали трупы. Шесть собачьих трупов. Трупа маленькой беленькой собачонки не было видать, должно, успела убежать и таким образом спаслась. Чернела кровь на снегу, перепутанная собачья с человечьей.

— Живой? — спросил Щетинистый.

— Ну, наследили... — огляделся, еще не в себе, Жгучий.

— Давай, давай... время нет... — бросил ему Щетинистый, помогая подняться.

Болело не особенно. Конечно, лучше бы обработать раны, но какой обработать, ни время, ни средств. Они предусмотрели все или почти все, не запланирована была вот такая встреча с голодными псами. Теперь только моли Аллаха или Магомета, Будду или Иегову, или Иисуса Христа, чтобы никто из псов не был бешеным.

Альбинос молча ухватил своими клешнями пару собачьих трупов, чтобы оттащить в ближайший перелесок.

— Брось... — остановил его Щетинистый. — Шо тут, шо в леске, без разницы... след оставили... Щас выиграем время — все выиграем... закончим по-быстрому и делать ноги...

Через несколько шагов тьма поглотила кровавое побоище.

Шли след в след, друг за дружкой, Щетинистый трогал рукой пистолет за поясом, который успел перезарядить, расстреляв всю обойму, довольный, что взял большой запас патронов. Собак найдут, найдут и отстрелянные гильзы, но они будут уже далеко, ни одна собака не разыщет. Он растянул рот в улыбке, обнажив щелястые желтые зубы, думая, как интересно вышло про собак: и так, и эдак. Настроение у него было хорошее, боевое, он знал, что все получится, инцидент с

собаками скоро выветрился из его памяти, теперь он думал исключительно о том, чтобы хорошо сделать свое дело.

Спустя полчаса они были у подножья железнодорожного моста и, аккуратно выгрузив из вещмешков канистры с мягким глинистым составом, — музыка эта называлась *композиция си-фор*, — бережно закладывали в основание железной опоры взрыватель с часовым механизмом.

Коротко взвыла маленькая белая собачонка. Когда она успела оказаться тут!

— Пристрели ее, Щетина... — попросил Жгучий, ватник которого был пропитан кровью.

— Не-а... — отказал Щетинистый. — Следаков тебе не жалко... И так им работки хватит... А вот как тебя переодеть... на тебе кровищи...

— Потом... — бросил Жгучий.

— Ежу ясно, что потом...

Потом у них будет время, и они решат и эту задачку, и ряд других, и скроются надежно, поскольку на каждом этапе операции у них будут свои люди, с отработанными планами, и все пройдет нормально. С успехом.

На какой час был выставлен таймер, маленькая белая собачка не видела.

Маленькая беленькая собачка славяно-греко-латинской национальности был я.

13

Поезд замедлил ход, подъезжая к станции, но не остановился, а проехал, лишь слегка сбавив скорость, по всей вероятности, из правил безопасности. Название станции я не успел прочитать. Часы что-то показывали, но стояли они или шли, было неясно, да и все равно время я тоже не успел заметить. По перрону бежала белая собачонка.

— Что такое успех? — говорил Пенкин, вернувшийся в купе с бутылкой водки, которую мы по-быстрому раскупорили и так же по-быстрому приступили к распитию, потому что я никак не мог справиться с ознобом и наладить дыхание и, лишь осушив первую рюмку, кое-как пришел в себя.

— У финансистов есть термин: обслуживание кредита, — выступал я невпопад. — Мы все обслуживаем выданный нам кредит, кто хуже, кто лучше...

— Слово *успех* у Даля означает спорину в деле, — не слушал меня Пенкин. — А ваше американское *просперити* любой ценой — из другой

оперы, оно оккупировало наши души, мы под оккупацией, а все наши так называемые ценности — болтовня, ловушка для быдла, которой власть, развращенная до мозга костей, пытается удержать развращенное подведомственное ей население от безудержного разврата...

— В Америке не любой ценой... — заступился я за страну проживания. — Да и в России, скажу я тебе...

— Что ты знаешь о России?.. — застонал Пенкин. — Что ты знаешь о том, как лезть, пробираясь сквозь колючку людей и обстоятельств, наверх, изгибая фигуральный позвоночник до такой степени гибкости, какая была, по слухам, у буквального позвоночника Ахматовой... А куда деваться? Куда? Разве зря сказал Экклесиаст: *нет ничего лучше, как насладиться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него...*

— В России, — гнул я свое, — любимый мною тип самородков, которых без устали рожает, а затем, так же не уставая, гнобит родная земля... И, несмотря на это, не все так бес... бес...

Я оборвал себя на полуслове. Перебиравшая ногами белая собачонка за окном вдруг четко отпечаталась в моем ретиво скачущем сознании, как тавро, что ставят на скакунах. *Узнают коней ретивых по их выжженным таврам,* прозвучало, как станционный колокол.

Я вскочил:

— Сколько времени?!. Когда мы прибываем в Москву?!.

— В пять. Сейчас два.

Собачонка не знала, на который час выставлен таймер.

Я метнулся из купе как ошпаренный и бросился вперед по коридору. Ноги меня не слушались, я бежал по кривой, а не по прямой, но не было в тот момент соглядатая для меня, а и был, плевать. Кажется, аккуратный стюард Саша, он же наследный принц, читающий Монтеня, а там, Бог его знает, кто еще, приложив руку козырьком к глазам, пристально смотрел мне вслед. У купе Адова я остановился и замолотил по двери костяшками пальцев. Никакого ответа. Я стал бить о дверь носком ботинка. Адов не открывал. Я догадался, почему мне не открывают, но ни на лирику, ни на размышления о лирике у меня не было времени. Я двинул в тамбур, чтобы, не теряя драгоценных минут на промежуточное начальство, добраться прямо до спецвагона, в котором обитал Шнурков.

Меня встретили два амбала в белых воротничках, черных костюмах и галстуках, будто только что с похорон.

— Вы куда?

— К Шнуркову!!

— А вам известно, который сейчас час?

— Именно поэтому я здесь!! Мне срочно!!

— Вам назначено?

— Мне назначено! Мне назначено! Именно мне и назначено, больше некому!!

Меня огорчила их недружелюбная реакция.

— Никаких распоряжений на этот счет не имеется.

Говорили ли они оба вместе, или каждый по отдельности, или один говорил, а второй молчал, я не мог бы утверждать. Они как-то плясали у меня перед глазами, выбрасывая коленца, что было нелепо, учитывая похороны.

Отрезанная голова профессора Доуэля склонилась вбок под тяжестью профиля.

Я обернулся к одному из сословия. На нем лица не было. С утра он надевал лицо, потом оно спускалось, как спускаются брюки, если их не поддержать ремнем, к вечеру оно спустилось по самое не могу.

Како затворишася девственнии очи, от самых пелен ангелы брате навыкоша? Како и не сохранися безсмертна, якоже нетленна по рожестве сохранная бысть?

Мозг выбрасывал коленца, как выбрасывали их шнурковские амбалы.

Я закричал:

— Пустите меня! Я обладаю важной информацией, которой не обладает больше никто!!!..

— Господин Шнурков спит. Он встанет в четыре сорок пять, подойдите к этому времени, может быть, он вас примет, — сохраняя спокойствие, отвечали они оба или кто-то один из них.

— Может, тогда уже некому и не к кому будет подойти!!! — разразился я истерическим воплем.

Амбалы переглянулись. Левый отошел чуть в сторону и что-то тихо проговорил в переговорное устройство, которое он ниоткуда не доставал, а просто что-то сказал в воздух. Из воздуха ему что-то ответили непосредственно в ухо, потому что через пару секунд из воздуха же образовалось нечто вроде китаезы. Значит, китаец, и впрямь, существовал.

— Мне нужно срочно видеть вашего шефа! — сказал я ему по-английски.

— Моего шефа? — переспросил китаец по-китайски. — Но его здесь нет.

С ответом по-китайски у меня в столь поздний, к тому же, столь нетривиальный час возникли проблемы. Пришлось перейти на русский.

— Что его здесь нет, я вижу!! — с досадой воскликнул я. — Мне нужно туда, где он есть!!..

— Туда — это очень далеко. Его нет в этом поезде. — В темных, таких же непроницаемых, как у Шнуркова, глазах китайца пробежала тень чего-то, напоминающего превосходство.

— Ну пусть Шнурков не ваш шеф, пусть ваш шеф за Великой китайской стеной, но вы консультируете Шнуркова, и продолжайте, ради Бога, я не собираюсь с вами конку... кокну... конкуировать... но теперь ему срочно необходима моя, моя консультация!!. — в отчаянии прокричал я.

— Что вы хотите ему сказать, скажите мне, — вежливо и тихо приказал китаец.

— Я должен сказать ему...

Мне удалось произнести это так же вежливо и тихо, поскольку, видя, что криком не возьмешь, я попытался переменить тактику. Но дальше четырех слов дело не двинулось. Я все еще надеялся, что мне удастся пробить вражескую оборону.

— К нему нельзя, — мягко сказал китаец.

— Он с женщиной? — понимающе спросил я.

— Он с мужчиной, — ответил китаец.

— Как!! Как вы не понимаете?! Вы не понимаете, что на железнодорожном мосту бомба!!! — заорал я изо всей мочи. — Она рванет с минуты на минуту!! Как только наш поезд въедет на мост, его разнесет на куски!!!

— Кто вам это сказал? — Китаец не дрогнул ни единым мускулом.

У меня не оставалось выбора.

— Маленькая белая собачонка!!! — выкрикнул я.

— Белая собачонка? — поднял вверх соболиные брови китаец.

— Ну да!.. Маленькая... белая... я!.. я сам был эта собачонка!!!.. я своими глазами видел, как они подкладывали бомбу... там была еще стая собак... и маленькая... маленькая белая собачка!.. вы же знаете, что я менеджер по катастрофам!.. и у меня есть одно странное свойство...

Едва я выговорил эти слова, как понял, что все пропало. Мне не следовало этого делать ни при каких обстоятельствах. Они примут, они уже приняли меня за сумасшедшего, и мне ни за что и ни в чем их не переубедить.

Я сделал последнюю попытку перехитрить их. Я быстро присел на корточки и встал на четвереньки, чтобы проскользнуть у них между ног. Не у них, у него, у одного китайца, который загораживал мне проход, в то время как амбалы деликатно отступили в сторону.

Их реакция была мгновенной. Они схватили меня железными клещами, как портальный кран хватает нужный ему объект с земли и поднимает в воздух. Только кран делает это медленно, а они подняли меня в воздух молниеносно.

— Быстро, укол! — сказал китаец, протягивая руку ладонью вверх.

Тотчас в нее опустился шприц, поданный правым амбалом.

Последнее, что я помню, оскал китайца и обрывок фразы:

— Маленькая белая собачка... маленькая белая горячка...

Я был фантом, фикция, функция... осколок зеркала, поставленный под углом... чтобы здесь и сейчас... вкривь и вкось... *господин средней руки*... кризисный менеджер по делам никогда не кончающегося кризиса...

Я не узна́ю.

Куда несешься ты?

Дай ответ.

Я не узнаю, кто погибнет, а кто выживет в этой страшной катастрофе.

Мертвые души и живые трупы перемешаются в земляных днях предстоящего.

Доктор Джонсон, когда услышит, скажет: не надо было ему садиться в *Русский вагон,* предупреждал ведь, что там у него крышу может сорвать.

МАТЧАСТЬ

* * *

Чей хлеб я ела —
В корень подъедала,
Кому надоедала —
И надоела,
Чью душу тырила, чью жизнь крала, —
Помилуйте, — что, право, за дела!
Не так и много я у вас брала!
Так в плен берут мюриды газавата,
Так скальп врага снимает Гайавата,
Так серб взимает родину хорвата, —
Благодарите, что скромна была!

* * *

Если смерть — панацея от скрипа дивана,
То пускай не нирвана, но все без обмана.

Гильотина от насморка, слово от дела...
Мать ученья, матчасть — повторять надоело,

А по новой учить — несварение мозга
Получить, пока в бочке не вымокла розга.

И не вычислить ни за какие коврижки,
Кто гуляет в шиншилловом скромном пальтишке —

Возглавляет она комитет колымажный,
Или зам по развитию шкуры продажной,

Марина КУДИМОВА — родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Поэтические подборки, эссеистика, литературно-критические статьи публиковались в центральной периодике, в том числе и в журнале «Континент», автор пяти стихотворных сборников. Живет в Москве.

Или пресс-секретутка развесистой сети,
Или просто овца... Разберутся и дети,

Что к чему и какая летит иномарка,
И какого нам ждать к именинам подарка.

Это знал и ее непосредственный грумер,
Только вот поскрипел-поскрипел, да и умер...

Я одна ни мур-мур, ни тум-тум в этом рынке,
Ни синь пороха, ни опиатной росинки...

* * *

За злоехидные скрипты
И за медийный яд
Пойдем на вы, пойдем на ты,
А далее — Царьград.
А там — Кувейт, а там — Китай,
Где миллиард с лихвой.
Но, сколько шапку ни кидай,
Ответишь головой.

Какая жесть, какая честь —
Филологическая месть
За этот мат,
За банкомат,
За этот чат,
Где все кончат.

Кто против нас не воевал —
Тем в рот рахат-лукум!
Мы будем говорить: «Цхинвал»,
Писать: «Батум», «Сухум».

* * *

По опросам, среди трендов модных
Впереди железный купорос.
Не стреляют — и на летний отдых
Здесь царит ажиотажный спрос.

Двушка здесь дешевле, чем однушка,
Мэр здесь — душка и в чести порнушка, —
Жалко, в щелку не видать ни зги.
А на тему, будет ли войнушка,
Даже и помыслить не моги,

И не смей об этом заикаться
На малопонятном языке.
Пусть жестковолосый камикадзе
Пьет свое последнее сакэ.

* * *

Лишь судьи остались да зрители —
Букмекеры или фанаты.
Все ясно: сменились носители,
Назрели другие форматы.

А форвард — он, как виноградину,
Раскатывал мяч, не грубя,
И всаживал под перекладину
В падении через себя.

* * *

Никогда не ведаю часа-пояса,
Даже малой разницы не ухватываю,
В закромах копаясь, в спудах рояся, —
Полседьмое или, там, полдевятое.

До темнадцати меньше, чем до светладцати, —
Вот и все, что можно понять, пожалуй,
Пред лицом сумятицы, циферблатицы.
Ноги свесить: «Время, где твое жало?»

Если стрелки есть, значит, есть и стрелочник,
Мозаичник, плиточник и отделочник.
Если зелень прыгает электронная,
В этом что-нибудь надо искать резонное:

Оставаться с таком, кривиться тиками,
Расспросив о роли судьбу-вампуку,
Допытав ее, под какими никами
Здесь плагины грузят — любовь, разлуку, —

Чем отлично рыбье от старческого дыхание,
Или Млечный путь от пути дыхательного,
Или массовое сознание
От коллективного бессознательного.

Рождение

Адриану

Мне шесть утра. Пришла пора
Покинуть первозданный морок,
Где нет сегодня и вчера.
Мне шесть пятнадцать... тридцать... сорок.

Мне неповадно, валко, шатко...
Мир безнадежно переврет,
Какая боль, какая *схватка*
Сопровождала мой черед.

Все ближе свет, проход все уже,
Все неустойчивей штатив.
О том, что ждет меня снаружи,
Я не имею директив.

Но добытийные виденья,
В залог схороненные мной
На самом дне, *на дне рожденья,* —
Не отберут на проходной.

* * *

Возникай, циркулярная мука,
Начинай потихонечку петь.
На игле твоего ультразвука
Я готова сидеть и корпеть.

Без подсчета расчесов, зализов
Дам насытиться как на убой.
Принимаю твой зуммерный вызов,
Отвечаю бессонной борьбой.

В ложе тьмы, как в глубокой галоше,
Будто в жмурках — наощупь искать,
Или хлопать и хлопать в ладоши —
Летной выучке рукоплескать.

Становись беззаконней, безвестней,
Невесомей, паря надо мной,
О, любовь — комариная песня,
Зыбкий зов серенады ночной!

* * *

На даче спят...
Пастернак

И маркиз там де Сад,
И аббат там Прево,
Когда в доме все спят
Или нет никого.

А бывает и так,
Что полслова всего —
И — довременный мрак,
В мире нет никого.

А когда времена
Обступают сполна,
Вот тогда ты одна.
Супергетеродна.

* * *

Эпоха здорового образа жизни —
Упал на Кубани, отжался на Жиздре.

Эпоха штрих-кода, кредита и гона
О подвигах с-пальчика и бибигона.

Пейзаж одноразовый прячет природа
От проводов трупа и трубопровода,

Скрывает вампир отпечатки укуса,
Таит кокаин безоглядная туса,

Хоронит жена дивиденды от мужа,
А все остальное — наружу, наружу:

Грошовый тариф, краткосрочная ссуда,
Партийное дзюдо отсюда досюда,

Лазанья, ботвинья, вершки и коренья,
И бумер, и баррель, и индекс паденья.

Жестокая пьянка, сквозная проблевка,
И евро, и доллар, и снова Рублевка.

Онлайн и оффтоп — внутривенно, подкожно,
И можно значительно больше, чем можно:

Погуглить вопрос, почитать Мураками
И, век отмотав, помереть дураками —

В плохом изложенье, в чужом переводе...
Не зря побирушка молчит в переходе.

Она провела переходный период
Достойно, но завтра оформят ей привод

И задним числом завизируют реверс
За бессветофорную пробку на север.

На что в этот раз уповать побирушке?
На то ли, что близок износ крупорушки,

На то ль, что в хрустальнейшее из утр
Сломается этот безумный компьютер,

Сотрет адреса, искривит аватары,
И возобновится прием стеклотары...

* * *

Хочешь знать обо мне еще больше? Изволь!
Я живу, как в открытом окне.
Проверяется имя мое и пароль
На сиреневом влажном огне.
На такой глубине совершается боль,
Что наружу выходят лишь камень да соль,
Лишь безмолвие рвется вовне,
Создавая отскок, рикошет, карамболь...
Что еще хочешь знать обо мне?

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОСТОЛЮДИНА

* * *

Я на самого себя похож
становлюсь все больше с каждым годом,
зеркалу не верю ни на грош,
будто из красавца стал уродом.

Словно из-под вечной мерзлоты
проступили скальные породы,
наконец-то я обрел черты
не подвластные влиянью моды.

Сделать ничего с моим лицом
не сумеет инструмент хирурга,
токарь многоопытный — резцом,
острой финкой — кровожадный урка.

* * *

Сорока проявляет интерес
к бессмертному роману Льва Толстого.
Война и мир для птицы — темный лес,
она не ощущает силы слова.

Она клюет и топчет переплет.
Нещадно рвет страницу за страницей.
Так и останется неграмотной, умрет
в конце концов тупой и злобной птицей.

Владимир САЛИМОН — родился в Москве в 1952 г. Окончил Педагогический институт. Автор четырнадцати поэтических книг, в том числе: «Уличное братство» (1989), «Невеселое солнце» (1994), «Красная Москва» (1996), «Бегущие от грозы» (2001), «Возвращение на землю» (2002), «Опрокинутое небо» (2004), книги избранных стихотворений «Раз и навсегда» (2003), «Счастливым происшествиям свидетель» (2006). Живет в Москве.

* * *

Друг от друга в близости опасной
находиться вынуждены люди.
Ночь в вагоне поезда ужасной
кажется лежащему в простуде.

У него растет температура,
и плывут круги перед глазами.
Сник совсем, умолк, глядит понуро.
Вряд ли он доедет до Казани.

До Москвы, быть может, и доедет
поутру, согласно расписанью,
впавши в забытье, он не заметит
пропасть меж Москвою и Казанью.

* * *

Сад веки поутру поднять не может.
Но явится садовник в ранний час
и прожитые годы подытожит,
едва-едва прищурив левый глаз.
Я не забуду злобного прищура,
ухмылки хитрой на его лице,
и вслед ему смотреть я буду хмуро,
в неярком свете стоя на крыльце.
Назавтра запоют зазывно пилы
и топоры задорно застучат,
и встанут пионеры из могилы,
чтоб возродить для новой жизни сад.

* * *

Грусть-тоска меня одолевает.
Грай вороний, как собачий лай,
тягостные мысли навевает
про святую Русь, про отчий край.

Против кучки певчих птиц вороны
численный имеют перевес.
В их рядах, должно быть, миллионы.
Что без них сегодня русский лес!

* * *

Нужно обладать чутьем собачьим
или некий знать секрет.
Или мы не там с тобой рыбачим,
или в речке рыбы нет.

Посмотри, в траве густой, зеленой
извивается змея
так, как будто провод оголенный.
В руки брать ее нельзя.

* * *

Лето кончилось, но было весело
человеку в Тулу по дороге,
радость от поездки перевесила
все его печали и тревоги.
За окном сквозь елки придорожные
виделась обширная равнина,
здания какие-то роскошные,
с точки зрения простолюдина.
И пока болтали мы с приятелем,
одного из этих зданий чудных
он себя представил обитателем
средь девиц роскошных и распутных.

* * *

Свет неяркий, как от ночника
или от фонарика карманного,
оказался светом маяка.
Много в мире чудного и странного.

С этой мыслью я б закрыл глаза
и заснул бы тотчас обязательно,
если бы в глаза мне стрекоза
не взглянула чересчур внимательно.

Начала кружить под потолком,
не нашедши выхода запасного,
в первый раз столкнувшись с пауком
вида совершенно безобразного.

* * *

От меня сегодня на рассвете
не получит угощенья птица.
Возвратясь из школы, станут дети
понапрасну в двери колотиться.
Днем с огнем меня найти не сможет
мой товарищ, поднявшись с дивана,
к трубке телефонной он приложит
ухо голубое, как сметана.
Если б дождь идти мог долго-долго,
ветер неожиданно подняться,
в волосах твоих я, как иголка
в стоге сена, мог бы затеряться.

* * *

Последует немая сцена
в том смысле, что умолкнет гром,
и вздуется на шее вена
каким-то дьявольским бугром.

Поскольку остановка сердца
отнюдь не выдумка врачей,
должна, должна быть где-то дверца
и в небо лесенка за ней.

* * *

В конечном счете листья пожелтели.
И стало жалко мне моих приятелей
тех, у которых перья заржавели,
разнообразных премий соискателей.
Мне стало за товарищей обидно,
которые не вышли в победители,
мне почему-то стало очень стыдно,
что даром цацкались со мной родители.
Я подбородком в край стола уперся
и осторожно, словно бы играючи,
щекой о груди девичьи потерся
нежнейшие, как будто уши заячьи.

* * *

Лягушки замертво попадали,
когда увидели кота.
Мы вилки и ножи попрятали,
должно быть, тоже неспроста.
Кот появился неожиданно,
как в электричке инвалид.
Осталась книга не прочитана,
и чай в стакане не допит.
Услышав стоны приглушенные,
я молча отодвинул стул,
коту, в глаза его зеленые,
беды не чуя, заглянул.

* * *

Как на соседней улице рабочие
копают яму, я смотреть не стану,
всегда найдутся лечь в нее охочие,
кто просто так, кто сдуру или спьяну.

Спокойствие, с которым режет курицу
советской средней школы выпускница,
нас заставляет неизменно хмуриться,
печалиться, кручиниться, сердиться.

По осени, когда ложатся сумерки,
на низенькой скамейке возле дома
сидим в раздумье умницы и умники,
а в головах у нас шуршит солома.

* * *

Недостатки неискоренимые
скрыли мы от посторонних глаз,
неспроста леса непроходимые
тесным кругом обступили нас.
В тоненькой сорочке баба сонная
на крыльцо выходит по ледку,
будто бы жена моя законная,
без которой жить я не могу.

РЕКВИЕМ ПО СТЕНЕ

К двадцатилетию падения Берлинской стены

Материалы юбилейной конференции Горбачев-форума

Двадцать лет назад рухнула Берлинская стена — событие, физически маркировавшее Слом Эпохи. В конце прошлого года в местечке Боско ди Маренго на севере Италии (ухо читателя уловит в этом имени эхо наполеоновской битвы при Маренго, но это будет случайная ассоциация) Форум Новой Политики, основанный Горбачевым (в просторечии Горбачев–форум), организовал дискуссию, посвященную метафизическим и метаполитическим последствиям этого события. По просьбе редакции «Континента» я подготовил подборку сокращенных стенограмм ряда выступлений на этой конференции, дающих, мне кажется, достаточно ясное представление о ее характере и проблематике. Я позволю себе, однако, предварить этот групповой анализ чем-то вроде тире на могиле Стены — журналистской реконструкцией двух мгновений — дня ее рождения (да простит мне Господь это выражение: в действительности операция проходила ночью и была чем-то средним между кесаревым сечением и абортом) и дня ее смерти — одного из самых радостных и многообещающих событий в истории XX века.*

Александр Пумпянский

---

* Форум Новой Политики — первоначально Форум Мировой Политики — международная неправительственная организация для анализа глубоких перемен, происшедших на мировой арене после окончания холодной войны. Создан в мае 2003 года на учредительной конференции в Турине (Италия) по инициативе М. С. Горбачева. В число членов-основателей вошли такие известные политические фигуры, как Джулио Андреотти и Франческо Коссига (бывшие премьер-министр и президент Италии), Беназир Бхутто (ныне покойная премьер-министр Пакистана), Фернандо Кардозо (бывший Президент Бразилии), Жак Делор и Мишель Рокар (Франция), Гельмут Коль и Ганс-Дитрих Геншер (Германия), Бутрос Гали (бывший Генсек ООН), Войцех Ярузельский и Тадеуш Мазовецкий (Польша), Тосики Кайфу (бывший премьер-министр Японии), Шимон Перес (Израиль), Марио Соареш (Португалия), Георгий Парванов (Болгария) и др. За несколько лет своего существования Форум превратился в авторитетный международный центр дискуссий и экспертных исследований по наиболее актуальным темам международной повестки дня. Среди наиболее заметных международных мероприятий, проведенных им как на «основной сцене» в Пьемонте, так и в других странах, конференции по темам: «Новый международный беспорядок», «Бедность в мире — вызов международной стабильности», «Контуры новой мировой политической архитектуры» и ряд других. В 2009 году Форуму был предоставлен консультативный статус высшей категории «А» для неправительственных организаций при ООН.

Как вырастают стены? По-разному и одинаково... Великую китайскую стену строили две тысячи лет. Берлинскую возвели за одну ночь.

Ровно в полночь в воскресенье 13 августа 1961 года армия и полиция ГДР приступили к сверхсекретной операции, которая замышлялась давно. Задача была грандиозная и по-своему новаторская — укутать в колючую проволоку целый город, вернее, три четверти города, что технологически еще сложней. Сильно разрушенный в мае 1945 года и поделенный, как и вся поверженная Германия, на четыре оккупационные зоны — советскую, американскую, британскую и французскую, Берлин был, однако, единым организмом. Улицы, не считаясь с режимами патрулирования, переходили из одной части в другую. Электропоезда S-Bann и U-Bann, как иголка с ниткой, прошивали город от окраины до окраины со всех направлений, сходясь в центре у Бранденбургских ворот. Представьте себе жертву катастрофы, у которой от удара разорваны все ткани. Хирургу предстоит тончайшая работа: соединить все ткани, сшить все разорванные артерии и вены. Точно такая работа предстояла армии и полиции ГДР, только с точностью до наоборот: нужно было разорвать все артерии и вены, прервать все до единого кровотоки, чтобы ни одна кровинка не могла попасть с запада на восток и с востока на запад.

Длина Китайской стены – 6700 км. Берлинская стена не так велика. 43 км — это собственно линия раздела Восточного и Западного Берлина, и еще 156 — пограничная линия, отделяющая Западный Берлин от территории ГДР... «Долгую стену в 10 000 ли», как она официально называлась в Поднебесной, лепили из глины и камня, пока в славную эпоху династии Минь не изобрели кирпич, и дело пошло более споро. Берлинскую стену сначала развернули из колючей проволоки, предварительно разрыв улицы, чтобы сделать их непроезжими. Лихорадочная работа шла два дня. Но уже 15 августа, чуть отступив в глубь собственной территории, чтобы не нарушать Потсдамских соглашений, приступили к возведению из бетонных блоков собственно Стены. При этом самой важной частью строительного пейзажа была охрана, солдатам был отдан приказ стрелять в каждого, кто попытается пересечь черту. В дальнейшем эту армированную конструкцию усилили цепными оградами и минными полями.

Так завершился первый этап возведения Берлинской стены. Это был шедевр заборного творчества. Цветущий капиталистический город — витрина свободного мира — был запечатан внутри вооруженного до зубов советско-социалистического полицейского государства.

Однако щели остались.

Второй этап начался в июне 1962 года. Отступив от изначального сооружения вглубь на расстояние до 90 м, приступили уже основательно к возведению параллельной стены. Дома, что оказались между двумя стенами, подлежали сносу. Жильцов переселили без разговоров. Так образовалось пустое пространство — ничейная полоса, она же «полоса смерти». Ее засыпали гравием, на котором отпечатывались все следы, и

оснастили минами-ловушками. Но главное — это было открытое, хорошо просматриваемое и простреливаемое пространство.

Впрочем, этого тоже оказалось недостаточно.

Всего в строительстве Берлинской стены было четыре этапа.

1. Забор из колючей проволоки вырос в 1961 году.

2. Доводка и совершенствование забора из колючей проволоки продолжались с 1962-го по 1965 год.

3. Возведение бетонной стены заняло следующие десять лет (1965 — 1975 годы).

4. Над созданием завершающей стадии — Стены четвертого поколения, получившей официальное название *Grenzmauer 75* (Пограничная Стена-75), — трудились еще пятилетку — с 1975 по 1980 годы.

Неутомимые строители ни на шаг не отставали от прогресса. Стену четвертого поколения собрали из 45 000 железобетонных секций, каждая высотой 3,6 м, шириной 1,2 м. Добавьте к этому траншеи, системы сигнализации, ловушки, колючую проволоку, собак на поводках, 116 вышек и 20 бункеров... Не забудьте расставить танки на ключевых позициях, и образ Стены станет более полным.

В фундамент Великой китайской стены уложили три миллиона жизней. Ее охраняли до миллиона человек. Все для того, чтобы защитить империю от набегов племен с севера... Берлинскую стену именовали не иначе как Антифашистским защитным валом, который должен был остановить агрессию с Запада. Более частное объяснение заключалось в необходимости поставить преграду деятельности западных агентов в Восточной Европе. На закуску следовало экономическое объяснение: нельзя мириться с тем, как западноберлинцы скупают дешевые продукты в Восточном Берлине. Некоторая логическая нестыковка не смущала гэдээровских пропагандистов. Дело в том, что жители Западного Берлина все-таки могли попасть в Восточный Берлин. Это жители Восточного Берлина не могли попасть в Берлин Западный. Вот это и было реальной задачей Стены: держать в застенке своих, остановить исход жителей ГДР на Запад.

В 1961 году накануне операции по огораживанию города на Запад уходили ежедневно полторы тысячи немцев. Это было спонтанное и очень наглядное «голосование ногами». Такими темпами первому в истории государству рабочих на немецкой земле грозило остаться без граждан и, в первую очередь, без рабочей силы.

Единственной категорией, которой после возведения Стены разрешался выход на Запад, были старики. Не беда, если они не возвращались. Сбрасывать «социальный балласт» на плечи «классового противника» полагалось рациональной политикой.

Стена разделила семьи, у многих отняла заработок. Что с того? Главное было лишить подданных свободы передвижения и в конечном счете свободы выбора. Цитаты из официальной брошюры 1955 года, предназначенной доверенным лицам — агитаторам, замечательны своей выразительной стилистикой.

«Как с точки зрения морали, так и с позиции интересов всей германской нации, покинуть ГДР — акт политической и моральной продажности...

Разве это не акт политической продажности, когда граждане, будь то молодежь, рабочие или представители интеллигенции, покидают и предают все то, что наш народ создал общим трудом в нашей республике, чтобы предложить себя американской или британской разведкам или работать на западногерманских фабрикантов, юнкеров или милитаристов? Разве решение оставить землю прогресса ради болота исторически отсталой социальной системы не демонстрирует политическую отсталость и слепоту?

Рабочие по всей Германии потребуют наказания тем, кто сегодня покидают Германскую Демократическую Республику, мощный бастион борьбы за мир, чтобы пойти в услужение смертельному врагу немецкого народа, империалистам и милитаристам».

Так агитировали агитаторов. Взвинченность запредельная, градус патетического вранья потусторонний. От такого мы уже, пожалуй, отвыкли. Хотя с некоторых пор пропагандистские призраки возвращаются. О чем бы это говорило?

Непроницаемая для смысла стена из слов действенна только тогда, когда ее подкрепляет Стена из бетона.

Режим ничего не жалел, чтобы сделать ее неприступной. Тщетно. История преодоления Берлинской стены — фантастическая сага. Пять тысяч раз это восточногерманское чудо-юдо терпело поражение от людей неукротимого духа. Смельчаки брали ее в лоб — разогнавшись на гоночном автомобиле. Одолевали по воздуху — на самодельном воздушном шаре. Совершив подкоп, вылезали из-под земли... Но и месть Стены была страшна. Свобода стоит смерти — другого прейскуранта она не знала.

Хроникеры Берлинской стены расходятся. Одни называют число ее жертв — 136. Другие говорят о цифре, превышающей 200.

18-летнего Петера Фехтера подстрелили на «полосе смерти». С той стороны, куда он стремился, его не могли спасти — это бы спровоцировало бойню. С той, откуда бежал, не хотели. Там сочли, что показательная смерть «предателя» будет хорошим уроком. Так он и лежал на «ничейной земле», умирая у всех на глазах, пока не истек кровью.

Последнюю кровавую жертву Стена забрала 6 февраля 1989 года. Имя смельчака Крис Геффрой.

Потом, когда Стена — и режим — рухнут, тех, кто отдавал приказы стрелять, будут судить. А они, еще недавно не знавшие ни капли страха и сомнений, будут жалко оправдываться, утверждая, что приказов не отдавали. Нет-нет, стрельба была (от этого невозможно отвертеться), — но только не на поражение...

На Западе проклинали Стену как порождение тоталитарного зла, но в тех закрытых кабинетах, которые занимаются реальной политикой, ее вынуждены были принять. Правительство США проинформировало советское правительство, что оно признает Стену как «факт международной жизни» и что США не будут оспаривать ее военными средствами. В шизофреничес-

кой атмосфере танковой и ракетно-ядерной конфронтации наличие Стены по-своему страховало Западный Берлин от нападения с Востока. Иначе зачем было такой огород городить?!

Что вовсе не избавляло от столкновений. Напротив, где бы не искрить, как не здесь, в этом фокусе интересов, в самой главной и самой видимой точке трения двух систем.

На седьмой день творения Стены 19 августа 1961 года колонна вооруженных сил США из 491 автомашины и трейлера, в которых находились 1500 солдат и офицеров, выдвинулась из ФРГ и направилась в Западный Берлин. Колонну, растянувшуюся на 160 км, напряженными взглядами провожали восточногерманские полицейские, забравшиеся для удобства наблюдения на деревья вдоль шоссе. Однако обошлось без инцидентов, никаких препятствий на пути колонны не случилось. С тех пор каждые три месяца американцы повторяли марш. Это называлось ротацией контингента войск США в Западном Берлине.

Это была очевидная демонстрация. Демонстрация поддержки Западного Берлина, демонстрация американской ответственности за его жителей. Которую очень легко было назвать и провокацией. Но Москва тоже знала правила игры.

Хрестоматийным стал эпизод, когда у Бранденбургских ворот советские и американские танки выстроились в боевых порядках друг напротив друга и так стояли, играя на нервах всего человечества. Игра в «гляделки» продолжалась довольно долго, но потом они развернулись и ушли. Никто не перешел черту.

26 июля 1963 года Джон Кеннеди произнес у Берлинской стены свою знаменитую фразу «Я берлинец», которую потом восторженно цитировали бессчетное число раз. От внимательных слушателей, однако, не укрылось, что и в этой приподнятой речи американский президент поклялся защищать не всех берлинцев и немцев, а только западных. В июне 1987 года с той же точки Рональд Рейган публично призвал советского генерального секретаря «снести эту стену». Прекрасная риторика! В realpolitik, однако, безотказно действовал другой принцип: каждому свое. Зоны влияния нерушимы, будь то хоть трижды тюремные зоны! Чтобы что-то изменилось, мир должен был перевернуться.

Так и случилось. Сначала Стена прохудилась — там, где никто и не ждал. 23 августа 1989 года Венгрия — такой же барак соцлагеря, как и ГДР, но повеселей, — неожиданно открыла свою границу с Австрией, и 13000 восточногерманских туристов, гостивших в Венгрии, немедленно сиганули в открывшееся окошко... «Голосование ногами» против монструазной системы пошло вновь. «Мы хотим вон!» — под этим лозунгом волна антиправительственных демонстраций захлестнула ГДР в октябре 1989 года. Когда этот лозунг сменился на другой: «Мы остаемся здесь!» — вон, в отставку вынужден был уйти бессменный «железный вождь» Эрих Хонеккер. Это произошло 18 октября 1989 года, а 4 ноября на Александр-плац — главной площади Восточного Берлина — собрались уже миллион человек — критическая масса.

Тем временем поток беженцев из ГДР нашел новую дыру — через Чехословакию, и новому «либеральному» коммунистическому правительству ГДР ничего не оставалось, как ослабить режим прохода уже непосредственно на границе ГДР и ФРГ и в Берлине. Объявить о послаблениях было поручено срочно отозванному из отпуска министру пропаганды. А тот то ли в спешке что-то перепутал, то ли ситуация вышла уже полностью из-под контроля, но на вопрос, с какого момента вступают в силу новые правила, растерянно ответил: «Насколько я понимаю, немедленно». Десятки тысяч восточноберлинцев, услышав эти слова у своих телевизоров, тотчас заполонили все контрольно-пропускные пункты Стены. Растерянная стража куда-то звонила, ни один телефон, естественно, не отвечал, но такого напора граница уже не могла выдержать, ее пришлось открыть. На той стороне произошло восторженное братание восточных и западных берлинцев. Этот сумасшедший день — 9 ноября 1989 года — вошел в историю как День падения Стены. «Голосование ногами» окончательно победило.

А ведь только в начале этого года Хонеккер объявил, что Стена простоит «еще сто лет». Не тысячу, как Гитлер сулил фашистскому рейху, который просуществовал 13 лет, хотя преступлений совершил на весь XX век, а только сто. Чем круче диктатура, тем глубже она мнит себя в вечности. Даже тогда, когда уже включен обратный отсчет.

Стена была больше, чем стена. Она была сестрой — символом — режима. Режим был силен и грозен, покуда стояла Стена. Но и Стена была неприступна, покуда стоял режим. Режим зашатался — из Стены посыпалась труха, и она рухнула. И следом рухнул режим.

Стена была больше чем граница, разделявшая немцев. Задача закрепления плодов послевоенного раздела нуждалась в политическом, юридическом и прежде всего физическом оформлении мирового раскола, и Берлинская стена стала его фирменным знаком. Наступал планетарный ледниковый период холодной войны. Потребовался «железный занавес», длиной и мощью превосходящий Великую китайскую стену: он должен был отгородить от мира коммунистическую империю и утопию. Вензелем и замком глобального «железного занавеса» и была Берлинская стена.

Однако утопия должна быть бескомпромиссна, а империя безжалостна. А к середине 90-х годов коммунистическая система явно не выдерживала груза взятых на себя претензий. В самом ее центре, за незыблемой Кремлевской стеной что-то сломалось, — какие-то хромосомы, наверное, — былая диктатура захромала. Новый вождь с человечьим лицом взыскал неведомых перемен — Перестройки и Гласности, оттепели, гуманистических послаблений. И всё... С этого момента Берлинская стена годилась уже только на снос.

Берлинская стена пала, как Иерихонская. Моментально и под музыку: Леонард Бернстейн, Мстислав Ростропович, «Скорпионы» играли здесь свои оды Свободе и времени перемен... В следующие дни и недели тысячи «дятлов Стены», как их немедленно прозвали, пришли с молотками и «по камушку, по кирпичику» растащили ее на сувениры.

Таким был событийный фон. А теперь пора медитации.

Михаил ГОРБАЧЕВ,
первый Президент СССР

Тема нынешнего форума подсказана историческим календарем: двадцать лет назад рухнула Берлинская стена — один из последних и позорных символов абсурда холодной войны и опасного разделения мира на противостоящие блоки и сферы влияния. Для меня это не только абстрактная годовщина важнейшего политического водораздела, ознаменовавшего *конец политического XX века*, но и глубокий рубеж (рубец), отметивший мою жизнь политика и сына своей страны и этого века.

Мы глядим в это недавнее прошлое уже другими глазами, не только потому, что стали на 20 лет старше (и мудрее?), но и потому что за это время приобрели опыт жизни в доселе неведомом **«мире после холодной войны»**, о котором в конце 80-х могли только строить свои предположения и с которым связывали много надежд и, как выясняется, иллюзий. Каков же хотя бы приблизительно *итог этой уникальной эпохи* и послание, написанное на новой странице всемирной истории человечества, открытой в те годы? Они неоднозначны.

Первая и оптимистическая констатация: **история не кончилась**! Вопреки тому, что провозглашали некоторые, но и на что, в известном смысле, рассчитывали мы — представители моего поколения политиков, которые искренне верили, что с прекращением холодной войны человечество сможет, наконец, забыть об абсурде гонки вооружений, опасных региональных конфликтов и стерильных идеологических споров и *войдет в своего рода Золотой Век* коллективной безопасности, рационального использования материальных ресурсов для преодоления бедности и неравенства и примирения с окружающей средой.

Конечно, достижения неоспоримы. Мы вошли в Новый Век не только с точки зрения летосчисления, но и благодаря восстановленному Единству Мира и мирового исторического процесса, единой Глобальной Экономике и планетарным средствам коммуникации, передвижения и общения. Освободившийся от искусственных барьеров, стен и ограничителей, мир вернулся к процессу *естественного развития,* что дало мощный толчок давно созревшему потенциалу его Глобализации. (Это отнюдь не означает установления в нем глобальной гармонии.)

Еще один важнейший итог обрушения завалов холодной войны — осознание миллионами одного из главных постулатов Нового Мышления — **взаимозависимости** важнейших аспектов существования и развития человечества. Не только с точки зрения связанности процессов и событий, происходящих на разных континентах, но и органической увязки экономических, технологических, социальных, экологических, демографических, культурных и иных изменений в единый узел многомерного *комплекса Человеческого Бытия*, определяющего условия ежедневного существования миллиардов жителей нашей планеты. *Человечество стало по-настоящему превращаться в единую цивилизацию.*

Однако обрушенная Стена, устранение «железного занавеса», других барьеров и границ неожиданно для многих свело в объединенном мире не только страны, еще недавно представлявшие разные политические системы, но и разные цивилизации, культуры и традиции, вызвало необходимость *синхронизировать историческое время* для тех, кто фактически жил в разных эпохах и на разных ступенях внутреннего развития. Отсюда и **повышенная роль и ответственность Политики** и политиков как выразителей всего многообразия человеческих интересов, регуляторов и «поисковиков» оптимальных решений, компромиссов и способов урегулирования и предотвращения конфликтов.

Как внезапное открытие шлюзов громадной плотины это стало большим *испытанием и для общественного сознания, и для политических элит*, которые привыкли до сих пор существовать и действовать в комфортной тени искусственных границ и под их прикрытием. В своем большинстве они оказались к этому не готовы. Вот почему наряду с констатацией неоспоримого прогресса на пути объединения и «взросления» человечества мы должны честно сказать о *выявившихся проблемах, развеянных иллюзиях и упущенных шансах.* Их список, увы, не менее внушителен.

Конечно, мы можем гордиться тем, что опасность нового (термоядерного) мирового конфликта устранена! Однако для многих миллионов людей, живущих в самых разных регионах земного шара, **мир не стал безопаснее**. Не только многочисленные локальные конфликты, этнические и религиозные войны, как сыпь, выступили на новой карте мировой политики, унося многочисленные жертвы. Высшим свидетельством иррациональности и безответственности новых поколений политиков стало то, что военные расходы и бюджеты как больших, так и малых стран взлетели выше уровня эпохи холодной войны, а силовые методы вновь становятся общепринятым способом разрешения конфликтов и банальным аспектом новых международных отношений.

Наш мир бесспорно **не стал справедливее**! Из-за сохраняющегося и даже усугубляющегося разрыва между бедностью и богатством не только между благополучным Севером и развивающимся Югом, но и внутри уже развитых стран. И с этой точки зрения социальные проблемы в моей стране России, как и в ряде других посткоммунистических стран, — свидетельство того, что просто отвергнуть обанкротившуюся модель административно-командной экономики и бюрократического планирования — недостаточно. Ни для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность страны в условиях открытой мировой экономики, ни для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости и поддержания достойного жизненного уровня населения.

За прошедшие 20 лет наша планета **не стала более надежным и безопасным домом для ее обитателей.** Предостережения основателей Римского клуба, сформулированные еще 40 лет назад, остались проигнорированы. Обозначенные ими пределы роста и разумные рамки промышленного про-

изводства и потребления естественных ресурсов переходят за красную черту, демографические диспропорции и миграционные потоки порождают политические и социальные конфликты, источники энергии истощаются и превращаются в очаги войн, а питьевая вода уже сегодня превращается в предмет роскоши, недоступный для миллионов обездоленных.

К проигнорированным прежним вызовам добавляются новые, которых не знала политика эпохи холодной войны. Среди них — **терроризм**, который в условиях, когда мировая война перестала быть реальной угрозой как средством сдерживания конфликтов между «сильными», превратился в «атомную бомбу слабых» уже не только в переносном, но, может быть, и в буквальном смысле. Бесконтрольное распространение средств массового уничтожения, их возможный выход в космос, состязание на новом технологическом уровне в производстве вооружений между бывшими противниками в холодной войне и новыми претендентами на роль полюсов влияния в многополярном мире усиливают *ощущение хаоса, который захлестывает мировую политику.*

Прежние регуляторы, начиная с ООН и других международных и региональных структур, рожденных в период холодной войны, оказываются либо бессильны, либо неадекватны в новых условиях, а *оживление национализмов и шовинизмов* различного калибра, особенно заметное в условиях появления на карте мира многочисленных новых государств и оживления сепаратистских движений, создают дополнительные линии напряженности.

У одних это порождает растерянность, апатию и недоверие к политике. У других вызывает ностальгию по прежним «стабильным» временам и тягу к традиционным (и архаичным) методам авторитарного и упрощенного решения сложных проблем, поощряя авторитаризм и популизм политиков. У третьих провоцирует *отчаяние и иррациональный протест*, подпитывая политический экстремизм и терроризм и религиозный фундаментализм и фанатизм.

Дополнительным фактором, который способствует потере общественных ориентиров, утверждению атмосферы политического пессимизма и нигилизма, является *кризис идеологий*, грозящий превратиться в кризис идеалов, ценностей и морали. Можно сказать, что XX век стал веком конфликта и смерти идеологий, особенно тех, в основе которых лежали утопические концепции.

Но прежних идеологов как на Востоке, так и на Западе торопятся сменить новые. Сегодня многие забывают, что падение Берлинской стены стало *не причиной глобальных мировых перемен, а следствием* тех глубинных процессов реформ, которые начались на Востоке, в частности, в Советском Союзе. Именно там после десятилетий большевистского эксперимента и констатации исторического тупика, в который он привел российское общество, родился мощный импульс демократической реформы, которым смогли воспользоваться и страны Восточной Европы.

Но вскоре выяснилось, что и капитализм на Западе, лишившись своего исторического соперника и противника и вообразив себя в роли единолич-

ного правителя мира и воплощения мирового прогресса, рискует привести западные общества и остальной мир в исторический тупик.

Понадобился нынешний мировой экономический кризис для того, чтобы выявить органические пороки существующей западной модели развития, навязываемой остальному миру как единственно возможной, и убедиться, что не только бюрократический социализм, но и *ультралиберальный капитализм нуждается в глубокой демократической реформе и обретении «человеческого лица»*.

Ранее, осознавая эти проблемы, такие яркие умы, как Джон Кеннет Гэлбрайт и Андрей Сахаров, *мечтали о конвергенции* двух соперничавших общественных систем. Шанс для этого (если он и был) оказался упущен. Но тем более нельзя упустить шанс для того, чтобы на основе коллективного пережитого опыта постараться выработать совместную формулу «*глобализации с человеческим лицом*». Если же нынешние попытки поскорее преодолеть последствия глобального кризиса сведутся к поиску вариантов оживления и *спасения прежней и явно обанкротившейся модели общественного развития*, мы рискуем уже в недалеком будущем пережить не просто новый кризис, но подлинную цивилизационную катастрофу.

Сегодня мы все, оказавшись в известном смысле на руинах старого порядка, можем считать себя участниками процесса Творения Нового Мира. Многие казавшиеся бесспорными (как на Востоке, так и на Западе) истины и постулаты перестали быть бесспорными. Среди них: слепая вера во всемогущество и, главное, в демократическую природу рынка. Убеждение в том, что западная модель демократии может быть автоматически (механически) распространена на общества с другим историческим опытом и иными культурными традициями. Даже такое, казалось бы, очевидное, вызывающее консенсус понятие, как *общественный прогресс*, нуждается в нынешних условиях в уточнении и новом определении.

Не будем забывать и еще об одном, может быть, важнейшем вызове, с которым впервые столкнулось все человечество. Мы еще не в полной мере осознали, что, счастливо избежав новой мировой войны между людьми, мы все уже давно участвуем в другой **мировой войне — Человека с Природой**. Давно настало время перейти от логики покорения природы, как говорил выдающийся российский ученый Никита Моисеев, к принципу «коэволюции». («*Сегодня уже нельзя рассматривать независимо развитие Общества и Природы и решать политические и экономические проблемы, игнорируя глубокую взаимосвязанность природных и общественных процессов*».) Такой новый подход требует выработки и распространения норм **новой нравственности**. Это задача для всех: и политиков, и гражданского общества, и бизнеса, и средств массовой информации.

Наберемся же смелости, как говорил один из великих сынов прошлого века Папа Иоанн Павел II. Постараемся обратить драматический опыт прошлого века в строительный материал для нового. И не допустим, чтобы из его развалин были возведены новые стены!

Мерседес БРЕССО,
Президент региона Пьемонт

Падение Берлинской стены поставило нас перед проблемой. Мы всегда знали, где Европа начинается на западе: наши морские границы делают это очевидным. Однако наши восточные границы были изменчивы, и это зависело не столько от факторов географии, сколько от превратностей политического и военного характера. Расширение Евросоюза на страны, бывшие сателлитами бывшего Советского Союза, вызвало огромный энтузиазм, но и ожесточенные споры.

Роль Европы не сводится к успешному примеру интеграции. Она стала как бы формой страховки от многих рисков нашего трудного и опасного мира. Евросоюз продемонстрировал свои возможности в защите гражданских прав и в гарантировании свободы религий, включая свободу от религии, в обеспечении благосостояния как фактора роста, во всестороннем развитии (инфраструктура, информатика, возобновляемые энергии, свобода торговли и т. д.). Те, кто вошел в Евросоюз, должны соответствовать определенным критериям, но зато они могут воспользоваться очевидными дивидендами, и прежде всего это неоценимые достоинства мира и перспектива будущего процветания. Интересно отметить, что во всех опросах, что́ люди считают добавленной стоимостью от вхождения своих стран в ЕС (как бы они ни были при этом критичны по отношению к брюссельской бюрократии), величайшим завоеванием Европы они полагают то, что уже более 60 лет на континенте царит мир. Как и то, что расширение Евросоюза достигается исключительно мирными — и никогда военными — средствами.

Фелипе ГОНЗАЛЕС,
бывший премьер-министр Испании

Я помню одну беседу с Дэн Сяопином четверть века назад. Он рассказывал мне о том, что такое его четыре реформы и что должно произойти в Китае через двадцать пять лет. Должен признать, что этот мудрый пожилой человек ошибся, он недооценил грядущие перемены: произошло куда больше того, что он предсказывал.

Прошло двадцать лет с падения Берлинской стены, мы столкнулись с глобальным системным кризисом. Парадокс, однако, заключается в том, что альтернативной системы, куда можно было бы обратить взор в поисках спасения, не существует. Историческая альтернатива исчезла в 1989 году, а альтернативы системе, которые нынче предлагаются, это утопии, самые регрессивные утопии, авантюры, которые не могут дать хороших результатов и в которых уж точно нет никакого обещания будущего. Я мог бы привести некоторые примеры таких регрессивных утопий в Латинской Америке, попыток заново изобрести социализм для XXI века.

Итак, мы испытываем системный кризис и не имеем альтернатив. Коммунизм как система рухнул. Но и капитализм рухнул как система. Нынешний

глобальный финансовый кризис — это кризис нерегулируемых финансовых рынков, которые верили, что они регулируются сами собой — невидимой рукой. Однако этой невидимой руки рынка никогда в действительности не было и не будет. Я, по крайней мере, так думаю. Я верю, что то, что мы имеем, может быть реформировано, но только реформа должна быть глубокой. И плохая новость заключается в том, что нынешний тяжелейший кризис, боюсь, не породит реформ, в которых мы нуждаемся. Судя по первым шагам Большой Двадцатки, не видно, чтобы мы дошли до корневых проблем.

Но есть и хорошая новость, она в том, что последние двадцать лет, несмотря на растущий разрыв в доходах между наиболее процветающей и наиболее обездоленной частями планеты, были для мира лучше, чем предыдущие двадцать лет. Я имею в виду не только Европу. Число людей, обладающих покупательной способностью, во всем мире возросло в невероятном масштабе. Я знаю, что перепады тут гигантские, но Китай и Индия создают второй уровень общества потребления — того самого, которое мы так любим критиковать.

Я никогда не доверял всему, что говорится о конце истории или о неизбежном столкновении цивилизаций, так же как не верил в невидимую руку рынка. Но я знаю, что, защищая рынок, не обойтись без конфликтов. В одной нашей беседе в 90-е годы с президентом Бушем-старшим он сказал, что страны Центральной и Восточной Европы, оставив позади коммунистический статус и Россию, должны научиться жизни в рынке, потому что это единственная дорога, на которой они придут к демократии.

Часть моей жизни пришлась на время диктатуры Франко, и я бы сказал, основываясь на личном жизненном опыте, что не бывает демократии без рынка, но бывает рынок без демократии. Так или иначе, рынок стал общей средой экономического существования. От Китая до Вьетнама, Россия, Дания, Чили — какую модель ни возьми, рынок приняли все. Но когда рынок, и один только рынок, стал доминирующей идеологией, эта идеология, приложенная к финансовой системе, привела к тому, что система лопнула, а с ней и все высоколобые рассуждения насчет саморегулирования рынка. Вот и получается: коль скоро все мы разделяем веру в рынок, мы должны задуматься о том, как мы его организуем. Речь идет о регулировании в целях экономической эффективности и в целях социальной эффективности.

Альберто ИНДЕЛИКАТО,
бывший посол Италии в ГДР

Мы должны констатировать, что дуэль между капитализмом и социализмом (в любой версии), между либеральными демократиями и тоталитарными режимами, некоторые из которых к концу стали авторитарными, между частным предпринимательством и народным хозяйством, — эта дуэль практически во всех случаях закончилась победой первых и поражением последних. В минувшее двадцатилетие мы увидели, как все страны, ранее принадлежавшие к коммунистическому миру, наперегонки устремились к моделям, получившим развитие в Западном мире. У этой гонки были два

забега и две конечные цели: вступление в НАТО и вхождение в Европейское Сообщество, которое трансформировалось в Европейский Союз. Вступая в НАТО, страны надеялись поставить барьер угрозе возможного возвращения России к традиционному гегемонизму. Войдя в ЕС, рассчитывали закрепить свою конверсию в капитализм. Они пытались прибиться к большому берегу в момент трудной трансформации.

Однако их ждало немало разочарований. Они поняли, что их обостренное восприятие отношений с Россией, сформированное событиями 1945 — 1991 годов, не совпадает, если не контрастирует, с реакцией «старых европейцев». Более того, у них часто складывается впечатление, а то и опасение, что, освободившись от диктата Москвы, они оказываются под гегемонией Брюсселя, безусловно, не столь давящей, но тоже обременительной. Их колебания и даже прямая оппозиция конституционной реформе ЕС — очевидный симптом этих страхов. А еще они осознали, что не существует одного типа капитализма. Более того, происходящие повсеместно кризисы порождают страх у одних и надежду у других, что капитализм находится в преддверии краха, на пороге своего окончательного поражения — вроде того, что настигло социализм. Хотя, как показывает практика, до сих пор капитализм не просто пережил все свои кризисы, каждый раз он выходил из них все более сильным. Правда, требуются немалое терпение и крепкие нервы, чего порой не хватает правительствам и в еще большей степени населению.

Вступление в Западный мир не обошлось без проблем и иного рода. Из Польши, Румынии и Болгарии пошла массовая иммиграция в страны Западной Европы. С одной стороны, это симптом того, что публика не верит в способность своих правительств добиться быстрого экономического развития. С другой, утечка мозгов и рук, особенно молодых, затрудняет и замедляет модернизацию этих стран в тот самый момент, когда они больше всего в этом нуждаются. Можно придти к парадоксальному выводу, что ЕС, распахнув двери слишком рано, сам того не желая, затормозил процесс модернизации этих стран.

Государства и народы Центральной и Восточной Европы не чувствуют под ногами той тверди, на которую они рассчитывали, когда еще только стремились стать частью западного сообщества. Они осознают, что их ждет мир, полный трудностей и опасностей. Но, в конце концов, за свободу часто приходится платить потерей былой стабильности.

Эрик ХОБСБАУМ,
историк, член Британской Академии Наук

Короткий XX век был эрой религиозной войны между секулярными идеологиями. Скорее по историческим, чем по логическим причинам доминировало противостояние двух — и только двух — взаимоисключающих типов экономики: «социализма» — этим термином определялись хозяйственные системы советского типа, основанные на центральном планировании, — и «капитализма», который вбирал в себя все остальное. Это очевидное фундаментальное противостояние между системой, которая стремилась уничто-

жить основанное на поиске прибыли частное предпринимательство (то есть рынок), и системой, которая стремилась снять с рынка любые общественные и иные ограничения, никогда не было оправданным. Все современные экономики должны сочетать в себе общественное и частное в той или иной комбинации и пропорции, и так фактически и происходит. Упорные попытки реализовать в самом крайнем виде противоположные логики «капитализма» и «социализма» провалились, причем провалились обе попытки. Основанные на госплане командные экономики советского типа не пережили 1980-х годов. Англо-американский «рыночный фундаментализм», достигший тогда своего апогея, рухнул в 2008 году. XXI веку придется искать более реалистические подходы к своим проблемам.

Как это повлияло на страны, ранее приверженные «социалистической» модели? При социализме госплановские командные системы оказалось невозможно реформировать, хотя практики и экономисты видели их фундаментальные пороки. Эти системы, неконкурентоспособные на международной арене, оставались, однако, жизнеспособны, покуда были изолированы от остальной мировой экономики. Эту изоляцию невозможно было сохранить, и когда от социализма ушли, – будь то из-за краха политических режимов, как в Европе, или по воле самого режима, как это случилось в Китае и Вьетнаме, — эти государства тотчас погрузились в то, что многим казалось единственно возможной альтернативой, — в глобализированный капитализм в доминировавшей тогда единственной форме капитализма свободного рынка.

Немедленные результаты в Европе были катастрофическими. Страны бывшего СССР до сих пор не преодолели этого наследия. К счастью для Китая его капиталистической моделью стал не англо-американский неолиберализм, а куда более дирижистский образец «тигриных экономик» Восточной Азии. Свой экономический «большой прыжок», однако, Китай предпринял без малейшей оглядки на социальные и человеческие последствия.

Этот период сейчас подходит к концу точно так же, как закончилось глобальное торжество экстремального экономического либерализма англо-американского типа. Хотя мы до сих пор не знаем, какие перемены принесет нынешний мировой экономический кризис, самый глубокий со времен кризиса 1930-х годов, когда шоковые последствия последних двух лет будут преодолены. Одно ясно: произошел важнейший сдвиг — от старых северо-атлантических экономик на Юг и, прежде всего, в Восточную Азию.

В этой ситуации бывшие социалистические государства (включая те, что до сих пор управляются компартиями) сталкиваются с очень разными проблемами и перспективами. Я оставляю в стороне разницу в их политическом облике. В большинстве своем эти государства остаются сравнительно слабыми. В Европе некоторые из них тянутся к западноевропейской социально-капиталистической модели, хотя и при куда более низком уровне дохода на душу населения. К странам бывшего СССР и Юго-Восточной Европы это, однако, не относится. Особенно трудное будущее ожидает Юго-

Восточную Европу, более балканизированную, чем когда-либо раньше, познавшую войну, разгул коррупции и преступности. Россия, в какой-то мере оправившаяся от катастрофы 1990-х, сведена к роли сильного, но уязвимого поставщика сырья и энергии. До сих пор ей так и не удалось создать более сбалансированную экономическую базу. Реакция на издержки неолиберальной эры привела к определенному возврату к госкапитализму с откатом к некоторым аспектам советского наследия.

Очевидным образом простая «имитация Запада» уже не выбор. Это особенно наглядно в Китае, который создал свой собственный посткоммунистический капитализм — и так успешно, что будущие историки вполне могут увидеть в Китае истинного спасителя мировой капиталистической экономики в нынешний кризис. Так или иначе, об одной-единственной глобальной форме капитализма или посткапитализма говорить уже не приходится.

Тем не менее формирование завтрашней экономики — не самая важная часть наших забот. Основополагающее различие между экономическими системами лежит не в их структуре, а в их социальных и моральных приоритетах. Я бы выделил две проблемы.

Первая — это та, что конец коммунизма означал неожиданный конец ценностям, привычкам и социальным практикам, по которым жили поколения — не только при коммунистических режимах, но и в докоммунистическом прошлом, что в немалой степени сохранялось при этих режимах. Мы должны признать глубину шока и человеческие жертвы, порожденные этим нежданным-негаданным общественным землетрясением. Даже когда экономические трудности отступают, у всех, кроме тех, кто родился после 1989 года, остается чувство социального крушения и потери ориентиров. Должно пройти несколько десятилетий, прежде чем посткоммунистические общества сформируют стабильный образ жизни в новую эру, а для того, чтобы были искоренены некоторые последствия социальной разрухи, институциональной коррупции и преступности, может быть, потребуются еще бóльшие сроки.

Вторая проблема — это то, что как западный неолиберализм, так и посткоммунистические идеологии, им вдохновленные, намеренно подчинили благосостояние и социальную справедливость тирании ВВП, то есть максимальному и намеренно неравному экономическому росту. Сделав это, они подорвали, а в бывших коммунистических странах разрушили системы социального обеспечения, ценности и цели общественной службы. На такой основе не могут зиждиться ни «капитализм с человеческим лицом» послевоенных десятилетий, ни сколько-нибудь удовлетворительные посткоммунистические системы смешанного типа. Цель экономики — не извлечение прибыли, но благосостояние всех людей, точно так же, как легитимность государству следует искать в народе, а не во власти. Экономический рост — не цель, а средство на пути к хорошим, гуманным и справедливым обществам. Неважно, как мы называем режимы, которые стремятся к этой цели. Важно, как, из каких приоритетов исходя, мы сочетаем общественные и частные элементы в наших смешанных экономиках. Это ключевой политический вопрос XXI века.

Янь МИНЬ ВУ,
вице-председатель Китайского Института стратегии и менеджмента, председатель Шанхайского Центра международных исследований

Двадцать лет после падения Стены — хороший момент для размышлений. Становится ли мир лучше или хуже? Движется ли он назад или вперед?

Три главные перемены в мире, по-моему, таковы.

Первая. Центр тяжести в международных отношениях сдвигается из Атлантики в Тихий океан. Быть может, это самая важная перемена за последние четыре столетия. Что определяет этот сдвиг — подъем Азии? Да, после Второй мировой войны Азия начала подниматься. Первой поднялась Япония. Затем в 60-е к ней присоединились четыре «тигра». В ранние 70-е — другие азиатские страны: Индонезия, Филиппины, Таиланд и Малайзия. В 1978 году мы в Китае начали новую политику, которая получила название «реформа и открытость внешнему миру». В 1991 году свою экономическую реформу начала Индия. Подъем Азии — таков новый тренд, который, как я понимаю, изменит лицо мира в XXI веке.

Вторая перемена заключается в том, что никогда прежде мир не был так един и взаимозависим, как сегодня. Возьмем взаимоотношения между США и Китаем, к примеру. Тридцать лет назад, что бы ни случилось в американской экономике, на Китай это никак не влияло. Ныне все иначе: когда США в беде, мы тоже в беде. И наоборот. В 1971 году, когда я, молодой дипломат в составе китайской делегации на сессии Генассамблеи ООН, впервые приехал в США, в магазинах Нью-Йорка днем с огнем было не найти товаров китайского производства. Сейчас американские друзья сетуют: «Посол Ву, невозможно подобрать вам сувенир: что ни купи, на всем марка "Сделано в Китае"».

Другой важный фактор, стоящий за этим трендом, — это общие вызовы: деградация окружающей среды, терроризм, распространение наркотиков и т. д. Ни одна страна в мире, как бы она ни была могуча, не способна справиться с ними в одиночку.

Третья перемена заключается в том, что мир стоит на пороге трех революций: энергетической, индустриальной и революции в образе жизни.

Что движет эти три революции? Во-первых, то, что целый ряд развивающихся стран находятся на подъеме. Азия, некоторые страны Африки, Латинская Америка... Если сложить население этих стран, получится 3,3 миллиарда человек. Никогда еще в истории человечества не было, чтобы половина населения земного шара испытывала такой подъем.

По-настоящему серьезной становится проблема ресурсов и энергии. Модель развития была изобретена индустриализируемыми странами, и, когда западные страны начали свой подъем, к их услугам были ресурсы всей планеты. Но сегодня, когда 3,3 миллиарда людей пришли в движение, у нас нет таких ресурсов. Второй фактор, стоящий за этими тремя революциями, это меняющийся климат. Накапливается слишком много CO_2, слишком заметен парниковый эффект в атмосфере. Это всеобщая проблема и общий вызов.

Вот так и получается: смена энергии, влекущая за собой новую индустриальную революцию, требует того, чтобы поменялся и наш образ жизни. Тот образ жизни, который мы имеем сегодня, был изобретен Западом, а с 3,3 миллиардами людей на подъеме этот образ жизни невозможно обеспечить, так что нам нужно меняться. Таковы три главные перемены. Мы в Китае их видим.

Марек ХАЛЬТЕР,
французский писатель, рожденный в Варшавском гетто

Вчера, блуждая по сети, я наткнулся на удивительную коллекцию. Это были фото двадцати четырех стен, которые все еще разделяют страны, государства и людей по всему миру, включая Америку, Мексику, Испанию, Ирландию (Белфаст) и Израиль. Помню, как в ноябре 1989 года я услышал в телефонной трубке восторженный голос моего друга Мстислава Ростроповича. Он стоял у Берлинской стены и почти кричал мне: «Стену сносят!». Тот, кто рос в гетто, может только радоваться, когда рушатся стены. Важны, однако, не сами стены, а то, что они отделяют. Можно снести стену, но разделение останется — идеологическое, экономическое, политическое или расовое...

Стены строят тогда, когда начинают бояться. Советы построили Стену, когда они осознали, что их система начинает крушиться... Берлинскую стену я видел лишь однажды, мне показал ее Вилли Брандт. Я собирался написать статью для «Монд». Вилли Брандт усадил меня в машину со словами: «Ты должен увидеть то, во что мы утыкаемся в каждое мгновение. Ты должен почувствовать, что значит ударить по Стене голым кулаком. Это больно». Мы подъехали к Стене, пятеро художников трудились над ее отвратительной личиной.

Знаете, для чего нацисты построили стену вокруг Варшавского гетто? Не для того, чтобы мы не могли выйти наружу: нам было некуда идти. Это было сделано для того, чтобы не-евреи не видели, как мы умираем, чтобы оградить их сознание, чтобы гарантировать, что они не восстанут и не проявят солидарности с нами. Стена — символ разделения, но порой она может и объединять людей. Когда приходит пора снести стену, это делают сообща люди с обеих сторон.

Массимо д'АЛЕМА,
член итальянского парламента, бывший министр иностранных дел

Несколько лет тому назад, беседуя с Михаилом Горбачевым о проблемах посткоммунизма в России, я задал ему вопрос с подковыркой. «Если новые проблемы так велики, может, не стоило разрушать старый мир», — сказал я. Это был глупый неуместный вопрос, но он ответил очень серьезно. Что Стена должна была быть снесена, потому что в ней было отрицание всех наших ценностей, что это был невыносимый груз для всех тех, кто верил в левые ценности. Не может быть никаких сожалений: перемены, которые происходят, доказывают, что падение Стены открыло новую эпоху.

Тем не менее мы должны признать: идея того, что конец биполярного мира и равновесия страха приведет к миру и согласию в мировом масштабе, о чем говорил Горбачев в 1998 году, оказалась великой иллюзией.

Базисно биполярность была формой мирового порядка. После 1989 года мир развивался беспорядочно и число конфликтов выросло. Взорвались бомбы трагических религиозных конфликтов, — будто Средние века вернулись в современность. Чего только стоит война на Балканах! А ведь это — закономерная реакция на глобализацию. Этнические и религиозные группы схватились за оружие, чтобы защитить свое пространство, а это привело к взрыву религиозного фундаментализма — в первую очередь исламского. Однако и христианский мир обнаружил и фундаменталистские течения, и одностороннюю готовность Америки действовать без оглядки на других, и бушевскую неоконсервативную философию, — что, впрочем, было своего рода попытками справиться с мировым беспорядком.

Я не разделял, но понимал идеалистический позыв неоконсерваторов. В полной мере эту политику осуществляла Кондолиза Райс — умная, жесткая, женщина с характером. Ее любимая фраза: «Мы должны действовать». Я помню напряженные беседы с ней. В разгар ливанского конфликта я спросил, почему мы не вмешиваемся, чтобы остановить его. «Рано, — сказала она. — Пусть израильтяне сначала сделают всю грязную работу, уничтожат террористов». Она олицетворяла идею, что мировой порядок стоит на силе, на силе, ведомой сильным идеалом. «Мы хотим утвердить свободу. Вы, левые, слишком склонны к уступкам», — говорила она. Неоконсервативный подход Америки был решительной попыткой преодолеть мировой беспорядок силой, прибегнув к гигантской мощи Америки и отбросив сдержки демократии. В какой-то момент им показалось, что даже НАТО просто путается под ногами. Достаточно было коалиции готовых действовать.

Будем честны, эта попытка — попытка гегемонии, вызванная понятной реакцией на хаос и выразившаяся в военном навязывании западной демократии, — провалилась. Великий поворотный момент наступил с Обамой.

Прежде всего американская мощь будет поставлена на службу идее многостороннего управления миром. Это фундаментальное обстоятельство. Без США никакое многостороннее управление невозможно. Оно может быть эффективным только в том случае, если его движущей силой является экономическая и военно-политическая мощь Америки.

Второй важный момент состоит в следующем. Обама вовсе не отказался от идеала американского первенства, но он сделал очень существенную поправку. Это первенство базируется не столько на жесткой, сколько на мягкой силе Америки, фокусируясь на ценностях прав человека и свободы.

Сезон Обамы принес новые подходы, но я не вижу, чтобы Европа стремилась занять достойное место в мировой политике. Я верю, что, коль скоро мы возвращаемся к первенству дипломатии в международных отношениях, ЕС может сыграть очень заметную роль, однако до сих пор эта роль проявляется весьма слабо. Мы, европейцы, все еще в плену наших страхов и при-

вилегий. Мир за последние двадцать лет пережил драматичную трансформацию, а мы так и не поняли, что по отдельности ни одна страна Европы, за исключением Германии, просто не обладает достаточным весом, чтобы на равных сидеть за столом с великими державами мира.

Нелегко будет построить систему многостороннего управления сегодняшним миром. Но если мы хотим, чтобы она заработала, если мы хотим избежать конфликтов и утвердить права человека, если мы не хотим, чтобы все выродилось в еще одну главу пресловутой realpolitik, мы должны осознать нашу ответственность и найти новые политические инструменты. В этом сценарии точно найдется место для Европы. При одном условии — мы должны сделать качественный бросок к ее политическому единству.

Маршалл ГОЛДМАН,
почетный профессор экономики, Уэлсли Колледж, Гарвард

Старые конфликты, новые стены... Я сказал себе, давай-ка я взгляну на эту тему с позиции Соединенных Штатов, и вот к каким суммарным выводам я пришел. У нас в нашей истории было много врагов, впрочем, врагов хватало у всех. Последовательно нашими врагами была Англия, ныне наш ближайший союзник, Канада, наша соседка, Франция, Испания, Мексика, Германия в Первую и Вторую мировые войны, Япония, Италия во Вторую мировую, СССР, Китай в холодную войну... Надеюсь, я никого не забыл.

Не стану убиваться по этому поводу, но посмотрите, сколь широк этот список. Каждый может в уме проделать ту же работу применительно к своей стране, боюсь, что список будет не менее внушителен.

Вывод, к которому я прихожу, очень прост. Все эти страны на том или ином этапе были нашими врагами, но рано или поздно все они стали нашими союзниками. Но тогда сам собой возникает вопрос: какой смысл иметь врагов? Рано или поздно вы все равно окажетесь вместе... Какой же урок из этого следует? Может быть, такой: ссора с соседом или кем-то еще в порядке вещей, но ведь рано или поздно вы решите свой спор. Так стоит ли тратить время и ресурсы на «добрую ссору»? Это может сослужить какую-то службу кому-то или чему-то, но если рано или поздно вы все равно закончите дружбой, то не лучше ли это сделать рано?!

Может быть, в устах экономиста это звучит наивно, но попробуйте опровергнуть эту логику. Уверяю вас, она очень практична.

Андрей ГРАЧЕВ,
председатель Научного комитета Форума мировой политики

Послесловие к дискуссии, которая едва началась

Политический календарь не совпадает с хронологическим. Можно сказать, что политический конец XX века растянулся почти на двадцать лет. Многие считают, что он начался в конце 80-х с падением Берлинской стены и окон-

чанием холодной войны: именно они символизировали век мирового идеологического и политического раскола на противостоящие системы, блоки и лагеря. Кое-кто на Западе в ту пору воспринял распад Советского Союза как политический финал не только изнурительного XX века, но и своеобразный «Конец Истории».

У них было достаточно аргументов. Победив (в союзе с западными демократиями) нацизм во Второй мировой войне, Советский Союз проиграл послевоенный мир. Восточной Европе, превращенной в часть собственной мировой империи, советский режим не смог предложить ни своего Плана Маршалла, ни тем более примера для подражания. Единственным способом удержания ближайших стратегических союзников под контролем было присутствие советских войск и навязанная с их помощью репрессивная политическая модель.

Неудивительно, что, как только в своей речи в ООН Горбачев, отменив «доктрину Брежнева», провозгласил одним из главных принципов новой советской внешней политики «свободу выбора» народами своих политических систем и подкрепил эту декларацию заявлением об одностороннем выводе советских войск из Восточной Европы, Варшавский договор начал распадаться, а падение Берлинской стены было предрешено.

Но и сам Советский Союз не пережил Перестройки и вступил в стадию терминального кризиса не только из-за неспособности его политического режима реформироваться, но и потому, что составлявшие советскую (и российскую) «внутреннюю империю» нации и народы в свою очередь воспользовались обретенным правом на «свободу выбора» и выбрали для себя «мир за Стеной».

Но История любит шутить. Если сравнить противостояние Востока и Запада в эпоху холодной войны с двумя башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, то можно сказать, что после того, как рухнула Восточная (советская) башня, Западная — в виде обелиска победы — устояла недолго (по историческому времени) и на наших глазах погрузилась в пучину мирового кризиса глобального масштаба, ставшего одновременно свидетельством исчерпанности определенной модели развития экономики и общества, представленной в качестве универсальной.

Мы оказались, словно после политического землетрясения, как бы на «нулевом уровне» — под развалинами не только большинства идеологических схем и стереотипов прошлого века, но и в состоянии «первоначального хаоса» творения. Поэтому можно сказать, что именно сейчас в конце первого десятилетия XXI века наступает его подлинное политическое начало. Это по-своему выигрышная ситуация для размышлений о контурах новой политики. Тем более что нынешний мир в ней нуждается. Поскольку **«мир за Стеной»** — это уже другой, **единый и взаимозависимый мир**. Его черты — современная технология, глобальная экономика, новые средства транспорта и связи (парадоксально, во многом обязанные первым советским спутникам), глобальные последствия экологических проблем и катастроф и то-

тальная угроза, исходившая от атомного оружия и сделавшая невозможным решение военным путем конфликта между Востоком и Западом. Хиросима в 1945 году и Чернобыль в 1986 навсегда останутся его опознавательными знаками.

Разумеется, этот мир не родился 9 ноября 1989 года. Он не ждал исчезновения Берлинской стены, — более того, именно он подготовил ее падение. Общность и взаимозависимость мира складывались вопреки заклинаниям политиков и усилиям пропагандистов. Границы в нем, — даже самые охраняемые — межгосударственные, — все больше становились условными, его разделение на враждебные блоки было все более искусственным и требовало принуждения, страха, культивирования образов врага и взаимного вооружения друг против друга. Главным конфликтом этого мира было не видимое соперничество политических систем, идеологий и военно-промышленных комплексов, а противоречие между миром реальностей и миром политических теней (притом, что драмы и трагедии в этом театре теней разыгрывались всерьез, а их жертвами становились реальные люди).

Парадокс Стены, олицетворявшей этот конфликт, состоял в том, что она отбрасывала тень в обе стороны. И если от ее существования, как и в целом от «железного занавеса», перегораживавшего Европу и мир, страдали миллионы, многих ее наличие устраивало. В комфортной тени Стены уютно чувствовали себя стереотипы и обоюдные комплексы, она защищала покой, и, главное, интересы политиков, стратегов, военно-промышленных лобби и пропагандистов. Неожиданное падение главной Стены XX века поэтому многих застало врасплох, а наличие новых видимых и невидимых стен и барьеров, разделяющих людей и народы в наши дни, показывает, что и в XXI веке политики, да и человечество в целом, не готовы от них освободиться.

Можно, конечно, пожалеть о том, что исторический шанс, предоставленный миру концом холодной войны, не был в полной мере использован. И все же нельзя считать, что двадцать прошедших лет оказались потерянными для выработки политики, соответствующей потребностям нового мира. Ведь материалом для нее, как известно, служат не только прозрения и удачи, но, может быть, в большей степени — поражения и горькие уроки. За последние двадцать лет хватило и того, и другого.

Разные страны и целые континенты по-разному пережили окончание холодной войны и ускорение процессов глобализации. Практически на наших глазах формируются очертания новой карты мира. После дезинтеграции «второго мира» на роль не только экономического, но и политического соперника Запада начинает все активнее выдвигаться бывший «третий». Мы услышали оптимистический голос Азии (прежде всего, Китая), стремительно выходящей на первые роли — сегодня в мировой экономике, а завтра, наверняка, и политике. Вслед за Бразилией и остальная Латинская Америка расстается с прежним статусом части слаборазвитого мира и задворок Северной Америки и пытается сформулировать оригинальную собственную модель экономического и социального развития.

Но у глобализации есть и свои проигравшие. Среди них — Африка, которая чувствует себя отверженной и обделенной плодами глобализации и превращается в поле уже нового соперничества, на этот раз не между ядерными, а между новыми экономическими сверхдержавами. Даже Европа, главная жертва холодной войны и поэтому, казалось бы, однозначно выигравшая от ее окончания, за последние двадцать лет прошла путь от эйфории, вызванной собственным воссоединением, к сомнениям относительно того, может ли она оплатить его экономическую цену, а главное, способны ли «старая» и «новая» Европы, даже объединившись, образовать новый самостоятельный полюс не только экономического, но и политического влияния в глобальном и многополярном мире.

Что же до главных участников исторического конфликта, доминировавшего в послевоенной мировой истории, — США и России, — то и для них его благополучное и мирное разрешение не принесло ни гармонии в их отношения, ни ожидавшегося многими установления нового стабильного мирового порядка. США, восприняв политическую капитуляцию своего основного стратегического соперника как собственный исторический триумф и как мандат на единоличное управление мировыми делами, вынуждены были открыть для себя, что даже исторические победы, одержанные в прошлом веке, имеют относительный политический вес и практическую ценность перед лицом принципиально новой мировой ситуации.

Россия, истолковав как национальную катастрофу и стратегическое поражение свое собственное избавление от последствий рокового исторического выбора, сделанного еще в начале XX века, погрузилась в комплексы «побежденной» державы — антизападные обиды и мечтания о неясном, но желанном реванше. И через двадцать пять лет после ее начала Перестройка многими нынешними российскими лидерами воспринимается как политическая неудача или подрывной антинациональный проект. Ведь Перестройка была задумана и начала реализовываться как проект воссоединения России с мировой историей, примирения с внешним миром и возвращения в статус европейской страны — с плюрализмом мнений, верховенством закона, реальными выборами руководителей, неприкосновенностью человеческой личности, реальной конкуренцией в политике и экономике и отчетностью власти перед обществом.

Что касается нового «мира за Стеной» в целом, то сегодня он находится на расстоянии световых лет от оптимистического видения «нового политического мышления» Горбачева и его единомышленников.

Обещанная стабильность международных отношений не наступила, и наиболее распространенным средством решения старых и новых конфликтов остается сила, — будь то в виде государственного принуждения или террористического насилия. «Дивиденды от мира» так и не перераспределили колоссальные средства из военных бюджетов развитых стран на помощь в развитии отсталым регионам мира или экологические программы, а объем

расходов на оборону и международная торговля оружием уже превышают уровни холодной войны.

Все это, на первый взгляд, подтверждает относительность благотворных исторических перемен, которые в конце прошлого века казались необратимыми. Перечисленные факторы свидетельствуют и об исключительно хрупком, переходном и в силу этого опасном этапе. Речь по сути дела идет об уникальном процессе **синхронизации мирового времени** для народов, принадлежащих к различным культурам, традициям и даже историческим эпохам. Далеко не все они приучены собственной предыдущей историей к культуре терпимости, компромиссам, просто к сожительству с иными цивилизациями, верованиями, обычаями.

В то же время хочется верить, что опыт, в том числе и негативный, накопленный за годы, прошедшие после политического завершения XX века, обогатил новые поколения политиков важными уроками. Среди них и неэффективность силовых решений, и констатация тупиков, в которые ведет экстремизм, и невозможность униформизации пестрого, многополярного мира. Однако многополярность не сводится только к новым формулам компромиссов между новыми центрами экономической (или военной) силы. Реальная многополярность состоит в многокультурности человечества, которому политики должны помочь, во-первых, осознать себя как единое целое, во-вторых, научить пользоваться его новыми возможностями без того, чтобы ставить под угрозу общие интересы стабильности и безопасности или природную и культурную среду человеческого существования.

Подлинно эффективным инструментом назревшей **мировой реформы** может быть только новая политика, основанная на демократической культуре, диалоге, поиске компромисса и общего интереса. Мировому сообществу необходимо вернуть право выбора. Возможность вырабатывать и сравнивать альтернативы. Ибо истинная демократия — это всегда выбор. И именно она может дать нам ключ к выходу из нынешнего тупика.

Вместо новых стратегических альянсов необходимо строить политические и культурные мосты. Наш Форум — один из таких проектов.

Владимир МОЖЕГОВ

ПОЛЗУЩИЙ АНГЕЛ

Архитектоника и эволюция «правой идеи» в постмодерне
(сквозь призму восхождения Александра Дугина)

По небу дьяволы летят,
в канавах ангелы ползут,
и те и эти говорят —
ты нам не враг, ты нам не друг
ни там ни тут.

Группа «Агата Кристи»

Фашист любит зверское, сверхчеловеческое и ангелическое одновременно.

Александр Дугин

Предуведомление

Объемность и многоплановость текста (неизбежные при достаточно въедливом рассмотрении столь неоднозначного предмета как Александр Дугин и его место в современной политической истории России) вынуждают автора предпослать своему труду небольшое вступление, чтобы настроить читателя, прояснить свои позиции и подчеркнуть особо важные мысли.

Осмысливая наше бурное и калейдоскопическое время, автор менее всего склонен делать окончательные выводы, судить и расставлять его (времени) героев по своим местам. Автор почти не имеет собственных политических (да и любых других) убеждений и достаточно скептически относится к чужим. Убеждения (главная функция которых — по мнению автора — убеждать своих носителей в их собственной правоте) делают существование более основательным, уютным и безопасным, но за это отнимают чувствительность к непосредственному восприятию реаль-

---

Владимир МОЖЕГОВ — родился в 1968 г. в Воркуте, окончил Академию кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Публиковал работы на религиозно-философские, культурологические, историософские темы в «Московских новостях», «Литературной газете», «НГ-религиях», в «Русском журнале», журнале «Политический класс», «АПН», обозрении «Радонеж», альманахе «Илья» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Волоколамске.

ности. Не имеющий убеждений ребенок ближе к Небу, нежели убежденный фанатик. Неустоявшиеся убеждения юности делают ее способной на мгновенные прозрения, для которых затвердевшие убеждения зрелости становятся непреодолимой стеной. Поэтому автор повторяет максиму Лао Цзы «*то, что отвердело, то не победит*» и просит читателя не искать стоящей за его размышлениями железной пяты какой бы то ни было идеологии. Сам автор ни в чем слишком сильно не уверен, а его единственное кредо — вера в абсолютный переворот и уникальность Христа и христианства, которых «*мир не может вместить*», — заставляет его тем более настойчиво уклоняться от последних оценок и конечных выводов.

Вместе с тем автору очевидна неслучайность фигуры Александра Дугина в современной истории России (столь же неизбежной, как фигура, допустим, Владимира Ленина в нашей социалистической революции или Адольфа Гитлера в консервативной революции Германии), как и востребованность его мифологических и квазинаучных построений. Типичный постмодернист, дитя революции 68-го, в нашей реальности, возросшей на руинах модернистских утопий, Дугин смотрится модно и современно, в то время как известные либерально-демократические доктрины, берущие начало в истоках модерна, выглядят безнадежно устаревшими. В то время как либералы лишь повторяют зады западных идей, находящихся в очевидном кризисе, Дугин творит новый миф и новую утопию, эффектные и легко усваиваемые массами. Потому автор не склонен микшировать ни духовные интуиции, ни живые основания традиционалистских доктрин (особенно, что касается критики современного мира), а свою задачу видит не в том, чтобы неотступно доказывать превосходство демократических утопий над тоталитарными, а скорее в том, чтобы подвести читателя к краю той бездны, над которой все мы сегодня качаемся, — в надежде, что чувство самосохранения, ответственности (или метафизического ужаса) откроет кому-то глаза и поможет совершить правильный выбор.

Автор полагает, что успешно противостоять традиционалистским мифам демократические и либеральные идеи смогут, лишь вернувшись к своим метафизическим истокам и основаниям (то есть прежде всего к христианству), но что наша история почти не дает на это надежд. В свое время попытка лучших из числа интеллигенции осмыслить поражение первой русской революции в плане личной ответственности вызвала в демократическом лагере форменный скандал. Недавнее столетие «Вех» прошло почти незаметно, вызвав минимальный интерес. Никому из потомков революционной интеллигенции и в голову не пришло принять на себя ответственность за поражение в 90-х. Чахлое деревце христианской демократии, мало укорененное на нашей почве, под железными ветрами новых политических реалий кажется автору почти нежизнеспособным. Стремительно идущее слияние церкви и государства грозит и

вовсе задушить последние ростки христианства. В такой ситуации торжество традиционалистских (или подобных им тоталитарных) идеологий, всходящих на пустующем *месте святе*, кажется автору почти неизбежным. И единственное, что остается в такой ситуации, — качаясь над очередной русской бездной и глядя на ее дно, стараться (по известному духовному закону) в конец не отчаиваться.

Вступление

Начиная свою знаменитую биографию Гитлера, Иоахим К. Фест писал: «*по своим индивидуальным параметрам Гитлер... лишь с трудом может привлечь к себе наш интерес — его личность на протяжении всех этих лет остается удивительно бледной и невыразительной. И только в контакте с эпохой она обретает свою напряженность и притягательность* <...> *Жизнь Гитлера не стоило бы ни описывать, ни интерпретировать, если бы в ней не проявились надличностные тенденции и взаимоотношения, если бы его биография не была на всем своем протяжении одновременно и сколком биографии эпохи*»[1]. Сказанное с полным правом можно отнести и к феномену Александра Дугина. Не знаю, будет ли импонировать самому Александру Гельевичу звание «фюрера эпохи» (нам кажется, что в глубине души он видит себя именно таковым), но тенденции времени, каким-то образом сошедшиеся в этой своеобразной личности, налицо. Наверное, и он, вслед за Гитлером, оглядываясь на свое начало, мог бы с восторгом воскликнуть: «*Произошло нечто волшебное!*»

С другой стороны, личность Александра Дугина вовсе не кажется нам конгениальной личности Гитлера. Конечно, и Адольфа Алоизовича многие в свое время недооценивали (а когда спохватились, было уже поздно). Все же, несомненно, в личности Гитлера были своеобразные «магическая мощь» и сила, окутывающие весь его облик неким пророческим ореолом, полным магнетического обаяния. «*Сопротивление вблизи становится невозможным — тот, кто хочет оказывать сопротивление, должен жить вне сферы его притяжения... и может встретиться с ним только на поле боя*», — пишет Фест. (В этом мы и сами можем убедиться, если посмотрим гениальный фильм Ленни Рифеншталь «Триумф воли»). Повторимся, ничего конгениального в Александре Дугине мы не найдем. Он вообще представляется нам скорее некой «коллективной фантазией», «объективацией» чьей-то воли, духом, вызванным посредством верчения блюдец и облекшимся в плоть лишь на время «сеанса». Кто же вызвал? Да, вероятно, само наше время, сам дух нашей «постмодернистской революции», ее теургические демиургические силы. (Вспомним Блока с его «мятелями» и «вихрями», в которых ему чудится лик то ли Христа, то ли «кого-то Друго-

---

[1] *Фест И.* Адольф Гитлер. М., 1993.

го»; или Тарковского, честно признававшего: «*я не показываю характеры, я показываю нечто более глубокое, за ними стоящее*».)

Иными словами, то, что мы собираемся представить ниже, — не столько биография Александра Дугина, сколько биография нашего времени. Потому что именно фантазии и мечты времени, его безумие и психоз породили очередную русскую революцию, разные грани которой и сошлись в этом человеке. Точнее всего, быть может, было бы назвать Дугина пульсом, тактильным ощущением эпохи... Эпохи всеобщей отчужденности и растерянности, разрыва всех связей, эпохи оснований, поставленных с ног на голову... Ощущение совершенной заброшенности и богооставленности, столь характерное для нее, удачно передано вынесенным в эпиграф рефреном из песни «Агаты Кристи»... С этим чувством глубокого метафизического одиночества автор и приступает к своему рассказу.

Часть первая

Это наша с тобой География...

Россию можно предпочесть Раю.
Ю. Мамлеев

Фигура Александра Дугина столь любопытна, а продукция его мысли и жизнедеятельности представляет собой столь причудливый конгломерат непомерных амбиций, абсурда и восхитительного безумия, что, дабы не заблудиться в их калейдоскопическом блеске, мы вынуждены избрать самый естественный и надежный план повествования — биографический. Итак, Александр Гельевич Дугин родился 7 января 1962 года в Москве в семье генерал-лейтенанта ГРУ Генштаба. В 1979 году поступил в Московский авиационный институт, однако со второго курса был выгнан за неуспеваемость (впоследствии, при защите диссертации, он представил в Ученый совет РГГУ диплом об окончании заочного отделения Новочеркасского инженерно-мелиоративного института). Причиной плохой успеваемости стало, вероятно, новое увлечение Александра: в это время он познакомился с небезызвестным сегодня Гейдаром Джемалем[2], вместе с которым вступил в кружок Евгения Головина, состоявший из бывших членов мамлеевского «южинского кружка».

---

[2] Гейдар Джемаль (р. 1947) — исламский мыслитель, философ, политолог, общественный деятель. Председатель Исламского комитета России. С 1979 года активист подпольного всесоюзного исламского движения. Выдвинул тезис о возможности стратегического союза ислама и православия в рамках антизападного проекта. Позиционирует себя как выразитель интересов и мнений всей мусульманской общины России. Философские взгляды можно охарактеризовать как исламский марксизм (где мессианскую роль пролетариата играет умма).

1. Русские походы в тонкий мир

И здесь мы должны, как Данте с Вергилием, на минуту остановиться перед вратами иных миров и затаить дыхание. Ибо отсюда мы вступаем в те сакральные пространства, те таинственные глубины, из которых не только вышла новейшая российская конспирологическая философия, но где зародился, быть может, весь культурный космос нашей постмодернистской эпохи. Да, именно так! Ведь из подпольной мамлеевской шинели духовно вышли и Владимир Сорокин, и Виктор Пелевин, да и великий Венедикт Ерофеев бывал здесь лично и неоднократно. В конце 60-х в Южинский переулок, на квартиру к писателю Юрию Мамлееву сходилась московская андеграундная богема, с чьей-то легкой руки получившая легкомысленное прозвище «секты сексуальных мистиков». Там бывали художники Анатолий Зверев, Владимир Пятницкий, поэты Генрих Сапгир, Юрий Кублановский, Леонид Губанов...

Сын психиатра, профессиональный индолог, глубокий знаток Адвайта-Веданты[3], писатель Мамлеев погружал поклонников в поистине странный и жуткий мир своей... нет, не прозы, скорее — метафизической географии. Все его бесчисленные произведения (романы «Мир и

События 11 сентября 2001 трактует как грандиозную провокацию сверхэлиты против США и исламского мира. Не раз выражал положительное отношение к деятельности исламистских террористов. В ваххабизме видит движение, ведущее к модернизации кавказского общества, а в перспективе и всей России. Считает джихад вершиной Ислама, а Кавказ — колыбелью исламской революции в России. Считает Израиль «фашистским государством», превратившим «тему Холокоста евреев в религиозный постулат». В 2009-м из Госдумы РФ поступил запрос Генпрокурору РФ с требованием признать «Исламский комитет» экстремистской организацией (по материалам «Википедии»).

[3] Веданта (*санскр.* «окончание Вед») — одна из шести ортодоксальных школ индуизма (на фундаменте Вед и Упанишад). Путь осознания Абсолютной Истины, согласно Веданте, лежит не через соблюдение ритуальных практик, а через гнозис, а вдохновением на пути является предвосхищение безграничного блаженства. Формирование Веданты произошло, по мнению большинства ученых, в послебуддийскую эпоху (около III века до н. э.). Адвайта-Веданта — одна из трех наиболее известных ведантических школ (также: Вишишта-Адвайта, Двайта). Ее самая характерная черта — последовательное отрицание реальности мира. Основной тезис Адвайты: «*Брахман реален, мир нереален, джива* (индивидуальная душа) *и Брахман — одно и то же*». Как путник в лесу принимает толстую веревку за змею, так человек, лишенный истинного ведения, считает мир реальным. На самом деле реален лишь Брахман (не обладающий какими-либо атрибутами). Материальный мир появляется из иллюзорной потенции Брахмана, майи. Неведение об этой реальности является причиной страданий. Освобождение (мокша) можно достичь лишь посредством обретения истинного знания (гьяны) о тождественности индивидуальной души и Брахмана (отсюда *а-двайта*, «не-двойственность»).

Хохот» и «Шатуны» с их пронизывающей наш мир насквозь энергией инфернальной нежити, хохочущей нам в лицо, с их «нечеловечью», кочующей меж мирами) — не столько истории, сколько путеводители по инфернальным мирам. Причем настоящим *инферно* представлялось мистикам само их социалистическое время: космическое пустое поле под ледяными ветрами атеистического террора... Человек был брошен в него как ребенок в море, и надо было как-то выбираться. Мамлеев и был для мистиков этаким Гомером (или, быть может, вернее сказать — Хароном), переправляющим своих слушателей через океан небытия к обетованной земле. Нет, талантливый писатель (и не побоюсь этого слова — визионер) отнюдь не развлекал. Те босхианские миры (перекликающиеся с мирами Гоголя, Камю, Кафки), которые он описывал, становились для его слушателей своего рода инициатическими вратами, через которые предстояло пройти как через собственный опыт смерти — пройти для того, чтобы ожить, проснуться[4].

Радения катакомбных мистиков, собирающихся на тайные Агапы под крыло своего пророка, так описывает Генрих Сапгир: «*По темным углам квартиры чудились призраки оргий, но оттуда появлялись исключительно интеллектуальные фигуры "архивных" юношей. Мелькали и бледные девушки — так называемые дочки Юрия Витальевича (по имени отчеству хозяина звали, как говорится, с младых ногтей). Я думаю, секс и мистика были просто флюидами, которые во множестве излучал на "посвященных" хозяин, Юрий Витальевич Мамлеев. Когда при свете настольной лампы он читал вкрадчивым шепотом свои творения — прозу или стихи, создавалась особая интимно-сладковатая атмосфера, и мы погружались в нее, как в теплую ванну. Несмотря на узнаваемую барачно-затхлую конкретику, то была не реальность, а реальная ирреальность, все происходило не снаружи, а внутри человека, вернее, писателя Мамлеева...*».

И действительно, несмотря на свою «жутковастость» и «нечелвечесть», книги Мамлеева не оставляют тягостного чувства, — скорее, наполняют какой-то странной силой. В их потусторонней жути разлита даже какая-то теплота. Кто-то заметил, что свет в них присутствует, но как бы неявно, «апофатически». «*Разве вы или кто-то другой постиг темные стороны души? <...> Я вытаскиваю то, что человек сам о себе не знает. Мой гротеск — на то зло, которое таится в человеке... Только*

---

[4] «*Мамлеев считал, что когда человек пытается заглянуть в потустороннее, он неизбежно становится немного монстром. Но другого пути к начальному просветлению нет. Каждый должен пройти через алхимическое Нигредо — этап черноты*», — сообщает некто из летописцев. Сам же Мамлеев свой странный «метафизический реализм» объяснял так: «*Сказки многих народов... символически изображают странствия человека по загробному миру. Я же взял форму традиционной прозы... это символическое и метафорическое путешествие по аду*» (*Дардыкина Н.* Паромщик по аду. — «Московский комсомолец», 8 июля 2000).

познавши эти темные, страшные закоулки своей души, человек может от этого зла освободиться», — так говорит сегодня Мамлеев, к своей славе и персоне относящийся с достаточной долей иронии. Как, например, в таком стихотворении (из цикла «Монстры»):

Не молись на меня, моя детка.
Просто я — неживой идиот.
Запереть меня надобно в клетке
И показывать бесам вперед.

Я не плачу, не сплю, и не спорю.
Обнажу-ка свой трупный живот.
И увижу, приехав на море,
Своей собственной рожи восход.

Нет, мистики были совсем не просты, стремясь через слушанье загробных мамлеевских литий, потребление галлонов алкоголя (*«всем хорошим в себе я обязан водке»*, — как свидетельствует некто из адептов), экстатические содрогания и погружение в инфернальный мрак *алхимического Нигредо* прорваться к лучшим, лучезарным мирам. Но в 1975 году «южинский кружок» накрыло КГБ, и Мамлееву пришлось покинуть страну. Он уехал в Штаты, затем перебрался в Париж, где преподавал русскую литературу и обдумывал собственную мистическую доктрину (самую, наверное, необычную со времен Андреевской «Розы мира»), которую назвал «Россией Вечной».

Попытаемся кратко изложить суть этого учения.

Та Россия, которую мы видим, и тот мир, который знаем, — не совсем настоящие. Существуют и иные миры и в них — иные России. Все же вместе они суть Космологическая Россия, в свою очередь являющаяся мировой проекцией идеальной «Вечной России», покоящейся в Абсолюте. Другой, не менее чудесной проекцией «Вечной России» является Русская душа, которая есть не что иное, как внутренняя Россия, Россия-микрокосм. Потому там, где есть хотя бы один русский человек, есть и Россия. Вечная Россия — это вечная мысль Бога о России, через которую Творец выражает Свои самые сокровенные мысли о мире. Ибо Он нуждается в России не меньше, чем мы нуждаемся в Нем. Россия еще очень молода. Настоящее духовное становление ее впереди. Ей еще предстоит мировое величие. В последнем романе «Русские походы в тонкий мир» Мамлеев раскрывает суть своей доктрины в художественной форме. Молодой аспирант филфака МГУ Арсений Русанов, случайно попав в параллельную Россию (*Рассею — «суть всех Россий без оболочек»*), видит свершение Великой Утопии: счастливое место, где государство слилось с народом, люди верят, что произошли прямо от Бога, а правят ими мудрость и любовь...

Но если как теоретик Мамлеев кажется безнадежным утопистом, то в его прозаическом творчестве раскрывается талант... нет, не писателя даже,

а, скорее, мастера теургии, превращения. Может быть, пронзительней всего мамлеевская мечта является в небольшом рассказе «Сон в лесу».

В одной деревне живут тихие, нежные, немного загадочные люди (русские, одним словом, люди). Среди них девушка Настя с золотистыми волосами, голубыми глазами, — то умными, то детскими, — личиком белым, как снег в небесах, — в общем, сама мифическая Россия. Однажды, заигравшись в прятки, Настя пропала. Лишь через год вышла она из леса — в бездонном и страшном покое, со взглядом, затягивающим в себя, как в пропасть. Так и бродила она по деревне, как во сне, пока не увидел ее проезжий красавец и не поцеловал. Пробудилась Настя, и зажили они хорошо, до тех пор, пока не услышала она раз голос: «*Думаешь, ты проснулась? Но ты спишь еще более глубоким сном, чем раньше*». Ужаснулась Настя и подумала: «*Только боль мое спасение*». И вот умер ее молодой муж, и объяла ее великая боль, и уехала она далеко-далеко в город. Там ее боль потихоньку перешла в откровение, пелена спала с глаз, и увидела она свой прежний блаженный сон, как радугу счастья, и свой нынешний мир во всех цветах бездны. И все люди в городе стали ей ясны как на ладони. «*Вот теперь я проснулась*», — думает Настя. Но оказалось — нет, в еще более страшный сон ушла. Убежала она в самую глубокую тьму леса и взмолилась: «*Кто же я, где же я?*» И услышала в душе какой-то ответ, и упал на нее свет, как струя, и возликовала она: «*Проснулась!*» Но вдруг видит — стоит рядом с ней белая девушка, похожая на нее, и сверкает на ней корона Небесной России, и говорит она: — «*Нет, не тот это свет, ведь и свет разный бывает*». И поняла Настя на мгновение, что было бы, если б она в самом деле проснулась, — рухнул бы весь мир со всем его умом, светом и откровением... И открыла Настя тяжелые веки, и видит: лежит она в избе на постели, а кругом нее деревенские ходят...

Не знаю, как у вас, у меня от этой метафизической истории России мурашки тысячами бегут по коже (как, впрочем, и от многих других, не менее завораживающих рассказов Мамлеева).

Но к 1980 году — времени, когда в среде мистиков появились Дугин и Джемаль, — золотой век южинского кружка давно миновал. И над ушедшей за горизонт звездой Мамлеева воссияла звезда Евгения Головина[5],

---

[5] Евгений Головин (р. 1938) — писатель, поэт, переводчик, литературовед, филолог, культуролог, оккультист. По собственному признанию, с десяти лет воспитывался у бабки-колдуньи (отец мальчика пропал на золотых приисках). Среднюю школу закончил экстерном в четырнадцать лет. Учился на Филологическом факультете МГУ. Лидер «московского мистического подполья» 1960 – 1980-х годов. Был главным редактором журнала «Splendor Solis», куратором книжной серии «Гарфанг». Песни на его тексты исполняли группы «Центр», «Ва-банкъ», Вячеслав Бутусов с музыкантами группы «Кино» (по материалам «Википедии»).

не менее причудливого философа, переориентировавшего мамлеевских мистиков на иной полюс духа. Уже не золотой Восток, где сливались в экстатическом единстве Небо и Земля, но кристально-мужественный Север влек новых южинцев. Уже не созерцание Брахмана в осознании иллюзорности мира, но суть алхимических трансмутаций духа и героика сурового мужского начала волновали их сердца. Духовная биография Головина также весьма любопытна. Неприязнь к западной цивилизации, как утверждает сам философ, возникла у него лет в шестнадцать после знакомства с Ницше. В середине 60-х в Ленинской библиотеке он совершенно случайно наткнулся на книгу Рене Генона[6] «Кризис современного мира». Открытие это стало судьбоносным для всей будущей «правой русской мысли».

2. Генон. Пророк Традиции

Генон подвергал западную цивилизацию столь яростной критике, сметал всех ее кумиров с таким великолепным презрением, что Шпенглер с Ницше и Маркс с Фрейдом казались рядом с ним расшалившимися детьми. Да и личность самого Генона (по сфере интересов и языку — типичного чернокнижника, средневекового алхимика и гностика) не могла не заворожить пытливого молодого человека, чуткого к обаянию мистического. Подпольщик и оккультист, отринувший буржуазный мир, живший в Египте жизнью суфия и являвший миру свои трактаты, словно новый Ману или Гермес Трисмегист, — да, это был идеальный революционер духа!

Согласно индуистской доктрине, учил Генон, мир движется от высшего к низшему, все больше удаляясь от порождающего Принципа. В течение четырех периодов истории (золотой, серебряный, бронзовый и железный век) изначальная «*примордиальная духовность*» все более затемняется. Вот уже более 6 тысяч лет длится четвертый период — Кали-юга (темный век), в конце которого мы и находимся. Т. н. классическая античность — есть, по сути, современность (последняя половина Кали-юги, 1/10 часть всей

---

[6] Рене́ Генóн (1886 – 1951) — французский философ-эзотерик. Родился во французской буржуазной семье. Участвовал в различных подпольных движениях. Исследовал оккультизм, гностицизм, индуизм. В 1912 году принял ислам (арабское имя — Абд-аль-Вахид Яхья). В 1930 году переехал в Каир, где жил до самой смерти жизнью суфия, продолжая публиковать в Европе свои труды, в которых представлял аспекты метафизических доктрин Востока, адаптируя их для западных читателей. Основные работы: «Восток и Запад» (1924), «Человек и его осуществление согласно Веданте» (1925), «Эзотеризм Данте» (1925), «Кризис современного мира» (1927), «Духовное владычество и мирская власть» (1929), «Символизм креста» (1931), «Заметки об инициации» (1946) и др. (по материалам «Википедии»).

Манвантары[7]), претензии современных людей на широту и полноту исторических знаний безосновательны, их идея прогресса бессмысленна. «Греческая философия» *любовью к мудрости* подменила саму мудрость. Профаническое рациональное знание заняло место истинной, «нечеловеческой» мудрости, последним остатком которой были античные мистерии, носившие инициатический характер. От окончательного вырождения профаническую цивилизацию Запада спасло трансформировавшее ее христианство. Но с XIV века начался новый упадок. Профаническая философия и наука свели знание к его самым низшим уровням, а гуманизм — к чисто человеческим пропорциям (отвернуться от Неба под предлогом покорения земли). Сегодня хаос и беспорядок превзошли все известные пределы и — начиная с Запада — грозят распространиться на весь мир. При таком положении вещей мы нуждаемся в полном и радикальном обновлении. Из конца Кали-юги можно выйти только через страшный катаклизм. Конец старого мира будет в то же время началом нового.

Изначальная Традиция пришла из гиперборейских регионов. Противостояние Востока и Запада — это противостояние изначального (лежащего в основе всех цивилизаций) сознания и сознания извращенного. Восток утверждает безусловное превосходство умозрения над действием, Запад — наоборот. Динамика здесь победила статику. Традиционные (сакральные) науки являются путем к высшему знанию, универсальному синтезу, чистой духовности. Самая совершенная из них — алхимия (результатом извращения которой стала химия, принявшая лишь ее материальный аспект). Так же и вся современная наука основана на руинах древних сакральных наук. О «традиционных», «сакральных» искусствах и науках современный Запад не имеет ни малейшего представления.

Индивидуализм есть отрицание всякого принципа, превышающего уровень человеческой индивидуальности, сведение всех компонентов цивилизации к чисто человеческим элементам. Культ «великих людей» и «гениальность», порождения индивидуализма, есть категории чисто профанические и ничего не значат в духовном смысле. «Индивидуализм», «гуманизм» и «профанизм» — разные имена одного профанического мировоззрения, основанного на абсолютном отсутствии высшего Принципа (беспрецедентном в истории). Всеобщность отрицания делает современный мир воистину чудовищным. Анти-традиционное

---

[7] Манвантара (*санскр.* «период Ману») — мера времени в индуизме. В начале Манвантары появляется первопредок (называемый Ману), который порождает человечество и дает ему законы; затем человечество проходит через 71 цикл расцвета и упадка и, наконец, погибает окончательно; затем является новый Ману и начинается новая Манвантара. Из 14-ти Манвантар складывается первая половина Кальпы, или День Брахмы. Нынешняя Манвантара считается седьмой по счету в Кальпе Вараха. Правителем ее считается Ману Вайвасвата, автор «Законов Ману».

мировоззрение анти-религиозно: начиная с искажения религии, оно заканчивает ее полным уничтожением.

Особенно яростно ополчался Генон против демократии. Согласно демократической концепции, власть должна приходить снизу и корениться в большинстве, тогда как на самом деле она приходит сверху (высшее не может происходить из низшего, как из меньшего невозможно получить большее). В случае демократии мы имеем дело с «внушением». Народ не может доверить никому свою власть, поскольку сам ею не обладает. В духовном мире во главе иерархии стоит Единство. Истинная власть приходит сверху и может быть легализована только с санкции власти духовной. В противном случае она становиться лишь пародией на власть, сеющей повсюду только хаос и разрушение. Последнее следствие демократии — отрицание идеи элиты («аристократия» — «власть лучших», «власть элиты»). «Гуманитаризм» (пацифизм) вообще нельзя принимать всерьез. Люди сегодня так много говорят об установлении вечного мира, в то время как разрушения, приносимые нынешними войнами, несопоставимы с прошлыми. Раньше воевали небольшие профессиональные армии, сегодня все набрасываются друг на друга сообща, а «восстание масс», «всеобщая мобилизация» и идея «вооруженной нации» стали нормальным явлением. Иногда современный Запад называют христианским. На самом деле он глубоко анти-христианский (сущностно анти-религиозный). Кое-что от христианского влияния все же осталось, а единственной организацией традиционного характера остается Католическая церковь. Она могла бы стать центром, консолидирующим и воспроизводящим интеллектуальную элиту, достаточно лишь вернуть ее доктрине глубинный смысл, утерянный ныне. Нужно подчеркивать единство христианства с другими формами Традиции (что, впрочем, уже заложено в католицизме с его идеей универсальности). Но сегодня универсальность существует лишь в потенции. Однако, даже если нет надежды на реставрацию Традиции прежде, чем мир погибнет в катастрофе, нельзя бездействовать и предаваться отчаянию. Мрак и хаос побеждают лишь по видимости. Ничто и никогда не может противостоять силе истины. Как гласит девиз древних инициатических организаций Запада: «Vincit omnia Veritas» — «Истина побеждает все».

Такой была эта книга. И кто мог бы устоять против ее яростного пафоса? Да и сегодня много ли в демократическом лагере найдется тех, кто был бы способен четко и аргументировано отразить эти горящие снаряды? Мозг же юного гуманитария, давно заподозрившего окружающий мир в неискренности и симуляции, капитулировал мгновенно и безвозвратно. У *«меня было чувство, что... тексты Генона как бы спали в темноте моей души... Алхимия! — вот великая цивилизация, к которой осталось только несколько очень темных, очень сложных ходов»*[8]...

---

[8] Из беседы Евг. Головина с А. Дугиным. — http://www.fantlab.ru/article513.

Начитавшись Генона и других европейских алхимиков, Головин быстро пришел к выводу, что средневековая мистика гораздо полнее отражает наш собственный, европейский опыт, чем индуистская. Но, кажется, не менее сильное влияние на него (и всю будущую «правую мысль») оказала личность барона Юлиуса Эволы, большого почитателя Генона, человека, которого можно назвать отцом-основателем мистической доктрины фашизма.

3. Эвола. Черный Барон

Настоящий римлянин, потомственный аристократ с древними испанскими корнями, Эвола (1898 – 1974) служил в Первую мировую офицером артиллерии. После войны увлекся дадаизмом и анархизмом, но знакомство с книгами Генона перевернуло его взгляды.

Собственная доктрина Эволы синтезировала анархизм нигилистов и оккультизм. В книге «Языческий Империализм» (1928) он сформулировал мировоззрение, оказавшее немалое влияние на формирование нацистской идеи[9]. Тезисы его вкратце таковы. Человек не имеет самостоятельной ценности. Его жизнь полностью определена кастовой системой и раскрывается в Империи. Низшие касты управляются мифами, которые формулируют высшие касты. Аристократия, однако, свободна от мифов, ее дело — постижение высшей реальности. Гуманизм — зло. Император выше религии. Культы крови, расы и войны есть пути духовного очищения. Истинная свобода — свобода служения.

Эта доктрина была с восторгом принята в преднацистской Германии. Горячая итальяно-испанская кровь Эволы зажгла романтическое сердце немецкого национал-социализма, напитала его вены эзотерическим идеалом. Барон затронул самые высокие, идеалистические струны немецкой души. Вероятно, прямую преемственность утверждать не стоит, но читая «Майн Камф», нельзя не видеть глубокой симпатии друг к другу двух доктрин. Доктрина Гитлера разве что чуть смягчена морализмом, избавлена от брезгливого антихристианства Эволы («*Имперский принцип несовместим с христианством. Дух Римской империи угас в католическом Риме*») и переосмыслена в плоскости антисемитизма. Впрочем, не трудно убедиться, что бог, к которому апеллирует Гитлер, — не христианский Бог, а скорее тот самый воспетый Эволой Абсолют воли. И еще один момент из Эволы, который Гитлер, кажется, усвоил всем своим романтическим сердцем: «*Над каждым "божественным" Императором горит "огонь небесной славы", hvareno, и поэтому он непобедим*».

В 30-е Эвола состоит в элитных нацистских клубах. В годы войны по любезному приглашению СС ищет в немецких архивах материалы по

---

[9] Герой этой статьи А. Дугин определяет это мировоззрение как «*истинно фашистское*».

масонству (попадает под бомбежку и остается до конца жизни парализованным). В своих последних книгах, анализируя причины поражения «консервативной революции», Эвола делает вывод о том, что поскольку «консервативная Революция» есть духовное явление, она имеет вечное измерение и внешнее ее поражение ничего не значит. Разрушение традиционных ценностей рано или поздно будет осознано человечеством, и тогда ее идеи вновь окажутся востребованы. И вновь утверждает свой вечный идеал: «*Современному упадническому, профаническому, разлагающемуся миру с его гуманистическими и буржуазно-демократическими ценностями противостоит героический, сакральный мир Традиции с его абсолютными идеалами: иерархией, честью, верностью, служением, войной и самопожертвованием*». В мире сгущающейся ночи Эвола славит героических одиночек, которые, не смирившись с поражением, «*создают в себе самих предпосылки порядка*»; тех, кому свойственны «*верность себе и идее, сосредоточенная мощь, неприятие компромиссов, тотальное усердие в политической борьбе и повседневной жизни*». Перед смертью (в 1974 году) старик Эвола успевает заметить и благословить нарождающееся движение Новых правых в Европе, которые избирают его своей путеводной звездой (отсюда еще одно прозвище Эволы — *Маркузе правых*). «Восстание против современного мира» — главная книга Эволы — становится магистралью «третьего пути» Новых правых под лозунгом: «*За возрождение древних традиций и Прогресс!*»

4. Головин. Путь на Север!

Идеи «Абсолютного Я», Традиции, Консервативной революции и личной Инициации (пути восхождения от человека к сверхчеловеку) Эволы стали краеугольными камнями мировоззрения Евгения Головина. А антично-наивный инфернальный космос брахмана-грека Мамлеева трансформировался в его воинском духе кшатрия-римлянина следующим образом. Мир имеет не два центра, а один. И пусть, с точки зрения иудео-христианства, современный мир дрейфует к югу, нордический человек всегда устремлен к Северу, туда, где цветет Древо жизни, где начало Адама (Древо познания добра и зла находится как раз на юге). Север оплодотворяет и организует, материя лишь рождает бесконечные формации (чем дальше от Севера, тем менее организованные). Там, на Севере, расположен «*фаллический центр мира*», Вулкан, пылающий золотистым огнем, от которого расцветает море и живительная сила разливается в атмосфере. Туда и должно двинуть нас наше мужское начало. И если мы преодолели все препятствия (рядом с *фаллическим центром* следует быть особо осторожным, чтобы не сойти с ума и не опалить крылья от чрезмерной близости к Истине), мы найдем то, что ищем. Вот истинно арийский, мужской, алхимический «сухой путь»! Отыскать его нам поможет сокрытая в нас частичка алхимического золота, наш внутрен-

ний огонек. Ибо найти *вертикальную индивидуальную ось* нашей жизни нам не помогут даже религии (они нащупывают лишь групповую ось). Если мы и можем переживать, допустим, страдания Озириса, это еще не будет «*прохождением эйдетической оси через центр нашего бытия*»[10].

Все это несколько туманно, но, несомненно, захватывает. Особенно, когда, обратившись к Юлиусу Эволе (статья «Свастика как символ Полюса»), мы узнаем, что Полюс — отнюдь не только «фаллический центр», но неподвижная точка, середина и опора, *центр* упорядоченного движения «колеса царства», знака королевской власти, «ледового креста» — Свастики. Здесь, на Полюсе, обнаруживает себя истинная арийская пра-духовность, «Полярный» символ которой — «*символ непреодолимой силы в ее непреодолимом превосходстве, совершенно спокойной мощи свыше... чистое присутствие... непосредственное и опасное переживание чего-то трансцендентного... Горнего Мира*»... Свастика — это Гиперборейский бог Аполлон. Это солнце, — но солнце не восходящее и заходящее, а безмятежный и равномерно распространенный Свет... Солнечное начало, истинно северный знак, указывающий на то, «*что прародиной белой, арийской расы была арктическая, полярная область*». И пусть Северная Прародина исчезла и не достижима более внешним путем, в Гиперборейскую родину можно проникнуть *полетом духа*, и ничто лучше, чем знак Свастики, не укажет нам этот путь. Она дает нам уверенность в грядущем подъеме «*новых, глубоко внутренних сил Европы*» и возрождении «*одной из величайших рас-наследниц гиперборейского властелина*». (Написано это, напомним, в 30-х годах XX века.)

Итак, с «сухим» путем мы более-менее разобрались. Двинемся теперь путем «влажным». Это путь, которым скользит вся профаническая цивилизация, все, кому не хватает знаний и нордического характера следовать путем жизни. Путь к Югу — это путь к смерти, путь погружения в мать-природу, в матку («*философский инцест*», «*растворение в женском начале*», — как говорит Парацельс). Если мы читали роман Эдгара По «Сообщение Артура Гордона Пима», то знакомы с лучшим в художественной литературе изображением «влажного» пути. Герои Эдгара По втроем на полузатопленном корабле дрейфуют в Южном полушарии. К ним, обреченным на медленную смерть, приближается корабль, на котором они видят трех мертвых матросов. Мертвые приветливо улыбаются (привет Мамлееву!), и лишь чудовищное зловоние говорит, что не все здесь в порядке (это и есть первая алхимическая операция во влажном пути: называется она «путрефакция», или «гниение»). Затем один из героев умирает, разлагаясь на глазах товарищей. Двое оставшихся пребывают на остров Отчаяния, где живут туземцы-людоеды, которым наскучило и опротивело все — даже собственное людоедство. В финале романа наши герои дости-

---

[10] Из лекций, прочитанных Евг. Головиным в «Новом университете» Дугина в 1998 году.

гают антарктической бездны Южного полюса, где с чистого неба на них начинает падать дождь из белого пепла, а из бездны встает огромная человеческая фигура в саване — Снежная Королева. Последняя строка романа: «*...ее кожа отличалась абсолютной белизной снега, а вокруг летали гигантские мертвенно-белые птицы и кричали "текели-ли", "текели-ли"*...»

Именно сюда привел нас влажный путь, и ни к чему иному привести он не мог. Но мы-то ведь не забыли о «*философском инцесте*»! Ибо здесь в точке абсолютной смерти начинается новая жизнь, новая, живая белизна, один взгляд на которую преисполняет жизненных сил. Ибо «*только в центре смерти ты найдешь фонтан жизни*» («*Темное надо познавать еще более темным, а неизвестное еще более неизвестным*» — как гласит один из алхимических афоризмов). Итак, от черного (*Нигредо*) к белому — белому абсолютно мертвому, и от белого абсолютно мертвого — к белому абсолютно живому. Это есть то, что зовется «*женским космосом*». Здесь начинается то, что мы именуем климатом, или атмосферой Снежной Королевы...

Итак, вот оно, истинно нордическое учение, вовсе не похожее на наивный лепет идеалиста Мамлеева. Нет — вырожденческому босхианству и кафкианству! Не существует никакого «народа-богоносца» и «загадочной русской души» («*русские мужчины женоподобны, обладают пенисом, но не фаллосом*», — утверждает Головин), а есть лишь суровый нордический Полюс Духа — акватический материк вечной жизни, вечная незыблемость Северного Сияния и алхимическая Полярная Звезда, сверкающая на игле эйдической оси, куда сходятся все земные меридианы. Ну и, конечно, негасимая Свастика предвечного арийского начала! Двигаясь упаднически «влажным путем», предаваясь «работе в черном», сексуальные мистики заблуждались («*Там-то, в этом Нигредо, почти все и застревали. Губанов, Зверев умерли от запоев, Пятницкий — от передоза, Буковский загремел в психушку*», — замечает один из летописцев). Но теперь, когда вместо слившейся в экстазе с Брахманом-Абсолютом Вечной России, простершейся от края небес и до края их, им явилась Вечная правда Тысячелетнего небесного Райха, у заблудших открылись глаза. (Автора этой статьи, однако, не оставляет подозрение, что наши друзья, а с ними и вся наша «правая» идея, несмотря на старания Учителя, отклонились от прямого нордического пути и двинулись путем как минимум полувлажным.)

Но вернемся к Александру Дугину.

Определенно, эзотерические подпольщики — все эти в высшей степени неординарные личности, предающиеся под руководством могучих учителей каббале, черной магии, алхимии, оккультизму и прочим излишествам, — не могли не произвести самого неизгладимого впечатления на сознание нашего героя (воспитанного в целомудренном, точнее, радикально стерилизованном климате соцреализма). Как и их проповедь выхода за все мыслимые пределы добра, зла и трезвого разума с целью самопознания и раскрытия внутренней сущности. Да еще в такое тревожное время, когда весь мир накрывается черной дырой хищного

матриархата (синдром «зубастой вагины» в определениях Головина), угрожающей засосать в себя все слабое и малодушное. Жажда спасения поселилась в растревоженном сердце. Спасение же могли принести только нордическая воля, подлинная инициация и мечта о грядущем Сверхчеловеке, озаренном незаходимым духовным солнцем Свастики.

«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.
«Иди ж,— он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг...

5. Черный Орден SS

Так в лице Александра Дугина и его старшего товарища Гейдара Джемаля Евг. Головин нашел самых преданных своих адептов. И когда после разгона мамлеевского кружка, скрывшись во мрак подполья, провозгласил себя рейхсфюрером мистического «Черного Ордена SS», первыми его членами стали все те же Дугин и Джемаль. Об инициациях, принятых в Ордене, ходят разные слухи. Где-то поблизости от этих мест всплывает еще одна причудливая алхимическая фигура — графа Амвросия фон Сиверса (в миру Алексея Борисовича Смирнова)[11] 1966 года рождения, называющего себя архиепископом Готфским и главой Русской Катакомбной церкви истинно православных христиан. Известен граф главным образом своей «заклинательной молитвой» против «демона ВИЛа» на Красной площади 7 апреля 2007 года, во время которой был свинчен бдительной московской милицией, а также канонизацией Адольфа Гитлера в чине православного святого Атаульфа Хитлера (Берлинского). В 2008 году архиепископ сбежал из России, прихватив кредит на 3,5 млн долларов в Сбербанке (эта шумная афера, получившая известность как «кредит безвозвратный», одно время живо обсуждалась в прессе). Близкий в то легендарное время к мамлеевцам, отец Амвросий так вспоминает свою первую встречу с друзьями-адептами: Дугина *«впервые увидел... примерно в 1984 году на одной подозрительной богемно-диссидентской квартире. Он вещал о инициации и эзотерике... Запомнил я и его тогдашнюю жену Дебрянскую — ныне "архилесбиянку" РФ и чуть ли не главу Трансексуальной Либертианской Партии*[12]*. Уже потом я видел их совместного сына, коего он звал Артуром, а она, кажется, Васей, — и ребенок дергался в*

---

[11] Фамилию Сиверс граф взял, вероятно, в честь главы эзотерического нацистского общества «Аненербе», Вольфрама Сиверса, казненного по приговору Нюрнбергского трибунала.

[12] В начале 1990 года Евгения Дебрянская (вместе с Романом Калининым) организовала Ассоциацию сексуальных меньшинств и Либертарианскую партию.

разные стороны, не зная, как реагировать... Но это — так, ерунда. В конце 1980-х годов Дугин появился в сопровождении Джемаля на квартире Зелинских и вел себя прескверно: пьяные или унюханные уроды щупали друг друга за причинные места и провозглашали необходимость "солярной инициации" <...> Никто не скрывал тогда, что всех их "посвятил" Евгений Головин... А ведь до "Памяти" Дугина готовили в "демократа", но дело не пошло, ибо вполне хватало иных комсомольских козлов... Требовались "правые"» [13].

Но не в похождениях молодых адептов, в конце концов, дело. Нам важно ощутить тот первичный бульон, из которого посредством солярной ли инициации, алхимического ли брака был порожден феномен Александра Дугина и новейшей «правой идеи» в целом. И здесь, конечно, прежде всего, нам являются две эти эпические фигуры, стоящие у ее колыбели и устремленные, как двуликий Янус, одна на Восток, другая — на Запад (Север) мира, одна — в грядущий день «России Вечной», другая — в начала начал трансмутаций андрогинна-сверхчеловека Адама и Евы-Лилит. Брахман-всеединец Мамлеев и кшатрий-индивидуалист Головин и сегодня, равно равнодушные к суете мира, ведут отрешенную жизнь аскетов, но именно в их алхимическом тигле зародились и из него вышли политики дня сегодняшнего — воины света Дугин и Джемаль, идейная двоица нашей православно-мусульманской цивилизации. Говорят, Головин и благословил обоих идти в мир, указав дорогу в Общество «Память» Дмитрия Васильева. Сам же учитель и верховный рейхсфюрер, скрывшись в пустыне духа, продолжает свершать в нордическом одиночестве великую теургию сухого пути и, как Лао Цзы над Конфуцием, посмеивается, вероятно, над нашим друзьями и их планами тотального преобразования мира («*мы живем на планете? я не очень в этом уверен*»). На стене его аскетичной квартиры в подмосковных Горках и сегодня, говорят, горит незаходимая Солярная Свастика... Но нам теперь предстоит оставить эти предгорья Абсолюта и погрузиться вслед за нашими друзьями в клокочущие туманы майи.

6. Учитель, указавший путь в Кали-Юге

В 1988 году Дугин и Джемаль вступают в Общество «Память», уже бурно эволюционирующее из литературного кружка в широкое антисемитское патриотическое движение. Правда, оба вскоре оказываются из-

---

[13] Сам Гейдар Джемаль о посиделках у Зелинских рассказывает так: «*У Зелинских была не квартира, а музей академика Зелинского, сын которого был хранителем музея. Приезжали самые разнообразные персонажи, от католических прелатов, православных священников и иностранных дипломатов до вдовы Даниила Андреева, автора "Розы мира". Были там и люди высшего советского академического истеблишмента, например, Капица*»... (*Диунов М.* Главный кочевник России. — РЖ).

гнаны из его рядов с формулировкой «*контактировали и контактируют с представителями эмигрантских диссидентских кругов оккультистско-сатанинского толка, в частности, с неким писателем Мамлеевым*». Отсюда буйные ветры Перестройки, дующие уже во всю мощь, направляют каждого по своему пути: Гейдар Джемаль создает Исламский комитет, приступая к подготовке мировой исламской революции; делом жизни Дугина становится иллюминация профанного совкового сознания истинным светом современных эзотерических знаний. Не зря Эдуард Лимонов в своих тюремных воспоминаниях называет нашего просветителя «Кириллом и Мефодием» русского фашизма, принесшим с Запада «*новую для нашей земли Веру и знания о ней... правые импульсы, правые сказки, мифы и легенды. Правую энергию. Правый неотразимый романтизм, которому невозможно было противостоять*».

Свою проповедь новый Кирилл-и-Мефодий начинает с возвещения имен двух великих Пророков и Апостолов Традиции: «*посланника высшего центра в последнюю эпоху*» брахмана Рене Генона, человека, первым осознавшего страшную опасность, которую несет в себе «*профанический, антидуховный и сатанинский, в полном смысле этого слова, Запад, Дар-уль Дадджал, "Дом Антихриста"*», и его великого последователя кшатрия Юлиуса Эволы. «*Учитель, указавший путь в Кали-Юге*» — этот заголовок статьи о Геноне, открывающей первый номер альманаха «Милый ангел», кажется, открывает нам заветную мечту самого нашего героя — стать вождем и проводником «*тех, кому предстоит возродить Традицию в ее подлинном, нечеловеческом, "ангелическом" измерении и разработать сакральные основы грядущего Золотого века*». В то же время его яркие эпатажно-футуристически-психоделические статьи (представляющие собой «*явную альтернативу жидоедской патриотовщине*», как замечает уже известный нам граф Сиверс) начинают выходить в газете Александра Проханова «День». И в затхлом сталинско-патриотическом дискурсе повеяло свежестью грозовых раскатов. Роясь в секретных архивах КГБ (куда ему помогли проникнуть связи отца), Дугин якобы находит материалы, связанные с деятельностью «Аненербе»[14] и других оккультных структур времен Третьего рейха. Его телепередача «Тайны века» транслируется по Первому каналу, а его издательскими усилиями российский читатель знакомится с книгами Генона, Эволы, Карла Шмитта, Эрн-

---

[14] «Аненербе» («Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков») — организация, созданная в Третьем рейхе для исторических, антропологических и археологических изысканий с целью доказательства теории расового превосходства германцев. В 1937 году Гиммлер интегрировал «Аненербе» в состав СС, превратив его в отдел по управлению концлагерями. Международный трибунал в Нюрнберге признал «Аненербе» преступной организацией (инкриминированы опыты на людях), а ее генеральный секретарь Вольфрам Сиверс был приговорен к смертной казни и повешен.

ста Юнгера и других правых мыслителей. Начинают выходить и работы самого Дугина: «Пути абсолюта» (1990) и «Конспирология» (1992), «Гиперборейская теория» (1993), «Консервативная революция» (1994). Знание языков и широкая эрудиция помогают нашему герою наладить контакты с европейскими правыми интеллектуалами, такими как Ален де Бенуа, Жан-Франсуа Тириар, Клаудио Мутти.

Со скоростью мира и времени Александра Гельевича начинает уносить вверх по экспоненте к бурному апофеозу. В 93-м в Москве он встречается с Кристианом Буше, издателем журнала «Vouloir» и главой французского отделения «Ордена Восточных Тамплиеров» (OTO) — оккультной организации, являющейся главным хранителем и проводником «учения Телемы» Алистера Кроули. Визит Буше вдохновляет Дугина на публикацию основополагающих трудов Кроули в альманахе «Конец света». Увлечение кроулеанством становится вершиной дугинского радикализма (к этой теме мы еще не раз вернемся в своем рассказе). А скрепляется этот переломный для российской истории год новым «алхимическим браком»: после поражения Верховного Совета Эдуард Лимонов приглашает Александра Дугина принять участие в создании Национал-Большевистской Партии. Теургический союз венчает Егор Летов, лидер психоделической группы «Гражданская оборона» — пламенное сердце и мотор молодежной панк-революции.

Часть вторая

Сотворение мифа

Солнышко на дне бутылки, грош в копилке все тесней
Ангел в небе, гроб в могилке, дверь за дверью, сон во сне
Радуга, петля, стремянка, да портянка в сапоге
Слишком далеко, чтоб дотянуться,
Слишком низко, чтобы встать....
Скользким узелком дорога затянулась, зарвалась
Лето, тошнота, тревога навалилась, улеглась
Зеркало, петля, копилка, да тарелка до краев
Слишком хорошо, чтоб отказаться
Слишком страшно, чтобы взять....

Егор Летов. Нечего терять

Но прежде чем мы двинемся дальше, необходимо хотя бы кратко обозреть главные составляющие уже полностью сложившегося к тому времени мировоззрения Александра Дугина. Несмотря на обилие трудов и головоломность терминов (которые наш герой порождает с невероятной щедростью), в своих основах оно достаточно просто и статично. Меняются лишь ракурсы и ориентиры; основания (Адвайта-Веданта, Генон, Эвола, Вирт) остаются практически неизменными. И последние

книги по сути повторяют первые. В отличие от идеалиста-мечтателя Мамлеева и анахорета Головина, Дугин не обладает талантом лирика или аскета. Не найдем мы в его трудах и оригинальной мысли. Он, прежде всего, популяризатор. Но как рождение в доме профессора психиатрии предопределило интерес Мамлеева к «темным сторонам» сознания, так рождение в семье генерала ГРУ предопределило страсть Дугина к мировым переворотам и «геополитике».

1. Пути абсолюта

Уже в дебютной книге «Пути абсолюта» (1990), представляющей собой свободный пересказ эзотерического учения Рене Генона (крайне замутненного темными потоками собственной эрудиции), страсть к «преображению мира» явлена в полной мере. Крайне темный стиль (подражание средневековым алхимикам), нагромождение непроходимых терминов, стремление не объяснить, а еще больше все запутать, делают чтение книги занятием нелегким, временами же оставляют ощущение тяжелого горячечного бреда. Вместе с тем книга позволяет хорошо понять дальнейшие трансмутации нашего героя. В ней как в истоке уже содержится все, что затем разольется бурным потоком писаний.

Начинает Дугин с описания уровней подлинной (непрофанной) Метафизики. Превыше Бытия и Небытия находится апофатический Первопринцип Абсолют. За ним следует Чистое Бытие (Брахма, наделенный качествами), в котором уже является двойственность и метафизическая Печаль относительно своей неполноты («*Есть нечто — выше Высокого*»), которую Чистое Бытие передает всем нижним метафизическим планам. Уровни Проявления и Становления Бытия мало интересуют настоящую Метафизику (которую по большому счету интересует лишь «*то, без чего нельзя обойтись*», «*необходимость*», т. е. Нереальный Абсолют, без всего остального обойтись в принципе можно). В другой универсальной метафизической паре Субъект — Объект только Субъект имеет значение (Объекты — это «капустные листы», Субъект — кочерыжка). «Инициация» заключается в истинном познании смерти Объекта и последующем «втором рождении» («*рождении свыше*») посвященного Субъекта.

Человек есть Вайшванара («Всечеловек»), сам Праджапати, «*тот, кто вращает колесо*», Король Мира, наделенный максимальной властью (синоним Возможности). Однако сам земной, человеческий мир не является чем-то центральным. В других секторах космоса есть другие формы *человекоподобных* и *недочеловекоподобных* существ. А Царю мира (Полюсному человеку) противоположен князь мира сего — антиполюсный античеловек.

Чтобы стать совершенным Королем Космоса, Королем Души и Королем Жизни, Богом, Чистым Интеллектуальным Светом — точкой, из которой исходят лучи, организующие все множество проявленных ми-

ров, — Световой Человек должен совершить Инициацию. Эта Божественная Инициация Световых Королей есть «Аскеза Богов».

Переходим к Полу. Цель брака — единство, покорение внутренней женщины через покорение внешней женщины. Потому мистерия брака — одна из самых священных и страшных, она приводит к реализации нового существа — Мужского Андрогина (Абсолютного Мужчины), полностью покорившего женскую сущность. Именно путем метафизического совокупления возможен переход от Великой Печали Принципа к Великой Радости Недвойственности, Адвайты. Это и есть Любовь — наибольшая из трех богословских добродетелей.

Принцип каст — один из самых универсальных в Традиции. Даже для богов смена касты возможна только через порог смерти. Три высшие касты имеют каждый свою инициацию (цель брахмана — полнота гнозиса; кшатрия — сакральный эротизм и «Великая внутренняя Священная Война», в отличие от «Малой Священной Войны» против врагов Религии; вайш (земледельцы, скотоводы, торговцы, артисты) — пробуждение тонких вибраций в грубых формах). Четвертая каста — шудры (слуги и рабы) — не имеет ни цели, ни инициации. Это чистая пассивность и инерция. Правда, причаститься инициации они могут косвенно, посредством высших каст. В стародавние времена существовали еще две касты: «Хамса» («Лебедь») — сверхчеловеков-андрогинов, Королей Мира, и «Чандалы» — воплощений низших демонов (асуры, якши или оборотни), наделенных иллюзорной химерой вместо души.

Наконец, переходим к Эсхатологии. Великая Печаль Чистого Бытия должна однажды кончиться, а Бытие и Небытие — вернуться к Нереальному Абсолюту. Путь Чистого Бытия сквозь Небытие и достижение им Нереального Абсолюта и есть эсхатология. В точке Абсолютного Конца должен появиться Спасительный Посланник, который «*сделает тайное явным*» (обнажит Трансцендентное и отменит имманентное). В иудейской традиции этим посланником является Мессия, в христианстве — Иисус Христос (во Втором Пришествии), в исламе — Махди (последний скрытый Имам в шиизме), в буддизме — Будда Майтрейя, в зороастризме — Саошьянт, в индуизме — Калки, десятый «аватара». Спасительный Посланник открывается в момент «Свершения всех Свершений» как Абсолютный Полюс Иного — трансцендентного. В то же время все имманентные аспекты соберутся в фиктивную иллюзорную фигуру Антипода (Дугин предлагает вглядеться в раннехристианский символ Амфисбены, Змеи с двумя головами: одна принадлежит Христу, другая — Антихристу).

Манвантара, в которой живет современное человечество, — особенная, последняя в цепи Манвантар Удаления, за которой должна последовать цепь из семи Манвантар Возврата. Поэтому нынешний Спасительный Посланник — главный в эсхатологической иерархии (шесть предыдущих были его «пророками», семь последующих будут его «апос-

толами»). Он есть «Священное Зеркало», дойдя до которого, поток Бытия поворачивает вспять. Поэтому Калки, десятый Аватара, «Воин с мечом на белом Коне», является центром истории, результатом всех прошлых Манвантар и сущностью всех будущих. Одно из его имен — «Совершенный Ребенок» — тайная цель Метафизики (в этом, как указывает Дугин, индуистская доктрина Калки полностью совпадает с исмаилитским учением о Кайиме и христианским представлением о Втором Пришествии Христа-во-Славе). Именно здесь, в конце седьмой Манвантары, в окружении разложившегося, хаотизированного и демонизированного мира, должна произойти Великая Мистерия «Свершения всех Свершений», самая важная и самая фундаментальная для всех уровней Метафизики, т. к. только она сможет ответить на эсхатологический вопрос «Зачем?», поставленный Великой Печалью Чистого Бытия.

Закончим на этом. Заметим лишь, что отрицая имманентное, то есть причастное к Бытию, телесное, Дугин отрицает тем самым и христианское Воскресение в теле, и христианскую Новую Землю. Не совсем ясно, что следует понимать под его «*Свершением всех свершений*». То ли это действительно «*Абсолютный Конец, за которым не следует возобновления цикла*», то ли индуистская «Маха-пралайя» — Великое Растворение, смерть Брахмы (который живет сто лет — 311 триллионов 40 миллиардов земных лет), после чего следует очередной виток «вечного возвращения»[15]. Похоже, Дугину хочется разорвать порочный круг индуистской мистики и признать Христа Абсолютом, но решимости сделать это ему не хватает. (Ведь тогда рухнет вся грандиозная башня «Традиции»!)

В переиздании книги 2000 года практически все христианское переосмысление доктрины заключается в замене имени Иисус на древлеправославное Исус. Вообще Дугин — это очень странный христианин. Не верящий в сотворение мира, не признающий его реальности, отрицающий «имманентное» Воскресение в теле, признающий дурную бесконечность «вечного возвращения» и уравнивающий Христа с Майтрейей, Калки, Махди и иудейским Мессией. Но еще удивительней, что все это нисколько не мешает ему позиционировать себя

---

[15] Согласно «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»), после смерти Брахмы космос прекращает существование, входя в тело Маха-Вишну. И по прошествии ста лет отдыха (то есть еще 311 триллионов 40 миллиардов земных лет) космос проявляется опять. Из тела Маха-Вишну вновь выходят бесчисленные вселенные, в каждой из которых рождается новый Брахма и начинается новый цикл Кальп. Нынешний Брахма находится на 51-м году своей жизни, и мир находится в Кальпе, называемой Швета-вараха. При этом Кальпа (день Брахмы) длится 4,32 миллиарда лет и делится на 14 Манвантар, продолжающихся по 306 720 000 лет (или 1000 Маха-юг — периодов по 4 Юги). По прошествии этого периода наступает ночь Брахмы, равная по продолжительности дню. Ночь Брахмы знаменует собой «малое» уничтожение мира и гибель дэвов.

«православным» и вести (еще совсем недавно) собственную программу на православном телеканале «Спас». А также являться членом Совета Всемирного Русского Народного Собора под председательством Патриарха Кирилла (!). А может быть, не так уж и удивительно. Ведь и в речах самих «держателей дискурса» официального Православия (прот. Всеволода Чаплина, да и самого патриарха Кирилла) «традиционалистские» тезисы доминируют[16].

---

[16] В программной статье «Пять постулатов православной цивилизации» («Политический класс», № 2, 2007) прот. Всеволод Чаплин утверждает: общество и государство должны иметь «духовную миссию»; общественный строй и экономика должны быть подчинены «*надмирным целям*»; православный социум должен помогать человеку «спасаться», все не спасительное должно быть «*ограничено, остановлено, лишено общественной поддержки*». Идеалом общественного устройства признается теократия. Утверждается, что христианин обязан быть хорошим гражданином любого государства (в качестве примера приводится лояльность «церковных авторитетов» римским императорам-гонителям, турецким султанам, Сталину и Гитлеру). Говорится о свойственной православной цивилизации «мощной приверженности идеалу единства народа и власти» («*Церковь, народ и власть — одно целое*»). Выше ценности «*свободы самовыражения*» признается ценность священных символов («*частиц неба на земле*»). Подчеркивается, что земная жизнь личности «*неотделима от соборного тела народа*», и доказывается приоритет общества над личностью, вплоть до следующего утверждения: «*Жертва своей (а в условиях защиты веры и Отечества даже чужой* (подчеркнуто мною. — *В. М.)) жизнью... — это норма поведения православного христианина*». Также постулируются существование православной цивилизации как самостоятельного центра «*правовой и политической культуры*» и необходимость создания международного сообщества православных стран и народов. Все остальное место статьи отдано обвинениям Западу за его гордыню, экспансию, релятивизм и проч. Все это почти целиком — тезисы «Евразийства» и «Геополитики», конечно, насколько возможно, смягченные.

В статье «Православный коммунизм как предчувствие», опубликованной на Портале Credo (http://www.portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=964), В. Можегов подробно анализирует доклад тогда еще митрополита Кирилла, сделанный в ноябре 2005 года на богословской конференции РПЦ МП, посвященной эсхатологическому учению Церкви, и делает вывод, что в богословских построениях докладчика происходит прямая подмена категорий свободы и этики, отрицается личность как образ и подобие Бога, отрицается единство (эклессия). На месте Церкви Христовой возникает смешанное государственно-церковное образование, в котором идеалы христианства скоррелированы с требованиями государства (причем симпатии отданы государству авторитарному), а на месте народа возникает некое послушное стадо, лишенное голоса и права выбора. Предлагается также четко сформированный образ врага, глобального и абсолютного, покушающегося на «*основы нашего бытия*» и наши «*традиционные ценности*».

2. Конспирология

Несомненно, «Конспирология» — наиболее личная и по большому счету самая важная из книг нашего героя, и в нее он вложил все силы своей беспокойной души. Здесь нашли отражение детские воспоминания и мечты, игры в солдатики и стратегические самолетики в отчем доме генерала ГРУ, уловленные детским ухом разговоры за чаем в компании отцовских друзей. Одним словом, эта книга — судьба. Суть ее в нескольких словах в следующем. Вся мировая история представляет собой схватку двух типов цивилизаций — сухопутных и морских (это и есть сущность доктрины геополитики). Морской тип создает «торгово-рыночную» либеральную модель цивилизации (примат экономики над политикой, индивидуума над общностью). Сухопутные — авторитарную, иерархичную (примат политики над экономикой, государства над личностью). Пример первых — Финикия и Карфаген, островная Англия, позже — «*гигантский остров*» Америка. Вторых — Рим, позднее — Российская Империя, Австро-Венгрия и Германия. В самом общем геополитическом плане «Атлантизму» противостоит «Евразийство».

Изложив принципы геополитики, Дугин переходит непосредственно к Конспирологии, предлагая посмотреть на парадоксы нашей истории с позиции «*оккультного геополитического дуализма*». После чего на страницах книги появляется некий Жан Парвулеско, представленный как гениальный французский писатель, поэт и метафизик, автор многих литературных и философских трудов, человек, лично знакомый с Эзрой Паундом, Юлиусом Эволой, а также многими выдающимися мистиками, масонами, каббалистами, эзотериками, тайными агентами, политиками и художниками (вероятно, альтер эго Дугина). Именно г-н Парвулеско, узнав о конспирологических интересах автора, любезно предоставил в его распоряжение полу-секретные документы, бросающие свет на подлинные реалии мировой истории. Оказывается, с незапамятных времен на земле ведут смертельную схватку между собой два оккультных ордена: Атлантический Орден «Танцующей Смерти», восходящий к древнеегипетским магам — почитателям бога Сета (Орден Женского Начала, Луны, Оргиастического Равенства и Земли Ночи — Запада), и Орден Евразии (Мужского Начала, Солнца, Иерархии, Гора и Аполлона, Земли Света, Рая, Империи, Надежды, Полюса и Востока). Представители обоих орденов жили и боролись в Красной России. Причем атлантисты группировались вокруг ЧК и Политбюро, а евразийцы — вокруг армии и ГРУ. Настоящим центром Ордена Танцующей Смерти, его прикрытием был КГБ (по сути — одна компания с ЦРУ). Ленин и Сталин были «евразийцами», Троцкий и его сподвижники — атлантистами. Пакт «Риббентроп — Молотов» стал выдающейся победой евразийцев, а 22 июня 1941 года — торжеством атлантистов. Хрущев был первым атлантистом у власти, но евразийцам (Брежнев) удалось его сместить. Афганская война

была инспирирована КГБ, чтобы дискредитировать армию и спровоцировать атлантическое вмешательство. Андропов — законченный атлантист — инспирировал появление Горбачева. С этого времени атлантисты торжествуют. Но исход Великой Битвы впереди: исход космологической войны Аполлона со Змеем Пифоном зависит от каждого из нас.

Этот первый самостоятельный плод воображения Дугина имел, вероятно, некоторый успех у той «*жидоедской патриотовщины*», которую Александр Гельевич вовсю окучивал в это время. Сам термин «конспирология» с его легкой руки прижился и вошел в политологический оборот. К судьбе этой книги мы еще вернемся, а теперь обратимся к следующим конспирологическим изысканиям.

3. Гиперборея

В книге «Гиперборейская теория» (1993) Дугин популяризирует другого великого учителя Традиции — Германа Вирта[17], одного из руководителей общества «Аненербе». Если Генона и Эволу открыл русскому читателю Головин, то Вирт составляет предмет особой гордости Дугина как первооткрывателя: «*Рене Генон и Юлиус Эвола поведали о Приморди-альной Традиции и полярном рае <...> Герман Вирт... открыл тайну тайн Изначальной Традиции, восстановил ее язык, открыл секреты древних рун, расшифровал послание Золотого Века*»... Прародиной человечества, согласно Вирту, является Гиперборея («Арктогея», «Северная Земля») — пра-материк на Северном полюсе. В этом полярном рае (и его столице Тулé) жила когда-то божественная раса королей и героев, счастливые предки золотокудрых голубоглазых арийцев. Эти дети Солнца, потомки Божеств, чуждые дурных помыслов, духа наживы, властолюбия и прочих недочеловеческих пороков, обладали абсолютным знанием и владели ангельским пра-языком. Если уж совсем начистоту, они были прямыми потомками Бога — Сынами Божиими. Душа пра-человека была конспектом Космоса, его мысль совпадала с мыслью Бога (что, собственно, и было изначальным нордическим «Христианством» — доктриной Логоса). Однако, вследствие изначального космического дуализма, в то же самое время на земле существовала и иная раса — раса людей-животных, бессловесных и безмозглых, населявших южный анти-континент Гондвану, где царили демонический хаос, смешение, инстинкт, эмоция и произвол. Религиозной миссией сверхчеловека было утверждение знания об этом изначальном дуализме. Это собственно и есть доктри-

---

[17] Герман Вирт (1885 – 1981) — голландский историк и мистик. В 30-х годах в Германии возглавлял исследовательское отделение организации «Аненербе». Работа Вирта в основном касалась поисков Атлантиды и разработки универсальной религии арийской расы. В 1937 году Гиммлер отправил Вирта в отставку и интегрировал «Аненербе» в состав СС.

на «Великой Традиции». Величайшее же значение Германа Вирта Дугин усматривает в том, что тому удалось расшифровать и восстановить утраченный алфавит райского человечества — единый нордический Язык, на котором говорили до Вавилонского смешения.

А вот как выглядит, согласно Дугину-Вирту, человеческая история. Когда-то климат в Арктогеи был мягкий. Но затем она начала замерзать и начался исход пра-расы ариев. Заселяя иные территории, бого-люди стали смешиваться со звероподобным населением Гондваны. Позднее Арктогея ушла под воду, а Гондвана раскололась на составляющие — известные сегодня материки. Оппозиция Север — Юг сменилась оппозицией Запад — Восток. В позднем палеолите (22 – 10 тыс. лет до Р. Х.) чистое арийское человечество сохранялось в Атлантиде (остатки прарасы оставались и в Арктогее). Евразия же была населена смешанными народами. После гибели Атлантиды начинается финальная драма праистории — затухание последних знаний райского человечества. Известная нам история — история агонии цивилизации и триумфа южных сил мрака. Но когда солнцеворот человеческой истории достиг точки планетарной полночи — триумфа абсолютного Юга, явился Сын Божий, Посланник Изначальной Традиции, призванный воскресить культовую память деградировавших наследников Гипербореи.

С помощью пра-языка Вирт расшифровал Библию и убедился, что вся левитская теология — лишь жалкие позднейшие пересказы изначальной гиперборейской Традиции, очередные в ряду других систем (индуизма, буддизма, а также греческой, иранской, славянской и германской мифологий). Ведь все это (а также мифы индейцев, малайцев, африканцев или океанцев) — лишь позднейшие отголоски изначальной Великой Традиции. Подлинное же нордическое Христианство есть откровение Севера, последняя благая весть Арктогеи, последний призыв, брошенный павшим ариям. Итак, Сын Божий явился в точке абсолютной ночи. И за спуском к Царству Тьмы должен последовать новый подъем, возврат к полярному, расовому и религиозному Единству. Наше время — и есть точка великого поворота.

4. Расовая теория

Расовая теория Дугина-Вирта весьма любопытна. Основанная на «теории каст» и зороастрийских культах, она близка «расизму духа» Юлиуса Эволы[18], а кроме того включает в себя много популярных све-

---

[18] Критикуя биологический расизм национал-социалистов, Эвола говорит, что евреи сами по себе, быть может, и не виноваты в том, что именно через них на мир воздействуют демонические энергии. «Духовное измерение» антисемитизма можно видеть и в «Майн Камф». Гитлер пишет о том, что арий есть высшее существо не из-за своего ума или культуры, а потому лишь, что способен на

дений из археологии и генетики. Вкратце теория такова. Арийскому Богочеловечеству на земле изначально противостоит демоно-человечество. Причем, если Бого-человек происходит от кроманьонца с первой группой крови (сегодня первая и вторая — модификация первой — группы чаще встречаются у европейцев, азиатов, индейцев Северной Америки), то звериная раса происходит от неандертальца с третьей группой крови (сегодня чаще встречается у африканцев, цыган и семитов). В анти-человеке вся божественность превращена в свою противоположность, это по сути дьяволо-человечество, лишь имитирующее и пародирующее человека.

Для иллюстрации этой теории Дугин приводит индуистский миф о происхождении каст. Если высшие касты (брахманы, кшатрии, вайши) рождаются из головы, рук, бедер и других частей тела Праджапати, то шудры — *из пыли под его ногами*, то есть из чего-то иного, нежели Он сам. Генетическая память шудр сохраняет воспоминание о своем неподлинном происхождении и порождает современную звериную форму самосознания бесо-людей — эволюционизм, дарвинизм и марксизм. Поскольку нордический человек относится к гондваническому «человеку» как Предмет к своему зеркальному отражению, то человек со смешанными «генами» (потомок противоприродного, патологического, греховного союза) сам в себе несет эту раздвоенность, само-отражаемость, само-рефлексию, порождающую в нем чувство сомнения, вины и первородного греха. Трагедия современного мира в том, что сегодня именно этот имитирующий мысль и слово человеко-зверь стоит в символическом «центре вещей», на царском месте космического Субъекта. Здесь-то и сконцентрирован максимум генного зла, «расового греха» против мироздания.

5. Мистерии Евразии

В книге «Мистерии Евразии» (1996) Дугин проецирует свою метафизическую географию в реальность современного мира. Атлантиду ни в коем случае нельзя отождествлять с Гипербореей, а Север — с

жертву ради высшей идеи. Еврей же — прежде всего эгоист, и отсюда все зло. Совпадают обе доктрины и в оценках марксизма. Эта «сорная» еврейская идеология возникла, согласно Эволе, не из-за социальных проблем, а из-за козней разных «демагогов», убедивших рабочих в том, что живется им плохо. То же повторяет и Гитлер, на десятках страниц «Майн Кампф» расписывая образ действий этих самых «демагогов»: еврейской прессы, еврейских банкиров и еврейских общественных деятелей. Воспев «метафизическую войну» светлых рас против народов, несущих черты темных сил, Эвола по сути сформировал идеологию СС — аристократического духовного рыцарства, касты кшатриев-воинов, духовных продолжателей дела короля Артура и его воинства.

Западом. В этом была коренная ошибка Вирта, предопределившая фатальную ошибку Гитлера (искавшего в англосаксах союзников, а в народах Евразии противников). На самом деле ад сегодня расположен именно на Западе, где, согласно сакральной географии, находится Страна Мертвых, откуда нет выхода для простых смертных. Эта страна лежит за Атлантидой, дальше к западу, это «мир смерти», «царство теней» — Америка. Дугин обнаруживает адский потусторонний аспект американского континента на долларовой банкноте: две вертикальные черты — изображения двух «столпов Геркулеса», стоящих, согласно преданию, на крайнем Западе за Гибралтарским проливом. Это граница — предел человеческой сакральной географии, за которым расположены уже «*нечеловеческие миры*». Америка, таким образом, — это инфернальная тень Атлантиды, поддельная, призрачная, химеричная страна. Подлинная же Гиперборея сегодня — это, конечно, Евразия (город Тула, например, явно тождествен гиперборейской столице «Тулé»).

Для подтверждения новой теории Дугин сочиняет следующую схему. Изначальной ориентацией человечества был Север (золотой век), затем Юг (серебряный век), потом Запад-Атлантида и, наконец, Восток — центр Традиции в железном веке (Кали-юге, длящемся 6 480 лет). Именно потому рай в традиционных доктринах располагается на Востоке (который хранит секреты Севера). Одновременно с пространственными перемещениями со «Священной Горы» он спускается в подземные регионы. То есть рай и Север следует искать сегодня не в полярных льдах Арктики, а в таинственных регионах Восточной Евразии и Сибири. Чингизиды были настоящими арийскими парнями (их отличительные признаки — голубые глаза и рыжие волосы). Именно нордический сакральный импульс заставил Чингисхана пробудить Азию к единству, начав с Монголии и Сибири — «золотого зародыша» Новой арийской Империи Рам (Империи Рая). Именно здесь должны развернуться решающие события конца Кали-юги. Все сегодняшние трансформации в России есть знаки времен, предвещающие близость развязки. Все народы Евразии, потомки великих строителей Империи Рам (Империи Рая), должны вспомнить о своем гиперборейском происхождении и «*белом обете*». Русская идея «соборности» (и «всеобщего равенства» у коммунистов) была выражением смутного осознания «*всеобщей посвященности*» нации как единого эзотерического братства. Русская душа (совокупность «*русских виртуальных посвященных*», мистическое тело «*Внутренней Церкви*») должна остановить стремительное падение в бездну, «*мгновенно*» бросить Россию в Духовные Небеса Святой Троицы и спасти нашу цивилизацию. Сегодня Россия полна таинственного ожидания Чуда, почти невероятной Победы Великого Солнца над темной силой Антихриста. Спаситель России будет гиперборейским Аватарой, который должен проявиться в сердце Священной Родины, как Всадник

на белом коне, как Воскресший и одновременно Вечный могущественный Сын Абсолютного Бога.

Следующая книга Дугина «Геополитика» представляет собой по сути зрелый, сильно расширенный и написанный строго научным языком вариант юношески-игривой «Конспирологии». Состоит она в основном из текстов «*классиков геополитики*» и описания их доктрин. На шестистах страницах излагается все та же идея о противостоянии Атлантической (морской) и Евразийской (континентальной) цивилизаций и утверждается главная мистическая задача России — сохранение и упрочение своей ядерной и военной мощи и создание Евразийского союза, противостоящего Западу. В этот союз должны войти все традиционалистские цивилизации — республики СНГ, Иран, Ирак, Сирия и Ливия (а, может быть, и Израиль): «*Построить магистраль Бонн — Токио, освободить Европу от американской политической, экономической и культурной оккупации*», «*освободить от Антихриста-США Японию и азиатских "тигров"*». И, конечно, «*всюду противостоять глобализации*».

6. Постфилософия

Одна из недавних книг Дугина — семисотстраничная «Постфилософия» (2009) — представляет собой курс лекций, прочитанных профессором на Философском факультете МГУ в 2005 году. Здесь мы также не обнаружим ничего нового. Мировая история делится на три основные вехи: Традицию, Модерн и Постмодерн (первая понимается как абсолют добра, вторая — как несомненное зло, третья — как абсолютное зло). Традиция есть «*всеобъемлющий, сверхчеловеческий, универсальный императив*», вне которого «*нет ничего реального*». И восходит она прямо к Божественному Истоку. Иерархия ценностей этой «*полной, универсальной и интегральной*» Традиции повторяет в целом структуру «Языческого империализма» Эволы. Ее Святая Святых («*высшим сакральным уровнем*») является эзотеризм посвященных; нижним уровнем — экзотеризм, обращенный к народу (стать «*совершенной землей*» для шудры столь же почетно, как стать «*совершенным небом*» для брахмана). Плюс сословная иерархия и «*сфера сакрального искусства и сакральных наук*». Человек в Традиции равен Богу (поскольку ее высшим сакральным проявлением является манифестационизм — истечение мира из Абсолюта). Креационизм необратимо и трагически разрывает тождество субъекта и объекта. Человек в креационизме уже не равен Богу, но еще может быть «спасен». В модерне человек становится равен сам себе (человек — мера вещей). В постмодерне человек окончательно исчезает.

Завершает книгу учение о Радикальном субъекте. Радикальный субъект — это Сверхчеловек, одинокий герой, возникающий «*на стыках парадигм*», победитель постмодерна, противостоящий разлагающемуся *сви-*

но-бесо-человечеству и весьма напоминающий героических одиночек из последних книг Эволы. Это великий маргинал абсолютного андеграунда, «правый анархист», инициированный, спасенный. Тот, кому в благоприятный момент (момент катастрофы) может представиться случай молниеносно устранить разрушительные силы постмодерна и спасти мир.

7. Политическая поэма (атипичный архангел)

Последняя на сегодня книга Дугина «Четвертая политическая теория» посвящена разработке новой политической доктрины. Поскольку консерватизм, фашизм и коммунизм проиграли, а либерализм, победив, мутировал в быт, потребительство и индивидуализм, идеологий в начале XXI века не осталось. Значит, миру необходима новая идеология. Что же это за новая идеология? Как можно было догадаться, это все то же, хорошо знакомое нам евразийство. Однако в главе, которая называется «Евразийство (политическая поэма)», содержится нечто новое и довольно любопытное. Это действительно поэма, и поет она вот о чем.

Есть четыре принципа евразийства. Первый принцип: народ есть абсолют и высшая ценность (Любовь, глобальная телесность и язык). «*Простое произнесение произвольно выбранного русского слова — это настоящая магия, колоссальное духовное делание, поскольку в сказанном слышится шелест и шорох фундаментальных вещей <...> Просыпаясь, следует говорить: "Я русский человек". Засыпая, подтверждать: "Вот, засыпает русский человек". Лишь это имеет значение*». (Кажется, что это написано Владимиром Сорокиным, но это написал Дугин.)

Русский человек абсолютен. Настолько, что смысл существования других народов пропадает. Народ кончается там, где начинается другой народ. Но поскольку русский народ бесконечен, он не кончается нигде. Смысл русского государства — отмахиваться от других, как от назойливых гадких мух. Оно должно быть агрессивным вовне и очень мягким внутри, чтобы не нарушить процесс национальной духовной эротической жизни народа (это называется эротический патриотизм).

Второй пункт поэтического евразийства гласит: Россия есть живое пространство, живая реальность, воплощенный дух земли. Поэтому ее нельзя делить, взять и сказать, например: «здесь будет Украина», — это будет насилие над законами жизни.

Третий пункт доктрины: Россия — это вечность. Евразийство утверждает, что времени нет, а есть вечность. Потому-то и все, о чем говорит евразийство, есть абсолютная истина, которую следует принимать без всяких критических размышлений. Принимать и повторять. На самом деле России нет, никогда не было и никогда не будет в настоящем. Россия — это иная реальность, идея, которая принадлежит не настоящему и существует помимо нас. Она может быть и есть, когда нас нет.

Нетрудно заметить, что первые пункты поэтического евразийства целиком стащены у Мамлеева. Вот откуда повышенная поэтичность текста — наш профессор нашел новый предмет выдохнувшегося было вдохновения. Но четвертая, главная суть евразийства с железной неумолимостью возвращает в ауру текста традиционные параноидальный и шизофренический мотивы. Главная суть евразийства в том, что оно есть путь с Запада на Восток. Европейцы — это заблудшие в аду души. Мы можем любить их только как неизлечимых больных, как прокаженных, как мерзавцев, преступников и мразь. Это особая евразийская любовь. Мы призваны перевести Запад в Восток, чтобы Запада не было, а был один сплошной абсолютный Восток.

В трактате Сохраварди описан ангел с очень странными крыльями. Одно крыло у него темное, а другое белое. Это *атипичный ангел* («атипичный ангел» — неплохо сказано! — *В. М.*), «*пурпурный архангел*», так как смешение чистого света и пылающей тьмы дает пурпур. Суть «пурпурного архангела» — переход от западного изгнания к вечному рассвету Священной Азии. Это и есть тайная сущность России, ее историческая, духовная миссия.

Очевидно, «Четвертая политическая теория» завершает духовную эволюцию Дугина. Традиционализм здесь целиком замещен «Евразией». Евразия целиком превращена в политическую религию, переходящую в дионисийский экстаз и священное безумие: «*Евразийство есть религиозное служение России. Евразийское учение — учение духовное,.. пророческая школа. Это точка слияния великих рек мысли. Совершенно самодостаточная доктрина, которая дает людям все: смысл жизни, энергию созидания и верную ориентацию любви*».

Интересно, что в книге «Абсолютная Родина» (2000) Дугин обращает в «третий путь» и само христианство: «*Христианство есть третий путь... Это и не креационизм и не манифестационизм*[19]. *Это нечто третье, самостоятельное, законченное, тотальное... Третий путь Церкви вбирает в себя и манифестационизм, и креационизм, не смешивая их и не делая между ними выбора*». А впереди — пурпурный атипичный ангел евразийства, указывающий мистический путь к алхимической Полярной Звезде, светящей во тьме постмодерна.

(*Продолжение следует*)

---

[19] Креационизм и манифестационизм — символически дешифруемые теории происхождения мира в эзотерической традиции. Космогония креационизма усматривает истоки Вселенной в одновременном акте творения Высшего существа. Космогония манифестационизма заключается в проявлении определенных аспектов высшего начала через эманационное самооткровение и самообнаружение (по материалам электронной энциклопедии «Символы, знаки, эмблемы»).

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике первого квартала 2010 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями (находя их в бумажной прессе и в Рунете), отличающимися либо оригинальностью и глубиной анализа, либо концептуальной четкостью, либо просто симптоматичностью. В этом обзоре предлагается изложение наиболее примечательных публикаций с сайтов chaskor.ru, ej.ru, forbesrussia.ru, gazeta.ru, grani.ru, gzt.ru, openspace.ru, slon.ru, snob.ru, specletter.com, svpressa.ru, а также постов в блогах и статей в бумажной прессе.

Тренды сложились, и в публицистике начала года мы видим в основном продолжение прежних тем и воспроизводство привычных подходов. В «Ежедневном журнале» **Дмитрий Орешкин** с позиций либерального патриотизма подводит итоги уходящего десятилетия (**«Итоги как сказка»**, 20 января). Посредством ряда примеров он показывает неэффективность путинской вертикали: *Следуя советской сказочной традиции, Аппарат стремится сгрести под себя все полномочия. Ему (как и в СССР) грезится, что так обеспечивается единство и повышается управляемость. Хотя с пользой для страны применять свои суперполномочия в условиях усложняющейся жизни он (как и в СССР) не способен. Да и не должен. На самом деле у него другая, совершенно не сказочная задача: утрамбовать страну под себя и удержаться в центре. Для чего он палаческим топориком аккуратно, по-доброму, ее обтесывает и упрощает. Под свой уровень компетенции. <...> Сталинский топорик проектировали и затачивали для максимально полного выкачивания ресурсов из территорий и населения под руку силовой диктатуре. Обильно рассказывая при этом сказки про народную власть, что само по себе есть часть технологии.* И совершенно неразумно, пишет Орешкин, с помощью того же механизма решать совершенно противоположную задачу и пытаться закачивать ресурсы в карманы граждан: *Так подводная лодка не слишком подходит для расселения бездомных офицерских семей. То есть в принципе попробовать можно. И даже снять духоподъемное северокорейское кино про то, как дружный коллектив офицерских жен... определяет, кому когда сушить пеленки у реактора. Пока мужья плечом к плечу сторожат Родину.* Понятно, что в конечном счете решить проблему таким образом все равно не получится. Вот и *приходится втюхивать согражданам про враждебное окружение, пятую колонну, необходимость в очередной раз сплотиться, дать отпор и преодолеть. Торговать вертикалью оптом и в розницу, как патентованным средством от облысения. <...> И правильно: не обманешь — не продашь.* Трудность, однако, в том, что, хотя современная версия системы тоже неплохо выкачивает

ресурсы, испарилась ее идейная начинка. Послесталинские начальники утратили самую *органику варварства... Нынешние вожди*, пишет Орешкин, *скорее по обязанности принимают державные позы, хмурят брови и играют желваками. А на самом деле обречены на скучный распил аккумулированных вертикалью средств: не пропадать же добру. Это объективно затрудняет процедуру опрессовки мозгов. Основной закон политэкономии социализма — неуклонное преобразование материальных ресурсов природы и общества в пропаганду и агитацию — начинает давать сбои.*

Далее Орешкин пишет: *Сказка, она тем и хороша, что неопровержима. Но для ее превращения в быль необходим тот самый топорик. И прокрустово ложе вполне варварской идеологии. На сегодня — что-нибудь вроде добротного исламистского экстремизма. Марксизм-то как тонизирующее притирание выдохся. Да и темного человеческого матерьяльца, готового ради бредовых проповедей предаваться взаимоуничтожению по классовым, национальным, религиозным или профессиональным признакам, слава богу, явный дефицит. <...> С другой стороны, в условиях заложенного большевиками и лично т. Сталиным векового демографического спада первое же обращение к топору будет означать переход от плавной деградации к финальному крутому облому: люди разбегутся. Им, увы, свойственно хотеть жить и не хотеть умирать. В этом различие между мертвой водой исламизма, чучхеизма, сталинизма и прочих тоталитаризмов с их мобилизующей проповедью «последнего и решительного боя»... и живой водой свободы. Собственно, и сегодня у нас утекает в год около 100 тыс. наиболее квалифицированных кадров. Почему-то все туда — в сторону свободы. Не в Китай и не в Иран. Интересный баланс: сколько внутри прирастает государевых людей, столько наружу выливается частных мозгов. Тенденция, однако. Так что дальше державных сказок дело едва ли пойдет: ресурсов нет. Будем и далее гнить в режиме «ни туда, ни сюда».* Хотя, предупреждает Орешкин, *отчаянная попытка вернуться к мобилизующему топору почти наверняка должна состояться. Они же чувствуют, как утекает контроль и расползается социальная поддержка. Попытка провалится: позитивные функции топора мифогенны. Но на пути к этой простой истине ничто не помешает им искрошить достаточное количество народа.*

Другой красноречивый итог десятилетия — пуск нефтяной трубы. *Выбор в принципе тот же, что в конце НЭПа — начале коллективизации,* — пишет Орешкин, *— либо экономическая эффективность, кулаки-буржуи и оскорбительная необходимость считаться с их интересами; либо госмонополия, силовое изъятие ресурсов, несопоставимые человеческие и хозяйственные издержки, но зато — неограниченная орлиная вертикаль и вокруг покорная страна как военный лагерь. С вождем и жрецом новой глобальной религии в центре. Не подумайте дурного — исключительно в интересах широких народных масс и исторического прогресса. Все номенклатурное и сегодня подается у нас как общенародное и патриотическое. Старая сказка о главном.* Орешкин приводит самый красноречивый пример. Просим извинить нас за длинную цитату: *В 2003 году активно обсуждается проект нефтепровода частной компании*

ЮКОС. Бюджет — 5,6 млрд долларов, срок сдачи в эксплуатацию — 2006 год. Тут хозяина частной компании г-на Ходорковского сажают. Проект передают под государеву руку госкомпании «Транснефть». Цена выросла до 7 млрд, срок ввода отодвинулся на год. Потом контора меняла начальство, а В. В. Путин под телекамеру менял трассу. Цена превысила 8 миллиардов, срок сдвинулся еще на год. В конце 2008-го президент Медведев настойчиво интересовался у нового начальника «Транснефти» генерала ФСБ Токарева, почему трубы до сих пор нет. Цена была уже около 11 миллиардов. Ответа не последовало. Зато последовал визит в Китай вице-премьера Сечина, который взял там в долг под строительство еще 25 миллиардов. С государственным обязательством расплачиваться нефтью по непонятной, но, похоже, заниженной относительно рынка (невыгодной нам) цене. И вот наконец пуск. Новый год, красная ленточка, шампанское. Премьер сквозь зубы назвал стоимость — 12 млрд долларов. Плюс еще 2 млрд на строительство порта Козьмино. Минус то оставшееся за скобками обстоятельство, что от Сковородино до Козьмино нефть по-прежнему будут пока возить цистернами по железной дороге — 2100 км. <...> Что ж, неплохо. Подведем итоги с державной трубой. В два раза дольше, в два раза дороже. Плюс на шее государства длинный и невыгодный нефтяной долг. Минус недострой в 2100 км. Зато все под полным контролем. Такая сказка. Или, как у них принято говорить, легенда. Народонаселение по-советски радо, что прищучили богатенького капиталистического буратину. Ему, народонаселению, в диковинку, что за тот же срок и по той же цене страна могла бы получить два нефтепровода. Причем, с точки зрения госбюджета, бесплатно. Что означало бы больший объем ВВП, большее число рабочих мест, большее геостратегическое влияние России (уж коль мы взялись строить «энергетическую сверхдержаву»), больший объем налоговых поступлений в федеральную и региональную казну. И, самое главное, большую освоенность сибирских территорий, которые задыхаются от дефицита экономически активного населения и инвестиций. Но! Все это одновременно означало бы усиление частного капитала при ослаблении номенклатурной вертикали и централизации. Поэтому не дождетесь...

Орешкин задает вопрос: *Может, свернуть ее, эту вертикаль, да и в чулан, как искусственную елку?* И сам на него отвечает: нет, не дадут. *Будем водить хоровод, пока сама не рухнет. Опять. На то у них тьма дедов морозов с погонами и снегурочек с центрального телевидения. Но за чей счет праздник? Как здорово, что Ходорковский сидит, Чичваркин в бегах, а трубным бизнесом и телефонами ворочают верные государевы люди. Как восхитительно, что свои риски, долги и ошибки они вешают на шею госбюджету. Как славно, что конкуренты за это же время и за такие же деньги успели сделать вдвое больше. Как замечательно, что номенклатурный бизнес распространяется все шире: Гунвор, РЖД, Газпром... Как вдохновляет, что теперь ментам будут платить исключительно из федерального бюджета. Они от этого прекратят брать взятки, крышевать рейдеров, бить сограждан и продавать оружие бандитам. Тому порукой подполковник Путин и майор Евсюков. Им бы еще год простоять*

да пять продержаться. А там, глядишь, и Красная армия подойдет. Из республики Науру[1]. А может, подойдет что-то другое — на мягких лапках.

Продолжается обсуждение вопроса, возможна ли модернизация экономики без политических перемен, а также, насколько возможны эти самые перемены. Оживление вызвал направленный президенту 65-страничный доклад Института современного развития, считающегося «мозговым центром» команды Дмитрия Медведева, **«Россия XXI века: образ желаемого завтра»**. Доклад, под которым стоят имена **Игоря Юргенса** и **Евгения Гонтмахера**, написан в жанре эссе. Вот как выглядят идеи авторов в изложении Газеты.Ru (3 февраля).

Доклад отталкивается от неизбежной необходимости экономической, политической и социальной модернизации России. Ситуацию, в которой объявлена модернизация, эксперты оценивают как *«сложнее, чем кажется»*. Новый *модернизационный рывок* предстоит совершить в условиях, когда *слишком многое располагает к инерции и загниванию — начиная с конъюнктуры на сырьевых рынках и заканчивая настроениями в политике и уверенностью власти в своей способности управлять массовым сознанием.* Тем не менее шанс модернизироваться есть, считают эксперты. В противном случае возможны *экстремальные сценарии* будущего: экономический коллапс, консервация технологического отставания, социальная напряженность из-за невозможности выполнения государством социальных обязательств, глубокий политический кризис, рост центробежных тенденций, утрата важных геополитических позиций на международной арене и качественная депопуляция. По мнению авторов доклада, экономическая модернизация должна строиться на политической: *полноценные модернизации постиндустриальной эпохи в условиях несвободы в принципе не реализуются.*

Центральное место в докладе занимает описание необходимых политических перемен. Ключевой раздел доклада — «Россия. XXI век. Полдень» — описание страны после успешной модернизации. *Когда-то в XXI веке* Россия отказалась от внесенной Медведевым правки Конституции:

---

[1] Напомним, что, как сообщалось в прессе, Республика Науру (площадь 21,3 кв. км, население около 15 000 чел.) в конце 2009 года получила от России кредит $50 млн на *«реализацию социальных программ»* после признания независимости Абхазии. Науру — одна из беднейших стран Полинезии и Микронезии. Коралловый атолл был богат фосфоритами, но их запасы истощились. Добыча фосфоритов не позволяет Науру зарабатывать на туризме, так как с экологией на острове неважно: из-за фосфоритов уничтожались почва и растительность. Еще недавно Науру зарабатывало, торгуя «паспортами инвестора». Под давлением США и Межправительственной организации по борьбе с отмыванием капитала ФАТФ местные власти запретили деятельность офшорных банков. Министр иностранных дел Науру Кирен Кеке отмечал, что, кроме признания молодых закавказских республик, его государству больше предложить нечего.

сроки полномочий первого лица и парламента сокращены до 5-ти и 4-х лет соответственно. Существует реальная многопартийность. Ядром политической системы являются две партии — условные правоцентристская и левоцентристская, между ними реальная конкуренция, побеждают то одни, то другие. Избирательная система смешанная. Отсекающий барьер снижен до 4%. Сенаторы избираются всенародно. Губернаторы регионов также избираются населением. Процедура регистрации НКО стала полностью уведомительной. На телевидении исчезли монополизм государственных каналов и цензура. В социальном смысле Россия превратилась в привлекательный рынок труда — не только для гастарбайтеров, но и для возвращающихся «мозгов». В экономике участие государства снижено до 30% ВВП. Инфляция не выше 3%, рубль стал международной расчетной валютой. Легитимность собственности закреплена не только словами. Армия полностью переведена на добровольную основу, численность войск сокращена. МВД ликвидировано, его главным правопреемником стала Федеральная служба криминальной полиции, которая борется с уголовными преступлениями. Муниципальная милиция отдана органам местного самоуправления. *Функции давно ликвидированного ГИБДД разделены между региональной полицией, муниципальной милицией и гражданской службой дорожного движения, занимающейся контролем техсостояния автомобилей, выдачей прав и методическим обеспечением организации дорожного движения.* Внутренние войска стали Национальной гвардией и подчинены президенту. *ФСБ упразднена. Воссоздана Федеральная служба контрразведки*, занятая борьбой с иностранными разведками и защитой государственной тайны. *Создана Федеральная служба по охране Конституции. Она отвечает за предупреждение и пресечение терактов, реагирование на угрозы сепаратизма, борьбу с незаконными вооруженными формированиями.* Произошли перемены и на международной арене: Россия стала видным членом ВТО и ОЭСР и *успешно завершает переговоры о вступлении в изменившуюся НАТО.* В Европе действует новое соглашение о безопасности («Хельсинки-2»). С ЕС поддерживается стратегическое партнерство. СНГ сохранилось, и Грузия в него вернулась, поскольку содружество из *клуба глав государств* превратилось в *эффективный координатор связей.*

Однако чтобы описанное не оказалось утопией, шаги ко всему этому должны быть сделаны уже сейчас во всех сферах разом. Ближайшей задачей авторы доклада называют *перезапуск механизмов политической конкуренции.* Сигнал же для этого должна послать действующая власть. И т. д., и т. п.

О разных сценариях политических перемен **Евгений Гонтмахер** рассуждает и в интервью русскому «Forbes» (**«Путин и Медведев должны сами себе вырезать аппендикс, без наркоза»**, 27 февраля). Мы живем в условиях мягкого авторитарного режима, говорит он, и *вернуться в демократию без революций и потрясений очень сложно.* Против революции Гонтмахер, конечно, возражает, понимая к тому же, что никакой революции сегодня и не осуществить: *Выйти на улицы и устроить марш несогласных — проблемы нет. Но это ничего не поменяет.* Поменять могут только Путин с Медведе-

вым: *эти два человека держат два ключа от начала модернизации.* Для них же это — что вырезать себе аппендицит без наркоза: *они же понимают, что, если немного раскрутить гайки, их могут просто сменить.* Но угроза потерять власть — это еще не все: *в рамках демократических процедур* и *независимой судебной системы к ним могут прийти и спросить за прошлое.* Однако демократические перемены необходимы, поскольку ситуация готова вот-вот разразиться конфликтом. И если бездействовать, неминуемо произойдет социальный взрыв, и тогда события уже полностью выйдут из-под контроля Путина с Медведевым. *Так что лучше вовремя начать неизбежный процесс, чем получить развал и поставить свою жизнь под угрозу.* По мнению Гонтмахера, нынешние руководители должны передать власть следующему поколению демократическим путем. Однако следует предусмотреть (и даже законодательно прописать) очень многое. *Нужно заключить соглашение между всеми политическими силами о том, что общество обязуется не предъявлять жестких требований по отношению к определенной группе лиц. Кроме каких-то бандитов.* И ни в коем случае, предупреждает Гонтмахер, нельзя проводить люстрацию: *Сейчас заканчивается перераспределение ресурсов от участников приватизации середины 1990-х к новым олигархам. Их мало кто знает, но они имеют достаточно большие состояния. Нельзя требовать, чтобы у них была отнята собственность.* Должны быть гарантии — и гарантии международные. *Надо убедить общество. Оно очень нетерпимое, слишком много негатива, желания кого-то раскулачить.* Далее Гонтмахер замечает: *Очень многим людям — технической интеллигенции, предпринимателям, экспертам... надоела эта атмосфера застоя и деградации, вся эта мелкая коррупция, унижение человеческого достоинства. Мы должны запустить процесс управляемого взрыва. И если это будет правильно сделано, то через 5 — 10 лет мы сможем увидеть плоды наших дел. Если делать через пень-колоду, все затянется лет на 15 — 20. Если же не делать ничего, то мы демократии, возможно, вообще никогда не увидим.* Конечно, пишет Гонтмахер, *мы не можем надеяться на полную демократию завтра. Но послезавтра может наступить довольно быстро.*

Владислав Иноземцев считает подобные идеи утопическими и к докладу ИНСОР относится весьма скептически (**«Анти-Юргенс»** — «Частный корреспондент», 5 февраля; полезный деталями вариант — «Московский комсомолец», 8 февраля). Иноземцеву вовсе не очевидно, что либеральная демократия эффективнее госрегулирования. Более того, он указывает, что демократические режимы в экономически неуспешных странах крайне редко оказываются стабильными и устойчивыми. Кроме того, пишет он, *либеральные демократии с гораздо большей вероятностью вырастают на основе либеральных автократий, чем нелиберальных (фиктивных) демократий.* И такие *либеральные автократии* на рубеже XX—XXI веков демонстрируют крайне высокую экономическую эффективность. К тому же всяческие попытки «*экспорта демократии*» в общем и целом потерпели провал и вряд ли нуждаются в возобновлении.

Далее Иноземцев пишет: *ни одна страна мира пока не совершала постиндустриальной модернизации*, за которую ратуют авторы доклада. *Напротив, в постиндустриальном обществе, где... человеческий капитал становится главным ресурсом, никакие резкие скачки и «ускорения» по сути своей невозможны.* Иноземцев указывает, что возможны только две формы «*современной модернизации*»: это либо *индустриальный прорыв* в условиях напряжения сил, либо естественное развитие лидирующих стран, то замедляющееся, то ускоряющееся вследствие объективных циклов технологического и инновационного развития. Иноземцев далеко не уверен в том, что, как сказано в докладе ИНСОР, «*нынешнее состояние мозгов в нашей стране все еще теоретически допускает вхождение России в пул [стран] с высокопроизводительной интеллектуальной активностью*». Ничего подобного, пишет Иноземцев, в современных условиях эта задача невыполнима. «*Экономика знаний» нигде в мире не возводилась иначе как на фундаменте комплексной индустриальной экономики.*

Будущая Россия видится Иноземцеву в роли индустриального придатка Европы. Считая, что обновление политической системы — вещь крайне важная, он особо подчеркивает, что основой модернизации может стать лишь устойчивый экономический рост, обеспечиваемый на несырьевой основе. *Единственным источником такового*, — пишет он, — *я вижу развитие промышленного потенциала страны и становление России либо в качестве конкурента поднимающихся индустриальных экономик (Кореи, Малайзии, Китая, Бразилии), что маловероятно, либо в качестве «индустриального придатка» Западной Европы, что выглядит гораздо реалистичнее.* Иноземцев пишет: *привитие ценностей демократии* не будет успешным *в условиях затяжного экономического кризиса и нарастающего ощущения безысходности.* И наоборот, *не случайно сегодня даже западные авторы... признают, что в начале XXI века средоточием «культуры надежды» выступает не демократическая Европа, а авторитарная Азия. Сегодня в условиях не только глобализированного, но и экономизированного мира базисом для надежды является устойчивый хозяйственный прогресс. А условием его — четкое технократическое руководство экономическими процессами.* Иноземцев убежден, что российская модернизация, если она вообще произойдет, начнется с экономики, а не с политических перемен. Он считает, что авторы доклада ИНСОР смотрят на дело слишком оптимистично: они допускают «постиндустриальную» модернизацию и считают демократизацию «драйвером перемен». *Сегодня*, — пишет Иноземцев, — *на запад и восток от валяющейся в нефтяной луже России находятся гиганты, по объемам ВВП превосходящие ее в 10 и 5, а по количеству населения — в 3 и 11 раз, а значительная часть интеллектуальной и предпринимательской элиты давно нашла себе «приемлемое завтра» по другую сторону границы. Союзничество же с Россией в наши дни не нужно никому, кроме нее самой...* И не стоит грезить о былом величии и ставить перед собой недостижимые цели. Полезнее помнить, что «*маленькие шаги могут принести большие результаты*». *Нужно попытаться снять страну с сырьевой*

иглы и сделать ее индустриально развитой державой с открытой миру либеральной экономикой и свободной конкурентной средой. И именно это, — а не политическая либерализация, — должно стать основной задачей страны на ближайший отрезок времени. Иноземцев пишет: *Нет ничего более полезного для укрепления авторитаризма в условиях грядущего экономического подъема, чем допущение демократизации в условиях нынешнего хозяйственного спада. Сегодня российские либералы должны требовать не демократии, а модернизации. Мы когда-то слышали, что для нее якобы нужны деньги, вертикаль власти и отсутствие «неконструктивной оппозиции». Все сейчас в наличии. Господа путины, шуваловы и грызловы — все карты у вас в руках. Не болтайте о демократии! Делайте модернизацию! Корейскую, китайскую — любую, на какую способны. А если не способны ни на какую, пусть ее реализует президент Д. Медведев — но не с «гуманитариями» из ИНСОРа и не с бывшими кагэбистами, нежданно ставшими «компетентными менеджерами» и «эффективными собственниками», а с российскими или западными технократами — типа тех, кто за несколько десятилетий сделал соседствующие с Россией страны движителями мирового экономического роста, на деле, а не на словах приблизив их к «желаемому завтра».*

Михаил Делягин (**«Медведева захватят, как в свое время Горбачева»** — сайт «Свободная пресса», 5 марта) уверен, что *модернизация в России не может осуществляться либеральными силами*, потому что модернизация — это борьба за рынки и, следовательно, не обойдется без конфликта с Западом. А, согласно логике Делягина, *либералы на конфликт с Западом идти не могут.* Более конкретна мысль о том, что нынешняя модель государства *подразумевает личное обогащение — грубо говоря, разворовывание ресурсов.* То есть государственные люди *не будут заниматься развитием, независимо от того, высокие цены сейчас на нефть, или низкие. При высоких ценах они будут подкармливать население для обеспечения стабильности, при низких — заниматься репрессиями. Но мысль о развитии им в голову не приходит, у них другие цели в жизни. Развитие — это инвестирование денег, которые можно украсть. А зачем это делать?!* Доклад ИНСОР Делягин приветствует по принципу «нет худа без добра»: *Это попытка ослабить Путина, захватить Медведева, как захватили Горбачева во второй половине 1980-х годов, и сделать его своим главным ресурсом. Это хорошая, грамотная стратегия.* Если подобная стратегия возобладает, она *довольно существенно приблизит системный кризис и соответствующие события*, которых, как можно понять, автор и поджидает.

Подвергнув текст доклада пристальному чтению, **Георгий Сатаров** усматривает в нем *композиционную неряшливость, несоразмерность частей и сюжетов* (**«Изгнание в рай»** — «Ежедневный журнал», 12 февраля). Он указывает на то, что доклад не содержит сколько-нибудь серьезного диагноза ситуации, в которой находится страна. Вследствие чего *зияющие пустоты* появляются и в самой программе. *Фактически,* — пишет автор, — *нам предлагают лечение без диагноза.* Вскрывает Сатаров и причину подобной странности. Отчего, спрашивает он, в докладе сколько-нибудь серьезно не отражена даже про-

блема коррупции? А ответ предельно прост: *Авторы имеют несчастье работать в условиях резервации, имеющей четкие границы. Внутри нее возможен более или менее честный разговор. Вне ее — невозможен.* Разбирает Сатаров и другие умолчания и приходит к выводу: реальный диагноз невозможен, когда *множество важных тем находятся за пределами зоны допустимого обсуждения.* К тому же *честный диагноз может перечеркнуть актуальность темы модернизации, поскольку будет больше походить на патологоанатомическое заключение. Такое ощущение может возникнуть у читателя. Хуже того, оно может возникнуть у составителей доклада. А это уже — шизофрения. Какая тут модернизация, когда надо защищать право людей на жизнь или спасать целостность страны.* Сатаров завершает свою статью так: *в той России, которую предложили нам авторы доклада, нет места ни Путину, ни Сечину, ни Суркову и им подобным; я и Медведева там слабо различаю. В этой России нет места разворовыванию страны, захватам чужого бизнеса, беспредельному насилию и хамству со стороны власти, беспардонному и наглому растлению людей посредством монополии на информацию и пропаганду. И в этом смысле доклад является явным вызовом нынешней бюрократии всех уровней, начиная с высшего. А это тоже важно.*

Не верит в решительные сдвиги **Дмитрий Быков** (**«Апология болота»** — GZT.RU, 5 февраля). Юргенс и Гонтмахер, пишет он, дают утопическую картину будущего *в рамках девяностнического эвфемизма «достойная жизнь».* Хорошо, конечно, пишет Быков, что авторы доклада приглашают всех к общественному обсуждению и что у них есть резонные, хоть и косметические предложения. Однако к самой идее обсуждать доклад он относится весьма скептически. По его мнению, участники дискуссии должны одновременно а) желать перемен, б) трезво осознавать ситуацию и в) надеяться на Д. Медведева как исполнителя модернизационной программы. *Не сказать, чтобы эти требования выглядели вовсе взаимоисключающими,* — иронизирует Быков, — *но все же их сочетание экзотично. Вытащить себя за волосы из болота — задача не слишком реалистичная...* К тому же, замечает он, авторы доклада даже и не пытаются понять, *почему это болото с редким постоянством образуется на том же самом месте.* Далее фаталист-детерминист и пессимист Быков вдосталь предается аналогиям современной России (и России вообще) и болота как специфической биосферы. *Русское общественное устройство таково, что любая попытка поступательного развития немедленно приходит в противоречие с государственным устройством (читай: с экосистемой болота) и приводит к социальному взрыву, в результате которого в упрощенном виде устанавливается статус-кво.* Автору мечтается только *оптимизация жизни в упомянутом болоте, чтобы одна половина его фауны не слишком быстро уничтожала другую, а торф продолжал образовываться прежними темпами. <...> Тогда болото приобретет комфортный и в некотором смысле цивилизованный вид.* В частности, Быков приветствует горизонтальные связи и неформальные сообщества и вменяет государству долг советоваться с таковыми. Согласен Быков и с тем, что русским нужна

великая и неосуществимая задача. *Строить на болоте многолетние великие прожекты нельзя, но представить само болото таким прожектом можно, и в этом не будет преувеличения. <...> Нужно уметь сформулировать прекрасную непрагматическую задачу вроде полета на Марс и разбудить одиноких гениев, способных добиться подобного результата быстрее, чем на прагматичном Западе или на фанатичном Востоке.* И финал: *Если мы действительно верим, что вступили в эпоху мягкой силы, нам надо для начала научиться изучать (на основе фольклора, блогов, социальных сетей), а главное — любить то, что у нас есть. Перефразируя Уоррена, мы должны построить рай из того, что под руками, ибо ничего другого не дано. Болото только выглядит хаосом — на самом деле это гибкая, сложно организованная, изощренная система. И устоять на нем способно только то, что построено с учетом его законов. Подмораживать или разогревать его бессмысленно. Надо решиться либо раз и навсегда от него избавиться, либо осознать его как единственную реальность и сделать уютнее любой воды или суши.*

В последнее время обратил на себя внимание даже президента блоггер **Максим Калашников**, взгляды которого некоторыми квалифицируются как неофашистские. Образчик его творчества — статья **«Единство белой расы: вредный миф»** (http://m-kalashnikov.livejournal.com/360941.html#cutid1, 11 марта). В ней он полемизирует с национал-демократами и антикоммунистами, каковым для начала дает суммарное определение *ублюдки.* История, пишет он, не знает примеров расовой солидарности белых арийцев. *Вся история — начиная с седой древности — полна примерами того, что белые люди-арийцы воевали в основном друг с другом. <...> Так где же вы, придурки-«чисторасы», обнаружили пресловутую солидарность белой расы? Ее никогда не наблюдалось. Ни в дохристианские времена, ни в христианские, ни в постхристианские. Русских Запад ненавидел всегда: и до того, как мы построили империю, и после того. Мне скажут, что сегодня, когда белые Запада угасают и стареют, рожая мало детей, когда мусульмане бурно плодятся, все может измениться. Не изменится! Западные народы стыдятся своей «белизны». Они шарахаются от слова «арийский». Они уже утратили жизненную энергию и попросту вымирают. Они утратили дерзновенный творческий порыв и боятся идти в посткапиталистическое Будущее, превратившись в тупых, зажравшихся обывателей. (Конец Европы уже виден). Но при этом они продолжают ненавидеть русских.* Расовому единству с белой Европой и языческой демократии Калашников противопоставляет *верность собственному народу. Русской цивилизации. Русскому единству. И нашей великой многонациональной державе! Той, что распалась в 1991 г. — но должна воссоединиться в русский союз. РФ + Украина + Белоруссия + Приднестровье + Казахстан. <...> Альтернатива — мир русского Третьего проекта. Новой Империи — империи футурополисов, сверхлюдей, нейросоца, Шестого техноуклада. Империи, где правят низкопримативные пассионарии-творцы, где коррупция безжалостно уничтожена новой опричниной, которая опирается на местное самоуправление и быстро захватывает всю страну, становясь Новой Реальностью. Это*

империя Диктатуры развития, уступающей затем место деливеративной демократии — нейросоцу. Страна, где люди свободны, живут в своих домах и заводят минимум троих детишек. Страна, где решены те проблемы, которые не может решить Запад. Империя, рвущаяся в космос и глубины океана, колыбель сверхлюдей. Империя, соединяющая национальное, социальное и технократически-инновационное. Только построив такую Империю, мы втянем на свои огромные пространства самые здоровые элементы из Европы. Они придут селиться у нас, через поколение став русскими. Тогда и Европа запросит нашего союза. Тогда — реально став лидером белого мира — русские смогут принести ему некое единство. Но — уже по нашим законам, где мы — главные. Ну прямо как в мечтах Дмитрия Быкова — великая и несбыточная задача!

Евгений Ихлов в статье **«Заговор неравных»** в «Ежедневном журнале» (30 января) называет «модернизацию» Д. Медведева (беря в кавычки самое слово «модернизация») естественной реакцией на процессы *социального некроза, на отмирание остатков советской социально-экономической системы.* Прогнозы Ихлова неутешительны. *Скорее всего, нас ждет полноценное второе издание шокотерапии: неизбежный всплеск безработицы, закрытие «бесперспективных моногородов» (столь же драматическое, как и закрытие «бесперспективных деревень»), новое социальное расслоение, размывание среднего класса, банкротства предприятий, появление зон застойной бедности и добровольно-принудительной трудовой миграции.* Сегодняшнее состояние общества характеризуется «*путинским консенсусом*», который породили «тучные годы». Смесь обеих великодержавных традиций — сталинской и царской — прекрасно дополняла годы «*золотого застоя*». *Базой служил легкий ностальгический сталинизм, имеющий хорошую перспективу стать парагосударственной идеологией.* Однако настали «тощие годы», которые требуют отказаться от *мифологии «всенародного единства»* и возрождают *позднеперестроечную борьбу «прогрессивных реформаторов» и «реакционного большинства».* Ихлов предупреждает: *Большинством населения России «модернизация» будет восприниматься как настоящая тирания. И как всякая уважающая себя тирания, она будет себя защищать — последовательно и беспощадно.* По мнению Ихлова, основой политической стратегии Кремля в последующие годы будут *идеологическая легитимация «касты» модернизации и демонизация ее противников; блокирование любых серьезных возможностей появления коалиции левых и либеральных сил.* Очевидными элементами такой контркоалиционной стратегии являются: *изоляция, дискредитация и уничтожение не сектантских по духу радикальных инициатив, как среды, в которой происходит естественная конвергенция левых и либеральных идеологем; поощрение сектантства у радикалов и антирадикализма у умеренных; создание взаимного «образа врага» в каждой из больших общественных групп.* Симптом этой стратегии Ихлов видит в легитимированной Медведевым десоветизации: *Видимо,* — пишет он, — *принято окончательное решение перевести ностальгический сталинизм на почетную и ответственную роль фундаменталистской идеологии жертв «модернизации», а также левой оппозиции.* То есть *потенциальные жертвы модернизации и*

их защитники маркируются/клеймятся сталинизмом — изображаются последователями невежества, деспотизма и жестокости... В итоге подавляемые «сталинисты» («левые сталинисты») не будут вызывать сочувствия, их отсекут от демократической оппозиции, не приемлющей сталинизм в любом виде. Высоким же придворным статусом будет наделена «Доктрина "медведевского большинства". Далее Ихлов находит только одну антисталинскую традицию, никак не связанную ни с либеральной, ни с правозащитной идеями и *имеющую потенциал для героизации.* Это — «власовская традиция». *А поскольку,* — пишет Ихлов, — *сам генерал и его военное окружение идеологами не были, а брали готовые заготовки у НТС, то это — «солидаристская традиция». Традиция не реализовавшейся в XX веке русской консервативной революции, потенция российского муссолинитизма и франкизма.* Но с чего бы вдруг солидаризм, идейно пересекающийся с персонализмом, должен быть сведен к версии русского фашизма? Разве что вследствие умысла властей... Других существенных оснований для этого мы не видим.

Александр Скобов (**«Страшная тайна олигархии»** — Грани.Ру, 25 февраля) соглашается с Ихловым: *Нефтяная халява позволила клептократической олигархии в течение еще одного десятилетия продолжать обогащаться «экстенсивно», не только не усиливая эксплуатацию, но и кое-что подкидывая с барского стола социальным низам. <...> Это и составило материальную основу «путинского консенсуса». Позволило обойтись сравнительно мягким авторитаризмом, обшитым парламентскими декорациями «управляемой демократии». Но это время кончается, ибо, как пишет Ихлов, «тощие коровы быстро дожевывают семь своих тучных предшественниц». У олигархии остается единственный способ дальнейшего обогащения. Тот самый. Заставить народ работать больше, а потреблять меньше. Естественно, это вызовет сопротивление «косного большинства».* Сам Скобов предпочитает революцию реакции. *Конечно,* — пишет он, — *в точности предсказать, как будут развиваться события, невозможно. Одно ясно. В условиях реального обострения социальных противоречий путинская «управляемая демократия» функционировать не сможет даже в облагороженном по инсоровским лекалам виде. Либо правящая олигархия будет отстранена от власти «буржуазно-демократической» революцией, которая не только проведет радикальную либерализацию политической системы, но и выправит «социальный перекос», либо, если победит олигархия, установится ее открытая террористическая диктатура. Конечно, революции — вещь непредсказуемая и опасная. Но риски, связанные с революцией,.. однозначно предпочтительнее «железной пяты олигархии»...* Поскольку в противном случае *будет не модернизация, инновация и торжество среднего класса, а дальнейшая социальная деградация и окончательная гибель самобытной российской цивилизации.*

В статье **«Блеф есть блеф, или СССР-2»** («Ежедневный журнал», 16 марта) **Автандил Цуладзе** оценивает возникшую на горизонте идею восстановления Советского Союза на базе России, Белоруссии, Казахстана и Украины, теперь уже «пророссийской». Предполагается, как следует из слов

вице-премьера Шувалова, такой порядок действий: сначала таможенный союз, потом единое экономическое пространство и общая валюта, а потом, само собой, и политическая реинтеграция. Цуладзе полагает, однако, что перед нами всего лишь проект объединения олигархов, которые считают, что объединение позволит снизить операционные издержки и извлекать еще бóльшие прибыли. Цуладзе пишет: *Украинские олигархи не случайно в едином порыве объединились вокруг Януковича и уже приступили к «путинизации» Украины*, чтобы в итоге *«зачистить» оппозицию и тихо пилить бабло в сотрудничестве с дружественными олигархами СССР-2. Изящество этой комбинации заключается в том, что «для народа» все это преподносится в упаковке «возрождения державы», «былого величия», «братства народов» и проч. <...> На деле же речь идет о проекте еще большего закабаления населения и выжимания из него всего, что еще можно выжать.* И хотя автор статьи пользуется выражением «СССР-2», он считает необходимым указать, что по целям и задачам этот проект есть *анти-СССР. СССР*, — пишет он, — *был уравнительным, антикапиталистическим проектом. Здесь цели ровно противоположные — сказочное обогащение мизерного меньшинства за счет беднеющего большинства.* Указывает Цуладзе и на то, что такой проект агрессивно антимодернизационен, поскольку ставит целью упростить управление подконтрольными странами с целью извлечения бóльших прибылей из отсталых экономик. То есть источником обогащения здесь служит закрепление экономической отсталости, а не ее преодоление. Модернизация же требует немалых затрат и капитальных вложений, которые окупятся лишь через годы. Такой бизнес олигархам не интересен, пишет Цуладзе. *Они привыкли делать бабки «разводя лохов», а не за счет развития своих стран.* Как так получилось, спрашивает он, что экономики Украины, России, Казахстана серьезно страдают от кризиса, а количество миллиардеров в этих странах растет? Да, очень просто: за счет «лохов». *Миллиардеров становится больше, а зарплаты населения все меньше, фактическая безработица растет, «средний класс» сокращается. Коррупция в России в период кризиса и «активизации борьбы с коррупцией», по оценкам экспертов, удвоились... <...> Так называемая элита не управляет страной, а контролирует собственность и финансовые потоки. Она не служит населению, а «разводит» его на «бабки». Главный ресурс политических шулеров внутри страны*, — пишет Цуладзе, — *это доверчивость законопослушного населения. Мы вам «восстановление СССР», а вы нам власть и деньги. Вот такой «общественный договор».* Те же подходы господствуют во внешней политике, где главная задача — *«развести» на бабки Запад* и сохранить при этом полный контроль над собственностью. *Толпы западных аналитиков*, — пишет Цуладзе, — *сидят и гадают, что бы значили те или иные заявления Кремля? Выдвигают теории, концепции... А «суверенные демократы» хихикают.*

Есть и люди, которые считают, что никакой модернизации не нужно. И так прекрасно жить. Академик **Виктор Ивантер** в интервью **«Для России сырьевая модель экономики оптимальна»** («Свободная пресса», 21 января)

аргументирует свою позицию так: *обрабатывающая промышленность трудоемкая, она требует большого количества рабочих, а добывающая — капиталоемкая. Давайте разберемся, что у нас в дефиците — капиталы или рабочие. Известно, что страна у нас большая, ресурсов много, а народу мало. В итоге, если относиться к вопросу модернизации не идеологически, а практически, мы рискуем оказаться в ситуации, когда создадим обрабатывающие производства, а работать на них будет некому.* К тому же *инноваций без инвестиций не бывает. А частных инвестиций на траектории экономического спада тоже не бывает. Следовательно, ни о каких инновациях пока речи быть не может.* Вот *некоторые говорят, что лучше торговать не нефтью, а нефтепродуктами. Но это звучит как лозунг, а в действительности, труба, по которой идет нефть, не подходит для нефтепродуктов. С другой стороны, ваш покупатель должен закрыть свои нефтеперерабатывающие заводы, а вы с ним договорились об этом?<...> Существует такая версия о «сырьевом проклятии», но я хотел бы найти такую страну, которая бы возражала против такого проклятия. Все эти разговоры о «голландской болезни» построены на элементарном неумении управлять деньгами. Самое легкое, это управлять бедным обществом — там все понятно, одеть, накормить... Что происходило: мы получали доллары за нефть и отправляли их в Соединенные Штаты, а дальше мы брали у них же кредиты на ту же сумму. Причем, отправляли под 3-5 процентов, а обратно брали уже под 8-10 процентов. И эту маржу мы платили за свое неумение управлять деньгами.*

В отдельную тему выделен вопрос о Путине. Как-то эта фигура в глазах многих авторов не вяжется с модернизацией. Если противник люстрации Гонтмахер подстилает нацлидеру соломки, то **Антон Носик** на сайте Сноб.Ру в статье **«Об отставке Путина: точки над i»** (18 марта) реагирует на участившиеся требования и растущие ожидания отставки Владимира Путина совершенно иначе: *...лед тронулся, адская Вертикаль закачалась, затрещав по всем швам, и множество Премудрых Пескарей в российских элитах, прежде трепетавших перед верховным гневом, набрав в рот воды, вдруг почувствовали, что МОЖНО. И они теперь стремятся выговориться за десять лет боязливого молчания, липкого ночного страха, а заодно и возглавить входящий в моду революционный процесс.* Но, полагает Носик, у нас нет состоятельной демократической альтернативы Путину. И дело не в гарантиях стабильности, о чем часто говорят привластные мыслители. *В Америке и Евросоюзе, например, никакого Путина нет, там ни к кому не посылают доктора, там не дербанят ЮКОС, не отменяют выборы всех уровней, не убивают в тюрьме Магнитского и не гоняют танки через Рокский тоннель, а стабильности в США, Германии и Франции все ж поболее, чем в нашей сувенирной клептократии.* Носик не видит внушающих доверие лидеров в кругу оппозиции. *Кто из них, став единоличным правителем, в состоянии будет остановить нынешний развал, не разведет еще худшей клептократии, чем нынешняя, и удержится от соблазна вводить танки, когда ситуация начнет окончательно выходить из-под контроля?!* Что остается? Остается поддерживать Медведева. В конце концов кто у нас пре-

зидент? К тому же и взгляды Медведева Носику кажутся весьма прогрессивными. *Медведев, например, считает, что модернизация состоит в поддержке эффективных высокотехнологичных производств, а не трухлявого «АвтоВАЗа». Он выступает за диалог, а не за конфронтацию с Западом и ближним зарубежьем. Он считает, что проворовавшихся красных директоров и оборотней в погонах необходимо гнать ссаными тряпками с занимаемых должностей, а не сохранять за ними эти должности до полного одряхления. Также он считает, что бизнес в России не нужно кошмарить, не нужно посылать к нему ни докторов, ни чеченских полевых командиров, ни рэкетиров-рейдеров с богатым гэбэшным прошлым. Также Медведев явно не одобряет деятельности боевых отрядов хунвейбинов, этой озверелой гопоты, прославившейся сжиганием книг и травлей любого инакомыслия.* Носик резюмирует: *лозунг об отставке премьер-министра я считаю бессмысленным, провокативным и отвлекающим от сути реально назревшей проблемы с его нынешним антиконституционным статусом Пахана. Разбираться нужно именно с этим статусом.*

И Путин, и Медведев — политтехнологические фантомы, — полагает **Станислав Белковский** (**«Горизонталь вертикали власти»** — «Особая буква», 1 февраля). — *Они совершенно непригодны к реальной, состязательной, конкурентной, публичной политике. Они могут жить только в политическом инкубаторе. Разрушение этого инкубатора для них смертельно. Именно поэтому Медведев не пойдет ни на какую демократизацию, «оттепель» либо либерализацию, о которых так много и навязчиво зачем-то говорят. В этом смысле между Медведевым и Путиным нет никакой разницы. Суть одна.*

Андрей Пионтковский на Гранях.Ру в статье **«Последний русский миф»** (26 марта) также разбирает сюжет о «незаменимости» Путина. Для начала он цитирует Глеба Павловского, провозгласившего недавно: «Путин — не просто личность, Путин – государственный миф существующей системы. Это, если хотите, такой субститут гражданской религии — вне зависимости от того, что он сам о себе думает. Идея — "а давайте-ка вынем из реактора графитовый замедлитель и посмотрим, что получится" — это, возможно, и интересный эксперимент, но в этот момент хотелось бы находиться подальше от этого места... Он — такой неформальный институт, которого в Конституции нет. В случае ухода Путина система приобретет мерзкие формы политического распада». И комментирует: *Интересно, понимает ли профессиональный провокатор с 30-летним стажем, какой приговор он выносит последней фразой себе и своим подельникам, десять лет подряд старательно надувавшим через соломинку жуликоватого чиновника из питерской мэрии? Последовательно продемонстрировав растерянному обществу поход Басаева в Дагестан, взрывы домов в Москве и Волгодонске, «учения» в Рязани, шулеры вынули из рукава «спасителя нации». В зомбоящике появился молодой энергичный офицер спецслужб, отдающий резкие и четкие команды, посылающий российские полки в глубь Кавказа, несущий ужас и смерть террористам и врагам встающей с колен России. И женская душа России, истосковавшаяся по властному повелителю, потянулась от солидного Евгения Максимовича к молодому*

герою-любовнику. Но сегодня уже никакими сессиями с голым торсом не прикрыть голый зад расползающейся по швам конструкции путинского мифа. Ее мерзкий, по справедливому выражению мэтра, распад был генетически запрограммирован. О Кавказе официальная пропаганда предпочитает не вспоминать. А спаситель нации оказался спасителем олигархии, пополнившей свои ряды охранной бригадой из кооператива «Озеро». Поздно пугать детей уходом Путина. Да, каждый вечер в новостных программах усталый раздраженный человек с мешками под глазами старательно косит под антикризисного менеджера. Но миф о великом и любимом Путине умер. Обращение «Путин должен уйти» оказалось фактором общественной жизни в значительно большей степени, чем на то рассчитывали мы, его авторы. Самый поразительный результат заключается в том, что среди множества публичных откликов, зачастую очень резких по отношению к нам лично, не нашлось НИ ОДНОГО, пытающегося защитить или оправдать Путина.

На наших глазах, пишет Пионтковский, происходит распад не очередной инкарнации вождистского мифа; происходит распад этого мифа как такового. *Сукою оказался на этот раз не только Наш чисто конкретный Отец — сукою после столь фарсового ее воплощения оказалась сама идея Нашего Отца, и никаких аватаров больше не предвидится. Путин был последний русский миф, бессмысленный и беспощадный.*

Еще одна довольно принципиальная тема сезона — неосталинизм, отношение к Сталину как исторической и символической фигуре. Публикаций на сей счет немало.

На сайте «Частный корреспондент» писатель **Алмат Малатов** в статье **«Встань, Хозяин, из земли!»** (25 февраля) замечает: современный неосталинизм вовсе *не за Сталина*. Направленность его иная: он — ***против*** *настоящего*. И рожден неосталинизм тоже не прошлым, а настоящим. Малатов характеризует его так: *не практический, а эмоционально-протестный неосталинизм слабых*. Неосталинисты сравнительно молоды (*поколение рожденных после Чернобыля*), в массе своей принадлежат к «низшему среднему классу», *среди них много технарей; — они декларируют примат чистого разума, и, соответственно, считают себя сильными логиками (на практике они часто оказываются эмоциональными паралогиками, так как делают верные выводы из неверных посылок, и не столько дискутируют, сколько хамят и интересничают)*. Для этих людей, пишет автор статьи, *война, геноцид, жернова истории — абстракт, не осознаваемый и нравственно не оцениваемый. Фраза из учебника, набор тезисов, романтическая легенда*. Точнее всего, по наблюдениям Малатова, *сладострастное желание перенести ответственность за свою жизнь на доминанта с сильной* рукой озвучила группа «Рабфак»:

Сталина! Сталина!
Пацаны устали, нах!
Чтоб нас больше не е..и,
Встань, Хозяин, из земли!

Гасан Гусейнов на сайте Slon.ru в статье **«Сталинизм-2010»** (24 февраля) утверждает: *сталинизм дает многим как раз то, чего они не получили от Ельцина за девяностые и от Путина за нулевые годы. Ведь в большинстве пошли за ними те, кому оба эти деятеля показались настоящим Большим Хозяином. Но Ельцин и Путин, вынесенные случаем на стрежень, не справились с обязательствами. В том числе по части государственного строительства. Поэтому сталинизм-2010 — это не кремлевская политтехнологическая выдумка, а стихийное, народное движение, только местами оседланное ретивцами из разных сегментов правящего класса. <...> Люди, не получившие компенсации за распад СССР, как-то свою обиду должны вымещать. <...> Из их мозга виртуальный сталинизм рвется наружу, в реал. Его нельзя остановить политически, потому что политической дискуссии нет. Его нельзя остановить юридически, потому что сталинизм-2010 — есть свобода слова. Его можно было бы одолеть спиритуально, если бы священнослужители не боялись своей собственной паствы — угрюмого продукта постсоветской эпохи. А этот страх сильнее веры священнослужителей.*

В конце 2009 года известия об очередных зверствах одних милиционеров перемежались с публичными интернет-откровениями других. **Александр Гольц** в статье **«Мы для них — не люди»** («Ежедневный журнал», 10 марта) в этой связи замечает: *Уж не знаю, какие методики использовали начальники МВД, но им удалось добиться того, что их сотрудники полностью и окончательно перестали видеть в простых гражданах людей. Они видят в нас материал. Иногда материал для садистских развлечений, вроде побоища, устроенного майором Евсюковым или издевательства над беспомощным человеком, который устроил сержант Митаев в томском вытрезвителе. Но чаще всего мы служим материалом для получения дохода. <...> полное равнодушие к жизни и благополучию граждан (то есть тех, кого милиция поставлена защищать) — это всего лишь побочный результат того, что в нашей стране установилось полицейское государство. Это вполне научный термин. Он вовсе не означает массовых репрессий. Он означает, что в стране не существует верховенства закона и правопорядок поддерживается на основе представлений полицейских о справедливом мироустройстве. Вся практика российской власти, начиная от приснопамятной «Байкалфинансгрупп» и заканчивая регулярным разгоном «несогласных» по 31-м числам — демонстрирует полное пренебрежение законом. Российская власть видит в русском народе некий материал для достижения своих целей...*

Суммируя впечатления последних месяцев, **Андрей Лошак** в резонансной статье **«Закоротило»** на OpenSpace.ru (5 марта) живописует абсурдность современной российской государственности, погрязшей в коррупции, и видит кульминацию бессмыслицы в поразившей «органы» евсюковщине. *Именно после Евсюкова силовые структуры будто по команде «Пли!» из пассивной стадии разложения перешли в агрессивную, развязав настоящую войну против собственного народа. Каждый день мы теперь узнаем о том, как люди в форме кого-то убили, ограбили, сбили на машине, изнасиловали и т. д. <...>*

Ложь, доведенная до абсурда, сверху донизу пропитала государственный аппарат, отравив головы младшего и среднего командного состава. Наша милиция теперь — это огромная армия плохих лейтенантов, в любой момент готовых превратиться в безумных майоров. Далее Лошак констатирует: *Когда абсурд перерос в сумасшествие, система включила команду самоликвидации. Неприступный снаружи Замок рушится изнутри. Две орлиных головы рвут друг друга на части, только перья летят. Но вот странно: чем сильнее в государстве энтропия, чем быстрее все летит в тартарары, тем легче дышится. Будто бы воздуха стало больше. Мне кажется, в обществе исчез страх. В неспособности власти контролировать саму себя люди увидели слабость. Сил на репрессии у такого государства быть не может. Звериные укусы взбесившейся системы вывели людей из состояния гипноза. На место страха и апатии приходит гнев. <...> Когда власть деградирует, хочется быть выше ее. Цинизму противопоставить достоинство. Моральному разложению — собранность и человеколюбие. Либертарный философ Мюррей Букчин называл это «самоорганизованным восстановлением общества». <...> То, что народ достоин своей власти, — гнусная ложь. В момент наивысших трудностей простые, не искалеченные «привычкой повелевать» люди не перегрызают друг другу глотку, а протягивают руку помощи. <...> Как только «машина подавления» перестает внушать страх, наружу вылезает вековая вражда русского человека с государством. <...> Наши интересы диаметрально противоположны: «государство крепнет, народ хиреет» — эту обратную зависимость вывел еще Ключевский. С тех пор ничего не изменилось. Чрезвычайно популярная среди тинейджеров группа Lumen сегодня поет: «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». <...> Точнее не скажешь.* В душе, завершает Лошак, ненавидят государство и те, кто на него работает: *Поговорите с любым ментом или чиновником, что называется, off the record. Там будет столько злости, разочарования и якобинства, сколько классикам анархизма и не снилось. Да и правящая элита, хозяева жизни, тоже в последнюю очередь думают о процветании государства, прикрываясь патриотической риторикой во имя исполнения ежедневного ритуала абсурда. Как только придет время, свалят они отсюда в свои Антибы и Марбейи. Говорят, дочки у премьер-министра живут не то в Германии, не то в Швейцарии. Во всяком случае, точно не в России. Он же не враг собственным детям.*

А вот **Георгий Сатаров** в «Ежедневном журнале» (**«Период полураспада»**, 25 января) считает: *Власть опасна, если она бесконтрольна. Именно это происходит в России. И виноваты в этом, прежде всего, не те, кто получил эту власть — они живут по законам человеческой, малоприятной природы. Виноваты мы. Если мы согласились на то, что нас лишили права контролировать власть, то мы должны смириться с тем, что власть лишает нас права на жизнь. Неумолимый закон природы.* Автор констатирует: *Период полураспада в стране закончился. Начался период распада, пока — социального.*

В связи с очередными терактами в Москве **Михаил Берг** в статье **«Живой труп»** («Ежедневный журнал», 31 марта) вздыхает: *Увы, в столкновении*

цивилизаций чеченцы оказались сильнее русских, как баски — сильнее испанцев, индийцы — англичан, черногорцы — немцев. Любая империя имеет свое начало и свой конец. Сегодня мы видим конец Российской империи, давно уже не великой, а ущербной и обреченной. Можно делать вид, что это не так, что колосс на глиняных ногах еще полон сил, может надувать морщинистые щеки и изображать из себя грозу туземцев. Чеченцы оказались сильнее характером, натурой, волей. Надо отпускать Чечню, надо отказываться от этой муки — комплекса великой империи, которая как гиря на нашей шее, ибо ее, в соответствии с самым распространенным великодержавным заблуждением, все завоеванные народы любят как доброго, мудрого и щедрого господина. Нет, не любят, не полюбят никогда, не смирятся, а с куда большей вероятностью станут причиной нашей смерти, смерти и развала всего государства, чем наоборот. Живой труп русского имперского государства держит в жестоких объятиях российскую жизнь и не отпускает, хотя она уже почти задохнулась. Если не поздно, жизни пора освободиться.

Илья Мильштейн в Гранях.Ру в статье **«Стук метронома»** (6 апреля) делится впечатлениями после теракта: *Время после «Лубянки» течет в никуда. <...> никто не вскакивает на постели с криком «Мы проснулись в другой стране!». Ибо от бесконечного повторения трагедии сдувается любой пафос. Не нравится страна — не просыпайся. Осенью 1999-го все было иначе. Время тогда резко ускорилось, и каждый, захваченный потоком, знал, что на его глазах творится История. Кровавая, мутная, но несомненная. <...> Десять с половиной лет спустя преобладают иные чувства. Самое сильное из них — отупение. Это касается всех: и недобитого гражданского общества, и профессиональных борцов с «хачами», и так называемого Путина. Все-таки «выковырять со дна канализации» — это, согласитесь, сказано без огонька. То ли дело «мочить в сортире».<...> Вообще социум, погруженный в растерянность и фрустрацию, сгодится любому внешнему управляющему — хоть в Кремле, хоть на Кавказе. Если завтра младший царь в тандеме, горестно вздохнув, попросит старшего беречь Россию, почти никто ведь и не пикнет. И если завтра опросы покажут, что 90% россиян желают выйти из состава Северо-Кавказского федерального округа, никто не удивится. Отупение, страх, беспомощность. <...> Это никудышное время может пройти быстро, если осознание тупика в элитах достигнет того уровня, когда необходимость перемен станет столь же очевидной, как и банкротство режима. Банкротство системное, преодолеваемое, по российской традиции, только революцией сверху. Но время может и застыть, окаменеть, окостенеть на годы. Что тоже бывало, в рамках другой отечественной традиции закручивания гаек до упора — пока не сорвет резьбу.*

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Марк РОЗОВСКИЙ

СЕМЕН И ЛИДИЯ

Документальное повествование

Известное известно немогим.
Аристотель

...В деле отца № Р–3250 четыре многостраничных тома. Я ахнул, когда недавно увидел в читальном зале ФСБ на Кузнецком мосту эти пухлые, изъеденные паршой времени папки — личное дело № Р–3250. Долгие годы они хранили молчание. Страницы, будто обсыпанные пеплом, издавали замшелый запах самого кровавого на свете архива.

Все бумажки строго пронумерованы, на полях множество значков и таинственных пометок, расшифровать которые не в моих силах. Буковки и циферки разделены черточками-дефисами, маленькие галочки и большие, что-то педантично подчеркнуто одной черточкой, что-то двумя — все вместе этакая глыба, складское размещение зловещей бюрократии. Тут все до́лжно читать между строк. Тут все надо довоображать и домысливать.

Два месяца я ходил сюда, как на работу. Сотрудники архива были со мной предельно вежливы. Они выполнили все мои просьбы относительно копирования текстов — все, что нужно, пересняли, отксерили. Техника замечательная, все было сделано точно и в срок.

Я почувствовал, что машина работает. Лица, ответственные за то, чтобы дать мне возможность ознакомиться с делом моего отца, проявили максимальное внимание и, я бы даже сказал, деликатную заинтересованность в том, чтобы я остался доволен, а когда я кончил читать, меня прямо спросили, не имею ли я каких-либо претензий.

— Нет-нет, — сказал я. — Все в порядке. Спасибо. Большое спасибо.

— Не за что, — ответил сотрудник и был по большому счету прав.

Марк РОЗОВСКИЙ — родился в 1937 г. в Петропавловске на Камчатке. Закончил Факульет журналистики МГУ и Высшие сценарные курсы. Драматург, режиссер, художественный руководитель театра «У Никитских ворот», заслуженный деятель искусств РФ. Автор книг «Режиссер зрелища», «Дело о "конокрадстве"», «Изобретение театра» и др., пьес «Кафка: отец и сын», «Концерт Высоцкого в НИИ», «Триумфальная площадь» и др. Живет в Москве.

Отменная вежливость архивистов безусловно приятно контрастировала со всем тем, что я знал и слышал про Лубянку, и давала обнадеживающий намек, что ОРГАНИЗАЦИЯ подвергла себя переменам в лучшем направлении.

Чтение дела предваряла разъяснительная беседа с главным архивистом, доктором наук и, по-видимому, генералом. Он сел напротив меня, представился и тишайшим голосом произнес:

— Когда будете читать, держите себя в руках.

Это было правильное предупреждение: после первого тома я стал задыхаться, строки рябили у меня в глазах, сделалось тяжко, хуже некуда.

Помнится, я поблагодарил главного архивиста и — что я мог еще придумать? — пригласил его в театр «У Никитских ворот». Он посмотрел на меня холодным глазом и сказал: «А я у вас бывал».

Меня мучил вопрос. И я спросил его: что это за отметочка такая на первой обложке? Что она значит?

— Где?

— Да вот. Вверху, меленько, карандашиком: «В. И.». Это что?

— Это знак программы «Возвращенные имена». Вы здесь получили право на чтение дела благодаря этой государственной программе.

Я удивился:

— Разве есть такая государственная программа?.. Ничего не слышал о ней.

— Есть, — сказал начальник архива ФСБ. — И давно.

Тут я вспомнил, что Александр Николаевич Яковлев в каком-то интервью что-то такое говорил, что теперь родственники незаконно репрессированных в годы сталинщины могут ознакомиться с делами своих несчастных отцов и матерей.

— Вот-вот, — подтвердил этот факт начальник архива ФСБ.

— Нигде об этом широко не говорится! — заметил я. — Никто из нас, родственников, ничего не знает о таких своих правах.

Ответа не последовало.

В самом деле, если бы я знал об этом праве, наверное, не просил бы помощи у своего друга, адвоката Бориса Кузнецова, который, собственно, и добился для меня разрешения на читку. После его официальных писем-запросов в ФСБ четырехтомный фолиант был прислан в Москву, а предваряла это действие короткая архивная справка, полученная из Главного Управления внутренних дел Красноярского края.

МВД РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ОТДЕЛ СПЕЦФОНДОВ

660017, Красноярск,
Ул. Дзержинского, 18
Т. 45-98-05
270606 № *1/3-2256*
На № от
АРХИВНАЯ СПРАВКА

В материалах архивного личного дела ссыльного
№ Р-3250 имеются сведения о том, что ШЛИМАНД Семен Михайлович, 1905 года рождения, уроженец г. Харькова, был арестован 3.12.1937 г. в г. Петропавловске на Камчатке и осужден по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР по ст. 58-1а, 58-11 УК РСФСР к 8-ми годам лишения свободы. Освобожден из Краслага МВД Красноярского края 12. 08. 1946 г.

16.12.1948 г. арестован органами УМГБ по Тульской области и 16. 02. 1949 г. осужден по постановлению Особого Совещания при МГБ СССР по ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР за принадлежность к троцкистской организации к ссылке на поселение. Этапирован в г. Красноярск в распоряжение УМГБ по Красноярскому краю и направлен в ссылку на поселение в с. Абан Абанского района Красноярского края. В январе 1954 года переведен на поселение в г. Канск Красноярского края.

Из ссылки освобожден 30.06.1954 г. за недоказанностью обвинения на основании Определения Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26.05.1954 г.

Основание: архивное личное дело № Р–3250

Заместитель начальника *Т. Н. Килина*

Старший инспектор *И. Е. Филипп*

Вот тут, собственно, весь сюжет. В паре абзацев. Правда, фамилия отца искажена, ну, да кто ж обращает внимание на опечатки ...

— Значит, я мог не обращаться к своему другу-адвокату?

— Конечно. Обратились бы напрямую к нам — результат был бы тот же.

Вот оно как!.. Ты, значит, живешь, страдаешь, ничего не знаешь, но ищешь пути, а потом вдруг оказывается, все усилия — лишние, можно «напрямую», без всяких «ходов»... А Борис Кузнецов потратил столько времени на, выходит, бесполезную писанину! Но ведь получается, что даже и он, такой дока в юридических вопросах, тоже не ведал о благородной яковлевской программе... Интересная все-таки у нас жизнь! Что запрещено — знаем, а что разрешено — не ведаем.

Итак, личное дело № Р–3250.

В первую секунду боюсь дотронуться до папок, хранящих горе и неимоверные страдания. Для начала решил просто полистать, чтобы уж потом углубиться во внимательное чтение.

Но что это?.. Многие страницы оказываются запечатанными. Помните, раньше на почте упаковывали бандероли в такую плотную наждачную бумагу коричневого цвета?.. Тщательно завернутые в эту грубую плоть тайны следствия, надежно запечатанные сургучом, взывают к вопросу, и я в лоб спрашиваю главного архивиста:

— Почему нельзя читать все от корки до корки?

Ответ был таков:

— Это касается третьих лиц.

И — точка. Ох, как интересно...

Я понял сразу: там доносы. Ну, и, может быть, какие-то следы «физических воздействий» на отца. Даже сейчас, в XXI веке, нежелательно, чтобы «это» открылось. Сиди спокойно, смирись. Читай, что дают. И скажи спасибо, что дали.

Могли б и вообще не дать. Если б не светлой памяти Александр Николаевич Яковлев.

Читаю. Перечитываю. Листаю. Перелистываю.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА[1]

1938 г. июля мес. 27 дня

Вопрос: Вы изобличаетесь, как участник контрреволюционной право-троцкистской организации. Признаете себя виновным?

Ответ: Нет, не признаю. Я никакого отношения к этой организации не имел.

Вопрос: Вы признаете, что были исключены в 1922 году из кандидатов КП(б)У за участие в антипартийной группировке «Рабочей оппозиции»?

Ответ: Нет, не признаю. Никогда в антипартийной группировке я не состоял, а в 1922 году был исключен из кандидатов КП(б)У за невыход на работу на производстве и как несовершеннолетний.

Вопрос: Вы отрицаете, что ваши троцкистские взгляды сложились в 1922 году в период «рабочей оппозиции»?

Ответ: Отрицаю полностью. Я троцкистских взглядов не разделял ни в 1922 году, ни позже.

Вопрос: Следствию известно, что Вы имели вплоть до вашего ареста тесную связь с троцкистом Станевским бывшим редактором газеты «Красное знамя» в гор. Владивостоке, который возглавлял рабочую оппозицию в Харьковской комсомольской организации в 1922 году?

Ответ: Станевского я знаю с 1920 года по Харьковской Комсомольской организации, где он в 1921-22 годах возглавлял группировку «Рабочей оппозиции». Имел с ним встречу в 1936 году при проезде гор. Владивостока, но

---

[1] Везде в публикуемых документах сохраняется орфография и пунктуация подлинников. — *Ред.*

связи с ним никогда не имел и о его контрреволюционной деятельности мне ничего не известно.

Вопрос: Рябова Вы знаете?

Ответ: Знаю Рябова с конца ноября 1935 года, как начальника строительства Судоремзавода и позже, как управляющего трестом «Камчатстрой».

Вопрос: В чем выражалась ваша связь с Рябовым?

Ответ: Исключительно служебная.

Вопрос: Только ли в этом выражалась ваша связь?

Ответ: Исключительно и только в этом.

Вопрос: Следствию известно, что вы были связаны с Рябовым, как участники контрреволюционной право-троцкистской организации?

Ответ: Этого никогда не было.

Вопрос: Вы Кроткевича знаете?

Ответ: Кроткевича знаю, как главного инженера строительства Судоремзавода и позже, как главного инженера треста «Камчатстрой».

Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания обвиняемого Кроткевича о вашем участии в контрреволюционной право-троцкистской организации: «...Для проведения подрывной деятельности в финансово-плановой работе в организацию Рябовым был завербован бывший начальник планово-финансового отдела строительства Судоремзавода АКО Шлидман Семен Михайлович...». Подтверждаете показания Кроткевича?

Ответ: Нет не подтверждаю ни в коей мере.

Вопрос: Вам зачитывается показание обвиняемого Певзнера «...самым активным участником контрреволюционной право-троцкистской, диверсионно-вредительской организации был Шлиндман Семен Михайлович — начальник Планово-финансового отдела строительства Судоремзавода»... Будете ли теперь отрицать свою виновность?

Ответ: Категорически отрицаю.

Вопрос: Следствием установлено, что Вы будучи начальником планового отдела треста «Камчатстрой», как участник контрреволюционной право-троцкистской организации активно проводили подрывную работу, направленную на срыв строительства Судоремзавода. Прекратите Ваше запирательство и давайте правдивые показания?

Ответ: Ни какой подрывной деятельности направленной на срыв строительства Судоремзавода я не проводил.

Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания обвиняемого Кроткевича, что ваша «...контрреволюционная деятельность в основном сводилась к дезорганизации производства путем задержки и вредительского составления производственных планов, вредительского нормирования труда...». Эту часть показания Вы подтверждаете?

Ответ: Нет полностью отрицаю.

Вопрос: Вам зачитывается еще одна выдержка из показания Кроткевича о том, что Вы «...с контрреволюционной целью срывали премиально-прогрессивную оплату труда, тем самым саботировали стахановское движение

и искусственно создавали у рабочих недовольство Советской властью и партией...». Будете ли теперь отрицать свою подрывную деятельность на строительстве Судоремзавода?

Ответ: Да, отрицаю. Ни какой подрывной деятельности я в строительстве Судоремзавода не проводил.

Вопрос: Ваше отрицание неоспоримых фактов проведенной Вами подрывной деятельности необоснованны. Следствие требует прекратить запирательство и давать правдивые показания?

Ответ: Подтверждаю, что ни какой подрывной деятельности я не вел и в контрреволюционной организации не состоял и о существовании таковой мне не известно.

Протокол записан с моих слов верно мной лично прочитан в чем и расписываюсь

Допросил: Опер.уполномочен.
3 отд. УГБ КОУ НКВД
Сержант Госбезопасности
Подпись.

Итак, борьба началась с первого допроса.

Обычно старт знаменует как бы равенство сил. Еще есть порох в пороховницах, и допрашиваемый должен с самого начала продемонстрировать твердую уверенность в своей правоте и доказать свою очевидную невиновность. Сейчас он прямо и честно ответит на все вопросы — и дело тотчас рассыплется, обвинения окажутся клеветой, тьма исчезнет, и солнышко снова засияет.

На старте дистанция не видна. Верней, она представляется короткой, ибо жертва верит в свою непогрешимость и считает арест и обыск простым недоразумением. Марафон исключен. Беговая дорожка кажется стометровкой, — и если вдруг на ней обнаружатся какие-то барьеры, — преодолеем все и придем к счастливому финишу.

Конечно, голод первых дней напугал. Но ведь выдержал!.. Ничего страшного!

Конечно, августовская баржа с расстрелянными инженерами-ленинградцами стояла перед глазами[2]... Эта страшная картина на всю жизнь врезалась в память моей мамы...

---

[2] Мама с папой очень любили друг друга, но не меньше они любили социализм, иначе зачем им, молодым инженерам, понадобилось сразу по окончании института полететь в такую даль, на край земли — на Камчатку. Там, под Петропавловском, находился судоремонтный завод, и они строили его с вылезавшим из ушей энтузиазмом. Они были плоть от плоти страны, звавшей свое население на подвиги, и надо было поучаствовать в чем-то огромном, заодно и меня родить. И то, и другое получилось. Правда, по ходу дела возникли кое-какие помехи.

Передо мной протоколы (не стенограммы!) допросов отца за три с половиной года следствия.

Написанные от руки корявыми малоразборчивыми почерками, они выдают поразительную безграмотность сержантов и лейтенантов, ведших записи. С русским языком у всех энкавэдэшников было плоховато, что поделаешь! С другой стороны, все вроде бы по-военному четко: всегда проставлено число, время довольно часто отмечено, около каждого ответа роспись допрашиваемого. В конце каждой записи обязательна фраза: «протокол записан с моих слов верно, лично мною прочитан, никаких замечаний нет». И — заключительное факсимиле.

«Доку́мент должон быть оформлен» — незыблемое правило бюрократии, ибо сказано: «Социализм — это учет». Я, правда, добавил бы: «Учет того, чего нет».

«Все по закону» — это мечта. Когда по закону не все или, точнее, ничего, бюрократический молох должен с особой тщательностью регистрировать «как следует», «как надо» и, наконец, «как положено». Не придерись!..

Что бы там на этих допросах ни происходило, какие бы вопли и стоны ни раздавались, это все ничего не значит, важно одно — что зафиксировано в протоколе. Устная речь веса не имеет. Только то, что на бумаге и подписано.

Отец это прекрасно понимал. Поэтому он так скрупулезно и дотошно формулировал свои ответы, по возможности развернутые, не оставляющие сомнения в продуманности и честности. И надо было сохранять выдержку и твердость в главном — непризнании вины.

Обратим внимание на числа.

Арест — 3 декабря, а первый допрос аж 27 июля уже 1938 года. Промежуток, прямо скажем, мучительный.

Следующий протокол датирован 28 января года 39-го. Снова полгода... Этот допрос происходил глубокой ночью. «Начат в 23 часа 40 мин. <...> Закончен в 3 часа 25 минут». Далее в деле протокол допроса от 11 августа 1939 года, — как видим, следствие идет бешеными темпами. Этот документ зато самый длинный, на 14-ти страницах, испещренных мелким бисером. И опять перерыв до глубокой осени. Ждите! Терпите! Ждем. Терпим.

Где-то в начале августа была арестована первая группа ИТР, строивших этот самый венец социализма — судоремонтный завод. Папа, к счастью, тогда не попал в их число, а то бы... Мама тоже избежала их участи, поскольку состояла в тот момент в положении кормящей матери. Впрочем, дальнейшие события показали, что подобные причины уже не являлись серьезным основанием.

Гром грянул со стороны океана. Именно оттуда послышалась песня, которую нестройным хором пели молодые инженеры-москвичи и ленинградцы. Они стояли на барже и в общем революционном порыве пели «Интернационал».

Затем раздались выстрелы, тела энтузиастов сбросили в воду, — и это была еще одна победа в деле строительства социализма на его пути к коммунизму.

И вдруг темпоритм следствия меняется: 15 октября — один допрос, 16-го — другой, 17 октября — третий и четвертый. Сначала с 11-ти утра до полтретьего, затем в тот же день с полдесятого (вечером) до 11. А далее 19 октября новый допрос — «начат в 22.30», закончен около часа ночи — «00 ч. 50 мин 20/X 39 г.».

Но и этого мало. В тот же день, 20-го, снова началась «беседа» со следователем — в 19 ч. 35 мин. — и продлилась меньше часа — до 20 ч. 35 мин.

Какое замечательное ускорение!.. Пришла пора заканчивать состряпанное дело. А чего волынить?.. Все давным-давно ясно. Крышка!

Однако с упорством, доходящим до нелепости, мой отец, в сущности, молодой человек 32-х лет, попавший в безвыходную ситуацию, ни на йоту не сходил со своей позиции. Его били в одну точку. Он в одну точку и отвечал.

На допросе от 28 января:

Ответ: Участником антисоветской право-троцкистской организации я никогда не был и никто меня в эту организацию не вербовал.

На допросе 11 августа 39-го года:

Ответ: Никогда вредительством я не занимался, ни в плановом отделе, ни на какой нибудь другой работе.

17 октября 1939 года:

Ответ: Вновь категорически повторю, что никогда никакой вредительской или иной преступной деятельностью я не занимался. Работал честно и добросовестно, в интересах стройки, для того, чтобы сделать ее рентабельной. Утверждаю, что никакая экспертиза, если она проходила компетентно и объективно правильно, по-советски, не могла установить с моей стороны какой либо вредительской или преступной деятельности, так как я таковую не проводил.

Эта песенка про белого бычка продолжалась и 19 октября в полуночное время с той же туповатой настырностью вопросов и с той же обстоятельной аргументацией ответов, свидетельствующей о несостоятельности, абсурдности обвинений.

Но следователю вникать еще и в чисто производственную проблематику было просто не интересно. У людей в погонах были совсем другие задачи.

Однако хочешь — не хочешь, а слушай. Записывай.

Да, вникать вовсе не обязательно, а вот ВЕСТИ ДЕЛО — твоя обязанность. А потому приходится прикидываться знатоком и даже выглядеть специалистом по вопросам, к государственной безопасности напрямую отношения не имеющим.

И вот начинается так называемый *производственный роман* — особый литературный жанр, специфика которого в том, что служебные конфликты описываются здесь с такими подробностями, что только работу делают всепоглощающим смыслом существования человека, абсолютно подчиняя ей его личную жизнь.

Время 30-х — время вредителей и героев, которые с этими вредителями борются и обязательно должны их в конце концов победить. Сражение на крупной стройке или в маленьком колхозе изображалось символичной глобальной битвой — за хлеб, за металлургию, за кирпичи... В общем, за социализм. Кто не с нами, тот против нас. Индустриализацию, коллективизацию требовалось запечатлеть в монументальных картинах и образах, торжестве и триумфе сталинской идеологемы. На этом историческом столкновении происходило рождение homo soveticus — нового существа эпохи сталинизма.

«Лес рубят — щепки летят». Мой отец стал образцовой щепкой. Вся его безграничная преданность социализму только подливала масла в огонь, в гудении и треске которого эти самые люди-щепки быстро обугливались. Система пожирала своих сторонников, считая их недостаточно преданными верноподданными.

Кличка «вредитель» становилась клеймом. «Вредителю», каждому, уготованы лишь два варианта. Первый — из трех букв: ВМН — Высшая Мера Наказания. Второй тоже из трех букв: ЗЭК — заключенный. И теперь остатком твоей жизни распоряжался ГУЛаг.

Однако «дело» все же надо было состряпать. Чтобы можно было впарить любую ложь, требовалось главное — «чистосердечное раскаяние» и признание. Если «сам признался» — значит, виновен, и «суд» (приговор) над тобой будет считаться справедливым. Поэтому выбить признание и есть цель следствия, — не поиск истины, не разбор «правоты-неправоты» доноса, а вот эта дорогостоящая — ценою в жизнь — строчка: «признаю себя виновным». Достаточно!.. Теперь...

— Распишись!

И расписывались. Миллионы!.. И — к стенке.

«Всего-то» вопрос психологии. Вопрос, можно сказать, сугубо личный, даже интимный. Однако вопрос вопросов. Вся могучая система тоталитаризма держалась, в сущности, на двух главных чувствах — страха и восторга, которые должны были заполонить дух и плоть каждого индивидуума, каждой единички, превращенной в полнейший нуль.

Стоит задуматься над этим простым выбором: почему кто-то «признается», а кто-то нет. Почему один стоит насмерть, а другой ломается, предает себя и других.

Конечно, пытки. Физическую боль, если она дикая, беспредельная, — и это хорошо уяснили в ЧК и НКВД, — человеку не дано снести.

Выбить зубы... Выдавить глаз... Отрезать ухо... Отбить почки... Иголки под ноготь... Оторвать яйца... Обварить кипятком... Заставить съесть собственный кал... Повесить связанного за ноги вниз головой на сутки... Спустить в яму, где тебя встретит добрая сотня голодных крыс... Или голод — по-освенцимски, по-колымски. Когда зэка не кормят вообще. Пока он не подохнет. Или пытки электротоком — до состояния шока.

Все эти «методы физического воздействия» призваны достичь одного — безоговорочного признания.

Мой отец был, что называется «еврейский дуб». Иначе не назовешь. Есть такая людская порода, которая наперекор любой невзгоде готова стоять и выстоять.

Несомненно, такие несгибаемые, мужественные люди встречаются в любом народе. И все же мне и по сей день кажется, что отцовская стойкость объясняется какой-то непознанной генетикой и химией, замешанными на тысячелетней выстраданной стойкости некоего древнееврейского рода. Ветхозаветный дух и брутальная витальность были его естеством. Это был человек со стержнем, точнее, со стволом, уходящим своей корневой системой глубоко в землю.

Таких людей невозможно поколебать. Он и не сдался. Выстоял. И я горжусь своим отцом. Он — не признался. Несмотря ни на что. Об этом вопиет каждая страничка поганого четырехтомника.

Все дело в том, что у отца моего всегда и во всем была этакая руководящая железобетонная установка — жить и выжить, чтобы жить. Конечно, его пытали и били, били и пытали по полной программе. Как и всех, кто попадал в когти сталинщины.

Много позже, 16 апреля 1953 года, то есть через месяц с небольшим после смерти вождя, отец обращается с душераздирающим письмом на имя Маленкова, чуя своей зэковской ноздрей, что пересмотр его дела не за горами. Там названы фамилии следователей — Матвеев, Шипицын, Глотов и Григорьев, «глумившихся надо мною в течение 22-х суток непрерывного "допроса", с 31/V до 22/VI 1938 года и продолжавших работать в 1939 г. в Камчатском ОблНКВД».

Так что протоколы, хранящиеся в деле, — это лишь надводная часть айсберга. Главный массив никак не фигурирует, будучи спрятан на никому неведомой и уже, боюсь, недоступной глубине. Концы в воду! — нетленный принцип инквизиции. Так пытались похоронить правду о пресловутом «методе физического воздействия» на арестованного: откройте дело полностью, отколупните сургучи и отделите бандерольную бумагу от страниц, где остались следы палачей и их жертв.

...Обвинение зиждется на доносах. И на перекрестных «изобличениях» в процессе давления на арестованного. Они-то и являются главным юридическим обоснованием для выводов следствия. Никакой адвокатуры. Сам барахтайся, сам себя защищай. Если сможешь, конечно. Отсюда приоритет лжи и клеветы как основной метод сооружения Дела, — страна погрязла в этом месиве взаимных осквернений и очернений.

Допросы, допросы, допросы...

И вот вы уже в ловушке. Вы в когтях зверя.

И тут открывается, что ваши бывшие сослуживцы, с которыми вы дружески общались, ходили друг к другу в гости, пили чай, иногда водочку, а на праздники выходили общей колонной демонстрантов...

Первое чувство: не может этого быть!.. Невозможно поверить!.. Дорогие коллеги вдруг оказываются вместе с вами в одной тонущей лодке. И самое

жуткое и удивительное — это то, что вместо общего усилия по спасению судна все начинают драку, стараясь потопить друг друга — безжалостно и злобно. Всем кажется, что они спасутся. Только так!.. другого выхода нет!.. Топи товарища и выйдешь на берег сухим... И тогда слова «Вы изобличаетесь» становятся самым смертоносным штампом, на который надо как-то реагировать.

Вопрос: Вы достаточно изобличаетесь в принадлежности к антисоветской правотроцкистской организации показаниями обвиняемых — участников этой же организации Крутикова Виталия, Кириллова Анатолия, Чайковского Исера, Коноваленко Михаила, Кроткевича Георгия и Митенева Петра. Что Вы скажете на это?

Ответ: Показания данных лиц о моей причастности к антисоветской право-троцкистской организации являются от начала и до конца ложными и клеветническими. Еще раз повторяю следствию, что членом право-троцкистской организации я никогда не был и о ее существовании мне известно не было, а также не было мне известно и о принадлежности вышеупомянутых лиц к право-троцкистской организации.

Кто кого?.. Из отца хлещет едва скрываемое негодование против своих доносителей и клеветников, но нигде не видно в их адрес каких-либо оскорблений и брани.

Поэтому поведение на допросах при всей их одурманивающей монотонности и рассчитанной волоките есть высший пик напряжения — духовного и физического — для людей, попавших в клетку и пытающихся во что бы то ни стало из нее выкарабкаться. Как в шахматной игре, вы обязаны молниеносно просчитывать варианты, дающие выигрыш или проигрыш, и выбирать комбинации, ведущие к победе, с железной последовательностью гнуть свою линию, несмотря ни на что. Отец выстроил свою самооборону сам, без чьей-либо помощи. Все арестованные были в одинаковом положении — на границе гибели. Но выстояли не все. Обычно говорят: нельзя никого осуждать. «Они столько пережили». Это правильно. И все же следует отметить особо — несдавшихся. Ваш подвиг в одном — в непризнании вины, которая обрушилась на вашу голову. Даже в полуобморочном состоянии, в «бессознанке» и в предсмертном бреду вы говорили одно и то же, одно и то же, одно и то же:

— Нет... Не признаю... Не виновен...

Наркому Внутренних Дел Союза С.С.Р. т. Берия
Прокурору Союза С.С.Р.

От з/к Шлиндман Семена Михайловича
1905 г. рожд., б. Нач. Планового отдела
Треста «Камчатстрой» НКПищепрома СССР,

арестованного 3/XII. 1937 г. в г. Петропавловске на Камчатке, заключенного в ИТЛ, сроком на 8 лет, по постановлению Особого Совещания НКВД СССР от 23/VII. 1940 г. № 73.- Канский ОЛП Краслага НКВД, строительство Гидролизного Завода.

ЖАЛОБА

«За участие в антисоветской право-троцкистской организации», — гласит постановление Особого Совещания о заключении меня в лагеря.

Но это совершенно неслыханное дело: взять честного советского человека, продержать его почти 3 года под следствием по обвинению в совершении чудовищных государственных преступлений, которых он никогда в жизни не совершал и не мог совершать, а потом, на основании вымышленных, клеветнических и провокационных «материалов», заключить его на 8 лет за участие в к.-р. организации, о которой никогда не имел никакого понятия.

Наложить такое ужасное, позорнейшее клеймо на человека, лишить его свободы, оторвать от общества, от семьи, — это ведь что-то да значит, на это надо иметь какие-то основания!

Таких оснований нет и быть не может, ибо я нисколько не виновен в предъявленных обвинениях, построенных на лжи, клевете и гнуснейших инсинуациях. <...>

Следствие с самого начала и до конца, велось с вопиющими нарушениями норм УПК РСФСР (неразб.).

Расскажу только об одном:

31/V. 1938 г., вечером, начался мой «допрос», продолжавшийся до 5-ти часов утра 22/VI. 1938 г. Два дня из них, 12 и 13 июня меня продержали в карцере, остальное же время, с 9-ти часов вечера 31/V до 5-ти часов утра 12/VI и с 5-ти час. утра 14/VI до 5-ти час. утра 22/VI. 1938 г., без всякого перерыва, проводился этот «допрос».

За все эти 22 суток только 16 часов мне дали спать, когда был в карцере — по 8 часов в ночи на 13-е и 14-е июня. Когда я, мучительно одолеваемый сном, начинал дремать, немедленно мне давался удар линейкой, пинок ногой или кулаком, или в ухо дикий окрик следователя, или же, что всего ужаснее, тонкая струя холодной воды за шиворот, на позвоночник. Сотни раз, теряя равновесие, я падал столбом, ушибая голову и тело о косяк двери, об угол следовательского стола, об пол. Зверское избиение руками, ногами, пощечины, «прощупывание» ребер и селезенки. Голова и тело были покрыты ссадинами и кровоподтеками. (неразб.) суток, в общей сложности, продержали меня в наручниках, вгрызавшихся в кости, у самых локтей, в закрученные назад руки. Это была совершенно неимоверная, нечеловеческая боль, парализовывавшая и тело, и мысль. Сутками заставляли сидеть на уголке табурета, на «кобчике», вытянув руки вперед, или же выстаивать не шелохнувшись, на ногах. Все 22 суток держали меня на карцерном режиме питания: 300 грамм хлеба и 3 стакана воды в день.

Изощреннейшая площадная брань, угрозы расстрела, ареста жены с ребенком, прямые антисоветские выпады следователей Матвеева, Шипицына, Глотова и Ноздрачева, как-то: — «Вся их нация такая — раньше торговали галантереей, а сейчас торгуют Россией», «Все из их нации — троцкисты».

Когда я потребовал убрать этих черносотенцев, пробравшихся под видом советских следователей в органы НКВД, то, по распоряжению Евлахова (б. нач. 3-го отделения КОУ НКВД), меня жестоко избили, еще крепче закрутили наручники и писали рапорт о том, что я-де «провоцирую следствие»...

От меня требовали только одного: «признать себя членом к.-р. право-троцкистской организации, указать ее участников, требовали «признаться» во вредительстве, диверсиях и даже в таком чудовищном деле, как покушение на Наркома А.И.Микояна, которое я, якобы, подготавливал во время пребывания в командировке в Москве.

Несмотря на все эти жуткие пытки и издевательства я остался честным человеком, — ни одного слова лжи, клеветы от меня не услышали, не добились. Я был готов скорее умереть, но не стать клеветником, не опозорить честного советского имени, не делать такими же несчастными как я и моя семья, людей и их семьи, о которых я ничего плохого не знал. Моя совесть перед самим собою, перед своей семьей, перед Партией и Правительством, перед всем Советским народом — чиста.

Я жил честной, трудовой жизнью советского специалиста на воле, я остался честным человеком и в тюрьме.

Все мои показания, имеющиеся в деле, правдивы, мне нечего от них отказываться, — они подтверждаются документами, экспертами, действительными фактами.

На каком же основании меня осудили? <...>

Прошу Вас, гр-н Прокурор Союза, по-настоящему ознакомиться с моим делом и сделать соответствующие правильные выводы.

Перед Вами живой человек, преданный своей Родине, Партии и Правительству, для кого самым близким и дорогим именем было и осталось имя И. В. Сталина.

Прошу Вас подойти к решению моей участи так, как учит этому Сталин: всесторонне и (неразб.) если перед Вами враг — уничтожить его беспощадно, если честный человек — прекратите издевательства над ним, освободите, верните в общество, в семью.

Прошу сообщить мне о Ваших решениях.

15/I. 1941 г. Подпись.

Он клялся в верности Сталину, зная, что письма проходят перлюстрацию, и обращался к нему...

Из разговора с отцом (в 1961 году):

Я. *Обращался?*

ОТЕЦ. *Конечно, обращался. Трижды.*

Я. И что?

ОТЕЦ. И ничего. Товарищ Сталин лично мне не ответил. Он вообще никому не отвечал. У него других дел было много.

О да!.. «Дел» у него было действительно невпроворот!.. Сегодня несомненно, что истинным «троцкистом» был сам Сталин, взявший на вооружение левацкий принцип: цель оправдывает средства. Вождь имел цель отнюдь не общественную, а личную. Всем казалось, что он хотел построить социализм, а ему надо было сохранить себя у власти. И все.

Судьба отца — крупинка в грандиозном объеме сталинских злодеяний.

Он не взошел на эшафот. Он выжил, потому что не признался. Факт есть факт: в первой части трагедии герой не сломлен. Он выжил. В апокалипсисе.

Теперь предстояло выжить в аду.

Совершенно секретно
Из протокола № 51 заседания
Политбюро ЦК ВКП (б)

1. утвердить проект представленного НКВД оперативного приказа о репрессировании бывших кулаков, уголовников и антисоветских элементов;

<...>

5. Отпустить из резервного фонда СНК на оперативные расходы, связанные с проведением операции, 75 миллионов рублей.

Секретарь ЦК *И. В. Сталин*

31 июля 1937 года.

Итак, это у него называется «оперативные расходы». То есть — пустить в расход оперативно — так, видно, следует понимать вождя.

У Лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в Торгсин снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалку пачпорта лишили,
А Лешего сослали в Соловки.

Там днем и ночью люди в клетке,
Над клеткой той звезда горит,
И об успехах пятилетки
Народу Сталин говорит.

Неизвестный автор 30-х годов.

А вот что Сталин говорил не народу, а своим цепным псам.

Шифром ЦК ВКП(б)

Секретарям обкомов, крайкомов,
ЦК Нацкомпартий,
наркомам внутренних дел,
Начальникам УНКВД

ЦК ВКП(б) рязъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б) в виде исключения...

Стоп. Всего-то начало предложения, а уже три вранья.

Вранье № 1: это не ЦК «разъясняет», а товарищ Сталин лично (см. его подпись в конце документа) пишет.

Вранье № 2: не с 37-го года пытки, а с первых лет революции. И Соловки тому первое неоспоримое доказательство.

Вранье № 3: «С разрешения ЦК... в виде исключения» — это Сталин лично от себя отводит вину, возлагая ее на своих сподвижников, — это раз. А во-вторых, о каком-таком «исключении» речь идет в 1939-м (!) году, когда Большой террор со своим макромартирологом перевалил все мыслимые цифры!

...в виде исключения в отношении явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдавать заговорщиков... Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа.

Как «явные враги народа» использовали «гуманный метод допроса» — ведь не они же сами себя допрашивали!.. Что касается «опыта», вождь прав: «результат» был получен, и он еще ждет обнародования на будущем советском (уже российском) Нюрнберге над Сталиным и сталинщиной.

Желая, в свое время, во что бы то ни стало избежать такого суда, Сталин хитрит и делает следующую оговорку:

Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами: Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару.

Товарищ Сталин объявляет о перегибах. Вот такой выверт. Сталин признает (!), что были «случайно арестованные люди». Так отвечай за это в первую очередь.

— Сталин не знал!

Эту чепуху и сегодня повторяют (уже не искренне, а потому преступно) оголтелые сталинисты.

Однако сталинский хитроумный план заключался в том, чтобы найти виновных и переложить НА НИХ свою ответственность за Большой террор.

В замечательной, потрясшей меня книге Юрия Бродского «Соловки. Двадцать лет особого назначения» автор пишет:

«Исторические этапы деятельности "исправительных лагерей" на Соловках закончились массовой гибелью "исправляемых", однако и большинство деятелей, приложивших руку к созданию концлагерей на островах, тоже стали жертвами построенной ими системы».

Но вернемся к сталинскому «разъяснению». В нем вождь предстает не только как просто сторонник пыток в практике следствия, но еще и как большой ТЕОРЕТИК ЗВЕРСТВ.

Но этим нисколько не опорачивается сам метод, когда он правильно применяется на практике.

ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод.

ЦК ВКП(б) требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК нацпартий, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим разъяснением.

Секретарь ЦК ВКП(б) *И. Сталин*

10 января 1939 года.

* * *

Приговор вынесен. Дальше что? Вынужденная разлука...

Взаимообмен посланий — это единственная веточка, на которой можно обоим удержать груз одиночества

Начинается эпоха переписки. Бравурность нот выражает трагизм мелодии. Возвышенность речи в этом ворохе — это никакая не литература, она лишь шифрует кошмар самой жизни. Эту переписку вполне можно было бы выбросить на помойку, но вся беда в том, что авторы этих писем — реальные люди — уже давно там, на помойке истории! Забытые и никому не нужные. Это вам не переписка Цветаевой с Пастернаком или, скажем, Сталина с Черчиллем... Это не беседы Гёте с Эккерманом и не полемика Вольтера с Екатериной... Попав в мясорубку эпохи, эти двое были растерты в пыль, да они и были обречены изначально, еще когда поженились, еще когда вкусили первый рабфаковский поцелуй... Уже тогда они были приговорены, но, конечно, совсем не предчувствовали того, что с ними вскорости будет... Их наивность, молодость, романтизм были столь лучезарны и искренни, что наша ирония здесь никак не уместна. Пожалеем же родителей наших, как жалеют жертв землетрясений и наводнений.

— Мы все — крошки, застрявшие в усах вождя, — говорил отец. — Нас НАДО было смахнуть, мы мешали...

— Чему?

— Процессу поедания основной пищи.

Но переписка — только надводная часть айсберга. Сворованная государством жизнь обернулась призрачным шаламовским животным существованием, когда сам собой возникал тяжелейший выбор — остаться ли человеком или превратиться в дерьмо.

«В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд, — подлец или дурак» (В. Шаламов. «Любовь капитана Толли»).

Отец, не бывший ни подлецом, ни, тем более, дураком, уклонился в своих письмах от рассказа о подробностях трудовой деятельности в лагере, — и это был он, всегда с головой погруженный в работу.

Конечно, он знал, что письма перлюстрировались. Малейшее отклонение от норм «что можно, что нельзя» оборачивалось карой, самой слабой разновидностью которой мог быть карцер. Это называлось «сохранением классовой сущности» заключенного: надо было льстить палачу, благодарить палача, славить палача.

Собственно, то же самое делали подневольные люди, находившиеся на так называемой свободе. Но те, кто сидел, чтобы выжить, должны были каждую секунду ПОДТВЕРЖДАТЬ свою искреннюю преданность охране и ее идеологии. Этот садомазохизм входил в обязаловку и здесь, и там. Присяга на верность. Иначе...

В российской тюремной традиции обмануть, обойти дуру-цензуру значило проявить превосходство узника над охраной.

«Твоего брата отправили в санаторий», — писал невольник, а на воле все понимали, что санаторий — это концлагерь. «Поехал в гости к Дзержинскому» — в переводе на общепонятный: «расстрелян». «Сестра заболела и лежит в больнице» — читайте: арестована. «Доктор признал здешний климат для твоего папы вредным» — читай: «перевели в другое тюремное заведение».

«Эзопов язык» в старых тюрьмах России знали все. Советский тюремный «новояз» был гораздо более изощренным. Надо было прежде всего подчеркивать ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ верность режиму и «лично товарищу Сталину». Иначе ты — плохой зэк. Письмо по сути своей интимно, секретно, лично, но именно личная жизнь должна быть поставлена под контроль. Увеличение срока — вот что светило со страницы каждого письма. Сдерживать себя, следить за собой, чтоб не вырвалось лишнее словечко, такому романтику, каким был от природы отец, — задачка хуже некуда. «Не проколоться» — ведь «слово не воробей, поймают — вылетишь».

Однажды, году в 65-м, я спросил отца с обезоруживающей прямотой:

— Папа, а скажи, почему ТАМ, где столько людей погибло, ты остался живым?..

Он ответил горькой шуткой:

— Когда все умерли, меня попросили остаться.

Но я-то знал, почему он выдюжил.

В письмах прямо, не между строк, содержится объяснение: потому что верил в свою невиновность...

«Невиновен». Это была истина, благодаря отстаиванью которой он спас свою душу и тело.

г. Петропавловск на Камчатке, 12/IX-1940 г.

Здравствуй, дорогая Лика! Наконец-то получил возможность писать письма. Правда, слишком дорогая цена этой возможности, но не я ее назначал. Главное в жизни — не терять чувства юмора, не впадать в уныние. Вся беда только в том, что на нашу долю выпадает горький юмор — что ж поделаешь? Это письмо не принесет тебе радости, я должен огорчить тебя, — не вини меня в этом... С первой минуты моего ареста я все надеялся на справедливый исход, но судьбе он оказался неугодным. Решением особого Совещания при НКВД СССР от 23/VII т.г., по обвинению в принадлежности к антисоветской право-троцкистской организации, я осужден на 8 лет лагерей, считая с 3/XII-37 г. скоро меня этапируют в назначенный мне Нориллагерь, в Норильск, Красноярского края. Решение это я получил 10-го числа, позавчера. Но сейчас я на работе в Канском лагере. Пока что я здесь буду, наверное, до весны. Плохо совсем с табаком — курить нечего, да и питания не хватает. Прошу тебя, моя Лика, вышли мне посылку. Главное — табак, сахар и жиры. Говорят, что из Москвы нельзя посылать — не принимают, но может быть удастся? Посылки, что ты выслала на Камчатку я не получил — уехал. Подай заявление на почтамт, чтобы тебе вернули их обратно, пусть запросят по телеграфу, а то пропадут. Из вещей мне нужно только: 2 пары теплого и 2 пары простого белья, 3 пары носков простых и 2 пары теплых. Больше ничего пока что из вещей не нужно. Я одет хорошо. Петя, перед отъездом дал мне полушубок, ватный костюм, резиновые сапоги, пару белья, был я у него дома (с конвоиром), видел Виктора Бужко, Финогенова. Николай Иванович обещал мне быть в декабре мце у А. И. Микояна и говорить обо мне. Емельянов тоже должен быть в Москве. Обратись к нему за помощью. Дорогая Лидука, я написал с дороги , 7/XI, письмо родным. Я категорически просил установить с тобой нормальные родственные отношения, поругал их за все. Ты не держи обиды на них, — все вы болеете за меня, всем тяжело, надо друг другу помогать.

Сберкнижку я сдал 28/X в Петропавловскую горсберкассу, получил квитанцию, как только там получат твое письменное заявление о переводе вклада в Москву, это будет сразу же сделано получила ли ты его уже? Денег пока что мне не нужно, купить нечего, об этом я напишу потом.

Сейчас я тороплюсь отправить тебе это письмо. Извини, что коротко и сухо. Милая моя, родная женушка! Мой дорогой сынка! Все мои мысли и чувства только и только с вами. Всегда и постоянно.

Жду от тебя, моя Лидуха, письма подробнейшего, фотографии и посылку (да, еще нужны мне валенки) с табаком и вкусными, сытными вещами, которых я не пробовал 3 года.

Целую вас крепко, крепко.

10/XII-40 г.
Ваш муж и отец *Сема.*
Привет всем, всем родным. Особый — маме Александре Даниловне.
Проси всех писать мне. Привет моим родным. Еще раз целую крепко.
Твой Сема.

У этого письма мощная витальность, — как теперь бы сказали. Человек борется, это видно и это заслуживает восхищения. Он еще не созрел «после трех лет сидки», чтобы горестно махнуть на себя рукой: бесполезно просить, все, в сущности «бесполезно». Это не его надежда умирает последней. А покуда я жив, буду лететь в пропасть с верой, что воспарю, не разобьюсь, не подохну. Но уже в другом письме появляется чисто зэковский скепсис: «я вряд ли получу ответ», уже очень осторожно спрашивает о «товарищах», не уверен... И был прав: насколько я знаю, никто к маме не пришел. Люди боялись. А чего? НКВД? Берии? Иосифа Виссарионовича?..

Нет, прежде всего боялись друг друга. Боялись ОБЩЕНИЯ. Конечно, не все. Вот упомянутый «Петя» — это Петя Склянский, — кажется, он один-единственный подал сигнал — то ли позвонил, то ли все же тайно встретился с мамой... Но домой к нам никто ни ногой, и это понятно: кому хотелось загреметь, вдруг донесут, вдруг усмотрят в таком визите «организацию»?!.

И еще. Отец знает, чувствует: не ладится у жены ни с его сестрами — Пашей и Розой, ни с его престарелой больной матерью. «Я категорически просил установить с тобой нормальные родственные отношения». Как бы не так! Мы увидим еще, как конфликт будет расти. Этот снежный ком потом покатится и придавит всех участников... Отец чу́ток к этой опасности и недаром называет мою бабушку, а свою тещу Александру Даниловну «мамой». Он знает, откуда ветер дует, и стремится загасить огонек вражды, — тонкий психологический ход: «вторая мама» должна клюнуть на эту деликатно проявленную «родноту», она перестанет поносить его сестер и маму...

Ах, если бы оно так и вышло!..

Помнишь, моя Лидука, что я писал тебе в больницу, когда родился наш Марик? Вместе с тобой я хотел воспитать его хорошим, настоящим коммунистом, ленинцем-сталинцем, обладающим всеми качествами нового Человека. Хотел ли я, и мог ли я хотеть другой какой-то жизни? Конечно, нет. И больше, чем кто бы то ни было, ты знаешь об этом. Все то, что случилось со мною: арест, обвинения, заключение в лагерь «За участие в антисоветской право-троцкистской организации», — настолько дико, бессмысленно, что просто и не знаю, что говорить, как говорить, кому говорить?

До последнего момента, на протяжении почти 3-х лет следствия, я держался стойко, был уверен, что разберутся, все выяснится, буду освобожден, реабилитирован. С гордостью могу сказать, что я — один из тех единиц, что пройдя все ужасные «методы» и проч., остались честными людьми, не лгали, не клеветали ни на себя, ни на других. Моя совесть чиста и перед людьми, и

перед советским Государством, и перед тобой, и перед моим сыном, — я не лгал, я говорил только правду, нашу правду, меня били, калечили за нее, не верили, или, вернее, прикидывались неверящими. Я стоял на своем твердо, уверенно, ибо единственная правда — это правда о моей невиновности. В конце 39 года, наконец, было проведено нечто более похожее на настоящее следствие. И с первых же шагов все обвинения оказались опровергнутыми, разбитыми.

Была создана новая комиссия: Павлов — Пред. Облплана, Решетников — зам. Нач. план. отдела и инж. Горлин — с Судоремзавода. Вызывали меня на заседание комиссии, я дал объяснения, приложили документы, опровергли предыдущую «экспертизу», записали, что не находят в моей работе «каких-либо элементов вредительской или иной преступной деятельности». Значит, все хорошо! Так нет же. Посылают на Особое Совещание и я получаю по совершенно дикой, неправдоподобной формулировке, — 8 лет лагерей.

Так сделали меня «участником» право-троцкистской организации, о которой я не имел никакого понятия... Это ведь жуткий, нелепый парадокс: я и «антисоветская правотроцкистская организация»... Мыслимо ли это? Это ведь такое чудовищное издевательство, надругательство над честным советским человеком, что я просто и не знаю, что же теперь делать? К кому обращаться, кому жаловаться? Все мои заявления попадают, конечно, не к прямым адресатам, а в аппарат, где их не читают и кладут под сукно. Еще до получения решения Особого Совещания я из тюрьмы послал заявления и жалобы.[3]

Беда в том, что большинство этих заявлений было написано и попало на место уже после 23/VII, т. е. после решения Особого Совещания.

Ответов я не получал. <...>

Но ведь должны же, чорт возьми, разобраться и установить действительную мою невиновность. Не может же так остаться!

Все сейчас будет зависеть от вас — тебя и родных... Нужно писать и писать, добиваться личных свиданий с руководителями партии и Правительства, с Прокурором Союза, с А. И. Микояном, Л. Берия. Просите, чтобы вмешались, лично разобрались в моем деле. Наймите адвокатов — они должны добиться пересмотра моего дела. Моя милая, любимая женушка! Вся надежда на тебя и сестер. Кто еще поможет мне сейчас? Я прошу и тебя и их не ссориться друг с другом, бросить все обиды, и действовать вместе, общими усилиями и общим советом.

Тебя, моя Лика, я вовсе не виню ни в чем, только я, сам перенесший много, могу понять, что пришлось перенести тебе. Я уважаю, ценю и люблю тебя больше, чем когда бы то ни было, и я мечтаю день и ночь о том времени, когда я зайду в наш дом, к тебе, моей любимой женушке, обниму тебя крепко, крепко, буду целовать и ласкать тебя, мою милую, дорогую! Как хорошо нам будет тогда с нашим Мариком, нашим сыном, моим мальчиком. Я его совсем ведь не

---

[3] Далее перечислены адресаты: А. И. Микояну, в ЦК ВКП(б) — на имя И. В. Сталина, Прокурору СССР, НКВД СССР — Л. Берия. — 10 обращений с 25/IV по 8/VIII 1940 г. Еще, уже в Хабаровск и Петропавловск на Камчатке руководству НКВД и в Обком ВКП(б) — 13 обращений с 15/IV по 11/IX 1940 г.

знаю, какой он сейчас, большой уж парень — говорит, бегает, балуется, поет, читает? Как здоровье, рост, как он развивается? Как ты, моя девочка, здорова ли, все ли хорошо у тебя? Как легкие, сердце, не болеешь ли? Главная моя просьба — береги себя и сына, не отказывай себе в необходимом. Напиши все подробности о себе, о сыне, о маме, о родных, обо всем, обо всех за это время... И обязательно фотографии, чем больше, сколько только есть, и старые и новые, — они будут мне великой радостью. Получила ли ты письма, что посылал тебе на этих днях? Это письмо с 12/IX — пятое по счету — буду нумеровать в дальнейшем, и ты делай это же. Ликин! Вышли мне, пожалуйста, посылку: махорки побольше, табаку, папирос, сахар, конфет, жиров, — ну, ты сама знаешь, что нужно. Да не все, кажется, можно достать сейчас? Мне нужно сейчас подкрепиться малость, хоть короткий срок.

Вот адрес, по которому можешь послать деньги, а их передадут мне. Не знаю, верно ли это, но попробовать первый раз надо. Адрес: г. Канск, Красноярского края, до востребования, Егоровой Анастасии Алексеевне. Если не пропадут, то можно будет в следующий раз еще перевести. Деньги нужны, особенно в первое время. Я работаю бухгалтером в производственно-технической части с января, возможно, перейду на плановую работу (если не погонят на общие). Работы очень много, не меньше 13-14 часов в сутки, а бывает и больше. Обо мне не беспокойся. Хочу жить и жить обязательно. Хочу быть с тобой, с сыном, в своей семье. Надеюсь, что это будет, рано или поздно, но будет.

Целую тебя и сынку крепко, крепко, обнимаю и желаю здоровья и благополучия

Ваш Сема.

Привет всем родным.
Писать больше сейчас не могу.
15/XII-40 г.

Это письмо — замечательный, по-своему, документ. Как видим, отец писал его три дня (ночами, естественно). Это — вопль. Нервы начали сдавать. Несомненно, письмо написано в два адреса. Маме и палачам. Прежде всего глазам проверяющего надо было представить клятву верности — и чем отштампованней будут слова, заверяющие верность, тем более ты будешь походить на винтик системы. Даже находясь в лагере, лижи задницу советской власти, как все!..

Конечно, можно было этого и не делать. Но тогда — оставь надежду, зэк!.. Смирись со своей судьбой. Молчи. Затаись. Терпи и не проси ничего у своего палача. Выживешь — хорошо. А подохнешь — что ж, зато человеком, не рабом, ушел в иной мир. Но до этой позиции надо было еще дойти. Зэк, не сдавшийся судьбе, а выживающий, опершись только лишь на свой дух, на свое достоинство, — этот зэк для отца, отсидевшего в общей сложности в сталинских душегубках 15 лет, еще впереди. А пока... Пока он клянется в верности Сталину: «проверяющий» вдруг, может быть, и усомнится в своей политической фантазии насчет «врага народа»?..

Иллюзии?.. А Отцу надо было выиграть битву за свою жизнь, а битва — это и отступления, и компромиссы...

В письмах мелькают фамилии. В том числе тех, кто оболгал отца. Но ведь и спасибо сегодня хочется кое-кому сказать. Кто эти люди — Павлов, Решетников, инженер Горлин?.. Ведь не настучали же!.. Ведь не согласились с другими «экспертами»!.. А некто Анастасия Егорова — кто она, что я могу знать о женщине, вольной жительнице Канска, которая согласилась передать деньги заключенному?.. Ничего?..

Нет, знаю и через десятки лет пытаюсь ей поклониться: Сталин и Берия не понимали, что человеческое все равно сильнее бесчеловечного, — хоть всю страну, весь народ посади в яму, а найдется какая-нибудь Анастасия Егорова и поможет человеку, и выживет он, и страна, и народ.

Следующие письма только подтверждают отцовскую жизнестойкость.

За что? Что сделал я плохого в своей стране?

Чем хуже я других людей, работающих, созидающих, наслаждающихся жизнью? За что мне такое несчастье? Неужели я не добьюсь правды и окончательно лишусь всего, даже всей моей семьи?

Ты уж совсем большая, моя Лика! 31 год... А давно ли я тебя встретил 18-летней девушкой? 2-го февраля 1929 года я поступил на работу в Стройсиндикат и тогда я впервые увидел тебя — стройную, черноглазую девочку с косичками! А ты обратила на меня внимание во время моего выступления на предвыборном собрании, — помнишь? Ты сама мне об этом рассказывала... А теперь ты пишешь мне эти безжалостные строки...

Неужели и ты думаешь, что судьба нас окончательно разъединила?

Я в это не верю, не хочу верить, что только в надежде выйти свободу, быть с тобой, с сыном, в своей семье, я черпаю силы, не станет этой надежды, — и жить мне уж нельзя будет. Для чего и для кого? Ты должна дождаться меня во что бы это ни стало, любой ценой.

Не оставляй меня, Лидука, не оставляй!

У меня отняли все, что только можно отнять у гражданина и человека, но я счастлив тем, что у меня осталась верная любящая жена, мой замечательный сынка, что вы меня любите, верите мне, и готовы ожидать своего несчастного мужа и отца. И это сознание, это ощущение вашей любви и поддержки, это твое, моя Лидуконька, доверие, вселяют в меня бодрость и силы для того, чтобы перенести все, что выпало на мою долю. Я горжусь тобой, Лидука, и люблю тебя крепче, чем когда бы то ни было. Знай, мой мординька, что ты и Марик для меня — моя жизнь, все мое будущее. Вы должны быть здоровы, чтобы дождаться меня, чтоб мы могли пожить с вами многие и многие годы. А я буду здоров, обо мне не беспокойся, я все перенесу стойко, ничто меня не сломит, ибо я знаю и имею для чего и для кого жить: для моей семьи, для тебя, моей единственной любимой, для моего сына, который должен быть прекрасным человеком!

«Когда строку диктует чувство». Тогда само написание письма становится для зэка актом приобщения к жизни на свободе, выводит его дух за преде-

лы колючей проволоки, вытаскивает из бесчеловечного к человеческому — прежде всего к семье как норме «гражданского состояния». В этих условиях сохранить любовь, оставленную ТАМ, значило спасти себя, — наполняясь энергией чувства, лагерник преодолевал не только собственное одиночество, но еще и СИСТЕМУ, ибо ГУЛАГ не в силах был забить человека до конца. Человек все еще неровно дышал к своей за тысячи километров где-то сейчас живущей жене, он изнемогал, но жил!.. Жил! И это самое главное!..

Затерявшаяся в хаосе и кровавых нагромождениях XX века частная историйка любви моих родителей, конечно, не нова. Но столь же и не осмыслена. Может быть, она и важна-то лишь для меня — конкретного плода этой любви, а человечество живет, покоряясь великой силе — забвению. Уж если из сознания уходят «события исторической важности», то что уж требовать от людей помнить про какие-то пылинки, которых давным-давно смело могучим веником Времени.

Однако почему-то не хочется поддерживать этот в принципе полезный инструмент, соглашаться считать «пылинками» живших и страдавших на этом свете людей. Вот почему каждый рядовой документ, ими оставленный (ну, к примеру, чье-то кому-то письмишко), неминуемо с течением времени высвечивается в исторический раритет, характеризующий эпоху не хуже, чем настоящие музейные или архивные ценности. Так, облизанная ложка лагерника, хлебавшего ею баланду, для нас делается дороже любой антикварной серебряной ложки минувших веков. Кажущаяся незначительность документа отступает перед его новым качеством в нашем сегодняшнем восприятии, и, казалось бы, давно потухший, он начинает в нашу сторону истово сигналить, а иногда и излучать свет.

Не отчаивайся, Лидука, жизнь наша впереди, и будет нам еще много радости и счастья, мы еще с тобою повеселимся!

Пиши мне чаще.

Целукаю тебя и Марульку со всей супружеской и отцовской нежностью и любовью — твой Семука.

Я жду к своему дню рождения, к 9/VI, твои фотокарточки и Марикины.

Сема.

Привет маме и всем родным.

Отец ревновал, представьте.

Но что есть ревность, как не покосившаяся любовь?.. Фундамент перестает держать здание, и... крыша поехала!.. Жить не хочется, потому что гармонии нет. Все-то вытерпит наш герой, но измены — нет, не снесет. В первом же письме он «дал» жене свободу. Но попробовала бы она ему изменить тогда... А сейчас тем более: хоть нахожусь — ниже некуда, а — человек, у меня свое достоинство есть. Вот если перестану страдать, сделаюсь равнодушным, — «ну, изменила, ну, и черт с тобой!», тогда и на себя можно махнуть рукой, поставить на себе крест.

Что за «безжалостные» строчки написала мама отцу, после которых раздался его крик души: «Не оставляй меня, не оставляй!»?.. Отмечу с болью: какая-то трещинка, едва заметная, но уже обнаруженная, появилась и проявилась?

Мама смолчала.

При ее житейской нетерпимости, — что поделаешь, характер такой, — ей бы удержаться от «безжалостных строк», однако женская натура живет страстями, а не логикой.

Мама, прости. Очень легко судить тебя со стороны.

Но где наша чуткость к окаменелой одинокости молодого существа, к тому же еще любительницы поэзии. Она жила ведь сразу в нескольких измерениях — на работе, дома, в поэтических мирах, для нее совершенно реальных, и, что было самым мучительным, рядом со своим Семой — в его камерах, на его этапах и в лагере.

Мама была обделена физической лаской. Она получала лишь полные любви письма от мужа, гнившего на каторге. Ее ощущениями руководила глубоко загнанная нежность, растратить которую было не на кого. Или надо было вообще забыть о ней, как в монастыре забывают.

Бабушка подзуживала: «Долго ты еще будешь одна?» Или: «Ну, чего ты сидишь?.. Пойди куда-нибудь... с кем-нибудь». Или грубее: «Развяжи себя, Лида!.. однова живем!»

А она посылала ему посылки из разных мест, то из Одессы, то из Костромы, то из Осташкова — через знакомых и через знакомых и родственников знакомых. Потому что если из одной Москвы, посылку отбирали (называлось — «реквизир»).

Государство делает запреты. Народ делает все, чтобы эти запреты обойти. Тут нужна негласная консолидация. Против НКВД, против дворников, агитаторов, против милиции.

В своем последнем предвоенном письме мама проговаривается: «каждый прошедший день свидетельствует о приближении смерти... Часто мне кажется, что я уже совсем старуха, не верится, что я смогу еще увидеть светлую жизнь», — и в самом конце: «плохая я стала и некрасивая — старею... хочется примолодиться...».

Слова понятные и объяснимые... Можно не придавать им значения. Но это — если не знать финала истории любви в сталинское время.

Мама тогда вроде даже как-то успокоилась. Отправила «семейство» на курорт. Детский. На свою родину, в сверкающую солнцем Анапу.

Но тут — бах! — началась война.

11/III – 1942 г.

Дорогой мой и любимый сын Марик!

Горячо поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья и счастья!

Марик, вот тебе уже и пять лет! Ты уже совсем большой у меня сын. Мне хочется, сыник, чтобы ты был хорошим мальчиком, чтобы ты учился всему

только хорошему и вырос достойным гражданином нашей Страны. Мароник, ты должен уже теперь понять, что сейчас мы все переживаем много трудностей, война сделала много горя и таким ребяткам, как ты. У многих деток немцы-фашисты убили папу и маму, эти детки остались одни. Им, конечно, очень тяжело. И ты, умница, мой мальчик, когда пожалел ту девочку, которая плакала над гробом своего погибшего папы. Таких деток — и девочек и мальчиков надо теперь всем нам любить и заботиться о них, как только можно. Они все наши близкие и родные, потому что их папы и мамы воевали с фашистами. Все наши бойцы думают только о будущей счастливой нашей жизни, поэтому они так храбро бьют фашистов.

Мароник! Правда ты будешь доволен, узнав что я все твои вещи, которые тебе уже малы, — отдала деткам, у которых фашисты отняли все.

Марик! Мне очень жаль, что я не смогу быть у тебя на дне рождения. Но ты знай, что твоя мамуся всегда мыслями с тобой, что она очень крепко, крепко любит своего сыника. Если будет возможно, пригласи к себе в гости своих друзей. А потом я буду ждать от тебя письма, напиши мне, какие новые стихи ты знаешь и как прошел твой праздник. Я уже приготовила тебе, сын, подарок, в день твоего рождения. Угадай что! Настоящий двухколесный велосипед, — очень красивый, с настоящими шинами, педалями и седлом, точно такой же, как у взрослых бывает. Жаль, что ты не увидишь его в этот день, но вот когда приедешь, — будешь кататься. Мамуся твоя заработала денежки и купила тебе этот большой подарок. Ну как, ты доволен? Напиши мне, родной сыночек!

Целую тебя и крепко, крепко обнимаю тебя и бабуню.

Твоя мама.

Это письмо «бабуня» читала мне вслух в Анапе. И я, пятилетний, конечно, был счастлив и хлопал ушами. Мне было невдомек многое: и почему я до сих пор не видел папу, и почему курортная жизнь так быстро кончилась, да и сама война.

Правда, кто такие фашисты, я уже знал. Это те, кто нас бомбят.

Бабушка научилась во время бомбежек, — как правило, их было по 3 –5 раз в день, — спасать меня и себя весьма своеобразным образом. Заслышав самолетный гул, она хватала меня, малыша, за руку, тащила в дом, и мы тотчас залезали под кровать. Считалось, что, когда дом будет разрушен, мы спасемся под обломками. С этой верой мы всякий раз лезли под кровать, которую бабуня называла «бомбоубежищем» и имела на то основания. Ведь другого бомбоубежища в Анапе не было. Это в Москве люди прятались на станциях метро, а в Анапе метро не провели. Может быть, поэтому жертв среди населения прибавлялось каждый день.

Все, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, знают: знаменитый детский курорт Анапа был полностью разрушен. Бои в этих местах шли ожесточеннейшие. Да, моя бабушка не участвовала в рукопашных боях, но ей тоже пришлось понюхать пороху. Как мы с ней остались

живы в этом кошмаре — одному Богу известно. Это называется — поехали на курорт.

О том, что было дальше, мама описала в подробном письме моему другу Юрию Клепикову, блестящему сценаристу, интересовавшемуся историей жизни и судьбы моих родителей. Вот отрывок из этого маминого письма:

В Москве мы жили в полуподвале, сырой коммунальной квартире. Марик почти все время болел. Все камчатские скопленные деньги уходили на его уход, питание и врачей, чтобы как-то укрепить его организм. В 41-м году, за 10 дней до начала войны, я отправила Марика с мамой в Анапу (это моя родина, где я и мама родились) на все лето. Анапа — это не Крым, а Северный Кавказ... 22-го июня, в 12 часов, отправляя очередную продуктовую посылку мужу, я услышала по репродуктору на Трубной площади голос Молотова о начале войны. Сразу же я дала телеграмму маме, в Анапу, чтобы выезжала обратно в Москву.

А там в Анапе была паника, билетов нет, народ скопился на выезд, все женщины с детьми. Железная дорога к Анапе не подходит. Отправление через ближайшую станцию Тоннельную — в 40 км от города, по направлению к Новороссийску. Мама ответила «выехать не могу, не беспокойся, враг будет разбит». И такие письма шли ко мне в Москву в течение целого месяца. Несмотря на мои и требования и просьбы вернуться, мама оптимистически оценивала обстановку и храбрилась. Хотя паника и схлынула, народ в основном разъехался, жить было тогда в Анапе превосходно. Все дешево, продуктов много, изобилие, т. к. подготовка к курорту в городе превосходила все потребности наличного населения. Это было большим соблазном для мамы, т. к. основная цель пребывания там — была закалка у моря тогда еще слабого ребенка, которому еще не исполнилось 5 лет. Маме казалось, что «мы настолько сильны, что можем победить скоро немцев, ведь финская война была всего два месяца». Так она рассуждала. А я в Москве думала об этом иначе, но писать ей «не обольщайся» — боялась. Через месяц после начала войны — в Москву был запрет на въезд, а особливо с детьми. Нужен был специальный пропуск. Детей эвакуировали из Москвы принудительно. Шло время, фашисты подбирались к Крыму, заняли много городов, начались бомбежки и Анапы. Жертвы бомбежек стали реальными. Одна тревога сменяла другую. Связь моя с Анапой часто прерывалась. Хотя я и писала им почти ежедневно, но часть почты пропадала. Я послала им теплые вещи, обувь, зимние пальто. Мама с Мариком в Анапе вынуждены были прожить 1,5 года. Ежемесячно посылала деньги, 200 руб, которые у меня тянулись еще после Камчатки, на сбер. книжке. Питание там было дешевое, народу мало. А жила мама уже не на частной квартире, как вначале, а у родственников, где было еще двое детей. Это жена маминого брата. Она работала в госпитале и раздобывала продукты, а мама обслуживала всю семью. И вот немцы взяли уже Керчь, начались обстрелы, ведь это было уже совсем близко от Анапы. Угроза надвигалась с каждым днем. Доходили уже и кошмарные слухи, как немцы бросают в колодцы еврейских детей. Мама приняла решение уезжать из Анапы, она почувствовала всю ответственность за Марика, металась, а выехать

было уже и там трудно. И куда? В Москву — запрет. Средств мало, кругом только деньги и взятки.

В это время я в Москве встретилась с родственником моей близкой подруги, который приехал на побывку с фронта на несколько дней. Он увидел мое состояние, я дошла до галлюцинаций, не могла ничего придумать, Москву бомбили также. Уезжать я не могла решиться, т. к. боялась потерять связь с мамой. Короче говоря, этот человек уехал на фронт, обещая мне послать маме в Анапу, немедленно, пропуск на выезд из Анапы, по которому она вправе достать билет. Я особенно не рассчитывала на этот вариант, т. к. человек этот не был для нас таким близким. Но как говорят, свет не без добрых друзей. Он вскоре мне сообщил, что пропуск выслан. Радости моей не было предела. Сообщила об этом маме. Она ежедневно ходила в МГБ справляться, но пропуск ей не давали. Оказывается, он лежал в течение месяца под спудом и никто не хотел искать. Подействовала только мамина истерика там в местной организации МГБ и твердое заверение, что пропуск должен быть. Пропуск был оформлен до Рязани, т. к. в Москву все еще нельзя было въехать. Наш спаситель работал на фронте, в штабе, и ему удалось оформить пропуск, будто бы на сына и мать. Кто тогда вникал в суть дела?

И вот мама, за 6 дней до оккупации Анапы немцами — выбралась с пропуском под градом пуль грузовой машиной до Краснодара. А там своя кутерьма! Пропуск есть, билет есть, а сесть в эшелон невозможно. Столько народу с детьми и, конечно, паника, потому что и там уже немцы и проч. И вот мама, поняв, что с ее больной ногой и ребенком невозможно будет при очередной посадке в эшелон успешно втиснуться в вагон — решила тоже дать взятку. Этому ее научили люди, скопившиеся на вокзале г. Краснодара.

Она уговорила носильщика за 1000 рублей выпустить ее на платформу вокзала за 5 минут до начала посадки в вагоны, с тем чтобы она могла в числе первых пассажиров войти с ребенком в вагон. Так и осуществилось. Ведь, если помните, мама была инвалидом, она хромала, у нее была неподвижность сустава ноги, с открытой раной после ранения перенесенной в 20-х годах болезни костного туберкулеза (остеомелит). Выхода другого не было, иначе она застряла бы с Мариком там надолго. И вот они в эшелоне, едут через весь Кавказ до Баку. По дороге их 6 раз бомбили. Вдоль всей дороги были вырыты траншеи, и если поезд бомбился, то его останавливали и все прятались в вырытые траншеи. Народу тьма, все, дети, женщины, мест никаких. Заняты все квадратные сантиметры площади трех ярусов вагонов. Все вещи, авоськи, чемоданы привязаны снаружи к окнам. На крышах полно тоже. Проходы забиты, тамбуры, подножки тоже. И вот на ст. Прохладная — очередная бомбежка с самолетов. День... жара. Марик спал на руках у мамы.

Всего этого отец, естественно, не знал и не мог знать.

Курортная эпопея выдвинула на пьедестал семейного почета мою бабушку: ведь это она спасла мне жизнь во время бомбежки, прикрывая меня своим телом и получив при этом ранение. Чем не герой войны?!.

...«Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа, — однако, сколько же детей таких взяли, спасли (сами-то дети пусть расскажут)»[4], — это Александр Исаевич, можно сказать, прямо ко мне обращается с призывом не отмолчаться по поводу народного противостояния сталинщине — и мужественного, и нравственного. Однако и Гитлер своей волосатой рукой тянулся лично ко мне, малолетке со стажем безотцовщины. Зажатые с двух сторон, дети «врагов народа» автоматически становились «детьми войны», — я был в их числе. И теперь выжить сделалось трудно вдвойне. Ведь я был не просто ребенок, а ребенок-жидёнок со всеми вытекающими из этого положения перспективами.

Вот тут и скажу, что дорогой и любимой бабушке моей Александре Даниловне Губановой обязан я своей жизнью. За считанные дни до прихода немцев в Анапу все же вывезла внука на переполненном беженцами поезде. Но вывезти было мало.

У станции Прохладная поезд встал как вкопанный в чистом поле: началась точечная бомбежка. Люди хлынули веером из вагонов в разные стороны. К счастью, увидели неподалеку землянку в виде буквы «Г». Бабушка, услышав гул самолета, накрыла меня своим телом... Бомба прямым попаданием взорвала другой вход.

Переполненная землянка превратилась в кровавое месиво трупов, рук, ног, раненых людей... Крики, стоны... Какой-то мужик хвать меня на руки и — побежал к лесочку. Бабушке попал в ногу осколок, и она не могла встать. Истошно взвыла: «Ой, что я скажу Лидочке!? Марик! Марик!»

Ее не боль в ноге скрутила, а то, что она потеряла меня, своего внука.

Бабушка отыскала меня только через два часа. Все это время в поезд грузили раненых и хоронили мертвых, закопав их наскоро в той же землянке.

— Ваш ребенок? — появился из леса мужик, утащивший меня из-под бомб. Бабушка прекратила вопли.

Ее счастью не было границ: нашла!

...Однако наше опасное путешествие продолжилось, прибыли через Грозный в Махачкалу. Через Чечню в Дагестан (сегодня бы — тем же маршрутом!), оттуда в Баку.

Там сели на бодрый и смелый пароходик «Калинин» и поплыли в Красноводск по Каспию.

И тут нас снова настигла бомбежка. Казалось, это был тот же самый немецкий самолет. И на этот раз — беженцы, только, правда, на палубе, потому что в трюмах «Калинина» была... нефть!.. Ее везли из Грозного — через Среднюю Азию — к Сталинграду. Так что достаточно было и одного окурка, чтобы наш «Калинин» взорвался к чертям со всеми нами посреди Каспийского моря.

Не взорвался. Единственный зенитный пулемет отогнал вражескую птицу. «Врагу не сдается наш гордый "Варяг"», — усыпанная беженцами палуба пела и ликовала.

---

[4] Архипелаг ГУЛаг, том 2-й.

В сияющем желтизной (песок, горы, домики — все желтое) Красноводске жили мы с раненной в ногу бабушкой на улице под открытым небом больше месяца — в палатке, сделанной из простыни. Стакан мутной воды стоил 40 рублей, огромные, бешеные деньги. Палящее солнце, тени никакой. Да еще чемодан украли.

Бабушка плачет. А потом перестала плакать. Это уже я заметил, когда мы оказались в Ташкенте: здесь другая была жизнь, тыловая, настоящая, отлаженная. Помню, как целыми днями мы жевали урюк, один сплошной урюк... И этот «урюк», само слово и сладкий запомнившийся вкус его, стали для меня символом той среднеазиатской эпопеи 1942 –1943 годов.

Вот продолжение маминого письма:

В это время я в Москве уже устроилась в Проектное бюро местной промышленности. А до этого я работала в 16-й типографии ОГИЗа — рабочей, шила из клеенки большие цилиндры, которые нужны были самолетам. Норму выполнять было трудно, голодала, комната нетопленная, дров не было, по карточкам ничего, кроме хлеба, не получали. И вот, когда поступила в Проектное бюро, там мне устроили мнимую командировку в Куйбышев.

Там жила моя двоюродная сестра с мужем, у которых остановились мама с Мариком. Я поехала туда и привезла их в Москву весной 42-го года, хотя пропуск был только до Рязани. Когда являлся контролер — Марика прятали на третью полку. Там он лежал вытянувшись солдатиком, не шевелясь. А из мамы делали тюк вещей, тоже как будто бы неживое существо. Марику нравилась вся эта маскировка, и он очень ловко и быстро карабкался на третью полку. Пребывание в Анапе 1,5 года его закалило климатически, и к счастью он перестал часто болеть. Вот как он нам достался, Юра! Все это очень коротко я описала. Часть писем и открыток из Анапы у меня сохранилась. А большинство я отсылала отцу, ведь он тоже страдал и был в то время в наитяжелейших условиях. В то время уже запретили посылать им продуктовые посылки. Я ежемесячно имела право послать ему только 50 рублей (это теперь 5 руб.), а что можно было у них купить там в ларьке, на эти деньги? Как мы все выжили, не знаю. Я в первый же отпуск (ведь в войну не было отпусков), в январе 1946 г. поехала к Сем. Мих. В Сибирь, это ст. Решеты (около Канска). Он работал в тайге. Ну это уже другие страницы моей жизни, не сейчас это вспоминать.

А в 43-м Сталинградская битва отбросила немцев с Волги и покатила свастику с нашей земли. Можно было приблизиться к Москве, и бабушка ценой огромных усилий из Ташкента перетащилась со мной в Куйбышев, где нас приютили работавшие на авиазаводе родственники — дядя Вася Постригань и тетя Нина Тиматкова. Их дочку Марту — мою сверстницу — я считал своей двоюродной сестрой, и мы очень дружили в детстве.

Бабушка с открытой раной на ноге прохромала всю оставшуюся жизнь. Прекрасно помню, — и это одно из сильнейших моих детских воспоминаний, — как выглядела бабушкина нога с незаживающей раной у щиколотки.

Кость была обнажена, смотреть на нее было невыносимо, хотелось зажмуриться. Рядом с раной светилась ярко синяя полоска натянувшейся кожи — с красными кровяными подтеками и желто-зелеными пятнами.

Эта нога буквально пылала физической болью. Осколок сидел внутри. Извлечь его было нельзя.

Единственный способ избавиться от страданий — ампутация. Но бабушка не соглашалась. Она, помнится, боролась с болью следующим образом: наливала в ведро кипятку, давала ему 5—10 минут остыть и совала туда больную конечность. Это называлось: «Парить ногу!»

Самолечение избавляло ее от страдания. Парить ногу по два-три раза в день — это была тяжелая работа: ведь в коммуналке приходилось кипятить воду на керосинке, на общей кухне, где соседи рядом жарили, варили пищу и стирали белье.

Тем не менее бабушка моя была бодра и смешлива, остра на язык и чрезвычайно работоспособна. Ни минуты она не сидела без дела, все что-то готовила, шила, мыла и убирала.

Она меня воспитывала, разговаривая на разные темы — обо всем, кроме отца. Закрытая тема. А на мои вопросы ответ был один: «Он на фронте. Вернется — всё тебе расскажет».

Что «всё» — не уточнялось. «Ты лучше ему письмо напиши. Или открытку. Вот, садись и пиши. Или нарисуй что-нибудь. Что хочешь, нарисуй».

У меня сохранились десятки этих посланий: «Папа, бей немца!», «Папа, приезжай скорей!» и др. — картинки боев с участием танков и самолетов, на которых красовались звезды и свастики: «наши», конечно, побеждали фашистов.

Это было мое участие в войне, мое участие в Победе. Одна беда, мои послания НИКУДА не посылались. Некуда было их посылать.

Мама складывала их в шкатулку и запирала на ключик: все боялись, что Марик найдет этот ключ, отопрет замок, увидит свои художества и письма отцу на фронт, — что тогда ему сказать?!.

Впрочем, фронт был везде. Из письма отца:

Облигации не вышлю, — я их сдал в Фонд обороны, — ты не будешь ведь возражать против этого? Я здоров, обо мне не волнуйся. При первой возможности, дай о себе знать. Как все родные? Как Самуил с семьей, как ребята, ушедшие на фронт?

Целую тебя крепко — твой Сема
Мы еще обязательно будем вместе. До свидания — Сема.

Эта маленькая открытка дорогого стоит: «Облигации сдал в Фонд обороны»...

15/I — 42 г. Москва.

Родной мой Семик! Письмо твое пришло с вырезанной страничкой. Страдаю, что ничего не знаю о тебе, как здоровье, жив ли? От мамы стала получать

письма, одно послала тебе на днях. Последняя открытка от 25/XII — пишет, что здоровы. Марик замечательный сын, уже знает все буквы, складывает из кубиков слова, очень подвижный. Устраивала она ему елочку. Была она с ним у врача, признал увеличенте железок, весит 15 кг 300 гр, рост 101 см. За лето вырос на 4 см. Очень скучает по мне, часто вспоминает. Прислал еще открытку и дяде Самуилу, — он его любит.

Волока контужен и поэтому демобилизован на 1 год. Ничего не слышно о Николае Ар. — наверное, погиб. Это большое горе для нас всех, — у Майки осталось трое детей. Остальные родичи живы и здоровы, но все живут вне Москвы. Я чувствую себя сейчас куда лучше, воспряла духом. Знаю, что сыник наш в безопасном месте, хотя мама писала, что и им приходится переживать то, что и мне раньше в Москве. Но самое главное то, что гонят всех гадов везде с нашей территории. Рада успехам нашим на фронтах. Я тоже вношу скромную долю своим трудом на окончательный разгром гитлеровской банды — работаю на оборону. К весне, возможно, устроюсь по своей специальности, а пока работаю рабочей. Мама тоже чинит белье для Кр. Арм.

Целую крепко. *Твоя Лика.*

На днях вышлю тебе деньги — последнее время было трудно.

Лида.

Эта мамина открытка фиксирует самое страшное, что несет война.

Контуженный Волока — это мой дядя Володя Тиматков — добрейший, умнейший, тишайший человек...

Николай Ар. — это дядя Коля Арутюнов, погибший, пропавший без вести в первые месяцы войны...

«Пока работаю рабочей». Мама вкалывала «на свободе», занимаясь тяжелым физическим трудом. Но не потому, что ей хотелось ТАК помогать фронту, а потому, что она была женой «врага народа» и ее на другую работу не принимали. Бдительность прежде всего!

Письма... Открытки... еще письма...

Н. Пойма, Красноярск. кр. — 15/I — 1942 г.

Моя дорогая Лидука! 3,5 м-ца не имею от тебя никаких известий, не знаю, что и думать. Жива ли ты, здорова? Страшно подумать, что с тобой могло что-то случиться плохое. Моя любимая женушка! Очень прошу тебя не забывать писать мне возможно чаще, — для меня это будет единственной поддержкой. Покоя не дает мне судьба нашего сына и мамы А. Д. Где они, что с ними? Удалось ли им выехать из Анапы и куда?

Прошу тебя, моя мордуля, если будет возможность, выехать вместе с сыном и мамой поближе сюда, на Урал или в Сибирь... И для меня это будет легче, т. к. из этих мест лучше идет почта и принимают посылки. Моя дорогая, много бодрости придают сообщения о победах нашей Красной Армии над проклятыми фашистами. Хочется, чтобы их поскорее разгромили и уничтожили начисто. И мы тогда, может быть, скорее увидимся и будем вместе. Обо мне не беспо-

койся. С 1/XII я нахожусь на новом месте, работаю бухгалтером по х-расчету, возможно перейду на этих днях на плановую работу, если прибудут бухгалтера́. Здоровье несколько улучшилось, стал чувствовать себя крепче. Решил вновь обратиться с жалобой и с просьбой об отправке на фронт, но мало верю в удовлетворение. Будь бодра, береги себя, что бы ни случилось. Это единственная возможность все-таки увидеться и быть нам вместе. Пиши только чаще и подробнее о себе, о сыне, о родных.

Любимая женка! Помни, что я всегда с тобою, всеми мыслями и думами. Работаю много и думаю о семье и Родине.

Целую тебя и Марика крепко

Ваш Сема.

Привет маме и всем родным. Как Самуил с семьей?

Канск, 8/IV — 1942 г.

Здравствуй, моя любимая Лидука! Пишу тебе, по совести говоря, с ужасным ощущением безнадежности получить ответ, — послание в неизвестность. Такое состояние, нагоняющее на меня смертельную тоску, уныние и крайне напряженное беспокойство за судьбу своей семьи, создано тобой, Лика, по абсолютно непонятным мне причинам. Больше полгода ничего не получаю от тебя, это ведь невероятное дело, объяснений которому у меня нет. Теряюсь в догадках, но притти окончательно к чему-нибудь не могу. Ни в коем случае не допускаю мысли о том, что ты совсем оставила меня. Как это так, могло ли это случиться? Больна ли ты или Марик? Но Паша в каждом из своих писем сообщает мне о Марике и обижается на то, что ты не отпускаешь его к ним в гости с Самуилом. Что-то не дает тебе написать мне хотя бы пару слов. Ты обязана немедленно сообщить мне о причинах своего молчания и обязана, хотя бы как мать моего ребенка, писать мне подробно о жизни моей семьи. Лидука, не добивай меня, — я не заслужил жестокостей с твоей стороны. Моя жизнь держится на волоске, — не обрывай этого волоска, ибо в моих условиях это гибель. Я нуждаюсь в самой срочной помощи, ты об этом знаешь из всех моих предыдущих писем. С каждым днем мое состояние ухудшается, силы иссякают, с колоссальным напряжением я еще держусь. Ты об этом знаешь, но мало того, что ничем не помогаешь, но просто отмалчиваешься, лишаешь меня даже тех минут покоя, которые я мог бы иногда иметь для себя. Вне зависимости от чего-либо я имею все основания ожидать отклика с твоей стороны, самой энергичной и действенной поддержки: материальной и моральной. Если всему причиной моя связь с родными и получение от них посылок (я уже имею от них три посылочки, которые продлили мою жизнь уже на некоторое время), то ты, Лика, величайшая эгоистка на свете. Но и мысли такой о тебе я не допускаю. Я тебя, моя Лидука, ведь так хорошо знаю, ведь ты была всегда так предана своей любви и дружбе ко мне! Неужели все изменилось и нет у меня моей славной, моей любимой и любящей Лики? Неужели я лишился той светочи, что озаряла весь мой горький путь на протяжении 5,5 лет? Для чего же тогда все мучения и обиды, перенесенные мною? Лучше было мне погибнуть

в самом начале моей трагедии и не проходить весь этот тернистый путь, в конце которого я всегда видел мою семью: тебя и сына. 3/4 пути уже пройдено и как жаль, Лидука, что нет уже сил, и, главное, нет, как будто, и цели, ибо самые близкие и дорогие люди, к которым стремился, покинули и забыли тебя. Да, не такого конца я жаждал для себя, — я его не заслужил ни перед тобой, ни перед сыном, и ни перед всем обществом. Знай, Лидука, и передай об этом моему сыну Марику, что я всегда был честным человеком, никаких, абсолютно никаких преступлений я никогда не совершал, вины моей в чем-либо не было и нет. И, если у меня не хватит сил, и придется мне все-таки уходить из этой жизни, то уйду я тем же прежним Семой, честным и преданным советским парнем, каким ты всегда меня знала. Хочу только, чтобы и сын был воспитан таким же честным человеком, каким был его отец.

Еще и еще раз настаиваю и требую немедленного ответа, подробного ответа.

Еще и еще раз настаиваю и требую немедленной помощи, ибо я хочу жить, понимаешь, жить! Если не можешь помогать, скажи об этом ясно и откровенно, я имею право знать о твоей жизни и условиях, но не оставляй хотя бы без поддержки моральной.

Вот что я хотел тебе сказать, моя Лидука!..

Но как же ты живешь и как мой сынка?

Целую вас, ваш Сема.

Привет маме, Самуилу и всем родичам.

Если можешь — вышли мне денег немного по телеграфу.

Письмо резкое, тревожное во всех отношениях.

Та любовь, высокая и нежная, которую, был бы я поэтом, можно было бы воспеть, как воспеты Ромео и Джульетта, — всегда подвергавшаяся ударам судьбы и времени, — у Семена и Лидии, людей самых обыкновенных, подпадала под такие же испытания и потрясения, насылаемые ей откуда-то извне, со стороны.

Их любовь рано или поздно не могла не дрогнуть. Все, что чувственно, — не из железа и не из железобетона.

Но еще не приспело время разлада, не ударил последний колокол!.. Так хочется СОХРАНЕНИЯ, КАК БЫЛО, как КОГДА-ТО начиналось.

А слова — «мать моего ребенка». Моего, не нашего!..

В другом письме был крик души: «Не забывай меня!», — дальше отчаянное: «Моя жизнь держится на волоске, — не обрывай этого волоска, ибо в моих условиях это гибель». И, наконец, неумолимо ведущий к ссоре выпад: «Если всему причиной моя связь с родными... то ты, Лика, величайшая эгоистка на свете».

В сущности, конфликт обозначен в полной мере, но отец боится, что перегнул палку, — надо, зная преувеличенно обидчивый характер жены, чуток подсластить пилюлю, — отсюда в следующий миг и высокопарный слог — «светоч», «озаряла» и «лучше бы мне погибнуть».

К борьбе с СИСТЕМОЙ прибавляется еще и борьба за семью.
Уже непосильная тяжесть...
Эх-х...

19/V – 1942 г.

Моя дорогая, любимая Лидука! Получил открытку твою от 23/III и письмо от 7/IV. И от мамы из Анапы, письмо от 20/III. Сколько радости приносит мне каждая весточка от вас, моих единственных! Очень досадно, что мои письма доходят не аккуратно до вас. Послал маме с Мариком несколько, а она пишет, что ничего от меня не получала. Ликин! Марик наш, своей ручонкой, печатными буквами, написал мне привет, что он скучает по своему папочке. Я уподобился институтке и тысячу раз целовал эти милые мне строки, этот листок бумаги, на котором мой сын выводил свои буковки. Как обидно, что я не смог вовремя поздравить сынку и тебя, моя родная, с днями вашего рождения: 3-го и 5-го апреля. Прими, моя дорогая, мои поздравления и пожелания, идущие из самой глубины отцовского сердца. Нет совсем радости в теперешнем периоде нашей жизни, но мы живем, должны жить и будем жить для нашего счастья в недалеком будущем, когда разгромят и уничтожат фашистских варваров, когда я, быть может, тогда вернусь домой, к вам, моим любимым, дорогим деткам! Я продолжаю работать на старом месте, экономистом по хозрасчету и себестоимости. Несколько раз в месяц мы, административно-технические работники, выходим в лес и, вместе с работягами, даем стране кубики необходимой древесины. Обо мне не беспокойся, моя дорогая; я жив, относительно здоров, держусь на ногах, способен работать, — чего же еще нужно?.. Главное, воля к жизни, а ее у меня много, больше, чем чего-либо другого. Моя Ликин! Непонятно мне, как это получилось, что письмо мое пришло с вырезанной страничкой, я не писал, и не мог писать ничего такого, что подлежало бы вырезыванию, а кроме того, насколько мне известно, в таких случаях не вырезывают эти места, а вычеркивают. Лидокин! Денег мне не посылай совсем, они мне сейчас не нужны. Наоборот, я сегодня подаю заявление с просьбой о разрешении перевода маме и Марику 100 рублей. Последние сообщения об упорных боях на Керченском полуострове крайне волнуют меня, — ведь Марик и мама так близко находятся оттуда. Я полон уверенности, что и на этом участке фронта, как и под Харьковом, наши доблестные бойцы уничтожат гитлеровских гадов.

Лидик! Если только будет маленькая возможность, пусть мама с Мариком выезжают из Анапы, поближе сюда, и ты тоже приедешь к ним, будете вместе. Все мои мысли только о вас, и я призываю горячо нашу судьбу, если только она намерена оставить для нас хоть капельку счастья, уберечь вас, моих любимых, от всякой опасности и сохранить вашу жизнь, такую дорогую для меня. Мы должны обязательно жить.

По гроб жизни я буду обязан маме за ее заботы о Марике, нет слов для выражения этой благодарности. Я внушаю себе мысль, что с ними ничего не может случиться плохого. Надо во что бы то ни стало стремиться к тому, чтобы она с Мароником выехала к тебе. Разве нельзя этого сделать через Сталинград по

железной дороге? Но, конечно, мама права, что ей нельзя двигаться одной с Мариком, это очень опасное предприятие. Пусть уж, в таком случае, остается в Анапе, будем надеяться, что все будет хорошо, как и до сих пор. Передай привет мой Волоке и Ник. Губанову — нашим геройским защитникам.

Моя дорогая, любимая женушка! Все, что держит меня в жизни, это — ты и Марик. Вы должны жить и будете жить. Мы должны быть вместе и будем вместе!

Целую тебя крепко, крепко, будь тверда и спокойна, обнимаю тебя и люблю крепко —

твой Семука.

Переданы приветы всем, кому положено. Даже Коле Губанову...

И не знает отец, что мой дядя Коля Губанов — младший брат моей бабушки, а потому дядя, не дед, поскольку ему и 25-ти еще тогда не было, — приедет позже, в 43-м году в отпуск с фронта и устроится на побывку в нашей комнате, и угостит меня куском белого хлеба из своего пайка, и возьмет гитару, и споет «Если ранили друга, сумеет подруга врагам отомстить за него!», — как сейчас помню все это... А через три дня он уедет на фронт, и спустя месяц мы узнаем, что он убит. И неизвестно, где похоронен. Нет дяди Коли Губанова. И кто его сейчас помнит, кроме меня?..

Канск, 10/I – 1943 г.

Любимая Лидука, здравствуй! Живу по-старому, т. е. там же. Работаю на шпалозаводе. До 1/I ходил в ночную смену, а январь м-ц, до февраля, в дневной. Наша бригада № 27 занимает первое место во всем Краслаге, работает стахановскими методами и намного перевыполняет план. Работаю крепко и много, очень устаю и перемерзаю. Но хорошо, что возвращаюсь с работы и попадаю в теплое, светлое общежитие, где можно отдохнуть. У нас уже стоят крепкие морозы.

Я уже подал несколько заявлений об отправке на фронт, но пока что результатов нет. Пошел 6-ой год, осталось еще 2 г. 10 месяцев. В сравнении с прошедшим сроком осталось уже немного, но боже мой, как же прожить это оставшееся время?

Время идет. Год 43-й знаменует приближение долгожданного освобождения.

Итак, он на новой работе — тарный завод, «звеньевой» по уборке и относке... сортировке и штабелевке...

Короче, таскает и носит, носит и таскает...

Весь 44-й год — повторение пройденного.

5/V – 45 г

Дорогой Сема! Наконец получила от тебя весточку. Ты удивляешься, почему я не писала тебе, а я еще больше удивлена и обижена твоим молчанием. Тебе я

послала много писем, фотографии, бандероли, а от тебя не получала больше четырех месяцев ничего.

Раньше я беспокоилась, думала, что тебя куда-нибудь перебросили, но оказывается ты писал своим родным, что жив и здоров, настроение у тебя бодрое. Конечно, не надо скрывать, мне очень обидно, что мы с сыном у тебя не на переднем плане. Я и Марик так ждали поздравления ко дню рождения. — Почему же ты, зная что письма так долго идут, в феврале мог написать письмо родным, а не сыну?

В общем, мне тоже хочется внимания, возможного даже в твоих условиях. Связь между нами не должна прерываться, так же это зависит и от тебя. Конечно, ты отвык от меня, видишь, я тебе показалась взрослой и, пожалуй, чужой женщиной... Ты пишешь «не унывай», а для меня страшно подумать, что, может, мы не найдем в каждом из нас того, что было, и того, что должно быть — близость, любовь, понимание... Чем ближе день нашей встречи, тем больше и больше я об этом думаю. Мне очень не нравится, что ты до сих пор не понимаешь как надо жить с людьми. Напрасно думаешь, что «итти напролом, крыть все и всех» — верный путь. Это давно уже вышло из моды. Если ты не поймешь этого, то и в дальнейшем тебе трудно будет жить. Ну, об этом поговорим подробно тогда, когда встретимся.

Теперь о себе и сыне. Марик в третьей четверти очень много болел, свинкой и два раза гриппом. Пропустил школу, но успехи его не снизились. Все отметки остались такие же. Сегодня сдал годовой экзамен в музыкальной школе им. Гнесиных, получил отметку 5. Радость в семье у нас большая, особенно рада бабушка. Два раза в неделю в школе — сольфеджио, два раза — урок музыки у учительницы и ежедневные занятия в общеобразовательной школе. Теперь у Марика заняты почти все дни, за всем надо следить, в школу, на урок надо возить, в общеобраз. школу провожать и встречать. Домашние занятия по музыке проходят обязательно в моем присутствии. Я уже так устала и от этих всех забот.

Скорее бы вернулся папка, — разделил бы со мною часть этих обязанностей. А кроме этого надо работать, работать еще и дома, часто и ночами. Денег моих мало, приходится «халтурить» дома. Часто еще помогает мама.

Близится лето, — надо опять думать об огороде, даче. Купила уже удобрение для земли, теперь надо копать и думать о семенной картошке. Сейчас, к весне у нас с питанием стало хуже, приходится картошку покупать на рынке.

Я намного похудела. И опять остригла косы, говорят, что так выгляжу моложе. Как выглядишь ты? Почему не напишешь?

Возможно это письмо, как раз придет ко дню твоего рождения. Поэтому спешу поздравить и тебя, а пожелать тебе, ты знаешь уже, что я хочу. Пусть только все это исполнится.

Пиши нам тоже чаще. Марик самостоятельно прочел твое письмо, улыбка сразу расплылась на его лице, глазки счастливо засияли. Он ждет с нетерпением конца войны, устроил карту с флажками и следит за всеми событиями. Каждый день радуемся победам. Вчера я проводила подписку на заем, я подписалась на 1500 руб.

Целуем и обнимаем тебя крепко, помни о нас, а в моей любви и постоянстве не сомневайся.

Твоя Лика.

...Теперь хочется на минутку прервать нить переписки, потому что драма в этом месте достигает кульминации: влюбленные, чью любовь разорвала история, наконец встретятся... Война кончилась, — и, вероятно, в честь победы моим разлученным родителям разрешили свидание. Так или иначе, мама рванула к нему в Сибирь.

«По новой влюбился» — точные слова. Волны желания прикатили из-за горизонта и омыли тела влюбленных, разлука на миг отступила. Это была маленькая победа людей над сталинщиной.

Всего несколько записок и писем ...

Их лиризм высок, чего стоит только мамин крик души: «Семик, я тебя вижу» — из окна во двор, где под конвоем находились заключенные. Эти записки и письма — рядовой документ житейской правды. Семен и Лидия, папа и мама мои, дотронулись друг до друга после проклятой разлуки. Теперь им осталось самое трудное — донести свои чувства до конца гулаговского заключения отца, чтобы выйти к новой жизни, где главным скрепляющим существом суждено быть мне, их маленькому сыну.

Ликин, дорогая моя!

Я жив и вполне здоров, скоро ты убедишься в этом своими глазами. Свидание должны разрешить, возможно, оно состоится сегодня. А потом будем хлопотать еще о свиданиях.

Это — мой хороший товарищ, он поможет и научит, как сделать.

Я работаю в зоне оцепления, заведую производством газочурки. Сегодня мы должны выйти на работу.

Я разговаривал с Качаловой — Нач. Культ. воспит. части, она обещала устроить тебя здесь с жильем, обратись к ней, она симпатичный человек.

Напиши мне записку, как твое здоровье, как наш Марик?

С волнением ожидаю нашей встречи, возьми себя в руки, не волнуйся, будь спокойной.

Сема.

Семик, родной мой!

Я вижу тебя из окна. Какое зло... нельзя даже подойти и посмотреть поближе.

Лика! Как я и ожидал, меня не выпустили в зону оцепления. Но мне передали, что ты меня видела. Я почти такой же, как прежде, правда?

Сегодня вечером должны быть оформлены разрешения на наше свидание. Состоится оно завтра, наберемся терпения.

...Ты устроилась у Кикиловых? Как тебе у них? Дочка ихняя — зав. столовой вольнонаемных, а я снабжаю ее дровами.

Как ты устроилась с питанием? Напиши мне все подробно, и главное, не волнуйся.

Итак, до завтра.

Крепко и горячо целую тебя, твой Сема.

Ликин, милая! Последние минуты сегодняшней встречи опоганены мерзким и мелким человечком. Надо стоять выше этого, не плачь, не отчаивайся. От него абсолютно ничего не зависит, ничего серьезного он не может сделать, кроме мелкой пакости. Так что плюнь на это происшествие и не теряй чувства юмора. В таких случаях правильней и здоровей смеяться, чем плакать. А когда меня освободят, то я обязательно рассчитаюсь с ним, по меньшей мере, набью ему морду.

Лика, любимая женушка! Только не расстраивайся и не плачь, — я должен узнать, что ты уже смеешься, вполне успокоенная.

Завтра отправь телеграммы родным, подробно успокой их, напиши, что дело только до весны — до мая—июня м-ца.

Получи разрешение еще на свидание, проси 3 часа, чтоб написал: «личное свидание». Все будет в порядке, обязательно. Перед выездом из Решет сюда позвони: ОЛП № I, диспетчера Модиевского или Ульямпермеса, скажи им, каким поездом ты сюда выезжаешь и результат о свидании. Тебя встретят и приведут.

Деньги передай мне через подателя — Сашу Антонова, он пронесет их мне в целости и сохранности.

Насчет «горючего», когда привезешь, то «особое» и побольше, тоже передай ему — это мой лучший товарищ.

С отъездом в Москву не торопись. Если и задержишься на 2 –3 дня, то получишь отсюда медицинскую справку за подписями и печатью.

В вопросах получения свиданий, сроков отъезда, устройства и проч. слушайся советов Саши: все, что он скажет, — правильно.

Когда будешь просить о свидании, переговори с Н. и обо мне. Когда получишь разрешение на второе свидание, проси о третьем.

Я никак не могу успокоиться по поводу твоего волнения. Ликин, моя единственная женушка! Прошу тебя не волноваться, не плакать. Ведь ты у меня молодец, герой, плакать нехорошо.

Приехать с Решет тебе лучше послезавтра утром. Я выйду на работу в оцепление, а когда ты предъявишь на вахте разрешение о свидании, то нас будет сопровождать стрелок оцепления, который уже не будет чинить таких безобразий, как этот паршивый Грук.

Ну, это — чепуха. Основное — чтоб ты была спокойна. Твой приезд ко мне должен нас, и всех родных, успокоить полностью, но только не расстраивать.

...Во мне ты можешь быть уверена полностью. Я прошел такую «академию», что никаких глупостей никогда не сотворю.

Горячо целую тебя, мою родную, и в лобик, и в глазки, и в щечки, и в губки, и во всю мордочку.

Твой Семушка.

Ликин, милая женушка! Ты мне доставила столько счастья, что его хватит теперь мне на долгое, долгое время, вплоть до нашей уже окончательной встречи. Она, Лика, будет обязательно и, я думаю, не в далеком будущем.

Родная моя! Ты — любимая жена и мой лучший друг, я благословляю тебя на долгие годы жизни и здоровья. Спасибо, родная, спасибо!

...Записку от Немч. в Тинскую передаст тебе Саша. Кроме записки, говорят, нужно и заплатить, тогда будешь обеспечена билетом и посадкой. Не скупись этим, обязательно устройся с отъездом...

В дороге не отказывай себе в пище. Я не в себе, что ты без постели, без подушки.

Это все советы на случай, если ты уже уедешь. Но как мне хочется, Лидука, еще раз с тобой побыть! Постарайся получить еще 1 свидание.

Оставь себе 1 бут. — она может помочь тебе при посадке в поезд.

Крепко, крепко целукаю тебя, твой С.

Дорогая Лидука! Сегодня с утра нас завернули на разгрузку тракторных саней — до обеда. Но я попал на шпалозавод и, таким образом, могу тебе написать и отправить письмо. Не смогу повидать тебя при отъезде, — это большое горе для меня. Я действительно, как у нас говорят, «по новой» влюбился в тебя, как мальчишка, как 16 лет назад.

Любимая женушка! Ты влила в меня новые силы. Зарядила на долгое время, обеспечила дальнейшую мою жизнь. Ты — моя любовь, моя гордость, моя краса, моя единственная!

Ликин, используй все, что только сможешь, чтоб получить еще одно свидание. Теперь только я понял, что мы еще многое не договорили, мне нужно еще многое тебе сказать, многое от тебя услышать. Мне нужно тебя еще хоть немножечко повидать... Мне так тяжело с тобой расставаться.

Проси Н., умоляй его, но получи еще разрешение. Я так хочу тебя еще видеть, говорить с тобой, побыть около тебя, поцелукать черные глаза мои... Когда мы вчера прощались, я совсем был уверен, что мы еще раз встретимся на свидании. Неужели его не дадут нам? Ведь тебе обещали!

Береги себя, моя любимая, мы еще увидим хорошую жизнь, — так оно будет во что бы то ни стало.

Береги сына, — он должен быть у нас хорошим человеком.

Ликин, обратись обязательно к Когану Илье Яковлевичу (лесосбыт) насчет билета и посадки.

...Свои фотокарточки я пришлю почтой (я буду иметь возможность сфотографироваться), а ты пришли свои все, и Марика, и мамы, и родных, и друзей.

Пиши мне чаще, как можно чаще, и обо всем, обо всем, чтоб я знал все, что у тебя.

С Мариком сходи к хорошему профессору насчет того, что ты рассказывала. Надо это обязательно выяснить сейчас же.

О результатах позвони из Решет в диспетчерскую — обязательно, обязательно!

Желаю тебе счастья, сил, здоровья, успехов.
Крепко и горячо целую тебя, твой Сема.

Ликин, милая моя!

Утром, в 6 часов, приходи на эл/станцию, спроси Скрипника или Марильцева. Они тебя поместят.

А я, выйдя на работу, приду. Пока темно, 30—40 минут мы поговорим. Все будет в абсолютном порядке, не беспокойся.

Одень полушубок и шапку.

С ребятами на эл/станции полная договоренность, — никаких сомнений не должно быть. Мы должны с тобой попрощаться.

Милая, любимая!

Крепонько целукаю тебя, твой Семука.

Семик, я никуда не пойду. Считаю, что рисковать этим не стоит. Н. отказал, но успокоил, что твое освобождение — дело самого ближайшего времени.

Уеду так, прощаюсь с тобой заочно. Желаю здоровья и ближайшей встречи уже со всеми родными и сынкой.

Сейчас же сядь и напиши все, что я просила:

I) заявление в 2-х экз., 2) письмо Самуилу, — поблагодари его за доброе отношение ко мне и помощь, 3) напиши общее письмецо Нинзе, Васе, Володе и Тане (Шуриной жене) — поблагодари за посылку и проч.

Вот все. Я из-за этого приехала. А завтра, когда я буду идти к поезду — смотри меня — помашем друг другу издали рукой.

Если можно, то передай с кем-нибудь какую-нибудь безделушку, какой-нибудь личный предмет для сынки, просто какую-нибудь мелочь.

...Семик, любишь ли ты меня столько, как я? Все ли у нас по-прежнему? Что ты чувствуешь, радость ли только от моего приезда или еще что?

Только не волнуйся, что я не пойду туда. Это твердо и не сердись.

Целую тебя крепко, крепко, Будь здоров. Помни мой наказ — будь выдержанным, поменьше запальчивости и гонора в отношениях ко всем абсолютно людям.

Эта черта неизгладимая в твоем характере — сильно огорчает и беспокоит меня за наше будущее.

Будь здоров и хоть немножко счастлив!

Твоя любимая Лика.

Семик! Уезжаю от тебя в бодром и хорошем настроении.

Надеюсь, что мы еще будем вместе.

Л.

Ликин, жизнь моя, любовь моя, жена моя!

Ты уезжаешь, и я желаю тебе, моя родная, здоровья, бодрости, счастья, многих лет хорошей жизни. Я молю судьбу, чтоб она тебя оберегала от всего плохого, я благословляю тебя, моя Лидука, я стою перед тобою на коленях, провожаю, — сердце мое рвется на части.

Мы скоро будем вместе, Лика, так что не будем унывать. Я люблю тебя, Лика, больше самой жизни, ты, моя родная, моя единственная!

Тебе я посвящу всю свою жизнь, мы будем жить и жить. Твой образ вечно во мне, ты — единственное божество, которому я молюсь и пред которым преклоняюсь.

Лидик, никаких сомнений у тебя не должно быть. Я чист перед тобою за все эти годы, что были вместе, и что провели в разлуке. Ибо ни одна женщина никогда не выдерживает сравнения в моем представлении с тобой, моей любимой женушкой! Твой светлый образ поддерживал меня в самые трагические минуты моей жизни, он будет сопутствовать мне до последних моих минут.

Но я хочу еще пожить с тобою, я хочу еще испытать счастье, которым ты только одна можешь наполнить мое существование!

Счастливый путь, моя Лидука, моя крошка, моя любовь!

...Заявление я не успел написать, я это сделаю в ближайшие дни и найду возможность переслать тебе. Хотя я не придаю этому серьезного значения, — вопрос будет решаться здесь и только отсюда. Все будет в порядке, не позже мая-июня я должен быть на воле.

Жди меня, Лидука, жди!

Я постараюсь вознаградить тебя за все пережитые муки, за все причиненное горе. Солнце будет нам сиять, Лидука, и мы крепонько погреемся под его живительными лучами.

За меня не беспокойся, я буду держать себя в полном порядке, и твой наказ будет выполнен. Счастливого пути, моя милая!

Целую тебя, родную, прижимаю к своему сердцу,

твой и только твой Семука.

Ликин! С 1-го июля т. г. начнут освобождать. Мне Саша сказал абсолютно уверенно, «что в июле, но не позже августа» я буду уволен. Возможно, что меня сразу не отпустят домой поехать, но тебя прошу подготовить для себя возможность поездки ко мне в августе м-це или в сентябре. Обязательно приезжай с сыном, теперь-то я уж сам Вас встречу. Боже! Какая это будет радость для меня!

Я немного хворал, сейчас ничего.

Работаю все там-же, на газочурке — Завом и бригадиром. Передай привет всем родным.

Крепко целую тебя и сына,

Ваш муж и отец — Сема.

Решеты, I0.VII-I946 г.

Дорогая Лика! Наконец-то я могу сообщить тебе радостную весть: в самое ближайшее время, в период между 20. VII и 10. VIII я буду освобожден. Директива, по которой я задержался, — отменена.

7. VII меня вызывали, объявили о предстоящем освобождении, предложив выбрать место жительства, согласно ст. ст. 38 и 39 Положения о паспортах, т. е. за минусом определенных пунктов и районов.

Ввиду того, что в Москве и в Московской области я поселиться сейчас не могу, — я выбрал для себя Сталиногорск, Тульской области. Ехать туда надо с пересадкой в Москве, так что побываю дома. Я думаю, что в Сталиногорске мне легче будет устроиться и, если и ты переедешь туда, то и ты получишь работу, а Марик сможет учиться там в хорошей школе. Но это — потом. Дальнейшие пути выявятся позже, когда я приеду в Москву, а оттуда на место. Во всяком случае, это в 180 км от Москвы, и мы сможем часто видеться. Я не теряю уверенности в том, что впоследствии буду полностью реабилитирован, а тогда уж и в Москву можно будет...

Под некоторым сомнением у меня находится вопрос об избранном мною месте жительства. Если не разрешат в Сталиногорск (хотя он не входит в «минусы», а потому должны разрешить. Мои опасения вызваны, очевидно, чрезмерным пессимизмом), — то буду выбирать другое место поближе к Вам. Однако, самое предстоящее освобождение — уже реальность, а не «параша», как у нас говорят...

Твой Сема.

* * *

И вот новый пакет писем — свидетельств нарастающей драмы. Попытки зацепиться друг за друга, организовав новое свидание, полные планов мысли о будущей совместной жизни в Сталиногорске, где должно произойти Великое Воссоединение Семьи после грядущего Освобождения, только подливают масла в огонь разгорающихся несмотря ни на что чувств. Зная финал, читать эти письма невыносимо. Но будем читать...

Свершилось!.. В следующем письме отец сообщит, что он «расконвоирован»:

Канск, 6. VIII I.1946 г.

Моя дорогая, любимая Лидука!

26. VII меня, в составе целой группы вытребовали в Канск на освобождение. Но, ввиду того, что мы не одни, установлена очередность в этом деле, нас, пока что, расконвоировали, живем на острове (вблизи зоны ОЛП), а нас используют на разных строительных работах в городе. Я хожу бригадиром, устаю только от дальней ходьбы — 6 км туда да обратно. Хожу по городу и все кажется, что вот-вот тебя увижу. Отвык я от самостоятельного хождения, и все кажется странным, как будто только на свет родился.

Вся эта процедура продлится до 1 или до 15-го сентября. Скорее всего до 1.IX, а наша группа будет распущена в период между 15.VIII и I.IX. Осталось ждать уже совсем немного, считанные дни.

Теперь надо будет решать вопрос о будущем местожительстве. Мне, конечно, будет предложена работа здесь, по вольному найму. Но теперь я вправе решать этот вопрос свободно, без принуждения. Но я никаких решений принимать не буду, пока не увижусь, не посоветуюсь с тобой, пока мы совместно

с тобой не решим этого дела. Я намерен сейчас записать какой-нибудь пункт (Сталиногорск или другой) за Москвой, чтоб повидаться с тобой, с родными, а потом будет видно как и куда.

Я твердо надеюсь, что в конечном счете, через год-два, а может быть и раньше (а может и позже?), мне будет разрешено проживание в Москве.

Но нет, в последний момент, видно, отец перерешил: не Сталиногорск выбрал, а Буреполом, тоже под Тулой, Москва близко, ее столичное дыхание ощутимо... Устроиться бы на работу поскорей, да на электричку в столицу...

Буреполом, 22.IX-1946 г.

Дорогая моя Лидука!

Приехал я сюда 19-го. Завтра заканчиваю приемку завода. Предприятие большое, имеет очень важное значение.

Квартиры еще не имею, живу в Управлении, в кабинете зам. нач. лагеря. Мой предшественник занимает с семьей отдельную квартиру из 2-х комнат с кухней. Он уезжает через 3 недели — месяц, — тогда мне перейдет его квартира. Весь вопрос заключается в том, будешь ли ты со мной или нет...

Первый раз отец приехал в Москву тайно, не имея на то права — «без ста городов»! И это после всего, что пришлось пережить.

Он позвонил в парадную дверь, мама открыла с колотящимся сердцем, но без лишних эмоций, по-тихому: надо было прошмыгнуть по коридору как можно более незаметно.

Уже в комнате он впервые увидел меня не грудным, а десятилетним мальчишкой.

Через час мы пошли с отцом в баню. В Сандуны, в люкс, высший разряд, за восемь рублей.

— Марик, не бойся. Это твой папа, — сказала мама. Каково, а?..

Восьмирублевая баня волновала меня. Действительно, у меня, наверное, был испуганный вид, — ведь до этого исторического дня я ходил в баню только с мамой и бабушкой!.. в женскую!.. до десяти лет!.. А тут с человеком, которого назвать вслух «папой» было непросто, мне предстоял этот ошеломительный поход. Все было впервые, и все было ин-те-ресно!..

Раньше меня водили совсем в другие разряды — за 20 и за 30 копеек. Причем под мышкой у моих женщин — бабушки и мамы — всегда был таз и завернутый в свое полотенце этакий огромный коричневый кирпич — хозяйственное мыло, им мне и голову мыли, и тело, туалетного не помню.

Конечно, по всем законам правильного эротического воспитания десятилетнего подростка, пусть малорослого, как я, в зал, где на мокрых скамьях сидели десятки нагих представительниц прекрасного пола, пускать было абсолютно нельзя, но ведь я тут плескался, демонстрируя свои мальчиковые прелести, тоже не один. Были ребятки и постарше, покрупнее меня. Дети

войны — вот как мы тогда назывались. А что это значило? Только лишь то, что зовется бескрайней безотцовщиной. У кого как — в этой семье отца убили на фронте, а в той посадили. Так жило полстраны.

И вот отец ведет меня в мужской высший разряд — шикарная лестница и лепнина на стенах... Мы чинно разделись. Отец с удовольствием, медленно помог мне расстегнуть штанишки, и с этого мига я почувствовал необычайную новизну своей жизни: во-первых, я повзрослел, во-вторых, понял, что у меня есть отец.

Он потер мне спину уже не так, как мама, — по-мужски, злой мочалкой, и я даже вскрикнул:

— Папа!

— Терпи, сынок! — улыбнулся отец, облил меня с головы до ног целой шайкой волшебной воды, и все преобразилось: мир стал лучше и веселее.

Мы — подружились.

...Самое невероятное произошло позже. Никто не настучал. В нашей коммуналке все жильцы тотчас пронюхали, что к Лиде «вернулся» ОТТУДА ее муж, которого она ждала, — и ничего не стоило кому-нибудь шепнуть домоуправу или дворнику про визит незнакомого «гражданина», к тому же «еврея», к соседке и ее матери, живущим в двадцатиметровой комнате с ребенком (можно было бы при таком развитии событий на эту комнату позариться: почему бы нет?!), — и всё, пиши пропало.

Но нет, никто не пикнул. А ведь в коммуналке нашей жили разненькие люди, — например, сожитель Вальки, чья дверь в коридоре напротив нашей, ходил в уборную голый по пояс и в галифе. Мент!.. И как мент он, казалось, должен был бы первым доложить «куда следует».

Не доложил.

Это что значит?.. А то, что в «коммуналке» нашей, несмотря на всю гигантскую порчу населения в масштабах необъятной страны, была своя мораль, которая по своим, неофициальным, понятиям правила поведением людей и люди эти, если хотели, оставались людьми.

Отец переночевал и смотался, повидав жену и сына. Ушел живой и невредимый. Вроде чепуха, какие мелочи! — а на самом деле факт ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ исключительный. Героизмом особым не отмечен, но капля благородства тут, поверьте, имеет место быть.

Бывало и другое, конечно, совсем: и в кастрюли плевали, и мат-перемат на кухне стоял, и до мордобоя доходило... Этот мент свою Вальку колошматил — стенки тряслись!..

Незабываема старушка, звавшаяся Меланьей Давыдовной, шипела, как змея:

— Тебе, Лидка, еще три горя будет. Одно с мужем, другое с матерью твоей, а третье с жиденышем твоим этим. Ты еще наплачешься, помяни мое слово. Это тебе будет наказание. Спроси, за что?.. Молчишь?.. Я сама тебе

поведаю: за то, что ты к Богу не преткнулась и в партию не вступила. Значится, язычница. Нет, не будет тебе, Лидка, благодати...

Мама скрипела зубами, молчала...

А еще были добрые, другие, по-настоящему добрые соседи — Тяпкины. Что-то, я бы сказал, чеховское было в их быте, неубиваемо русское, простое и искреннее. Иначе зачем бы им понадобилось помогать нам?

Бывало, приходил я из школы домой, бабушке меня ну абсолютно нечем кормить, так эти Тяпкины выйдут на кухню, видят: наша керосинка холодная, — сами позовут: «Марик, иди к нам, отобедай, детка!»

Подкармливали меня!..

Помню я их гороховые супы, их пирожки с повидлом и даже огурчики, нарезанные тонко и лежащие на тарелочке этаким веером.

И как такое запоминается? Да еще до сих пор в голове сидит где-то далеко, но всплывает с поразительной ясностью. Лишь воспоминания о нищем, голодном детстве могут так волновать на старости лет...

Ликин! Мне очень тяжело одному, часто меня одолевает такая тоска, что не знаю куда деваться. А, главное, и это самое плохое, я зачастую теряю уверенность в будущем своем, в том, что удастся устроиться по-человечески, дома, в семье. В Буреполоме не останусь, а Москва закрыта для меня.

С формальной стороны, как будто все уже в порядке...

Достаточно ли этого? Я стал каким-то нерешительным в отношении самого себя. Признаюсь тебе в этом, хотя это и не совсем приятно мне. куда нам плыть?

Сема.

Родители, почему вы разошлись и почему не сошлись? — мой к вам вопрос.

Ответом — бездонное молчание. Ибо спрятаны в землю их жизни, попранные судьбой и раскроенные апокалипсисом XX века.

Вот это и есть самое страшное. Осуждать родителей — как это легко и как свойственно поверхностно мыслящим детям. Но тут другое: сбитая с дороги любовь уронила человека, одно несчастье породило следующее, затем еще, еще... Рассыпавшиеся черепки уже никогда не будут вазой, семья окончательно разрушилась, а чувство не омертвело, живучее, непреходящее, мучительное... Конец семьи, но не конец любви. Да только разве можно найти тут виноватых?.. Кто из них более грешен и чем?.. Тем, что хотел ДЛЯ СЕБЯ — взаимного счастья, да не сумел его достичь в житейских бурях, вызванных историческими катаклизмами?!.

Вот и следствие: отец мечется, рыпается туда-сюда, где бы достать работу, укорениться в каком-нибудь городе на воле, вытянуть к себе семью, но нет, не удается ему это. Тут Кафка: мир враждебен к тебе, а ты тянешься к нему, просишь: «Прими! Прими!», — а он отталкивает тебя, постоянно напоминая: «Ты — изгой, нет тебе места на этой земле, в этом пространстве».

Человек спрашивает: «А в чем я провинился? Почему не могу жить, как все?» Уже вроде бы бесконвойный, но в паспорте отметка — враг. Клеймо троцкиста — тут и говорить не о чем. Ни работы, ни жизни, ни семьи. Ничего нет. Живи одиноким волком.

Безвыходность тупика. Но — реальность. Ну, что ты будешь делать?!. Спасет «охота» к перемене мест, надо всюду, где только можно, тыркаться.

Может, где-то в щелочку можно проникнуть, за какой-то порожек зацепиться... Вдруг удача?.. Благодари всех подряд и помалкивай. Вдруг прорежется полоска света в темном царстве?

Используются связи: посоветуйте, порекомендуйте, устройте... Я не подведу, я оправдаю... Только помогите!

И отцу помогали. Фамилии, упоминаемые в письмах, дороги мне, хотя и позабыты, как и все то времечко, претендующее зваться эпохой. Люди, завязшие в комковатом тесте послевоенного быта, уставшие от непрекращающейся арестной вакханалии, перемешались на перекрестных жизненных путях — палачи, жертвы, те, кто на воле, и те, кто на эту волю вышел... Отморозки и подмороженные — на общем холоде.

В чем открытие для меня?.. После многочисленных отказов получить работу там и сям отец действительно оказывается в Буреполоме — в лагере, на деревообделочном заводе, но уже на вольных хлебах. Да только и здесь колючка, бараки, режим, ватники... Это от полнейшей невозможности найти что-то другое. Бывший зэк вкалывает с настоящими зэками. Но, «устроившись» на этом сомнительном для себя месте, он тяготится своим положением, страдает оттого, что тюрьма не отпускает никак... Нет, не получается. Нет выбора. Ибо недаром наколото татуированное клеймо: «Век свободы не видать».

И видится в том еще одна угнетающая способность системы — никогда не разжимать щупальца свои, держать КАЖДОГО, повязав с собой даже вроде бы освободившегося, вроде бы могущего осуществить выбор.

И все же отец нашел в себе силы пойти в отрыв. Из тюрьмы, коли вышел, делай ноги поскорей, не задерживайся. Он и не задержался. Да вот от судьбы да сумы разве надолго убежишь? Вскоре его ЗАДЕРЖАЛИ. По второму разу!..

Опять вопрос: за что?..

И извечный ответ: а ни за что. Так, безо всякой на то причины.

На все и для всех первопричина была одна — эта сучья сталинщина.

Что может чувствовать закоренелый, пропахший лагерем зэк, вышедший на свободу, хватанувший ртом этот ее сладкий ветер и снова получивший удар в самое незащищенное место — опять ни жены, ни сына, ни благополучия, ни счастья? Опять замки, решетка да конвои по полутемным коридорам. Выть хочется... Недолго музыка играла!..

Суть сталинской «теории второй волны» состояла в том, что выжившие после Большого террора бедолаги и члены их семей представляют опасность для советского строя и потому их надо доконать, уничтожить. Даже

расстреливать сейчас уже не так важно: сами сдохнут, как голодные собаки зимой на мерзлом грунте.

И пошло-поехало по той же знакомой дорожке, с которой уже никогда не сойти, не сбежать...

Архивный № Р-3250
«УТВЕРЖДАЮ» «АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ»
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МГБ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. *Подпись*.
ЗАМ. ПРОКУРОРА ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. *Подпись*
15 декабря 1948 года, 16 декабря 1948 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
на арест

Гор. Тула, 1948 года, декабря м-ца 15 дня.

Я, оперуполномоченный Управления МГБ по Тульской области, ст. лейтенант ВАСИЛЕНКО, рассмотрев материалы о преступной деятельности ШЛИНДМАНА Семена Михайловича,1905 года рождения, уроженца гор. Харькова, еврей, по происхождению из семьи торговца, в 1922 г. исключен из ВКП/б/, образование незаконченное высшее, в 1940 г. судим по ст. 58 к 8 годам ИТЛ. Работает нач. снабжения Тульского участка треста «Трансводстрой», проживает в пос. Металлургов, ул. Рудная, дом 5, —

НАШЕЛ:

ШЛИНДМАН ранее являлся активным членом право-троцкистской организации, в настоящее время проводит подрывную контрреволюционную работу.

ПОСТАНОВИЛ:

ШЛИНДМАНА, проживающего в пос. Металлургов, по ул. Рудная 5, — ПОДВЕРГНУТЬ АРЕСТУ И ОБЫСКУ.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УМГБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Подпись.
«СОГЛАСЕН» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УМГБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
ПОДПОЛКОВНИК *Подпись*.

Протокол обыска

1948 года декабря 16 дня. Я, дежурный пом. начальника Внутренней тюрьмы УНГБ по ТО старшина Павлов в присутствии надзирателя (неразб.) произвел обыск гр—на Шлиндмана Семена Михайловича. При обыске обнаружено: часы ручные № 036988; ремень поясн. — 1; ремень брючный — 1; мундштук — 1; шарф — 1; мех. застежка от рубашки; (неразб.); пальто д/сез.; гимнастерка; брюки; валенки с калошами.

Изъятое при обыске в протокол внесено полностью, запись сделана правильно

С. Шлиндман.

Обыск производил. *Подпись*

СПРАВКА

ШЛИНДМАН Семен Михайлович арестован 16 декабря 1948 года, содержится во внутренней тюрьме УМГБ Тульской области.

Дело следствием закончено и направлено на рассмотрение Особого Совещания МГБ СССР.

Ст. следователь отдела УМГБ ТО
ст. лейтенант *Подпись*
18 января 1949 года
гор. Тула.

Опись

Личного имущества принадлежащего
Арестованному Шлиндману С. М.
Г. Тула, 17 декабря 1948 г.

Я, сотрудник упр. МГБ Тульской обл., ст. л-т..... на основании ордера № 246 от 16 декабря 1948, в присутствии Носуля Якова Герасимовича, хозяина квартиры <...> произвел опись личного имущества принадлежащего Шлиндману Семену Михайловичу.

При обыске обнаружены следующие вещи:

1. скатерть настольная 1 шт. старая
2. 2 одеяла — шерстяные
3. гимнастерка шерстяная 1 шт.
4. подушка пуховая 1 шт.
5. полуботинки мужские 1 пара старые
6. сапоги хромовые 1 шт.
7. костюм летний трико 1 шт.
8. фуражка зимняя 1 шт. поношенная
9. перчатки кожаные 2 пары
10 шелковая верх. рубашка 1 шт.
11. галстук 1 шт.
12. носки мужские 6 пар
13. подворотнички 9 штук
14. платки носовые 8 штук
15. белье нательное 2 пары
16. чемоданов 2 шт
17. неразб. 1 шт.
18. сапоги резиновые 1 пара
19. полотенец 3 шт.
20. бот дамский резиновый 1 шт.
21. сахар 2 кг
22. крупа манная 2 кг
23. бритвенный прибор 1 шт.
24. чайные чашки 2 шт.

В опись внесены все вещи обнаруженные при обыске. Никаких жалоб и неправильностей обыска со стороны понятых и хозяина квартиры не заявлено. Жалоб на исчезновение вещей не заявлено. Вышеперечисленные вещи сданы на хранение хозяину квартиры Носуля Якову Герасимовичу.

Опись произвел сотрудник Упр. МГБ
Подпись.

Понятые: *подписи*.

ПРОТОКОЛ

Допроса обвиняемого Шлиндмана
Семена Михайловича от 23.XII — 48 г.
Допрос начат 20-45 м.

Вопрос: Вам зачитано постановление о предъявлении обвинения от 23.XII — 48 г. Вы обвиняетесь в том, что являясь членом контрреволюционной троцкистской организации проводили вражескую работу против Советского Государства.

Понятно, в чем Вы обвиняетесь?

Ответ: Да, понятно.

Вопрос: Признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении по ст. 58-7 и 11 УК РСФСР?

Ответ: Виновным в предъявленном мне обвинении по ст. 58-7 и 11 УК РСФСР не признаю.

Вопрос: Почему?

Ответ: Потому что в троцкистской организации я никогда не состоял и никакой вражеской работы против Советского Государства не проводил.

Вопрос: Напрасно Вы пытаетесь скрыть о своей вражеской работе против Советского Государства. Следствие требует дать правдивые показания по данному вопросу.

Ответ: Я следствию говорю только правду и еще раз повторяю, что никакой вражеской работы против Советского Государства я не проводил.

Вопрос: За что Вы были осуждены в 1940 году?

Ответ: За участие в антисоветской право-троцкистской организации существовавшей до 1937 года в г. Петропавловске на Камчатке. Но виновным в этом я в то время себя не признал.

Допрос начат 23.XII — 48 г. в 20-45
Допрос окончен 23.XII — 48 в 22-00

Записано правильно, мною прочитано
В чем и расписываюсь *С. Шлиндман*.

Допросил: ст. следов. 1 отд Следотд. УМГБ ТО Ст. л-нт *Подпись*.

Дополнительные собственноручные показания в порядке ст. 206 УПК РСФСР арестованного Шлиндмана Семен Михайловича

Свой арест и предъявление мне обвинения во вражеской деятельности против Советского Государства по ст. 58-п.п. 7 и 11 — считаю несправедливым и ничем необоснованным, так как я никакой вражеской работы против Советского Государства не проводил и в мыслях своих никогда не имел таких намерений.<...>

Своей судимости я нигде не скрывал, что можно проверить по личному моему делу в УИТЛК УМВД по Горьковской области, по моим анкетам в отделах кадров Буреполомского ИТЛ и Арзамасской ИТК № 1 УИТЛК УМВД по Горьковской области, а также по моим анкетам в отделах кадров треста «Масложирстрой» Министерства Пищевой промышленности СССР, в Славянском Стройуправлении «Масложирстроя», в тресте «Трансводстрой» Минтяжстроя СССР и в Тульском Стройуправлении треста «Трансводстрой», где я работал до дня ареста.

Я нигде не скрывал своей судимости.

Если бы я чувствовал за собою какую-нибудь вину, или хотел бы использовать в злостных целях свой паспорт, то я еще 18. XI — 48 г., когда 5-е отделение милиции отобрало у меня подписку о выезде в 5-ти дневный срок из Тулы, когда документы мои еще находились в Славянске, я бы тогда мог бы сразу уехать из Тулы.

Но я никакой вины за собою не имею, никакой корысти не преследовал, а хотел только устроиться на работе, перевезти к себе семью и жить скромно и честно, ничего не скрывая. И когда паспорт прибыл по почте из Славянска, я сам сдал его в 5-е отделение милиции для прописки и для обмена на другой паспорт.

Мне предъявлено обвинение по ст. 58, п.п. 7 и 11 УК РСФСР во вражеской троцкистской деятельности, которую я, якобы, проводил после отбытия срока наказания.

...Вновь и вновь повторяю, что ни в какой антисоветской право-троцкистской организации я никогда не состоял.

Обвинение в этом, по которому решением Особого Совещания при НКВД СССР от 23/XII — 1940 г., я был заключен на 8 лет в ИТЛ, — необоснованно и зиждется на лживых измышлениях.

Я отбыл в заключении 8 лет, 8 месяцев и 9 дней, но я невиновен.

По выходе на свободу, я вынужден был разойтись со своей первой женой, так как жить в Москве не имел права и не мог оторвать ее от работы и квартиры в Москве, а сынишку от учебы в музыкальной школе им. Гнесиных. Я потерял свою первую семью — жена вышла замуж за другого.

(Что правда, то правда. Разрыв произошел из-за отцовской измены — и всё. Мама не стерпела, гречанка!.. Страстная, прямолинейная! Гордыня! В ней была цельность женской натуры, которая не умела притворяться. И не терпела, когда это делали другие. Всех людей она безошибочно делила на

хороших и плохих. С первыми она была готова пойти в огонь и воду, вторых попросту зачеркивала. Если человек, по ее мнению, хоть раз в жизни повел себя сколько-нибудь недостойно, — всё, он для нее переставал существовать. Навеки. Никакая сила не могла заставить мать проявить гибкость, не говоря уж о том, чтобы как-то сделать вид, что ничего не произошло, пропустить, на худой конец, чей-то нечаянный грех... И — рубила отношения. Наотмашь. Навсегда.

— Мама, так нельзя с людьми! — кричал я.

— Только так!

И в результате осталась одна.

Что касается отца, то...)

Я обрел другую семью и весь отдавался работе и семье, вел скромную и честную жизнь простого человека.

Я даю честное слово никогда не ездить ни в Москву и ни в один какой-либо другой большой город, найду себе работу в какой-нибудь глухой провинции, и буду там тихо и скромно жить и работать.

Я понимаю, что мне нет доверия из-за прошлой судимости. Но я ни в чем не виноват перед Родиной, перед Советским Государством.

...Я хочу и буду жить честно, как все советские граждане и когда потребует этого Родина пойду со всеми защищать ее против врагов, не жалея жизни своей, — это моя клятва, клятва простого советского человека.

С. Шлиндман.
24.XII. 1948 г.

слушали	постановили
138. дело № 7022 УМГБ Тульской обл., по обвинению ШЛИНДМАН Семена Михайловича, 1905 г.р., ур. гор. Харькова, еврея, гр. СССР Обвин. По ст. 58-7 и 11 УК РСФСР	ШЛИНДМАН Семена Михайловича, за принадлежность к троцкистской организации сослать на поселение.

Нач. Секретариата Особого Совещания. *Подпись.*
С постановлением Особого Совещания МГБ ознакомился.
Подпись: *С. Шлиндман.*
1 марта 1949 г.

Постановление Особого Совещания объявил:
Нач. отдела «А» УМГБ Тул. области
Подполковник: *Подпись.*
1 марта 1949 г.

На этот раз все молниеносно. Оформление беззакония чисто условное — череда бумажек скучна, как серый быт. Появляется новый персонаж — Яков Герасимович Носуля, державший квартиранта, опасного для советской власти. С ним отец затеял нудную тяжбу по возврату изъятой собственности — зачем?.. А затем, что захотелось вдруг досадить системе «по мелочам», захотелось от бессилия в главном «покачать права» из-за ерунды. Протест жалкий, что и говорить, вся эта собственность — смех один, а вот и нет, я вам, суки, ничего не оставлю, ничего не прощу.

Начальнику отдела «А» УМГБ по Тульской области
От поселенца Шлиндман Семена
Михайловича

Заявление

Несмотря на В/заверение в том, что к моменту прибытия на место поселения личные деньги и ценности уже будут переведены и вручены мне, до сих пор я ничего не получил.

Из Тулы я выбыл 8/ IV, а в с. Абан, Красноярского края прибыл 29/V. 1949 г.

Я уже обращался к Вам с заявлением, но результатов пока что никаких нет.

Прошу В/распоряжений и указаний:

1) Начальнику Тульской тюрьмы № 1 МВД о немедленном переводе мне:

а) денег, в сумме 300 рублей по квит. № 361
от 3. III.1949 г.

б) облигаций 2% Гос.займа на 400 рублей,
по квит. № 2504 от 5. II. 1949 г.

в) часов ручных — по квит. № 2442 от 3. II. 1949 г. <...>

3) Начальнику внутренней тюрьмы МГБ о высылке мне недоставленных вещей согласно моим заявлениям от 4. IV. 1949 г.

29. VI. 49. *С. Шлиндман*

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ МГБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.
От гражд. НОСУЛЯ ЯКОВА ГЕРАСИМОВИЧА,
Прож. пос. Криволучье, ул. Родная дом 11
ЗАЯВЛЕНИЕ

На Ваше требование о возвращении вещей принадлежащие бывшему моему квартиранту тов. ШЛИДМАНУ, при этом возвращаю одно шерстяное одеяло, в отношении остальных вещей, как-то сахара и манной крупы, которые оставлены у меня за долги.

Одновременно прошу Вас взыскать с тов. ШЛИДМАНА за проживание у меня в доме 2,5 месяца по 150 рублей в месяц, за выпитое им молоко по 0,5 литра каждый день 100 рублей, за стирку белья и уборку его комнаты за это же время 100 рублей.

Одновременно сообщаю, что оставлены в его комнате койка, стол, простынь, матрац, наволочки и подушку, резиновые сапоги были взяты комендантом строй. треста, где он работал.

ДОМА ВЛАДЕЛЕЦ *НОСУЛЯ*

Знак борьбы, не сама борьба (она бесполезна, бессмысленна, бесперспективна), а только мелкий укус напоследок, перед уходом в тоскливую жизнь ссыльного.

В чем отец «изобличается»?.. Что за «вражескую работу» он вел?.. Какая, к черту, троцкистская организация в 48-м году?.. Не надо утруждать себя ответами на эти вопросы. Это лишнее. Ведь кроме мифического «троцкизма» не придумали обвинений даже для видимости... Взять и сослать. Без разговоров. И сами допросы, учиненные отцу, теперь абсолютно формальны, чистая бюрократия.

Ново только то, что называется положением ссыльного. «Свобода» на цепи.

Личное дело № 4779
На ссыльного поселенца Шлиндман
Семена Михайловича
Зарегистрировано 17 V 1949 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 4779

Начальнику отдела «А» УМГБ по Красноярскому краю
Гор. КРАСНОЯРСК

Сообщаю, что Шлиндман Семен Михайлович — 1905 г. р. мною принят 30 мая 1949 г.

Ссылку-высылку будет отбывать в Абанском районе

Начальник РО МГБ
ст. лейтенант: *Подпись*
30 мая 1949 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 4773
30 МАЯ 1949 ГОДА

Мне, Шлиндману Семену Михайловичу — 1905 года рождения, проживающему в Абанском районе, Абан, заявлено, что я не имею права никуда выезжать (хотя бы временно) из указанного мне места жительства без разрешения органов МГБ и обязан периодически лично являться на регистрацию в место и сроки, которые мне будут указывать органы МГБ

Об ответственности за нарушение подписки по ст. 58-14 УК РСФСР предупрежден.

5/VII-50 г

Сема! У Марика возникли такие вопросы, ответить на которые я не могу. Поэтому я посоветовала ему написать тебе письмо. Адрес твой нам неизвестен.

Лида

с. Абан, Советская ул., дом № 5

ЗАЯВЛЕНИЕ

Из 43-х месяцев, что я нахожусь на поселении в с. Абан, только 16 месяцев я имел работу. На протяжении последних полутора лет все мои попытки устроиться на работу не давали успеха. Причиной этому — сложившиеся обстоятельства, известные руководству Райотдела, от меня независящие.

Без работы естественно, я жить не могу, а в Абане все возможности исчерпаны.

В июле 1951 года мне было предложено переехать на жительство в Уяр. В связи с этим я подготовился было к такому переезду: распродал некоторое имущество, корову, картофель и пр.

Однако переезд этот не состоялся, так как Вы не дали на него согласия.

Теперь я вновь обращаюсь к Вам с просьбой разрешить мне такой переезд в г. Уяр или же в какой-нибудь другой город по В/усмотрению. Одновременно со мною прошу разрешить переезд и моей жены Клемт Ольги Константиновны, являющейся первоклассной портнихой, также не имеющей работы в условиях Абана.

Прошу не отказать в моей просьбе, так как оставление меня в Абане, поставит меня в невыносимые условия.

С. Шлиндман
15. XII. 1952 г.

Первое впечатление от этих документов — отец уже не боец. Надлом личности очевиден. Это уже совсем другой человек — по-другому живущий, по-другому, я бы сказал, поющий песенку своей жизни. Это жизнь по инерции, серое существование ссыльного... Какая-то оторопь берет меня, когда он с присущей ему упертостью ведет новые великие войны с КГБ — сначала за то, чтобы ему вернули одеяло, пропавшее при аресте, потом за то, чтобы его с женой переселили туда, где у него, безработного и голодающего ссыльного, будет работа. Душераздирающая переписка. С одной стороны, маленький человечек, изнывающий от своих повседневных мелких забот по выживанию, с другой, — всесильный монстр под названием «государство», под пятой которого приходится плесневеть. В ссылке — безнадега, тягомотина. В лагере ты ждешь — освобождения, а в стране Нод, где ты был Каином, ожидания нет: пустыня сзади, сбоку и спереди...

Врачи говорят: пустыня хуже одиночной камеры. Депрессия от беспредельности, одиночества и нищеты. Сам себе кажешься двойником... И прав-

да, в зеркале на тебя смотрит какой-то чужой обросший окаянный человек. «Жизнь травы веселее моей!» — это он старость почувствовал.

А каково маме было стареть да болеть? У нее обнаружилась щитовидка. Вдруг, ни с того ни с сего, мама начала стремительно худеть, глаза выкатились базедовым ужасом, былая красота сделалась воспоминанием, осталась на фотокарточках начала 30-х годов... На маму страшно было смотреть...

Ее лечили будущие «врачи-убийцы в белых халатах»... Славные, добрые люди. Профессионалы. Профессор Николаев сделал ей операцию. И — о чудо! — она начала поправляться. И через какое-то время узнала, что ее спасителей арестовали. Врачи — вредители.

Им повезло. Все же им короткая вышла отсидка, пока нашего любимого товарища Сталина не помыли в морге.

Пятого марта 1953 года — день официальной кончины вечно живого вождя и учителя народов мира. Но медицина установила, что удар и полная потеря сознания случились 3 марта, — с этого дня, можно сказать, и началась та самая «перестройка», которая впоследствии до того потрясла Советский Союз, что он в одночасье возьми и рухни.

Знал бы Великий Стратег, чем все это кончится!

Хоронили его в день тяжелый — понедельник, 9 марта.

Ура! В школу не надо идти!.. «В знак траура» занятия были отменены по всей стране. Это — с одной стороны. А с другой — день скорби и печали.

Но по кому?.. Ну, конечно, прежде всего по великому кормчему.

Но я-то жил во дворе меж Петровкой и Неглинкой. А Неглинная улица в двухстах метрах от Трубной площади. И вот на этой самой Трубной площади, как известно, и произошла страшнейшая трагедия, унесшая жизни пятисот с лишним людей.

Они погибли в давке, стоя в очереди к Дому Союзов, где был выставлен для всенародного прощания открытый красный гроб с подушкой, на которой возвышалась мертвая голова бывшего Властелина.

Толпа принесла себя в жертву, и бездыханный Вождь с наслаждением принял это последнее жертвоприношение.

Мама категорически запретила выходить из дому в эти дни. Иначе я увидел бы гору трупов неподалеку от нашей Обидинки, — оцепление грузило их на военные ЗИСы (их производил автомобильный завод имени Сталина — символично, не правда ли?) и отправляло прямо в кладбищенские сараи, где мертвецов быстренько раскладывали по дешевым гробам и раздавали приехавшим родственникам.

Ни одно средство массовой информации не сообщило о трагедии. Но слухи тут же поползли от тех, кто знал, что это не слухи. До сих пор на Трубной нет не то что памятного обелиска в честь погибших, но даже крохотной мемориальной доски.

Впрочем, ПОСМОТРЕТЬ на Сталина хотели все. И я в том числе. «В гробу я его видел»! И ведь в самом деле: я видел Сталина в гробу. Два раза! А мог и в третий пойти, но сам не захотел...

Как же это удалось?

А дело в том, что мы, мальчишки из 170-й школы, знали все проходные дворы между Петровкой и Пушкинской и могли оказаться в очереди аккурат у Столешникова переулка. Отсюда до Дома Союзов совсем ничего, рукой подать, — и мы рванули туда честной компанией, проникли, можно сказать, запросто... Поэтому, наверное, решили повторить подвиг. Азарт дураков-подростков.

Однако во второй раз чуть было не оказались в положении тех, кто погиб на Трубной площади. Задние ряды нещадно напирали на передние. И если кто-то оступался, случайно падал, встать уже никак не мог: по нему шли толпой, и тут ее не остановишь, кричи — не кричи.

Я оказался в толпе как раз у 50-го отделения милиции, по прозвищу «полтинник». Это было низкое здание за спиной Института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, рядом с прокуратурой. Его потом снесли, но оно осталось в нашей памяти, поскольку сюда таскали с Бродвея — то бишь улицы Горького — стиляг и хулиганов моего юного поколения. Здесь их стригли наголо (у милиционеров для этого была специально заведена машинка), а после этой унизительной парикмахерской процедуры давали под зад и выпускали... Кто не соглашался потерять «кок», тот сидел в кутузке денек-другой-третий... Если это не помогало, длинноволосого юношу били по морде и по печени, — и тогда его строптивость куда-то пропадала вместе с шевелюрой.

Да!.. В школе я был самый маленький и самый худенький в классе. Высокорослые были где-то там, далеко, на правом фланге... Во время переменок они нас, маленьких, били. Каждый «длинный» мог подойти сзади и пнуть ногой.

Это было очень обидно. Потому что хотелось ответить, но было страшно. И тогда я дал себе клятву. Я сказал себе: «Ты должен суметь дать сдачи. Ты должен показать им, что ты их не боишься».

Легко сказать, сделать трудно. Но я решил — значит, надо попытаться, а там — будь что будет... Хотя бы один раз надо постоять за себя. Я хотел доказать самому себе, что могу ответить ЛЮБОМУ обидчику.

Я достал бритву, надрезал себе палец и натер кровью кулак, точнее, свой кулачок. Я торжественно произнес вслух: «Клянусь, что дам сдачи» — и повторил эту фразу трижды для пущей храбрости.

Слово «клятва» было завораживающим... Клялись молодогвардейцы, клялся сам товарищ Сталин, теперь клялся я... После клятвы я не спал ночь. Ворочался и что-то шептал себе под нос...

О, школа послевоенных лет!.. Сколько здесь было самого жестокого хулиганства, сколько драк и стычек... «Пойдем стыкнемся!» — говорили мы в те далекие времена. Но тут было другое. О драке не могло быть и речи. В драке я приговорен к поражению.

Клятва выводила меня на совершенно другой уровень: мне не важно было доказать, кто сильнее. Мне важно было доказать самому себе, что у меня есть достоинство. И всё? И всё.

Сами понимаете, ждать мне пришлось недолго. Как сейчас помню, был урок географии и где-то минут за пятнадцать до конца урока я получаю увесистый «шелобан» в затылок. Мгновенно клятву надо было привести в действие.

Если раньше я на такой «шелобан» просто отмахнулся бы, то теперь... Я откинул парту, встал во весь свой маленький рост, повернулся назад и... со всего размаху влепил Мишке по морде кулаком.

Это видел весь класс. Кроме училки географии. Она, конечно, обернулась, но не успела ничего увидеть, так как я уже сидел за своей первой партой. Мишка тоже не подал вида, я услышал за собой только, как он тихо, но напряженно сопит.

Дальнейшие пятнадцать минут были для меня сущим адом. Я с ужасом ждал звонка, после которого должно было наступить возмездие. Я сжался в комок и представил себе, как Мишка возьмет меня за шкирку могучими руками и начнет бить об стену — так, что краска будет осыпаться. А все будут смотреть на эту жуткую картину и гоготать...

От страха я чуть не умер. Вот сейчас, сейчас... сейчас зазвенит проклятый звонок и... начнется! Не тут-то было!.. Прозвенел звонок, и Мишка как ни в чем не бывало, ни слова мне не сказав, прошмыгнул в школьный коридор. Больше меня никто никогда в школе не трогал. Урок на всю жизнь.

В спектакле «Песни нашей коммуналки» я рассказывал о своем счастливом детстве (у всех детей той лучезарной эпохи детство было исключительно счастливым благодаря лично товарищу Сталину), проведенном в квартире, где жили 83 человека, в полуподвале.

Естественно, один кран на всех, называемый рукомойником.

Один туалет. Ф-фу, извините за французское слово, оно неточное. У нас был не туалет, а уборная. И тоже одна на всех. Что естественно не совсем.

По утрам здесь выстраивалась длинная очередь детей и жильцов. Кому в школу, кому на работу... Часто дети пропускали вперед взрослых (все наоборот). А почему?

А потому что взрослым нужнее. В школу можно еще как-то опоздать, а на работу — ни-ни. За опоздание на 3 минуты — выговор, на 20 минут — тюрьма. Строгий сталинский закон.

Я был, как все, как все... Не лучше, не хуже. В меру хулиганом, в меру воспитанным... Вот только курить не начал. И всю жизнь не курю. Все пороки — кроме этого.

Вино и водку — другая история! — начали глотать класса с 8-го. «Портвейн — три семерки» — это наш школьный напиток, заменявший нам нынешнюю «кока-колу» и «пепси». Зато песенку я распевал ту еще:

«Кока-колу» я пить всегда готов,
«Кока-кола» — напиток для богов.
«Кока-колу» вкушал еще Форсайт.
Пейте «Колу»! Пейте «Колу»!
Доброй ночи!.. Гуд найт!

Это было тлетворное влияние Запада.

В начале 50-х годов прошлого столетия по правой стороне улицы Горького (ныне снова Тверская) от гостиницы «Москва» (ныне снесена) до Пушкинской площади (ныне углового Дома актера ВТО нет — сгорел) прохаживалась группка безусых юнцов, одетых по «той еще» моде: бобриковые пальто с поднятым воротником, белые шелковые шарфики и кепочки с разрезом, чуть позже их сменили фетровые шляпы и береты...

Прогулки совершались по 10 –15 раз — туда и обратно, обратно и туда... Это называлось «прошвырнуться по Бродвею»... Настоящего Бродвея никто из нас, конечно, не видел. Даже в кино. Но поскольку маршрут лежал мимо самого злачного места Москвы — «Коктейль-холла», где собирался весь цвет столичной «стиляжной» молодежи, — воображение работало мощно, поддерживаемое ритмами «буги-вуги» и мелодиями Глена Миллера из «Серенады Солнечной долины».

Наша компания друзей испытывала шок перехода от детства к юности, от юности к молодости — с их оголтелым эротизмом вперемешку с просыпающимся интеллектом. Озорство на грани хулиганства поощрялось, всякий из нас то и дело что-то творил и вытворял. Сами того не сознавая, мы были этакими квазидиссидентами, чье неопершееся сознание было абсолютно свободно, — и это в то время, когда товарищ Сталин был еще жив, а слово «тоталитаризм» лично мне не было известно.

А тогда, в день всенародного прощания с великим вождем, я был со страшной силой прижат к кузову грузовика, — их стояла целая сотня вдоль всей Пушкинской улицы, чтобы сузить человеческую реку, текущую к центру откуда-то издалека, казалось, из всей необъятной Совдепии. Косточки мои затрещали, но каким-то чудом тщедушная моя фигурка (хорошо, что тщедушная!) крутанулась пару раз в людском круговороте и понеслась вперед, приподнятая над асфальтом: ноги совсем не касались его; сжатый со всех сторон, я как бы парил в направлении к мертвому Сталину, — толпа несла, несла меня, окутанного массой таких же идиотов, как я, и, наконец, опустила... Я стал перебирать ногами по земле, почувствовав ее твердость, и понял, что спасен.

Как говорится, пронесло.

В третий раз встречаться с мертвым вождем не захотелось.

Я, между прочим, тогда учился в школе, в девятом классе, и мне было 16 лет. Итак, 4 апреля 1953 года я должен был идти в советскую милицию, чтобы получить то, что потом мог доставать из широких штанин, ибо узкие брюки были запрещены («какой ты русский в брючках узких?» — помнится, спрашивал впоследствии поэт поэта). И месяц назад умер вождь и друг всех народов товарищ Сталин, на столе которого, по слухам, уже лежал план депортации всех московских евреев на свою внеисторическую родину Биробиджан... Но самое главное, при всем при этом мой отец — «враг народа» — в это время сидел. Собственно, он сидел уже давно, с декабря 1937 года, и в тот апрельский день никто в мире не мог предположить, что скоро

расстреляют Берию, поскольку до сих пор больше расстреливал он. И вот в этой обстановке маме моей никак нельзя было растеряться. На ее руках, на ее ответственности был шестнадцатилетний юноша, жизнь которого надо было обезопасить на веки вечные или хотя бы на недельку-другую вперед.

И мама сделала это, потому что была самой лучшей в мире мамой — моей. Она, как сейчас помню, посадила меня в день рождения за стол под низким абажуром и, глотая комок в горле, выдохнула: «Что хочешь, сын, но евреем ты не будешь».

Я не спросил, почему, ибо знал единственно правильный ответ: потому.

Однажды, уже по прошествии этих лет, я задал маме невинный вопрос: «Мама, а какой чай вы тогда пили?»

Мама ответила: «Чай со страхом».

И испытующе посмотрела на меня.

Я понял одно, что «чай со страхом» — знак того времени, символ, обобщение — чего?

Несладкой жизни. Кошмара. Сталинщины.

Так что, сидя тогда под абажуром на семейном совете, мама была абсолютно права, ибо знала зверя в лицо, не понаслышке.

Я же, совсем юный идиот, не нашел ничего лучшего, чем возразить: «Я согласен, но с одним условием: пусть останется фамилия "Розовский"; не могу же я записаться по твоему отцу и называться Марк Котопуло». Фамилия отчима, Григория Захаровича Розовского, показалась мне в этот момент гораздо благозвучней маминой греческой фамилии.

Мама поморщилась, но кивнула.

Главное для нее (да и для меня) было в том, чтобы в графе «национальность» значилась любая национальность, лишь бы не «еврей». Это не гарантировало мне жизнь, но во всяком случае давало щелочку, в которую можно было бы хотя бы попытаться пролезть.

«Еврею» можно было и не пытаться.

Сейчас эта история, я понимаю, выглядит довольно дикой, но, поверьте, в апреле 1953 года у меня и мамы не имелось других вариантов, чтобы выжить (о том, чтобы ЖИТЬ, мы и не помышляли).

И вот на следующий день я твердым шагом иду в милицию за паспортом и громким голосом называю Элладу страной своего национального происхождения.

Дальше в моей жизни из-за этого поступка было много всякого, порой и смешного.

Уже само сочетание «Розовский Марк Григорьевич, национальность — грек» вызывало улыбку. Все нормальные люди понимали, что здесь что-то не так. Знаменитый анекдот о том, как Абрама били «не по паспорту, а по морде» — это как раз про меня.

Правда, меня не били. Потому что знали: я и ответить могу.

Это у меня от отца: он и в лагере сохранил достоинство. А когда его, прошедшего через все карцеры и пытки, уже работавшего под Тулой в

строительном тресте, оскорбил какой-то выродок: «Мало вас, жидов, Сталин сажал!» — отец так двинул ему кулаком по харе, что его увезли в больницу. «Зэкам» палец в рот не клади: есть шанс остаться без руки, не то, что без пальца.

Конечно, сохранять свою гордость всем нелегко. Но быть евреем в советские времена никому не пожелаю.

Между тем отец продолжал качать права у родного государства, посылая заявления и жалобы начальству:

Начальнику Управления МВД
По Красноярскому краю
От Шлиндмана Семена Михайловича
с/поселенца, проживающего в с. Абан,
по Советской ул., дом № 5.

ЗАЯВЛЕНИЕ

10/I-1953 г., будучи у вас на личном приеме, я докладывал Вам о сложившихся для меня обстоятельствах и невозможности получения работы по специальности в абанском районе. Эти неблагоприятные обстоятельства сложились не по моей вине, а в результате известной вам специфики.

Мне непонятно, почему, оказавшись в этих условиях, я предоставлен самому себе и должен выходить из тяжелого положения только своими силами, слишком ограниченными для этого?

В течение последних двух месяцев я пытался предлагать свои услуги различным организациям, но получил лишь сообщения об отсутствии у них вакантных должностей.

Я не могу больше жить без работы, нет у меня ни сил, ни средств выдержать и дальше эту ужасную безработицу. <...>

Приложение: упомянутое на 4 листах.

26. I. 1954 г. *С. Шлиндман*

Нач. отдела УМВД по Красн. Краю
полковнику Середницкому

ЗАЯВЛЕНИЕ

Состояние моего здоровья тяжелое, я признан инвалидом 2 группы. Физически работать не могу, по специальности же, или какой-либо другой посильной для меня работы я не могу найти. Вследствие этого я продолжительное время не имею работы, что, в свою очередь, еще больше усугубляет мои болезни.

По специальности я инженер-экономист и юрист, хорошо знаю строительное дело. По найму работал с 14-ти летнего возраста.

Срок заключения отбывал в Краслаге. С ноября 1940 г. до ноября 1941 г. находился в Каннском ОЛП, работал десятником Стройчасти по строительству жел.-дор. ветки от ст. Канск до рейда Каннского ОЛП.

С ноября 1941 г. до ноября 1942 г. — работал экономистом на 7 л/п Нижнее-Пойменского отделения Краслага. С июня 1943 г. до августа 1946 г. работал на 1 ОЛП Краслага мастером порубки, зав. шпал заводом, культбригадой 1 ОЛП.

После освобождения из Краслага я работал по вольному найму в УИТЛиК УМВД по Горьковской области в должности Нач. производства 1-го отделения Буреполомского ИТЛ.

Я хочу работать и не могу жить без работы.

Прошу Вас учесть мое состояние и, в виде исключения, разрешить мне и моей жене, Клемт Ольге Константиновне, переехать на жительство в г. Канск, где я буду обеспечен работой по специальности.

С. Шлиндман.
27. I. 1954 г.

Вот так-так... Еще одна жена... Разговариваю с отцом году в 61-м...

Я. *Папа...* (Непривычно мне было это слово произносить. Особенно в первое время. Я на него смотрел молча, наблюдал, можно сказать).

ОТЕЦ. *Что смотришь?*

Я. *Поговорить хочу.*

ОТЕЦ. *Поговори.*

Я. *Спросить тебя хочу* (пауза). *Папа... били тебя там?.. Ясно, били. А как били, папа, можешь мне рассказать?..* (пауза) *Не молчи. Мне нужно знать, папа.*

ОТЕЦ. *Меня били по яйцам, а они у меня железные.*

Я. *Иголки под ногти совали?*

ОТЕЦ. *Это устаревшее средство.*

Я. *Какое же новое?*

ОТЕЦ. *Щипцами отдирают ноготь от мяса в положение «на попа». Называется «модельная стрижка ногтей в парикмахерской НКВД». И гуляй.*

Я. *Еще что?*

ОТЕЦ. *Простой удар в рыло. Примитивно, но эффективно. Следователи спорили, кто больше зубов выбьет с одного удара. Это я уже в ссылке вставил. В Абане друг стоматолог был. Гамлет Степанович Месхишвили. Тоже ссыльный.*

Я. *У вас там Интернационал что ли образовался? Жена новая у тебя была — полька какая-то...*

ОТЕЦ. *Ольга Клемт. Она портниха была хорошая.*

Я (язвлю). *Мама тоже шила очень хорошо.*

ОТЕЦ. *Ты зря на нее катишь. Она хорошая женщина была.*

Я. *У тебя плохих быть не могло.*

ОТЕЦ. *Злость неплодотворна. Хоть ты постарайся меня понять.*

Я. Ладно. Чем же она тебя обворожила?.. И вообще... как туда попала?

ОТЕЦ. *Причина — еще та!.. Когда наши освобождали Польшу, шли напролом. А в ее доме, как на грех, немцы устроили штаб. Ну, ее сразу и загребли как хозяйку — «за сотрудничество с немцами». Будто она могла противиться!.. Они просто видят хороший дом, — вот и заняли!.. А что она могла сделать?.. Получила Сибирь на десять лет, и здесь на поселении, когда мы с твоей мамой разошлись, я с ней сошелся. Верней, не с ней, а с ее коровой. Я женился на корове.*

Я. Это как понимать?

ОТЕЦ. *А вот понимай, если хочешь. Я голодный, дохожу, мне скоро кранты, это ясно... И тут она, хоть и полька, а своя, интеллигентная женщина, портниха, труженица, руки золотые... У нее корова при доме... И дом, надо сказать, опять же, хороший, ну, не такой, конечно, как в Польше, но все же.*

Я. Откуда дом у ссыльной поселенки?

ОТЕЦ. *Она обшивала всех жен начальников. И они ей платили наличманом. За все — за шубы, за платья, за кофты... Сотни заказов были. Она одна как целое частное ателье работала. Построила за год дом, завела корову...*

Я. И мужа — еврея.

ОТЕЦ. *Почему — еврея?.. Просто мужа.*

Я. Который их обеих доил.

ОТЕЦ. *Почему обеих?.. Только корову. Зорькой ее звали. Это я. А она — Зоськой.*

Я. То есть — работник в доме. Мужик, так сказать.

ОТЕЦ. *Ну, да. Конечно. Еще и мужик. А ты бы как на моем месте поступил?*

Я. Не знаю. Но ты маму предал...

ОТЕЦ. *Так знай: Ольга меня с того света вытащила. Она и эта Зоська. Если б не они, я бы точно концы отдал. А ты катишь. Прямо как твоя мама. Вместо того, чтобы понять. Я с тобой, как со взрослым, а ты...*

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 21

Действителен по десятое февраля 1954 г.

Шлиндману Семену Михайловичу

1905 года рождения, разрешен выезд из

Абанского района в г. Канск,

Красноярского края, и обратно, который к месту назначения должен следовать только по указанному адресу.

При уклонении от указанного маршрута настоящий лист теряет силу, а владелец его подлежит задержанию.

По прибытию к месту назначения Шлиндман С. М. обязан немедленно явиться на регистрацию, а по возвращении маршрутный лист сдать в орган МВД.

НАЧАЛЬНИК АБАНСКОГО РО МВД *ПОПОВ.*

6 февраля 1954 г.

СПРАВКА

Дана Шлидману Семену Михайловичу в том, что он является главой семьи.
Семейное положение:
Жена — Клемт Ольга Константиновна 1906 г. р.

Из разговора с отцом:

Я. *Эх, папа, папа... А знал бы ты, как мама рыдала по ночам!.. Я просыпался от каких-то непонятных звуков... Это она в подушку выла... А ты, небось, так не выл со своей коровой!..*

ОТЕЦ. *Глупости все!.. Просто я понял, что жизнь потеряна и уже НИКОГДА, понимаешь ли ты это слово, — никогда! — не буду на свободе. Никогда не вернусь ни к жене, ни к сыну. Никогда вот тебя... понимаешь?.. не увижу тебя никогда!*

Я. *Смирись, гордый человек, — это, да?*

ОТЕЦ. *Да нет же... Читал я твоего Достоевского!.. Он всё правильно говорит, но только все это литература, а в жизни не так.*

Я. *А как?*

ОТЕЦ. *В жизни... в какой-то момент начинаешь любить свой застенок. Ты не щурься... потому что понимаешь: другой жизни у тебя уже не будет — тогда живи, ковыляй и утрись тем, что есть. Твоя доля. И тут не важно — смирился ты там или не смирился. Все тебе становится по х.ю, то есть, прости, по фигу. И собственная жизнь, и гордость — не гордость... Ты вроде сам от себя отделяешься и живешь уже, сам себя не видя со стороны, будто параллельно той настоящей жизни, которой тебя почему-то лишили, и уже неинтересно знать, почему. Вдруг чувствуешь: всё, конец. А завтра вдруг этот конец имеет продолжение, и послезавтра... Скука жмет, ни земли, что зовется родиной, ни Бога на небе — никого и ничего. И уже эта бодяга тебя не волнует: ты ведь в эту бодягу погружен, как в ванну с азотной кислотой... И ты в ней тонешь и растворяешься... разложение неизбежно. Спекся.*

Я. *Бодяга — это что, я не понял?*

ОТЕЦ. *Жизнь становится бодягой, чего ты не понял, сынок?.. Жизнь!*

Я. *Ужасно.*

ОТЕЦ. *В том-то и дело, что нет. Как сказал твой любимый Достоевский: «Ко всему-то человек привыкает!»*

Я. *И к застенку?*

ОТЕЦ. *И к застенку. Когда нет другого выхода, жмешься по углам.*

Я. *Выходит, ты привык к своей несвободе и приспособился к ней?.. И это ты, который выдержал все допросы и пытки, все этапы и унижения?.. Ты, герой!.. Какой ты герой?!.*

ОТЕЦ. *А чего еще было делать?.. Закон тайги: с волками жить, по-волчьи выть.*

Я. *Ужасно. Ужасно. Ужасно.*

ОТЕЦ. *А попривыкнешь — вроде ничего. Жить можно.*

Я. Я о тебе лучше думал.

ОТЕЦ. Потому что дурак, не знаешь, что и как бывает на свете. Вот ты сказал «не боец». А чтоб выжить, надо было перестать быть бойцом, надо было заховаться в берлогу, исчезнуть с вида, зарыться, заспаться... В микроба надо было превратиться, в последнюю вошь... И прогнать от себя подальше и разум, и чувства... главное, разум!.. Потому что он мешает, ибо хочет осилить то, что случилось с тобой и со всеми; он спрашивает: «Почему да за что?» А уже спрашивать не надо, ты насекомое, не человек, а насекомое ни о чем не спрашивает... Вот и живи, как насекомое. И жизни радуйся, как насекомое. А убьют тебя, как насекомое, значит, и это справедливо — ты ведь уже не человек. Был человек, а стал не человек. И этим все сказано-доказано.

Я. Сказано — не значит доказано.

ОТЕЦ. Вот-вот!.. Поэтому лучше молчать в наше время. Все равно ничего не докажешь.

Я. Сталин.

ОТЕЦ. Что — Сталин?

Я. Это Сталин сделал из нас насекомых. Рабов.

ОТЕЦ. Да он сам был насекомое. Хотел всех себе уподобить.

Я. И у него получилось. Кое с кем.

ОТЕЦ. А вот и нет. Если б у него, как ты сказал, «получилось», мы бы с тобой не разговаривали сейчас.

Я. Сейчас шестидесятые, а в середине пятидесятых ты что почувствовал?.. Оттепель почувствовал?

ОТЕЦ. Когда жахнул двадцатый съезд, я понял: у них дело пахнет керосином, будут нашу кодлу отпускать — и вся недолга.

Я. Ваша «кодла» — миллионы людей.

ОТЕЦ. А по каждому — вертухаи теперь должны были назад откачивать. Прокуратуру закидали тоннами наших прошений, я сам настрочил последнюю жалобу на имя Маленкова и Микояна — длиннющую, как моя отсидка. Но уже не она помогла. Пошла кампания — как сажали пачками, так пачками повело освобождать.

Я. «Эпоха позднего реабилитанса», как тогда говорили, началась.

ОТЕЦ. Честно говоря, я, когда отмазался, сам не поверил, — думал: ну, опять на время, тик-так, — и опять захомутают, опыт уже был... Но чуток осмотрелся — дело понеслось серьезное, начали выпускать широко, без балды, ворота открылись... На зонах вздрогнули, взбодрились... Неужели канули окаянные годы?! Неужели вправду теперь будут гнать правду, одну только правду?.. Верилось с трудом. Но ведь произошло!.. Ни хрена себе история пошла! — только успевай удивляться в завале.

Я. Спасибо Хрущеву?

ОТЕЦ. Э, нет, это не мы, ТАМ отбывшие, а вы будете кланяться, благодарить: мол, если б не Никита, все было бы по-старому!.. А мы подарки судьбы принимали молча, настороженно, по-тихому. Как должное, можно сказать.

Я. Честно скажи: вы трусили по-прежнему?

ОТЕЦ. А хоть и трусили... В тот момент другого и быть не могло!.. Раньше трусили — так почему сейчас все должно иначе быть?!. Мы к трусости за эти годы ПРИВЫКЛИ — вот это надо понять. И если вдруг тебе, всю жизнь трусившему, вдруг говорят: всё, кончай, ты теперь другой человек, СВОБОДНЫЙ, иди на все четыре стороны, — это не всем в масть. Свобода тебя давить начинает, не знаешь, с какого боку ты к ней, а с какого она к тебе — это, сынок, тяжесть большая — свобода. Не легче, чем несвобода, вот в чем дело.

Я. Ты это испытал?

ОТЕЦ. Не один я. Вот представь: ты по полной реабилитирован, а жилья нет, семьи нет, денег нет, работы нет... А ты — свободен, как птица с подрезанными крыльями, попробуй, полети!.. Не летится.

Я. Ну, семья, положим, у тебя была. И даже не одна... Выбирай, с кем жить дальше будешь!

ОТЕЦ. Я и выбирал. В Польшу ехать?.. Это вообще все перечеркнуть — и тебя, и маму твою!.. Не ехать — все тут уже разбито вконец, враскосец пошло — как жить?.. Где?.. С кем?.. Лида меня не простила, не приняла, не приютила... Даже наоборот, показала на дверь!.. Вроде победа, но — пиррова, радости никакой. Оставалось одно — нестись по воле волн, жить так: будь что будет, как выпадет, — так пусть и выпадет, ничего САМ не крути-вороти, а то самому же и придется по новой расхлебывать...

Я. Какая-то рабская позиция.

ОТЕЦ. Ну, правильно, рабская. А я уж давно допер: наша такая выпала судьба — быть рабом — до самого конца, до самой смерти. Что на воле, что в неволе. Это моя стезя — расплата. Вот я и расплачивался.

Я. Расплата?.. За что?

ОТЕЦ. А за все. За глупость нашу — за юность комсомольскую, безбашенную, за веру неистребимую в утопию, в товарища Сталина, в ИДЕЮ революции как спасительную и распрекрасную, — вот за все это мое еврейство, черт бы его побрал!

Я. Ничего не понимаю. Ты что такое говоришь?

ОТЕЦ. То, что думаю. Сейчас. Я заслужил то, что со мной случилось. И все мы заслужили. Поколение мое несчастное заслужило свои несчастья.

Я. Вот так-так!.. Может, ты еще скажешь, что и Сталин был прав?

ОТЕЦ. Не знаю.

Я. Ну, тогда мы расходимся. Твои несчастья ничем нельзя оправдать.

ОТЕЦ. Слушай меня. Я прожил свою жизнь, как мог. Да, я был раб. Точно. А что оставалось?.. Теперь ты попробуй по-другому. Твое время. И что?.. Сломаешь шею. И ничего не добьешься. А я... а мы... выжили, несмотря ни на что. Факт, что мы с твоей мамой — хоть и врозь! — а выжили! Победили!

Я. Этот твой товарищ Сталин залез к вам в постель, разрубил вашу жизнь в куски — и это ты называешь «победили» ?! Всю жизнь я ношу — вынужденно! — не твою фамилию и не твое отчество — это то, о чем вы мечтали, когда приехали на Камчатку строить свой злосчастный судоремонтный завод?.. Всю жизнь — «врозь»!.. Всю жизнь — папа, мама, я и Сталин!.. Одна «семья»! Всю жизнь...

РАСПИСКА

Мне Шлиндману Семену Михайловичу 1905 года рождения, проживающему гор. Канск Каннского района Красноярского края объявлены: постановление СНК СССР № 35 от 8/I 1945 года «О правовом положении» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28-го ноября 1948 года, я предупрежден в том, что выселен на спецпоселение навечно, без права возврата к месту прежнего жительства и за самовольный выезд (побег) с места обязательного поселения буду осужден на 20 лет каторжных работ.

Подпись: *С. Шлиндман*

10 февраля 1954 г.

Расписку отобрал комендант Каннского ГО МВД *Фролов.*

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВЗАМЕН ПАСПОРТА

Выдано Шлиндман Семену Михайловичу 1905 года рождения в том, что он является спец-поселенцем и проживает в гор. Канск Каннского района Красноярского края.

Действительно по 15 февраля 1955 г. только на территории гор. Канск Красноярского края.

Начальник Каннского ГО МВД *Подпись.*

И, наконец, главный документ его пахнущей мертвечиной жизни:

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4н — 04432/54

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР,
рассмотрев в заседании от 26 мая1954

ПРОТЕСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР на постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1940 года, которым по ст. ст. 58-1 «а», 58-8, 58-7, 58-11 УК РСФСР осужден — ШЛИНДМАН Семен Михайлович к заключению в ИТЛ сроком на 8 лет и на постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 16 февраля 1949 года, которым ШЛИНДМАН С. М. осужден к ссылке на поселение, заслушав доклад тов. РЫБКИНА и заключение пом. Главного Военного Прокурора — генерал-майора юстиции КРАСНИКОВА, об удовлетворении протеста,

УСТАНОВИЛА:

<...> Генеральный Прокурор СССР в протесте ставит вопрос об отмене указанных постановлений Особого Совещания в отношении ШЛИНДМАНА и о прекращении дела производством по следующим основаниям:

Обвинение ШЛИНДМАН в принадлежности к антисоветской организации было основано на показаниях ранее арестованных участников право-троц-

кистской организации, существовавшей в тресте «Камчатстрой» КИРИЛЛОВА, КРУТИКОВА, МИТНЕВА, АНДРЕЕВА, КОНОВАЛЕНКО и других лиц, позднее осужденных к расстрелу.

Указанные лица, назвав на допросах фамилию ШЛИНДМАН как одного из известных им участников право-троцкистской организации, не указали времени и обстоятельства вступления его в эту организацию, а также не указали в чем конкретно выразилась эта его преступная деятельность. <...>

Опрошенные по делу свидетели — бывшие сослуживцы ШЛИНДМАНА — СКЛЯНСКИЙ, ФЕДОСЕЕВ, ДВОРЦОВ и другие показали, что в период работы ШЛИНДМАНА в должности начальника планового отдела действительно производственные планы составлялись и спускались на объекты с большим запозданием, однако о причастности ШЛИНДМАНА к какой-либо контрреволюционной организации и его вредительской деятельности они ничего не показали.

По делу дважды были созданы экспертные комиссии, заключения которых противоречат друг другу. <...>

Сам ШЛИНДМАН вину свою категорически отрицает. Никаких других данных, уличающих ШЛИНДМАН в контрреволюционной деятельности, в деле на имеется.

Перепроверить поверхностные показания КИРИЛЛОВА, КРУТИКОВА, МИТНЕВА, АНДРЕЕВА, ЧАЙКОВСКОГО и КОНОВАЛЕНКО в связи с осуждением их к ВМН в данное время не представляется возможным.

Соглашаясь с доводами, изложенными в протесте прокурора, Военная Коллегия Верховного Суда СССР, —

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановления Особого Совещания от 23 июля 1940 года и от 16 февраля 1949 года в отношении ШЛИНДМАНА Семена Михайловича отменить, дело о нем в уголовном порядке за недоказанностью обвинения прекратить и от ссылки ШЛИНДМАНА освободить.

Подлинное за надлежащими подписями

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 415

Действителен по третье июля 1954 года

Шлиндман Семен Михайлович 1905 года рождения, разрешен выезд из гор. Канска в гор. Красноярск Красноярского края и обратно, который к месту назначения должен следовать только через ст. (неразб.) при уклонении от указанного маршрута настоящий лист теряет силу, а его владелец подлежит задержанию.

По прибытии к месту назначения Шлиндман С. М. обязан немедленно явиться на регистрацию, а по возвращении маршрутный лист сдать в орган МВД.

КОМЕНДАНТ КАНСКОЙ СПЕЦКОМЕНДАТУРЫ *ГРАЧЕВ.*

28 июня 1954 года

РАСПИСКА

Мне, Шлиндману Семену Михайловичу

проживающему в Канском районе 30 июня 1954 года вручена справка об освобождении. Намерен выехать к избранному мною месту жительства г. Москва

С. Шлиндман

г. Канск, 6/УП-1954 г.

Дорогой Марик!

В течение почти 17-ти лет меня считали тяжелым государственным преступником, совершившим якобы тягчайшие преступления против нашей Советской Родины. Тебе было только 8 месяцев, когда меня арестовали. Около 9-ти лет я находился в заключении. После 2-х лет весьма относительной свободы, когда я не имел права жить в городах и даже появляться в Москве, я вновь был арестован в 1948 году и отправлен в ссылку на поселение пожизненно в Красноярский край. Там я пробыл 5 1/2 лет, в деревне, не имея права выйти без разрешения за ее пределы.

Страшное клеймо, положенное на меня, и ужасное преследование, которому меня беспрестанно подвергали, как врага Народа, неизбежно повлияли и на судьбу моей семьи.

Чтобы спасти наш дом, тебя и мать от разорения и тяжелых несчастий, я пошел на разрыв. Разрыв тот был грубым, нехорошим, вызывал со стороны всяческого осуждения, но тем легче было его осуществить, тем проще было нам разойтись. Все это когда-нибудь разъяснится вполне.

А пока сообщаю радостную весть: Определением Военной Коллегии Верхсуда СССР от 26/V.1954 г. я полностью реабилитирован во всех предъявлявшихся мне обвинениях, все с меня снято, дело прекращено недоказанностью обвинения, все вынесенные ранее в отношении меня приговоры и постановления отменены, я из ссылки на поселение освобожден и следую к избранному месту жительства в г. Москву.

Приеду в начале августа м-ца и увижу тебя, родного своего сына. Возвращаюсь в Москву с надеждой, что между нами будут восстановлены отношения родной крови.

Родной мой мальчик! Теперь уж твой отец не явится для тебя позором. Свою фамилию, фамилию своего отца, можешь носить гордо и смело, — она честна и ничем не запятнана...

Твой отец

Фамилию менять обратно на настоящую было поздно. На всю жизнь я остался Розовским — благодаря сталинскому Большому террору. Да и реабилитация тоже имела куцую, с оттенком подлости формулировку: «за недоказанностью обвинения». Просто, значит, не сумели доказать сотруднички! Об извинении и, тем более, покаянии и речи не было, что говорит

красноречиво об аморальности и гнилости бесчеловечной системы по сей день. Хотя сущностные изменения налицо.

* * *

Отец умер раньше мамы — в 1967-м.

Мама пережила отца на девять лет и ушла из жизни в 1976-м.

67-й — год пятидесятилетия советской страны. Тот праздничный шабаш, который был устроен новым Ильичом по этому случаю, был поистине беспределен. Вовсю запахло сталинским ренессансом: суд над Синявским и Даниэлем предварял танковую расправу с Чехословакией.

В тот роковой для себя день отец из Тулы решил ехать по делам в Москву. Утром он принял горячую ванну, в которой пролежал не меньше часа. Видно, это было для старого «зэка» удовольствие, выпадающее на свободе как подарок судьбы. Но после этого ему стало плохо. Крайне плохо. Тем не менее он сел в машину и двинулся в путь.

По дороге его физическое состояние ухудшилось, на короткое время он дважды терял сознание.

По приезде в Москву шофер сразу отвез его в 52-ю больницу, где работал его знакомый врач. У отца не было сил даже сказать своему водителю три слова: «вези к Паше» или «вези к Розе». Ведь обе его родные сестры были великолепными докторами.

В приемный покой отца внесли на носилках.

Места в палате ему не нашлось.

Не приходя в сознание, он умер на больничной койке в коридоре.

А у себя дома (отдельная крохотная квартира-кооператив на улице Волгина) мама вырастила кактус и произнесла фразу, которую я запомнил:

— Этот цветок живучее нас.

И добавила уж совершенно меня сразившее:

— Теперь я вдова.

Александр КЫРЛЕЖЕВ

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА[1]

У меня непростая задача: говорить не о конкретном и историческом, а о, так сказать, общем и мета-историческом, не забывая при этом о конкретно-историческом.

Русский богослов о. Георгий Флоровский (1893 – 1979), который был одновременно и историком (по крайней мере христианской мысли), одну свою статью начинает ссылкой на слова Марка Блока: «Христианство — религия историков». Флоровский обращает внимание на то, что христианство — это прежде всего свидетельство веры в определенные исторические события, *magnalia Dei*. И далее идет ссылка на Герхарда Киттеля (редактора многотомного словаря по Новому Завету[2]), который самое Евангелие, Благую весть, называл «преткновением конкретности» (scandal of particularity)[3].

Действительно, христианство является *исторической религией* во многих смыслах. Оно возникает в библейском («ветхозаветном») контексте Священной истории богоизбранного народа. Его средоточием является *Человек Иисус Христос* (Рим 5:15), родившийся в правление кесаря Тиберия. И

---

[1] Выступление на конференции «Ищущие вечности, созидатели новой культуры. Монашество на Востоке и на Западе» (Милан–Сериате, 16 – 18 октября 2009 года), организованной Фондом «Христианская Россия».

[2] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, begr. v. Gerhard Kittel, hg. v. G. Friedrich, 1933 ff.

[3] *Флоровский Г., прот.* Положение христианского историка // Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. С. 39.

Александр КЫРЛЕЖЕВ — родился в 1957 г. в Москве. Закончил Московский институт культуры и Московскую духовную семинарию. Работал в «Журнале Московской патриархии», в газете «Русская мысль», в Центре по изучению религий. Научный консультант Синодальной богословской комиссии Русской православной церкви, преподаватель кафедры государственно-конфессиональных отношений Российской академии государственной службы. Автор многих богословских и литературно-публицистических статей. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

с пришествием Христа обретает свою диахроническую структуру все домостроительство (икономия, dispensatio) спасения (см. Еф 3:2-9). Это та самая череда *magnalia Dei*, «великих деяний Божиих»: творение—изгнание человека из рая после грехопадения—пришествие Христа-Искупителя—дарование Духа Святого—второе пришествие Христа—воскресение мертвых—всеобщий суд—новое небо и новая земля. Разумеется, этот перечень можно видоизменять, сокращая или, наоборот, увеличивая количество «пунктов». Но в любом случае мы имеем линейную последовательность событий, которая не только «покрывает» все историческое время этого мира, но и выходит за его пределы, в мета-историю — как *до* начала, так и *после* конца истории.

Это понимание мира как движущегося во времени, причем времени векторном, мира, направленного к своему свершению, уже с необходимостью предполагает некое «последнее» (*eschaton*), а также, соответственно, целую череду «последних моментов», завершающих разные, последовательные, этапы диахронического движения. И потому домостроительство спасения, понятое как Священная история, уже содержит в себе *эсхатологию*. Или, точнее, — эсхатологии. Еще точнее — *горизонтальные* эсхатологии.

Христианский историзм имеет сверхпрочное основание: Халкидонский догмат о Боговоплощении. Этот догмат не менее труден для «человеческого рассуждения» (то есть человеческого понимания), чем христианское учение о Триедином Боге. Христос — совершенный Бог и совершенный человек; в Нем — полнота обеих природ, пребывающих в «ипостасном союзе», в единстве Божественной ипостаси (или личности).

Полнота человеческого, воспринятая в личность Сына Божия, или Логоса, — *Единого от Святыя Троицы*... Это, конечно, крест для «одномерного» человеческого разума. Ведь это означает, что Божественный Спаситель целиком вошел в историческую плоть, в «горизонтальное» измерение мира, — чтобы совершить Свое искупительное деяние и обеспечить «прорыв» истории в ее движении вперед, к эсхатологическому свершению.

Но символ Христа — крест. И в данном случае метафора креста более чем уместна.

«Событие Христа», как выражаются современные богословы, — это «прорыв» не только в горизонтальном, историческом движении. Это также и «вертикальный» прорыв: во время истории входит Вневременный, и на это раз — «собственной персоной». Возникает не просто единократный («исторический») контакт времени мира и Божией вневременности, но некая «постоянная связка», «коммуникационный канал». Течение горизонтального исторического времени продолжается, но теперь ему сопутствует вертикаль, «перпендикуляр», не отрицающий горизонтального измерения как такового. Парадоксальная ситуация пересечения *двух доминант*.

Что это означает для эсхатологической темы, то есть темы «последних моментов»?

Это означает, что христианский *эсхатон* как бы раздваивается и уходит от одномерности, приобретая концептуальную объемность.

Теперь «последнее» — это то, что уже наступило в вертикальном измерении, но еще не наступило в горизонтальном. В недрах ветхозаветной библейской традиции, предполагающей свою *историческую* (или мета-историческую) эсхатологию, возникает иная — «вертикальная» — эсхатология. Ее можно назвать эсхатологией *парусии*: «при-шествие» как «при-сутствие».

В анафоре византийской литургии эта эсхатологическая парадоксальность выражена самым прямым образом. А именно в словах:

> Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас бывшая: Крест, Гроб, тридневное воскресение, одесную седение, *второе и славное паки пришествие*, Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся, Тебе поем...

Второе и славное паки пришествие Христа «поминается» (упоминается и вспоминается) в данном случае как исторически будущее событие, временная удаленность которого ничего не меняет в событии настоящего: сакраментальном соединении со Христом, присутствующем, действующем и дарующем Себя *hic et nunc* в Церкви.

Резонно спросить: что же остается от собственно *истории* — Священной, но одновременно и вполне обыденной, посюсторонней, человеческой, — если Господин истории уже здесь, уже действует, несмотря на то, что течение исторического времени неумолимо продолжается? Если «второе пришествие» Христа не имеет, как кажется, никакого существенного значения для нашего нынешнего с Ним общения и соединения?

Христианский ответ: история сохраняет всю свою значимость — в парадигме Халкидонского догмата. Ибо «история» есть «временна́я плоть» человеческой жизни, неотъемлемое измерение существования мира и человека. Более того, Халкидонский догмат о Богочеловеке, будучи развернут в проблематику исторического существования «человека и людей», из абстрактной теологической (христологической) формулы становится действительно экзистенциальной парадигмой, *образцом* для христианского понимания пути христианина, его динамического присутствия в этом мире. И эта парадигма оказывается необходимо, принципиально эсхатологической.

Но прежде чем перейти к этой парадигме, следует обозначить то, что можно назвать девиантными эсхатологиями (в общехристианском контексте). Речь идет о таких эсхатологических представлениях, которые уклоняются от удержания двойного, парадоксального смысла догмата о вочеловечении Бога в истории.

С точки зрения типологии, приходится говорить о двух основных эсхатологических девиациях. Они очевидны. Это уклонение либо в «горизонтализм», либо в «вертикализм» (то есть, если вспомнить христологические уклонения: эсхатологическое несторианство и эсхатологическое монофизитство).

В первом случае религиозный *акцент* ставится на историческом действии, на творческой и результативной активности человека, вносящей христианское содержание в так называемый «реальный», то есть посю-

сторонний, мир. Это акцент на строительстве культуры, на культурном делании, понятом как христианизация этого мира. Образом такой духовной стратегии является выражение «Царство Божие на земле». Здесь Царство Божие понимается как нечто «внешнее» (хотя, конечно, не только внешнее, потому что в культуре по определению нет ничего исключительно внешнего; скорее все, наоборот, внутреннее, но такое, которое воплощается, актуализируется в неких *объективных* формах).

Где здесь эсхатологический момент? В предвосхищении эсхатологического будущего, в неуклонном, постепенном приближении к нему в историческом настоящем. В реализации каких-то аспектов мета-исторической «новой земли, где правда живет» уже сейчас — напряжением собственно человеческих сил (хотя, конечно, с помощью Божией).

Соответственно, второй случай — это акцентирование «внутреннего». Здесь Царство Божие понимается, на первый взгляд, вполне по-евангельски: Царство Божие внутри вас; или: среди вас (Лк 17:21). То есть или индивидуалистически: внутри каждой отдельной души; или коллективистски: внутри общины христиан, локального церковного собрания.

Религиозное здесь — это принципиально «вертикальное» по линии *душа—Бог*. Соответственно главное религиозное делание — это возделывание души: духовные практики и переживания, нравственное совершенствование, индивидуальное доброделание. А потому и время в этой перспективе есть прежде всего время индивидуальной духовной жизни, «история души».

Сакрализация духовного оборачивается профанацией всего остального. Если Царство Божие в душе, значит, все, что за ее пределами, — это «мир сей», который, как известно, лежит во зле (вариант: пребывает в состоянии апостасии).

Эсхатологическими в данном случае можно назвать два момента: 1) переживание человеком близости Бога здесь и сейчас как уже совершающееся спасение и 2) восприятие своей смерти как «индивидуального апокалипсиса». Все уже совершено со стороны Бога, уже совершившего суд над миром в лице Христа. Осталось только каждому субъективно усвоить плоды искупления, для чего и отпущено время от духовного рождения до последнего вздоха.

Нетрудно заметить, что в обеих описанных типических установках со свойственными им девиантными эсхатологиями есть своя правда. И их никак нельзя квалифицировать как просто одномерные: уклонения — именно в смещении смыслового центра. Никакое христианское делание в истории и культуре невозможно без обращения к вневременно́му Богу, но и никакой индивидуалистический спиритуализм (исключая крайние формы мистицизма) не может обойтись без христианского отношения к ближнему, к другому и вообще без внешнего контекста, к которому относятся и его организационные формы.

Но если говорить о правде этих подходов, то это правда двоящаяся, расходящаяся в противоположные стороны. Настоящая, полная правда должна

быть синтетической — по образу креста Христова. И на этом кресте распинаются как историцизм, так и спиритуализм.

Эсхатологическая парадигма, опирающаяся на Халкидонский догмат о Богочеловеке, предполагает одновременное удержание горизонтального и вертикального, исторического и сверх-исторического, внешнего и внутреннего, телесного (физического) и душевного (психического), человеческого и божественного, «уже да» и «еще нет».

Эта парадигма отражает фундаментальную ситуацию человека, находящегося между данностью и заданностью. Человек дан себе, ему дан мир, и спасение мира и человека уже совершено Богом. И в то же время человек — существо незаконченное, мир — изменчив и пребывает в исторической эволюции, а действительность спасения еще должна быть актуализирована, восполнена его действенностью, говоря техническим богословским языком.

В каком-то смысле можно сказать, что в христианстве Бог открывается человеку во Христе *как эсхатон* — как Последний, который в то же время всегда является и Первым; как Конец, который всегда есть Начало; как завершение, через которое открывается новое пространство жизни.

Этот образ Христа как Первого и Последнего, Альфы и Омеги как бы прорывает тотальность последовательного временно́го движения и размыкает исторический континуум. И в то же время исторически-временно́е не только не отменяется, но, наоборот, утверждается в своей специфике и своем динамизме. Ибо Христос-Эсхатон — это и Логос творения, и Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, и Агнец, понесший грехи мира, и грядущий Судия, и Царь «Апокалипсиса»... Все историческое время охвачено Его присутствием и Его свершениями.

Но это означает, что историческое — не самодостаточно в своей ткани, в своей текстуре. Что мы можем и должны видеть присутствие Эсхатона (то есть Богоприсутствие) в этом эоне — в разных формах и проявлениях исторического, должны видеть *сквозь* формы и явления... Иначе говоря, в отличие от спиритуализма, такой взгляд (вспомним слова Г. Киттеля) открывает возможность *не претыкаться о конкретность*. И так историческое делание как таковое оказывается оправданным, но при этом ему задается определенная ёмкость, которую, не имея лучшего слова, приходится называть духовной.

Однако эсхатология, понятая как парусия, как пришествие–присутствие Христа-Эсхатона, имеет важные последствия и для личной духовной практики. То есть может и должна быть интериоризирована.

Она указывает на то, что деление на внутреннее и внешнее, душевное и телесное — условно. Догмат о Боговоплощении свидетельствует: ни телесное, ни психическое не «безбожно». Эсхатологическое видение мира и человека обнаруживает, что мы, пребывая в реальной ткани мира, в то же время уже живем глубже мира, в некоем «вневременно́м» измерении. Однако такое видение невозможно, если самим не пройти через эсхатон — через крещение-

погружение в смерть Христову, то есть «смерть для мира». Это своего рода сакраментальная эсхатология, но опять же — конец, претворяемый в начало: *Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге* (Кол 3:3).

Крещение — эсхатологично по самому своему смыслу. Потому, что в Крещении происходит *совпадение* конца и начала, последнее становится первым. Это то, что можно назвать *событием* (по существу, его определение).

С эсхатологической точки зрения, важны не вещи, но события! С христианской точки зрения, невозможно ничего достичь, ничем обладать, ничего совершить. Центром и заданием христианства не являются внутренние, духовные *состояния* или же, наоборот, внешние, исторические *деяния*, но именно событие, типологически тождественное событию Боговочеловечения.

Событие — эсхатологично. Событие происходит при двойной открытости: вверх и вперед. Любое подлинное событие — это выход из временно́го, горизонтального континуума, и потому оно всегда в каком-то смысле «последнее». Но в то же время событие — неокончательно, оно открывает путь к дальнейшей личностной трансформации и потому есть начало. Событие — это как раз то, что по ту сторону традиционных различений горизонтального и вертикального, имманентного и трансцендентного, чувственного и умопостигаемого, материального и духовного...

Поэтому, говоря об эсхатологии, мы никак не можем удовлетвориться ни «горизонтальным» образом грядущего на облаках Христа, пришедшего второй раз, чтобы закончить историю, ни «вертикальным» образом Его мистического присутствия здесь и теперь, к которому нам лишь надо пробиться (что иногда представляют в образе благодати-энергии, которую нужно стяжать, то есть присвоить и усвоить).

Эсхатология — событийна, потому что именно событие — эсхатологично. Быть «во Христе» — это значит уже оказаться в конце и при этом всегда быть в начале. Всегда пребывать в эсхатологическом ожидании («бодрствовать и трезвиться») и поэтому быть готовым идти от события к событию: от начала — к концу, которое становится новым началом. Говоря словами Алена Бадью, событие «принуждает нас решиться на *новый* способ быть».

И возможно, лучший евангельски-христологический образ эсхатологического — это *хождение Христа по водам*... А лучший образ, подтверждающий нашу способность к эсхатологическому способу бытия, но одновременно указывающий на опасность выпадения из эсхатологического, — хождение по водам апостола Петра...

Что же касается подтемы нашей конференции — монашества, то такое понимание христианской эсхатологии, на мой взгляд, подтверждается историческим опытом Церкви. Монашеская практика в ее здравых формах всегда была ориентирована на описанную выше эсхатологическую парадигму. (Что не означает, конечно, что нужно игнорировать эсхатологичность сакраментально-литургической жизни Церкви.)

Здесь уместно привести два кратких фрагмента из речи Папы Бенедикта XVI на встрече с миром культуры под названием «Истоки западного бого-

словия и корни европейской культуры» (Апостольский визит во Францию, сентябрь 2008 года):

«Говорят, что ориентация монахов была неким образом "эсхатологичной". Но это следует понимать не в смысле хронологическом, как если бы они устремлялись к концу мира или собственной смерти, но в смысле экзистенциальном: за вещами временными они искали окончательное»;

«При крахе старых порядков и безопасности основоположной позицией монахов было устремление к поискам Бога. Мы можем сказать, что такая позиция — поистине философская: смотреть поверх вещей предпоследних и устремляться на поиски последних, истинных».

Именно синтетическая, «вертикально-горизонтальная», событийная эсхатологичность монашеского опыта, отражающая христианский «способ бытия», была — и может быть — мощным источником культурного творчества в самом широком смысле.

Завершая, можно вернуться к началу и обратить внимание на то, что событийность хороша именно тем, что она *претыкается о конкретность,* — то есть вынуждена иметь дело с конкретным. Ибо событие в эсхатологическом смысле — это то, что происходит, случается в этом мире, в этом эоне. Речь идет о таком способе бытия, когда мы переживаем встречу с вечностью, не выходя из времени, хотя и смотрим на мир, и действуем в нем *sub specie aeternitatis.*

I. ВОЖДЬ, ДУХОВНОСТЬ, КАПИТАЛ

Несколько предлагаемых ниже зарисовок объединены временем, местом и темой. Все они стали непосредственным откликом на события духовной жизни нашей страны в первое полугодие 2010 года и достаточно полно отражают ее тенденции. А начнем мы, пожалуй, со следующего символического события. Уже в первые дни этого года на прилавках книжных магазинов появилась книга Святослава Рыбаса «Сталин», вышедшая в издательстве «Молодая гвардия», в серии «Жизнь Замечательных Людей». В 2005 году идея издать книгу Рыбаса в серии ЖЗЛ уже возникала, но тогда это показалось еще неудобным. Сейчас удобное время настало.

1. Жизнь замечательного человека

Признаться, давно мне в руки не попадалось произведения столь внушительного и во многих отношениях выдающегося. Уже своим объемом этот 900-страничный том невольно внушает уважение. С обложки смотрит лицо простого советского человека, прячущего мягкую улыбку в усах; морщинки у лучистых глаз, с прищуром, внимательно глядящих на вас... Лицо доброго учителя, почти святого. Слева вверх взметнулись и дымят трубы индустриальных гигантов (Модернизация!), внизу — уткнувшиеся в землю фашистские штандарты (Победа!). На 900 страницах книги автор любовно раскрывает перед нами черты замечательного человека: любящего сына, прилежного ученика, пламенного борца, примерного семьянина, доброго мужа, волевого аскета, рачительного хозяина, любимого руководителя, гениального полководца, а также инженера, хлебороба, изобретателя, авиаконструктора, филолога и философа.

О последнем стоит сказать особо. Оказывается, узнав о фундаментальном положении философии Гегеля о «единстве и борьбе противоположностей», ставшего одним из оснований марксизма, Иосиф Виссарионович усомнился в его справедливости для текущего политического момента. В новой сталинской редакции марксизма речь должна была идти уже не о единстве, а лишь о борьбе противоположностей. Эта реформация по какой-то причине не состоялась, однако добавляет черту в облик замечательного человека, «нашего героя», — как скромно, гордо, интимно, трогательно, подмигивая читателю (нет мол, герой не только книги, но самого времени, нашего времени, и, даст Бог, будущего), называет его автор.

Иногда, правда, ему приходится сдерживаться и даже мягко журить нашего невиновно-виноватого героя. Да, он бывал слишком строг, даже суров. Что ж, и на солнце бывают пятна. Да и пятна ли это? Ведь те, кто говорят,

например, об *аморальности пакта* (Молотова-Риббентропа. — *В. М.*) *и неприемлемости секретных протоколов*, вы думаете, говорят это от любви к человечеству? Нет, *это самооправдание или пропаганда*. А когда причитают о тоталитаризме? Так ведь *советская тоталитарность... была наиболее эффективной формой сохранения государства*, к тому же — *способна к саморазвитию* (с. 497). Всем к тому же известно, что Сталин хотел *реформировать политическую систему... создать многопартийность*, но этот замысел *провалился из-за огромных внешних и внутренних угроз* (с. 496). Да, наш герой мечтал о двухпартийной избирательной системе (наверное, и названия красивые уже придумал: Единая Россия... Справедливая Россия), но *история не дала Сталину этого шанса*, военный заговор Тухачевского *торпедировал всю начинающуюся демократизацию*.

И не надо быть слюнтяями, вспоминая о лагерях. Ведь то была суровая необходимость. Ибо назревала война и рост опасности превосходил возможности советской экономики. Но, к счастью, была у нас в запасе еще одна экономика — *экономика ГУЛАГа* (!). Большинство наших советских заключенных самоотверженно, с полным сознанием долга и ответственности, трудилось *в промышленности, на стройках, на транспорте, в горнорудной промышленности*, и *если не брать во внимание моральную сторону вопроса* (! — *В. М.*), *то построенные заключенными каналы, железные дороги, гидроэлектростанции, порты, заводы, рудники, шахты, нефтепромыслы можно сравнить с очередным этапом культурной колонизации российского Севера, перекликающейся с «Северной Фиваидой» Сергия Радонежского* (!! — *В. М.*)...

Да, именно так *русская многовековая «борьба с географией» отразилась в системе ГУЛАГа*. Увы, демократия за полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты исторически себя не оправдала. *Опыт освоения Севера путем свободного найма рабочих и инженеров оказался неуспешным: люди не выдерживали суровых условий и уезжали*. Вот почему в бой были брошены лучшие, отборные силы — наши героические заключенные под чутким руководством пламенного НКВД: *В 1940 году доля НКВД в освоении централизованных капиталовложений* (как изящно можно, оказывается, выразиться об уничтожении миллионов. — *В. М.*) *достигла 14 процентов* (с. 544). Это и есть *особый монастырь сталинской экономики*. Се чудотворная икона, с небес спустившаяся на Соловецкий камень: святые насельники-зэки в окружении ангелов-особистов, а в центре — Сергий Радонежский с Серафимом Саровским, предстоящие преподобному Иосифу — игумену Земли Русской.

Еще один эпизод и еще одно торжество духовности. 11 сентября 1939 года ЦК Партии принял историческое решение о прекращении арестов служителей церкви и преследовании верующих. Это, поясняет автор, было сделано для того, чтобы *поддержать в западных районах православных белорусов и украинцев в противовес полякам-католикам, которые в Польше считались людьми первого сорта*. Но то лишь внешняя, видимая канва событий. Стремясь проникнуть дальше, в мистическую глубину, автор доверительно сооб-

щает нам: *Только не следует думать, что он, вспомнив мечту матери видеть его священником, приоткрыл сердце Богу. Его взаимоотношения с Богом нам не известны. Единственно, что можно сказать по этому поводу: иногда после заседаний Политбюро Сталин заходил в пустующий Успенский собор и стоял там в полном одиночестве минут сорок...* Здесь, у Святая Святых сердца замечательного человека автор целомудренно смолкает, оставляя нас предстоять этой тайне наедине, со страхом и трепетом...

И чем дальше проникаем мы в это Житие, тем просветленнее, эпичнее становится лик человека-нечеловека. Скромный (никакого удовольствия от культа своей личности он не получал), справедливый (посадил зарвавшегося сынка-мажора высокопоставленного папеньки), обладающий пророческим даром (предвосхищал экономическое реформирование по пути, который сегодня называют китайским), закрывший мировую революцию, создавший великое государство... Кто же он? Воистину, ум человеческий не в силах проникнуть в таинственные глубины, лишь прикровенно, апофатично мы можем глаголать о том. Вот Ален Даллес без всяких экивоков назван «дьяволом». Так кто же он, наш герой, в белых ризах и пышных усах, противостоящий сему врагу рода человеческого? Творец Нового мира, его ангел-хранитель, грозный, но справедливый судия, добрый пастырь, под бдительным нелицеприятным оком которого мирно и благодарно пасутся земные народы... Да, конечно, и он допускал ошибки (кто из нас без греха?). А один раз он, наш герой, назван даже *нашим многогрешным героем* (с.778). И где бы вы думали? В истории расправы над Еврейским антифашистским комитетом. Нет-нет, наш герой не был антисемитом. Но когда ЕАК *превратился в центр американского влияния*, что тут оставалось делать, судите сами? Ничего другого, как только раздавить грузовиком Михоэлса, расстрелять верхушку ЕАК, выявить и пересажать прочих кремлевских евреев. Все же прочее — наговор, а вся борьба с космополитизмом была на самом деле борьбой *с ротозейством в наших рядах* (с. 847).

В сущности, после войны Сталин допустил лишь одну досадную ошибку. Нет, конечно, это не *два с половиной миллиона послевоенных заключенных* (цифры, приводимые автором): то не зло, а, — правильно, — *героическая экономика* (с. 819). Ошибка в том, что Сталин (явно по недосмотру) выпустил на экраны трофейные фильмы, *дав таким образом иные образы населению для подражания и сравнения.*

Если же *«смотреть на дело с точки зрения исторической перспективы, страдания миллионов несправедливо посаженных в лагеря людей, преждевременная смерть, вероятно, доброго миллиона прекрасных коммунистов — исторически преходящий эпизод.* Величие целей и духа — вот что всегда стояло на первом месте исторического процесса. Настоящая ошибка гениального человека (*и даже, может быть, больше, чем ошибка*) — это перерождение СССР в государство, управляемое бюрократическими кланами, которые (*кулак, нэпман и спец*) и пришли к власти после него и разрушили СССР при Горбачеве.

Но кто же он, тот, кто смог так непосредственно и искренне выразить всю гамму нашей любви и признательности замечательному человеку на самом острие политического момента? Знакомьтесь: Святослав Юрьевич Рыбас, автор политических биографий о Столыпине, генералах Кутепове и Самсонове. Работал заместителем главреда издательства «Молодая гвардия», заместителем главреда газеты «Литературная Россия», заместителем директора по информации и стратегическому планированию военно-промышленного комплекса МАПО «МиГ». Является почетным членом Академии военных наук и Академии правопорядка, обороны и безопасности. А также (внимание!) возглавляет Фонд храма Христа Спасителя и является членом Попечительского Совета Храма. Имеет награды Русской Православной церкви: ордена Сергия Радонежского и святого Даниила Московского...

Таков этот человек необыкновенной судьбы. Человек нашего прошлого, настоящего и, вероятно, будущего, восстающего на наших глазах, подобно Храму Христа Спасителя. Да, мы, безусловно, не забыли о том, что один из иерархов Русской Православной церкви высказался относительно Сталина и его кровавой политики совершенно недвусмысленно. Однако верно и другое: сегодня в ХХС, этом православном макете «Святой Руси» (отстроенном турецкими компаниями, потомками разрушивших Византийскую империю османов), чинно стоят со свечками светские правители, а православный патриарх отпевает творца гимна СССР и Российской Федерации (в котором слова «И Сталин великий нам путь озарил» заменены на «Хранимая Богом родная земля»). И порой возникает ощущение, что видимые различия эпох на этом и заканчиваются.

2. Симфония собственников

Государство есть частная собственность бюрократии.

Карл Маркс

В начале 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин торжественно объявил о передаче РПЦ Московского Новодевичьего монастыря. Этот царский рождественский подарок не только дал мощный старт реституции церковной собственности, но и символически обозначил новый формат отношений государства и Церкви, бурное обсуждение которых не прекращалось все первое полугодие.

Не так давно государство гнало Церковь, сегодня оно вновь желает дружить. После великой смуты и лихолетий власть вновь желает видеть в ней добросердечного партнера (царь Алексий желает приветить «собиного друга» патриарха Никона) и потому отобранную когда-то собственность возвращает. Упрекнуть государство здесь кажется не в чем, кроме, разве что, некоторой избирательности его любви. Ведь гнало оно не только православных, но и

баптистов, и католиков, и многих других. Вероятно, дабы соблюсти приличия, должны будут последовать еще жесты в сторону ислама, что-то перепадет иудеям и буддистам (для всех остальных гораздо явственнее встает перспектива очередных гонений, нежели правообладаний). И в целом все мы прекрасно понимаем: государство возлюбило Церковь, а сердцу не прикажешь — любовь есть любовь.

Конечно, специфика новой симфонической дружбы раскрывается сегодня уже не в плане сакральной теократии, а скорее в концепции единого бизнес-проекта. Два компаньона готовы вести единое дело. Но поскольку второй явно проигрывает первому в уровне капитализации, то первый (сознавая к тому же свои исторические долги) желает его вокапитализировать. Этим он не только поднимет статус и престиж компаньона, но и обеспечит ему бóльшую самостоятельность. В конце концов, лишь имея собственность, Церковь имеет возможность творить милостыню. И здесь государство, кажется, упрекнуть не в чем.

Правда, один неоднозначный правовой момент может насторожить. Ведь исторически Русская церковь никогда не была независима от государства, а вся ее собственность была, по сути, частью госсобственности. Да и по своему особому статусу власть должна не столько предаваться идеалистическим порывам, сколько сохранять трезвость. Всякий прекрасный порыв она обязана взвешивать на весах права и этики и во всяком случае знать историю государства, которое ей досталось. Похожий вопрос в нашей истории уже возникал в эпоху споров иосифлян и нестяжателей. Аргументация первых была по сути той же: собственность даст Церкви бóльшую самостоятельность. Иосифляне тогда победили, а русская государственность двинулась... к эпохе Ивана Грозного и катастрофе опричнины. Почему? Камнем преткновения в очередных «благих намерениях», выстлавших известную дорогу, стал *человеческий фактор*. Увы, человек, кем бы он ни был и в какие бы времена ни жил, всегда более склонен к стяжательству, нежели к аскетизму (а всякий народ, в свою очередь, легко покупается лестью, обещаньями хлеба и раздачей чечевичной похлебки). Во времена средневековых споров стяжатели победили нестяжателей, здравый смысл победил христианскую этику. А через исторически ничтожное время импульс, данный этой победой, привел к завершению московского православия на «Стоглавом соборе» Грозного и увенчался удушением митрополита Филиппа.

«Православие — это так естественно, нравственно и традиционно», — думает, быть может, власть, остро нуждающаяся в идеологии. Но не все простое и очевидное верно: дьявол прячется в мелочах. Одно дело вера, другое — идеология. В исторически господствующей у нас византийской модели власти (полностью отчужденной от народа касты бюрократов) правители, желающие преодолеть отчужденность, часто бросаются в авантюры (либо симулируют связь с народом с помощью различных пи-ар прожектов). Так в свое время поступали большевики, покупая народ идеалистическими «декретами о мире». Так выходили «в народ» романтик Горбачев и идеалист

Ельцин. Так особист Путин предпочитал, через голову элит, обращаться к «простому народу». И так же сегодня «интеллигент» Медведев желает видеть РПЦ в роли связующего звена между властью и народом. Но годятся ли для этой роли нынешние князья церкви? Ведь многие из них — лишь наследники бессильных николаевских чиновников, прошедшие узким путем большевистской селекции и развращенные «траншами» 90-х. Зачастую отношения к народу эти люди имеют не больше, чем обычная светская бюрократия. И вот последний по времени пример синергии власти и Церкви в отношении народа: 24 мая, в День славянской письменности и культуры, дабы произвести впечатление на приехавшего в гости константинопольского патриарха Варфоломея (и по случаю тезоименитства патриарха Кирилла), на организованный «крестный ход» власти согнали до 40 тысяч (!) человек, по большей части служащих и студентов. Людей гнали по разнарядке (за отгулы и под страхом недопущения к сессии) — все, как в старые добрые советские времена. Москва же на несколько часов была ввергнута в транспортный ступор.

Итак, отрастить себе еще один (идеологический) орган государство, наверное, сможет, но проблему отсутствия этики в обществе оно этим не решит. А значит, не увидит и стабильности. Как власть у нас исторически плюет на закон и на общество, так общество (исторически) берет пример с власти. И единственной по-настоящему работающей идеологией во власти и обществе остается идеология коррупции (или, говоря нормальным русским языком, — воровства). Тех же чиновников (разве что еще более жадных, властолюбивых и циничных) мы нередко видим и в верхушке сегодняшней РПЦ. Отсюда нетрудно предсказать и результат нашей очередной исторической авантюры. Сравняться с «Газпромом» по уровню капитализации РПЦ, возможно, будет и по силам, но вряд ли символическая судьба наших отечественных «башен-близнецов» будет в итоге сильно отличаться от судьбы Нью-Йоркских.

3. Смена караула

Третьего февраля 2010 года редактор и учредитель газеты «Русь православная» Константин Душенов был признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды по ст. 282 ч. 2 УК РФ и осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Главным пунктом обвинения стало создание и распространение Душеновым в 2005 – 2007 годах фильма «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа».

Тому, кто смотрел фильм К. Душенова и кто помнит о популярной после Первой мировой войны немецкой теории «удара ножа в спину», согласно которой Германия потерпела поражение в результате внутреннего предательства, нет смысла доказывать близость этих явлений. Она очевидна.

Вплоть до полного стилистического, этического и идейного совпадения. Те же чувства, те же обиды, те же аргументы. Даже те же самые 20 лет, прошедшие с момента «геополитической катастрофы». Исходя из чего, нынешний суд над Душеновым можно было бы даже интерпретировать как «победу власти над фашизмом», призванную сигнализировать мировому сообществу о том, что у нас с этим делом все в порядке, все под контролем.

На самом деле, все, конечно, далеко не так однозначно. Фашизм никогда не возвращается в знакомых формах. Ему, как писал в свое время С. Аверинцев, *нетрудно найти словесную маску, чисто внешне не похожую ни на один из видов уже известного нам тоталитаризма.* В этом смысле Душенов — не более чем безнадежный, вымирающий мамонт, чья судьба исторически предрешена и чье сегодняшнее удаление в трехлетнюю ссылку — лишь символ красивого ухода со сцены самого этого времени. И это, во всяком случае, повод для того, чтобы сказать нескольких прощальных слов.

Роль Душенова в новейшей российской истории нельзя не признать выдающейся. На его книгах, подписанных именем митрополита Иоанна Снычева (1927 – 1995), таких как «Самодержавие Духа», «Русская симфония»[1], выросло целое поколение отъявленных русских патриотов, призывающих к прославлению старца Григория Распутина и царя-гуманиста Ивана Грозного. Среди них и бывший епископ Диомид, прошлогодний бунт которого так взволновал русскую церковь и озадачил общество. Эта история, как мы помним, завершилась анафемой Диомида всей верхушке РПЦ и низложением самого мятежного епископа из сана. Скорее всего, именно этот, самый успешный политический проект Константина Душенова и стал первопричиной сегодняшнего крутого поворота его судьбы.

А наиболее показательным в этой истории стало поведение священства. Каким бы маргиналом ни был Душенов, он остается членом Церкви, ее заблудшим сыном. Но ни один из священников РПЦ за время процесса не замолвил за Душенова и слово, а РПЦ в целом проигнорировала процесс, делая вид, что он ее совершенно не касается. Вызванный в суд председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей

---

[1] Для тех наших читателей, которые слышат о таком тандеме впервые, даем выдержку из «Википедии»: *Пресс-секретарем митрополита Иоанна называет себя Константин Душенов, бывший военный моряк и главный редактор газеты «Русь Православная», которая сама себя позиционирует как «антисемитская черносотенная газета русских националистов, православных экстремистов и маргиналов Христовых». Факт существования такой должности отрицается Санкт-Петербургской епархией. Существует устойчивое мнение, что фактическим автором книг и статей за подписью митрополита в 1990-х был К. Ю. Душенов, взгляды которого многие расценивают как ксенофобские и радикально националистические. Сам Душенов категорически утверждает авторство Владыки. Кроме того, личная переписка и публичные выступления Иоанна Снычева совпадают с печатными трудами митрополита как по содержанию, так и по духу.*

Александр Будников заявил что Душенов никогда не являлся пресс-секретарем владыки Иоанна Снычева, а батюшка церкви, в которую ходил Душенов, — что тот не является его прихожанином. Вот эта легкость отречения (при том, что ни жизни, ни здоровью сегодняшних клириков РПЦ ничто не угрожает, настоящие их убеждения, что не является секретом, по большей части соответствуют убеждениям Душенова) и обращает на себя внимание, прежде всего. Потому этот процесс и становится показательным, краеугольным, обозначающим символический поворот нашей новейшей духовности. Поворот от фашизма ветхозаветного, брутального, «с ножом в спине» к фашизму современному, постмодернистскому, фашизму «золотого тельца» (формы которого в нашу эпоху могут быть изменчивы, как Протей).

Стремительное слияние Церкви и государства при совершенном отсутствии видимых следов христианства во всех сферах и институтах нашего общества, а зачастую также в обоих церковных лагерях (в среде как фашиствующих православных патриотов, так и их антиподов из «еврейского миссионерского лобби») — самый красноречивый из признаков его явления.

Чего же ждать дальше? Разъедание веры и этики под гром патриотических и православных лозунгов должно еще вероятно дойти до какой-то степени разложения, прежде чем сегодняшние государственные скрепы окончательно сгниют и из мутных вод общественного хаоса выйдет зверь нового тоталитаризма. Лично мне представляется почему-то, что его физиономия будет сильно напоминать выражение сорокинского «Дня опричника».

4. «Критская уния» или «черные полковники»?

Если внутри страны мы наблюдаем все более прочную синергию олигархии и номенклатуры под омофором РПЦ (в роли новой КПСС), то во внешней политике наибольший интерес вызывают процессы сближения христианских церквей (прежде всего православной и католической). Разговоры о возможной встрече патриарха Кирилла с папой Бенедиктом звучат все громче, и ни у кого уже, кажется, нет сомнений, что эта встреча в достаточно близкой перспективе состоится. В начале этого года неоднозначную реакцию вызвала публикация рабочего документа православно-католической богословской комиссии, заседавшей в октябре прошлого года на Кипре, фиксирующего сближение позиций церквей по спорным богословским вопросам. В нашей церковной среде документ поспешили окрестить «Критской унией», а бурная реакция на него вызвала следующие размышления.

Единственное, что можно сказать, познакомившись с документом, легкомысленно прозванным журналистами «Критской унией», это то, что богословский диалог между католиками и православными, призванный разрешить противоречия, приведшие к катастрофическому расколу христианства

в начале XI века, развивается — и развивается плодотворно. И это, конечно, не может не радовать всякого нормального человека.

К чему привел Великий раскол христианства за последнее тысячелетие?

Великие восточные церкви древности окончательно захирели. Бывшие христианские пространства Востока — Малой Азии, Сирии и Египта — оказались практически полностью поглощены исламом. Красноречивым символом судьбы Восточного христианства остается собор Святой Софии в Стамбуле (сердце православного мира), обращенный в мечеть и музей. Нецерковному человеку порой кажется — и не без оснований, что таково состояние современного православия в целом: нечто полу-археологическое, полу-азиатское, среднее между исламом и иудейством. Запад сохранился лучше, но и ему отсутствие связей с живыми соками Восточной мистики не пошли на пользу. Секуляризация и разъединение европейского мира, его мировые войны и революции — все это также плата за Великий раскол.

Если мы продлим этот вектор немного в будущее, то увидим скорей всего окончательный закат христианского мира в желтых азиатских песках. И единственной альтернативой видится исцеление Великого раскола, за которым можно ожидать ренессанса христианской культуры на Западе и Востоке Европы. В процессах, идущих в этом направлении, работа православно-католической богословской комиссии занимает одно из ключевых мест. В отличие от романтических экуменических порывов ее работу отличает безукоризненная научная и догматическая строгость, скрупулезное исследование приведших к расколу противоречий. А поскольку понимания вздорности всей драмы, разыгравшейся тысячу лет назад в православном сознании, излеченном многовековыми унижениями от самодовольства, сегодня больше, чем когда-либо, то, соответственно, больше и шансов на примирение. Единственное, что может всерьез ему помешать, — это, увы, русская церковность.

В начале XX веке сращение РПЦ с репрессивным аппаратом империи привела Россию к духовному кризису и революции. Сегодняшняя наша церковная формула (фанатики против бизнесменов внутри, и новая смычка с властью — снаружи) вновь приближается к традиционной. Какую же роль нынешняя РПЦ сможет сыграть в примирении церквей?

Объективных доводов и исторических оснований, которые можно было бы противопоставить воле папы Бенедикта и патриарха Варфоломея к сближению, у сегодняшней РПЦ нет. Когда Рим с Константинополем рвали последние связи, Москвы еще не было в проекте, а русская (киевская) церковь выползала из пеленок под стол. То есть объединение церквей вполне могло бы произойти и без участия РПЦ. При этом участие в новом мировом картеле (пусть и на третьей после Рима и Константинополя роли) сулит РПЦ все-таки больше выгод, чем мировая изоляция в случае дальнейших демаршей и попыток срыва переговоров. У патриарха Кирилла есть выбор: войти в историю в качестве объединителя церквей или войти в нее раскольником.

Однако при том градусе внутреннего напряжения в Русской церкви и той неоднозначной репутации, которой пользуется нынешний патриарх в

церковном народе, союз с Римом становится для РПЦ прямой угрозой раскола. Вряд ли патриарху Кириллу стоит ждать серьезных демаршей со стороны духовенства, не приученного, в общем, противиться воле начальства; однако какого-нибудь нового епископа Диомида, а то и двух-трех получить на свою голову вполне реально. Добавим сюда растущее раздражение деятельностью РПЦ в обществе, и можно не сомневаться, что в желающих раздуть пожар конфликта недостатка не окажется.

При сегодняшней сращенности церковной и властной бюрократий и уровне коррупции в обеих раскол политических элит (которому может поспособствовать и внутрицерковный раскол) вполне предсказуем.

Знакомство с нашей историей, а также с историей всех предыдущих попыток примирения церквей, особого оптимизма не внушает. Единственно, что вполне очевидно, — это отсутствие следов христианства в нашей политической, да нередко и церковной реальности. А значит, и такой награды, как примирение церквей, ждать нам просто не за что.

5. О кормчих мира сего

Говорят, учитель и наставник нынешнего патриарха митрополит Никодим Ротов наказывал своему лучшему ученику ничего не менять в первый год после прихода к власти. Вероятно, поэтому первый год нынешнего патриаршества оказался столь скуден на события, что анализировавшим его публицистам оставалось лишь вспоминать ожидания, которых было столь много в момент прихода к власти «эффективного менеджера», «талантливого политика» и великого честолюбца. Но уже первая декада второго года показала правоту тех, кто предупреждал: что-то обязательно начнется...

Все силовые линии, которые были лишь намечены на памятном Поместном соборе, в первые месяцы второго года нового патриаршества вдруг резко проявились. Перечислим лишь главные векторы событий:

— бурное развитие проекта по «воцерковлению школы» (которое в нынешнем виде являет скорее картину раскола школьного образования по мировоззренческому и расовому признаку);

— мощно стартовавший в начале года проект реституции, полномасштабное воплощение которого дает РПЦ все шансы стать первой «после Бога и Газпрома»;

— зачистка информационного пространства, продолжавшаяся весь прошлый год и вылившаяся в начале этого в серьезные финансовые проблемы у ведущих оппозиционных СМИ (Портал «Кредо», «Русская линия»);

— кампания против внутрицерковной оппозиции и альтернативных православных нарастала весь прошлый год. В этом году она уже разрешилась

посадкой «маргинала Христова» и «главного жидоеда страны» Константина Душенова.

Обращает на себя внимание не только широта наступления, но и невиданное доселе использование «административного ресурса» (как, например, в продолжающейся жесткой травле доктора наук, церковного историка епископа Григория Лурье с привлечением всей конницы-рати ГУВД и официальных СМИ[2]).

В нашем богоспасаемом отечестве все, как известно, решают не законы и конституции, а личные отношения. Мягкая просьба за чашкой чая усмирить зарвавшегося «врага Церкви и государства» или портал, «пятнающий чистоту церковных риз», — радушная улыбка в ответ, быстрый знак исполнителям у двери, — и вот уже просьба без лишнего шума высочайше удовлетворена. Вероятно, тот духовный вакуум, в котором оказалась власть ввиду очевидной исчерпанности «плана Путина», привел к тому, что влияние патриарха на Президента и его окружение (судя по последним событиям) выросло безмерно. В состоянии нарастающего кризиса и психологической «ломки» новый «план» патриарха-политика является вдруг как спасительный «последний шанс». Добавим сюда политический талант, харизму и обаяние духовности, неотразимо действующие на неофитов. И, в общем, результат не удивит.

Растущее на глазах влияние патриарха Кирилла уже сегодня можно сравнить с властью семибанкирщины и Б. Березовского в 90-е. А вспомнив влияние «старца» Григория Распутина на царственную чету перед началом Русской революции и недолгую власть патриарха Никона над «тишайшим» царем Алексием перед катастрофическим церковным Расколом, мы получим, пожалуй, исчерпывающие исторические аналогии.

Еще более любопытно, что обаянию новой политической звезды оказалась подвержена и наша интеллигенция. То Л. Радзиховский разразится восторженными спичами в защиту клерикализма, то Дм. Быков посвятит патриарху игривые, но весьма характерные вирши:

---

[2] Для тех, кто не в курсе, предлагаем красноречивую выдержку из ЖЖ-заметки «Какой еще такой-сякой "отец Григорий"?»: *Вот мне интересно. Зачем самозванца Лурье называть «отцом Григорием, бывшим священником (епископом)» и т. п.? Журналисты, через одного, пишут, что «Григорий Лурье - священник лишенный сана в 2005 году». Господа и дамы, Вадим (в крещении Василий) Миронович Лурье никогда не был православным священнослужителем. Просто не был. И то, что Лурье в 1999 году вручило партбилет «остригло и рукуприложило» самозванное раскольничье сборище, именуемое «Российская православная автономная церковь» (т. н. «РПАЦ»), еще никак не делает из него «монаха и священнослужителя». Именуя этого проходимца «священником», а тем паче «епископом», пусть даже «бывшим», не оговаривая его самозванство и без кавычек, вы невольно уравниваете его с законными, настоящими православными священниками и епископами. И тем самым способствуете появлению новых «отцов лурье».*

Я думаю, что лучше б стало всем,
Когда бы в облачениях собольих
Дополнил он до троицы тандем,
А там, глядишь, и заменил обоих...
Политик он, о да — и пусть себе!
Каким ему и быть при новом строе?
И если выбирать меж КГБ
И РПЦ, — я выберу второе.
И говорит, и мыслит лучше он,
Я слушать бы его готов по часу,
И главное — он все же подчинен
Достаточно надежному начальству.
Он заповеди помнит назубок,
Их зримо воплощать — его работа.
За ним стоит не кто-нибудь, а Бог.
А кто там за Медведевым? Ну то-то...

Стишки и весьма показательные (отражающие умонастроение немалой части интеллигенции), и чересчур легкомысленные. В конце концов, не в том беда, что патриарх — политик, а в том, что иной раз складывается впечатление, что политика эта не так уж прочно утверждена на камне этики. Будь иначе, и патриарх Кирилл действительно мог бы стать примером для власти, а честность и открытость, поставленные во главу угла, — вытянуть страну из хаоса, в который ввергли ее столетия лжи и морального релятивизма. Пока же традиционно наша власть, разлагаясь, лишь бронзовеет в панцире новой сакральности, благословляемая рукой, окольцованной часами за 40 тысяч евро...

«РПЦ — это все-таки лучше, чем КГБ», — рассуждают либералы — и ошибаются. Ведь это самое КГБ и вырастило Голема государственной церковности, привычного жонглировать любыми святынями и переступать через всевозможные этические пороги. При том, что коррупции религиозный Синедрион, насчитывающий две (если не все пять) тысяч лет, в общем-то тоже не чужд, а уж с его главным политическим преступлением — распятием Бога — не сравниться пресловутому *ка-джи-би*.

Правда, попытка РПЦ вступиться за украинские химические концерны и порулить газовыми потоками в Украину заставила призадуматься даже либералов. Почему, дескать, печаловаться об одиноких матерях, детях-сиротах и социально незащищенных слоях населения патриарху Кириллу вроде бы и в голову не приходит, а на просьбу украинских химических комбинатов походатайствовать перед Газпромом он откликается с воодушевлением первого призыва благодати? Да, вероятно, потому же, почему в числе главных пороков, послуживших первопричиной землетрясения на Гаити в январе этого года, почетное первое место заняла, — по мнению патриарха Кирилла, — бедность (причиной бедствия, по словам патриарха, стала *потеря нравственного облика жителями страны, живущими в нищете, коррупции и*

преступности). Что все это значит? То ли «проговорки по Фрейду», то ли первые далекие раскаты, рефлексивные сокращения главного мускула, намечающего будущий поворот затейливо текущих северных рек в прямые неритично-партийные русла?

6. Духовная безопасность на страже национальной безопасности

Чем дальше мы погружаемся в постмодернистскую реальность нового авторитаризма, тем все более излишним становится труд автора. Нет необходимости что-либо писать и объяснять там, где сама реальность становится столь говорящей. Так, например, юзер dododo провел небольшое, но блестящее интернет-исследование, набрав в поисковике слова «РПЦ вступилась» и «РПЦ защитила». На первый запрос поисковик дал два результата: «*РПЦ вступилась за украинских химиков*» и «*РПЦ вступилась за женщин в брюках*». На второй dododo получил целых четыре ссылки, не менее выразительных: «*РПЦ защитила всех. Религиозным организациям вернули налоговые льготы*» (НГ-религии, 2002), «*РПЦ защитила взорванный памятник Ленину*», «*РПЦ призвала Венесуэлу вместе защищать многополярность мира*» и «*РПЦ защитила гимн от коммунистов и либералов*». Добавить здесь нечего. Замечательно, однако, когда подобное излишество комментариев утверждают обычные бюрократические документы.

«Программа духовной безопасности» — документ с таким названием разработан губернатором Белгородской области. План мероприятий по обеспечению духовной безопасности на 2010 год включает в себя среди прочего следующие пункты: *Разработать и организовать подписание меморандума между правительством Белгородской области. Белгородской и Старооскольской епархией и средствами массовой информации о сотрудничестве в области обеспечения духовной безопасности в информационном пространстве.* <...> *Разработать и внедрить для постоянного преподавания образовательный курс «Духовная безопасность» в высшие и средние образовательные учреждения области...*

На инициативу губернатора Белгородская епархия откликнулась документом «Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской области на 2010 год (во исполнение поручения Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко)». Среди таковых нас привлекло следующее: *Провести научно-практическую конференцию по проблеме духовной безопасности в системе национальной безопасности современной России.* Кроме того, в планах епархии — недопущение празднования в образовательных, культурных и других учреждениях области Дня святого Валентина и Хеллоуина как *праздников, противоречащих традиционной русской культуре.* А также составление списка всех издаваемых в области пособий и книг культуроло-

гического, философского, теологического и религиоведческого содержания для последующего изучения Экспертным советом религиоведческой экспертизы Минюста.

Одним из первых шагов по обеспечению духовной безопасности на территории области стала инициатива Белгородской мэрии — в целях *пресечения сатанинской деятельности... не допускать выделения площадок* для проведения концертов *тяжелой рок-музыки в стиле heavy metal.* С такой просьбой мэрия обратилась к владельцам местных клубов. *У нас в распоряжении есть публикации профессора Кондратьева из института имени Сербского, который утверждает, что heavy metal воздействуют на людей идеологически деструктивно,* — объяснили инициативу мэрии в отделе по взаимодействию с религиозными организациями. Прокомментировали ситуацию и владельцы клубов. *В ближайшее время мы собираемся провести несколько рок-концертов и фестиваль. И если хоть один чиновник сунется — сразу в зубы,* — так (по сообщению газеты «КоммерсантЪ») отозвался на духовную инициативу власти владелец одного из них. Таков краткий, емкий и выразительный абрис отношений власти, Церкви и простых смертных Российской Федерации первой половины 2010 года.

Обзор подготовил Владимир Можегов

II. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

1. Собственность в обмен на покаяние

Работа над федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» вступила в завершающую фазу. Главное содержание законопроекта связано с недвижимым имуществом, но касается и других вещей. Культурное сообщество высказывает серьезные опасения за судьбу старинных храмов, икон и фресок, которые могут оказаться в собственности Русской Православной церкви или будут переданы ей в безвозмездное пользование.

Юлия Изюмова в статье **«Икона раздора»** сообщает о том, что 19 февраля сотрудники ведущих российских музеев обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. Они призвали президента не передавать Церкви религиозные памятники из музейных фондов, так как это *выведет их из контекста культурной жизни общества и может привести к их гибели.* Письмо подписали 150 человек. Вскоре последовало еще несколько коллективных обращений к Президенту и патриарху (газета «Взгляд», 5 марта).

Заинтересованные стороны организовали несколько «круглых столов», на которых выступили эксперты-искусствоведы и представители РПЦ. Об одном из таких мероприятий, прошедших 9 марта в Паломническом центре Московского патриархата, рассказало 10 марта информационное агентство «Благовест-инфо» (заметка **Юлии Зайцевой «Музейщики начали разговор с Церковью»)**. Тема ответственности за состояние экспонатов, переданных религиозным организациям, стала ключевой в выступлениях музейных работников. В частности, заместитель генерального директора музеев Московского Кремля, профессор Андрей Баталов говорил об отсутствии синодальной системы охраны и контроля за состоянием памятников. Известно даже, привел он пример, что правящий архиерей одной из епархий запрещал священнослужителям заключать договор о передаче церковных зданий, включающий охранные обязательства. Баталов убежден, что законопроект должен быть составлен таким образом, чтобы *судьба святыни не зависела от конкретного настоятеля*, но был подробно прописан механизм ответственности за памятники культуры.

Руководитель юридической службы Московского патриархата инокиня Ксения (Чернега) хотела, видимо, успокоить музейщиков. *Никаких серьезных правовых изменений не будет, не стоит так волноваться*, — сказала она, отметив, что передача памятников в безвозмездное пользование (не в собственность) является уже обычной практикой, которая *укладывается в существующие правовые акты.*

Еще один форум состоялся 17 мая в Общественной палате. *Многие из музейных работников, которые пришли на круглый стол, — от Елены Гагариной, директора Музеев Кремля, до реставратора Галины Клоковой из Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Левона Нерсесяна, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи, известного защитника «Троицы» Рублева,— говорили, что готовы хоть сейчас освободить храмовые постройки, в которых сидят их учреждения. Единственное, чего они требовали, так это приличного помещения взамен старого и образованных священников,* — пишет **Мария Семендяева** в статье **«Наперсники возврата»** («КоммерсантЪ», 19 мая).

Есть у нового законопроекта и принципиальные противники, склонные видеть в нем прямую угрозу культурным ценностям, — продолжает журналистка. — *В частности, Геннадий Попов, директор музея Андрея Рублева, считает, что все происходящее наводит на мысль об антикварном лобби. «Икону в киоте заменить можно на что угодно»,— сказал он после слушания и добавил, что «воровство в храмах даже не сравнить с воровством в музеях, хотя об этом на слушании не было сказано ни слова».*

В связи с развернувшейся дискуссией о формате охраны памятников **Григорий Ревзин** в статье **«Политическая икономия»** («КоммерсантЪ-Власть», 22 марта) пишет: «крайними» опять могут оказаться музейные работники. Случись что с памятниками, именно им поставят в вину, что недоглядели, не сообщили куда следует. Как это произошло в нашумевшей истории с иконой Боголюбской Богоматери, сильно пострадавшей во время пребывания в Княгинином монастыре. Оказалось, что две кассеты, которые должны были поддерживать микроклимат в камере, просто не работали, а одна даже куда-то исчезла. В итоге икона, закрытая от внешнего мира простым стеклом, оказалась безнадежно практически уничтожена плесенью. Руководитель пресс-службы Московской патриархии о. Владимир Вигилянский в ответ на вопросы журналистов заявил: *А что делали музейщики? В данном случае, если это совместное пользование, то следите достойно. Не работает аппарат? Но не музейный ли это аппарат?*

Заместитель министра экономического развития **Игорь Манылов** в интервью газете «КоммерсантЪ» **(«Не "культурные ценности", а "движимое имущество"** — 13 мая) высказался без обиняков: *Охрана с этих объектов не будет снята. Государство примет все меры к тому, чтобы иконы остались в сохранности. Возможно, потребуется корректировка в развитии охранного законодательства, эта работа уже идет.* Иными словами, охранять ценности музейным работникам придется вне стен государственного музея, так сказать, в полевых условиях.

Доктор искусствоведения **Алексей Лебедев** в статье **«Крестный доход»** («Новая газета», 14 апреля) подробно останавливается на причинах, по которым Церковь добивается передела музейной собственности: *Оказалось, что восстанавливать полуразрушенные храмы — дело дорогостоящее и хло-*

потное, гораздо выгоднее брать отреставрированное: началось выселение музеев, размещавшихся в церковных зданиях и бывших монастырях... РПЦ не особо интересуется полуразрушенными сельскими храмами. Их низкая инвестиционная привлекательность по сравнению с городской землей и недвижимостью совершенно очевидна. Зачем их восстанавливать? Куда интереснее разобраться с тем, где в этой стране самая дорогая земля и недвижимость... Именно поэтому, по мнению автора, Церковь стремится захватить кремли в старинных русских городах, «прихватизировать» гражданские постройки.

Законопроект сыграл антимиссионерскую роль и вынудил Церковь искать ответы на «музейный вызов». Одним из таких ответов стало создание в начале марта Патриаршего совета по культуре.

Создание Патриаршего совета по культуре вроде бы должно придать новый импульс диалогу Церкви и общества. Однако назначение на ключевую должность ответственного секретаря совета «духовника Путина», скандально известного архимандрита Сретенского монастыря Тихона (Шевкунова), может зачеркнуть саму идею диалога, — пишет в заметке **«Клин между культурой и Церковью» Борис Колымагин** («Ежедневный журнал», 15 марта). И поясняет: *Беда архимандрита Тихона и других находящихся в его орбите деятелей, что они принесли в церковную ограду дух идеологических разборок. Вспомним фильм отца Тихона «Гибель империи. Византийский урок», где он дает свою интерпретацию истории, которая, мягко говоря, весьма отличается от хрестоматийной. Но отцу Тихону не так важно следовать исторической правде, как политической конъюнктуре момента. Погубил Запад Византию — вот и Россию погубит, предупреждает своим фильмом режиссер. Такие «культурные задачи» новоназначенный ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, судя по всему, считает приоритетными.*

Интернет-издание **«Лента.Ру»** 24 мая сообщило, что Российское государство не будет передавать РПЦ МП в собственность музейные предметы и коллекции, входящие в состав Музейного фонда РФ, а также документы из Архивного фонда РФ и Национального библиотечного фонда. Соответствующий запрет вошел в заключительный вариант законопроекта о передаче РПЦ МП имущества религиозного назначения, национализированного после 1917 года. При этом в предыдущей версии законопроекта присутствовал список объектов (например, памятников ЮНЕСКО), которые запрещено передавать РПЦ МП, а из последнего варианта он изъят.

Издание напоминает, что в марте 2010 года московский Новодевичий монастырь передали РПЦ МП не в собственность, а *«в безвозмездное бессрочное пользование»*, так как он внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Роман Лункин и **Сергей Филатов** в своем майском обзоре **«Железная поступь реституции. Кому она выгодна?»** («Русское ревью Кестонского института») отмечают стратегические недостатки взятого церковью курса: *РПЦ уже превратилась в заложника недвижимости, которая находится в ее пользовании. Для едва ли не большинства насельников монастырей в современной России*

основным занятием стали строительство и ремонт, а также добывание денег на строительство и ремонт. Для этого существуют монастыри? Церковь превращается в вечного попрошайку бюджетных денег, потому что без помощи государства все это имущество невозможно содержать в порядке. Но это только начало, пиррова победа патриарха Кирилла и его команды в борьбе за глобальную реституцию увеличит зависимость многократно.

2. К вопросу о преподавании «Основ православной культуры» в школе

Первого апреля в школах начали преподавать новый курс «Основы религиозных культур и светской этики». Напомним, эксперимент, в котором участвуют 19 регионов, рассчитан на три года. Ученикам предлагается на выбор шесть модулей: Основы православной культуры, Основы исламской культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур и Основы светской этики.

Ирина Ивойлова и **Сергей Куксин** в статье **«На веру не приняли»** («Российская газета», 31 марта) приводят следующие статистические данные: *181 тысяча родителей выбрали общие курсы Основ светской этики и Основ мировых религиозных культур. За отдельные программы православия, ислама, буддизма и иудаизма — соответственно 83, 37, 14 и 12 тысяч семей, где есть школьники.*

Михаил Мошкин в статье **«Бога подвергли цензуре»** («Время новостей», 26 марта) пишет, что *в патриархии удивлены заявлениями Минобрнауки о том, что в некоторых регионах будут преподаваться только «Основы светской этики». В частности, ни одного учебного пособия по «Основам православной культуры» (ОПК) не поступит в школы Курганской, Пензенской областей и Красноярского края.*

Патриарх Московский и всея Руси ***Кирилл*** *в ходе визита в Уральский федеральный округ*, как сообщает 22 апреля **«Интерфакс-религия»**, *был удивлен, узнав, что в Пензенской области 100% школьников выбрали светскую этику. Он подозревает, что на родителей учеников оказывают давление, возможно, местные власти. Если брать Пензу, то там служит 200 священников. Неужели они тоже выбрали для своих детей светскую этику, выражает сомнение патриарх.*

Александр Солдатов в статье **«Война двух колоколен»** («Новая газета», 7 апреля) отмечает: *Главная заслуга в том, что в большинстве регионов победили светская этика и история мировых религий, принадлежит местным органам образования. А при нынешней конструкции властной «вертикали» трудно предположить, что чиновники от образования заняли такую позицию вопреки мнению своих губернаторов. К тому же региональные министерства и управления образования входят в структуру органов власти субъектов Федерации. Таким способом местные чиновники явно продемонстрировали свое неподчине-*

ние РПЦ МП, епархиальные архиереи которой, чтобы избежать неприятных разговоров с патриархом, всячески давили на этих чиновников, добиваясь гегемонии ОПК. Например, архиепископ Ставропольский Феофан провел более сотни встреч с губернатором и краевыми министрами, а архиепископ Екатеринбургский Викентий даже подписал «обязывающий» договор с областным министерством образования. В любом случае статистика — вещь упрямая, и она показала, как далеки от реальности разговоры о «симфонии властей» и «духовном возрождении» России в ограде РПЦ МП, которыми увлекается официальная пропаганда.

Многие опасались, что новый предмет запустит процесс клерикализации государственной системы образования, утверждает **Михаил Вьюгин** (**«Не только технические проблемы»** — «НГ-Религии», 21 апреля). Пока об этом говорить не приходится. Но политики не отказываются от контроля за ходом эксперимента. Так, в Екатеринбурге *депутаты регионального Заксо, входящие в состав парламентского Совета по этике, на специальном заседании приняли обращение к ректорам местных вузов. Они предложили привлечь студентов-социологов к изучению общественного мнения о целесообразности и эффективности преподавания нового учебного курса в 4–5-х классах общеобразовательных учреждений. Исследование должно показать, насколько результаты эксперимента в Свердловской области будут соответствовать первоначальным замыслам.*

Марина Романова из Свердловской области пишет в статье **«Добродетели и пороки»** («Учительская газета», 12 мая): *Уже никто не паникует, что в школе, светском заведении, преподается Закон Божий — это попросту не соответствует действительности. Не дискутируется вопрос об уместности дисциплины в учебном расписании. Большинство родителей, которые ознакомились с программами, оценивают курс позитивно. Мне даже довелось услышать: «Как жаль, что другие мои дети уже выросли, им знания по этике и истории религий тоже не помешали бы». Но само разделение курса на модули вызывает много несогласий.*

Об особенностях эксперимента в Чечне рассказывает **Олеся Герасименко**, автор статьи **«Пушкин хотел сам взять исламскую веру, но не смог»** («Газета. Ру», 5 мая): Культуру православия здесь изучают всего 72 четвероклассника из 20 с половиной тысяч. 99,64% выбрали ислам. *Раньше ислам в Чечне никогда не преподавался. Коран читали только в школах при мечетях — медресе. Зато с 5-го по 11-й класс в государственных школах изучают «Вайнахскую этику» — единственный предмет на чеченском языке, без перевода на русский. На уроках этики рассказывают, как вести себя с родителями, отдавать долги и встречать национальные праздники — о мусульманском быте, но не о самой религии. Когда появился ОРКСЭ,.. родители в Грозном проголосовали единогласно: даже дети из русских семей отправились изучать исламскую культуру. <...>Двадцать с половиной тысяч четвероклассников Чечни пришли 1 апреля на уроки культуры ислама.*

3. Визит Вселенского патриарха в Россию

С 22 по 31 мая в России находился с официальным визитом Константинопольский патриарх Варфоломей, первенствующий по чести епископ мирового православия. Отношения Московского и Константинопольского патриархатов долгое время были натянутыми. Лед растопила прошлогодняя поездка патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Стамбул. Ответный визит был призван закрепить дружбу.

В интервью «Infox.Ru» (**«Патриархи закрепляют православный мир»**, 21 мая) религиовед **Алексей Муравьев** отметил три конфликтные области во взаимоотношениях церквей: Украина, Эстония и вопрос о том, кто «главный» в православном мире. *Визит обозначает, что стороны договорились, нашли какую-то формулу решения тех трех вопросов, о которых я говорил. Полагаю, это означает, что, по крайней мере, на Украине Константинополь отказывается от какой-либо самостоятельной политики*, — заявил эксперт.

Продолжила тему **«Газета.Ру»** (21 мая): *В ходе нынешнего визита Варфоломей проведет ряд встреч в Москве, Троице-Сергиевой лавре, Спасо-Преображенском Валаамском монастыре и Санкт-Петербурге. Официальная часть визита завершится 30 мая торжественным приемом в Екатерининском дворце в Царском селе, а на следующий день делегация КП вернется в Стамбул. В Московской патриархии рассчитывают, что нынешний визит Варфоломея продолжит укрепление «братских отношений двух церквей», серьезно испортившихся за последние десять лет, и «послужит делу единения православия». Предстоятель Русской Православной церкви и глава КП уже встречались в июле 2009 года, когда Кирилл находился с официальным визитом в Турции. Российская делегация вернулась из Стамбула довольной, заявив, что в отношениях КП и МП «открыта новая страница», но оговорилась, что решить предстоит еще очень много серьезных проблем и взаимных претензий. Все, чего удалось добиться Кириллу во время того визита, это договоренность с президентом Турции Реджепом Эрдоганом об усилении миссионерской деятельности РПЦ на территории страны, которая поможет развить паломнический туризм, и возобновление работы храма святых Константина и Елены на территории летней резиденции генерального консульства РФ в Стамбуле.*

По сообщению **«Интерфакса»** (24 мая), оба патриарха приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности. Издание отмечает, что в этом году традиционный крестный ход в день святых Кирилла и Мефодия впервые изменил маршрут: он был соединен с молодежным шествием по одной из столичных набережных. Подавляющее большинство участников шествия составили студенты московских вузов, участники православных молодежных организаций. *Правда, далеко не все оказались готовы к масштабности празднования Дня славянской письменности и культуры. Как обычно от проведения массовых мероприятий пострадали автомобилисты*, — замечает издание.

В ходе визита **патриарх Варфоломей** дал интервью влиятельному изданию **«Русский Newsweek»** (28 мая). На вопрос корреспондента: «*Каковы главные*

трудности в отношениях между Московским и Вселенским патриархатами, и как, по-вашему, можно наладить этот диалог?» — он ответил: *Опасно выделять конкретные точки напряжения между двумя православными церквами в отрыве от других православных церквей. Ибо проблемы одной церкви неизбежно отражаются на остальных. Тем не менее, говоря формально — и даже прибегая к богословским категориям — можно сказать, что многие из проблем, возникающих между церквами, связаны с вопросом «автокефалии», а именно, вопросом о том, кто и что определяет независимость (если пользоваться современным светским термином) отдельной церкви. Нет сомнений, что православные церкви пользуются в этом смысле ощутимыми правами автономии, представляя собой федерацию местных церквей, складывавшуюся на протяжении многих столетий. Очень часто проблема носит светский характер, а не духовный или богословский. Как мы заметили на Совещании предстоятелей православных церквей в 2008 году, если православные церкви действуют по отдельности, не согласуясь с остальными братскими церквами, автокефалия превращается в «автокефализм» или радикальную независимость и начинает служить скорее разделениям, нежели единству. Нужно признать, что административные разделения, характеризовавшие в особенности жизнь так называемой православной диаспоры, часто определялись националистическими интересами. Дело в том, что все православные церкви должны ставить во главу угла не столько свою национальную идентичность, сколько насущное церковное единство. Мы убеждены, что нужно вместе двигаться в этом направлении, и когда это случится, Православная церковь сможет участвовать в богословском диалоге и в обсуждении насущных проблем современности как единое целое.*

4. Конференция «Традиции святоотеческой катехизации: пути возрождения»

«Традиция святоотеческой катехизации: пути возрождения» — под таким названием в стенах Свято-Филаретовского института прошла международная научно-практическая конференция, четвертая в ряду академических конференций СФИ, рассчитанных прежде всего на специалистов.

Тема подготовки взрослых людей к крещению или к началу сознательной церковной жизни сегодня входит в число самых актуальных и обсуждаемых в Русской православной церкви, — пишет, комментируя ход конференции, сайт **Newsru.com** (25 мая). — *Однако опыт этой деятельности практически полностью утрачен, и возрождать его на общецерковном уровне приходится «с нуля».* Издание отмечает, что СФИ собрал для участия в обсуждении в основном практиков, не первый год занимающихся миссией и катехизацией, и *именно это обстоятельство придало разговору глубину и конструктивность, позволило его участникам поделиться не умозрительными построениями и схемами, а пережитым и выстраданным опытом.*

Информационное агентство **Благовест-инфо** (18 мая) обратило внимание читателей на представительность конференции, свидетельствующую об общецерковном значении и самой темы, и ее обсуждения: *Помимо мирян, в конференции принимают участие около 20 священнослужителей из разных епархий Русской Православной церкви (РПЦ), а также представители Православной церкви Румынии и Америки. Заинтересованное участие в форуме принимают декан Миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Николай Соколов и заведующий сектором катехизации Синодального отдела религиозного образования и катехизации священник Игорь Киреев.*

На общинную сторону вхождения в церковь обратил внимание **Борис Колымагин** (портал «Кредо», 19 мая). Развивая тезис одного из докладчиков: катехизация — это испытание самой церковной общины, ведь она должна деятельно участвовать в оглашении, в жизни катехуменов, — автор «Кредо» пишет: *Если оглашение прошло неудачно — это свидетельство неблагополучия общины.*

Проблемы, беспокоившие участников обсуждения, подробно перечислила **Юлия Зайцева** (портал «Религия и СМИ»,18 мая): *Многочисленные вопросы: об институте восприемников, о крещальной литургии, об участии мирян в катехизации, о критериях эффективности катехизации — показывали, насколько актуальна выбранная для конференции тема. Как признал о. Евгений Горячев, а вслед за ним и другие священники, процент остающихся в Церкви после катехизации очень невелик. «Результат ничтожен, но сеять все равно надо», — к такому выводу пришли они, говоря о личной ответственности священнослужителя перед Богом.*

Газета «Кифа» (№ 7 (113), май) опубликовала интервью со многими из участников конференции. Ответы священнослужителей на вопрос «**Какими могут быть плоды конференции?**» говорят о том, что в название этого форума не случайно были вынесены слова «научно-практическая»: *Для меня лично результатом этих трех дней явилось большое осмысление всей этой проблемы — катехизации,* — признается **прот. Андрей Юревич** из Лесосибирска. — *И я возвращаюсь к себе домой заряженный на перевороты, на труды такие. Я буду всё менять — многое, по крайней мере, буду менять в связи с тем, что я здесь услышал, осмыслил, увидел.*

Мы надеемся, что наш вклад будет, может быть, небольшой, но важной лептой в ту огромную работу, которую сейчас намерена делать вся Церковь для нормализации этой стороны церковной жизни, — говорит ректор Свято-Филаретовского института **проф.-свящ. Георгий Кочетков**. — *Надеюсь, что на конференции мы не просто разговаривали, что мы не просто приятно провели время, мы не просто передали какие-то знания, мы не просто говорили о чем-то своем, наболевшем, или о себе, любимых. Нет, этого не было. Мы именно потрудились во славу Божию, то есть сделали то, что делают сейчас все, желающие возрождения катехизации в Православной церкви.*

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

Ольга СЕДАКОВА

В ЗАЩИТУ РАЗУМА

Вводные замечания[1]

Я хотела бы сегодня предложить тему, которая занимает меня уже многие годы: это тема человеческого разума, знания и рациональности, — то есть всего того, что связано с представлением о *человеке разумном*, homo sapiens sapiens. Этой теме посвящена моя книга, которая только что вышла по-итальянски, в прекрасном переводе Джованны Парравичини[2].

Я затрудняюсь определить, к какому жанру, к какому роду письма (как теперь говорят) можно отнести три вещи, три части, которые составляют эту книгу. Это не эссеистика, не филология, это ни в коем случае не культурология, не философия в строгом смысле и даже не герменевтика. Моя задача не в том, чтобы предложить какие-то «прочтения» или интерпретации тех авторов, о которых в книге заходит речь: Пастернака и Гете, Данте и Пруста, Льва Толстого и С. Аверинцева, — но чтобы с их помощью, *вместе* с ними думать о том, о чем думают они. О чем в их лице *думает человек*, поскольку в *их* лице он думает точнее, чем обычно. Скорее всего, сочинения такого рода отнесли бы к области Geisteswissenschaft, то есть к науке о творческом духе (или: гении) человека[3], а в наши дни — к антропологии. Но мой интерес далеко не «тео-

---

[1] Лекция, прочитанная в Миланском Католическом университете. Октябрь 2009.

[2] *Sedakova O.* Apologia della ragione. Trad. Giovanna Parravicini. Intr. Adriano dell'Asta. Casa di Matriona, 2009.

[3] Немецкое Geist (буквально: дух) имеет здесь очень характерное значение, для которого трудно подобрать эквивалент на других языках. Характер этой особой

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила Филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Поэт, прозаик, переводчик, автор многих книг, в том числе собрания сочинений в 2-х т. и тома избранного «Путешествие волхвов». Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник МГУ, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета. Лауреат литературных премий Андрея Белого, Александра Солженицына, Альфреда Тёпфера, Европейской премии за поэзию, Ватиканской имени Владимира Соловьева и др., кавалер Ордена искусств и словесности Французской республики. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

ретический» и не «исторический». Я бы сказала, что он политический (в исходном, аристотелевском смысле) — и мистический (тоже в неиспорченном смысле этого слова, то есть он касается человеческого отношения с тайной).

Начнем с самых наивных вопросов.

Что предполагает этот удвоенный эпитет «разумный разумный», sapiens sapiens? Кто этот «человек разумный разумный», homo sapiens sapiens? Существо, способное изобретать новые и новые технические средства для «овладения миром»? То есть захватывать, использовать, потреблять все, что его окружает, — и все, что в нем самом содержится? Или же это не совсем такое существо? Можно ли считать разумным то, что человек и созданная им цивилизация умеют и хотят только использовать и потреблять мир и его составляющие, не задаваясь вопросом о том, хватит ли этих запасов навсегда или даже надолго?[4] Или было бы более разумно иметь что-то другое, кроме ресурсов и инструментов? Что-то такое, что можно любить, что можно беречь, чем можно восхищаться, что можно почитать, у чего можно учиться, чему можно, наконец, служить? Я не говорю: было бы прекраснее, было бы этичнее, — нет: было бы разумнее, было бы осмотрительнее.

И еще наивный вопрос: в чем разница между «интеллектуалом» и «мудрецом»?

Я думаю, что эта тема, вопрос о разуме, касается многих болезненных точек нашей актуальной ситуации: ситуации культурной, творческой и даже общественной и экономической. Потому что и в этих областях наша цивилизация явно ведет себя не мудро и не осмотрительно (экологический кризис говорит об этом с полной очевидностью).

Итак, разум составляет главную тему моей книги, которая потому и называется «Апология разума». Читатель услышит здесь эхо классических названий, таких как «Апология Сократа» и множество других «Апологий». Греческие и римские авторы и их ренессансные ученики любили называть свои книги таким образом.

Но моя «Апология» — не трактат, который последовательно развивает заявленную тему: 1) что такое разум; 2) история понятия «разум» и т. п., и т. п.

общегуманитарной «науки» можно представить себе, если вспомнить имена, которые обычно с ней связывают: В. Дилтей, Гегель, Хайдеггер, Вебер, Гадамер, Юнг. В России к Geisteswissenschaft можно отнести труды Выготского, Бахтина, Аверинцева, Лотмана.

[4] О другом представлении экономики, которая не начинается с производства и не кончается распределением, а начинается с общего отношения к миру, из которого человек берет все необходимое для производства, думают новые экономисты. Согласно их утверждению, старая экономическая наука (и марксистская в особенности) исходила из презумпции бесконечности и неисчерпаемости мира и его ресурсов. «Твори, выдумывай, пробуй!» Новая экономическая интуиция «нашего мира» видит, наконец (как это прекрасно видел Гораций, см. ниже), что этот мир конечен и исчерпаем – и, кроме того, и важнее того, — что он целен и полон внутренних связей и взаимодействий, так что, истощая какой-то один из его элементов, мы ставим под угрозу другие.

Если разум и составляет центральную тему всей книги, речь в ней идет о множестве других вещей: о поэтическом призвании и земном рае у Данте, об энергетическом понимании символа у Гете, о целом и части, о причине и цели, о библейской Премудрости, об этике Аристотеля... Только в третьей части, посвященной памяти С. С. Аверинцева, тема разума и рационализма высказывается эксплицитно. Именно в своей защите классической (аристотелевской) рациональности и библейского *ума* Аверинцев выступает как истинный гуманист нашего времени (если угодно, неогуманист), как мыслитель, который принимает вызов исторического момента. Поскольку, повторю, искаженная идея разума — один из величайших вызовов нашего времени.

Итак, я взялась быть адвокатом разума. Но разве разум нуждается сегодня в адвокатах? Разве не разум и рационализм безраздельно господствуют в нашей цивилизации, в нашей современности с ее культом «рационального» и «научного»? В цивилизации, которая сумела уже создать искусственный интеллект, которая расшифровала геном человека и знает, как «научным образом» толковать сновидения?.. И то ли еще нас ожидает! Клонирование человека стучится в двери. Каждый день мы слышим о новых фантастических достижениях этого разума, ratio humana. Однако сказка о всемогущем разуме, для которого нет границ и пределов, — сказка, ставшая былью, — по моим наблюдениям, больше никого не радует. А ведь совсем недавно она так радовала, — когда, например, первый человек полетел в космос: этот барьер взят! а дальше Луна, Марс, другие Галактики... Теперь мы склонны задуматься, сколько дыр в стратосфере оставили по себе эти штурмы небес. Боюсь, «победы разума» никто больше не будет прославлять стихами: скорее, оплачет их, как некогда Гораций оплакал изобретение мореходства:

Gens humana ruit per vetitum nefas[5]...

«Воистину, не человеческое сердце было у того, кто построил первый корабль!» И мы, неблагодарные потребители всего того, чем снабжает нас технический разум, уже, кажется, готовы согласиться с Горацием: да, не совсем человеческое сердце — сверх- или недочеловеческое. Известия о новых триумфах науки и техники (а это и есть для современности главная, если не единственная форма деятельности разума) не радуют, а несут смутную тревогу и предчувствие небывалой угрозы... Рационалистский прогресс больше не вдохновляет статистического человека, как прежде: он его пугает. «Ох, не

---

[5] *Род человеческий рвется через то, что для нас запретно...* (*лат.*). Этот стих Горация с восхищением цитировал К. Маркс, понимая его точно наоборот: как славу роду человеческому. Восхищение дерзостью человека, презирающего любые запреты (античная *гибрис*, христианская *гордыня*), связано с тем, как понимается инстанция, установившая запреты. Если это тиран, который запретами хочет унизить человека, — это одно. Но если эти запреты даются так, как взрослый запрещает ребенку, например, есть ядовитые ягоды? Ты не знаешь, а мы знаем: тебе будет очень плохо.

к добру всё это!» — думает обыватель. И в этом его испуге, увы, больше ума, чем в творческом дерзании изобретателей. Оптимизм прогресса без берегов кончился. Все чувствуют, что что-то здесь не в порядке.

Так что кажется, что если сегодня что-то надо защищать, так это никак не разум: наоборот, *все остальное* требуется защищать от него. Требуется беречь и спасать от этого хищного разума прежде всего природу (чем занимаются экологические движения). Но не только, — спасать от разума нужно и собственно человеческие вещи: чувство, фантазию, интуицию, веру, вдохновение — все, что принято считать нерациональным и даже иррациональным (об этом никакие «зеленые» еще не думают, а пора бы!). Все, что гибнет при беспощадном и холодном свете разума. С эпохи Просвещения мы привыкли думать о разуме именно таким образом: он суров (беспощаден) и «объективен», то есть холоден, отвлечен, свободен от любого чувства и привязанности. В этом и состоит его «чистота», его рабочая гигиена: ведь он — как скальпель хирурга. Между прочим, почему бы, — даже оставаясь в пространстве медицинских метафор, — не подумать об альтернативной рациональности (наподобие альтернативной медицины): о рационализме гомеопатическом или действующем наподобие акупунктуры? Действие мысли привычно уподобляется насильственному вторжению металла в живую ткань жизни. Этот интеллектуальный скальпель разрушителен для всего глубокого, нежного, неуловимого, таинственного, чудесного, интимного... одним словом, для всего самого глубоко человеческого и, тем самым, самого живого. Всего того, чего «эвклидов ум» (словами героя Достоевского) не признает и не видит. Русская культура в своих великих писателях и мыслителях всегда держала под подозрением «гордый ум» и противопоставляла рационализму, который всегда понимался как западное начало по преимуществу, «русские принципы»: кротость, смирение, любовь. Единственное, что при этом упускалось из внимания, это то, что и глупость может быть (и есть на самом деле) не менее надменна и агрессивна и ничуть не больше, чем интеллект, умеет любить и уважать. Глупец не способен уважать, — и это, вероятно, его первое свойство. К словам Достоевского: «Смирись, гордый ум!» — необходимо добавить: «И ты, беспардонная глупость, уймись!» Вот это говорит Пушкин, единственный среди русских писателей пораженный катастрофической силой глупости:

И не оспоривай глупца.

Между прочим, невыносимый «умник» и невыносимый «глупец» для Пушкина не слишком различаются: выбирать тут не из чего. Если свет интеллекта слишком плоский и безжалостный, то и глухие потемки иррационального — не лучшее место для обитания. Следует противопоставлять не разум и отсутствие разума, не рациональное и иррациональное, — но разум и разум. Или, как пишет о. Александр Шмеман, «ум умный — и ум глупый».

Попробуем сопоставить наше привычное представление об уме (холодном, суровом, отстраненном) с его библейским образом (в знамени-

том гимне Премудрости): «*Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный... человеколюбивый*» (Прем 7:22). Попробуем сравнить наше представление о знании, которое достигается огромным трудом («грызть гранит науки») и мучением («что мучит, то и учит»), «берется с боя», — с библейским образом мудрости, которая «*легко созерцается любящими ее и обретается ищущими ее*» (Прем 6:13), сама первой идет искать своих друзей и «*благосклонно является им на путях и при всякой мысли встречается с ними*» (Прем 6:16). Однако она, — и здесь мы касаемся момента, совершенно забытого в нашей мысли о разуме, — «*по чистоте своей всё проходит и проникает*» и «*ничто оскверненное не войдет в нее*» (Прем 7:24, 25). И это значит: только чистый и благосклонный ум может приобрести такое знание, может стать мудрым, то есть дружественным к миру, к людям и к себе самому.

Итак, мне хотелось бы защитить разум с двух сторон. Во-первых, защитить его именно от всего, что изложено выше: от редукции ума к техническому рассудку, к исключительно аналитическому инструменту, который рано или поздно может быть замещен «думающей машиной», «электронным мозгом», искусственным интеллектом, — от полной инструментализации разума и знания. «Знание — сила», «Scientia potentia est», как повторяют за Ф. Бэконом. Можно спросить: какого рода сила? Сила «объяснить» вещи, то есть расчленить их, разобрать на части — и затем эффективно ими манипулировать. «Узнал — овладел — можешь использовать». Наши отношения с миром и с самими собой все больше и больше превращаются в разного рода «техники» и «технологии». Мы хотим получать простые и «точные» рецепты (точность их обыкновенно весьма сомнительна, но безапелляционность, с которой они даются, делает их неоспоримыми) и подробные инструкции: «Как делать стихи», «Как поумнеть за двадцать минут в день» (это я читала своими глазами: всего-навсего нужно каждый день утром совершать пробежку, — интеллект от этого растет как на дрожжах), «Как не страдать от неразделенной любви» и т. п., и т. п. Мы хотим точно знать, что и в каком порядке следует делать, чтобы получить искомый результат. Мы хотим иметь дело не с вещами, а с их дефинициями. Дефиниции и рецепты уже составляют для нас первую реальность; то, что им не соответствует, мы готовы считать несуществующим. Например, поэзия есть то-то и то-то. Вот эта вещь не есть то-то и то-то. Значит, это вообще не поэзия. Интересный демократический вариант платонизма. Мир непосредственной реальности — второй мир, а первый — это мир наших дефиниций, концепций и т. п. Мы говорим не о «психике» человека, а о его «психо*логии*», не о «среде», а об «эко*логии*»... Нам нужен препарированный мир, готовый к немедленному употреблению, pret-a-porte. Мы хотим говорить не на языке, а не метаязыке (что, собственно, уже и делаем). Именно это и называется *рациональным*.

Я совершенно не собираюсь повторять все обычные в этом случае и уже слишком тривиальные обвинения в адрес технической цивилизации и ме-

ханического интеллекта. Моя роль, как я уже сказала, — роль адвоката, а не обвинителя. Критический, аналитический, технический разум (рассудок), бесспорно, — вещь сама по себе достойная и совершенно необходимая. «Святое слово — disitiguor, "различаю", слово схоластики!» — восклицал Аверинцев. Различает именно этот ум, рассудок. Но он составляет лишь часть того, что достойно называться умом, и часть, так сказать, нижнюю и окраинную, или вторичную. Если интеллект такого рода принимается за *весь* ум, это грозит настоящей бедой. Пространство ума куда обширнее и глубже, и его центральную часть, его сердцевину составляет восприятие *целого*, сообщения с целым, которое предшествует всякому расчленению на детали и составные, всякой «деструкции», разборке этого целого, как если бы оно было механическим агрегатом.

Мне могут возразить: но восприятие целого принадлежит интуиции! Вероятно, так и есть, но ведь и сама интуиция есть интеллектуальная деятельность. Интеллектуальная деятельность многообразна, она включает в себя и нашу способность воображать, и способность угадывать без обсуждения и анализа, и способность созерцать ... и множество других вещей. И, вопреки распространенному мнению, не только «систематическое сомнение», но и определенная уверенность и способность доверять (принимать на веру) составляют то, что можно назвать интеллектуальной культурой. Dubitare humanum est (сомневаться — в природе человека). Это — несомненно, но не только «сомневаться» в его природе. В его природе и быть в чем-то уверенным. Это особая наука, быть в чем-то уверенным, доверять, и ей следует учиться, потому что сомневаться всегда и во всем просто глупо. Мудрый человек удивляет нас именно этой своей необъяснимой уверенностью в некоторых вещах. Да, в своей центральной зоне, в своей сердцевине разум совпадает с мудростью.

Приходится сделать еще одно уточнение: есть огромная разница между мудростью и умудренностью. Вообще говоря, разница абсолютная, такая же, как между смирением и усмиренностью. Если современный человек чувствует себя особенно умным и умудренным, когда ничто не способно его удивить, поскольку для этого он уже слишком опытен и умудрен (нас не проведешь! видали мы и не такое!), и бытовое представление о мудрости совпадает с идеей «тертого калача» и «стреляного воробья», то классическая мысль об уме противоположна. Мудрец, говорит Аристотель, это тот, кто, *несмотря на всё,* не утратил способности изумляться. Изумление (и восхищение) — вот начало мудрости: так думали греческие философы. Можно решить, что библейская мысль о начале мудрости другая: как известно, «*Начало мудрости — страх Господень*» (Пс 110:10). Но этот страх — не страх перед некоей карающей инстанцией; он полон изумления и восхищения. «*Дивны дела Твои, Господи, и душа моя знает зело*» (Пс 138:14). Вспоминая о «систематическом сомнении», мы можем предложить такое дополняющее его изречение: admirari humanum est, «изумляться — в природе человека». Возможно, именно это в его природе per excellence. В природе человека разум-

ного. Предел человеческого познания, как ее видит Гете-натуралист, — восхищенное изумление: «*Zum Erstaunen bin ich da*». Я здесь, чтобы изумляться. Я здесь, чтобы после всех опытов и изысканий сказать: «Как изумительно это всё!» После долгих исследований и наблюдений (например, в области оптики или теории цвета) гетевская мысль достигает встречи с «прафеноменом» — и здесь в изумлении останавливается. Философская мысль, метафизическая мысль (и, в случае Гете, естественно-научная мысль) питаются изумлением. Изумление — исходная точка этого опыта и точка его назначения: встреча лицом к лицу с чудом и тайной вселенной.

Кроме другого, это еще и встреча с собственной глубиной, с «другим» в себе, с «чем-то более общим», чем биографическое я. У нас множество свидетельств об опыте такого рода. «*Не сам он* (герой романа, Юрий Живаго), *а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам*». Так описывает это Пастернак. Вот Марсель Пруст: «*Что это за существо* (оживающее и умирающее во мне), *я совсем не знаю* <...> (каждый раз, когда является гармония) *оно получает свою пищу и вновь начинает существовать и быть счастливым. Ибо для него существовать и быть счастливым — одно. Оно моментально умирает в частном и мгновенно оживает в общем. Оно живет только в общем, общее одушевляет его и питает, и в частном оно моментально умирает. Но в то время, когда оно живет, сама его жизнь есть восхищение и счастье*». И Пруст заключает: «*Оно одно должно было бы писать мои книги*»[6]. Оно одно (это неизвестное существо внутри нас), добавлю от себя, должно было бы думать большие мысли — и следовать большим мыслям других и читать великие книги. Другими, «только своими» глазами их не прочтешь.

Скептический читатель возразит: «Но ведь это типичное мистическое переживание! Причем здесь интеллект, разум, рациональность? Это опыт иррациональный!» Ну нет, отвечу я, это опыт познания, гнозиса. То есть опыт интеллектуальный — опыт человеческой *мысли*.

«Что и составляет величие человека, ежели не мысль?» — спрашивает Пушкин. Мысль, о которой он думает, — не конкретная мысль о чем-то конкретном, не мысль среди других мыслей, но определенное состояние души, живой процесс.

> В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
> Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Мысль — как вдруг случающееся глубокое общение со всем, что есть. В этом состоянии человек забывает о собственной смертности и убожестве. У такой мысли вкус бессмертия.

Всем этим я хочу напомнить о той идее ума, которая давно и крепко забыта современностью. Ее знала классическая традиция — и традиция биб-

---

[6] *Proust M.* Contre Sainte-Beuve.

лейская, Афины и Иерусалим, как любил повторять С. С. Аверинцев. Это идея ума как центра человеческого существования, а не какого-то отдельного прибора, вмонтированного в мозг, который отстраненно наблюдает за этим существованием. Все древние традиции определяли место мыслительной деятельности не в голове и мозгу, а где-то возле сердца. Они еще не знали анатомии, как ее знаем мы? И не видели экспериментов на мозге? Нетрудно вообразить, что и мы еще много чего не видели и что у нас еще некоторых приборов для экспериментов не хватает. В рассуждениях по поводу «природы» и «культуры», «естественного» и «искусственного», которые обыкновенно противопоставляются друг другу, мы забываем, что существует такая вещь, как *человеческая природа*, парадоксальный феномен, своего рода оксюморон, соединение несоединимого. Способность к *культурному* творчеству (точнее сказать, обреченность на него) принадлежит *природе* человека, природе изначально словесной и интеллектуальной (homo sapiens sapiens), — но при этом *природе*. Так язык, способность к языку, врожденный дар человека, нельзя назвать «искусственным». Он природен — в мире *человеческой* природы, которая не есть природа биологическая.

Я говорила прежде, что если всё, что мы знаем и можем сказать о разуме, сводится к его «технической части», нас ждет беда. Почему? Потому что именно мудрость, вершинная и центральная часть ума, способна сдержать технический, критический, аналитический разум, рассудок, всегда готовый зарваться. Разум-мудрость знает пределы собственного действия, ей известна реальность таинственного, невыразимого, необъяснимого, неприкосновенного, — иначе она не мудрость. Она знает, среди другого, что мы не хозяева собственного будущего и не можем представить себе все последствия наших действий и замыслов. А аналитический рассудок этого не знает. Этот всеобщий контролер, считающий себя вправе проверять истинность чего угодно, сам себя не проверяет — и не может: у него нет никаких оснований, никаких критериев для такой проверки. Все основания такого рода лежат за его пределами, и он отнесет их к области «мистики», «субъективности» и т. п. Глупость ничем не ограниченного аналитического разума действительно составляет бедствие нашей цивилизации.

О том, что деятельность технического разума подобна слепому инстинкту и бесконечно далека от разумности в самом обыденном смысле слова, писал Жорж Бернанос: «*Атомная бомба станет, быть может, знаком окончательного триумфа техники над разумом*»[7]. С конца 40-х годов, когда это было сказано, мы увидели много других знаков этого триумфа, и ни один еще, к счастью, не оказался окончательным. Но хищная глупость технического освоения вселенной — не единственная проблема «*бедного* (редуцированного) *рационализма*». Это, можно сказать, его техническая проблема. Есть вещи поважнее. Один из самых больших скандалов для аналитического разума составляет, как замечает Бернанос, — страдание, зло и вообще

[7] Пер. мой. — *О. С.*

«несовершенство» мира. Бернанос замечательно описывает эту оторопь разума и следующие из нее проекты упразднения страдания, радикального усовершенствования мироздания: «*Разум, оставленный сам на себя, не думает найти в природе ничего кроме равнодушия и жестокости, но то, что он в ней обнаруживает, это только его собственная жестокость. Собственно, его возмущает не страдание само по себе, а то, что оно кажется ему аномалией, сбивом, плохой организацией целого. Разум более жесток, чем природа... он отрицает страдание подобно тому, как он отрицает плохо построенный силлогизм*». Бунтуя против страдания, разум только маскирует собственный эгоизм: ведь те, кто самым деятельным образом помогают страждущим (как св. Франциск), почему-то не задаются вопросом, зачем допущено «страдание вообще», «слеза ребенка» вообще. Так замечает Ж. Бернанос. И мы можем предположить, почему они не задают этот вопрос. Мудрость подсказывает им то, что знали греческие философы и библейские мудрецы: что о зле думать не следует, ибо оно не умопостигаемо, оно иноприродно уму. В нем не о чем думать.

Наша рационалистская цивилизация, повторю, вопиюще *неразумна* (экологическая проблема — только самый очевидный симптом, — речь при этом идет обычно о внечеловеческой природе, об окружающей среде, мире биологическом, физическом, которому человеческая активность наносит уже катастрофический вред, но не менее угрожаема в таком развитии цивилизации и природа самого человека: стоит только подумать о слуховой перегрузке нашего современника, не говоря уже о более сложных вещах). О. Александр Шмеман говорит об этом так: «*она* (современность) *умна в отношении к неглавному, и глупа в главном*». Она не помнит о разуме-мудрости, о том уме, который умен в отношении главного.

Если (с мыслью об этом уме) мы коснемся вечной проблемы fides et ratio, разума и веры, то на месте их привычного и тривиального противопоставления мы можем увидеть гораздо более интересную конфигурацию. Именно *ум* может быть первой причиной и главным аргументом веры. Так случилось с Пушкиным, которого, по легенде, император Николай I назвал «умнейшим человеком России». Первой причиной, побуждающей молодого Пушкина отстраниться от атеизма, был не «зов сердца» или «муки совести», а потребность *ума*. Атеизм представлялся ему неудовлетворительным в *умственном* отношении: «*Не допускать существования Бога — значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге*» (из рукописи 1827 – 1828 годов). Борьба *сердца* Пушкина с его *умом* с лицейских лет происходила прямо противоположным привычному образом:

Ум ищет Божества, а сердце не находит
(*стихотворение «Безверие», 1817*);

«mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y refuse»
(*дневниковая запись 1821*).

Когда я говорила об этом на конференции, С. С. Аверинцев спросил меня: «Но почему Вы считаете этот путь *противоположным* обычному? По-моему, это самый естественный путь!» Такая картина — материалистического сердца, которое сопротивляется уму, ищущему веры, — представлялась ему самой естественной! Но ведь мы в самом деле привыкли к другому. «Ум с сердцем не в ладу» мы привыкли понимать точно наоборот: как борьбу *ума* — начала «холодного», критического, недоверчивого, с *сердцем* — «теплым», «доверяющим», «добрым» началом. Верит, несомненно, сердце, — а ум — «*резкий, охлажденный ум*» — вставляет ему палки в колеса. Сердце верит (и сердцу нужно верить) вопреки разуму и его истинам (знаменитая декларация Достоевского: «*Если истина не со Христом, то я останусь со Христом, а не с истиной*»). Разум и его «низкие истины» внушают нам, что это «наивно» и «глупо». Все разоблачения «предрассудков» и «верований», вся атеистическая пропаганда веками велись с позиции «разума» и «истины» (или же, в советские годы, «науки» и «факта»). *Сердце*, если и не сдавалось «истине» и «факту», укрывалось от них в убежище «интимного» и «невыразимого», в милый обман:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман, —

в одинокий сентиментальный фидеизм. Но путь веры Пушкина (и Аверинцева) лежал в открытом и светлом пространстве *ума*.

Рядом с их именами мы можем вспомнить немало других, тех, кого *ум* и *истина* вели к вере вопреки их сердцу. Среди них такие великие христианские фигуры XX века, как Альберт Швейцер и о. Александр Шмеман. Шмеман комментирует известные слова Б. Паскаля «*Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas*» («У сердца есть свои резоны, которых разум не знает») таким образом: «*Мне иногда кажется, что у меня наоборот. Верит, и радуется вере, и согласен с верой мой ум. "Сердце же мое далеко отстоит..." Оно в союзе с "плотью"*»[8]. Швейцер пишет: «*О себе самом я знаю, что благодаря мысли* (durch Denken) *я остаюсь верующим и христианином*»[9].

Впрочем, само противопоставление *ума* и *сердца, ума и чувства* возникло только после того, как «ум» отделили от всей полноты человеческой жизни и поместили в мозгу, органе (почти машине, вычислительном центре) мышления аналитического и «объективного». *Сердце* и *чувство* при этом совпали с инстинктивными эмоциями и слепыми аффектами, а *ум* — с аналитическим, рефлективным, абстрактным, отчужденным от переживаний началом. Этот образ разума окончательно сформировался в эпоху Просвещения, в эпоху «торжества разума»; он бесконечно далек от того, что греки называли словом *нус* и что мы переводим и как «ум», и как «дух». В библейском языке

---

[8] *Шмеман А.*, прот. Дневники. 1973 – 1983. С. 518.

[9] Kein Sonnenstrhal geht verloren. Worte Abert Schweizers. Hyperion-Verlag. Frieburg im Breisgau, S. 59. Пер. мой. — *О. С.*

сердце и *чувство* — область, где рождается мысль и слово («*помыслил в сердце своем*», «*сказал в сердце своем*»); *чувство* же означает не смутную эмоцию, но вменяемость, ясное восприятие действительности, — и потому «глупец» и «безумный» *не имеют чувства*, а «*окамененное бесчувствие*» означает полную невменяемость (русский язык сохранил это значение в таких выражениях, как «потерять чувство», «привести в чувство»). Библейское *сердце* — орган мысли. Библейский стих: «*Рече безумен в сердце своем: несть Бог*», то есть «глупец решил, что Бога нет». Эту антропологическую идею продолжает аскетическая традиция христианского Востока, начиная с отцов-пустынников. Если мысль рождается в *сердце*, то есть в сердцевине человека (это сердце не совпадает с сердцем анатомическим!), и в *чувстве*, необходима аскетическая практика очищения сердца, очищения чувства *(очистим чувствия):* только чистое сердце мыслит верно. Нечистое, то есть глупое сердце видит фантомы. «*В лукавую душу не войдет Премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху*» (Прем 1:4).

Итак, повторю вкратце: мне хотелось защитить память о том уме, который познает целое, прежде чем различит его составные, об уме, который познает вещи путем приобщения, а не путем отстранения, об уме не *холодном*, *беспощадном*, который ничему не удивляется и «разрушает прекрасные иллюзии» (как привычно о нем думать), а напротив, об уме, который непрестанно изумляется величию великого и умеет щадить малое и хрупкое, поскольку сердцевина этого ума — мудрость, а мудрость есть дух свободный, благотворный, человеколюбивый, как мы знаем из Библии. Этот ум и создает «вещи культуры», которые, по словам Аверинцева, «*существуют ради тайны, которую нельзя подделать, тайны живого*».

Я обещала защищать разум с двух сторон. Пока речь шла только об одной, о сужении и искажении представления рационального. Другая сторона — это давно (со времен романтизма уж точно) ведущаяся борьба с разумом, многообразные попытки спастись от разума в иррациональном (такие как «витализм», «философия жизни и т. п.). Эта эпоха еще продолжается.

У меня сложилась довольно ясная картина ее движения, ее траектории. Однажды мне довелось побывать в огромном литературном архиве Марбаха с бесчисленными портретами людей культуры. Там-то эта картина и предстала мне во всей наглядности. Двигаясь из зала в зал, от XVIII века к XX-му, я видела, как молодеют лица на портретах. Движение культурной эпохи идет вспять течению «природной», биографической жизни человека, от младенчества к старости. Взрослые тонкие умные лица в залах XVIII века, молодые очарованные лица романтизма в залах XIX века — и к XX веку: лицо «сложного подростка» почти на всех портретах.

Подростковый бунт модерна (в котором нельзя не признать своей правды и своей чести) сменяется в постмодерне идиотскими выходками избалованного ребенка. Наступает маразматическое детство. Ведь ни взрослый, ни

юный человек, ни сердитый подросток не будет делать того, что показывают нам теперь на акциях и перформансах: кусаться, портить готовые вещи, вываливать кучи мусора в виде экспоната, и т. п., и т. п. Творческие «идеи», «проекты», «находки» актуального искусства — делать все из туалетной бумаги или скотча, упаковывать здания и побережья, отлить металлическую скульптуру конфеты величиной с автомобиль или заформалинить крокодила, — все они предполагают очень ранний этап развития интеллекта. «Новые тупые» (название одной из московских групп актуального искусства) — вот хорошее название для всего этого. Так этот все молодеющий, все дальше уходящий от разума творческий эон выражает себя в наши дни.

Уходящий от разума — куда? Открытие иррационального казалось вначале открытием какого-то нового материка, нового неба и новой земли, — но вскоре выяснилось, что эта новая земля не так-то богата, а неба над ней просто нет... Вывернутая наружу «бессознанка» поражает своей монотонностью. И что же теперь? Об этом тупике и говорят те, кто называет конец этого эона «концом истории». Но умные и взрослые люди знают, что мир кончался уже много раз. Пора подумать о том, что́ начинается.

Моими собеседниками в этой книге были не философы, а поэты: Гете, Данте, Пушкин, Пастернак. Поэзию и разум тоже принято противопоставлять. Но именно великие поэты знают и защищают тот разум, то знание, о котором идет речь в моей книге, — «новый разум», словами Данте:

Intelligenza nova, che l'Amore
Piangendo mette in lui pur su lo tira[10].

Совсем новый — и самый древний.

---

[10] Над широчайшей сферою творенья,
Выйдя из сердца, вздох проходит мой:
Это Любовь, рыдая, разум иной
В него вложила в новом устремленье.
(*Данте. «Новая жизнь»*. Пер. мой. — *О. С.*)

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

в русской периодике первого квартала 2010 г.

Есть в наследии Канта произведение, по сей день вызывающее бурные споры. Это эссе «О мнимом праве *ЛГАТЬ ИЗ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ*», где выдвигается тезис об абсолютной недопустимости лжи — во всех без исключения случаях. Как же тогда быть с «ложью во спасение»? — недоумевает читающая публика. — Что следует отвечать, скажем, человеку с топором, спрашивающему: «Куда побежал N.?» Но не одних лишь профанов озадачивает кантовский ригоризм, он и в XXI столетии остается предметом серьезных философских дискуссий.

Откликом на одну из таких дискуссий стала статья **Давида Дубровского «Проблема добродетельного обмана. Кант и современность»** («Вопросы философии», № 1). Как сообщает автор, большинство участников дискуссии сходятся во мнении, что установка на *человеколюбие* всегда должна оставаться приоритетной и ориентироваться следует на нее, а не на абстрактные принципы. Что этическая оценка конкретного поступка требует учитывать целый ряд этических норм, а абсолютизация одной-единственной — скрытая апология аморализма. Однако, пишет автор статьи, в ходе дискуссии было подчеркнуто, что отказ от абсолютного запрета также чреват подрывом морали, ибо открывает ворота для вседозволенности, всевозможных извращений и демагогии. Впрочем, удобным орудием демагогии и обмана могут служить и абсолютистские призывы, и запреты. Задача этики, резюмирует Дубровский, состоит в том, чтобы утвердить *субъектность личности* как *индивидуально-ответственный способ существования в мире*.

Владимир Кантор считает, что Достоевский — писатель не просто христианский, но глубоко живший в библейском контексте и потому сумевший выйти на *ПРОБЛЕМУ ИУДЕО-ХРИСТИАНСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ* (**«Достоевский как ветхозаветный пророк»** — «Слово/Word», № 65). Пристрастное отношение Достоевского к еврейству автор статьи объясняет тем, что писатель всю свою жизнь разгадывал проблему бытия еврейского народа как проблему смысла исторического бытия вообще. Достоевского, смотревшего на мир библейскими очами, смущало, что современное ему еврейство отказалось от Библии и Бога, и ему было просто обидно за евреев: ведь для Достоевского еврей без Бога был немыслим. Ветхозаветные мотивы в произведениях Достоевского, пишет Кантор, столь отчетливы и многообразны, что иные из критиков даже видят в писателе тайного талмудиста. Существует, к примеру, мнение, что спор между Иваном и Алешей

Карамазовыми — это, на самом деле, спор между талмудистом и христианином, а неприятие старшим братом слезинки ребенка — не что иное, как талмудическое отрицание принципа искупительной жертвы.

Сам Кантор подобное сходство считает непреднамеренным: просто Достоевский, как и Талмуд, вырос из толкования Ветхого Завета. Но, напоминает Кантор, предметом главной страсти оставался для Достоевского все-таки русский народ, именно поэтому писатель все время «меряется» с евреями способностью к страданиям: евреи, страдая, утвердили Единого Бога, но страдали и русские, поэтому они тоже избранный народ. И именно поэтому Достоевский бичевал пороки собственного народа с такой силой и жесткостью, с какой это делали лишь ветхозаветные пророки. Ведь пророк — это и есть посланник Бога, обличающий свой народ за неправедную жизнь. Таким пророком и стал Достоевский — ветхозаветным по пафосу, а не по идее. Так что бьющее в глаза противоречие между внешним антисемитизмом Достоевского и влюбленностью в Ветхий Завет объясняется страстной профетической любовью-ненавистью к русскому народу, а не неприязнью к евреям. От еврейского народа и Библии Достоевский унаследовал мессианизм и не мыслил, что богоизбранных народов может быть больше одного (ведь истина одна), но, подхватывает Кантор: *Стало быть, можем мы продолжать эту мысль от себя... истинный Израиль ныне — народ русский.* Словом, то, что Достоевский не позволял себе в публицистике, утверждает автор статьи, проговорено им в романах. Он нарисовал картину России, погруженной в языческую стихию, живущей до- и внехристианской жизнью. Большие сомнения были у него насчет способности русского народа жить по Божьим заповедям. И его пророческое обличение собственной страны, несмотря на веру в нее и любовь к ней, исполнилось в катастрофе революции. Однако, заключает Кантор, великая заявка на возможное новое бытие России была сделана.

Интересна статья **Андрея Кондратьева «Германская религия и христианство: теория "третьей церкви"»** («Неприкосновенный запас», № 1(69)). Автор рассказывает о бурном процессе конструирования религий, шедшем в Германии во время нацистского господства. Впрочем, *ПОИСКИ НОВОЙ РЕЛИГИИ* начались в Германии еще на рубеже XIX – XX столетий, задолго до прихода нацистов к власти. Зарастить раскол между двумя церквями Запада стремились религиозные мистики народнического толка «фёлькиш». В недрах этого движения рождалась мечта о «третьей церкви» — церкви германского народа, свободной эзотерической общине, толерантной к носителям иных мировоззрений и даже к представителям иных рас. (Это не имело ничего общего с нацизмом, пишет Кондратьев, и многие общины «фелькиш» и в дальнейшем внутренне противостояли национал-социализму.) Но настали иные времена, и пафос создания «германской религии», призванной заменить христианство, прекрасно вписался в нацистскую идеологию. Третьим рейхом был выработан своеобразный план «нордического экуменизма», объединяющего мистических патриотов самого разного толка. Мно-

жество уже существовавших в стране религиозных сообществ должна была объединить главенствующая идея — возрождение древнейшей германской религиозности, выведенной из народной традиции. Новой религии предстояло заменить католичество и протестантизм, а литургико-догматической практике — уступить место расово-эзотерической...

От далеко уводящих параллелей воздержимся, но то, что слияние религии с политикой порождает весьма и весьма гротескных ментальных «кентавров», видно и из современной российской жизни.

Валерий Сендеров («"Проект Россия". И вокруг него» — «Вопросы философии», № 2) продолжает анализировать идеологическую *ПРОДУКЦИЮ ТОТАЛИТАРНОГО-ИЗОЛЯЦИОНИСТСКОГО СОРТА*, все еще пользующейся определенной популярностью в России[1]. На этот раз рассмотрению подвергается третий том «Проекта Россия». Тираж этого сборника, выпущенного коммерческим издательством «Эксмо», — миллион экземпляров, распространяется он с размахом: Россия — Украина — Казахстан. Авторам нового тома, пишет Сендеров, удалось превзойти предыдущие достижения и выйти на более совершенные рубежи европоненавистничества и изоляционизма (и прикладного политического мистицизма, добавим мы, читая статью). Видимо, и они уже почувствовали, что псевдотеологические построения, эксплуатирующие апокалиптические темы (о кознях антихриста и России — «удерживающем»), давно приелись. Теперь читателям предлагается неожиданная новинка: своеобразная *«теология компьютера»*. Суть ее, вкратце, следующая: Люцифер, дабы под корень извести на Земле религиозность, готовит наш дом к сносу, к «перезагрузке» человечества через ядерные войны и мировые финансовые кризисы. Но в качестве главного злодея, формирующего апокалиптические процессы, выступает уже не «мировая закулиса», а искусственный интеллект. Который, по мнению *проектеров*, не входит в логику Бога, т. к. Бог его не создал, зато в логику сатаны — запросто: тот не всемогущ и нуждается в усилении ума.

Подобный *теологический зуд* вполне справедливо удивляет автора статьи: как можно пускаться в эти материи, не зная ни азов церковного христианства, ни церковной истории? Чего же тогда удивляться результату! Налицо отсебятина типа фразы: *«От брака сифитов и каинитов рождается новый тип человека, принесший в мир хищничество и сладострастие»*, — или очаровательной басни о том, что турки, готовя окончательный удар по Византии, выдавали себя за этнических троянцев, мстящих грекам за события, известные из «Илиады»... В основе подобного творчества Сендеров видит стиль мышления, характеризующийся механическим детерминизмом, прямо-таки *языческим культом прямой причинно-следственной цепочки*. Вероятностная картина мира для подобного мышления чересчур сложна. Зато сюда хорошо ложатся и вера в жидомасонов, и представления о человеке как емкости, а благодати как своего рода топливе, в эту емкость заливаемом.

---

[1] См. наш обзор в № 142.

Такая же примитивная логика работает у авторов и в области борьбы добра и зла (о рецептах такой борьбы, в частности, об *«агиополитике православия»*, а именно *политике, проводимой святыми, через обращение к святым, святыням и священным символам*, мы уже писали в одном из обзоров.) Вся эта, по определению Сендерова, *смесь рассудочного расчета и магического шаманства* давно стала нормой в «православно-политических» кругах и, повторимся, безмерно наскучила. Однако, считает Сендеров, изучать «Проект» необходимо: *эта книга, как и происходящее вокруг нее, дает духовный и интеллектуальный портрет нашего общества. Для многих он окажется достаточно неожиданным.*

О МЕСТЕ РОССИИ В МИРОВЫХ ПРОЦЕССАХ и ее предпочтительном пути в современных условиях размышляет известный историк и культуролог **Федор Шелов-Коведяев («Парадоксальная глобализация и Россия» —** «Вестник Европы», 2009, № 26 – 27). Глобализацию привычно ассоциируют с Западом, пишет он, однако в действительности первичен здесь восточный вектор: еще мелкие царьки Древнего Междуречья именовали себя *«властителями четырех сторон света»* и делали заявку на мировое господство. Различие между двумя глобальными проектами Шелов-Коведяев видит в следующем: в сфере политики восточный проект всегда сугубо идеологичен и, за редкими и краткими исключениями, всегда неудачен; западный же всегда удачен и вырастает из прикладных намерений. А вот в сфере культуры, по мнению Шелова-Коведяева, все *с точностью до наоборот*: если восточные культурные достижения неизменно проникают в самое сердце Запада, то западный культурный проект — явный неудачник (о чем говорит хотя бы тот факт, что христианство в Азии по-настоящему укоренилось только на Филиппинах). Таким образом, считает автор статьи, оба проекта находятся во внутренне противоречивом состоянии, что глубоко травмирует обе стороны: ведь и Запад и Восток стремятся к успеху своего глобализма во всех сферах. В результате одним мало лишь политического преимущества, и они стремятся навязать свои культурные эталоны, другие (например, исламисты) втаскивают за собой политический диктат.

В наше время, пишет Шелов-Коведяев, США изменили своему прагматичному стилю, резко идеологизировав в 2000-е годы свои действия и поддавшись культуртрегерскому азарту, а по сути — *овостоковив* свою глобальную политику, что отнюдь не прибавило устойчивости западному проекту. В свою очередь, совершает свои пируэты и Восток. Китайский политический проект стал по существу западным, т. к. Китай, переставший декларировать право на мировое господство, делает зато в направлении этого господства реальные шаги: весь планетарный рынок ширпотреба и половину рынка электроники держит именно он. И обескровливающая война конкурентов — западного либерализма и исламского радикализма — работает на интересы китайского глобального проекта, давая шансы этой модели — восточной идеологически, но западной организационно — стать всеохватной.

Каково же место России в этом процессе парадоксальной глобализации? Если до 1917 года, пишет Шелов-Коведяев, Россия развивалась по западному политическому вектору, то СССР Ленина-Троцкого-Сталина до самого своего конца был классическим восточным глобальным политическим проектом. Здесь автор и видит причину западной неприязни к России: Европа сразу интуитивно ощутила, что большевистская Россия покинула рамки западного проекта и предалась восточному глобализму. Холодная война с «Совдепией», как и битва с гитлеризмом, была для Запада отторжением несовместимого, межвидовой борьбой. События же августа 1991 года ознаменовали возврат к корням: европейский выбор русского сознания и общества и отторжение восточных извращений. Однако поздний Ельцин, а за ним и Путин вернулись к советской привычке ставить идеологемы выше прагматических интересов нации и вынудили Запад вернуться к линии «межвидовой борьбы». Россию, убежден Шелов-Коведяев, это обрекает на неудачи, поскольку идеологизированный глобализм не может быть успешным. Остановить эту программу самоликвидации может, по мнению Шелова-Коведяева, лишь возврат к органичному для России западничеству. Поскольку страна — неотъемлемая часть Запада, то именно внутри него и нужно стремиться стать самостоятельным центром влияния вкупе с США и ЕС, каким бы сложным ни оказался этот процесс, — вот рекомендация автора статьи. Именно тогда, когда мы всерьез осознаем свою ответственность в европейской модели, найдем свое место и свою «специализацию» в ней, мы начнем по-настоящему патриотическое делание, а страна обретет привлекательность для проживания, деятельности и сотрудничества, считает Шелов-Коведяев. К сожалению, сетует он, вместо деятельного движения к союзу и Россия, и США в поиске сепаратного выхода пытаются за спиной друг у друга договориться с Китаем, и такая близорукая политика обоих государств делает плодотворное взаимодействие проблематичным.

В прошлом обзоре мы уже касались темы *ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ* — вещи вроде бы вполне благонамеренной, но в дозах, превышающих допустимые, вполне способной сделать любой разговор невозможным, а жизнь невыносимой. Россия — на сегодня страна, относительно мало затронутая этой проблемой. Однако наш глобализованный мир — своего рода большая деревня, и поэтому появление в российской периодике все новых публикаций на тему политкорректности не кажется странным и неожиданным.

Одна из таких публикаций — статья **Константина Шарова «На темной стороне политкорректности: гендерно-нейтральный новояз»** («Вопросы философии, № 3). *Гендерно-нейтральный язык* — детище феминизма. Главная задача этой лингвистической новинки — улучшить речь, изгнав из нее *мужское доминирование*. Тезис же о «мужском доминировании» означает следующее: все сознание современного человека, вся современная культура насквозь пропитаны идеями и ценностями мужской идеологии, а женщина уже на уровне бессознательных установок рассматривается как производное от мужчины. Соответственно, и существующий язык выражает нормы и

ценности этого патриархального социума. Сама наша речь создает картину мира, основанную на мужских ценностях и мужской точке зрения, и потому должна быть преобразована. (В этой связи невольно вспоминается, что слово «gender» когда-то и означало-то всего лишь грамматический род. Теперь же оно стало заменителем слова «sex» (пол), подчеркивающим социокультурные причины и следствия межполовых различий). Феминистское движение выработало целую социолингвистическую программу, направленную на созидание женщинами *самих себя в своей автономности.*

При всем его комизме, считает автор статьи, данный проект весьма серьезен, и любые рассуждения о несостоятельности феминистской политкорректности должны быть предельно доказательными. За доказательностью Шаров и обращается к положениям структуралистской теории (принципам Ф. де Соссюра), согласно которым знак немотивирован по отношению к означаемому, так что теоретически может устанавливаться любое отношение между идеями и звуковым или письменным материалом. Согласно этой же теории, на практике индивид не властен внести изменения в знак, установившийся в языковом сообществе, — то есть в правила естественного языка. Язык живет своей жизнью и может быть изменен только в контексте самой речевой деятельности, под воздействием всего сообщества, а не отдельных индивидов или групп.

Вооружившись выкладками де Соссюра, автор статьи объявляет несостоятельным перманентный феминистский тезис о дискриминационном характере лексического тождества слов «человек» и «мужчина», имеющегося в некоторых языках. В подтверждение этой несостоятельности Шаров приводит, в частности, английское слово «man», на современное употребление которого исторически не могли оказать влияние одни лишь мужчины: в этом принимало участие все общество, и, стало быть, никакого «мужского шовинизма» тут нет. Что, к тому же, подтверждается и историко-лингвистическим анализом. Наивно, пишет Шаров, и само стремление добиться бóльших социальных и политических прав, изменив язык. Язык как таковой просто не может быть гендерно ни нейтральным, ни ненейтральным. Так что на деле феминистки сражаются не с дискриминацией женщин, а с тем самым мужским родом в грамматике.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УМОНАСТРОЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СФЕРЫ исследует **Алексей Левинсон** (**«Консерватизм, секс и террор»** — «Неприкосновенный запас», № 1 (69)). Разделение на Запад и Восток, считает он, будет достаточно осмысленным, если производить это деление по принципу количества детей в семье (иногда в этом смысле говорят еще о делении на Север и Юг). Именно демографическими режимами и различаются эти части мира: на одном полюсе рождения следуют с той частотой, с которой им надлежит по природному порядку вещей, на другом полюсе — «общество единственных», социум, по большей части формируемый из однодетных семей. В обществах единственных и неединственных детей разное отношение к смерти, а потому и к человеческой жизни, пишет Левинсон. К

тому же многодетный мир выступает в качестве глобального консерватора. И хотя вряд ли атака на башни-близнецы была наказанием Западу именно за сексуальную свободу, тем не менее к вопросам деторождения события 11 сентября и многие другие теракты имеют самое непосредственное отношение. Те, кто командует террористами-самоубийцами, знают, что в их распоряжении неограниченный человеческий ресурс. Примерно так же знали это во время Второй мировой войны и Сталин с маршалами, командовавшие армией, которую составляли выходцы из тогда еще многодетных советских семей (вспомним приписываемое Г. К. Жукову «*Бабы новых нарожают*»!). Знали это и маршалы тогдашней Японии, сильнейшим оружием считавшие смертников-камикадзе. Есть во всех этих случаях сходство и в отношении к собственной жизни у воинов, согласных на смерть. Напротив, культура малодетности не производит такой тип отношения к собственной и чужой жизни, и концепция, и норма подвига в малодетном обществе иные. Сегодня, когда израильская и палестинская стороны договариваются об обмене одного пленного израильского солдата на несколько десятков, а то и сотен палестинских, это показывает разное отношение двух разных типов цивилизаций к человеческой жизни. Это же показывает и опыт английской, советской, а теперь и американской армии в Афганистане. Одного убьют, на его место встанет другой — в этом проблема борьбы с «исламскими террористами». Внешне, замечает Левинсон, все это выглядит как религиозные различия (например, христианства и ислама); на самом же деле различаются режимы воспроизводства населения, а значит, и отношение к человеческой жизни.

Что касается России, граница двух демографических режимов, по мнению автора статьи, проходит внутри страны. Многодетные «восточные/южные» общины выставляют сотню за сотней своих сыновей для войны за то, что считают более важным, чем их собственная жизнь. Однако наряду с этим сотни и сотни их молодых земляков не уходят воевать, а едут в большие города России. Их тянет другая, чуждая им — до поры — культура этих больших городов. По мере дисперсного распределения и принятия этих людей в российском обществе будет снижаться их культурное отличие от «русских», в том числе будет меняться и режим воспроизводства: многодетность начнет снижаться, а значимость индивидуальной жизни — повышаться. Так что, убежден Левинсон, ассимиляция пресловутых «понаехавших» в центре России — одно из лучших средств борьбы с терроризмом на ее окраинах. Однако это именно то, чего не может принять российская консервативная мысль, продолжающая поддерживать темные страхи перед нашествием людей иной культуры. Правда, и родную культуру наши консерваторы мыслят местами близкой к культуре, от которой уезжают «понаехавшие»: традиционной, многодетной. Отечественные консерваторы боятся одновременно и Востока с близкой их сердцу демографической моделью, и Запада, якобы использующего свободный секс для разложения нашего общества, почему и становится мало детей... Что касается секса, автор не считает, что, несмотря на отсутствие каких-либо табу, его можно назвать в России по-настоящему

свободным. Люди свободные, убежден Левинсон, не станут распущенными. Но не станут они и консерваторами. И этого, видимо, консерваторы боятся больше всего. Больше, чем секса и террора.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ — тема статьи того же **Алексея Левинсона «Города и пробки»** («Неприкосновенный запас», № 2 (70)). Автор обнаруживает прямую параллель между нынешней пробкой и очередью в эпоху дефицита: всем надо, но на всех не хватает, на всех рассчитано не было (советские архитекторы, проектировавшие города, совершенно искренне не подозревали, что жители будут в таком количестве владеть автомобилями и ставить их на ночь во внутриквартальных проездах). Есть и другая параллель: все стоят и маются, но есть те, кто продвигается без очереди. *Светофорный социализм* — не для всех, не для всех и *феодальный*, *барский* спецсигнал. На дороге, считает Левинсон, статусное неравенство имеет даже тенденцию к обострению: уличный автомобильный поток куда более иерархизирован, чем пешеходный: менее «крутые» «тачки», если не хотят проблем, всегда уступят более «крутым». «Поведение в потоке» — неписаный дорожный кодекс, которому теперь учат, как важному предмету, в российских автошколах наряду с настоящими правилами. Жизнь на наших дорогах остается построенной скорее на праве силы, чем на силе права, в соответствии с преимущественным типом мужской культуры в России, констатирует автор. Но отмечает он и другую сторону дела: автомобили оказались средством, укрепляющим солидарность. Ведь именно автомобилисты образовали одно из самых сильных движений нашего потихоньку нарождающегося гражданского общества. И есть надежда на то, что от примитивных статусных иерархий дело все же будет переходить к более цивилизованным и развитым формам поведения...

Обзор подготовил Дмитрий Матвеев

К столетию Александра Твардовского (1910 – 1971)

От редакции

В апреле этого года Главный редактор «Континента» И. Виноградов дал большое интервью одной из программ Российского телевидения для использования его в передаче, посвященной столетию со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского. Ниже мы печатаем выправленный и несколько дополненный автором текст этого интервью.

Игорь ВИНОГРАДОВ

ОН ОСТАЛСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ...

— Игорь Иванович! Вы почти полтора десятилетия работали рядом с Твардовским, были автором и членом редколлегии «Нового мира» в легендарные времена этого журнала. Расскажите, пожалуйста, как все это было: как вы попали в редакцию, каким показался Вам Александр Трифонович...

Я познакомился с Твардовским в 58-м году, когда он во второй раз возглавил «Новый мир» (напомню, что Главным редактором «Нового мира» он был и в начале 50-х, но потом был снят, а в 58-м назначен снова). Я стал печататься в журнале буквально с первого или второго номера после прихода Твардовского и, естественно, сразу познакомился с ним. Я стал одним из постоянных авторов критического отдела, а через семь лет, в 65-м, был приглашен и в редколлегию. Ушел заведующий отделом прозы и член редколлегии Е. Н. Герасимов, и Твардовский предложил мне, по его рекомендации, занять это место. Так что с 65-го по 70-й я работал уже в штате. И это, естественно, означало непрерывное общение с Твардовским: он приезжал в редакцию почти каждый день.

Игорь ВИНОГРАДОВ — родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ. Литературовед, критик, публицист. Автор семи книг и многих статей по русской классической и современной литературе, по проблемам эстетики и культуры, социологии и религиозной жизни. С 1992 г. — главный редактор «Континента». Живет в Москве

— Запомнились ли какие-то детали первой встречи?

Да нет, никаких существенных деталей именно первой встречи я не помню. Зато запомнился другой момент. Когда Твардовский предложил мне возглавить отдел прозы, став членом редколлегии, и я согласился, ему в моем ответе, видимо, чего-то не хватило и он задал несколько нетерпеливый вопрос, который я вряд ли смогу сейчас воспроизвести буквально. Но смысл его был такой: скажите, но работа в «Новом мире» все-таки что-то для вас значит или нет? И когда я сказал, что, конечно, это для меня большая честь, он был явно удовлетворен. Это было немножко смешно, но трогательно — ведь журнал был для него буквально всем.

— А тему своей первой публикации помните?

Конечно. Первая моя публикация — статья о повести Владимира Тендрякова «Чудотворная». И я знаю, что в редакции лежала и другая статья, предложенная одним из критиков, и что Твардовский выбрал мою статью, сказав на редколлегии, что журналу нужна сейчас именно такая критика. Дело в том, что моя статья была откровенно публицистического плана — она была обращена прежде всего к тем проблемам жизни нашего тогдашнего общества, которые нашли свое отражение в повести Тендрякова. Так началось мое сотрудничество с «Новым миром».

— А просто критика, чистое литературоведение Твардовского интересовали меньше?

Новомирская критика того времени продолжала традиции *реальной критики* Добролюбова, шестидесятников прошлого — XIX — века и была, повторяю, критикой прежде всего публицистической. На первом месте здесь всегда было обращение все-таки к правде жизни, и судить по литературе именно о жизни — это и было главной задачей новомирской литературной критики. Хотя, разумеется, такая задача могла ставиться только при условии высокого художественного качества разбираемого литературного текста, и это сторона дела тоже была всегда непременной составляющей новомирской критической статьи. Исходные эстетические критерии оценок и отбора произведений как для публикации, так и для критико-публицистического анализа всегда были, на мой взгляд, в «Новом мире» очень высоки. Но «чисто» литературоведческого характера критика на страницах его появлялась редко.

— Этим летом исполняется сто лет со дня рождения Александра Трифоновича. Что вы можете сказать в связи с этой датой? Какую оценку вы бы дали жизни и творчеству Твардовского как литературный критик, как современник, как сотрудник?

Я считаю Твардовского одной из самых ярких и значительных фигур в русской культуре и русской общественной мысли середины XX века. Твардовский — это целая эпоха, зеркалом которой стал «Новый мир». И не только зеркалом. Этот журнал был не просто отражением своего времени, но в известной мере он был и творцом его — духовным источником, питавшим свое время. Источником всего свежего, свободного, истинного в общественной жизни, в общественной мысли. Так что «Новый мир» Твардовского и сам по себе — целая эпоха.

Впрочем, на эту тему еще в начале семидесятых в Англии вышла книга Жореса Медведева «Десять лет после "Одного дня Ивана Денисовича"».

— Вы сейчас говорите о Твардовском-редакторе. А что вы думаете о Твардовском-человеке, о Твардовском-поэте?

Я считаю, что Твардовский — это фигура одновременно и великая, и трагическая. Причем характерно и чрезвычайно показательно, что источник и величия, и трагизма — один и тот же. Просто это разные проявления одной и той же сути этого человека, его внутреннего мира.

Попробую объяснить.

Повторяю: «Новый мир» был выражением своего времени — выражением оттепели, шестидесятничества, как это явление сейчас именуют. И Твардовский был выразителем и, безусловно, одним из создателей того мироощущения, мировоззрения, мировидения, которое позднее стали называть *социализмом с человеческим лицом*. Шестидесятые годы, конечно, этим не исчерпываются, но все-таки центральный вектор общественного мировидения людей, которые работали в это время, может быть охарактеризован именно этим словосочетанием.

Но ведь уже и само это словосочетание — «социализм с человеческим лицом» — несет в себе внутреннее противоречие и внутренний трагизм. Что касается человеческого лица, — то это все то, что связано все-таки именно с гуманистической традицией, с традициями честности, правды, человечности и т. д. Что же касается социализма, то его «человечность» — это больше идеологический миф, а по реальной сути своей он как раз и не имеет никакого отношения к «человеческому лицу», к первой части словосочетания. Поэтому сама попытка строить, или, вернее, — уповать на социализм с человеческим лицом была, конечно, абсолютно утопической.

Но потребность в этой утопии была естественной, понятной. Потому что стремление к тому, чтобы сделать окружающий мир человечным, в нормальном человеке неистребима, а в идеологии социализма, в идеологии марксизма было очень много как раз элементов своего рода безрелигиозного гуманизма. Во всяком случае именно гуманизм был фирменным знаком этой идеологии. Недаром увлечением советской властью и желанием с ней сотрудничать переболели очень многие — и Пастернак, и Мандельштам. Что же говорить о Твардовском, который до конца жизни был коммунис-

том, до конца жизни верил в возможность придания социализму человеческого лица! Для него, совершенно безусловно, именно *человеческое лицо* было главным в социализме — по самой его человеческой природе, по его происхождению, по знанию народной жизни, из глубин которой он сам вышел. И по складу человека совестливого, человека честного, человека мужественного. Он и был поэтому прежде всего рыцарем, апологетом правды, добра, справедливости, человечности. Да, иллюзия его, как и миллионов его современников, заключалась в том, что это *человеческое лицо* можно привить социализму. Но Твардовский в это верил свято, как и многие в это время. И это мировидение осталось у него до конца жизни. У него даже в стихах последних лет есть такие, например, строчки:

Опять над ленинской страницей,
Несущей миру свет дневной,
Не мог в смущеньи отстраниться
От мысли каверзной одной.
Опять представилось в натуре,
Что самому бы Ильичу,
При нашей нынешней цензуре —
Молчу!..

То есть и в конце 60-х Твардовский страдал от того, как бы сейчас наша цензура изуродовала Ленина. Эта фигура оставалась для него *несущей миру свет дневной*, так же как Маркс и Энгельс.

— А Сталин? Как он относился к Сталину?

Сначала заблуждался, как абсолютное большинство советских людей. И расставание с этим заблуждением было очень тяжелым. Но оно было, и оно было решительным. Для него Сталин был воплощением всего того, что не есть *человеческое лицо* социализма. Но в его сознании еще не был развенчан марксизм-ленинизм — то есть та же самая суть, только в другом выражении. Он и мысли не допускал, что марксизм-ленинизм — это и есть те самые мировоззренчески-идеологические истоки всего, что делал Сталин.

Он оставался где-то до конца таким вот. И вот это сочетание этих двух пластов сознания и психологии, это вот душевное устройство на протяжении всей его жизни и определяло ту ее стержневую линию, по которой шли и разлом, и трагедия, и драма его души.

У него есть прелестное и очень характерное в этом отношении стихотворение — тоже написанное в последние годы, — где он немного шутливо вспоминает свою юность:

Погубленных березок вялый лист,
Еще сырой, еще живой и клейкий,
Как сено из-под дождика, душист.
И духов день. Собрание в ячейке.

А в церкви служба. Первый гармонист
У школы восседает на скамейке,
С ним рядом я, суровый атеист
И член бюро. Но миру не раскрытый —
В душе поет под музыку секрет,
Что скоро мне семнадцать полных лег
И я, помимо прочего, поэт, —
Какой хочу, такой и знаменитый.

Вот это сочетание — «суровый атеист и член бюро», с одной стороны, а с другой (это уже начало поэзии) — поэт, «какой хочу, такой и знаменитый» — прошло у него через всю жизнь.

— А его атеизм не претерпел изменений до конца жизни?

Насколько я знаю, он до конца жизни оставался неверующим человеком, хотя женат был, между прочим, на дочери священника. Однако Духов день — Духовым днем, церковная служба — церковной службой, но партячейка, съезд народных депутатов или партийный съезд — это тоже присутствовало постоянно, и это в его мировидении было все-таки главным. Надо оговорить, что воинствующим атеистом он никогда не был, как вообще никогда не был агрессивным по отношению к не близким ему культурным феноменам, взглядам других людей, инакомыслию. Абсолютно никогда.

Но, с другой стороны, он был все-таки твердокаменным марксистом-ленинцем.

И я думаю, что это вот мировидение, этот духовный мир — это и есть начало всего того, что сделало его и великой, и одновременно трагической фигурой.

— Поясните, пожалуйста.

Я считаю, что у Твардовского был великий поэтический дар. Природа его наделила просто огромным дарованием. Фактура его стиха, его звучание, умение афористично выразить мысль, точность образов, ритмика стиха, иногда достигающая (скажем, в поэме «За далью даль» или «По праву памяти») пушкинской державности, — все это было ему дано. Но дар этот наполнялся и существовал в рамках марксистского мировидения, и Твардовский из него не выходил.

По своей природе это был дар прежде всего лирико-публицистический. Обратите внимание: у него ведь почти нет любовной лирики, Твардовский всегда был гражданским поэтом по преимуществу. И те рамки, которые ставило ему его мировидение, не позволяли ему выйти из него в поэтическом осмыслении и отражении той реальной жизни его страны, которая была преимущественным предметом его поэтического внимания. Поэтому когда поэзия его вбирала в себя жизнь народа, страны, общества в тех ее проявле-

ниях, которые не были непосредственно связаны с идеологией и не нуждались в ее освящении, он достигал очень больших вершин. Недаром даже Бунин — человек, казалось бы, совершенно другого духовного склада — очень высоко ценил «Василия Теркина». И надо сказать (а я еще помню это время), что когда кончилась война, в России не было, наверное, человека, который не знал бы каких-то строчек из «Теркина». «Теркин» был действительно народной поэмой — ее тогда знали все. А вот сейчас, кажется, не знает уже почти никто: спросите сегодня любого школьника, он вообще не скажет, кто такой Твардовский.

Да и вообще — возьмите его лирику военных — «Я убит под Ржевом» или вот это вот поразительное его стихотворение:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Вот эта боль, это ощущение собственной связанности с жизнью других людей, с жизнью народа, ощущение своей судьбы как неотъемлемой частицы жизни народа — это для него всегда было очень важно. Это была самая высокая нота в его жизни.

Однако при всей стихотворной изощренности и совершенстве формы таких, например, поэм, как «По праву памяти» или «За далью — даль», они в содержательном своем наполнении были, говоря современным языком, прежде всего своего рода лирико-публицистической *разборкой* со своим временем, причем в рамках святой для Твардовского «истинно-марксисткого», «истинно-коммунистической» его веры. Объяснением, переживанием тех бед страны, которые пришли с искажением этой веры, со Сталиным, со знаменитой формулой Сталина, что сын за отца не отвечает, и т. д. И вот эта сосредоточенность на гражданской проблематике времени не давала простора, воздуха, выхода темам, скажем так, метафизического, экзистенциального измерения. Именно акцентировано-гражданское коммунистическое мировидение давило и мешало такому выходу, а ведь Твардовский был поэт, безусловно, к этому расположенный. Вспомните вот хоть такие, например, совершенно гениальные, на мой взгляд, строчки, где поистине космические, но притом абсолютно конкретные, земные образы-символы, найденные Твардовским, вбирают в себя всю пронзительно-бесценную теплоту уходящего скоротечного земного бытия:

На дне моей жизни,
на самом донышке,
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пёнушке...

Словом, я считаю, что все это действительно было настоящей трагедией его дара. Великого дара, которому историческое время, в которое жил Твардовский, и его с этим временем отношения не дали развернуться до конца, в полную силу заложенных в нем возможностей.

— А он никогда не говорил о том, как ему пришла идея написать поэму «Теркин на том свете» — отправить своего героя на тот свет?

Ну почему?.. Это известно. И это и связано как раз с его активной гражданской позицией, протестом против всей мертвечины, против всего, что ассоциировалось со сталинской казенщиной, с насилием, со всем тем, что не было *социализмом с человеческим лицом*. И когда началась послевоенная жизнь, когда все отрицательные стороны сталинского режима, который во время войны получал, казалось, хоть какое-то оправдание, потому что это была жестокая битва *«ради жизни на земле»* и нужна была железная централизация и дисциплина, неизбежны жертвы и так далее, — когда война кончилась, вся эта мертвечина вылезла на первый план. И тут и пришла идея «Теркина на том свете». Твардовский и в эту пору своей жизни оставался верен себе, как оставался верен себе всегда, потому что жизнь народа, жизнь страны — это всегда было для него главным. Поэма была ярко гротескным, очень острым сатирическим изображением всего нашего безобразия — то есть не всего, конечно, но того, что отливалось в формы бюрократически-казенной нашей жизни. И это был очень смелый удар по сталинщине...

— В 58-м году, когда вы пришли в журнал, эта поэма не была опубликована и ходила в списках. Вы ее на тот момент уже прочли?

Да, я читал. Кстати, первое увольнение Твардовского из «Нового мира» связано как раз с этой поэмой, хотя официальным поводом называлось другое. Насколько я знаю по рассказам того времени, по рассказам самого Твардовского и по легендам, которые в это время уже ходили, дело в том, что в первом варианте этой поэмы (он, насколько я знаю, до сих пор не опубликован) был такой эпизод. Там есть такой персонаж — генерал-покойник, с которым беседует Василий Теркин; так вот этот генерал-покойник говорит что-то в таком роде (не помню точно стих) — *мне бы здесь батальон живых*... И, кажется, Хрущев очень резко прореагировал именно на этот момент, потому что это было еще время не очень устойчивой его власти и всякий намек на то, что в его царстве возможен военный переворот, воспринимался им очень остро и болезненно. И Твардовского сняли с поста главного редактора именно за это. Естественно, об этом не говорилось, а обвинялся он в том, что напечатал статьи Лифшица, Абрамова, Померанцева и Щеглова.

— А публикация состоялась в 63-м году, то есть уже в ваше с ним время...

Поэма, насколько я помню, появилась сначала в «Известиях», а потом уже на страницах «Нового мира». И это было событие. Не только появление ее в печати, но и то обстоятельство, что на этот раз публикация была разрешена сверху. Без разрешения сверху она бы, естественно, не вышла. Но несмотря на то, что она была легализована, тем не менее судьба ее была тяжелой в том смысле, что ходу ей никакого не давали. Даже спектакль, который поставил по поэме театр Сатиры и где роль Теркина блестяще сыграл Анатолий Папанов, был быстро снят. Он и прошел-то, по-моему, два или три раза. А спектакль был великолепный: острый, яркий. Мы все были на премьере: нас пригласили — всю редколлегию во главе с Твардовским... Была еще издана пластинка, где Твардовский сам читает «Теркина на том свете». У меня эта пластинка есть с как всегда скромной дарственной надписью Твардовского: «Для прослушивания в новой квартире».

— А как он читал?

Он читал очень просто, без поэтических завываний. Но я не могу сказать, что он любил читать свои стихи. И это было всегда для него очень серьезное дело — вынести стихи на редколлегию. А он всегда показывал свои стихи и поэмы на редколлегии, когда предлагал их для опубликования в «Новом мире». Но я даже не помню, читал ли он их вслух или просто давал нам в напечатанном виде.

— А мнением потом интересовался?

Обязательно интересовался. Вообще он был в этом смысле — как журналист, как редактор — человек удивительный. И то, что прошло таким трагическим надломом по его поэтическому творчеству, то, что не дало ему выйти за рамки, за которые сумели в свое время выйти и Пастернак, и Ахматова, и Мандельштам, и стать поэтом такого же культурно-духовного масштаба (повторюсь: он был действительно народным поэтом — но народным поэтом своего времени и потому и оставшимся, в общем, в той эпохе), — это же самое дало ему возможность стать великим редактором. Потому что журнал — это организм, который целиком заключен в историческом времени и не может из него выпрыгнуть. Он может быть только таким, каким это время позволяет. Время, в котором работал Твардовский и существовал его «Новый мир», — это было время Оттепели, вот этого «социализма с человеческим лицом». За эти рамки журнал выпрыгнуть не мог. Но зато в этих рамках он мог делать все, на что был способен. И Твардовскому удалось сделать максимум того, что можно было сделать при этих условиях.

Да, «Новый мир» Твардовского тоже остался в том времени. Безусловно. Но он в том времени сделал все, что было возможно. И вся талантливая, выда-

ющаяся, замечательная русская литература второй половины XX века в 60-е годы прошла через «Новый мир» — Виктор Некрасов, Федор Абрамов, Фазиль Искандер, Владимир Тендряков, Гавриил Троепольский, Василь Быков, Юрий Бондарев, Борис Можаев, позднее Солженицын... Десятки имен. Вся значимая литература. Это все прошло через «Новый мир». И в этом смысле Твардовский был человеком невероятно мужественным, потому что он мог настоять на публикациях, умел отстаивать их. Хотя именно за журнальную деятельность его и преследовали больше всего — постоянно вызывали на цэковский ковер, лишали в очередной раз кандидатства в члены ЦК и т. п.

— Назовите самые кульминационные точки в жизни его как главного редактора.

При мне таких моментов было несколько. Первый, наверное, это публикация «Одного дня Ивана Денисовича». Но это было тоже с разрешения «верха». Твардовский сумел передать эту рукопись Хрущеву. Хрущев, как известно, прочитал и был растроган. К тому же это случилось практически сразу после XXII съезда — усилилась борьба с культом личности, стали переименовывать города и демонтировать памятники... Необходимо было окончательно разделаться со Сталиным, и поэтому Хрущев дал «добро» на печатание «Одного дня».

— А вы еще тогда в штате не были?

Нет, в штате я не был. Но я был уже близким человеком в редакции. И мне сразу дали почитать эту рукопись. Заперли меня в одном из кабинетов, и я там часа три, по-моему, сидел, листая странички пожелтевшей дешевой бумаги, на которой довольно слепо была напечатана эта повесть, называвшаяся тогда «Щ-854».

— И каково было впечатление?

С самого начала, когда я прочитал только страниц десять-пятнадцать, у меня возникло некоторое внутреннее недоумение: я не понимал, что это такое. Что это — случай гениального самородка того же примерно человеческого уровня, что и его герой (потому что в повести все рассказывается как бы с точки зрения самого Ивана Денисовича, подается через его мировосприятие, его уровень понимания и ви́дения жизни и т. д.)? Значит ли это, что автор этого произведения — тот же Иван Денисович, но только обладающий даром это все рассказать — языком Ивана Денисовича?.. То есть что произошло гениальное попадание, совпадение автора и героя? Или это что-то иное?

И только когда я дошел до сцены спора Цезаря с Кавторангом об «Иване Грозном» Эйзенштейна, стало понятно, что между автором и героем — огромная дистанция. То есть громадное мастерство автора стало совершенно

очевидным. Вот такое перевоплощение в героя, с одной стороны, и умение так его объективировать, с другой... То есть стало понятно, что перед нами великий писатель.

— Но ведь о существовании ГУЛага было уже известно. То есть в этом плане нового для вас ничего не было...

Нет, новое было. Конечно, мы знали о существовании лагерей, естественно, к тому же была реабилитация, люди возвращались и так далее... И в редакцию шли какие-то письма, появлялись какие-то даже рассказы, но они не обладали такой силой воздействия. Потому что такая вот художественно яркая картина самых легких, самых удачных, но тем, может быть, особенно и ужасающих дней каждодневной лагерной жизни была представлена в литературе впервые. Недаром эта вещь произвела такой фурор, стала сенсацией. Не тем, что она вообще открыла что-то новое. Но она открыла то новое, чего люди не знали — не как факт, а как живую реальность, которую можно представить, услышать, увидеть своими глазами. То есть это была та реальность искусства, которая и открывает правду по-настоящему, до конца. А не просто сообщает о жизни какие-то сведения.

— И вот опубликовали «Ивана Денисовича» — и что: письма посыпались, тираж взлетел?

Я в это время еще не работал в «Новом мире», но знаю, что откликов было просто море. Но когда Солженицын был выдвинут на Ленинскую премию (это был где-то 63-й год — накануне снятия Хрущева), Хрущев все-таки дрогнул, и премию Солженицыну не дали. Я не думаю, правда, что это бы принципиально изменило ситуацию. Но, безусловно, на какое-то время еще оттянуло бы трагическую кончину «Нового мира».

— А как пережил журнал смещение Хрущева?

Ну, изменения начались уже и при Хрущеве. Уже история с выдвижением на Ленинскую премию и то, что солженицынская партия была проиграна, показало, что крен начинается в какую-то другую сторону. Надо сказать, что насчет Хрущева никто особых иллюзий у нас и не питал: понятно было, что он ведет политическую игру и руководит им политическая необходимость в борьбе за власть. Но мы не могли не видеть и реальных, объективных заслуг Хрущева, который вернул жизнь многим людям. Поэтому, конечно, и отношение к его политической смерти было двойственным: с одной стороны, действительно, и волюнтаризм, и самодурство, а с другой, — все-таки отец Оттепели, человек, которому выпала такая историческая роль.

Но все это было в начале его правления. И то, что потом довольно быстро наступило совершенно явное похолодание, мы в редакции отчетливо

почувствовали сразу. Вот я пришел в 65-м году, а уже в 66-м нанесен был первый удар по редколлегии: сняли первого заместителя Твардовского А. Г. Дементьева и ответственного секретаря Б. Г. Закса. Логика была чисто бюрократическая: первый зам. и ответственный секретарь, ответственные люди, опора Твардовского. Так считали наверху. Что же касается реальности, то потеря Дементьева была действительно очень болезненна, — как я это понимаю и как понимала молодая часть редакции. Дементьев был человеком очень опытным, очень осторожным, абсолютно близких Твардовскому мировоззренческих позиций: они были старые друзья. Но он очень точно знал границу возможного и вплоть *до* этой границы никогда не чинил никаких препон тому, что предлагала редакция — наш первый этаж, где размещались отделы. Он знал эту черту и был абсолютно надежен и помогал, пока мы ее не переступали. Что же касается Закса, то он был гораздо более осторожным человеком и не играл такой роли в редакции, как Дементьев.

— А пытался Александр Трифонович отстоять их?

Нет, насколько я помню. Да и невозможно было даже как-то с этим спорить. Просто было увольнение — и все. Было решение ЦК по этому поводу, оформленное, конечно, через секретариат Союза писателей. Но это обычная форма партийно-бюрократических разборок того времени.

Но самого-то Твардовского ведь не сняли, и он имел еще возможность сам как-то реконструировать редколлегию. Он взял тогда ответственным секретарем Михаила Хитрова, нашего с Лакшиным однокашника по Университету, и пригласил на должность заведующего отделом прозы (которую занимал я) Ефима Дороша, а я перешел в отдел критики и уже до конца работы в «Новом мире» заведовал отделом критики, вел этот участок новомирского «фронта».

Таким образом редколлегия была реконструирована, и мы продолжали работать.

— И как вам работалось?

Очень многие номера мы делали практически в двойном варианте. Потому что цензура была жестокая и любому материалу необходимо было готовить замену — на случай, если его снимут. Что только они для этого ни делали, каких только способов ни изобретали! Но и разделаться с журналом было не так просто. Все-таки авторитет народного поэта был огромен. В то время имя Твардовского значило действительно очень много: кандидат в члены ЦК, знаменитейшая фигура, в известной мере и вельможная... Так что запросто разделаться было нельзя. Поэтому нужно было все время что-то изобретать — давить, душить...

Я помню одним из кульминационных моментов была публикация статьи Д. Мельникова и Л. Черной «Преступник номер один» об Адольфе Гит-

лере. Цензура не просто сняла эту статью: именно тогда и именно для этого в цензурном уставе появился специальный пункт — «неконтролируемый подтекст». То есть отныне вам могли ничего не объяснять: неконтролируемый подтекст — и всё. Какой неконтролируемый подтекст? Ассоциации с советским режимом, со Сталиным и т. п. А поскольку неконтролируемый, его и показать нельзя. Но приговор есть, вот этот пункт есть. Всё.

— И как же? Выходит, снять могли что угодно?..

Так оно и было, именно поэтому, как я сказал, очень многие материалы заранее дублировались. Работой с цензурой занимался обычно Кондратович. Но я помню, как однажды вместе с ним (и, по-моему, с Лакшиным) мы были в цензуре и часа четыре разговаривали по поводу «Нового назначения» А. Бека, отстаивая текст буквально по строчкам.

Это была жестокая постоянная борьба. И Твардовский держался в этих ситуациях всегда очень мужественно.

— Мы говорили о кульминационных точках в его редакторской работе. Еще какие-то можете назвать?

Самый кульминационный момент — это, конечно, 68-й год, август: советские танки в Чехословакии. Тогда стало окончательно ясно, что началась новая эра постхрущевской эпохи. По всем организациям были проведены официальные собрания — партсобрания, собрания трудовых коллективов в поддержку этой акции — подавления Пражской Весны. И в «Новом мире» сложилась тогда довольно драматичная ситуация, о которой Солженицын рассказывает в своем «Теленке».

Я считал тогда, что в 1968 году конец эпохи нашего «Новый мира», в общем, уже предрешен и мы не должны завершать ее акцией, которая зачеркивает все, что мы делали. Не должны проводить это собрание, не должны высказывать одобрение этой акции. Другие члены редколлегии думали по-другому. Но Твардовский (в это время он был в своем, к сожалению, не очень редком и очень тяжелом болезненном отбытии, скажем так) не подписал никаких одобрительных писем, сумел от этого уйти.

Помню, уже после разгона «Нового мира», уже не будучи главным редактором, но оставаясь членом Секретариата Союза писателей, он где-то в мае 70-го года поехал к Жоресу Медведеву, лежавшему в психиатрической больнице — в Калуге, кажется. Такой поступок в то время значил многое: это была ведь откровенная поддержка диссидента. И это Твардовскому очень ставили в вину в Секретариате СП — Воронков, оргсекретарь Союза, сказал ему тогда: «Александр Трифонович, как же так, мы ведь вам Героя думали дать к шестидесятилетию» (шестидесятилетие он должен был отмечать 21 июня 70-го года). На что Твардовский ответил: «А что — Героев у нас за трусость что ли дают?» Вот таким он был.

Хотя нельзя сказать, что его не ломали никогда, что ему не приходилось в чем-то подчиняться. Приходилось, конечно. Но в принципе он был человеком упорным и очень мужественным.

— Решение снять Твардовского созревало, видимо, уже с 68-го года. А что было последней каплей?

Последней каплей стало знаменитое «письмо одиннадцати»: летом 1969 года в «Огоньке» было опубликовано письмо, которое подписали одиннадцать литераторов — Софронов и компания — и которое обвиняло «Новый мир» во всех смертных грехах, разумеется, идеологических. И в ответ на это письмо через какое-то время было издано решение Секретариата СП (а предварительно состоялось решение Секретариата ЦК партии) о выводе из состава редколлегии «Нового мира» четырех человек — Лакшина, Кондратовича, Саца и меня. Причем все мы были уволены без каких-либо объяснений. А Твардовскому на этот раз был предложен новый состав редколлегии. Список составлялся уже непосредственно в ЦК и состоял из просто откровенных противников Твардовского — Д. Большова, А. Овчаренко и так далее. Твардовский отказался выполнять это приказание, хотя его и убеждали (тот же Дементьев, по-моему), что надо все-таки продолжать дело и пытаться тянуть журнал. Но Твардовский понимал, что с такой редколлегией уже ничего не получится. Вот тогда он и подал заявление об уходе с поста главного редактора. И довольно долго это заявление лежало на столе у Брежнева: тот не решался все же так уж сразу покончить с народным поэтом. Но в какой-то момент решение было все-таки принято. И, как я слышал (не знаю, правда это или нет), в какой-то мере с этим оказалась связана и моя судьба. Дело в том, что когда сняли четырех членов редколлегии, Лакшин и Кондратович были сразу переведены решением Секретариата на соответствующие должности с тем же самым окладом — один в «Иностранную литературу», другой — в «Советскую литературу на иностранных языках». Сац был внештатным членом редколлегии, и ему работу не подыскивали. Что же касается меня, — меня просто выставили «с волчьим билетом». Год я был без работы, и потом, уже позднее, мне рассказывал секретарь вице-президента Академии наук Румянцев, что якобы (повторяю: я не знаю, правда ли это) одним из последних аргументов для Брежнева была ложная информация о том, что поэма «По праву памяти», которая была напечатана первоначально заграницей, была передана туда через редакцию «Нового мира» и что непосредственное участие в этом принимал я. То есть то, что редакция поступила таким вот образом, что она способна на такого рода предательства, и послужило для Брежнева последним доводом. И он подписал, наконец, приказ об увольнении Твардовского.

И через полтора года Твардовский умер.

— А как поэма попала заграницу?

Этого я не знаю. Сейчас уже другие времена, и я бы рассказал, если бы знал. Но то, что не через редакцию — это совершенно точно. Ничего подобного не могло быть, потому что вся стратегия и тактика Твардовского заключалась в том, чтобы всеми силами сохранить этот единственный легальный журнал, который действительно был оппозиционным изданием, единственной щелью для хоть какого-то свежего воздуха. Именно поэтому к нам никогда не обращались с просьбами подписать какие-либо письма — скажем, в защиту арестованных и т. п., потому что интеллигенция того времени понимала, что такое «Новый мир». И, конечно, ни в каких нелегальных действиях вроде отправки рукописи заграницу, участвовать мы не могли. Потому что мы действительно дорожили журналом.

— А почему он не опубликовал поэму в «Новом мире»?

Она не прошла тогда цензуру, не могла пройти. В СССР она была опубликована лишь в 87-м году.

— А как он отмечал свое 60-летие?

Нас, своих бывших сотрудников, он пригласил к себе на маленький банкет. По-моему, он в это время еще не был болен. Болезнь началась чуть-чуть позднее. Это был такой свой, дружеский, домашний юбилей. Печальный. Больше грустный, чем радостный.

— А по каким еще поводам в редакции пивали?

Традиций особых не было. Но часто мы все после заседания редколлегии или просто даже после очередного рабочего дня могли пройти в соседний ресторанчик или кафе посидеть. В ЦДЛ мы не ходили. Ближе к редакции была маленькая кафешка на Пушкинской улице. Там мы чаще отмечали конец рабочего дня.

— Ваша последняя встреча...

Наша последняя встреча... По-моему, это был уже 71-й год. На даче. Он уже был болен. Его уже разбил инсульт. Он уже не говорил. И мы к нему приехали, какая-то часть редколлегии. Он был, как всегда, расположен и доброжелателен, но практически лишен возможности общения. Сидел в кресле полунеподвижный... Печальная была встреча...

Очень хорошо помню похороны. Это было в большом зале ЦДЛ. Гроб стоял на сцене. Народу было очень много. Мы, бывшие члены редакции, были как бы дежурными там, ходили по залу с красными повязками, следили за порядком. Я помню, как в зал вошел Солженицын — в шубе. Видимо, не хотел даже раздеваться, потому что боялся, что его не разденут в гардеро-

бе. Мы подошли к нему, сняли с него шубу. Я его провел в первый ряд, посадил рядом с вдовой, Марией Ильиничной. Он подошел к гробу, перекрестил покойника, поцеловал. В то время это был *жест*...

Выступлений я не помню. Какие-то были выступления казенные, которые всегда бывают. И было даже что-то такое — какая-то девочка выкрикнула из зала: «Это вы его довели, вы его убили!» Что-то в этом роде — в ответ на какое-то из этих казенных выступлений.

А потом были похороны на Новодевичьем кладбище. И было очень много народу: Твардовский действительно был народным поэтом, символом всего лучшего в своей эпохе. Он выразил ее и ушел с нею, навсегда соединившись с нею в нашей памяти.

— Почему до сих нет памятника Твардовскому? Чем это можно объяснить?

Тем, что мы иваны, не помнящие родства. Мы помним родство, когда это родство с товарищем Сталиным. Вот это пожалуйста. А когда родство настоящее, когда речь идет о том, чтобы продолжать эстафету культуры, понимать и ценить наши лучшие традиции, на это нас не хватает. А Твардовский был всегда человеком, не умевшим и не любившим то, что на современном языке называется пиаром. Ни самопиар, ни пиар журнала. И, насколько я понимаю, дочери его тоже в этом отношении люди старой закалки. Так что никто Твардовского не пиарит, никто об этом особо не думает, издают его сейчас мало. Ну, может, к столетию что-то сделают все-таки...

— А что вы можете сказать о его отношениях с семьей, с отцом?

Это очень деликатная и щекотливая тема, а я слишком мало об этом знаю. Знаю, что там были сложности. И эти сложности, кстати, отразились в поэме «По праву памяти», где есть главка «Сын за отца не отвечает». Вся эта главка написана с позиций в большей степени, может быть, переживаний за судьбу сына, чем за судьбу отца. Я думаю, что тут тоже был какой-то внутренний надлом. Нравственный, моральный. Надлом и какой-то комплекс. Но это мои предположения, которые я не берусь мотивировать.

— Вы были друзьями?

Нет, ни в коем случае. Вспоминая все это, я вовсе не хочу сказать, что был близким к Твардовскому человеком. Более того, в последний период моей работы в «Новом мире» у нас были, видимо, довольно натянутые отношения. Много позже Валентина Александровна Твардовская сказала как-то мне, что в последний год его жизни мое имя вызывало у отца некоторое, выразимся так, напряжение. Это, естественно, было мне не очень приятно и, главное, не очень понятно. Но тому могли быть очень разные причины, и пока я не

хочу в эту тему углубляться. Из молодого поколения гораздо более близким человеком для него был, конечно, Владимир Лакшин. Довольно близким был и Михаил Хитров. И старшие — Сац, Дементьев, это были его друзья.

Тот разлом, который прошел сквозь всю его жизнь и сказался в его творчестве, сказался и в драматизме его работы как главного редактора. Дело в том, что он был убежден всегда, что в любом кабинете, любому секретарю ЦК или даже прилюдно на Красной Площади он может сказать то же самое, что говорит у себя в кабинете главного редактора. Мы знали, что в редакции есть прослушка: нам об этом просто рассказали монтеры. Мы это знали, но в общем-то не стеснялись, и Твардовский не стеснялся, — и в этом была и его слабость, и его сила. Слабость в том, что для него партийные власти, при всех жестких с ними конфликтах из-за их, с его точки зрения, «уклонений» от истинного марксизма в сторону сталинизма, оставались в принципе все-таки в одном с ним общем мировоззренческом лагере. Но это, с другой стороны, давало ему право резать им марксистскую правду-матку в глаза и говорить о ней и отстаивать ее на одном с ними, собственном их официальном языке — в открытую, прямо. А он был человек мужественный и не боялся это делать — и совершенно искренне. И в этом была его сила — в отличие, может быть, от некоторых из нас, молодых, которые во всей этой идеологической демагогии уже разобрались и не могли убеждать власть имущих лицемеров, что отстаивают те же самые идеалы. Уже нет.

А Твардовский отстаивал. И в этом была вся его трагедия. Потому что он оказался как бы чужим среди своих — среди тех, кого считал своими. И то, что вот эта советская власть, которой он отдал всю жизнь, не понимала, что он того же хочет, что и она, — утвердить в стране тот же социалистический, коммунистический строй, это же мировоззрение, и что для этого требуется прежде всего правда, правда и правда, — вот это, конечно, было трагично. Это была действительно трагическая ситуация его внутреннего надлома и как редактора тоже.

Я думаю, что надлом этот отражался и в личности. Он отражался, прежде всего в несчастной его болезни, которая безусловно была связана с постоянными стрессовыми ситуациями, с постоянной тяжестью непрерывной борьбы — причем вроде бы со «своими» же. И этого нервы просто не выдерживали. И он срывался, и очень тяжело это переживал. И чувствовал себя очень виноватым, когда приходил в редакцию. Это была, действительно, тяжелая беда, за которую винить его просто не знаю, у кого рука поднимется.

— А кроме болезни, это как-то сказывалось в нем?

Да, конечно. Ведь он был человеком, скажем так, вельможным, знаменитым. Человеком, привыкшим наверху общаться на равных за чаем с первыми людьми государства, сидеть с Хрущевым. Человеком, с которым считалась власть и не могла не считаться. Человеком, который, будучи еще студентом Литературного института, уже носил на груди орден Ленина, которым Ста-

лин наградил его за «Страну Муравию». Он был лауреатом Государственных премий, кандидатом в члены ЦК партии, выступал с самых высоких трибун на партийных съездах и т. д. и т. п. То есть он был — знаменитость, и это в нем было, это давало себя знать, естественно, и в общении в редакции. Но одновременно это сочеталось с удивительным его демократизмом, с удивительной человеческой его обаятельностью. Он был действительно очень обаятелен... Я вспоминаю наши редколлегии, когда обсуждалась очередная какая-то вещь, которая приносилась в портфель «Нового мира», — Бондарев, Абрамов, Искандер... Это были совершенно удивительные обсуждения и разговоры. Это была настоящая творческая лаборатория, настоящая школа редактуры, и он был ее душой.

— Расскажите об этом.

Охотно, хотя тема эта — о той школе редактуры, которая была в «Новом мире», — заслуживает отдельного разговора. Это то, чего сейчас нет совершенно. То, что делали редакторы в «Новом мире» было просто настоящим подвигом, великой подвижнической работой. Это была редактура, которая действительно помогала писателям. Редактура не в смысле вычеркивания и поиска в тексте чего-то крамольного, а чисто художественная, творческая работа. Я могу сослаться, скажем, на Юрия Домбровского. Великий писатель, человек великого дарования. Но у него были свои слабости. Он с трудом выстраивал композицию. И это помогала ему делать Ася Берзер, старший редактор отдела прозы. Она вообще была превосходным редактором. Так возникали его знаменитые романы — «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей»... Я помню, что так же и я работал с Федором Абрамовым, с его романом «Две зимы и три лета» — мы выстраивали его конструкцию, и Абрамов был очень доволен этой совместной работой.

У меня в архиве до сих пор (потому что когда разогнали «Новый мир», мы, освобождая кабинеты, взяли какие-то архивы с собой) лежит рукопись «Прощай, Гюльсары!» Чингиза Айтматова. Знаменитый писатель, с мировой известностью... Но вы бы посмотрели на эту рукопись: от того, что было там в первоначальном варианте, осталось максимум половина. Там было очень много невероятно слабых сцен, фрагментов, описаний и т. д. Айтматов был человеком несомненно очень значительного художественного таланта, обладал даром яркого образного мышления, но он не владел по-настоящему умением лепки созданного его воображением образа через слово. Да и русское слово знал не очень хорошо. Повесть была практически переписана — сначала Евгением Герасимовым, потом Сацем, даже я потом немножко приложил к ней руку... В результате — знаменитая вещь, одна из лучших у Айтматова.

Это была именно такая работа. И Твардовский совершенно удивительно умел видеть всякий раз именно тот ее характер, который требовало произведение, умел направлять ее в нужное русло. Он всегда превосходно чувствовал

ткань литературного текста, который принимался к публикации, и умел помочь автору в работе над ним... Он вообще любил литературу. В журнале, может быть, в наибольшей степени как раз и получала свой выход. его истинная человеческая суть, которая выражалась как в его собственном поэтическом творчестве, так и в бескорыстной любви к литературе вообще, к творчеству других. С этим были связаны, кстати, и очень многие забавные, трогательные, а то и драматические журнальные ситуации, потому что все это было настолько близко всегда его сердцу, что к писателям, которых он печатал, которых принимал в журнал, он начинал относиться как к своим собственным детям. И когда дети эти вдруг показывали какую-то строптивость и было очевидно, что у них есть какая-то самостоятельность, какое-то собственное ви́дение своего пути, — это порой могло его очень огорчать. Так было и в случае с Солженицыным, и с Виктором Некрасовым... Так что у него возникали в связи с этим какие-то даже, я бы сказал, детские на них обиды.

Но это никогда не приводило тем не менее к сколько-нибудь серьезным конфликтам. Редакторская широта и человеческая мудрость позволяли Твардовскому сохранять добрые отношения и повзрослевшими, строптивыми «детьми». Поэтому он и сумел провести свой «Новый мир» сквозь все рифы и внешних и внутренних трудностей до тех пор, пока его не потопили уже окончательно, потому что журнал был, конечно же, настоящей костью в горле у тогдашней власти.

— А его жена играла какую-то роль в его творчестве?

Повторяю, я не был близким человеком ни самому Твардовскому, ни тем более его семье. Но насколько я знаю, Мария Илларионовна играла очень большую роль в его жизни. Она была и его первым читателем, и его первым редактором. И он с ней считался, насколько я знаю, очень считался.

— Как он воспринимал критику собственного творчества?

Я боюсь соврать, потому что не особенно помню. Там не было ограничений, вот это я помню точно. Ему можно было сказать какую-то не самую приятную правду, и его реакция была нормальной. Но, с другой стороны, и особой критики не было: мы все были единомышленники и относились к его поэзии — тогда, действительно, народной — с пиететом. Но и заискивания никакого не было никогда.

— А за что его критиковал Александр Исаевич?

Что касается солженицынской трактовки «Нового мира», там не все верно. Солженицын потом сам в поздних частях «Теленка» признал, что недооценивал умение и мудрость Твардовского, который действительно сумел провести «Новый мир» через такие рифы, такие буруны, которые человек

другого склада, другой природы, не такой твердости и не такого мужества, не такой прямоты, каким был Твардовский, — и вообще человек другого склада — никогда не провел бы. Да и не было таких примеров. Не было таких примеров больше. То, что «Юность» тогда делала, — это совсем другое дело. Совсем другое русло оттепельной культуры.

— И последний вопрос. Что Твардовский значил лично для вас?

Я могу сказать, что, несмотря на какие-то шероховатости в наших отношениях в последний год, для меня он навсегда остался одной из самых светлых личностей в моей жизни. Я к нему всегда относился с огромным уважением и даже с любовью. И я очень благодарен судьбе за то, что она меня свела с ним, что я прошел его редакторскую школу. И когда я думаю о том, кем бы сейчас был Твардовский, что было бы, если бы он прожил гораздо дольше... Я думаю, что он развивался бы, безусловно, в сторону постепенного отказа от всего того иллюзорного, чему поклонялся. Он тоже прошел бы тот путь, который прошли многие из нас, молодых его современников. Я думаю, что он отошел бы от марксизма, отошел бы от материализма, от атеизма. И я думаю, что это мощно развернуло бы его поэтический дар. Он бы расцвел на этом новом свободном дыхании. И выразил бы то, что не дало выразить его таланту его время.

Твардовский — фигура настолько для меня значимая, что она прошла красной нитью через мою последующую жизнь. Теперь я работаю в «Континенте», который Максимов в момент основания охарактеризовал как журнал, призванный продолжать традиции разгромленного «Нового мира». Так вот — после того, как «Континент» пришел в Россию и уже я стал его главным редактором, я тоже всегда ощущал и ощущаю его как журнал, который продолжает именно эти традиции. И продолжает их, я думаю, в гораздо большей мере, чем нынешний «Новый мир». Или даже скажу так: именно он и продолжает, а не нынешний «Новый мир»,обретший уже совсем другое лицо.

И я думаю, что будь жив Твардовский, это встретило бы его понимание и одобрение.

И думать и понимать это мне очень важно.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Первый квартал 2010 года

I.

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

Начнем обзор с *ПРОЗЫ О СОВРЕМЕННОСТИ* — заметной или замеченной. А также крупной по размеру.

Популярный сюжет — исповедь конформиста или даже предателя. **Повесть Виктора Шендеровича «Операция "Остров"»** (*«неоконченный киносценарий»*, «Знамя», № 3) представляет героя наших дней. Телепродюсер Песоцкий отправляется на десять дней на далекий остров в Таиланд отдохнуть с моделью Лерой от трудов на ниве телепиара и телеразвлечений. Однако расчет его не сбывается, вещи и Лера пропадают в пути, и герою приходится в одиночестве заняться собой, *вспомнить всё*. Шендерович пытается проследить путь юноши с честными намерениями на вершины карьеры, где правят бал цинизм и корысть. Время подлеет или человек ломается? *Главные душевные муки у Песоцкого были впереди, но он еще долго скользил по самому гребню волны, изображая одинокого интеллектуала. Люди помнили его таким — молодым, сильным, независимым... — и в длинной тени прежней репутации еще много лет прятался он от репутации новой. Она приходила медленно, но пришла. Ибо замечено было (сначала теми, кто повнимательнее, а помаленьку и остальными), что во все зыбкие времена — когда царил Гусь и когда винтили Гуся, когда кидал Береза и когда кидали Березу, — свободный интеллектуал Песоцкий, весь в белом, неизменно оказывался с победителями. С победителями, но немножечко сбоку. Там, где делят трофеи, но не забрызгано кровью. Когда он оказался с победителями и в двухтысячном, никто уже не удивился. Этот виток, правда, потребовал... новых умений, потому что ребята пришли с морозу совсем простые и, чуть чего, ломали об колено. <...> Но пришлось полюбить и это. Пришлось научиться... видеть поверх всего этого государственный интерес. Поверх разбоя, подлости, крови... Даже что-то стоическое появилось в эти годы во взгляде Песоцкого, ибо сколько же надо вместить любви к Родине, чтобы задавить в себе всякое человеческое поползновение! Он научился говорить «мы», цитировать Ильина и Столыпина... Им нужен хаос; Россия стоит на судьбоносном переломе, и мы не можем допустить, чтобы кучка авантюристов... Ну, текст вы знаете.* Некоторые предположили, что налицо своеобразный ответ на «Околоноля» Н. Дубовицкого. Кающийся циник против нераскаянного. Так это или не так, но проза небезынтересная: яркий социальный портрет приспособленца в декорациях последнего двадцатилетия.

В других декорациях чем-то похожую историю рассказал **Герман Садулаев** в исповедальном **романе «Шалинский рейд»** («Знамя», № 1, 2). Это хроникального типа рассказ от первого лица. Вторая чеченская война, ее перипетии, и в центре молодой и, что называется, думающий герой — чеченец Тамерлан Магомадов, который невольно и плавно приспосабливается, вписывается в перипетии сепаратистской интифады. Он чужд фанатизма, но ход событий, сиюминутные моральные и эмоциональные реакции на происходящее приводят его в ряды сепаратистов, не избавляя, однако от сомнений и критического отношения к этой борьбе. Раздвоенное сознание в конечном счете приводит офицера шариатской безопасности к попытке прекратить войну, выдав федералам ее руководителя: сдать Масхадова и получить за это свои сребреники. Парадоксальным образом логика конформизма переламывается логикой предательства. Или это не совсем предательство?.. Справедливо отмечают, что впервые русскоязычная литература, освещая «чеченский излом», предоставила слово представителю стороны сепаратистов, «дудаевцу-масхадовцу». Однако это неполный паритет. Герой Садулаева, как и сам автор, скорее пацифист, ему близки идеи ненасильственного сопротивления. *Вот бы напустить на них Великую Ржавчину! На пушки, минометы, танки, бронетранспортеры, чтобы ни единого пистолета не осталось! Чтобы навечно заклинили все автоматы Калашникова в мире.* В этом он не так уж далек от Прилепина или Бабченко, которые на основе личного опыта участия в военных действиях на стороне федералов изобразили кавказскую войну как бессмысленный и жуткий ад. Однако Садулаев и его герой все-таки внимательней, чем наши авторы-экспрессионисты «из рядов федералов» к чужой беде, к той гуманитарной катастрофе, которая случилась в Чечне, к симптомам социальной и культурной деградации общества. Он показывает, как фатально не удался проект независимой Ичкерии, и вину за это возлагает на самих чеченцев. Некоторые склонны упрекать писателя в том, что сочувствует он избирательно, лишь кавказцам, но не русским, которые тоже пострадали от перипетий гражданского междоусобья. Мы бы сказали, что все познается в сравнении. Не помнится как-то, чтоб герои Карасева, Бабченко или Прилепина вообще кому-то явно сочувствовали, кроме себя самих и своих ближайших друзей. Может быть, память нас подводит. Да и вообще в современной словесности как-то плоховато с сочувствием — хоть своим, хоть чужим. Так что упрек в душевной черствости нужно бы распространить весьма и весьма широко. К тому же у нас чуть меньше оснований отождествлять героя Садулаева с автором, чем героев названных прозаиков с ними самими. Автор, правда, слегка подпускает туману: рассказываемое можно понять и как бред сумасшедшего, и как связанные с неким расчетом показания федеральному следователю, — и не только судит, но и оправдывает себя. Впрочем, в основном Садулаев все-таки близок к той манере, которая характерна для лучших его вещей, вошедших в книгу «Я — чеченец».

Ну а на бедствия русских в Чечне упор делает новосибирец **Василий Дворцов** в **рассказе «Да как же так?»** («Москва», № 1), жизнь героини ко-

торого окольцована войнами. В детстве Вторая мировая, в старости — кавказская. Бесхитростная проза. Другой рассказ Дворцова, **«Буслай и Зотик»**, довольно странен. Он про чудо: монах исцеляет молодого алкаша от его пагубной страсти.

Героине **романа Михаила Попова «Капитанская дочь»** («Наш современник», № 1, 2) приспосабливаться сам Бог велел. Провинциальная барышня в столице, кругом соблазны и мужчины... Но логика повествования подводит к мысли, что мужчин на самом деле страшно мало, практически нет: некому брать на себя, некому рисковать, бросать вызов и приносить жертву. Вот и приходится энергичной провинциалке Ларисе Коневой ковать железо и бить в набат. Перед нами роман воспитания. *В голове Ларисы как-то спокойно уживались две взаимоисключающие идеи: 1 — жизнь коротка, и надо торопиться, чтобы все успеть, и 2 — все еще впереди.* Опыты любви, опыты приспособления к ситуации, опыты идейного свойства. В итоге героиня — отчаянная патриотка России, она шумно и весело участвует в посиделках и дебатах в той части общественно-политического спектра, где страдают неразличением России и СССР, народа и госаппарата, где не любят Запад, где мечтают о новой государственности, но имеют в виду разве что надувание щек и пускание пузырей. Всеми силами пытается *прыгнуть на грязную, скользкую подножку политического трамвайчика.* Впрочем, героиня симпатична и автору, и, наверное, читателям. Она простодушна и искренна. А что не далекого ума — так зато язык подвешен и страсти кипят. Но итог показанной нам жизни — скорее разбитое корыто. Да, на теледебатах Лариса перекричала саму Хакамаду. Но вместо семьи у нее смех и грех. А перспективы идейной борьбы более чем сомнительны, потому как настоящих вождей в нашем стане как не было, так и нет. Необычно скептичен и критичен Попов в оценке явлений, к которым на страницах «НС» принято относиться с трепетом. Вообще в тексте разбросано немало любопытных зацепок. Однако автор все-таки не весьма членоразделен в итоговых выводах, в романе трудно уловить большой смысл, выходящий за пределы повествования о хваткой и смелой женщине в грязной политике.

А вот кто таков герой **романа Глеба Шульпякова «Фес»** («Новый мир», № 3), сразу и не разберешь. Как сказано в аннотации, роман про *душевный разор современного человека, вынесенный автором в сложную систему образов и почти авантюрный сюжет. В качестве материала автором использованы: интерьеры российских, и московских в том числе, западно-европейских и восточных кофеен, номера отелей, сбитый из бамбуковых палок дом, покрытый тростником; новорусский бизнес, представители следствия, рюкзак со взрывчаткой за спиной героя, монахи из восточного монастыря, террористы, венский оперный театр и т. д.* Ну да, есть же у нас теперь прозаики, которые позволяют своим героям свободно шататься по миру и повествуют об этих странствиях со знанием дела. Вроде как и мечется человек, не в силах найти покой, а вроде как и наслаждается переменами участи и свободой странствий, этаким духовным туризмом, позволяющим переживать то опыт мусульман-

ского смиренья, то гималайские вдохновения. А может, это новый конформизм такой, конформизм открытого, постиндустриального общества, конформизм преуспевающих «мобилов», небедной космополитической элиты, смакующей разные экзотические яства со стола мировой цивилизации? Не знаем. Только известно, что сам Шульпяков тоже большой непоседа. Вот перечень мест, где создавался роман. Песня, а не перечень: *Вьентьян — Луангпрабан — Бангкок — Венеция — Пномпень — Сиемреп — Сиануквиль — Вильнюс — Баку — Барнаул — Санкт-Петербург — Рим — Харьков — Батуми — Казань — Свияжск — Ташкент — Северодвинск — Кий-остров — Архангельск — Анапа — Тамань — Мадрид — Сан-Себастьян — Биарриц — Тула — Пенза — Орел — Спасское-Лутовиново — Тегеран — Исфахан — Йезд — Дмитров — Ржев — Коломна — Старица — Калуга — Дели — Нагар — Дхармасала — Стамбул — Тбилиси — Григолети — Ульяновск — Старая Русса — Боровичи — София.* С неопределенностью в смысловых акцентах у Шульпякова удачно сочетаются рваная композиция, нарочитые недоговоренности и смысловые лакуны. В сущности, этот щеголеватый роман можно читать ради нескольких удачных страниц. Но их еще нужно найти. Критики справедливо отмечают, кому подражает автор: Макс Фриш, Хулио Кортасар, Джон Фаулз и прежде всего Кобо Абэ. Но зачем он это делает, дано понять не всем.

Повесть Леонида Зорина «Последнее слово» с подзаголовком «*Монолог адвоката*» («Знамя», № 2) напоминает о бунте на корабле «Сторожевом», возглавленном Валерием Саблиным. Однако это не документальное повествование, ракурс тут другой и мера домысла неопределенна. Спустя годы, в наше время, адвокат рассказывает собеседнику о событиях 1975 года и своих встречах с подзащитным, организатором восстания. Это также рефлексия конформиста, столкнувшегося с человеком, который для здравомыслящих соглашателей является чистым безумцем. Проблема сопротивления советской власти зависает в этой вещи без разрешения, взамен формулируется коллизия несколько более локального вида — как должна поступить любимая женщина обреченного на казнь: ободрить его или оттолкнуть, чтоб ему не жалко было умирать?

Роман Дмитрия Стахова «Перевернутые небеса» («Дружба народов», № 1, 2) — ремейк тургеневских «Отцов и детей». Вместе с отучившимся в Лондоне Иваном Колонтаевым в московское зажиточное, но несколько расхлябанное семейство приезжает Ванин случайный приятель Антон Обрезчиков, претендент на роль Базарова. Стахов пишет хоть и увлекательно, но многословно, с избыточными подробностями, да и герои его не в пример тургеневским лишены социального масштаба, хотя автор и наделяет их богатыми ресурсами речи, взятыми из русской классической прозы. И вообще все как-то бестолково в этой жизни... Вещь получилась довольно искусственная.

В «Москве» (№ 2, 3) публикуется первая книга **романа** курского писателя **Бориса Агеева «Хорошая пристань»**. Люди живут на пустынном острове Карагинском близ Камчатки: обслуживают радиомаяк гидрографической службы Тихоокеанского флота. Тут тебе и робинзонада, тут и одиссея. От-

шельничество и духовное странствие, испытание и чувство локтя. Интересный замысел, но средства повествования у Агеева довольно рутинны.

Владимир Маканин вновь демонстрирует, что он замечательный мастер прозы, в **рассказе «Ночь... Запятая... Ночь»** («Новый мир», № 1). Дело происходит в октябре 1993 года. Московское вооруженное замешательство, все в дыму, ничего не понять, а к героине, Зинаиде, одинокой женщине-коменданту маленькой гостиницы, ночью является странный и прекрасный незнакомец с автоматом. Зинаида проводит с ним ночь, но даже не это главное: главное, что мужчина знает секрет прекращения смуты (в отличие от политиков и церковников). *Посланец сил добра* владеет магическим искусством. Техника секса сплетается с магией миротворчества, а писатель то ли издевается над нами, то ли мудро подсмеивается, позволяя толковать свою историю и так, и сяк, и наперекосяк. Привычка искать у Маканина острые касания актуальных состояний человека и мира дает повод увидеть в рассказе отражение хаоса и бреда русской души, блуждающей в потемках истории без надежды на обретение ясности и смысла.

Максим Осипов в **рассказе «Маленький лорд Фаунтлерой»** («Новый мир», № 1) изобразил высококлассного врача-кардиолога Эмиля, который в свободное время решил поработать в поселковой больничке рядом со своей дачей. Лечить простых людей. Как когда-то земские доктора. Местная фауна, однако, оказывается слишком грубой для чувствительного сердца. Да и в целом наша жизнь как-то груба невыносимо для человека, прочитавшего в детстве «Маленького лорда Фаунтлероя». И она побеждает, вот еще в чем дело. Рассказ Осипова построен на тонком интонировании, на симптоматике сердечной болезни, которая не лечится. Отличная проза.

«Среднерусские истории» Алексея Андреева («Октябрь», № 3) — бередящие душу сюжеты из жизни среднерусского городка. Нелепости и беды, странное и заурядное. Блок из одиннадцати историй предварен двумя эпиграфами. Один из них авторский: «*Есть много, друг Горацио, в России такого рода малых городков*»; другой — чеховский: «*...стыдно делается всякому порядочному человеку!*». Общая тональность прозы Андреева — смиренное сочувствие к героям с их бедой и нуждой. Героини **«Шестой, транзитной истории»**, например, — две старухи-странницы, которые идут через всю страну в Москву искать правды. Обе потеряли всех своих близких и полнятся *ветхозаветной яростью*. Коммерсант Лопухов, пригласивший их передохнуть в своем доме, слышит неожиданную исповедь: — *Поубивали у нас всех, — вдруг обыденно, словно делясь последними услышанными новостями, сообщила Надежда и, глядя на Галину, продолжила: — У нее сын, как комбинат наш закрылся, — выпивать начал, ну и раз не сдержался и при встрече директору бывшему, который комбинат распродал... богатый был комбинат, весь город кормил... высказал все и в лужу пихнул, а тот зятю своему в милицию пожаловался... и тут же приехали, увезли, а утром отдали — кровью харкал... и писал тоже... В больницу брать не хотели — боялись этих. На третий день взяли, да уж поздно. А когда помер, сказали: сердце... Маша ходила всюду*

и в Москву писала, правду хотела найти, так сначала невестку ее избили среди бела дня, а потом дом сожгли... с невесткой и внуками...

Алексей Вульфов в **повести «Сторожка»** («Наш современник», № 2) изобразил тетю Аню, дядю Андрея и их приемную внучку, обитающих в сторожке на железнодорожном полустанке. Жизнь у них трудная, но и счастливая, посвященная настоящим, правильным ценностям и смыслам. Вульфов умеренно сентиментален, искренне патриотичен (иногда с перебором, когда приписывает героям свои политические настроения, — к счастью, редко). Он умеет радоваться жизни и красиво, ярко, сочно передавать эту свою радость. *«Сегодня будут лепешки на маргарине». Вот вам и еще одна радость... Вкуснее этих лепешек ничего на свете нет. Тетя Аня скатает шар из теста,.. щедро обольет его подсолнечным маслом и сильно помнет с превосходными щелчками и чавканьем между пальцами. А потом отрывает от шара кусочек (Наташка обожает немного теста отщипнуть от шара и пожевать — вот вкуснота!), делает из него скалкой круг и кладет на сковородку, на которой сильно трещит и сердится маргарин. Из тонкого теста, которое все задрожит и заволнуется в маргарине, получается изумительно пышный золотистый круг, который торжественно встает над сковородкой.* Замечательно выписаны и железнодорожные реалии, с некоторой оглядкой на Андрея Платонова. Повесть окольцована вступлением и заключением, уводящими в 1900 год. Тогдашние молодые железнодорожники радуются жизни и видят в будущей дороге примету неумолимого прогресса, роста цивилизованности и социального благополучия. Однако у Вульфова именно эту железнодорожную ветку закрывают в наше время за ненадобностью, что интерпретируется чуть ли не как выражение антинародности правящего режима. Есть, конечно, в этом не весьма удачная тенденциозность. Но и ее прощаешь автору: все же достоинств в повести больше. Очень симпатичная малая проза.

Василий Голованов в *«повествовании в 22 картинах с музыкальным сопровождением»* **«Тайный язык птиц»** («Новый мир», № 1) стереоскопически представляет картину прорыва нефти на Северном Каспии — глазами нескольких человек. Увольнение и бунт рабочих, экологическая катастрофа, гибель пернатых. Второй вектор истории — рассказ о музыкальной группе, которая в ткань своих произведений вплетает пение птиц. Есть среди героев и уникум, Сашка, способный подражать любым птичьим голосам. По манере это похоже на сценарий фильма с производственным сюжетом. Но техника письма у автора замечательная, он большой виртуоз.

Вера Галактионова в объемистой **повести «Спящие в печали»** («Наш современник», № 3, 4) рассказала о жизни русских и всяких прочих людей в казахстанской глуши, в небольшом селении Столбцы. Живут они бедно, убого, заброшены, несчастны, всеми забыты и сами запутались в жизни, в ее элементарных понятиях. *В эпоху разлома империй не дай вам Бог жить на пограничных окраинах национальных материков.* В повесть вплетены сны местных обитателей. *Нет этим людям жизни на земле, нет им и пути на самый светлый верх, а меж смертью и жизнью, как меж небом и землею, голодно*

пребывать, зябко. Томятся, жалуются души спящих — и не видят спасенья ниоткуда. Да и само место — тоже словно порождение чьего-то дурного сна: *Эта негодная местность считалась у тюрков Воротами ветра, а ветры зарождаются и вертятся духами опасными, непонятными.* Странник-монах Порфирий навещает эти места и дает людям утешенье. Но надолго ли его хватит? Галактионова сочувствует бедным, блуждающим в потемках бытия душам, форсируя сантимент и сочетая его с религиозным упованьем. *Много нас, много, вытесненных отовсюду, да утешены будем на небесах самой высокою милостью, какой не найти нам на земле.*

Роман Сенчин в **рассказе «Все нормально»** («Новый мир», № 1) в очередной раз обращается к житью-бытью университетских преподавателей. Московский историк отправляется у него на провинциальную конференцию не ради науки, а просто глотнуть воздуха и вкусить каких-никаких радостей жизни (таковых в итоге две: доступная женщина-коллега и посиделки в сауне). Не новый для автора поворот смысла: от себя не уедешь. Упорядоченные, введенные в рутинное правило компенсаторные побеги не могут скрыть банальности и поверхностности той жизни, которую приходится вести современному, с позволенья сказать, интеллигенту. Чеховскую тему Сенчин решает с горьковской тяжеловесностью, но не скажешь, что в основе неправдиво (хотя на самом деле конференции обычно протекают не так авантюрно ночами, как изобразил это прозаик). Рассказ, пожалуй, выиграл бы, если бы общественный кругозор героя был пошире: для доктора наук он уж очень какой-то серый.

Евгений Попов предлагает очередной **рассказ** про своих постоянных героев Гдова и Хабарова **«Как писатель Гдов в историю влип»** («Знамя», № 2). По форме это письмо бедного Гдова состоятельному Хабарову с просьбой и мольбой купить страшно дорогое факсимильное издание книги под названием «Лицевой летописный свод», созданной при Иване Грозном и охватывающей историю нашей страны с сотворения мира и до конца XVI века. Очень хочется Гдову хоть иногда приходить к Хабарову и листать эту книженцию, трепетать над страницей древней истории.

Повесть Ивана Наумова «Мальчик с саблей» («Дружба народов», № 3) — о трудной и по-своему героической миссии российских миротворцев где-то на Балканах, в горниле межнациональной войны. Есть ли вообще смысл в этой миссии? Но миротворцы у Наумова — люди отличные.

Повесть Людмилы Агеевой «По воде далеко слышно» («Знамя», № 1) — история о летних досугах и отдохновениях городского семейства (мама и дочь) в сельской глуши под Питером. Радости безмятежного бытия несколько смазаны одним случаем. Рассказчица повествует, как приятель привез к ней симпатичного и необычного московского паренька с непонятным прошлым. Спустя некоторое время выяснилось, что паренек-то — наркоман! Вот ведь как бывает. Культурный слог, гуманный взгляд и небогатое содержание.

Валерия Шубина определяет жанр своей **повести «Недобитые, праздные...»** («Москва», № 3) так: «*приключенческая повесть с оттенком готи-*

ческого романа». Что она имела в виду, сказать трудно. Реально перед нами набор историй о милых, душистых стариканах, которые общаются друг с другом, борются с одиночеством, чему-то рады, о чем-то грустят... Есть и в тихом увядании несказанная прелесть. Что-то такое.

Повесть кубанца **Николая Ивеншева «Бонус»** («Москва», № 1) — история о том, как писательская жена удачно разыграла мающегося бездельем и бесплодием мужа: тот снова начал писать.

«Дворник» сибиряка **Анатолия Байбородина** («Наш современник», № 3) — **рассказ** о незамысловатой жизни провинциального сочинителя, который служит дворником. Пишет Байбородин витиевато, с инверсиями.

У волгоградки **Ларисы Ермиловой** в **рассказе «Мадам, уже падают листья...»** («Москва», № 3) тетя Зоя поставила зубные протезы и выходит замуж. Или все-таки не выходит? Смешная жизнь, нелепые, милые люди.

Подборка **рассказов** саранцев **Анны и Константина Смородиных** в «Москве» (№ 1) носит название **«Келейная жизнь»**. Не только ради каламбура хочется переиначить: елейная жизнь. Количество сладких соплей на церковной подкладке особенно зашкаливает в рассказе **«Алтарник Валера»**. Православный сентиментализм весьма поверхностного свойства.

Сентиментальными излишествами, пожалуй, грешит и **Татьяна Кадникова** из Пензенской области в **рассказе «Счастье бумажной куклы»** («Новый мир», № 3). Рассказчице приснилась умершая мама. И она по этому поводу подробно повествует о своих отношениях с вполне живой старшей сестрой. Сестры живут не очень дружно, но общие воспоминания и сны соединяют их и заставляют проливать общие слезы.

Рассказ Григория Грибоносова-Гребнева «Скверный ужас» («Знамя», № 1) — о том, как непросто женщине, если нет нигде достойных мужчин. Остается вспоминать некоего красавца, который однажды в отрочестве сделал героине на улице комплимент. Ну а потом, много-много лет спустя, окажется, что красавец этот — маньяк-педофил.

Но и женщины бывают не промах, о чем добросовестно свидетельствует питерец **Валерий Попов** в **рассказе «Желтая папка»** («Октябрь», № 2). Герой-рассказчик, писатель, едет из Петербурга в Москву в одном купе с деловой дамой, простодушно посвящающей его в перипетии семейной жизни, от подробностей которой встают дыбом волоса. *А зачем нам их мафия? У нас своя, — просто ответила она. — Думала — он наши интересы будет представлять. А он пришел, наглый, тогда на фабрику. Мол, ничьей дочки не знаю, сам по себе. Те спрашивают: «Разве вы не их интересы представляете?» «Да плевал я на них!» Теперь дочка там. — А он? — Ужасом повеяло на меня! — Где надо. На фабрике сказали ему, что нужно срочно поехать на переговоры в один маленький город. И там по такому-то адресу зайти. — И? — И все! Теперь по гроб жизни там виноград будет собирать. А рыпнется... — подняла глаза... даже у меня по загривку пошел холодок. — Вот так!*

Рассказы молодого прозаика **Моше Шанина** («Знамя», № 2) — истории о парадоксах и причудах жизни. Уверенные пробы пера. Так же, как и очеред-

ные рассказы другого молодого сочинителя, **Александра Снегирева** («Знамя», № 1). Шанин, пожалуй, будет поинтереснее, потому как у него много разных людей. У Снегирева же всегда и вечно только он сам, нежно и трепетно собой любимый талантливый московский мажор не самых уже юных лет (что и составляет нерв данной публикации).

А вот еще одна молодая писательница **Ирина Богатырева** умеет совмещать личный опыт с острым вниманием к другому человеку. В **рассказе «Приступ»** («Новый мир», № 3) рассказчица, юная девушка, путешествует автостопом. Ей попадается сексуально озабоченный водитель, и она, чтобы решить проблему, объявляет себя ведьмой и удачно занимается чтением в сердцах, но попутно становится зрителем разворачивающейся перед нею драмы обделенного жизнью человека.

Растет коллекция необычных, чудаковатых персонажей у **Елены Долгопят. В рассказе «Скупой рыцарь»** («Новый мир», № 2) полуслучайно разбогатевший одинокий мужчина староватого вида Иван Фомич делает подарки тем, кому захочет. Эксцентрических характеров можно придумать немало, вот Долгопят и придумывает, других больших задач перед собой не ставя.

Сергей Солоух в повести «Угря» («Октябрь», № 1) пародирует тему связи художника с землей, почвой. В его повести эту связь обеспечивают представители простонародья, щедро отвешивающие мастерам оплеухи и затрещины. *Хорошая, увесистая затрещина гарантирует художнику постоянную связь с родной землей, не дает оторваться от почвы, забыть о крови...* В общем, если скрестить «Тлю» Шевцова с «Библиотекарем» Елизарова, то вы получите «Угрю» Солоуха, где все серьезное и патетическое будет низведено до смешного и анекдотического. Причем предела и края автор не знает. Героиня, Угря («Учит горе — радость явится»), — девочка-мазохист. В мире Солоуха бывает и такое.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

В «Октябре» (№ 3) помещена глава **«Два старца»** из книги **Павла Басинского «Уход и смерть Льва Толстого»**. Она посвящена визиту Толстого в Оптину пустынь на пути из Ясной Поляны в Астапово.

Незаурядный **роман Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов»** («Октябрь», № 1, 2) имеет авторское предисловие. *Года два назад на одной писательской встрече я выступил с сообщением о невозможности написания сегодня серьезного исторического романа. «Современная проза тяготеет не к истории, а к географии; она сосредоточена на ландшафте, а не на историческом событии», — таков был основной тезис. Выступление напечатали, но что-то беспокоило. Перед глазами плыли картины: люди в странных костюмах, говорившие на странном, ветхом языке. Я прибег к испытанному способу борьбы с беспокойством: стал набрасывать план романа. Потом — первую главу. Полегчало. Так, назло себе, стал писать я исторический роман — историю с маленькой буквы рядом с Историей с большой. Выполняя весь предписанный писателю-«историку» ритуал: вдыхание библиотечной пыли, засы-*

пание с томиком очередных мемуаров возле подушки. Впрочем, в этом романе столько же истории, сколько и географии. Поскольку он — о движении России в Среднюю Азию, внешне — стихийном и фатальном, внутренне же... Одна из версий того, чем эти захваты были внутренне, какой смысл просвечивал сквозь дипломатические интриги, набеги и захваты, и предлагается на суд читателя. Мистический сюжет о тайной силе Серебряной — Вифлеемской — звезды сопрягается с картинами движения русских в Азию, в сокровенные недра Востока, в XIX веке. Афлатуни задумал три исторические книги (по количеству евангельских волхвов, возможно, ассоциативно соотнесенных с европейцами в Азии): *роман-алтарь, каждая створка которого — самостоятельная книга со своим сюжетом.* Герой первой книги («Гаспар») Николенька Триярский — юный мечтатель-архитектор и политический ссыльный. Он — участник собраний у Петрашевского, за это арестованный и сосланный в маленький азиатский городок Новоюртинск. Сестра Николая Варвара представлена в коллизиях неудачного замужества, похищения ребенка, связи с императором, бегства из монастыря, вхождения в актерскую труппу. Фон повествования обширен: декабристы (сцена их казни оставляет сильное впечатление), петрашевцы, Николай I с его семейными делами и адюльтером. В конце романа Николеньку и Варвару похищают кочевники, а в Петербурге умирает император и, умирая, думает о судьбе России. *Государь любит свой народ. И пока Он жив — ...народ будет благоденствовать; Его народу не будет угрожать отмена крепостного права... Он знает, что Наследник это сделает, и это будет конец. Медленная агония, а потом... Потом все рухнет.* Николай изображен с сочувственной брезгливостью. Его мучают бессонницы. Ему больно жить. *Его диагнозом была — Россия. Это только казалось, что она, Россия, под Ним. Она была над Ним, на Нем, всею своею толщей. На Его стареющих плечах. Это она, Россия, свинцовыми днями давила на позвоночник, отзываясь в пояснице. Первый раз боли начались, когда Он казнил этих мерзавцев с Сенатской. Он лично вел следствие, лично обдумывал детали казни — хотел, чтобы казнь была возвышенной, идеальной казнью, удовлетворила взыскательному вкусу не только казнящих, но и казнимых. Даже накануне, вечером 12 июля, Он бродил по комнатам Царскосельского дворца, изобретая подробности. Ночью Его осенило: барабанный бой! Пусть все время будет барабанный бой... Да, барабанщики били. И каждые полчаса посылались в Царское курьеры — за помилованием. Это тоже Он придумал, пусть они надеются, сцена получится сильнее. Курьеры летели обратно пустыми. А потом действие расстроилось. Веревки. Веревки оказались гнилы. Трое несчастных заживо падают с виселицы в ров, ломают себе кости...* В романе немало и мерцающего комизма. Вот описание театрального представления. Давали Шекспира: *Заиграла музыка, выбежал Ричард Глостер — встал так, чтобы был лучше виден его горб — горб и вправду был хорош... Затем Ричард сообщал о своих мрачных замыслах, временами справляясь взглядом у суфлерской будки, — будка звучно подсказывала... Дело шло к развязке. Лорд Дерби тряс перед Ричардом отрубленной головой лорда*

Гастингса; дамы в зале прятались в веера. Ричард злился, путал слова, пару раз рассеянно назвал лорда Бэкингема «Степашей»; выхватил отрубленную голову и запустил ею в суфлерскую будку — откуда, к восторгу публики, она через секунду вылетела обратно.

Георгий Давыдов любит писать о «бывших»: об осколках и обломках рафинированной досоветской культуры, попавших, как кур в ощип, в советскую кирзу и костоломку. В **рассказе «Порыв ветра»** («Новый мир», № 2) речь снова о них. Мызыкантка Елена Фабрициевна Фойер и ее поклонник Михаил Павлович. Старомодные отношения в аду советской жизни. *Вам приходилось хранить яблоки в верхнем ящике письменного стола? А прохаживаться по ранним лужам, останавливаясь точно на белом ледке, чтобы он кракнул под подошвой?.. Я намеренно не спросил, приходилось ли вам любить ту, которая и вас, наверное, выделяла из прочих, но которой сказать, что любите, не могли, а она, догадавшись, вам не помогала.* Пишет Давыдов хорошо, но несколько рафинадно, с чуть избыточной сентиментальной красивостью, в то время как по-настоящему-то его сюжетам и героям нужны бы были, как кажется, средства Добычина или Кржижановского.

В комической **повести Сергея Волкова «Красная Казанова»** («Москва», № 1) завязкой становится мистический анекдот: где-то то ли в 20-х, то ли в 30-х годах на одном из трамвайных маршрутов, в одном и том же «заколдованном» месте у пассажиров вдруг пропадает одежда и они оказываются голыми. Главный по общественному транспорту (ГПОТ) П. Ф. Куропатка занимается расследованием и открывает, что виной всему удачный научный эксперимент. Однако не к добру это открытие. *Вскоре спешно созванная комиссия сняла П. Ф. Куропатку с занимаемой должности, понизив его до главного по культуре... Прохор Филиппович четыре дня пил горькую. По утрам заботливая Марья Семеновна, подавая ему сверкающий огранкой хрустальный графинчик, неизменно повторяла: — В куньтуре-то, Прошенька, спокойнее, это не трамвай. Тут если ток и отключут, то разве чертово колесо в парке встанет. А которые наверху застрянут, тех пожарные сымут за милую душу. В куньтуре спокойнее... «А и правда. В культуре-то оно спокойнее. С ней каждый разберется», — смирился он наконец, подобно большинству, полагая, что у власти стоят люди грамотные, информированные, знающие что-то такое, что ему, ГПКульту, знать не положено, и втайне веря, что рано или поздно они рассудят, кто прав, кто виноват (крамольная мысль, что и там, наверху, тоже дураки, даже не приходила ему в голову).*

В «Октябре» (№ 2) **Григорий Канович** дает в трех **рассказах** притчевого свойства три портрета — три лика еврейства: **«Зюня из Одессы»**, **«Йосл Гордин, везунчик»**, **«Бедный Ротшильд»**. Люди незаметные, простые, которые, однако, представляют магистральный сюжет народной судьбы. Престарелый одессит в Израиле; богомольный отшельник, потерявший всех близких; смиренный банщик.

«Знамя» (№ 3) печатает маленькую **повесть Георгия Балла «Князь нашего двора»**. Дворовый мальчишка, советский дикарь, допущен в комнату кня-

жеского семейства, обитающего в коммуналке. Варварский бред советской жизни спотыкается на этом пороге, и мальчик приобщается к чему-то, что и дало в итоге росток его развитию, росту.

Об уличных нравах былых времен рассказывает и **Вячеслав Щепоткин** (**«Казнь С. Разина»** — «Наш современник», № 3). Мальчонка восстает на произвол старших парней. Несгибаемый парень.

«Мемуарр» Анатолия Наймана («Новый мир», № 3) состоит из трех частей. Первая — о том, каково быть дедом, и заодно о том, что вообще связано со старостью, опытом, воспоминаниями... в общем — поток речи. *Роман «Овод». Где Обводный канал и Фонтанка-река тра-та-та каждый вечер встречаются, там чего-то там пьют, блатные песни поют и еще кое-чем занимаются. Каждые сперва еще только сумерки, потом именно что вечер, потом непроглядная ночь, с первого сентября, берущим за сердце радиоголосом народного артиста — «Овод». До первого января. До первого марта. Какая-то Этель, какая-то Войнич. Старушка, бабушка. Дедушкина вдова. Советское полпредство в Сан-Франциско дало обед по случаю титилетия Этели. Полномочное представительство.* Вторая часть — пьеса, то бишь «*травма в одном действии*». Задействованы в этой «травме» «бездействующие лица», «действующие лица» и «сильнодействующие лица». А содержание ее, как можно понять, бурлеск на советские темы в духе Введенского или Хармса. Третья часть — эссеистические рассуждения. *Я упустил свою биографию. Мемуар задушил ее, после чего вампир власти выпил из мемуара кровь...* и т. д.

Владимир Рокитянский в **очерке «В поисках Шифферса»** («Знамя», № 2) рельефно представил незаурядного московского интеллектуала позднесоветской эпохи Евгения Шифферса. Художника, богоискателя, харизматика.

«Новый мир» публикует в № 2 диалог прозаика из Франции **Евгения Терновского** с Андреем Лебедевым под заголовком **«Встречи на рю Данкерк»**. Литература и жизнь в СССР и Европе, вторая половина XX века. Суждения умного нонконформиста-эмигранта Терновского как минимум любопытны.

«Косой дождь, или Передислокация пигалицы» Ольги Кучкиной с подзаголовком «*записки соотечественницы*» («Дружба народов», № 3) — автобиографические записки писательницы и журналистки. Трудная страна, милые друзья, семья, журфак и сама рассказчица, *пигалица,* умеющая держать по отношению к себе трезво-ироническую дистанцию. Живой нерв. Много интересных подробностей. Известные имена. *Каждый раз приходилось уговаривать себя: то, что не убивает, то делает тебя сильнее, все путем. Тем путем, при котором азарт поражения преломляется в азарт победы. Но — никому и ничего. Приятель однажды уронит: ты слишком комильфо, в этом твоя беда. Пигалица-комильфо — все равно что царевна-лягушка. Кто-то видит лягушку, кто-то — комильфо, а там скрываются царевна и пигалица.*

В «Дружбе народов» (№ 2) опубликована добротная документальная **повесть Бернгарда Рубена «За своей звездой»** — о писателе Эммануиле Ка-

закевиче. Казакевич из газеты дезертировал на фронт. Попал в самое пекло, на передовую, стал войсковым разведчиком. Ему повезло — он уцелел. Этот фронтовой опыт лег в основание его лучшей прозы. Ну а в мирной жизни Казакевич тоже постоянно стоял перед проблемой перехода линии фронта в ситуации, когда линия таковая была не всегда легко определима. *В тот именно период, в пятидесятые годы, Эммануил Казакевич раскрылся для многих людей и прежде всего для обширного круга писателей во всем блеске своих притягательных качеств — отзывчивого человека, острослова и едкого эпиграмматиста, собеседника-эрудита, озорника, застольного верховода. Ему многое прощалось — за доброту души и обаяние. И близкие друзья принимали его в этой сложности: «Эмик — это Эмик».*

Повесть ташкентца **Алексея Устименко «Китайские маски Черубины де Габриак»** («Дружба народов», № 3) публиковалась в журнале «Nota Bene» (№ 4, 2004). От этого она не стала хуже. Но и лучше, вероятно, не стала. Это повествование о последних месяцах жизни небезызвестной Черубины, обаявшей когда-то своими письмами редакцию «Аполлона», — в жизни Елизаветы Ивановны Васильевой (Лили Дмитриевой). Васильева умерла в Ташкенте в конце 1929 года. Героиня вся в своем прошлом, в памяти о нем, а настоящего для нее вроде бы и не существует.

В «Нашем современнике» (№ 1) о славном и былом вспоминает известный киноначальник застойных времен **Даль Орлов («Воспоминания "действующего лица"**). Изображает он себя довольно белым и пушистым, практически все понимающим и всем помогающим. На этом фоне сильно проигрывает один из главных героев мемуаров, Андрей Тарковский: великий путаник, эгоист и едва ли великий режиссер, а скорее интриган и махинатор. И тем не менее именно при советах Тарковский создал свои фильмы, советское государство давало ему прорву денег на его сомнительные, то ли шарлатанские, то ли исподволь антисоветские кинопроекты, и столько никогда бы не дал ни один частный продюссер. И где за это простая человеческая благодарность?? Чувствуется, накипело у автора. А вот то ли дело Никита Михалков! Чудесный человечище. У Орлова он представлен практически святым подвижником. Всем помогает, всем жертвует; притом гоним и терпит напраслины. *Уходя корнями в историческую Русь, этот семейный клан выдвинул на плацдарм отечественной культуры безусловные авторитеты. Теперь он продолжает множиться дальше, дети оказываются хорошо воспитанными, образованными, дельными, нравственно чистоплотными. Младшие не предают старших, старшие с юморком и по-доброму опекают младших. Эта нормальная русская большая семья, с ее нравственным благополучием и талантливой трудовой успешностью, с общим, так сказать, своим здоровьем, в наше не очень здоровое... время, оказывается зачастую атакуема завистью и недоброжелательством, что прискорбно.* Вот же как.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

Напечатан наконец-то полностью **роман Александра Нежного «Там, где престол сатаны»**: его заключительная седьмая часть опубликована в «Звезде» (№№ 3, 5). Напомним: первые пять его частей публиковались в «Звезде» с 2000 года (№ 9); публикация продолжилась в 2003-м (№№ 1, 2), 2004-м (№№ 11, 12), 2007-м (№№ 3, 4, 7). Шестая часть нашла прибежище в журнале «Кольцо А» (2007, № 43). В своем романе автор вскрывает общественный нарыв в одной из самых его трагических точек — церковной. Он убежден, что ложь, подлость и предательство, поразившие Церковь, — едва ли не самое страшное, что может приключиться с государством и людьми. Нет, считает Нежный, и не может быть выхода из лабиринта пороков, в котором погрязла нечастная заблудившаяся Россия, лишенная морального стержня. Гнила она, гнила, да и пала в 1917 году. Обширное, разветвленное повествование охватывает исторический период с 20-х годов и до начала 90-х и воссоздает чуть ли не всеобъемлющую картину страшного грехопадения, расхристианивания России. Вергилием в этом прошлом и современном аду служит врач Сергей Павлович, потомок рода священнослужителей с говорящей фамилией Боголюбовы.

Замысловата **повесть «Just a moment, sir!»**, автор которой выступает под псевдонимом **В. Юрьев** («Звезда», № 1). Перед нами рассказ о нелепом приключении современного чиновника от науки: будучи в Стокгольме, этот человек нежданно для самого себя совершает кражу — присваивает приглянувшиеся сувениры. Почему? Да кто его знает: и деньги вроде есть, и клептомании за собой никогда прежде не замечал, а вот возьми да укради: что называется, бес попутал! Естественно, бедолага прямым ходом отправляется в тюрьму, но, спасибо щедрой русско-шведской любовнице, довольно скоро выходит на свободу. Однако тут его начинают преследовать зловещие видения: бедолага не в силах забыть, как его грубо обшаривают, выворачивая карманы, а потом он стоит голый, со спущенными ниже колен трусами. В конце концов видения эти доводят героя до того, что он вдруг падает замертво... Тут бы истории и конец (и конец 1-й главы, называющейся «Преступление»), но — just a moment, читатель! — нажимается какая-то потаенная кнопка, и все только что описанное оказывается сюжетом не то драмы, не то повести, и начинается 2-я глава — «Наказание». Сюжет ее таков. Повесть-драма имеет колоссальный успех и в Швеции, и в России. Автор же ее, обозначенный как «Я», проходит сквозь те же перипетии, что и незадачливый чиновник-ворюга. И любовница у них одна, и нелюбимая жена, и дочка Виктория-Витька. Словом, уяснить, где кончается одна душа и начинается другая, не так-то просто. Тем паче что жизнь этого «Я» заканчивается тем же зловещим видением, повлекшим за собой смерть. Странная штучка, ничего не скажешь. Будто вложены один в другой пустые бумажные стаканчики.

Странноват и **роман Олега Ермакова «Иван-чай-сутра»** («Нева», № 2). Действие происходит где-то в глубине России, в некой праславянской Мест-

ности (сразу вспоминается благополучно ныне забытая «Территория» Олега Куваева), по которой ходят-бродят любители-картографы, разыскивая *среди теней прошлого на тропинках Вороньего леса Энкиду.* Ясно, что картографы эти не от мира сего и им в общем-то до лампочки изначальная цель вполне делового путешествия — выправление нарочито неверных карт советского времени. Путешествие молодых героев протекает и в пространстве, и во времени. *Стоит вернуться на Муравьиную гору или в Белый лес, и речь опутает тебя травами и запахами, зазвучит речной струной, зашипит иглами сосен. Не нужно никаких карт!* В Местности этой существуют таинственные *старые Усадьбы, вековые осины с дуплами, заросли спиреи и шиповника, дряхлые полузасохшие яблони и окаменевшие груши.* Немудрено, что странствующие герои попадают в таинственную мертвую деревню, где обитают страшная молчащая старуха и дурачок по имени Горухта. Таинственный лес, наплывающие наваждения, странные люди, остановившиеся навеки часы и вместе с ними время, странствующий по миру Каменный Клюв...

В «Неве», № 1 **Владимир Широков** представляет философскую **повесть «Время Освенцим»**. Повествование ведется от лица безымянного узника № 74233 и построено в виде потока его сознания, сквозь который временами прорывается чудовищная реальность лагеря смерти: *Нет, не есть — я не хочу есть; я знаю: мне не нужен этот хлеб, я и без него умру... Я только вот этого хочу: насладиться в один раз — не наесться, не насытиться, а насладиться, вкусить.* Впрочем, любая реальность совершенно тонет в сумеречном потоке мыслей рассказчика, предельно отвлеченном от земного и носящем символико-мистический характер: *Я родился в истории имени Христа... Меня еще не было, а у меня уже все было: отливные формы, оттиски для души, светочи погоняющих истин.* Освенцим осмысляется узником не иначе как философский феномен, он рассуждает о *мертвологии* лагерной жизни: *Никто не ожидал от себя, что может вдруг при всех стать таким одиноким, что может так скулить, рычать, что вся эта наступившая, взорвавшаяся боль целиком предназначена только ему одному.* Единственное, что дает лагернику возможность жить, — музыка, причем любая, начиная от неизбежных нацистских маршей и заканчивая вечной классикой. Финал повести не оставляет сомнений в участи № 74233 и сотен подобных ему: *Четыре часа утра. Ауфштеен. Пора торопиться к свободе* — читай: к смерти.

В традиции потока сознания написан и **рассказ Василия Милова «Проводник»** («Нева», № 1). Своего героя, талантливого вирусолога Дмитрия Семеновича, Милов погружает в стихию полуосознанных воспоминаний о детстве, пытаясь таким образом найти основу его нынешнего, взрослого пристрастия к смоделированной на компьютере музыке. Чтобы пребывать в стихии этой музыки, вирусолог ставит на себе опасный эксперимент. К счастью, все обходится: болезнь проходит без особых последствий. Автор пристально следит за переживаниями своего персонажа, его ощущениями, его внутренним «я». Внешнее действие рассказа закономерно сведено к минимуму.

Изящен, по-петербургски сдержан и даже изыскан **роман Владимира Симонова «Отрывистая осень»** («Звезда», № 2). Впрочем, по жанру это скорее не роман, а собрание петербургско-ленинградских зарисовок, своеобразных литературных гравюр. Перед читателями развертывается *роскошная коллекция петербургских непогод, туманов, дождей и дымов, обшарпанные, но родные крыши, брандмауэры и лестницы, «последний парад» интеллигентных (и не очень) жителей коммуналок, их нищая, но упоительная жизнь среди любимых старых вещей, почти уже бесполезных, ветхих книг, которые уже никто не прочитает...* В мире, созданном Симоновым, и события неяркие — под стать северному пейзажу и классическому облику города, — да и улицы не парадные, а тихие, малознакомые, уютные: Большая Пушкарская, Курляндская, Дегтярная, Моховая, Семионовская. Обаятельная проза. В предваряющем публикацию вступительном слове Валерий Попов пишет, что «Отрывистая осень» — это произведение *о счастье быть петербуржцем.*

В жизни героя **Алексея Олина** и его мимолетных друзей, как в передаче «Дом-2», — всё напоказ. Напоминает **роман «Иисус говорит: Реасе!»** («Нева», № 1) и телесериал «Школа», здесь так же не признаются никакие авторитеты: моя жизнь, что хочу то и ворочу и никто мне не указ, — сегодня пьянствую, завтра с телкой трахаюсь, послезавтра пластмассовую музыку слушаю до одури. *Гниль везде,* — философски замечает не названный по имени герой (да и ни к чему называть: в этом романе все одинаковые) и продолжает, обращаясь к дружку: *У тебя бывает такое чувство, что все бессмысленно? Вот до тошноты.* Действительно, до того достало всё, что повеситься хочется. Что герой и делает, правда, попытка оказывается неудачной. Иногда здравый смысл все же возвращается к нему, и он пытается как-то осмыслить собственную жизнь: *Есть штуки, которые не портятся от времени... Они просты, как притчи.* К таким *штукам* он относит запоздалое материнское внимание и свои попытки заняться литературой, правда, не особо удачные. Все в этом мире возвращается на круги своя — и любовь, и увлечения, и отношения с близкими, — таков, по-видимому, смысл немудрящего финала.

Героиня **рассказа** молодой петербурженки **Юлии Раввиной «Сезон»** («Звезда», № 1) — девушка-экскурсовод, работающая на водном маршруте «По рекам и каналам старого Петербурга». Красот тут не счесть: роскошные дворцы, театры, Кунтскамера, училище Правоведения, Соляной городок, Летний сад, Партикулярная верфь, распахнутые крылья разведенных мостов... А ведь надо еще пару-тройку местных легенд подкинуть, не то экскурсанты заскучают. *Считают, что экскурсоводы все время врут. Это верно лишь отчасти. Вообще-то мы врем тогда, когда нас вынуждает к этому ситуация. Мы врем из добрых побуждений. Зачем говорить, что Поцелуев мост не имеет никакого отношения к поцелуям? Зачем расстраивать? И так жизнь не легка, зачем еще добавлять... Зачем травмировать людей?* В общем, героиня не умолкает ни на секунду. Темперамент из нее просто брызжет, как пена из разогретого шампанского. А тут еще и несчастная любовь: *разбил мне сердце и уехал на Березань...* Словом, бурнокипящий рассказ...

Рассказ Александра Гиневского «Куинджи и хлеб сорок шестого» («Звезда», № 2) — горькая история из жизни ленинградцев, вернувшихся из эвакуации и обнаруживших, что их комната занята и живет там майор из Большого дома. Живет и даже вещей не отдает. Мир увиден глазами семилетнего мальчишки, обитающего вместе с родителями в литейном цеху военного завода: отгородили себе угол шатающимися от сквозняков фанерными листами. Но еще страшнее неустроенности и бездомности воспоминания о том, как добрый и заботливый отец, узнав, что у матери украли карточки, ударил ее по лицу наотмашь... а потом грузно опустился рядом и уронил голову в ладони. Такая вот выпала герою долгожданная послевоенная жизнь.

Рассказ **Ольги Артамоновой «После щелчка»** («Нева», № 2) — фэнтези на тему ждущего нас всех телесумасшествия. Ошалевший герой во власти ужасов, непрерывно сыплющихся с телеэкрана, и не может отделаться от кошмарных видений. Он просто сходит с ума от всего этого информационного негатива. Идет ему навстречу подросток, а в голове у героя тотчас же включается: «*Сейчас он примется за действия угрожающего характера!*» — ведь только что сообщили, что «*участились случаи вымогательства и краж мобильных телефонов!*» Бежит стая собак — это они, злые голодные псы, которые все чаще, как предупреждали в тех же новостях, «*нападают на одиноких прохожих*». Взрывается жилой дом, накатывается тихоокеанское цунами, падает сошедший с рельсов поезд... Ужас, ужас без конца и края... И вот найдено спасение — в игрушках. В пластмассовых солдатиках, домиках, рыбках и птичках: *Я вырезал цветы из цветной бумаги и наклеивал их на лужайку. В маленький ручеек, протекающий через садик, я поместил золотых рыбок (я сделал их из блестящей проволоки).* Не угодно ли?

Как всегда, иронична и интересна проза **Натальи Толстой**. Ее **рассказ «В Тунисе»** («Звезда», № 1) — о долгожданной поездке в Африку. Чего стоит хотя бы эпизод с «пещерой троглодитов», в гости к которым отправились туристы! Гид увлеченно рассказывал о первобытном племени, обитающем в меловых гротах. И в самом деле туристы наблюдают подлинную жизнь людей, которые перетирают в ручных жерновах зерно и кремнем высекают огонь. *Наши туристы, всемирно отзывчивые, собрали для троглодитов мешок подарков: сникерсы, чупа-чупсы, шампунь с кондиционером.* Тем временем троглодит-отец сосредоточенно подсчитывал выручку, не забывая поделиться с гидом, и, пока не видят туристы, беседовал по мобильнику.

Первый номер «Невы» представляет подборку рассказов молодых авторов.

«Сережки» Александра Карасева («Нева», № 1) — юмористический рассказ о безбашенном забавном парне, который сперва любил изводить школьных учителей, а потом и строгих тупых дядек в военкомате. **«Оригинал» Романа Вепрева** — о *типичном человеке* Иване Ивановиче Иванове, любующемся тем, как люди, глядя на *образец на стене, на столе под стеклом,* делают все *по его образу и подобию.* Его же **«Жизнеописание осинового листа»** — о жизни и раздумьях листочка, гибнущего по воле случая под каблуком *солидной дамы.* В **«Говорящих обезьянах» Антона Ратникова** воссоздан

идиотизм научной конференции, где собственно до науки никому нет никакого дела. Его же **«Потребитель»** — о человеке, который долго, откладывая каждую копейку, копил на машину, а однажды плюнул на все, истратил накопленное и почувствовал себя совершенно свободным.

МЕМУАРЫ

«На пути к Большой Медведице» — так называется **очерк Аллы Подрабинек**, жены Александра Подрабинека, известного журналиста и врача («Звезда», № 2). В 1978-м году на Западе вышла его книга «Карательная медицина», и Александр был выслан сначала под Иркутск, а потом в Якутию. Жена выехала следом. В ссылке он был арестован, начались бесконечные переводы из одного следственного изолятора в другой; Аллу тем временем лишили московской прописки, у нее родился сын, купать и кормить которого приходилось чуть ли не в первобытных условиях, свидания с мужем давали всего на несколько минут... Обо всем этом и написан этот поразительный очерк. Что же в нем поразительного? Да то, что это рассказ не столько о трудностях и невзгодах, в изобилии выпавших долю супругов, сколько об их счастье.

Литературовед **Ирма Кудрова** в **очерке «Накануне»** («Звезда», №№ 2, 3) делится воспоминаниями о молодости, пришедшейся на послевоенные и послесталинские годы. Вспоминает и послевоенные погромы культуры, и расправы над университетскими профессорами, и Пушкинский дом — в то время прибежище главным образом *исполнительных посредственностей*. Глаз у Кудровой зоркий, судит она строго и нелицеприятно — не делая исключения и для себя, тогдашней наивной дурочки.

Валерий Овечкин в **очерке «Прощание»** («Звезда», № 3) вспоминает времена хрущевского правления и тогдашние литературные нравы. Есть здесь добрые строки об Александре Твардовском, Владимире Дудинцеве и, конечно, о Валентине Овечкине — отце автора.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

II.

«Иностранная литература»

(Публикации 2009 года)

ПЕРВЫЙ НОМЕР журнала открывает **«Марш» — роман Эдгара Лоуренса Доктороу**. Динамичное повествование разворачивает перед читателем панораму Гражданской войны в США, ее финального периода. *Вдруг в пять утра чей-то крик, стук в дверь, Джон, ее муж, соскакивает с кровати, уже и винтовка в руках; тут и Роско, чья хибарка рядом с барским домом, разве что чуть на отшибе, проснулся, выскочил, зашлепали его босые ноги; Мэтти, умом готовая к превратностям войны (хотя сердце, что поделаешь, замирает — неужто уже?), торопливо набросила халат и заспешила по лестнице вниз выглянуть при свете фонаря в открывшуюся дверь: чьи там шаги на крыльце веранды?*

Война между Севером и Югом, — пожалуй, самый яркий эпизод в истории Америки. И берясь за эту тему, Доктороу, вероятно, отдавал себе отчет, что читатель неизбежно будет сравнивать его роман с «Унесенными ветром».

Однако риск оказался оправданным: «Марш» впитал лучшие качества предшественников, но не стал ни продолжением, ни подражанием. Да, здесь узнаваемы нежность и чувственность героев Митчелл, монументализм Толстого или многоголосие Фолкнера (недаром в 2006 году «Марш» был отмечен фолкнеровской премией), и тем не менее роман получился самобытным.

Доктороу искусно работает с несколькими сюжетными линиями. С первой страницы симпатию вызывает белая негритянка Перл, незаконнорожденная дочь рабовладельца. Таких с любовью созданных образов в романе немало: это и аристократка Эмили Томсон, и хирург Сарториус, и президент Линкольн, и негритянка Вильма Колхаус, и ирландец Стивен, и генерал Шерман и даже меняющийся от картины к картине пейзаж, удивительно тонко передающий напряженное состояние войны.

Обращаясь к событиям середины XIX века, Доктороу ставит вполне современные вопросы: что такое война? способна ли она исправить что бы то ни было? что страшнее — умереть или быть рабом? готовы ли мы к свободе? Роман, поднимающий такие вопросы, — безусловно, явление в современной литературе.

В разделе «Из классики XX века» опубликована **новелла «Манон, танцовщица»** — первое законченное произведение **Антуана де Сент-Экзюпери**. Также опубликованы его письма к Натали Палей, знаменитой русской княгине, ставшей впоследствии звездой Голливуда.

Мастера польского очеркового жанра представлены в рубрике «Литературный гид» под общим заголовком **«Польский репортаж»**. У читателя есть возможность познакомиться с фрагментами «путевой» книги **Анджея Стасюка**, с интересными драматическими заметками **Лидии Осталовской «Тут пока еще Польша...»**, с размышлениями **Божены Дудко** о судьбе репортажа и польских особенностях жанра.

Целый раздел **«Картинная галерея»** выделен в номере Уильяму Тернеру. Сделано это не случайно: не так давно в Москве проходила выставка работ прославленного художника. Журнал опубликовал три произведения, посвященные Тернеру: два **эссе** классиков (**Джона Рескина** и **Джона Апдайка**) дополняет **пьеса-монолог** молодого автора из Великобритании **Саши Дагдейл**, участницы программ Британского Совета в России и переводчицы современной русской драматургии.

Непременно стоит уделить внимание подборке шуточных **стихотворений Льюиса Кэрролла** в прекрасном переводе Марины Бородицкой. По тонкому юмору и ловкости поэтического слога нетрудно узнать великого англичанина даже в этих малоизвестных стихах:

— О, как бы мне поэтом стать?
Как убежать мне тленья?
Я чую, дедушка, в груди
Высокое стремленье!
Скажите лишь, с чего начать —
Начну без промедленья.

ВТОРОЙ НОМЕР открывает **Дженет Уинтерсон**. Ее чувственные и в то же время философичные **рассказы «Послание в бутылке»** и **«Снежный ком»** повествуют о кризисе отношений и истинном смысле любви. Биография этой английской писательницы уже стала легендой, а в России, помимо прочего, имя Уинтерсон — своеобразный символ для людей нетрадиционной ориентации.

Публикация малой прозы продолжается **рассказами** одного из самых популярных писателей Польши — **Ежи Пильха**. В России широко известен его роман «Песни пьющих» — современная, реалистичная, честная проза о герое, чем-то отдаленно напоминающем нашего Веничку. У Пильха немало тонких наблюдений за человеком и порой неутешительных выводов, ткань повествования пронизана иронией и самоиронией: — *Рад видеть вас живой, — выдавил я из себя. Господи, какая чушь! Конечно же я хотел сказать: «Рад видеть вас вживую», что было бы ритуальной и безопасной фразой поклонника, который знает своего кумира по фильмам, телешоу и тысячам фотографий и теперь выражает восторг по поводу того, что видит воочию. Вместо этого из меня на нервной почве выскочила реплика, уместная в случае автокатастрофы или инфаркта. Слова «рад видеть вас живой» прозвучали так, будто она только что избежала смертельной опасности — а ничего похожего и в помине не было. Однако нет худа без добра. Она взглянула на меня и неожиданно громко рассмеялась. Мой — скажем прямо идиотский — ляпсус явно ее позабавил.*

Григорий Кружков подарил читателям **«Ожерелье из стихов»** — переводы американских поэтов XX века. Среди давно любимых в России классиков (**Марианны Мур, Уильяма Карлоса Уильямса, Уистена Хью Одена, Элизабет Бишоп** и др.) представлены в подборке и менее известные имена: **Доналд Джастис** и **Рассел Эдсон**.

После смерти Джерома Дэвида Сэлинджера (27 января нынешнего года) по-новому можно взглянуть на **эссе Бориса Фаликова «Ради толстой тети»** с подзаголовком **«Духовные поиски Дж. Д. Сэлинджера»**. Автор несколько иронично рассматривает духовный путь писателя, его обращение к буддизму и таинственное затворничество. Однако это интересная попытка приблизиться к духовному миру Сэлинджера.

ТРЕТИЙ НОМЕР журнала прежде всего знакомит читателя с **романом** пока не очень известного в России испанского писателя **Хосе Луиса де Хуана «Вспоминая Лампе»**. Роман понравится не только ценителям творчества Канта (герои — сам философ и его бессменный слуга Мартин Лампе), но и любителям изящного слога, неспешного повествования и долгих описаний. Образ Канта получился не столько достоверным, сколько живым и очаровывающим. Лампе и Кант — люди совершенно разных представлений о жизни, и их отношения — это столкновение чувственности и рассудочности, буйства и размеренности. Для необразованного Лампе Кант — совсем не гений, а старый, одинокий и капризный человек. Читателю предстоит задуматься о том, действительно ли всемогущ разум; о том, способна ли философия ответить на вечные вопросы; о непостижимости человеческой природы.

С итальянского переведена **повесть Антонио Мореско «Синяя комната»**. Мореско очень интересный автор, работающий в отчасти абсурдистской манере. «Синяя комната» — причудливое повествование о переживаниях подростка, проза психологичная, местами завораживающая, местами пугающая. Главный герой живет в доме, пространство которого увеличивается для него до размеров целого мира, непознанного и таинственного. Подросток фиксирует свои наблюдения, возводя текст в единственно существующую реальность.

Фрагмент **романа Кристофа Рансмайра «Летучая гора»** дает представление об одном из самых популярных на сегодня произведений австрийской литературы. Роман рассказывает о восхождении двух братьев на гору в Тибете и полон размышлений о времени и бренности жизни. Текст оформлен строчками разной длины и напоминает скорее верлибр, чем собственно прозу. И хотя в журнале предлагается лишь совсем небольшой отрывок романа, но и он дает представление о ритмической, философской прозе писателя и путешественника.

Настоящая «жемчужина» номера — **японская женская лирика XII — XIV веков**. Стихи японок удивительно близки и понятны русскому уху. Вот, хотя бы средневековый японский вариант золотой тучки «на груди утеса-великана»:

Одинокая тучка
Возникла над горной вершиной
За окном.
Холодным дождиком брызнула
И поплыла себе дальше.

Рубрика «Литературный гид» посвящена **Грэму Грину**. Шесть публикаций связаны с биографией писателя. Автопортреты Грина, два его автобиографических эссе, воспоминания о нем, в частности, несколько восторженный **«Красный дневник» Ивонны Клоэтты** — взгляд на писателя глазами любящей женщины.

Три **письма Марселя Пруста** будут особенно интересны переводчикам: писатель рассуждает о трудностях перевода, об особенностях работы с чужим текстом, о своем отношении к этому труду.

ЧЕТВЕРТЫЙ НОМЕР открывается **романом Бена Элтона «Слепая вера»**. Искрометный английский юмор и беспощадная сатира Элтона на сей раз обрушились на святое святых современного мира — интернет и все, что с ним связано. Новый роман уже успели сравнить с оруэлловским «1984». И действительно, сходство тут есть — хотя бы на уровне жанра — антиутопии, предполагающего определенный набор приемов. Сходство и в том страхе, который рождают оба произведения, — страхе за общество, цивилизацию, за нашу повседневность. Помимо изображения потребительской жизни, состоящей из фастфуда, телесных наслаждений и тупого просмотра теле-

передач, Элтон заостряет внимание и на доведенной до абсурда идее толерантности. Как и в каждой уважающей себя антиутопии, в «Слепой вере» есть персонаж-противоборец, выступающий против системы (в данном случае — тоталитаризма, хотя и заключенного в крайнюю степень терпимости). Такой персонаж у Элтона — Сандра Ди, и, опять же, вполне в каноне жанра, Сандра работает в тайной полиции. Только служба здесь дает ей право быть человеком, а не компьютеризированным животным. И, конечно, следуя лучшим традициям жанра, Элтон называет и то, что стоит за тоталитаризмом, — это Храм, потомок Большого Брата (только если раньше в качестве всевидящего ока и карающей руки выступал Советский Союз, то теперь — развитая современная западная цивилизация). Храм верховодит всем, и слепая вера ведет людей к бездне пустоты и невежества...

Небезынтересна подборка **«Считай, что ты — Бог»** из четырех совсем коротких **драматических зарисовок** румынского автора **Матея Вишнека**. Лаконичные сценки врезаются в память отчеканенными диалогами и поставленными в них вопросами.

110-летию Владимира Набокова посвящена публикация **«Я не понимаю, из чего сотворен его мир...»** с подзаголовком **«Владимир Набоков в переписке и дневниках современников»**. Цель публикации — воссоздать образ писателя, *который запечатлелся в сознании современников*, написать их словами живой портрет и увидеть Набокова-человека, а не *«забронзовевшего классика»*, который интересен лишь теми литературными параллелями, которые специалисты находят в его романах. В подборке воспоминаний, составленной Н. Мельниковым, образ Набокова получился неожиданно разным — в амплитуде от гениального небожителя до *«мошенника и словоблуда»*.

ПЯТЫЙ НОМЕР журнала открывается романом английского прозаика **Адама Торпа «Правила перспективы»**. Казалось бы, библиотека романов о Второй мировой уже составлена и добавить сюда что-то новое уже невозможно. Однако Торп сумел найти тему, звучащую необычно. Место действия — немецкий городок Лоэнфельд, в котором есть музей искусств. И все повествование вращается вокруг этого хранилища живописи. Падают бомбы, разрываются снаряды, а сотрудники музея заботятся о том, чтобы спасти экспонаты — от войны, от солдат — немецких, американских... Контрапунктом звучит тема войны, пред которой все равны и в которой нет и не может быть ни победителей, ни побежденных. Трагическая концовка романа — гибель музея и его служителей от случайного снаряда — еще одно горькое подтверждение этой мысли. Тема художественного творчества, истинного призвания и дилетантизма, воплощения и перевоплощения творческой энергии приобретет особенное звучание, если вспомнить, что несостоявшимся художником был и сам Гитлер...

Публикация фрагментов **романа Джонатана Литтелла «Благоволительницы»** — возможность познакомиться с исповедью эсэсовца. Вот как отозвался о знаменитом романе филолог Жорж Нива: *Литтелл поражает тем, что*

всю историю насилия XX века выворачивает наизнанку, словно освежевывает кролика. Более того, насилие над личностью в эпоху тоталитаризма он толкует по Фрейду: как снятие внутреннего контроля — контроля «сверх-Я». Результат — садизм, сексуальные извращения, инцест. То обстоятельство, что рассказчик — психопат, не делает поток мерзостей менее отталкивающим, но показывает, в чем его, этого потока, «движущая сила», пугающая, как всякий кошмар.

В продолжение темы об искусстве и войне — рассказ классика американской литературы **Артура Миллера «Представление»**. Главный герой — американский степист Гарольд Мей, выступающий в небольших балканских клубах, — поразил своим искусством Адольфа Гитлера, который, закрыв глаза на еврейское происхождение танцора, делает ему заманчивое предложение.

Интересна также публикация, чье название говорит само за себя — **«Война глазами детей»**. Воспоминания **Войцеха Лободзинского** и дневник **Рут Майер**, погибшей в 1942-м в Освенциме.

В *ШЕСТОМ НОМЕРЕ* — **Роберт Най** и его стилизация **«Миссис Шекспир. Собрание сочинений»**. Это достаточно интересная попытка взглянуть на великого барда не глазами литературоведа, восторженного современника или рассерженного критика, а с точки зрения его собственной вдовы — Энн Хетэуэй, простой женщины, повидавшей на своем веку всякое, натерпевшейся и от жизни, и от покойного супруга. В современной литературе все больший интерес вызывает возможность поближе прикоснуться к жизни гения (или злодея), увидеть его глазами простодушного обывателя. Вот и от миссис Шекспир мы узнаем, что ее покойный муж (то есть, в ее терминологии, муженек) был страшным сладкоежкой с гнилыми зубами, любил выпить и вообще мало походил на того «Эйвонского лебедя», которым его представляют потомки.

Публикация **рассказов** и **эссе Недима Гюрселя** — первая встреча русского читателя с этим турецким автором. Мусульманское сообщество негативно относится к его творчеству, прочитывая в нем оскорбление ислама. Угроза тюремного заключения заставила Гюрселя переехать во Францию. В философских рассказах писателя по-особенному сочетаются восточные и европейские традиции. *Я знаю, что пишу для того, чтобы противостоять смерти, чтобы победить Азраила, этого ангела смерти, с которым впервые столкнулся в детстве, когда отец внезапно ушел из моей жизни. Могу сказать, что пишу для того, чтобы продолжить оборвавшуюся на половине жизнь отца, закончить его дело. Я знаю, что бросать вызов смерти опасно... В битве с Азраилом поверженным всегда оказывается человек, как в корриде заколотым всегда остается бык. Но надо играть по правилам, ты должен почувствовать, как острый рог быка проходит совсем рядом с тобой, ощутить его в глубине своего сердца.*

Очень интересна подборка **стихов** испанца **Антонио Порпетта**. Эксцентричный автор, он популярен не только на родине.

Надо постараться вернуть
трепет касанья и забытый цвет тех ночей,
патину бронзы и запах слез,
орлиный клекот, вкус тишины,
робость ветра.

В рубрике «Литературное наследие» — **Эдвард Лир** и его остроумные, полные словесной игры **«Отрывки из писем и путевых дневников»**.

СЕДЬМОЙ НОМЕР журнала посвящен актуальной для каждого литератора теме — книге, ее публикации, распространению и дальнейшей судьбе. Интервью с издателями, литературными обозревателями, директорами книжных магазинов, статьи, эссе, рубрика «Круглый стол» — все раскрывает заглавную тему: **«Как слово наше... продается»**.

Непосредственное отношение к теме номера имеет **роман** бразильца **Шику Буарки «Будапешт»**. Это произведение о литературном «негре». В столице Венгрии герой оказывается случайно, Будапешт и венгерский язык покоряют его. Здесь он переосмысливает свою жизнь. Еще немного — и он начинает писать по-венгерски, — но снова за кого-то. Повествование Буарке неоднородно: оно как будто движется в разных темпах — сальса, румба, джаз-модерн. Это и не удивительно: музыкальность автора в полной мере проявилась в его прозе. К тому же роман полон игры, и читателю надо быть начеку: в случае с Буарке никогда нельзя быть уверенным до конца — правду ли тебе говорят или искусно водят за нос. *Платили мне столько, сколько заплатили бы за страницу пожилому писарю, машинистке, компилятору, подбирающему материал из энциклопедий. Заказчики выкладывали наличные по получении товара и сразу исчезали. Хорошо, если приоткроют конверт и глянут, столько ли там страниц, сколько нужно. Я рассматривал все эти монографии, диссертации, рефераты по медицине, адвокатские жалобы, любовные послания, прощальные письма, отчаянные письма, записки шантажистов, угрозы самоубийства как упражнения по оттачиванию стиля.*

Теме писательской и журналистской этики посвящена **повесть Дэвида Лоджа «Горькая правда»**, а фарсовая, карикатурная **пьеса «Совещание» Пьера Бельфона** затрагивает такой неоднозначный вопрос, как система присуждения ежегодных национальных литературных премий.

Еще одна тематическая публикация номера — **статья** историка **Роже Шартье «Читатель в постоянно меняющемся мире»**. Автор рассматривает сопряжение текста и человека, то, насколько меняется восприятие информации в зависимости от носителя, с древнейших времен, — будь то свиток или кодекс, — до современных компьютерных мониторов. *Появление нового носителя письменных текстов не означает ни конца книги, ни смерти читателя. Быть может, даже наоборот. Однако оно требует перераспределения ролей в системе письма, влечет за собой соперничество (или взаимодополняемость) носителей высказываний (дискурсов) и создает новые связи — не только физические, но и интеллектуальные, и эстетические — с миром текстов.*

Отдельной книгой в 2010 году уже вышел **роман Тони Моррисон «Жалость»**, опубликованный в ***ВОСЬМОМ НОМЕРЕ*** журнала. Моррисон — лауреат Нобелевской премии, первая афроамериканка, чьи произведения признаны классикой. В рецензии на «Жалость» Джон Апдайк отмечал, что Моррисон, как никакой другой автор, переняла фолкнеровскую формулу *«прошлое не проходит»*. В самом деле, в ее романах настоящее и прошлое настолько переплетены (зачастую тем же фолкнеровским методом потока сознания), что читателю ничего не остается, как внимательнейшим образом следить за ходом событий, чтобы не потеряться в подсознательном и временно́м пространствах повествования. Моррисон достаточно близка к Фолкнеру и в плане избранных тем — расизм и рабство. Действие «Жалости» происходит в конце XVII века: появление Нового Света происходит по старым правилам жестокости, предательства и обмана. Персонажи, своего рода аутсайдеры (индианка Лина из племени, уничтоженного оспой, сумасшедшая Горемыка и девочка-рабыня Флоренс), живут на ферме голландца Джекоба Ваарка, изо всех сил пытающегося отвоевать себе место под солнцем. Однако он умирает от оспы, и женщины остаются одни. Жизнь обитателей фермы полностью меняется. Надеяться им не на что. Разве что на жалость.

Еще одна заметная публикация — **письма Хулио Кортасара** к издателю и другу Франсиско Порруа под заголовком **«Поговорим-ка о Евгении Гранде»**. *В своих письмах — вот где я самый настоящий*, — утверждает писатель. *«Поговорим, однако, о Евгении Гранде»*, — пишет во вступлении к публикации переводчик Кортасара Элла Брагинская, — *так он неожиданно обрывает любую тему в своих письмах и эссе, возвращаясь к тому, что для него самое главное: к своим писательским замыслам, своей работе над рукописью, гранкам, верстке, обложкам — о, эти обложки, какая буря чувств, еле прикрытая иронией: почему исчезли полутона, почему не тот ритм в рисунке, почему не тот размер шрифтов, сколько огорчений и досады! А правка, какое негодование по поводу пропущенной запятой или своевольно снятой строки! И сколько в этих письмах сомнений: поймут — не поймут, что он хотел сказать, доказать, сломать...*

ДЕВЯТЫЙ НОМЕР «Иностранки» посвящен финской литературе и назван **«В стране Муми-троллей»**. Роман, повесть, пьеса, стихи, статьи, эссе — в номере представлены все аспекты современной (и не только) литературы Финляндии.

Статья немецкого литературоведа **Штефана Мостера «Финская литература сегодня»** предлагает не только краткий обзор современной литературы, но и размышление о национальных особенностях, о перспективах развития, о роли шведов в истории финского самосознания. *Литература в Финляндии абсолютно свободна, она не страдает от каких-либо общественных или политических ограничений и может позволить себе все, что ей заблагорассудится. Но все-таки есть одна норма: специфически финский аспект должен быть выписан не менее отчетливо, чем экзистенциальный и социальный. Ждут некоей*

литературы о национальном менталитете, которая охарактеризует все сообщество в целом: кто мы? каковы мы? Ждут узнаваемости, — чтобы можно было поставить себя на место героев и сказать: да, мы именно таковы!

Крупная проза представлена дебютным **романом Элины Хирвонен «Если бы он не забыл»**. Небольшой по объему, этот роман повествует, кажется, обо всем на свете — от войны в Ираке и Вьетнаме до душевной болезни. Проблема памяти — одна из основных здесь. Для главной героини память — непосильный груз, который хочется сбросить с себя и больше не прикасаться к нему, для ее возлюбленного, американского ученого, память, напротив, едва ли не самое важное — то, что делает человека человеком. Основной темой можно было бы назвать вечный бунт против общественных устоев, против родителей, непреходящий, знакомый всем странам конфликт поколений. Однако, несмотря на остроту проблем и «бушующие страсти», надо признать, что образы героев достаточно статичны, а проблемы не предлагают ни нового взгляда, ни, тем более, нового решения.

Драматургия представлена увлекательной, с несколько абсурдным финалом **пьесой Кари Хотакайнена «Красная волчанка»**. Среди героев — проводник поезда «Хельсинки — Санкт-Петербург» Пекку (не брезгающий контрабандой) и члены его семьи. Есть у главного героя и русская родственница, она-то и приезжает в Хельсинки из Петербурга. «Красная волчанка» — еще один взгляд на русско-финские отношения.

Интересный эксперимент с формой — **повесть Хану Райттила «Аэростат "Финляндия"»**. Летящая по небу бутылка водки «Финляндия» — это рекламная акция концерна «Алко». Путаное повествование, как будто пронизанное алкогольными парами. *Мы со старухой картошку копали, тут я и говорю, дескать, там же бутылка водки летит. Да пусть себе летит, куда хочет, говорит старуха. Ну, мы на нее больше внимания и не обращали. Это когда у супермаркета был день рыночной торговли.*

Специально для этого номера финско-шведская писательница **Кристина Роткирх** написала статью о сказках Туве Янссон **«Катастрофа и выживание в Муми-мире»**. В представленных в рубрике «Ничего смешного» фрагментах из книги **Романа Шатца «Из Финляндии с любовью»** с юмором описываются особенности национального характера, приводятся тонкие замечания по поводу финской жизни: *Они терпят невзгоды, живут в ужасном климате, в окружении врагов. Их язык неспособно выучить ни одно живое существо, кроме них самих. И все-таки они любят свою страну! Особенно они любят ее ненавидеть. Но будьте осторожны, если вас спросят: «Не правда ли, здесь ужасно?» — не отвечайте: «Да!»*

«Ночь, когда пала Стена» — основной мотив ***ДЕСЯТОГО НОМЕРА***, посвященного двадцатилетию падения Берлинской стены. **Йоханнес Эберт**, директор московского Гете-института, отмечает, что *в произведениях Кристы Вольф, Эриха Леста, Герты Мюллер, Томаса Бруссига, Инго Шульце, Уве Телькампа (в самое последнее время), а также других значимых авторов гибель*

ГДР и возникновение новой Федеративной Республики Германии отражаются самыми разными гранями и в разных оттенках цветовой палитры.

В номере представлены фрагменты из лучшего немецкоязычного **романа** 2008 года **«Башня. Истории с затонувшей земли» Уве Телькампа**, большого эпистолярного **романа Инго Шульце «Новые жизни»** и почти биографического «ледяного» **романа Аннет Грешнер «Мороженое "Московское"»**. Все произведения по-своему уникальны, и в то же время их можно рассматривать как главы единого повествования об одной странице истории (тем более что все три автора — выходцы из Восточной Германии).

Особенное внимание стоит обратить на раздел «Документальная проза»: здесь представлены фрагменты книги **Гюнтера Грасса «По пути из Германии в Германию. Дневник 1990 года»**. Разные города, разные впечатления — интересно и любителям истории, и, конечно, поклонникам прозы Грасса. *Гигантская голова Маркса перед зданием Окружного совета. Монумент собираются продать, чтобы этими деньгами оплатить переименование города. Выступление состоялось в одном из выставочных залов музея, перед началом дали время перекусить. Директор музея — бывший член СЕПГ, о чем говорит откровенно, но в то же время стесненно. Недавно здесь выступал Коль, который, как и в речи во Дворце спорта, обращался к массе слушателей с вопросами: «Вы хотите объединения Германии? Вы хотите всеобщего благосостояния?» — Вульгарнее некуда!*

В разделе «Библиофил» — информация о всех переводах немецкой литературы на страницах журнала в период с 2004 по 2009 годы.

ОДИННАДЦАТЫЙ НОМЕР журнала посвящен индийской литературе. Напомним, что 2009 год был назван в России годом Индии. **«Быть индийцем в XXI веке»** — такова тема номера.

Широкое представление о современной Индии дает **роман Шаши Тхарура «Погром»**, написанный по-английски. Сложно назвать «Погром» романом в привычном смысле слова, — скорее, это очерковое повествование о социальной жизни Индии, подкрепленное газетными сведениями, и размышления о причинах и следствиях межрелигиозных столкновений в стране. Эффект фасеточного зрения достигается тем, что автор предлагает нам множество взглядов и мнений на основные конфликты романа (индуизм-мусульманство, Индия-Запад и пр.). С первых страниц мы узнаем, что в 1989 году в межэтническом погроме была убита двадцатичетырехлетняя американка из Нью-Йорка. *Присцилла Харт, 24, из Манхэттена, добровольная сотрудница неправительственной организации HELP-US, погибла от ножевых ранений в городе Залилгархе штата Уттар-Прадеш, где она работала в области здравоохранения. Источник в американском посольстве не высказал предположения, что ее убийство связано с тем, что она является гражданкой США. Подробности убийства, произошедшего во время индо-мусульманского погрома, остаются невыясненными. Мисс Харт в течение 10 месяцев собирала материал для докторской диссертации.* Именно Присцилла Харт, ожившая в

своем дневнике, и будет главной героиней этого романа. Чем-то «Погром» непреодолимо напоминает индийское кино.

Об индусо-мусульманском противостоянии размышляет **Сергей Арутюнов** в **статье «Вражда без конца и без краю»**. Вернее, статья посвящена книге Судхира Какара «Цвета насилия», но оба — и Арутюнов, и Какар — не понаслышке знакомы с проблемой. *Книга Какара,* — пишет Арутюнов, — *позволяет читателю глубоко проникнуть в анатомию мусульманско-индийского противостояния. Но всю огромную мозаику, весь гигантский пазл этого противостояния, возникшего в одной из крупнейших в мире стран — второй по счету перешагнувшей миллиардный уровень населения, — все это никакая книга объять не может. Однако Судхир Какар показывает нам, как под увеличительным стеклом, сцепление разноцветных кусочков в отдельных, произвольно выбранных участках мозаики и позволяет, экстраполируя рисунок этих участков, понять мозаику в целом.*

Интересный историко-этнографический материал представлен в **эссе Павана Вармы «Великий средний класс. Что такое быть индийцем»** (1998 год). Автор размышляет о современной Индии, о ее месте на карте мира среди других стран, о месте индуса в собственной стране. *Один из признаков нынешнего среднего класса, бросающийся в глаза, — беспрецедентно высокий потенциал «сконцентрированной» человеческой энергии. В основе его — предпринимательский талант и умение много и упорно трудиться, в которых индийцы почти не знают равных. Несмотря на то, что они любят, когда иностранцы приписывают им некую духовную ауру, на самом деле это изобретательные и выносливые предприниматели, которые прочно стоят на земле и, не отрываясь, смотрят в бухгалтерские книги.*

В *ДВЕНАДЦАТОМ НОМЕРЕ* представлен **роман** английского писателя, драматурга и актера **Алана Беннетта «Непростой читатель»**. Это настоящая ода чтению, погружение в психологию читателя, попытка узнать, из чего состоит волшебство первого знакомства с книгой, перерастающее в увлечение на всю жизнь. Героиня «Непростого читателя» — британская королева, однако всякий истинный любитель книг узнает в этом произведении самого себя, отчего роман окажется близок очень многим. Сюжет его таков. Ее величество королева Англии в свои преклонные годы внезапно увлеклась чтением, что, однако, не все восприняли с радостью. *Чем больше она читала, тем больше сожалела, что своим присутствием подавляет людей, сожалела, что даже писатели не находят в себе мужества произнести вслух то, о чем не боятся потом написать. Еще она выяснила, что одна книга ведет к другой, и дорога эта бесконечна, и что ей не хватает времени читать столько, сколько хочется.* В романе много знаменитого английского юмора и тонких жизненных наблюдений.

В предновогоднем выпуске находится место и традиционным рождественским историям. Нежные **«Рождественские рассказы» Дженет Уинтерсон** написаны немного в духе Серебряного века. Вот как в рассказе **«Лев, Едино-**

рог и я» решается вопрос о том, на чьей спине должен въехать в мир Иисус Христос. Претендентов трое — лев, единорог и осел. *И вот ангел объявляет последний раунд: каждый одним предложением должен объяснить, почему считает себя достойным этой работы.*

Первым выступил Лев:

— Если Ему суждено стать Царем Мира, нести Его должен Царь Зверей.

Единорог сказал:

— Если Ему суждено стать Тайной Мира, нести Его должен самый таинственный из нас.

Я сказал:

— Если Ему суждено взвалить на себя все бремя мира, будет лучше, если Его понесу я.

Совершенно другое настроение в **рассказе Юджина Маккейба «Сирота»**. Автор рисует тяжелую атмосферу нищеты и голода. Это рассказ об ирландской девочке, попавшей в работный дом. *Отец ушел ночью, после того как мать так зло и подло на него накричала и обозвала дурнем. Я теперь все время о нем вспоминаю... Как и где он помер? Кто его схоронил? Где? В канаве, на болотах, в горах? Может, он бросился в омут или в море, как многие другие? Коли ему выпала такая доля, я должна думать, он теперь в светлом царстве у Бога или во тьме у дьявола. А может, он вовсе и не помер и теперь где-то на севере, в Дублине или Дандолке. Говорят, в городе такой же голод, что и в деревне, да и кто станет шить у бедного портного, кроме таких же бедняков, а у бедняков в кармане ни пенни. Сдается мне, он помер вместе с мильоном других.*

Эссе Александры Борисенко «Чужая повседневность» предлагает краткий экскурс в историю написания работ (от книг-трактатов до псевдо-художественной литературы), посвященных описанию повседневности прошлых времен. *Повседневность прошедших эпох вошла сегодня в моду. Для англо-американского мира особенной притягательностью обладает XIX век: одна за другой выходят экранизации викторианских романов, современные писатели все чаще поселяют своих героев в Лондоне, освещенном газовыми фонарями, публикуется огромное количество исследований о деталях быта того времени.* Автор предлагает своего рода исследование рынка документально-бытовой литературы и дает оценку тому, что можно увидеть на книжных полках России и, к примеру, Великобритании.

Почитатели **Милана Кундеры** могут познакомиться с его **эссе** о чешском композиторе Леоше Яначеке — **«Мой Яначек»**. Это эссе, как и многие произведения Кундеры, проникнуто любовью к музыке, непревзойденным образом связывает слово и звук, словесный и музыкальный образы.

Обзор подготовила Анастасия Строкина

От редакции

Ниже мы печатаем три отклика на статью Юрия Афанасьева, Алексея Давыдова и Андрея Пелипенко «Вперед нельзя назад», опубликованную в 141-м номере «Континента». О нашем отношении к этой полемике см. ниже в «Дневнике редактора» Игоря Виноградова.

Ирина РОДНЯНСКАЯ

РОССИЯ В ПРОЗЕКТОРСКОЙ

Моя готовность обратиться в редакцию «Континента» относится к ситуации «Не могу молчать!» — и вызвана не столько потребностью в полемике с чужой мыслью, сколько реакцией на невыносимость *факта*. Однажды я уже не смолчала, высказавшись в прошлом году на декабрьской конференции памяти Солженицына (в контексте разговора о солженицынской общественной мысли) по поводу раздела «Россия и мир» в № 141 «Континента» и некоторых *особенных* материалов этого раздела. Мое выступление, как я могу заключить, возмутило тех, кто инициировал публикацию текстов, подвергнутых мною гласной критике. Как правило, утверждая, что в РФ свободы слова не существует, они, с одной стороны, публикуют такие материалы без боязни расправы не только над ними лично, но и над соответствующим печатным органом, а, с другой стороны, суждение о неприемлемости подобных текстов, выносимое на публику вне специфического круга симпатизантов, ощущается ими как донос: «Ведь мы так рискуем!»

За этим, конечно, стоит и объективное положение вещей: негласно утвержденное властью предоставление, по существу, *безграничной* свободы высказывания маргинальным и малотиражным органам печати, чаще — сетевым, но и некоторым традиционным, с солидной репутацией, — при жестком контроле над подлинно массовыми средствами информации (прежде всего над федеральным телевидением) и при введении «закона об экстремизме», сомнительного юридически, а в правоприменительной практике, надо полагать, отвратительного. В этих противоречивых условиях радикальное интеллигентское сознание может позволить себе в безопасной зоне весьма многое, мазохистски упиваясь между тем фантомным страхом перед репрессиями. Понимая эту «антиномию», я согласилась откликнуться на предложение главного редактора «Континента» и выступить со своими неприятиями непосредственно на страницах журнала, то есть сменить роль «доносчика» на положение

чужого среди своих и тем продемонстрировать лояльность некоему интеллигентскому кодексу. Но стесняться в выражениях не стану...

Если бы не статья Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенеко «Вперед нельзя назад», центральная в упомянутом разделе, я не стала бы ввязываться в эту историю.

Скажем, Андрей Илларионов, убеждающий (на фоне «перезагрузки») американских политических партнеров Российской Федерации в том, что там пришла к власти террористическая «корпорация сотрудников спецслужб», «коллаборационизм» с которой является бóльшим преступлением, чем мюнхенская капитуляция перед Гитлером, — удивить меня не может. Ведь пафос всего раздела в том и состоит, что социальный строй России после падения коммунистического режима нисколько не изменился, а если и изменился, то только к худшему, и, значит, тоже должен пасть — не без помощи «свободного мира». А раз так, остается пародировать Солженицына, в свое время призывавшего Запад не упиваться иллюзиями «разрядки» и «конвергенции» перед лицом ползучей коммунистической агрессии (Солженицын, разумеется, был прав). Вот я и воспринимаю вопль Илларионова как анахроническую пародию. Здравая мысль насчет того, что в России установился (не столь уж жесткий) авторитарный бюрократическо-корпоративный режим, в принципе еще способный к *эволюции* (а кадровый состав управленцев, будь они трижды «чекисты», — что по крайней мере неточно, — не имеет принципиального значения, так как мотивированы они не этим своим «бэкграундом»), — такая мысль не приходит Илларионову и иже с ним на ум, не потому что они не умны, а потому что, признав или хотя бы предположив это, они окажутся не у дел по обе стороны границы. В виде косвенной иллюстрации замечу: когда известная журналистка, изо дня в день бескомпромиссно критикующая положение в стране и во власти, между прочим обмолвилась, что в Волгодонске и Москве дома взорвало все же не ФСБ, на нее из известных кругов посыпались обвинения, что она «предает дело свободы». Такова эта публика, именующая себя «другой Россией». Хочется надеяться, что обамовская администрация и американский «политикум», памятуя о толстенных книгах, посвященных руководящему участию ЦРУ в подготовке трагедии 11 сентября, поразумному разберутся с Илларионовым.

Не стала бы я въедливо вникать и в статью В. Можегова «Православная цивилизация под сталинской звездой»: публикации на церковную тему этого постоянного автора журнала для меня спорны, но всегда интересны. На сей раз он, слово за слово, внес дополнительный вклад в упомянутый политический раздел номера: охарактеризовал выступление вл. Илариона, уподобившего Сталина Гитлеру и поставившего знак равенства между этими двумя «чудовищами», пренебрежительным словом «скандальное» — и даже намекнул на определенную выгодность та-

кого выпада властям светским: дескать, опираясь на эти слова владыки, в региональной практике можно гнобить местных коммунистов, столь ценных сегодня своей оппозиционностью! Между тем в перенасыщенной неосталинизмом обстановке, когда подобное отождествление двух преступных тиранов трактуется (Н. Нарочницкой, Г. Боровиком и другими «благопристойными» медийными лицами) как идеологическая и геополитическая измена Родине: мол, сталинизм все-таки провозглашал общечеловеческие идеалы, а, главное, не заставили бы нас, ловя на слове, платить репарации, так же как постнацистскую Германию, — в такой вот обстановке Русская Православная Церковь оказалась единственной публичной инстанцией, сказавшей устами одного из своих епископов слово правды, — и мне совершенно безразлично, было ли оно у вл. Илариона плодом сердечного движения, исполнением воли его святейшего патрона или результатом каких-либо иных, рациональных стимулов. Оно прозвучало, и каждый честный член нашей Церкви должен этому радоваться, а не искать повода для подковырок.

Однако, повторяю, все эти андрее-илларионовские, можеговские и прочие «мелочи жизни» не заставили бы меня, литератора, отнюдь не претендующего на роль политического аналитика, открыть рот и возопить, кабы не искренний ужас перед выступлением дипломированных высокими званиями представителей сразу трех научно-гуманитарных сфер — истории, философии и культурологии.

«Идеи, которые мы высказываем, давно носятся в воздухе», — заявляют они в первых строках своего послания, и это чистая правда. Носятся так давно, что с крылышек основательно пообтерлась пыльца. Во времена холодной войны, главным образом в 60 – 70-е годы, целая череда зарубежных публицистов и «историософов» наперебой предлагала свои доказательства того, что советский тоталитаризм к мировой коммунистической идее никакого генетического отношения не имеет, а является продуктом «так называемой русской системы» (тут я пользуюсь выражением Ю. Афанасьева и соавторов). Понятное дело, тогдашним розовым свободолюбцам очень хотелось «вековую мечту человечества», вымечтанную новоевропейской социальной мыслью, хоть сколько-то обелить, возложив на русский склад и уклад ответственность за ее «искажение». Д. Б. Зильберман (эмигрант из СССР) даже написал сочинение под названием «Православная этика и материя коммунизма», приспособив к своей задаче название труда Макса Вебера. Обо все таком советую прочитать в первой главе работы Ренаты Гальцевой «Тяжба о России», написанной более семи лет назад, но сохранившей предельную актуальность (см. в ее кн.: «Знаки эпохи. Философская полемика», М.-СПб., 2008). Однако и Д. Зильберман, и А. Безансон, и в особенности Р. Пайпс, которые фигурируют на страницах «Тяжбы...», сохраняли по крайней мере видимость научной и фактологической аргументации

и, что важней всего, оставаясь в сфере борьбы идей, не доходили до тех *практических выводов*, которые преподносит нам ученая тройка.

Впрочем, к выводам этим станем продираться шаг за шагом, поскольку словесная дымовая завеса, логические подстановки и терминологическое бряцание говорят о сути предложенного «дискурса» не менее красноречиво, чем его итог.

«Нами движет тревога за нашу страну, с которой мы связаны всей нашей жизнью и судьба которой нам глубоко небезразлична», — предварительно заверяют авторы, бронируя себе место на линии создателя «Философического письма». Так вот, право на эту чаадаевскую аналогию они имеют не большее, чем защитники газпромовской хреновины в Петербурге — на аналогию с Эйфелевой башней. Движет ими не омраченная тревогой жажда сбережения страны, а та «святая ненависть» к ней, которой издавна больны любые радикалы, стремящиеся до основанья искоренить несовершенное сущее, а накренившееся — подтолкнуть.

За логикой при этом наши авторы следят не слишком. Постулируя (в том же вступлении) приход глобального цивилизационного кризиса, они одновременно утверждают, что страны, которые «не держатся за традицию», — в отличие, конечно, от России, — в условиях кризиса «развивают человеческое в человеке и добиваются поразительных социальных достижений». Но, позвольте, если кризис современной цивилизации действительно *глобален* и вам внятно буквальное значение этого слова, на каком основании вы *локализуете* его на тех территориях, которые вам не по душе? Это не пустая придирка. Коль пафос статьи состоит в отречении от «русской системы» и «русского способа мыслить», в какую весь вы собираетесь направить страну, за которую так тревожитесь? В котел «неостановимого», по вашему же слову, кризиса? Так пусть хоть немного подзадержится со своей отсталостью и ветхими традициями, прежде чем в него свалиться. (Не вовлекаюсь здесь, однако, в спор о пути — спор веду лишь о логике.)

После этого старта авторская тройка начинает свое движение с констатации «смертельного общественного недуга» России и, как увидим, тем же и кончает. Но если недуг *смертелен*, то о каких целительных заботах может идти речь? — она может идти лишь о вскрытии и последующих похоронах. (Сами же пишут: «такая болезнь проходит только вместе с пациентом»!) Вопрос тут опять-таки к логике, но уже не только к ней.

Первоочередная задача пишущих, из решения которой должны вытечь далеко идущие следствия, — доказать, что катастрофа 1917 года — не более чем типический эпизод в череде ему подобных на протяжении русской истории. Тут, попутно, — с логикой опять непорядок. События 1917-го трактуются как «мощная крестьянская реакция на прогрессивные перемены в стране: урбанизацию, социальную дифференциацию, разложение общины в конце XIX — начале XX века». Интересно бы знать, откуда взялись «прогрессивные перемены» в безнадежной «русской системе»? Завоевателей, принесших их с собою, вроде не наблюдалось. Мысль

же о том, что Октябрь был своего рода контрреволюцией по отношению к Февралю, не раз встречается у западных политических философов. И — что крестьянская масса была носительницей этого контрреволюционного, реакционного начала. Но упомянутым политфилософам, в силу их неистребимой левизны, желалось объяснить вытравливание газами крестьянских мятежей против соввласти и сталинское раскрестьянивание как объективно необходимый «русский путь» модернизации в отсталой стране. Наша тройка не проводит и такой мысли. Требуется ей приведенный тезис для весьма ловкого риторико-грамматического подлога.

Вот какого: «Средневековая православная монархия инвертировала свои базовые культурные атрибуты <...> [После 1917-го и Гражданской войны] система восстановила свои системные основания: православного монарха заменил обожествленный вождь, место "избранного народа" занял "избранный класс", идеологию православной идеократии вытеснили "единственно правильное учение" и коммунистическая утопия. Вновь восстановилась гремучая смесь изоляционизма и агрессии <...> Выполняя глобальный исторический императив — историко-диалектического оппонирования Западу, — система к моменту своего распада в 1991 году не только исчерпала свой внутренний ресурс, но и свой общеисторический смысл». Я привела это скопище банальностей (заставляющее подозревать, что писавшие никогда не слыхали о шпенглеровской концепции «псевдоморфоза») не ради них самих (хотя они то и дело противоречат истории *по факту*), а ради демонстрации того, на какой шампур они, эти банальности, насажены. Если подвергнуть пассаж элементарному лингвистическому разбору, то обнаружится, что в нем только одно подлежащее, один субъект действования, к которому относятся все сказуемые. Субъект этот — «средневековая православная монархия» (она же — синонимически — «система»), которая в 1917 году вовсе не пала, не очутилась, так сказать, в страдательном залоге, а *сама* «совершила инверсионный скачок» и сама же, в залоге действительном, «восстановила свои основания», продолжая выполнять «глобальный исторический императив» отрицательного свойства вплоть до его исчерпания (но — все еще! — не до своей чаемой гибели). Движима эта «православная монархия», или «русская система», надо думать, гегелевским Абсолютным духом, который сначала обрек ее на роль «историко-диалектического (?? — *И. Р.*) оппонирования Западу», а по исполнении этой роли прогоняет с исторической сцены. Этакий непролазный «историософский» мистицизм у наших борцов с религиозной архаикой.

При этом, повторяю, *по факту* — глубоко ложный. Предреволюционная Россия «средневековой монархией» не была, и это известно всем и каждому, включая наших авторов; *по факту же* она, член Антанты, ввязавшись в мировую бойню отчасти под давлением опрометчивых союзнических обязательств, не являла «гремучую смесь изоляционизма и агрессии» (толика изоляционизма ей бы тогда не помешала) и по факту

же, будучи *империей народов*, оставляла идею русского избранничества, как бы к ней ни относиться, теоретикам из славянофильских кабинетов и достаточно маргинальным праворадикальным течениям, не делая эту идеологему — при всех издержках русификации — *основой* внутренней и внешней политики и позиционируя себя в качестве одной из великих европейских держав.

Но тройственной дружине нет дела не только до наличия фактов, но и до смысла понятий. Авторы весьма преуспели в красноречивом изобретательстве многочленных эпитетов: «православно-языческая культурная традиция», «имперские, соборно-авторитарные культурные стереотипы», «манихейская инверсионная парадигма» (пойди пойми!!), «глобальный теократический проект с идеей провиденциальности и мировой миссии России», «стоящая на ветхозаветных основаниях вера, отвергающая новозаветность и гуманизм». Не дадим себя оглушить медью звенящей и постараемся разобраться в подоплеке этого *намеренного* (?) исторического невежества. Ясное дело, главная мишень этих наворотов — «способ веры». Хотя о нем авторы или делают вид, что ничего не знают, или не знают ничего. Так, им раз плюнуть — в одном случае прицепить к православию эпитет «языческий», в другом — «ветхозаветный». Оба определения для них, как видно, содержательно пусты и легко взаимозаменяемы. Ну, а утверждать, что православие — *не* новозаветная вера, — это круто; боюсь, Папа в Риме не одобрил бы. Кстати — о «язычестве». Так называемое обрядоверие (как тень церковной мистериальности) в равной степени свойственно и православию, и католичеству (которому противопоставляется здесь негодящая «русская вера»), — с чем яростно боролся Лютер, выплеснувший, как мы знаем, с водой и ребенка.

И еще — про католичество. Спекуляциями вокруг «филиокве» (не более чем местного отличия в тексте Символа веры) грешили и русские философы (например, П. А. Флоренский), но такого лихого оборота, как на этих страницах, мне встречать не доводилось. Историк и философ в составе тройки имеют полное право быть атеистами (пишущими Имя Божие с малой буквы) и оставаться равнодушными к дистинкциям, касающимся «опиума народа», но хотя бы культуролог (то есть отчасти и религиовед) мог бы знать, что проблема «...и от Сына» относится к триадологии, к учению о Пресв. Троице, а к христологии, к учению о Боговоплощении, о вочеловечении Бога *отношения не имеет*. Поэтому выводить из «филиокве» «человечность» Западной Церкви, каковой человечности якобы лишено православие, по меньшей мере безграмотно (и как заодно объяснить человечность русской литературы — неужто одними западными влияниями?). Тут же замечу, что понятия «Богочеловеческий», «Богочеловечество», которыми авторы без обиняков пользуются для доказательства своей мысли, введены в теологический оборот русским философом Владимиром Соловьевым и поначалу отторгались католическим богословием (теперь, кажись, усвоены).

Поразительны и воинственные пляски вокруг понятия «теократия». Авторам ничего не стоит употреблять определения «теократический» и «имперский» рядоположно или в почти синонимической близи и вести им отсчет «от Рюрика». Так вот, коли вы трое интересуетесь русской историей не только как раздражающим объектом элиминации, то должны знать, что эти два определения фактически отрицают друг друга, что в России никогда не существовало ничего похожего на *теократию* (если понимать под ней не церковное освящение монаршей власти, имевшее место и в Западной Европе, а «боговластие», возвышающееся как институт над властью князя или императора и даже противостоящее последней); претензии Иоанна Грозного на теократическое значение его сана кончились скорым падением дома Рюриковичей, а «имперский проект» восторжествовал над церковно-теократическим, едва тот попытался поднять голову: низвержение патриарха Никона, а затем уничтожение патриаршества и замена его Синодом, подконтрольным имперскому чиновнику. (О всемирной теократии заговорил было Владимир Соловьев, но в его утопическом построении теократическая власть предоставлялась Папе, а за Россией и ее «провиденциальной миссией» оставлялось подчиненное положение. Простите, что мне приходится напоминать азбучные истины и обращаться к «школьным» сведениям.)

Столь же бессмысленно выражение «соборно-авторитарный» применительно к внутреннему строю исторической России. Соборно-авторитарный (он же соборно-иерархический), или, если угодно, кафолическо-авторитарный, строй реально существует только в Церкви (как в Западной, где авторитаризм сильнее, так и в Восточной) — вопреки «демократизирующим» попыткам разного рода обновленчества. Общественно-политический строй «соборным» быть не может, как бы ни хотелось этого славянофилам, в особенности Хомякову, который ввел в русский язык (!) прежде не существовавшее ни в нем, ни в богословии слово «соборность». Понятное дело, нашим авторам удобнее подменять критику реальной русской истории критикой поздней русской религиозно-философской мысли (каковая критика давно осуществлена и без них, и притом в конструктивном духе) — и таким образом вступать в схватку не с авторитарной российской монархией, дававшей уже ростки земского и парламентского представительства, а с многочленными (см. выше) химерами, слепленными из обрывков превратно истолкованных «концептов».

Все это, впрочем, не более чем оперение, пускание в глаза пыли, чтобы запорошенный читательский взор ни во что особо не всматривался после знакомства с *заранее* (на с. 213) вынесенным вердиктом: «Россия упустила ВСЕ исторические шансы модернизации <...>. Как социокультурное и геополитическое целое Россия не трансформируема». Тут неумолимая тройка переплюнула даже Владимира Ильича Ленина. Он все-таки публично изъяснялся насчет «национальной гордости великороссов» и «двух культур в одной национальной культуре» (в душе

предполагая, конечно, не оставлять Россию «геополитическим целым», а пустить как сырье на нужды мировой революции). А тут предлагают отказаться раз и навсегда ото всей «парадигмы» сразу.

Совершив мысленное уничтожение неизлечимого пациента, исполнители этого дела встают перед вопросом, неизбежным после такой процедуры: куда девать труп? «Россия, как бы ни менялись ее геополитические контуры, не провалится сквозь землю» (увы!), «а потому вопрос о ее модернизации <...> остается на повестке дня». В чем состоит эта «повестка», да и сама чаемая «модернизация», вычитать из тройственной статьи нелегко, и мне остается реконструировать ответ по косвенным признакам и обмолвкам. Получится примерно следующее.

Во-первых. «Надо преодолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации» («а не только путинский режим») (с. 212). Другими словами, надо отсечь историческую и культурную память у современного российского (преимущественно русского) населения, в особенности же, что подразумевается, — *позитивную* память. Тогда-то наконец возникнет «Россия независимости русского человека от всех исторически сложившихся социальных ролей и смыслов» (с. 223), что, видимо, и станет главным итогом рекомендуемой модернизации (весьма примечательна здесь свобода от «смыслов»).

Во-вторых. Ввиду «неспособности православия вдохновить русского человека, чтобы он почувствовал себя личностью» (с. 217), Русская Православная Церковь, воспроизводящая в поколениях безличное рабствование, должна быть отделена не только от государства, но и от общества, то есть лишена права на причастность к сферам образования и благотворительности, на публичные высказывания общегражданского характера, на публичное отправление религиозных обрядов вне храмовых стен. (По этому «модернизационному» пути пытается идти западный мир с его «политкорректностью» и «мультикультурализмом», но, встречая известное сопротивление со стороны традиции, вряд ли сумеет скоро достичь того идеала, который на этом поле был осуществлен тоталитарным СССР.)

В-третьих. Поскольку ныне «страна представляет собой рыхлый конгломерат совершенно разных в этно-культурном отношении территорий, утрачивающих последние формальные интеграторы...» (с. 213), спасать «именно этот социум» — как «геополитическое целое» — не имеет смысла. О перспективном распаде и расчленении России не говорится впрямую (воздадим авторам авторово), но для иного вывода данных нет.

В-четвертых, едва ли не главное, выходящее за рамки теоретических отвлеченностей: способ достижения такого рода «модернизации». На население рассчитывать, понятно, не приходится: тут «...неспособность к самокритике, самореализации и саморазвитию. Криминальная власть у криминализированного равнодушного населения» (с. 212). «Общество в целом утратило волю к осмысленному и целенаправленному насилию

вообще и к насилию хотя бы на основе права в частности» (с. 221). Проще говоря, общество не желает нового революционного переворота, или, выражаясь словами пролетарского поэта, проявляет «позорное благоразумие». (Отмечу нарочито безграмотную формулу: «насилие хотя бы на основе права». В цивилизованных странах, — а не, скажем, в Сомали, — законное право на насилие может быть дано только органам государственной власти, — и слава Богу, иначе наступил бы «день открытых убийств». Даже гражданское неповиновение — это, в замысле, сопротивление *ненасильственное.*) «Но тема социального насилия, — продолжают свою мысль авторы, — прочно табуирована еще с горбачевских времен <...> Единственный допустимый контекст — жупел "бессмысленного и беспощадного", которым невротичная интеллигенция под довольные ухмылки сверху пугает читающую публику» (там же). А я-то думала, что тема эта в русской культуре «табуирована», точнее — «негативирована», не с горбачевских, а с достоевских, толстовских, веховских времен, не говоря уже об отвергаемом Пушкине. Ах да, забыла, ведь это рабская культурная парадигма, от которой следует избавляться.

Итак: социальное насилие. Мандат на которое вручается, надо понимать, группам героических личностей, «изнывающих под гнетом традиционной статики и взыскующих динамики и новизны, разгоняемых ОМОНом и сидящих по приговорам зависимых от власти судов» (с. 222). Под это определение прямее всего подходят лимоновцы, то есть *необольшевики* (прочие, если и бывают, по непроходимой глупости власти, разгоняемы, то не судимы и не заточены, а кое-кто выражает свою жажду революционной «динамики и новизны» из уютного зарубежья).

Вот и приехали. Предложить такое, отвергнутое опытом российской истории, старье после столь обильного словоизвержения и мудрствования! Да, правда ваша, старые болезни нашу страну и ее интеллигенцию не покидают, и безответственно-подстрекательский, социально бесплодный деструктивный радикализм все еще находит своих приверженцев, надеющихся (а вдруг — небезосновательно?), что из искры возгорится пламя.

Скажу открыто: этот безмозглый либо коварный (выбирайте сами) радикализм на руку врагам нашей страны. Имею в виду не «мировую закулису», в которую не верю, хотя отношению к России ее западных партнеров (и особенно их идеологической свиты) можно бы предъявить немалые претензии. Имею в виду скапливающиеся флюиды советизма и сталинизма, для распространителей которых такие выступления, как статья Ю. Афанасьева и соавторов, — смачная и питательная снедь. Что эта сторона может противопоставить антироссийскому революционному радикализму, который она, по недобросовестной ошибке, именует «либерализмом» и «демократией»? Ну, конечно, «православную империю под знаменем сталинизма», — как замечательно сформулировал полковник В. В. Квачков (тот самый, кто, по одной из следственных версий, пытался «ликвидировать» Анатолия Чубайса). Что слаще — хрен

или редька, — покажет (не дай Бог) будущее; по мне, оба отравно горьки, как в прежнее время — красная и черная сотня.

В сборнике «Путь Солженицына в контексте Большого времени» (М., 2009; он и явился темой декабрьского собрания, где мне случилось выступить) я обратила внимание на статью, казалось бы, частного значения: Светлана Шешунова, «Творчество А. И. Солженицына и проблема топонимической реставрации». Автор сообщает среди прочего о результатах полевого исследования, проведенного в 2007 году в Международном университете природы, общества и человека «Дубна». Выяснилось, что почти половина опрошенных студентов высказалась против возвращения городам и улицам их исторических имен. Мотивировки были те, что «современные названия» привычнее, даже «красивее» и связаны с достижениями советского прошлого и с его героями, а «повсеместное историческое беспамятство респонденты воспринимают <...> как нечто естественное» (с. 404). Можно заключить, что на отдельном участке жизни цель как Афанасьева, так и Квачкова уже достигнута.

Оставив в стороне этот черный юмор, напомню напоследок не только для меня очевидное: что *восстановление связи с исторической Россией* (в ее взлетах и падениях) является одним из целебных средств для нынешней анемичной страны и лучшей профилактикой обоих радикализмов — нацеленных как на исчезновение «русского мира», так и на подчинение его сталинистской реставрации.

Самый нелицеприятный критик российской действительности, если он страну свою тем не менее любит, будет исходить из наличных условий ее существования: будет просвещать тот народ, который есть, а не грезить о «новом человеке», будет работать внутри общественного устройства, которое не без участия этого народа сложилось, стараясь преобразовать его изнутри, а не взорвать, будет поднимать свой голос против неправды и беззакония, не помышляя искоренить их на путях бунта, — иначе говоря, как хороший врач, будет следовать заповеди «не навреди». Это азбука «либерального консерватизма», завещанного нам Пушкиным и лучшими русскими умами — умами свободными и верующими.

Валерий СЕНДЕРОВ

О «ВЕЧЕВОЙ ИМПЕРИИ», СКВЕРНЫХ РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ И НЕБЕССМЫСЛЕННОМ БУНТЕ

Все это стократ писано. Читано, подвергнуто критическим обзорам. Но на сей раз... Я нередко пишу о евроненавистничестве — главной нынешней болезни огромной части нашего общества. Сегодня речь пойдет

об обратном, если можно так выразиться, диагнозе. О дополнительном, говоря точнее. О клиническом, не уступающем ненависти к капитализму-протестантизму-демократии накале. О ненависти части общества к собственной стране.

Я не люблю термин «русофобия»: часто им клеймят авторов либерального крыла и доброжелательных, критически настроенных (как Ричардс Пайпс) иностранцев. Но это еще не значит, что самого явления не существует. Как на тяжкий бред о жидомасонстве нелепо реагировать наложением табу на проблемы, опусканием очей долу при одном лишь слове «масон».

Статья, о которой пойдет речь, к либерализму отношения не имеет. «Вовсе не бессмысленен русский бунт!» — ставят на место три доктора наук некоего автора известной фразы. Но о содержании текста — чуть ниже. Пока что — о постановке нашей задачи: чем и почему привлекла мое внимание эта статья?

Надежный способ нагнетания русофобии — надрывная борьба с нею. «Во-от, смотрите, как они нас не любят!» — мазохистски исследуют творения подлинных и мнимых врагов борцы. Но перед нами особый случай: статья трех авторов — талантливый конспект. В нем с концентрированной ясностью высказано все, чего обремененные предрассудками единомышленники мыслителей обычно все-таки несколько стыдятся. Откуда выполз такой уникум, почему это так? Не будем вдаваться в сомнительные догадки: факт, во всяком случае, налицо. Как в капле чистой (если уместно это прилагательное) воды отразилось целое явление в кратком тексте.

Формально статья — отклик на «Россию, вперед» Дмитрия Медведева. Президентские размышления о том, что коррупция — зло, ночью темно, а летом жарко, вряд ли войдут в сокровищницу русской политической мысли. Но как ни относись к медведевскому простодушию (во многом, безусловно, наигранному), — нелегко было ждать в ответ такого всплеска злобных эмоций. Статья Медведева — «устрашающая», в ней «ленинско-сталинская готовность»...

Помилуйте, господа. Ненавидьте вы власть хоть до синевы. До хронического несварения осетринки с хреном. Но ночью ведь и вправду темно. Зачем же себя в смешное положение ставить?

Но в общем-то не в Медведеве дело. Авторы и не скрывают: статья его для них лишь предлог. Чтобы высказать наконец все, что они думают о России. Продольно и поперечно. О ее религии и культуре; власти, традициях, менталитете, народе... И именно этим, — а не бессодержательной полемикой с бессодержательным творением президента, — и интересна их статья.

Начинать — так сначала! С самих, так сказать, корней. А «корни болезни» России (так и озаглавлена одна из главок статьи) — известно в чем. В православии.

В «двузонной религии». Лишенной средины, человеческого измерения; знающей лишь Рай и Ад... Авторы усердно повторяют полемические аргументы, сложившиеся в католическом мире лет этак 500 – 700 назад. Им словно бы невдомек: аргументы эти уже устарели. По крайней мере, с точки зрения самого католического мира: Церкви-Сестры все более настраиваются на подлинный диалог, и вчерашние взаимные «разоблачения» все чаще трактуются просто как взаимное непонимание. Это в полной мере касается и разбираемых в статье вопросов. Но такие перемены авторов, разумеется, устроить не могут: принципиальная пропасть между западной и восточной духовностью — сердцевина их концепции. Посему они спокойно дублируют католическую аргументацию вчерашнего дня.

Эта часть статьи написана, по сравнению с тематически последующими, выдержанно, спокойно. Что неудивительно. Занырнув в такую тематику, можно доказать решительно что угодно. При соблюдении лишь одного условия: научной добросовестностью, публицистической корректностью себя не обременять.

Так, один из абзацев главы начинается определением понятия «filioque». «Отсюда (т. е. из православной, неправильной редакции Символа Веры. — *В. С.*) и практически неизвестный на Западе феномен юродства, и крестьянская утопия, и пугачевская вольница, русский нигилизм и русский космизм, коммунистический проект и бесконечные рассуждения о пресловутой “духовности”». Таков победный вывод этого же абзаца. Ну какой же уважающий себя человек вздумает возражать этой ошарашивающей бессмыслице-скороговорке?

Но вот переходят авторы к окаянной имперской тематике: тотчас сдержанности — как не бывало: «Оппозиция богоизбранной империи и ее варварского окружения»... Про какой век это писано? Про Петра, Екатерину? Про Александра I? К какому — хоть одному! — императору, от Петра и до Александра II, эта «оппозиция» применима?

«Вся история России — история на основе теократического имперского проекта с его центральной идеей избранничества. Это можно отчетливо проследить начиная от Рюриков, через Екатерину и Николая II, через Сталина и вплоть до Путина». Ну, про Рюриков — ладно. О них у авторов информация эксклюзивная, конфиденциальная; тут не возразишь. А Екатерину я бы все-таки на их месте лучше изъял из текста. От греха подальше. Вольтерьянка, автор запрещенного во Франции за свободолюбие «Наказа», родоначальник русского либерализма. И вдруг — теократический проект...

Тут уж не до тонкостей; но все-таки, к слову. «Теократический имперский проект» — *принципиальная* бессмыслица по отношению к России. Еще Петр сознательно открестился от Византии, позиционировал себя как император *классического римского* типа. Император — источник

Закона, подчиняющийся Закону: где здесь мыслимо усмотреть «теократический проект»?

Империи не везет. Авторы не ведают, что империя — тонкое и сложное научное понятие, что по вопросу о его существе пишутся серьезные статьи, устраиваются содержательные конференции. В статье же в этой «империя» — просто козел для битья. «Восстановилась гремучая смесь изоляционизма и агрессии...» Действительно, гремучая смесь. Самоуверенности и невежества. Неужто авторы не подозревают, что «имперский изоляционизм» — саблезубый заяц? что в классическом европейском сознании, от Вергилия и через Данте, тождественны понятия «Рим» — и «вселенскость», «универсализм»?

«Она (нехорошая, неправильная Россия. — *В. С.*) несет в себе святорусскую архаику, засилие традиции, имперско-вечевое сознание толпы, соборно-авторитарные культурные стереотипы, самодержавно-общинные ценности, деление людей на "мы" и "они", насилие, алчную погоню за властью, великодержавность, вождизм. Это — имперская лошадь, на которой "мы-русские" едем начиная с Рюриков. Но последние триста лет такая культура не выдерживает конкуренции на мировом рынке культур и все более выглядит как полудохлая кляча».

Это уж просто — «Из моей записной книжки». Неужто так-таки и *ни разу за триста лет* не выдерживала русская культура[1] конкуренции на, говоря по-вашему, «рынке»? Окститесь, господа. О правдоподобии все-таки заботиться стоит.

Всего этого, разумеется, мало. Исподтишка разделавшись с православием, многоэтажно обругав «имперско-вечевой» синдром, авторы следуют далее. Их мишенью становится... само понятие «традиции». Именно русской, российской? Или вообще любой? Не будем спешить. Предоставим слово им самим.

«Одни (общества, страны. — *В. С.*) быстро модернизируют свои культурные основания, развивают человеческое в человеке и добиваются поразительных социальных достижений. Другие, держась за традиции, захиревают, угасают, становятся сырьевыми придатками технологически развитых стран. Где находится Россия?»

Кто *модернизирует* свои культурные *основания*? Америка, США? Но нет страны, более преданной своим *незыблемым* культурным основам. Может, Италия? На днях евродебилы потщились запретить Распятия в этой стране. И офисные служащие — впервые в жизни, быть может, — водружали кресты с Распятым на стены своих контор. Что же, если вдуматься, перед нами в статье? Набор правдоподобных, но лишенных точного смысла слов? Или действительно: традиция запретна, преступна — только в России?

---

[1] Следуя за тремя авторами, под «культурой» я в данном контексте имею в виду прежде всего культуру политическую. — *В. С.*

«Менять надо не только правительство Путина и даже не только путинский режим, а вместе с ними надо преодолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации, менять надо ее парадигму». Кажется, перед нами ответ на вопрос...

И эта позиция абсолютно последовательна. «Их (традиции. — *В. С.*) можно и нужно постигать и на такой основе познавать себя и окружающий мир. Можно при этом испытывать сострадание к соотечественникам, можно чувствовать боль в себе самом, понимая, что ты и сам замешан на тех же традициях. Можно углубляться в их постижение, чтобы отыскивать способы преодолеть их и в себе и, если возможно, в окружающем тебя мире».

Так — довольно мягким тоном — поучают авторы Президента России. Но что к соотечественникам можно испытывать не только «сострадание», что традиции могут вызывать у кого-то не только душевную боль... Патологично, — но авторам это просто не приходит в голову. «Преодолеть!» — единственная и категоричная их директива.

Религия — госустройство — традиции — исторический менталитет... Что там еще, для полноты, на повестке? Ну да, конечно. Пока еще мы не отрецензировали, — сам народ.

Здесь у авторов — раззудись, плечо. «Свиные рыла», «уроды», «недоделанные», «навозопроизводители», «навозошаротолкатели»... Как видим, образованность свою нам очень даже показать хочут. Как любимый изюм из булочек, ковыряют авторы из русской литературы дорогие сердцу слова. Кажется, не зря мы интриговали читателя: перед нами — явление необычное. Не каждый же день творения трех докторов гуманитарных наук столь отчетливо напоминают загаженный забор.

«Биологическое, животное состояние... нажравшийся колбасы обыватель, вяло подворовывающий все, что плохо лежит, и безразличный к судьбе даже собственных детей...» Опять про правдоподобие забыто. Беспрерывное волнение россиян о судьбах образования — об истории и точных науках в школе, непрекращающийся шум вокруг — всего-то! — способа сдавать экзамены, пресловутого ЕГЭ... Это — безразличие к судьбе собственных детей?

Но всего этого — мало, мало, мало. Авторы не в силах не мазнуть грязью и самые светлые — именно с точки зрения демократа! — страницы истории страны. «Распад (СССР. — *В. С.*) произошел столь легко и относительно бескровно, будто движимый невидимой рукой, поверх интересов и устремлений огромных масс людей, даже не вполне понимающих, что собственно происходит. Мы стали свидетелями того самого случая, когда дух истории оказался умнее воплощающих его социальных сил».

Ну, не надо. На Гегеля неча кивать. И обращаться к чуждой вам мистике тоже не стоит. Именно «огромные массы людей» в начале девяностых совершили чудо: бескровно сокрушили смертоубийственный ком-

мунизм. Вас корчит при имени «Ельцин» — и не хотите вы помнить о выборах первого президента страны. Когда *народ* (в данном случае уместно это слово), еще под жестким коммунистическим прессом почти по всей стране, прекрасно понял — что собственно происходит.

Что же надлежит делать с этакой страной? В правомерности такого вопроса, в своем праве вязать и разрешать авторы, разумеется, не сомневаются. И дают читателю ясный и однозначный ответ.

«Надо ли пытаться спасти именно этот социум, застрявший в "состоянии между" двумя типами цивилизаций и умирающий из-за русско-системной неспособности преодолеть внутренний раскол?.. Честный ответ... может быть только один: нет, не надо».

А что же, собственно, *надо*? Лучше всего бы, без сомнения, такой стране просто провалиться в тартарары. Но увы. «Система», похоже, делать этого не собирается.

«Россия, как бы ни менялись ее геополитические контуры, не провалится сквозь землю, а потому вопрос о ее модернизации при всех историко-политических обстоятельствах остается на повестке дня».

Придется модернизировать, чтоб ее... Но *мирная* модернизация «системы» (т. е., попросту, реально существующей страны) — невозможна. Это не раз подчеркнуто в статье, — да из всего сказанного это ясно и вытекает. Следовательно...

«Тема социального насилия прочно табуирована еще с горбачевских времен, и потому приходится довольствоваться прекраснодушными грезами или фигурами умолчания. Единственный допустимый контекст — жупел "бессмысленного и беспощадного", которым невротичная интеллигенция под довольные ухмылки сверху пугает читающую публику.

Пушкин был неправ: бунт не бывает бессмысленным...

У общества нет цели. А когда цели нет, то вместе с волей к насилию, к отстаиванию общих интересов иссякает и воля к жизни».

Похвалим храбрых авторов: суровых выводов они, видать, не боятся.

Но сами же пишут: бунта не предвидится. Где ж нам, «гамлетикам», «кисляям», еще и бунтовать?

И все-таки — есть еще проблеск надежды для несчастной страны.

«На территории России есть и другая Россия. Все еще слабая, проявляющаяся лишь кое-где, часто не ведающая, что творит... Это Россия личности. Россия независимости русского человека от всех исторически сложившихся социальных ролей и смыслов».

Ну, что ж. Есть еще, значит, в нашей стране не только зажравшийся колбасой (он же быстро вымирающий) обыватель. Есть еще и борец за народное дело. Новый человек. Свободная от устаревших ролей и смыслов Светлая Личность.

Вот мы и приехали: Россия, вперед... Туда, где полтора века назад уже побывали.

Здесь сами собою напрашиваются понятно какие слова. Вот, так уже было, и откровенное накликание революции вызвало-таки на сцену ее реальный дух... Но соображения истины воспрещают тему таким образом закруглить.

Ибо история не повторится. Расклад сил в стране — абсолютно иной. Чепуха это все: про движущие силы, не могущие верхи и не желающие низы. Трезвый взгляд на революции обнаруживает совсем другие закономерности. Простейшие. Но фундаментально важные.

Взглянем на великие революции прошлых веков. Французскую, русскую, национал-социалистическую... Все они, — и расширение списка не изменит наш вывод, — произошли в условиях *абсолютного* паралича власти.

Во *всех* названных случаях революционеры никого не свергали. Страна сама падала им в руки. А авантюристы дрожали от страха, на перекрестках улиц им мерещился городовой. Но городового уже не было. И тщетно «досадовал, что нету под рукой // Двух батарей — рассеять эту сволочь», будущий император Наполеон Бонапарт. И напрасно искал по Петрограду два верных полка будущий герой Сопротивления полковник Кутепов...

Сегодня же два полка — найдутся. Не то чтобы у нас действительно была сильная, уверенная в себе власть. Но революция — не борьба сил, она всегда поначалу лишь борьба дистрофий. А дистрофия «других Россий» на порядки сильней, нежели России властвующей.

Наши *правые* революционеры отлично усвоили все это. И ставку они делают на легализм. На просвещение народа. Провинциального начальства, мало связанных с Западом бизнесменов, средних и низовых сотрудников силовых структур... Сказать, что в среде такого «народа» не слаб сегодня у нас фашистский потенциал — значит вообще ничего еще не сказать. И когда систематизированное мракобесие окончательно станет религией сей массы... Не будет тогда вопросов о Путине, Медведеве, еще о паре тысяч сегодняшних властелинов страны. С необходимостью и быстро исчезнут они со сцены. Или незаметно капитулируют, сделав хорошую мину при вдрызг проигранной полузападнической игре. В этом случае формальной смены власти даже и не понадобится.

Упорно сталкивающие страну вправо — прекрасные агитаторы: они используют все. И для них нелишний подарок — статьи ревдемовских леваков. «Хотите знать, кто такие все эти либералы-демократы? Что они думают о вас обо всех? Да вот же, братцы! Читайте!» Лично я лишь развел бы в ответ руками. *Нечего на это возразить.* Никого ведь не убедишь, что с либерализмом, с демократией все это даже на правах пародии не связано никак.

С ценным поступлением вас, судари проектировщики «третьеримской» России!

Сергей БЕЛЯКОВ

ДРУГОЙ РОССИИ НЕ БУДЕТ

Прошлое России чудовищно, настоящее невыносимо, о будущем же страшно и помыслить. Так, перефразируя Бенкендорфа, можно было бы рассказать о взглядах историка Юрия Афанасьева, культуролога Алексея Давыдова и философа Андрея Пелипенко на Россию и российскую историю. Они, по всей видимости, любят свою страну, пусть и «странною любовью», а какого же нормального человека, патриота России, не беспокоят всепроникающая коррупция, воровство, ставшее нормой жизни, и еще многие-многие беды нашей страны? Беспокоят они и авторов «антимедведевской» статьи, опубликованной в 141-м номере журнала «Континент». Авторы, однако, не ограничились полумерами, а сразу попытались найти лекарство от «нашей национальной болезни».

Лечение начинается с постановки «диагноза». К сожалению, «доктора» не сумели найти эффективной и научно обоснованной методологии для своего исследования. Диагностику они доверили русским классикам: «*Говоря о ней* (о «болезни». — *С. Б.*), *выдающиеся деятели нашей культуры использовали такие нелестные определения, как "пародия человека", "мертвые души", "свиные рыла"*» и т. д. Как будто заговорил старый школьный учебник. В наши дни такая интерпретация Гоголя в высшей степени моветон. Не зря же Владимир Владимирович Набоков предупреждал американских студентов: «Если вы хотите что-нибудь узнать о России <...> не трогайте Гоголя <...> Ему нечего вам сказать».

Но архаические (запомним это слово!) взгляды на историю русской литературы, в сущности, мелочь. Гораздо интереснее попытка авторов статьи соединить теорию модернизации с религиозной философией Петра Яковлевича Чаадаева.

Теория модернизации появилась в Европе и США в 1960-е. Ее авторы преимущественно социологи и политологи — Д. Эптер, Ш. Эйзенштадт, М. Леви, С. Блэк и другие. Во главу угла они ставили развитие экономическое, реже — общественное, но никак не духовное, не религиозное. Авторы нашей статьи много пишут именно о неудачных попытках модернизации в России, об отсталости «архаического» российского общества, но глубинную причину ищут там, куда ни Эйзенштадт, ни Эптер ни за что бы не заглянули, — в христианской догматике. Переход от «традиционного» общества к «индустриальному» («современному»), то есть собственно модернизация, связан с неизбежным упадком религиозности. Религия теряет роль духовной основы общества, религиозные ценности уступают идеалам Просвещения. Химеры нежизнеспособны даже в философии истории. Теория модернизации

несовместима с религиозной философией, но авторов это не смущает. Они идут ab ovo, начиная с проблемы filioque: «*...церковь признает, что Святой Дух исходит не только от божественного, но и от человеческого в лице Иисуса-богочеловека. Это частичное низведение божественного с церковных небес в творческое человеческое получило подтверждение и развитие в гуманистических движениях Ренессанса, Реформации и Просвещения. В России иное*».

Оказывается, князь Владимир, о filioque не знавший, как, впрочем, и 99 процентов католиков и православных, совершил фатальную ошибку. Не настало ли время ее исправить? По логике вещей, модернизацию следует начинать с фундамента: наконец-то взять и перейти в католичество, ведь авторы настроены в высшей степени радикально: «*надо преодолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации, менять надо ее парадигму*».

Не считаю себя компетентным в богословских проблемах, но авторы статьи в теологические дебри и не уходят, ограничиваясь ссылкой на давнюю статью С. Аверинцева: «*Русская духовность делит мир не на три, а на два — удел света и удел мрака; и ни в чем это не ощущается так резко, как в вопросе о власти*»[1]. Из этого положения авторы делают далеко идущие выводы. Но ведь можно сослаться и на другую работу Аверинцева. Советский ученый относился к православию намного доброжелательнее. Аверинцев обращал внимание на бóльшую, в сравнении с католицизмом, роль мирян, простых монахов и старцев в православной церковной жизни. Именно они стали «хранителями традиций веры», выступив против византийских императоров-иконоборцев, поддержанных высшим клиром, и победили! В православии не было жесткого, как в католицизме, деления на «учащих» (клир) и «учащихся» (мирян). Словом, демократический элемент был в православии намного сильнее, чем в католицизме[2]. Почему бы не пойти путем Афанасьева, Давыдова, Пелипенко и не поговорить о демократической традиции в истории русской культуры? Духовные основы у русской демократии ничуть не слабее, чем у русского авторитаризма.

Помимо этой методологической химеры, есть в статье немало мелких, но досадных промахов, ошибок, несообразностей. Многие понятия, которые используют авторы статьи, представляются мне загадочными. Старая, «архаическая» Россия будто бы несет в себе «*имперско-вечевое сознание толпы, соборно-авторитарные культурные стереотипы, самодержавно-общинные ценности, деление людей на "мы" и*

---

[1] *Аверинцев С.* Византия и Русь: два типа духовности. Ст. вторая. Закон и милость // «Новый мир», 1988, № 9.

[2] *Аверинцев С.* Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. — София — Логос. Словарь. — Киев: «ДУХ и ЛИТЕРА», 2006. С. 346 – 357.

"они"...» Что такое «имперско-вечевое сознание толпы»? Причем тут вече? Вечевой строй был формой русского средневекового республиканизма. Самодержавие вечевой строй постепенно извело. Иван III уничтожил предпоследнюю вечевую республику — Великий Новгород, а при его сыне Василии III исчезла и последняя — Псков. Эти факты известны и школьникам, и студентам гуманитарных вузов. Что в таком случае означает термин: *«имперско-вечевое сознание толпы»*? Если судить по контексту, что-то очень дурное. Не ясен и смысл словосочетаний *«соборно-авторитарные культурные стереотипы»* и *«самодержавно-общинные ценности»*.

Деление людей на «мы» и «они» — одна из основ жизни человечества, фундамент. Без «мы» и «они» не может быть ни общества, ни нации, ни государства, ни семьи. Члены семьи — «мы», все прочие — «они». Отрицать это деление глупо и смешно. Тем более что авторы как раз делением на «мы» (хорошие, «либеральные» «мы») и «они» («архаические», «авторитарные», «алчные», «великодержавные» «они») пользуются вовсю. От статьи, подписанной тремя докторами наук, ожидаешь большей терминологической строгости.

Авторы статьи, пытаясь обосновать собственные идеи, охотно обращаются к истории, но и здесь попадают впросак. Революцию 1917 года[3] они называют *«мощной массовой крестьянской реакцией на прогрессивные перемены в стране: урбанизацию, социальную дифференциацию, разложение общины...»* Вскоре после революции *«Средневековая православная монархия инвертировала свои базовые культурные атрибуты. <...> система восстановила свои системные основания: православного монарха заменил обожествленный вождь, место "избранного" народа занял "избранный" класс, идеологию православной идеократии вытеснили "единственно правильное учение" и коммунистическая утопия. Вновь восстановилась гремучая имперская смесь изоляционизма и агрессии...»*

Революцию 1917 года в течение нескольких десятилетий готовили как раз образованные слои общества, главным образом — разночинная интеллигенция. Приветствовали революцию едва ли не все сословия, включая дворянство. Так что сводить ее *«к массовой крестьянской реакции на прогрессивные перемены»* не только ошибочно, но и нелепо.

Поразительны суждения авторов о *«системе, восстановившей свои системные основания»*. Либералы Афанасьев, Давыдов и Пелипенко дословно воспроизводят мифологическую картину истории XX века, которая представлена в публицистике журнала «Наш современник», газет «Советская Россия» и «Завтра». Современные отечественные националисты примирили «белый» и «красный» патриотизм (еще с начала девяностых этим занимался Александр Проханов и, как видим, не без

---

[3] Современные историки говорят не о двух революциях, Февральской и Октябрьской, но об этапах одной революции – Революции 1917 года.

успеха). Афанасьев, Давыдов и Пелипенко не любят ни красной, ни белой империи, но их преемственности не отрицают. В сущности, это две версии одного мифа, равно далекие от исторической реальности.

Но более всего поражает фраза про «избранный народ». Какое отношение это понятие вообще имеет к истории России? Империя Романовых была государством наднациональным. Роль русского народа в ее строительстве была ведущей, но не исключительной. Царский двор еще со времен Московской Руси отличался космополитизмом. Помимо русских, там были татары, литовцы, позднее — немцы, голландцы, шотландцы, французы, грузины, армяне. В XIX веке, особенно в первой его половине, «немецкое засилье» возмущало многих русских. Вспомним исторический анекдот о Ермолове, якобы попросившем произвести его «в немцы». Русификация началась при Александре III, но ее последствия не следует преувеличивать. Империя Романовых оставалась наднациональным, а не русским национальным, проектом.

Признаюсь, сбило меня с толку и еще одно загадочное словосочетание: «*имперская смесь изоляционизма и агрессии*». Еще со времен Алексея Михайловича Россия была открыта культурным влияниям Запада. В послепетровскую эпоху быт высших сословий в России и в Европе практически не отличался. В Москве, Петербурге и даже в Оренбурге или Тамбове дамы и кавалеры одевались «по парижской моде», танцевали модные европейские танцы, интеллектуалы зачитывались сначала Вольтером и Руссо, затем — Шеллингом и Гегелем:

В тарантасе, в телеге ли,
Подъезжаю ли к Брянску я,
Всё о нем, всё о Гегеле
Моя дума дворянская.

А. К. Толстой

Позднее перешли на Спенсера, Бокля, Маркса, Ницше и т. д. Русская культура была частью культуры общеевропейской. Европейские ученые работали в России, русские ехали в Европу. Гоголь, Тургенев, Мечников, Брюллов, Иванов лучшие годы провели за границей, никто их не считал «ренегатами» или «космополитами». Уподоблять царскую Россию сталинскому Советскому Союзу невозможно. Это два разных мира, два проекта, которые кардинально отличались друг от друга.

Сталин и в самом деле использовал отдельные российские имперские атрибуты, но лишь в тактических целях. Если русские не желали сражаться за дело мировой революции, приходилось заставлять их сражаться за Россию. Для этого можно было и генеральские звания возродить, и часть храмов на время открыть, и велеть Эйзенштейну снять фильм об Александре Невском, а Кукрыниксам — нарисовать плакат: «Бьемся мы здорово! Колим отчаянно! Внуки Суворова, дети Чапаева!», соединив советский патриотизм с русским. Но русский патриотизм ис-

полнял сугубо служебную роль. СССР был «родиной трудящихся всего мира», а не «красной русской империей».

Большевики уничтожили все сословия, начиная с дворянства, духовенства и купечества (с ними покончили уже в годы Гражданской войны) и закачивая самым многочисленным, самым непокорным — крестьянством. Только публицисты из круга «Советской России» или газеты «Завтра» могут уравнять общину и колхоз. Общего между ними мало. Община была формой самоорганизации русского общества. Не знать этого специалисту по русской истории — стыдно, а ведь авторы статьи как будто и не знают, раз берутся говорить о неспособности русского народа к самоорганизации. Не стоит идеализировать общину, ее распад был явлением естественным и неизбежным. Но при чем же тут колхоз? В колхозы крестьян загоняли насильно, ведь живое, деятельное крестьянское хозяйство «постоянно рождало капитализм» (В. И. Ленин), да и обирать колхозников было легче, чем крестьян-единоличников. Литература по коллективизации громадна. Профессор Афанасьев не может не знать, например, о концепции «крестьянской войны» в СССР[4]. Крестьяне сопротивлялись колхозам, как могли! Как можно считать антинародный, антирусский, воинственно интернационалистический режим аналогом «православной монархии»?

Авторам статьи не по душе и прямолинейное, «гностическо-манихейское» мировосприятие, будто бы свойственное русскому народу. Боюсь, они приписывают соотечественникам как раз-таки собственное мировосприятие. Судите сами. Афанасьев, Давыдов и Пелипенко не признают полутонов, только черное («святорусская архаика» и т. п.) и белое («модернизация»). В своем радикализме, в последовательном отрицании российской государственности, они идут по стопам русских интеллигентов-революционеров конца XIX — начала XX веков. Ненависть к государству, демонизация государственной власти, стихийный анархизм — все это давние черты русской интеллигенции. Они сыграли в Революции 1917 года куда бóльшую роль, чем «массовая крестьянская реакция». Крестьяне хотели земли, их требования были прагматичными, в основном экономическими. Интеллигенты-революционеры стремились уничтожить российскую государственность в том виде, в котором она тогда существовала. Различия, конечно, имеются. Например, революция была idea fix в начале XX века. В начале XXI века роль idea fix перешла к модернизации. Тут уместно сделать отступление.

Модернизация — модное слово. Вокруг него кормятся тысячи ученых-гуманитариев, получают гранты, рассуждают о «волнах» и «этапах»

---

[4] *Грациози А.* Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917 – 1933. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008.

модернизации. Не эти ли ученые посоветовали президенту сделать из модернизации что-то вроде субститута национальной идеи?

На Западе со времен Раннего Средневековья утвердились представления о линейно-поступательном ходе истории. История обрела цель и смысл. В Новое время идея линейного развития (творение — грехопадение — искупление — второе пришествие) секуляризировалась, превратившись в удивительное создание — «религию прогресса». У нее появилось множество вариантов, от идеалистических, пантеистических (философия истории Гегеля), до сугубо материалистических, таких как марксизм, позитивизм и все та же теория модернизации.

Но не пора ли нам задуматься: а так ли нужна модернизация, так ли неизбежна? Всякое ли «архаическое» общество в ней нуждается? Позволю себе привести один пример.

В конце XIX века Сербия была едва ли не самой отсталой, после Черногории, европейской страной. Более девяноста процентов жителей — крестьяне. Остальные — торговцы, ремесленники. Была, впрочем, и кучка интеллектуалов. Имущественное расслоение лишь самое незначительное. У каждого крестьянина был неотчуждаемый надел, который нельзя ни продать, ни пропить. Почти что натуральное хозяйство. На экспорт шли свинина, свиная кожа и т. п. И экономическая, и социальная структура были «примитивны», но сербам жилось неплохо: «В этой стране <...> нет бедных и <...> нищих; нет безземельных, как нет и крупных землевладельцев», — писал русский посол Н. В. Чарыков в 1901 году[5]. В стране, только что освободившейся из-под турецкого ига, утвердился демократический конституционный режим: «Народ управляется сам собой, через своих представителей, которых избирают все, платящие налоги. Демократия, которую в других местах приходилось устанавливать путем силы <...> здесь существует как древнее учреждение и унаследованный обычай», — писал в те же годы бельгийский путешественник[6].

Сербию тогда называли «раем для маленького человека». Нуждалась ли она в модернизации? Конечно, нет! От добра добра не ищут. Но европеизированные сербские интеллектуалы все-таки начали реформы. Их можно понять: соседи Сербии, Австро-Венгрия и Османская империя, были опасны и ненадежны, против них приходилось держать сильную армию. А главное, за пределами страны оставались сотни тысяч этнических сербов, в состав сербского королевства не вошли и земли, которые сербы считали «своими»: Босния, Вардарская Македония и, конечно же, Косово и Метохия. Поэтому сербские правители и начали свою страну «модернизировать». Модернизация

---

[5] Цит. по: *Шемякин А. Л.* Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868—1891). М.: «Индрик». С. 19.

[6] Цит. по: *Шемякин А. Л.* Идеология Николы Пашича. С. 20.

кончилась для Сербии плачевно: сербы пережили две мировые войны, две оккупации, геноцид и, наконец, в начале 1990-х кровавый распад Югославии, созданного ими химерного государства. И теперь, глядя на прошлое этой страны, невольно спрашиваешь себя: а стоило ли начинать эту модернизацию?

Я уж не говорю о нашей, «сталинской» модернизации. О ее жертвах. О погибшей русской деревне. Модернизация — это идол, которому приносят человеческие жертвоприношения. А стоит ли их приносить?

Для авторов статьи «архаика» — безусловное зло, но так ли это на самом деле? Чем «архаика» хуже «современности»? Пора уже переосмыслить нашу безоглядную веру в прогресс. «Традиционное общество» подчас сильнее и успешнее «индустриального». «Традиционное» чеченское общество в столкновении с более современным, модернизированным русским обществом неизменно побеждает: если кто-то обидит чеченца — за него встает его тейп, а если обидят русского — ему неоткуда ждать помощи. В «модернизированном» обществе родственные связи слабы, без опеки государства оно становится беззащитным, нежизнеспособным. «Архаические» северокавказские общества сейчас практически полностью вытеснили «чужаков» и сами начали экспансию «на чужой территории».

Сходные процессы идут в Европе: в западном «постиндустриальном» обществе падает рождаемость, начинается депопуляция, вымирание, зато представители более «отсталых», «архаических» обществ начинают вытеснять европейцев. Жан-Жак Руссо некогда написал сочинение «О влиянии наук и искусств на нравы», где доказал: «примитивное» общество жизнеспособнее «развитого». Впрочем, эта истина была известна еще Полибию и Плутарху. Так стоит ли нам «бежать за паровозом», стоит ли в который раз приносить жертвы идолу модернизации?

Для Афанасьева, Давыдова, Пелипенко самый большой «грех» России — идея «избранничества». Пришла пора согласиться с авторами статьи: всякая мессианская идея иллюзорна, а часто и опасна, вредна, да только трудно найти народ, который хотя бы однажды не поддался соблазну «избранничества». Англичане несли «бремя белого человека», американцы взяли на себя неблагодарный и, в сущности, бессмысленный труд — распространять «демократию» по всему миру. Даже скромные, сравнительно малочисленные хорваты еще недавно считали свою страну «бастионом Запада», защитившим Центральную Европу от вторжения ислама и «византизма». К счастью, из современной России идея «избранничества» ушла. Будем надеяться, навсегда.

В статье Афанасьева, Давыдова, Пелипенко меня более всего раздражает упорное, последовательное отрицание российской государственности и навязчивый комплекс национальной неполноценности. Государство российское для авторов статьи — абсолютное зло, история России — цепь ошибок и преступлений.

Лучшее средство от комплекса национальной неполноценности — изучение всемирной истории. Как писал Николай Михайлович Карамзин, история мирит нас «с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества»[7].

Юрий Афанасьев — доктор исторических наук, он-то должен знать, что история Европы не менее страшна, чем русская история. Ренессанс — прекрасная эпоха в глазах искусствоведов, но не историков. Высокое Возрождение совпало с Итальянскими войнами. Немецкие, французские, испанские, швейцарские солдаты разоряли роскошные города, средневековая итальянская демократия повсюду уступала олигархии или тирании, экономика приходила в упадок. Французские наемники сделали из конной статуи Франческо Сфорца работы великого Леонардо да Винчи мишень для упражнения в стрельбе. Не лучше было и к северу от Альп. За кратким Северным Возрождением последовали Реформация и религиозные войны, опустошившие Европу. В Испании сжигали еретиков, евреев и мусульман, в Центральной Европе — «ведьм», во Флоренции — картины Боттичелли. И все это в эпоху Возрождения! Мы сетуем на коррупцию, проникшую даже в православную церковь, но ведь в Западной Европе творились дела и похуже. Было время, когда римскими папами становились сыновья и любовники знатных дам. По жизнеописаниям римских пап Иоанна XII и Александра VI можно снимать порнофильмы. «Антипапа» Иоанн XXIII (Балтазар Косса) в молодости был пиратом. О коррупции и воровстве, о продаже индульгенций, о спекуляциях святыми мощами я уж молчу. Чем же европейская история лучше русской?

Афанасьев, Давыдов и Пелипенко стремятся на месте старой, «архаической» России построить Россию новую, «модернизированную». Но ведь стройку нельзя начинать, не расчистив места. А место только за последние сто лет пытались расчистить дважды. Первый раз после Революции 1917 года. Большевики строили новый мир, разрушая старое. Главный большевистский историк Михаил Николаевич Покровский объявил само словосочетание «русская история» контрреволюционным. «Россия — бывшее название страны, на территории которой образовался Союз Советских Социалистических Республик», — писали авторы Малой Советской Энциклопедии еще в начале тридцатых. Все создавалось заново. Новые мифы, новые герои, новые праздники.

Но уже в тридцатые стало ясно, что вовсе отказаться от прошлого нельзя. Тогда постепенно, шаг за шагом, начали возвращаться к старым

---

[7] *Карамзин Н. М.* История государства российского. В 3-х кн. СПб., 2000. Кн. 1. С. 7.

русским героям и мифам. Без них и пушки не стреляли, и танки ломались, и красноармейцы воевать не желали.

Вторая попытка была не столь драматичной и, к счастью, недолгой. В начале 1990-х начали строить новую Россию, которая отрицала не только Россию советскую, но и, в значительной степени, царскую. Либералы из окружения Ельцина были людьми образованными. Они понимали, что Россия до 1917 года не была государством ни либеральным, ни демократическим. Поэтому дореволюционные мифы, символы, героев если и заимствовали, то очень осторожно, даже двуглавого орла лишили имперских регалий. Пытались, сознательно или нет, не знаю, формировать новую мифологию, со своими героями (Ельцин, Гайдар, Сахаров) и мучениками (Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов, три москвича, погибшие 21 августа 1991 года под Белым домом). Ввели и новый праздник — 12 июня. Несчастных школьников заставляли вместо крестьянских восстаний и пролетарских стачек изучать проекты Сперанского и Лорис-Меликова, в которые прежде редкий историк заглядывал.

Но мифология новой, либерально-демократической России не прижилась. Я понял это в декабре 1993-го, когда увидел символику тогдашней партии власти. Гайдаровский «Выбор России» избрал своей эмблемой «Медного всадника», самый имперский из памятников Петру Великому. Это было признанием поражения. Имена героев 1991-го померкли после кровавого октября 1993-го, а вскоре и вовсе позабылись. Россияне так и не поняли, что за «день независимость» они празднуют 12 июня. Лишний выходной проводили на огородах.

Историю нельзя начать заново, «с чистого листа». Сколько ни старайся, все равно придется оглядываться в прошлое. Нельзя избавиться от собственной истории, отбросить тысячелетние традиции, отречься от древних святынь. И другую Россию, Россию без истории, создать нельзя. Не будет у нас другой России.

Игорь ВИНОГРАДОВ

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Выпуск восьмой

Апрель-июнь 2010 г.

Мой ответ И. Роднянской, В. Сендерову и С. Белякову

О «русской системе», наших болезнях и наших перспективах

Почему — **мой**?

По трем разным причинам.

Но о второй и третьей — в свое время, по ходу сюжета.

А изначально и прежде всего — потому, что авторы статьи, с которой полемизируют в своих текстах Ирина Роднянская, Валерий Сендеров и Сергей Беляков, отвечать своим критикам не захотели. Не сочли для себя возможным.

И я очень хорошо их понимаю. Я и сам, окажись на их месте, посчитал бы ниже своего достоинства отвечать на **такую** критику.

Это требуется, конечно, объяснить.

Что ж, именно этим мне и придется заняться, как ни малоприятно такое занятие.

Но для этого я должен все же напомнить, и достаточно обстоятельно, о том, что представляет собою статья Юрия Афанасьева, Алексея Давыдова и Андрея Пелипенко «Вперед нельзя назад», вызвавшая столь решительное отвержение со стороны ее критиков. Иначе, боюсь, те, кто по какой-либо причине не сумел ее в свое время прочесть и теперь судит о ней только по тому, как живописуют ее И. Роднянская, В. Сендеров С. Беляков, совершенно не получат о ее действительном содержании хоть сколько-нибудь адекватного представления.

I. Предмет полемики

Итак, напомню прежде всего, что непосредственным стимулом к написанию этого текста — и стимулом отнюдь не формальным — послужила недавняя нашумевшая статья нашего Президента «Россия, вперед!».

Статья эта, как известно, изрядно поразила многих прямотой и откровенностью в оценке нынешнего положения дел в России. Иные даже заговорили чуть ли не о начале новой «перестройки», о явных признаках готовности нашей власти к кардинальным реформам, призванным обеспечить давно назревшую *модернизацию* страны (см., например, опубликованный в прошлом номере — в разделе «Россия и мир обзор сетевой публицистики).

Ю. Афанасьев, А. Давыдов и А. Пелипенко отнюдь не отрицают, что проблемы, о которых в столь откровенных и резких формулировках говорит Д. Медведев в своей статье, — *вековая хозяйственная отсталость, неэффективная, примитивная сырьевая экономика, вымирающее население, полусоветская социальная сфера, патерналистские настроения, отсутствие у людей желания «делать себя», достигать шаг за шагом личных успехов, умственная и душевная лень, неизбывная коррупция, робкий бизнес, террористическая угроза на Северном Кавказе и т. д.*[1] — все это действительно важнейшие, реальные проблемы современной России. Проблемы ее исторического выживания.

Но трое наших авторов не разделяют оптимизма тех, кто, как и сам Президент, полагает, что раз уж он так трезво видит эти удручающие реалии современной России, то, значит, хорошо понимает их природу. И, следовательно, все обнаруженные беды будут преодолены и Россия сможет уверенно двигаться — уже движется! — вперед к светлому будущему.

Авторы статьи в «Континенте» убеждены в обратном. Они настаивают на том, что перечисляемые Президентом гибельные язвы, разъедающие современную Россию, представляют собою лишь следствия и закономерные проявления некоей куда более глубокой и тотальной (авторы называют ее даже *смертельной*) болезни России, не излечившись от которой, нечего и думать избавиться от всех этих неизбежных ее последствий. Однако как раз эту болезнь Медведев в своем манифесте даже не называет и никак ее не диагностирует. А потому и те методы, на основе которых он предполагает избавиться от перечисляемых им бед и осуществить кардинальную *модернизацию* России, носят не просто утопический, но, как считают авторы статьи, бесконечно опасный характер и способны привести страну лишь в еще более катастрофическое состояние.

Таков **центральный** посыл статьи, обоснованием которого и структурировано все ее содержание.

Что же до стержневой логики этого обоснования, то ее можно кратко уложить в следующие **пять основных проблемных звеньев.**

Во-первых (и прежде всего), — это фиксация и характеристика той глубинной *болезни*, которую авторы статьи считают фундаментальной причиной всех нынешних опаснейших немощей России, многие из которых не может не видеть и не признавать сегодня уже и сама власть.

Болезнь эта именуется в статье по-разному — *русская культура, русский тип культуры, русскость, русская цивилизация, русская система.* И я никак не могу сказать, чтобы обозначения эти (за частичным исключением разве лишь последнего) так уж удачны. Все они содержательно слишком расплывчаты, лишены отчетливо очерченных терминологических границ,

---

[1] Здесь и далее все прямые или перелагаемые цитаты, равно как и используемые формулировки и выражения цитируемых авторов, приводятся курсивом; все выделения в них, за исключением специально оговоренных или при помощи подчеркивания, мои. — *И. В.*

позволяющих ясно отличать имеющееся в виду явление от иных явлений и предметов, обозначаемых почти такими же или близкими словами.

Тем не менее понять, о чем именно идет речь, когда авторы говорят о *русской системе, русском типе культуры, русской традиции* и т. п. как о глубинном недуге России, не составляет никакого труда.

Из всего контекста и содержания статьи совершенно очевидно, что имеется в виду, конечно же, вовсе не русская культура в том высшем духовном ее срезе, который обнимает собою литературу и искусство, творческую философскую, религиозно-философскую, научную и публицистическую мысль России — все те области духовного творчества нашего народа, которые давно уже признаны ее неоспоримым вкладом в развитие человечества и составляют собою непреходящую мировую славу России.

Слово «культура» обращено в статье к иным сферам жизни страны.

Речь идет о тех устойчивых, повторяющихся на разных этапах нашей истории важнейших чертах и особенностях самого *устройства российского социума*, которые стали на протяжении веков своего рода *традиционными доминантами ее* [России. — *И. В.*] *государственно-политической и граждански-бытовой культуры* — культуры ее целостного существования как страны, как некоего государственно оформленного национального сообщества, обладающего определенным исторически сложившимся устойчивым складом своей внутренней организации и своей манифестальной идеологической семантики.

Это, в первую очередь, постоянный, воспроизводящийся на протяжении многих веков российской истории и *один из ключевых ее алгоритмов* — тот катастрофический *разрыв между властью и подвластным ей народом*, на одном полюсе которого — бесконтрольное «ордынское» всесилие власти, а на другом — народ, практически лишенный каких-либо реальных возможностей собственного гражданско-политического участия в жизни страны, обессиливаемый и развращаемый патерналистской иждивенческой зависимостью от чуждой ему власти, которая задает все условия его существования; народ, который отличает поэтому отсутствие в нем сколько-нибудь развитых потребностей и навыков гражданского сознания, гражданской самоорганизации и личной инициативы.

Это, далее, вечный зияющий раскол между косной *архаикой* этого типового устройства российского социума, не способного к сколько-нибудь плодотворному историческому творчеству, — и постоянной необходимостью *модернизации*, неустанно напоминающей о себе на каждом этапе развития русской истории из-за кризисного цивилизационного отставания страны от Запада — отставания, так и не изживаемого при сохранении этой архаики.

И это, наконец, постоянная, меняющая только внешний облик идеология особой исторической призванности и роли России в мире, религиозно или псевдорелигиозно освящающая собою сохранение этого постоянного разрыва и этой регулярно воспроизводящейся государственно-политической архаики. Что и рождает все время гремучую смесь, с одной стороны,

неизбывных *имперски-державных* амбиций и устремлений России, а с другой — столь же постоянного *агрессивного изоляционизма* по отношению к окружающему ее миру.

Воспроизведение на протяжении многих веков русской истории всех этих — одних и тех же (при всем различии их конкретно-исторических воплощений) — системообразующих принципов организации русского социума — вот это и есть то, что авторы статьи «Вперед нельзя назад» называют *русской системой*. Тем реально сложившимся и достаточно устойчивым в своих определяющих чертах типом *граждански-государственной национальной культуры*, который — хотим мы этого или не хотим — действительно характерен для России на протяжении веков и действительно — и очевидно для всего мира — отличает ее от современного развитого Запада. А потому и в самом деле и должен, и может быть понят, проанализирован и осмыслен именно в этом исторически устойчивом *системном* своем качестве, если мы всерьез хотим говорить о перспективах современной модернизации страны. Ведь начиная с послемонгольской Руси, охватывая все этапы петровского и послепетровского российского самодержавия, а потом и новейшую русскую историю, все эти системообразующие принципы жизни и организации национально-государственного социума меняли лишь свое конкретно-историческое обличье, но все время сохраняли, настаивают авторы, свою стержневую суть. Даже и после 1917 года, казалось бы, решительно порвавшего со старой Россией, когда *всевластного православного монарха заменил обожествленный вождь, место «избранного» народа занял «избранный» класс, идеологию православной идеократии вытеснили «единственно правильное учение» и коммунистическая утопия, а теократическая идея избранности Святой Руси для воплощения Царствия Божьего на земле, изжив свою православную семантику, трансформировалась в идеологию своего рода светской религиозности — все той особой призванности России в ее имперской сверхдержавности, но уже — для построения коммунизма, а потом — для обеспечения баланса в межконтинентальных стратегических отношениях...*

Таков первый проблемно-концептуальный блок — или сюжет — статьи Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко.

Второй принципиальный момент — оценка нынешнего состояния российского граждански-государственного социума.

Авторы констатируют, что за последние два десятилетия все основные компоненты традиционной «русской системы» выявили свое сущностное содержание с еще большей очевидностью. Раскол между властью и народом, всегда служивший непреодолимым тормозом для действительно необходимой исторической модернизации, *стал еще более глубоким, всеохватывающим*, и сегодня *власть, уже не стесняясь, позиционирует себя не только как демиурга, но и как корпорацию частных собственников. При непосредственном участии первых лиц государства, с опорой на властный потенциал всех силовых структур, судебной системы и административных органов всех уровней идет*, напоминают авторы статьи, *грандиозное расхищение всего национально-*

го достояния и оформление в частную собственность физических лиц земли, ее недр, возведенных на ней предприятий. Происходят раздел, переделы, рейдерские захваты и квазиюридическое оформление фактической приватизации целых отраслей промышленности, транспортных коммуникаций и энергетических сетей. Все эти почти *средневековые территориальные захваты*, все *это волчье пиршество в овчарне, торжество алчности и звериной ненасытности* сделали нынешнюю власть по отношению к праву *откровенно нелегитимной и криминальной* и привели страну *к особенно глубокому обвалу всего российского социума и государственности: Россия снова, второй раз за одно столетие, обрушилась в архаику патриархальности и ветхозаветности, жизнь опростилась иногда вплоть до первобытности, отношения между людьми примитивизировались, стали еще более жестокими, агрессивными, античеловечными.*

Итак: *античеловечная власть, научившаяся расширять и «модернизировать» свое ордынское насилие, и подданное ей население, приученное и умеющее адаптироваться и к такому насилию, позволяющее делать из себя манекены и имитационную общественность. Всеохватывающий социальный раскол, расщепленность духа и неспособность к самокритике, к самоорганизации и к саморазвитию. Криминальная власть у криминализированного, равнодушного населения,* — вот это все и есть, заключают авторы, — наша *неизбывная русская болезнь* на современной стадии ее развития.

Такой диагноз современному состоянию российского социума ставят Ю. Афанасьев, А. Давыдов и А. Пелипенко.

Но тем самым неизбежен и следующий, **третий**, вопрос, к рассмотрению которого обязывает логика темы: способен ли этот социум к той решительной модернизации, которую обещает стране Д. Медведев? Можно ли, в частности, в системных рамках именно этого социума справиться со всеми теми бедами России, которые признаны даже Президентом, — с ее *вековой хозяйственной отсталостью*, с господством *неэффективной, примитивной сырьевой экономики*, с *вымиранием населения*, с убогостью *полусоветской социальной сферы*, с *патерналистскими настроениями, отсутствием у людей желания достигать шаг за шагом личных успехов*, с их *умственной и душевной ленью*, с *неизбывной коррупцией*, с *робким бизнесом*, с *терроризмом* и т. д.?

Ответ авторов: нет, не способен, нет, невозможно, как ни уверен Д. Медведев в обратном.

Напомню, что именно в этом контексте авторы обращаются к тому крайне показательному фрагменту статьи Д. Медведева, где Президент в качестве примера, подтверждающего возможность успешной модернизации России, ссылается на три случая: петровский, александровско-николаевский и ленинско-сталинский большевистский. Особенно — на ***впечатляющие показатели двух величайших в истории страны модернизаций*** (признавая, впрочем, что «показатели» эти были *оплачены разорением, унижением и уничтожением миллионов наших соотечественников*).

Но ведь ***впечатляющая модернизация***, *проведенная последними царями, завершилась*, напоминают Ю. Афанасьев, А. Давыдов и А. Пелипенко, *1917 го-*

*дом, а **величайшая**, проведенная большевиками, — 1991-м.* Другими словами, оба ***впечатляюще*** модернизированных социума оказались в результате как раз совершенно **нежизнеспособными**.

Почему же?

Да потому, что *во всех случаях*, напоминают авторы статьи, *это были самодержавные, авторитарные, диктаторские действия во имя укрепления, сохранения, спасения существующих режимов, во имя их имперскости и во всех случаях — за счет (путем) усиления несвободы личности, а в случае с большевиками — еще и за счет прямого уничтожения самой социальности, всего оставшегося к тому времени животворного гумуса российского общества.*

То есть, другими словами, все три случая были попытками модернизации страны ***на основе сохранения старого***, ***на основе недопущения обновления общественного устройства***. Именно постоянными действиями, подобными ***впечатляющим модернизациям***, и воздвигнут, напоминают авторы, умирающий ныне на стадии путинско-медведевского режима тип традиционной русской государственно-политической культуры. Так что новая «модернизация», берущая за вдохновляющий пример для себя прежние российские ***впечатляющие модернизации***, способна привести страну разве лишь к подобного же рода ***впечатляющим результатам***.

Впрочем, о том, что модернизация, обещанная и провозглашаемая Президентом, отнюдь не рассчитана на то решительное *обновление российского общественного устройства*, без которого нечего и думать справиться с ужасающими бедами России, признаваемыми даже уже и самой властью, свидетельствует, подчеркивают авторы статьи, отнюдь не только сам по себе восторг Президента перед ***впечатляющими модернизациями***, проведенными полностью авторитарными и диктаторскими методами, в результате чего одна и закончилась в 1917 году гибелью самодержавной России, а вторая в 1991 году — распадом Советской империи. Об этом же — и куда красноречивее — свидетельствует и весь комплекс тех **реальных** действий, которых на протяжении последнего десятилетия неуклонно придерживалась и придерживается власть в области внутренней политики. Эта тема тоже рассматривается авторами статьи — и рассматривается особенно внимательно и подробно.

Так, они специально обращаются к тем разделам статьи Д. Медведева, где он вроде бы признает, что нужно делать нашу политическую культуру личностной, гражданской, правовой и много говорит о необходимости развития демократических институтов (*которые в целом сформированы и стабилизированы, но их качество весьма далеко от идеала*) и гражданского общества (которое пока *слабо, а уровень самоорганизации и самоуправления населения невысок*).

Но, задают закономерный вопрос Афанасьев, Давыдов и Пелипенко, *если политическая система и демократические институты и впрямь призваны быть такими пышно цветущими и плодотворными, — то зачем они целенаправленно, методично и настойчиво истребляются все эти годы — до та-*

кого состояния, что теперь вообще уже нет не только этих институтов, но нет уже ни самой политики, ни даже малейших признаков демократии? Как нет уже фактически и свободных выборов, независимой судебной системы (о которой тоже много красивых слов в статье), свободных СМИ, неправительственных общественных организаций?.. Как быть *с теми многочисленными (исчисляемыми десятками) принятыми антидемократическими законами, на основании которых протекали все эти двадцать лет бурных преобразований? Как быть с самим автором «России, вперед!», когда у него на глазах, прямо сейчас в подведомственном ему хозяйстве твориться настоящее вероломство с регистрацией кандидатов в Мосгордуму и продолжается умопомрачительный второй процесс по делу ЮКОСа? Как быть с главнокомандующим России, под непосредственным руководством которого осуществлена агрессия против суверенной Грузии и ее оккупация? Наконец, как быть с тем, что и сам-то он как президент — продукт «подковерного» сговора?*

Президент предупреждает в своей статье, что реформаторским усилиям власти непременно будут пытаться мешать *влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей»*, у которых *«все есть»*, которых *все устраивает* и которые *собираются до скончания века выжимать доходы из остатков советской промышленности и разбазаривать природные богатства, принадлежащие всем нам.*

Однако, замечают авторы статьи, *во главе всех этих **«влиятельных»**, у которых **«все есть»**, стоят Медведев с Путиным. Они именно таких паразитов и выращивали, возглавляя **«разбазаривание»** природных богатств и создавая все условия для **«выжимания доходов»** на основе размывания ценностей и ликвидации права. И правительство Путина устранит тех, которые **«нашей работе будут пытаться мешать»**? При том, что таких нынче не тысячи и даже не сотни тысяч, а уже миллионы? И все они, к тому же, не каждый сам по себе, все они прочно вмонтированы в главную гордость, в основное и единственное достижение нашего «национального лидера» — во властную «вертикаль».*

То же самое и в том же ключе невозможно не констатировать и тогда, когда речь заходит про *вековую коррупцию, с незапамятных времен истощавшую Россию. И до сих пор разъедающую ее по причине чрезмерного присутствия государства во всех сколько-нибудь заметных сферах экономической и иной общественной деятельности. Ведь не только отдельные посвященные прекрасно знают,* — напоминают авторы, — *что коррумпированы не «некоторые» чиновники и бизнесмены, а именно вся российская власть во главе с Медведевым и Путиным. Известны доклады Немцова о Путине, о «Газпроме», о Лужкове, известны публикации о личной причастности первых лиц государства к символам кремлевской коррупции — «Гуввору» и «Миллхаузу», к скупке земли в центре Москвы.* Так что именно усилиями всей нашей «властной вертикали» коррупция и превратилась сегодня в *показатель снова наступившей архаизации всего российского общества,* привела *к обрушению отношений между людьми по существу в первобытность, когда такие отношения сводятся к прямому обмену и ничем, кроме натурального обмена и насилия, не регулируются.*

Таков ответ авторов на вопрос о том, способен ли нынешний российский социум, выстроенный все на тех же системных принципах, что определяли собою на протяжении веков основной тип российской государственно-политической культуры и воплощающий их на стадии их окончательного исторического разложения, к решению тех модернизационных задач, которые встают сегодня перед Россией как еще более властный, чем когда-либо, исторический вызов.

А отсюда — и **четвертое** важнейшее положение статьи, которое как раз и представляет собою ее основной вывод, ее смысловое острие:

Стараться удерживать на исторической сцене эту застрявшую в «состоянии между» двумя типами цивилизаций систему государственно-политического устройства, основанную на внутреннем расколе общества и не способную преодолеть этот раскол, — значит спасать ее в эпоху, *когда идеократические империи давно представляют уже собою отчаянный анахронизм.* Как наличная *социокультурная и геополитическая* системная целостность, существующая в том виде, в каком она существует, *Россия не трансформируема и, соответственно, не модернизируема. Такая болезнь проходит только вместе с пациентом. Россию в ее нынешнем имперском виде не сохранить.* Все более устаревающую и все более нежизнеспособную культуру русской имперско-авторитарной государственности с ее традиционной идеей особой избранности России, эту *умирающую* «русскую систему» *бессмысленно пришпоривать. Под руководством царей, большевиков и Ельцина-Путина-Медведева русская империя уверенно идет по пути распада.*

Тем не менее Афанасьев, Давыдов и Пелипенко отдают себе ясный отчет в том, что ***Россия, как бы ни менялись ее геополитические контуры***, то есть во что бы ни превратилась она на том исторически обреченном пути, по какому ведет ее анахроничная государственно-политическая ее системность, не исчезнет, как мираж, ***не провалится сквозь землю.*** А потому, подчеркивают они, ***вопрос о ее модернизации при всех историко-политических обстоятельствах остается на повестке дня.***

И это и есть тот **пятый** и последний принципиальный вопрос, на который пытаются они ответить, обращаясь в связи с этим к следующим двум основным темам.

Во-первых, резонно констатируют они, для того чтобы избавиться от вековой болезни России, без чего никакая действительная модернизация страны не возможна, необходимо ясно видеть и осознавать не только суть и смертельный характер недуга, но и его истоки, его корни. Действительно — *в чем причина* преследующего нас веками *патологического раздвоения между старым и новым, культурной статикой и социальной динамикой, общинно-самодержавной традицией и личностно-гражданской модернизацией России?*

Авторы, к сожалению, не подвергают эту тему обстоятельному и всестороннему рассмотрению. Они указывают только на ***одну из основных причин***, которую они видят ***в способе веры*** — в тех исторически сложившихся осо-

бенностях русского церковного православия, на которых указывал, в частности, и цитируемый ими С. Аверинцев:

Католическое мировоззрение делит бытие не надвое («свет и тьма») — а натрое: между горней областью сверхъестественного, благодатного, и преисподней областью противоестественного до поры до времени живет по своим законам, хотя и под властью Бога, область ***естественного*** *<...> Русская духовность делит мир не на три, а на два — удел света и удел мрака; и ни в чем это не ощущается так резко, как в вопросе о власти. Божье и Антихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой буферной территории между ними; все, что кажется землей и земным, — на самом деле или Рай, или Ад*[2]...

Вот этот, как выражаются авторы, *антропологический минимализм,* этот *гностическо-манихейский дуализм,* который *был унаследован от Византии и глубоко пропитал православную культуру на всех уровнях,* никак не мог не сыграть, настаивают они, свою роль в том, что, в отличие от Запада, где *человек как творческое начало изначально* ***посредине****, русскому человеку не удалось в своем менталитете создать некое срединное богочеловеческое смысловое пространство между богом и человеком,* и его *творчество и права так до сих пор и не получили сакрального статуса.* И образовавшаяся в результате *двухзонная структура* традиционного русского духовного космоса, где *мир — лишь временное попущение, не достойное обживания и цивилизаторского обустройства,* плюс унаследованная от Византии *историческая традиция цезарепапизма,* плюс взращенный на этой традиции *сервилизм РПЦ,* создававшей свою *церковную доктрину под сенью мифа «русской системы»* (где *фактически власть настолько космически недосягаема и беспредельно всемогуща, что получается уже не власть от Бога, а бог от Власти*), плюс, наконец, практическое *отсутствие катехизации, просвещения народа, во многом принявшего христианство как обрядоверие, но так и не узнавшего его евангельского духа* (*согласно известной формуле Лескова, Русь была крещена, но не просвещена*[3]), — вот все это, считают авторы, и обусловило *неспособность*

---

[2] *Аверинцев С.* Византия и Русь: два типа духовности. Ст. вторая. Закон и милость // Новый мир. 1988. № 9.

[3] Можно привести здесь также слова П. Н. Милюкова: *Самый высокий, самый совершенный религиозный принцип, чтобы оказывать все возможное для него влияние на жизнь, должен быть воспринят этой жизнью более или менее полно и сознательно. Между тем уже сами славянофилы, в лице одного из самых умных своих представителей — и наиболее компетентного в богословских вопросах — Хомякова, признали, что представлять себе древнюю Русь истинно христианской — значит сильно идеализировать русское прошлое. Древняя Русь восприняла, по справедливому мнению Хомякова, только внешнюю форму, обряд, а не дух и сущность христианской религии. <...> сознательное отношение к вопросам нравственности и религии было редким исключением среди мирян. Люди вроде Владимира Мономаха, приведшие в известную своеобразную гармонию требования житейской морали и христианской нравственности, встречались только на самых верхах русского общества. Относительно же*

православия вдохновить русского человека на то, чтобы он почувствовал себя личностью, неспособность сформулировать роль личности в самоформировании общества, культуры, деятельности государства как принципиально нового для России культурного основания. Отсюда вечное упование на бога, государство и авось. Отсюда нацеленность исторического воспитания русского человека в духе вечного холопства и патрон-клиентских отношений с церковными и государственными чиновниками.

Но отсюда и итоговый вопрос, который ставят они перед той «инстанцией», от которой, как нетрудно понять, в огромной степени как раз и может зависеть необходимые благотворные сдвиги в русском духовно-культурном космосе: способна ли и готова ли РПЦ *стать тем новозаветно-гуманистическим центром общения, вокруг которого будет собираться и формироваться современный человек, создаваться новая культура — взамен старой, языческо-православной, обрядовой, формирующей патрон-клиентские отношения*?

На этот счет, судя по интонации вопроса, авторов одолевают очень большие сомнения — во всяком случае, в отношении той РПЦ, какой она предстает перед нами сегодня. Но смысл вопроса в том и состоит, чтобы зафиксировать: без глубинного изменения нашего традиционного «двухзонного» менталитета в сторону осознания большей личной ответственности человека за его пребывание в срединном между адом и небом земном пространстве, данном ему для преображения, нам нашу болезнь смертельного социо-культурного раскола не одолеть.

И вторая тема, затрагиваемая авторами в связи с тем, что задача модернизации, совершенно неразрешимая при сохранении нынешнего российского статус кво, отнюдь не снимается тем не менее с исторической повестки дня, поскольку Россия, куда бы ее ни завел нынешний ее режим, все равно *не провалится сквозь землю*, а будет и должна будет жить и отвечать на вызовы современного мира.

Но отсюда и вопрос — кто сможет осуществить такую модернизацию? На какие силы российского общества тут можно рассчитывать? Отсвет авторов статьи достаточно скептичен: *социальной силы, способной противостоять та-*

остальной огромной массы народной нельзя даже сказать, чтобы она усвоила один обряд, внешность христианской жизни, как склонен был признать Хомяков. Нужно согласится с мнением проф. Е. Е. Голубинского, что народная масса древней Руси не успела еще ничего усвоить в домонгольский период — ни внешности, ни внутреннего смысла, ни обряда, ни сущности христианской религии. Масса оставалась по прежнему языческой. // *Милюков П.* Очерки по истории русской культуры. Т. 2. М., 1994.

И другой известный историк русского православия Г. П. Федотов о синтезе и динамической доминанте послемонгольской Московии: *Закрепощается народ к земле, все население к службе и тяглу. Гибнут остатки мирского самоуправления. Грубеет и тяжелеет быт, оплотневает, словно, действительно, пропитавшись татарской, степной стихией. Само православие начинает ощущаться как стояние на уставе, как быт, как «обрядовое исповедничество».* // *Федотов Г.* Россия и свобода. Нью-Йорк. 1981.

кой лавине обрушения и осуществить поворот к подлинной модернизации, в современной России нет, и появление ее не предвидится. Точек того *личностного роста*, которые необходимы для формирования такой силы и которые есть в нынешней *протестной России*, пока еще слишком *недостаточно для того, чтобы придать архаичному массовому сознанию и коррумпированному государственному управлению мощное ускорение модернистского развития*, — считают авторы.

И тем не менее вся надежда их — именно на эти ростки.

Вот заключительные абзацы их статьи:

На территории страны сегодня ***две России****. Они обе* ***одинаково почвенны****, но совершенно по-разному реальны. Их наличие — результат непреодоленного раскола.*

Одна — господствующая, хотя и умирающая, но все еще торжествующая и утопающая в самообжании. Она несет в себе святорусскую архаику, засилие традиции, имперско-вечевое сознание толпы, соборно-авторитарные культурные стереотипы, самодержавно-общинные ценности, деление людей на «мы» и «они», насилие, алчную погоню за властью, великодержавность, вождизм. Это — имперская лошадь, на которой «мы-русские» едем начиная с Рюриков.

Но на территории России есть и другая Россия*. Все еще слабая, проявляющаяся лишь кое-где, часто не ведающая, что творит. Но отнюдь не обреченная ходом истории на неизбежную смерть. Это Россия протестная и самокритичная, изнывающая под гнетом традиционной статики и взыскующая динамики и новизны, разгоняемая ОМОНом и сидящая по приговорам зависимых от власти судов, Россия, которой затыкают рот чиновники и продажные СМИ.* ***Это Россия личности. Россия независимости русского человека от всех исторически сложившихся социальных ролей и смыслов. Россия прав человека и индивидуальных социальных отношений. Россия гражданского самоуправляющегося общества и равенства всех перед правом****.*

Нет, либеральный тип культуры не победил в нашем обществе, — слишком велика толща архаики, — но и не погиб. В российской социально-экономической практике его почти нет <...> ***Но как фактор общественного сознания он существует, и отсюда — тонкий ручеек надежды для творческого человека****. Призыв «Вперед!» к личностно-гражданской России может быть услышан ею в его истинном значении. Он действительно мог бы оживить эту столь необходимую стране социальную тенденцию и начать модернизацию...*

II. Искусство чтения в сердцах

1

Таково содержание этой статьи — ее логика и проблемное построение.

Как видим, всем смысловым острием своим она обращена к жизни **сегодняшней** России — к реальному состоянию ее экономики и гражданственности, ее политики и социальности, к ее тяжелейшим немощам и болезням, о которых вынуждена говорить уже и сама власть. И без одоления которых

никакое решительное обновление страны невозможно. Именно стремлением разобраться в этих сегодняшних неотступных и острейших наших проблемах прежде всего и обусловлено внимание авторов статьи к некоторым характерным особенностям истории России. Поскольку, считают они, без ясного и трезвого осознания этих проблем ни суть их, ни реальные пути их решения не могут быть сколько-нибудь адекватно увидены и поняты.

Идеи, которые мы высказываем, давно носятся в воздухе, — признают Афанасьев, Давыдов и Пелипенко, приступая к изложению свих тезисов и выводов. И все, кто хотя бы изредка следит за современными дискуссиями и более или менее знаком с историей вопросов, затронутых авторами, и в самом деле могут различить в статье многое, о чем и раньше — и не раз — приходилось уже и читать, и слышать, и думать.

Я имею в виду, однако, отнюдь не то, что имеют в виду И. Роднянская и В. Сендеров, когда первая, цитируя начальные слова статьи (об идеях, которые *давно носятся в воздухе*), насмешливо подхватывает: *это чистая правда. Носятся так давно, что с крылышек основательно пообтерлась пыльца...* А второй и сам начинает свою полемику с такого же насмешливо-пренебрежительного: *Все это стократ писано. Читано, подвергнуто критическим обзорам. Но на сей раз...* То есть что на сей раз все та же, *читанная-перечитанная,* только совсем уже чудовищных размеров «*русофобия*», к которой отсылает читателя и И. Роднянская, советуя ему припомнить (с помощью книги Р. Гальцевой) о том, как *во времена холодной войны* (!), *главным образом в 60 – 70-е годы, целая череда зарубежных публицистов и «историософов»* (из коих поименного упоминания удостаиваются Д. Зильберман, А. Безансон и Р. Пайпс) пыталась *обелить «вековую мечту человечества», возложив на русский склад и уклад ответственность за ее «искажение»*.

Тут, правда, в позициях союзников по разоблачению новых ненавистников *русского склада и уклада* происходит некоторая нестыковка: В. Сендеров, который, оказывается, *не любит термин «русофобия»* за то, что им *часто клеймят авторов либерального крыла и доброжелательных, критически настроенных иностранцев*, не хочет ставить такое клеймо на того же, к примеру, Ричарда Пайпса.

Но это, в конце концов, частности. Тем более, что и И. Роднянская готова снисходительно признать, что *и А. Безансон, и в особенности Р. Пайпс*, критикуя русский *склад и уклад*, *сохраняли по крайней мере видимость* (! — *И. В.* — Выделено также мною.) *научной и фактологической аргументации и, что важней всего, оставаясь в сфере борьбы идей, не доходили до тех* ***практических выводов*** (выделено автором. — *И. В.*), *которые преподносит нам ученая тройка*. А ведь именно это последнее — главное и для В. Сендерова. То, что среди всего прочего больше всего его возмущает.

Впрочем, что до *практических выводов*, которые вычитывают и И. Роднянская, и В. Сендеров в статье *ученой тройки*, то об этом речь еще впереди.

А пока я хотел бы заметить только, что даже если бы и Р. Пайпс, и А. Безансон, и некоторые прочие «историософы», о которых говорит И. Род-

нянская, были, выражаясь ее же формулой из конечных строк ее статьи, самыми заклятыми *врагами нашей страны*, все равно стоило бы чуть внимательней и серьезней отнестись к той, как опять же выражается она, ***видимости*** *их научной и фактологической аргументации,* которой они оснащают свое *розовое* антироссийское *свободолюбие*. Потому что критика **умных** врагов бывает порой куда полезнее восторгов недалеких апологетов. А уж в чем в чем, а в уме ни А. Безансону, ни Р. Пайпсу никак не откажешь.

Но, повторяю, я даже не Р. Пайпса с его известной триадой российского исторического алгоритма — *авторитаризм, патернализм, избранничество*, — или кого-то из близких ему «русофобов» имею в виду, говоря о правоте авторов статьи «Вперед нельзя назад», когда они признают, что идеи, ими высказываемые, давно носятся в воздухе. У меня есть для И. Роднянской и В. Сендерва «новость» много свежее, чем «русофобы» времен «холодной войны». И я готов напомнить о ней, поскольку они, похоже, странным образом совсем о ней почему-то забыли.

Я имею в виду прежде всего Василия Осиповича Ключевского (1841 — 1911) и его знаменитый «Курс русской истории», где впервые в русской исторической науке столь четко и (применяя формулу И. Роднянской) столь безукоризненно *научно, фактологически аргументированно* была воссоздана та картина исторического развития России, которая позднее получила у его преемников и последователей название концепции *догоняющего развития.*

Напоминаю: суть этой концепции — в выявлении и анализе той закономерности, в которой великий историк видел ключ к объяснению характера развития страны и важнейших событий ее истории начиная с XVII века, — в выявлении и анализе действия того неумолимого ***закона жизни отсталых государств или народов среди опередивших***, итоговая чеканная формула которого, выведенная Ключевским уже в конце жизни, в 1911 году, звучит так: ***нужда реформ назревает раньше, чем народ созреет для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро***[4].

И в «Курсе русской истории», доведенном до великих реформ Александра II, и в позднейших дневниковых записях Ключевский прослеживает действие этого закона начиная с реформ Петра I, к которым вынудила первого русского императора острая угроза самому существованию России со стороны западных и северных соседей, в своем циливизационном и, соответственно, военном развитии далеко ушедших вперед за то время, пока Русь освобождалась от монгольского владычества. Что и обусловило необходимость *перенимать чужое наскоро*, перенося на отечественную почву лишь *готовые западноевропейские технические средства для устройства армии, флота, государственности и народного хозяйства, правительственных учреждений* (IV, 202).

---

[4] *Ключевский В.* Сочинения в девяти томах. Т. IX. М, 1990. С. 361. В дальнейшем ссылки на В. Ключевского даются по этому же изданию и приводятся в тексте в скобках (римская цифра — том, арабские — страницы).

И Ключевский сразу же указывает на то коренное противоречие, которое было заложено уже в этом первом петровском *перенимании наскоро*: заимствуя у Запада то, чем нужно было срочно вооружить отставшую Россию, Петр не затронул своими преобразованиями саму природу и строй российского государства: *государственные силы, верховную власть, право, сословия* — все это он *взял из старой Руси* (IV, 202). Правда, Петру Ключевский это, в общем, прощает, оправдывая его тем, что у него для начала более глубоких преобразований просто не было исторического времени, Но зато главную причину всех дальнейших повторений в русской истории той же ситуации *перенимания чужого наскоро* он видит именно в том, что и после Петра, хотя времени исторического для этого было уже достаточно, так и не была разрешена та роковая *загадка*, которую оставил своим наследником Петр.

Ведь Петр, пишет Ключевский, *надеялся* ***грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе***, <...> *хотел,* ***чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно.***

Но ***совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства*** — *это,* жестко формулирует Ключевский, ***политическая квадратура круга*** (IV, 203).

И вот с разрешением этой-то ключевой *загадки* российской истории еще целых полтора века непростительно тянули не только непосредственные *недостойные преемники и преемницы преобразователя*, но и Павел, и Александр I, и Николай I, которые, пишет Ключевский, ***владели, а не правили Россией,*** *проводили в ней свой династический, а не государственный интерес* <...> ***не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага.*** И, в результате, *довели дело к половине XIX в. до того, что его разрешение стало требованием стихийной необходимости, особенно когда Севастополь ударил по застоявшимся умам* (IX, 361). Особенно велик счет историка в этом отношении к Николаю I, царствование которого, считает Ключевский, *было самой разрушительной из всех эпох, какие довелось пережить России после великой разрухи Смутного времени. Внешнее величие, поддерживаемое грозной армией и заносчивой самонадеянностью, рухнуло в Восточную войну; Европа перестала бояться северного колосса на (обнажившихся) крепостных ногах. Двадцатидевятилетнее правительственное воспитание народа в духе строгой дисциплины и национальной гордости привело к полному нравственному разладу общественных сил* (V, 434).

Так второй раз лишь прямое и грубое внешнее принуждение — поражением в Крымской войне — заставило русское самодержавие приняться за *ускоренное движение вдогонку* Европе, столь далеко ушедшей уже за полтора послепетровских века в своем цивилизационном развитии, в наращивании своей военной и промышленной мощи, что если бы не великие реформы Александра II, Россия, считает Ключевский, и вообще *выбыла бы из числа европейских стран...*

Между тем и эти *великие реформы, непростительно запоздалые, были*, констатирует Ключевский, хотя и *великодушно задуманы,* но *спешно разра-*

ботаны и недоросовестно исполнены, кроме разве судебной и воинской. К тому же очень скоро, уже при Александре III, их даже и в таком незавершенном состоянии *решено было окорнать* (IX, 342-343). В результате уже весной 1898 года Ключевский записывает в дневнике: *Р[оссия] на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы: что делать? Ответа нет* (IX, 417).

А что наблюдает он после поражения России в Японской войне, когда опять — и опять просто один к одному по его формуле — рвануло новым лихорадочным толчком к наверстыванию упущенного? И рвануло уже не реформой, а революцией 1905 года, которая была последним предупреждением самодержавию, что исторического времени у него для того, чтобы избежать катастрофы, почти уже и не осталось?..

Но проходит еще 12 лет царствования Николая II, и Ключевский записывает:

Нынешняя политика: менять законы, реформировать права, ***но не трогать господствующие интересы*** (IX, 360).

И предсказывает России новое *смутное время* (IX, 443).

Что, как мы знаем (сам Ключевский до исполнения своего пророчества, к счастью своему, не дожил), и произошло уже в феврале 1917-го, который просто обречен был выявить всю неподготовленность России к демократии, выпестованную всей предыдущей ее историей. А потому неминуемо и должен был сорваться в октябрь, после которого вместо Белого катка российской самодержавной государственности, так долго катившегося по России и так и не разрешившего роковую загадку российской *политической квадратуры круга*, покатилось по ней куда уже более страшное и кровавое *Красное колесо* коммунистической диктатуры...

К чему я обо все этом напоминаю?

Я думаю — понятно.

Как видим, главный стержень всего хода российской истории начиная с XVII века Ключевский прямо связывает именно с той «загадкой» *политической квадратуры круга* (***совместного действия деспотизма и свободы, просвещения и рабства***), которая была задана Петром, — *загадкой, разрешавшейся у нас со времен Петра и доселе* ***неразрешенной***. И он не ищет никаких уклончивых слов для того, чтобы ясно и точно обозначить то направление, в котором двигалась жизнь страны под знаком этой все продолжавшей и продолжавшей тяготеть над нею и так и не разрешенной загадки.

Чем более мы сближались с З[ападной] Европой, — пишет он, имея в виду все эти постоянные российские перехваты у нее на скорую руку разного рода *готовых* технических средств цивилизации, — ***тем труднее становились у нас проявления народной свободы,*** *потому что средства западноевропейской культуры, попадая в руки немногих тонких слоев общества, обращались на их охрану,* ***не на пользу страны, усиливая социальное неравенство, превращались в орудие разносторонней эксплоатации культурно безоружных народных масс, понижая уровень их общественного сознания и усиливая сословное озлобление,***

чем подготовляли их к бунту, а не к свободе. Главная доля вины — на бессмысленном управлении (IX, 360).

И еще:

Вековыми усилиями и жертвами Россия образовала государство, подобного которому по составу, размеру и мировому положению не видим со времен падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам еще не стоит в первом ряду среди других европейских народов <...> ***Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил*** <...> ***Государство пухло, а народ хирел...*** (I, 61; III, 12)[5]

А теперь непредвзятый читатель пусть скажет мне: на что же еще и указывают все эти диагнозы и вердикты Ключевского, если не на те же постоянно повторяющиеся и воспроизводящиеся особенности российской государственности, которые фиксируют и авторы статьи «Вперед нельзя назад», когда они говорят о «русской системе», основанной на глубинном социокультурном разломе между властью и народом, между этой типовой архаикой государственно-политического устройства российского социума и постоянной необходимостью модернизации страны как о нашей смертельной болезни, ведущей нас, если мы не сумеем ее одолеть, к еще большему краху, чем предсказанный Ключевским и уже пережитый Россией крах ее самодержавной государственности?

Но это значит, что идеи, которые высказаны Афанасьевым, Давыдовым и Пелипенко, и в самом деле давно уже *носятся в воздухе*. Так давно, что вряд ли остроумно приписывать их происхождение Р. Пайпсу или А. Безансону, которые для этого слишком хорошо были знакомы с классической русской исторической наукой. Так что за спиной у авторов континентской статьи тыл действительно много покрепче, чем приснопамятные западные очернители *русского склада и уклада*.

Или, может быть, г-жа Роднянская и г-н Сендеров считают, что и Ключевский с его концепцией русской истории заслуживает лишь того, чтобы презрительно сказать о нем, что с *крылышек* его идей тоже *давно уже пообтерлась* антирусская *пыльца*? И не зачисляют его в родоначальники всех прочих позднейших *русофобов* лишь потому, что как-то все-таки неловко — свой же ведь, русский?..

Но если это и забота о чести русского мундира, то что это в таком случае за мундир? И какие на нем погоны?

2

Значит ли все это, однако, что статью, которая в стержневых своих тезисах опирается на столь авторитетную традицию русской исторической мысли, и вообще непозволительно критиковать?

---

[5] О концепции «догоняющего развития» В. О. Ключевского см. подробнее в четвертом выпуске моего «Дневника редактора» («Континент», № 131).

Да упаси, Господи.

Такого и Ключевскому не пожелаешь.

Что же до Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко, то у меня и у самого немало претензий к их тексту. И не только по части той нередкой неотчетливости, образной расплывчатости многих важных терминологических обозначений, о которой я уже говорил. В особенности большим упущением авторов статьи я, кстати, как раз и считаю именно то, что они сразу не указали — и достаточно развернуто — на прямую связь своих построений с концепцией русской истории В. Ключевского, — это придало бы картине, ими рисуемой, куда большую убедительность.

Не все, на мой взгляд, убедительно и в той части статьи, где заходит речь о глубинных **корнях** русской «болезни», сопровождающей всю нашу послемонгольскую историю постоянным, повторяющимся на всех ее этапах глубинным разрывом между властью и народом, между архаикой типового деспотически-авторитарного устройства государственно-политического социума и постоянной необходимостью модернизации России, из-за сохранения этой архаики все время отстающей от развитых стран, и т. д.

Так, например, говоря об *имперско-державных амбициях* «русской системы», авторы постоянно соотносят их, естественно, с той мифологемой об особой избранности России, которая действительно сильно подпитывала, особенно в периоды горячих и холодных войн, эти амбиции. Но по смыслу некоторых формулировок получается так, что именно эта мифологема и была, по мнению авторов, *сердцевинной* причиной этой *имперскости* «русской системы».

Между тем куда более первичными представляются те причины, на которые косвенно, но очень точно указывает Ключевский. Характеризуя плоды царствования *недостойных преемников и преемниц* Петра, затем Павла, Александра I и особенно Николая I, в двадцатидевятилетнюю эпоху которого такая высокая ставка делалась на *внешнее величие, поддерживаемое грозной армией и заносчивой самонадеянностью,* и на *правительственное воспитание народа в духе строгой дисциплины и национальной гордости,* Ключевский, как помним, пишет, что все они ***владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес***. Да и суть политики Николая II историк без обиняков характеризует именно так: ***не трогать господствующие интересы***. А когда такой все время отстающей страной, как Россия, ***владеешь***, а не правишь, соблюдая прежде всего свой, условно говоря, *династический* интерес и не слишком озабочивая себя действительными нуждами ее народа (которые вряд ли к тому же и понимаешь), — тогда перед лицом своих подданных приходится как-то оправдывать и это ее неустранимое отставание, и снедающую всякого самодержавного ***владетеля*** жажду все время увеличивать свои ***владения*** (недаром Ключевский замечает, что со второй половины царствования Петра Россия начинает вести уже почти исключительно ***завоевательные*** войны). Вот тог-

да и берется на вооружение миф об особой провиденциальной (или, позднее, просто исторической) избранности, предназначенности и мировой миссии России, который одинаково оправдывает и имперски-державные амбиции ее владетелей, собирающих под свой благодетельный покров окрестные города, веси и края, и агрессивный их изоляционизм по отношению к странам и народам, которые далеко ушли уже вперед, но которым не нужно завидовать, потому что там все на самом деле только гниет и распространяет вокруг себя заразу бездуховности, буржуазности и прочих гнилостных вирусов Желтого Дьявола... Идеологическая эффективность этого обслуживающего мифа всегда была велика, он и сегодня глубоко сидит в сознании и подсознании огромных масс русских людей, спорить тут не о чем. Но от этого его обслуживающий, подчиненный, вторичный характер по отношению к имперскости «русской системы», имеющей вполне самостоятельное, достаточно прозаическое и, в сущности, независимое от этого мифа происхождение, не становится менее очевиден. Другое дело, что в подобного рода пространствах государственно-национальной жизни, где так тесно сплетено и переплетено духовное и материальное, факторы первичные и вторичные начинают нередко влиять и друг на друга, меняться местами, создавая в сознании общества искаженное представление об их действительном генетическом соотношении. Сама по себе идея о той или иной национальной миссии того или иного народа может, как мы знаем из истории, и не нести в себе никакого изначального имперского смысла — напротив, быть очень даже благотворной для становления достойного национального самосознания. Так что все дело именно в характере и целях практически-государственного ее использовании.

3

Словом, много еще чего можно, наверное, предъявить авторам статьи «Вперед нельзя назад», которым, естественно, отнюдь не могло грозить остаться без внимания критики. О чем кстати, просила и редакция «Континента», печатая их статью и обращая внимание на остроту и важность поднятых в ней проблем: ***Мы очень хотели бы***, — было сказано в редакционной врезке к ее публикации, — ***чтобы на страницах нашего журнала обсуждение этих проблем нашло свое интенсивное и ответственное продолжение.***

Но есть незыблемое правило, которое обязана соблюдать всякая критика, если она претендует быть действительно ответственной, добросовестной и честной. Полемика может быть сколь угодно решительной и беспощадной по отношению к концепции критикуемого автора, она может, корректировать, оспаривать или вообще полностью отвергать как отдельные положения этой концепции, так и всю ее в целом.

Но в любом случае полемист обязан иметь дело **именно с тем, что говорит и утверждает автор, с логикой и содержанием его мысли, а не с фантомами, к этой мысли отношения не имеющими и всего лишь подставляемыми на ее место.**

Другими словами, всякий честный и добросовестный критик обязан быть предельно, щепетильно внимателен к логике и содержанию анализируемой и критикуемой им мысли, он должен уметь ее понимать (что, кстати, всегда является неопровержимым тестом и на уровень профессионализма полемиста) — он обязан всегда работать в рамках парадигмы, предложенной ему автором.

Это не единственное, но исходное, изначальное условие всякой серьезной и честной критики. И в нашем случае оно может быть выражено очень просто и предельно конкретно.

Вы хотите высказать свое несогласие (частичное ли, тотальное ли) со статьей Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко?

Но тогда вы обязаны так или иначе, но достаточно четко и аргументировано определиться прежде всего по отношению к тем центральным, *стержневым* вопросам, на которые пытаются ответить авторы статьи и ответы на которые и составляют суть их концепции. А именно:

1. Авторы предлагают вам анализ и оценку современного состояния России, которое, с их точки зрения, отличает катастрофический разрыв между властью и народом, активное подавление властвующим режимом демократических свобод и институтов гражданского общества, подменяемых их имитационными симулякрами, отсталая экономика, господство коррупции, возрождение опасных имперских амбиций в отношениях с внешним миром, громадное социальное расслоение общества, интертность широких масс народа, их равнодушие и неспособность к активному гражданскому действию и прочие характерности того же рода, о которых уже изо дня в день просто, можно сказать, вопит весь наш интернет, (о чем, кстати, в каждом номере нашего журнала подробнейшим образом рассказывает *Библиографическая служба «Континента»*).

Согласны ли вы с этой картиной, и, если нет, то какую аргументацию можете предъявить против тезисов и аргументов авторов?

2. Вам предлагается осознать и трезво признать, что вся стержневая структура нашего современного граждански-государственного российского социума отражает и воспроизводит те типовые черты, которые отличали этот российский социум на протяжении многих веков. Что черты эти отлились в своего рода особую «русскую систему» государственности, породившую соответствующие стереотипы массового сознания и массовой психологии россиян. И что стереотипы эти в огромной степени виновны в том, что «русская система» достигла в современном российском властном режиме такого качества, когда приходится говорить уже об ее полной исторической исчерпанности.

Согласны ли вы с таким анализом и оценкой? И если нет, то, опять-таки, какие аргументы можете выдвинуть против?

3. Вам предлагается, далее, трезво осознать и признать, что никогда попытки модернизировать страну в рамках сохранения типовой сути «русской системы» не были успешными. Что они неизбежно заканчивались национальными катастрофами – сначала поражением в Крымской войне, только

после которого русское самодержавие сподобилось отменить крепостное право, затем поражением в Японской войне и революцией 1905 года, а потом и февралем-октябрем 1917-го, покончившими с самодержавной Россией, но не с «русской системой», возродившейся в коммунизме. И, наконец, — 1993 годом, похоронившим коммунизм, а с ним и СССР.

Согласны ли вы с этим анализом, а, значит, и с тем необходимо вытекающим из него выводом, что, стало быть, никакая действительная модернизация и современной России невозможна в рамках сохранения в ней все той архаичной «русской системы» со всеми ее типовыми чертами? Что вы можете возразить на это?

4. Согласны ли вы, что в своей манифестальной программной статье «Россия вперед!» Президент страны Д. Медведев даже не ставит эту важнейшую проблему?

5. И, наконец, согласны ли вы, что проблема модернизации и возрождения России может быть решена только на путях преодоления господствующего в ней до сих пор типа граждански-государственного устройства («русской системы»). И что для этого необходимо преодоление в сознании общества тех традиционных психоидеологических стереотипов, которые веками порождались и культивировались в россиянах этой системой?

Вот суть тех вопросов, которые поднимаются в статье, — как бы их ни называть. Их можно задать себе, как и отвечать на них, в разном порядке, но игнорировать их и ту внутреннюю логику, которая их связывает, ни один добросовестный критик не имеет права Это главное в статье Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко. И это, на мой взгляд, абсолютно очевидно для всякого непредвзятого — нормального — читателя. А, значит, обращение к этому главному — совершенно непреложное условие и всякой добросовестной, честной критики.

4

Но, господа присяжные заседатели!

Ни И. Роднянская, ни В Сендеров (начну с них; о С. Белякове позднее) **даже вопросов таких перед собою не видят, не обозначают и не ставят**!

Для них всей этой стержневой проблематики, определяющей собою все содержание статьи Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко, образующей весь сквозной ее проблемно-смысловой каркас, **просто не существует**.

Они ее, что называется, **в упор не видят.**

Почему?

Но они этого и не скрывают.

Да потому, что их не проведешь. Кто-то, может быть, и поддастся на уверения авторов, объясняющих смысл и задачи своей статьи, но уж кого-кого, а И. Роднянскую и В. Сендерова с толку не собьешь — они-то знают, в чем **настоящее** содержание лежащей перед ними статьи и чего **в действительности** хотят ее авторы, о чем пишут и какие цели перед собою ставят.

В самом деле — в чем там эти ученые профессора пытаются *заверить* нас?..

«Нами движет тревога за нашу страну, с которой мы связаны всей нашей жизнью и судьба которой нам глубоко небезразлична»?..

Да не верьте вы им, простодушные. Они же просто пытаются *забронировать себе место на линии создателя «Философического письма»*! Потому что на самом деле ***движет ими не омраченная тревогой жажда сбережения страны, а та «святая ненависть» к ней, которой издавна больны любые радикалы***...

Вот так вот.

Это — жаждущая *продемонстрировать лояльность некоему интеллигентскому кодексу* Ирина Роднянская.

А вот — и Валерий Сендеров, снедаемый, вероятно, той же жаждой и потому полностью И. Роднянской вторящий. Для него статья трех авторов — это тоже не что иное, как прямое выражение ***клинической ненависти части общества к собственной стране*** — ненависти, *не уступающей* по своему *накалу* другой *болезни огромной части нашего общества — евроненавистничеству*, о которой (не забывает, повторяю, напомнить автор) он тоже *нередко пишет*. Именно с этих ***русофобских*** позиций (термин, который, как опять же, повторяю, не забывает оговорить автор, он, конечно же, *не любит* — но что ж поделаешь, *явление-то существует*), — итак, именно с этих ***клинических русофобских*** позиций, раскрывает глаза своим читателям В. Сендеров, авторы статьи «Вперед нельзя назад!» и написали свою статью — дабы *высказать наконец все, что они думают о России. Продольно и поперечно. О ее религии и культуре; власти, традициях, менталитете, народе...*

И именно этим В. Сендерову *и интересна их статья.*

Так с самого начала обозначают И. Роднянская и В. Сендеров свою исходную позицию, отправную точку своей критики. Характеризуя ее, я, как может убедиться читатель, ничего не исказил, ничего не приписал авторам. Это — собственные их выражения, собственная квалификация смысла и содержания статьи Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко.

Но ведь, как видим, все это убедительнее любых диагнозов со стороны свидетельствует о том, что здесь перед нами прямая и откровенная демонстрация совершенно определенной полемической *методологии* — методологии, которую я отчасти уже охарактеризовал выше и на которой только и могут быть основаны любые полемические атаки продемонстрированного выше типа.

Методология эта давно известна, и у нее даже не одно, а несколько достаточно метких имен, к одному из которых мы еще вернемся. Но для начала воспользуемся самым мягким, почти нейтральным и безоценочным. В сущности — почти описательным: ***чтение в сердцах***. Выразительная эта формула тем ведь особенно и хороша, что передает именно самую суть инструментария, взятого на вооружение И. Роднянской и В. Сендеровым. Потому что когда, выслушав вас, ваши критики утверждают, что **на самом деле** вы думаете и чувствуете **совсем** не то, в чем заверяете их, а нечто прямо противоположное, — это и есть та самая операция, на которую можно решиться только тот, кто совершенно убежден, что умеет и имеет полное право **читать в вашем сер-**

дце. Что он лучше вас знает, чего на самом деле вы хотите и о чем думаете. А потому и не ставит ни в грош *дымовую завесу* всех ваших рассуждений, доводов и утверждений.

Нельзя не признать, что полемистам, не боящимся и не стесняющимся занять такую позицию, нужно, конечно, обладать для этого очень немалой душевной отвагой.

Но если отваги не занимать — все остальное уже дело исключительно техники. Методология ***чтения в сердцах*** — оружие надежное и беспроигрышное, поскольку при такой диспозиции вся техника полемического «анализа» может быть полностью сведена исключительно к тому, чтобы, уяснив главную тайно-злокозненную установку разоблачаемого автора, неустанно находить, обнажать и преследовать ее во всяком авторском чихе и запятой. И неважно, повторяю, что разоблачаемый при этом говорит и утверждает вслух, что написано черным по белому его пером и чего, как утверждает пословица, не вырубишь и топором. Топором, может, и не вырубишь, но только зачем и вырубать? Обладая столь уникальной способностью, столь, можно сказать, безошибочным ключом к тайному тайных любого автора, к **истинным** его мыслям и намерениям, можно просто не обращать ни малейшего внимания на его жалкие попытки как-то прикрыться какой бы то ни было, как уже процитировано, *дымовой завесой*.

Вот все это неизменно и происходит на всем пространстве опубликованной в этом номере полемической брани, обрушивающейся на нас в исполнении И. Роднянской и В. Сендерова.

Я напоминал уже, как обходятся полемисты с заявлением Афанасьева, Давыдова и Пелипенко о том, **какие чувства** владели ими при написании статьи. Но посмотрим и дальше. Что говорят трое авторов о **задачах** своей статьи? На первой же ее странице?

Цитирую:

*Где находится Россия? Где корни ее проблем? Каковы ее перспективы? Как на эти вопросы отвечает президент РФ Медведев (а его ответы это важнейший показатель способности правящей элиты эффективно управлять страной)? Осмыслить эти вопросы и эти ответы — **такова задача нашей статьи**.*

После чего, напоминаю, как раз и идет подробнейший разбор президентского манифеста. Это первый важнейший проблемный блок статьи, включающий в себя анализ оценку и тех реальных мер, которые предпринимаются или, напротив, не предпринимаются режимом Путина-Медведева для провозглашаемой ими «модернизации».

Ну, а что говорит нам по поводу этой важнейшей части статьи г-н Сендеров?

Да ничего. Несколько пренебрежительных слов, свидетельствующих о том, что его совершенно не занимает эта тема. Потому что (опять спешит раскрыть читателям глаза В. Сендеров) статья Ю. Афанасьева и его соавторов — это только ***формально*** *отклик на «Россию, вперед» Дмитрия Медведева*. То есть что весь тот подробнейший разбор президентского ма-

нифеста, который предпринимают авторы статьи, — это, видите ли, всего лишь чистая формальность. Или, как выразилась бы И. Роднянская, *дымовая завеса*. Потому что *в общем-то не в Медведеве дело*, как заверяет В. Сендеров. Мало того, его полемической отваги хватает даже и на то, чтобы заявить: *Авторы и не скрывают: статья его* [Президента. — *И. В.*] *для них лишь предлог.*

Интересно, где же они это не скрывают? Укажите пальцем, процитируйте, пожалуйста. Или на этот раз просто скромность не позволила признаться, что это сам критик догадался о том, что авторы статьи на самом деле как раз *скрывают* — что для них Медведев всего лишь *предлог*?

Однако *предлог* — для чего?

Господи, да понятно же!

Да вот именно для того, чего только и можно ожидать от господ такого пошиба. *Чтобы высказать наконец все, что они думают о России. Продольно и поперечно.*

То есть излить то, о чем мы уже и слышали, — свою ***клиническую ненависть к России***...

Но г-н Сендеров медведевскую тему в статье «Вперед нельзя назад» хотя бы упоминает.

Г-жа Роднянская и этим не удостаивает ни авторов, ни читателя. Зачем? И так ведь понятно, что и здесь, как и всюду, авторами может руководить только одно — та самая ненависть их к России, в распознавании и выволакивании чего на свет Божий они с г-ном Сендеровым как раз и обнаруживают такое поразительное умение.

Вот на этом умении, повторяю, и держится весь строй их инвектив. Ни на чем другом.

5

В самом деле — вот перед нами еще одно из основных положений статьи «Вперед нельзя назад». О том, что никакое серьезное обновление русской жизни, никакая серьезная модернизация России невозможны на базе сохранения того государственно-политического устройства современного российского социума, в основе которого лежит то, что авторы называют традиционной «русской системой» (с ее антиномиями власти и народа, архаики и новаций, имперскости и изоляционизма). Авторы настаивают на том, что весь ход русской истории доказывает полную бесперспективность этой системы и для решительного отказа от ее традиций необходимы, во-первых, ясное осознание этой бесперспективности, а во-вторых, преодоление тех социо-культурных стереотипов общественного сознания, с которыми эти традиции связаны, а в-третьих, опора на все то, что для этого можно и *надо взять из мирового опыта, в том числе из отечественного* — на ***те ценности, на основе которых только и можно измениться***, только и можно развивать ***демократические институты, делать нашу политическую культуру личностной, гражданской, правовой***. И что

же наши оппоненты — они пытаются хоть как-то обсудить эти важнейшие тезисы статьи, составляющие сердцевину ее концепции?

Да нет — они заняты совсем не этим. Они опять открывают нам глаза на то, что, говоря все это, ***на самом деле*** авторы статьи говорят совсем другое.

Что же?

А все то же.

Вот И. Роднянская цитирует их слова о том, что *надо преодолевать глубинные социокультурные основания российской цивилизации.*

Слова эти, как это совершенно очевидно из идентичности таких употребляемых авторами терминов, как *русская система*, *русская цивилизация*, *русская культура* и т. д. (о чем уже говорилось), обращены именно к **тем и только тем** традициям нашей государственно-политической культуры, которые и надо, считают авторы, преодолевать.

А вот как «расшифровывает» процитированное И. Роднянская: ***Другими словами, надо отсечь историческую и культурную память у современного российского (преимущественно русского) населения, в особенности же, что подразумевается, — позитивную память*** (выделено автором. — *И. В.*).

Где, как, кем это все *подразумевается?* Из чего следует подобный вывод?..

Ну, а что напарник И. Роднянской по их совместной методологии полемики? Может быть, он изменил этой методологии?

Да нет, вот и он. Настойчиво заверяет нас, что авторы статьи и вообще не понимают того, что традиции могут быть позитивными, *что к соотечественникам можно испытывать не только «сострадание», что традиции могут вызывать у кого-то не только душевную боль... Патологично,* пишет Сендеров, — *но авторам это* ***просто не приходит в голову. «Преодолеть!» — единственная и категоричная их директива.***

Откуда все это г-н Сендеров взял? Где вычитал?

Опять же все там же, нигде больше: разве может быть как-то иначе у ***клинических ненавистников*** России?

Или вот еще характернейшее прочтение И. Роднянской и В. Сендеровым текста, написанного *ненавистниками.*

Одно из главных положений статьи состоит, как помним, в том, что современный российский социум **как тип государственно-политического** устройства (то есть **как последняя историческая ипостась «русской системы»**) не может быть модернизирован в принципе. Современную «русскую систему» можно лишь заменить в целом, но не «улучшить» ее сущностное структурное устройство, в изменении которого ни в малейшей мере не заинтересованы к тому же ее движущие силы, ее властная элита. Поэтому она обречена только на стагнацию.

Об этой принципиальной «немодернизируемости» нынешнего режима, построенного на базовых ценностях и опорах «русской системы», говорится в статье не раз. И — в разных ее местах, поскольку вопрос о перспективах

необходимой модернизации **страны** ставится авторами по отношению к разным сферам ее реальной жизни (экономической, социальной, правовой, социально-психологической и т. д.) и не может всякий раз не упираться в то, способна ли Россия на это в своей нынешней государственно-политической ипостаси. То есть способен ли к какой-либо обнадеживающей трансформации и модернизации, к какому либо выходу из своего все более закостеневающего состояния ее, если можно так выразиться, **«русско-системный» скелет.** Именно в этом оппозиционном смысловом контексте и возникают поэтому на страницах статьи постоянно и параллельно ***Россия*** как живая ***страна*** с ее живым населением и его живой жизнью — и ***Россия*** как ***«русская система», как тип цивилизационной культуры, как геополитическая и социокультурная целостность*** (не буду лишний раз воспроизводить весь этот синонимический ряд терминологического инструментария статьи, далеко, как я уже говорил, не идеального, но вполне доступного для понимания). Это, конечно, взаимосвязанные, но совершенно разные и уж во всяком случае не идентичные ***«России»***, легко различимые каждая в конкретном смысловом контексте. И смешивать, то есть отождествлять их — значит, совершенно не понимать, о чем в каждом конкретном случае идет речь.

Это полностью, естественно, относится и к тем страницам статьи, где возникает тема регионально-территориальной жизни России и где авторы констатируют тот тревожнейший факт, что сегодня *страна представляет собой рыхлый конгломерат совершенно разных в этно-культурном отношении территорий, утрачивающих последние формальные интеграторы в виде административных и макроэкономических регуляторов.* Этот факт тоже рассматривается Ю. Афанасьевым, А. Давыдовым и А. Пелипенко как прямой результат господства архаичной системы власти, утратившей уже способность быть даже опорой национального единства, поскольку имперский *идеократический проект и его идеологические суррогаты даже в самых удачных своих редакциях... в любом случае не могут быть интегрирующим началом.* Отсюда и горькая, но, похоже, неизбежная, увы, перспектива: Россия под руководством Путина-Медведева, констатируют авторы, *уверенно идет по пути распада.* Перспектива неизбежная именно потому, что спасти Россию от этой угрозы и удержать ее в нынешних границах можно было бы лишь *на либеральных культурных основаниях, на основе развития гражданского общества, где основным центростремительным принципом был бы принцип добровольности и выгодности.* Но даже для этого, пишут Ю. Афанасьев, А. Давыдов и А. Пелипенко, *нужно два-три-четыре десятилетия*, а их уже нет, равно как нет в современной России и *социальной силы, способной противостоять* всей *той лавине обрушения*, в которую затягивает страну господствующая в ней «русская система». А поддерживать и «спасать» ее, этот становой хребет ее нынешней государственности, — это значит, лавину эту только еще больше увеличивать...

Вот мысль авторов — с нею можно спорить, не соглашаться, но она во всяком случае совершенно ясна и понятна.

Ну а во что превращает ее И. Роднянская, которая на всю обширную аргументацию Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко, разъясняющую, почему модернизация «русской системы», по их мнению, невозможна, считает вполне достаточным ответить всего лишь мимоходом брошенным безапелляционным заверением в том, что-де наш режим еще способен к *эволюции*? И это — полемика?

Зато там, где начинается цитирование или переложение для читателя мыслей авторов, по поводу которых И. Роднянская *не может молчать*, — там ей хватает и времени, и желания потрудиться, так сказать, над соответствующей **обработкой** соответственно подобранных цитат, соединяя их собственными логических связками. И тогда получается вот что:

Поскольку (! — *И. В.*) *ныне «страна представляет собой рыхлый конгломерат совершенно разных в этно-культурном отношении территорий, утрачивающих последние формальные интеграторы...», спасать «именно этот социум» — как «геополитическое целое» — не имеет смысла.* ***О перспективном распаде и расчленении России*** *не говорится впрямую (воздадим авторам авторово),* ***но для иного вывода данных нет.***

Для какого вывода? Что авторы жаждут, стало быть, этого ***перспективного*** распада и расчленения России и потому спасать ее как таковое «геополитическое целое», не имеет смысла? Да откуда Вы это взяли, Ирина Бенционовна?

А вот для иного вывода, чем тот, что именно этот ужасающий смысл Вы вкладываете в процитированные Вами фразы, действительно *нет никаких данных*. Особенно после того многозначительного «*увы*», которое Вы ставите после следующих цитируемого Вами фрагмента статьи:

«Россия, как бы ни менялись ее геополитические контуры, не провалится сквозь землю» (увы!)...

Короче: мысль авторов, как видим, опять здесь **начисто переврана** (простите за словцо, но оно вырвалось невольно и подразумевает исключительно **объективный** результат «прочтения», а не **умысел**, к тому же более точного тут и не подберешь).

Переврана до **неузнаваемости**. До прямо **противоположного** смысла.

Но зато именно такой смысл, судя по всему, как раз и соответствует психоидеологии *радикалов*, пылающих к России «*святой ненавистью*»!

А потому и В. Сендеров без всяких колебаний (и не удостаивая хоть сколько-нибудь аргументировать свои безоговорочные инвективы) излагает позицию наших трех авторов по вопросу о будущем России один к одному с И. Роднянской:

Лучше всего бы*, без сомнения, такой* ***стране*** *просто* ***провалиться в тартарары****. Но увы.* ***«Система»*** *(****т. е.*** *попросту,* ***реально существующая страна****,* разъясняет чуть позже В. Сендеров, не делающий, как и И. Роднянская, никакого различения между этими понятиями, на чем и строится их совместная атака на «*прозекторов*» России), *похоже, делать этого не собирается. Придется модернизировать,* ***чтоб ее****...*

Но в случае с распадом России И. Роднянская, как мы видели, все-таки пытается хотя бы как-то опереться на текст самой статьи, оперируя цитатами, извлеченными из разных контекстов, комбинируя и скрепляя их по-своему. Но вот доходит очередь до раздела, где авторы ставят вопрос о том, может ли Русская православная церковь, если останется в нынешнем своем состоянии, стать тем центром, вокруг которого будет собираться и формироваться современный человек, создаваться новая культура, и тут госпожа Роднянская уже и в открытую берет на себя право и обязанность излагать и формулировать **подлинные** мысли авторов.

Сославшись на то место статьи, где говорится, что как бы ни сложилась судьба России, ведомой нашими «русскими системниками», страна же *не провалится сквозь землю, а потому вопрос о ее модернизации при всех историко-политических обстоятельствах* все равно *остается на повестке дня*, И. Роднянская сетует:

В чем состоит эта «повестка», да и сама чаемая «модернизация», вычитать из тройственной статьи нелегко, и мне остается реконструировать ответ по косвенным признакам и обмолвкам.

Ну почему ж *нелегко*?

Разве эта *повестка* и, соответственно, задачи *модернизации* не обозначены совершенно конкретно и по всем главным пунктам даже самой властью (*вековая хозяйственная отсталость, неэффективная, примитивная сырьевая экономика, вымирающее население, полусоветская социальная сфера, патерналистские настроения, неизбывная коррупция* и т. д.)?

Но И. Роднянской, вероятно, проще, самой *реконструировать ответ* авторов. И тогда — в применении к пункту о РПЦ — получается, как она сама это определяет, «*примерно следующее*»:

Русская Православная Церковь <...> должна быть отделена не только от государства, но и от общества, то есть лишена права на причастность к сферам образования и благотворительности, на публичные высказывания общегражданского характера, на публичное отправление религиозных обрядов вне храмовых стен...

Вот так вот.

Но где же все-таки, Ирина Бенционовна, Вы все это и в самом деле *вычитали*, если опять же не в самой сокровенной глубине злобных сердец *ученой тройки*, обуянных *святой ненавистью к России*?

Нет, хоть, верю, и трудно было Вам *вычитать* у самих авторов то, что думают они по означенной Вами теме, и Вы, по своему обычаю, предпочли — собственными силами *реконструировать* их мысль, вылавливая, как Вы выражаетесь, ее *косвенные признаки и обмолвки*, а все-таки надо было постараться действительно сделать это.

Но тогда неминуемо пришлось бы констатировать, что ничего даже приблизительно похожего на Вашу *реконструкцию* в статье «*ученой тройки*» все-таки нет и быть не могло. Что **постановка вопроса** о том, какие сдвиги в

церковной политике РПЦ были бы, по мнению авторов, благотворны для России, и даже **сомнение** в том, что в нынешнем своем состоянии она способна на это, **сами по себе** еще вовсе не содержат и не могут содержать в себе никаких выводов того типа, что лучше уж просто отлучить РПЦ от общества или вообще поменять православие на католичество. Это **Вы**, Ирина Бенционовна, **приписываете** их авторам. И не потому ли опять, что иначе как же Вам быть с исходной посылкой Вашей статьи, заранее оповещающей, что перед нами оголтелые леваки и радикалы, у которых только одно на уме — все взорвать и уничтожить?

Вот то-то и оно...

Ну а что приготовил нам по этой теме г-н Сендеров? Может быть, что-то новое?

Как бы не так. Он по-прежнему непоколебимо верен своей методе — не вступая ни в какие дискуссии по существу, не вникая ни в логику, ни в аргументы обличаемых и не выдвигая сам никаких противоположных, просто гвоздить своих противников небрежно брошенными свысока «очевидностями»:

***Исподтишка разделавшись** с православием... Ну какой же уважающий себя человек вздумает возражать этой **ошарашивающей бессмыслице**-скороговорке?.. Авторы усердно повторяют полемические аргументы, сложившиеся в католическом мире лет этак 500 – 700 назад, и им словно бы невдомек: **аргументы эти уже устарели**... Церкви-Сестры все более настраиваются на подлинный диалог <...> но такие перемены авторов, **разумеется**, **устроить не могут**: **принципиальная пропасть** между западной и восточной духовностью — **сердцевина их концепции**...*

Ну, и т. п.

И неважно, что говоря о «двух-» и «трехзонности» восточного и западного религиозного мира, об этом *принципиальном **различии*** (но не ***пропасти***!) *восточного и западного христианства,* сами же авторы предупреждают: ***и здесь и там, разумеется, речь идет не более, чем о доминантах***. То есть о различиях в рамках ***единой христианской доктрины***.

Неважно, что о двух- и трехзонности западного и восточного христианства как о действительной религиозно-культурной реальности христианского мира (*католические аргументы пятисотлетней давности* —?) говорит и С. Аверинцев, которого в этой связи как раз и цитируют Афанасьев, Давыдов и Пелипенко. Мимо этого факта и И. Роднянская, и В. Сендеров проходят зажмурив глаза и для надежности отвернувшись — как будто его вообще не существует. И понятно: С. Аверинцев с **такими** его взглядами в иных случаях для их православной ревностности должен быть просто ножом острым — ведь они же считают его своим союзником...

Неважно, что по всей логике отношения к тем особенностям восточного христианства (и прежде всего в его русском историческом воплощении), в которых авторы статьи видят его односторонность и слабость в сравнении с

западным, всякое сближение Церквей-Сестер и их культурно-религиозных миров должно Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко как раз ***устроить***, а не вызывать у них отторжение.

И неважно, наконец, что *устарелость* тех или иных *аргументов,* если они вновь обретают вдруг в каком-то контексте актуальный смысл, сама по себе никак не может быть *аргументом* к тому, чтобы просто ткнуть в нее пальцем и на основании этого отвернуться от самих аргументов. Вот бы и просветили, Валерий Анатольевич, нашу непросвещенную публику, вряд ли осведомленную о богословских спорах пятисот-семисотлетней давности, раскрыли бы ей глаза на несостоятельность этих «устарелых аргументов», показали бы конкретно и *аргументировано*, в чем эта несостоятельность заключается.

Но нет, всей этой **реальной** дискуссионной материей И. Роднянской и В. Сендерову заниматься и неинтересно, и недосуг — вместо этого они спешат вылавливать новые *косвенные признаки и обмолвки* «ученой тройки», *реконструировать* новые выплески и проявления русофобской сути разбираемой статьи.

В самом деле, — что там еще осталось не охваченным бдительной деятельностью И. Роднянской и В. Сендерова?

6

Ах, да — **проблема насилия**, конечно.

Правда, в статье Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко она затрагивается лишь *вскользь* (как они и сами предупреждают), занимая лишь страничку, и лишь в одном концептуальном своем аспекте. Но разве это нужно как-то учитывать и осмысливать? Главное, что роковое слово, которое так важно было услышать из уст безответственных *радикалов*, наконец-таки произнесено. И потому, повторяю, не важно, в каком контексте оно в статье появляется, — важно, что оно лучше всего подходит в качестве площадки, на которой, как выразилась бы сама И. Роднянская, наша *ученая парочка* и может совершить, наконец, свой главный *воинственный танец.*

А речь идет о той все более очевидной и все более массовой гражданской пассивности и равнодушии современных россиян, о том нарастании энтропии в общественных настроениях, в котором авторы статьи видят характерную особенность современного состояния российского общества. И — огромную опасность его «тепловой смерти». И вот именно в этом контексте — как на одно из характерных проявлений этой опаснейшей энтропийной тенденции — они и указывают в том числе и на то, что *Все друг на друга шипят, все друг друга ненавидят, цена человеческой жизни соразмерна с ценой патрона, но политически осмысленного и организованного насилия нет и следа. И не только потому, что никто не знает «как надо».*

У общества нет цели. А когда цели нет, то вместе с волей к насилию, к отстаиванию общих интересов иссякает и воля к жизни. Пока, да и то лишь

у небольшой части общества, энергии хватает разве что отстаивать личные интересы. Не более. Остальные же предались унылому фатализму и вымирают. Предпочтение смерти от безысходности борьбе за общие интересы — это ли не самый страшный диагноз (выделено авторами — *И. В.*).

Авторы вполне отдают себе отчет, что затрагивают тему *сложную и щекотливую*, к тому же настолько табуированную, что единственное допустимое ее появление — *жупел «бессмысленного и беспощадного», которым невротичная интеллигенция под довольные ухмылки сверху пугает читающую публику.* Но, констатируют авторы, *хотя все прекрасно понимают, что паразитические слои и группы общества никогда не расстанутся с награбленным по-хорошему, бунта не предвидится.* Именно потому, что *общество в целом утратило волю к осмысленному и целенаправленному действию вообще, и к насилию, хотя бы на основе права, в частности.*

Вот весь контекст, в котором звучит эта тема в статье Ю. Афанасьева, А. Давыдова и А. Пелипенко. Попробуем разобраться, как соотносится то, о чем они говорят, с тем, что выискивают у них И. Роднянская и В. Сендеров.

Итак, во-первых, *жупел бессмысленного и беспощадного*, которым обычно пугают *читающую публику.*

Имея в виду невротических любителей именно так размахивать этим жупелом и то, как мало мотивировано реальностью это занятие, авторы замечают, что, во-первых, *Пушкин был неправ: бунт не бывает бессмысленным. Таковыми бывают лишь отдельные действия его участников.* А во-вторых, что *дело даже не в этом — бунта не предвидится, хотя все прекрасно понимают...* и т. д.

То есть что энтропийное состояние общества проявляется и в такой форме — в атрофии воли к жизни, к отстаиванию своих интересов. Поскольку бунт ведь безусловно представляет собою проявление такой воли и в этом своем волевом устремлении действительно никогда не бывает лишенным всякого смысла, то есть ничем не мотивированным. Знаменитая формула Пушкина превосходна, как и всякая истина, лишь в пределах своего применения — то есть в тех самых, на которые и указывают авторы. Но никак не в том расширительном ее толковании, имеющем в виду бессмысленность бунта как самой по себе жизненной акции, которое действительно чаще всего пушкинской формуле и придают. И которое все же не придавал ей, думаю, и сам Пушкин.

Вот и все, что реально содержит в себе этот текст.

Вы хотите вычитать из него, что раз авторы утверждают, что даже в стихийном беспорядочном бунте есть всегда определенный жизненный смысл, то, значит, они призывают к бунту и именно в этой форме социального насилия видят способ принудить паразитические слои общества к возвращению стране присвоенного ими ее достояния?

Но это, вот именно, уже не искусство чтения текстов, а нечто совсем другое.

Ну, а что еще остается?

Конечно же, **право** на политически организованное насилие, утрата воли к ***насилию хотя бы на основе права.***

Нарочито безграмотная формула, — комментирует И. Роднянская. — *В цивилизованных странах <...> законное право на насилие может быть дано только органам государственной власти — и слава Богу, иначе наступил бы «день открытых убийств».*

Ошибаетесь, Ирина Бенционовна. Вы не обязаны, конечно все знать, но на этот счет существует очень большая литература очень разных традиций, идущих еще от Гоббса, Локка и Канта, где эта проблема обсуждается далеко не так однозначно, и тот же Кант, например, признает, что *если права народа попраны, то низложение его* [тирана. — *И. В.*] *будет справедливым*. А задолго до него — даже и такой христианский мыслитель, как Фома Аквинский: *Тираническое правительство несправедливо, ибо оно стремится не к общему благу, а к частному благу того, кто правит... и поэтому восстание, поднимаемое против такого правительства, не имеет мятежного характера*. И нужно ли Вам напоминать то, что Вы наверняка знаете? Что и во «Всеобщей декларации прав человека», которая признается Россией, мы читаем: *...необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того,* ***чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения****...*

Но, повторю уже использованную формулу, ***дело даже не в этом***. И даже не в том, что принуждение есть тоже форма насилия, а форм политического принуждения ***на основе права*** даже в российском законодательстве более чем достаточно для того, чтобы отсутствие воли ***к политически организованному насилию*** тоже считать признаком атрофии воли к жизни. О чем, собственно, и говорят авторы.

Так что главный мой вопрос опять вот в чем: на каком основании этот совершенно ясный и конкретный, подчеркнуто **аналитический** контекст проблемы насилия у авторов статьи «Вперед нельзя назад» Вы и Ваш напарник переводите в то измерение **практических** призывов к бунту и восстанию, которое якобы и составляет главный смысл и содержание этого текста?

Откуда вы взяли, что оценивая состояние российского общества как общества, все более утрачивающего волю к жизни, не способного ни к бунту, ни к иным формам политически организованного насилия, авторы призывают все-таки именно к бунту и восстанию?

Они, сами о себе говорящие, что не являются поклонниками *толпы фанатиков с горящими глазами*?

Да и кого они призывают к восстанию?

Ту ***другую*** Россию личности, гражданского общества, либерального типа культуры, которая дает о себе знать еще только очень слабыми ростками, которая существует скорее лишь как фактор общественного сознания, чем как сколько-нибудь значимая социальная сила, и которая именно и только тем, что несет в себе этот либеральный тип сознания, и рождает ***тонкий ручеек надежды для творческого человека***?

Надежды — на что? На то, что вот она-то, когда окрепнет лет этак через двадцать, и пойдет, наконец, на баррикады?..

Да бросьте, ничто вам и вашему *не такому уж жесткому режиму* не грозит. Никто никого не зовет ни к бунту, ни к восстанию, ни даже к политически организованному насилию на основе права. Речь идет исключительно и только о том, что для того, чтобы вообще что-то делать, искать какие-то реальные пути выхода из той ситуации, в какой Россия сейчас пребывает, надо прежде всего трезво осознать и саму эту ситуацию, и то принципиальное направление, в каком следует искать пути выхода из нее. Вот только-то и всего.

Но разве этого мало? И что вы можете возразить на это?

Увы, да опять все то же. Не верьте вы этим *коварным радикалам*.

В. Сендеров:

Статья, о которой пойдет речь к либерализму отношения не имеет. «Вовсе не бессмысленен русский бунт!» — ставят на место три доктора наук некоего автора известной фразы <...> Вот мы и приехали: Россия, вперед... Туда, где полтора века назад уже побывали. Здесь сами собою напрашиваются понятно какие слова. Вот, так уже было, и откровенное накликание революции вызвало-таки на сцену ее реальный дух...

И. Роднянская:

Итак: социальное насилие. Мандат на которое вручается, надо понимать, группам героических личностей, «изнывающих под гнетом традиционной статики и взыскующих динамики и новизны, разгоняемых ОМОНом и сидящих по приговорам зависимых от власти судов» <...>

Вот и приехали. Предложить такое, отвергнутое опытом российской истории, старье после столь обильного словоизвержения и мудрствования! Да, правда ваша, старые болезни нашу страну и ее интеллигенцию не покидают, и безответственно-подстрекательский, социально бесплодный деструктивный радикализм все еще находит своих приверженцев, надеющихся (а вдруг — небезосновательно?), что из искры возгорится пламя.

7

Нет, господа присяжные заседатели!

Как хотите, а на мой непросвещенный взгляд, все это не полемика, а чистейшее безобразие.

Постыдное, позорное безобразие.

И пусть не убеждают меня возможные адвокаты И. Роднянской и В. Сендерова, что-де во всем виноваты сами авторы статьи «Вперед нельзя назад». И что их можно понять и так, как понимают их наши полемисты.

Нет, нельзя.

Или, вернее, можно, но только в том случае, если аппарат восприятия текста у понимающего настроен так, чтобы видеть не то, что написано, а то, что почему-либо чудится.

Вопрос: да полно, может ли произойти такая подмена?

Я бы еще мог понять, если бы речь шла о людях непрофессиональных, не владеющих навыками чтения и понимания текстов.

Но, господа, в этом изъяне я не рискну упрекнуть даже В. Сендерова[6]. И уж тем более не могу отнести за счет такого изъяна характер «полемики» И. Роднянской, чей несомненный литературный профессионализм широко известен.

Есть, правда, и еще одно название для обозначения характера тех полемических приемов, которые демонстрируют нам И. Роднянская и В. Сендеров. **Мошенничество**.

И действительно: как еще иначе — при наличии вполне профессиональных навыков чтения чужого текста — назвать очевидное приписывание авторам вещей, которых авторы не говорят? Как назвать заверения читателей, что цитируемые высказывания имеют прямо противоположный смысл тому, который они буквально выражают, и прочие прелести того же рода, продемонстрированные выше?

Но упасите меня, Силы Небесные, заподозрить И. Роднянскую и В. Сендерова в таком страшном грехе! Говорю это совершенно искренне, без всякого иронического подтекста. И предстань они перед вами, господа присяжные заседатели, по чьему-либо обвинению в этом непристойном занятии, я первый вызвался бы быть их искренним и горячим адвокатом. Потому что совершенно убежден в абсолютной субъективной честности их намерений. То есть в том, что при всей неотличимости тех объективных вербальных форм, в которых выражают себя их полемические усилия, от тех, что типичны для плодов постыдного греха прямого мошенничества, перед нами психологический феномен совершенно другого рода.

И он заслуживает очень серьезного внимания.

Мошенничество — это ведь что?

Да просто фи и фу!.. Что-то такое до того уж низменное и мелкое, что вот тут уж действительно остается только, раз-два поймав мошенника за руку, просто ткнуть в него презрительно укоряющим перстом и брезгливо отвернуться.

Нет, тут, господа присяжные заседатели, перед нами не Миколка, как сказал бы у Достоевского Порфирий Петрович. Тут перед нами случай пок-

---

[6] Хотя однажды он уже и дал в полемике с одной из публикаций «Континента» пример такой работы, что я — в ответном ему послании — был вынужден вернуть ему название его полемического опуса «*Нужно еще и мочь, и уметь, а вот с этим-то и не вышло*». Речь идет об отзыве В. Сендерова на напечатанный в 1994 году в «Континенте» (№ 79) фрагмент романа Владимира Максимова «Кочевание до смерти», где г-н Сендеров позволил себе впрямую подтасовывать цитаты, замалчивать невыгодные для его толкования романа факты, приписывать автору слова и мысли его героев и заниматься прочим такого же достоинства ремеслом. Чтобы не быть голословным, спешу заявить, что желающие сами могут убедиться в этом, если познакомятся со всей этой историей, открыв указанный номер журнала или его электронную версию на сайте Журнального Зала «Русского журнала». Но с тех пор прошло столько лет, что я никак не могу заподозрить, чтобы за это время В. Сендеров не сумел повысить свой профессиональный уровень полемиста до высшего совершенства.

рупнее и посерьезнее. Иначе как нашел бы я в себе силы заниматься таким скучным, не доставляющим мне ни малейшей радости делом, как поразделъное и построчное уличение наших полемистов в передергиваниях, подстановках, прямых напраслинах и прочих собственных их *инсталляциях* в обличаемый ими текст?

Нет, тут, повторяю, перед нами случай позначительнее, и им действительно стоит заняться.

К чему я и перехожу.

Но для этого нам придется совершить сначала некоторый познавательный экскурс в нашу историю — на страницы знаменитого сборника «Вехи». Боюсь, что без мощной теоретической помощи его авторов нам не разобраться в той загадке, которая встала перед нами. Так что пусть читатель отвлечется на некоторое время от непосредственного полемического сюжета, которым мы занимаемся, и перенесется вместе со мною в атмосферу тех споров, проблем, страстей и тревог, которые владели когда-то сердцами и умами Николая Бердяева и Сергея Булгакова, Семена Франка и Петра Струве, Михаила Гершензона, Богдана Кистяковского и Александра Изгоева.

Могу заверить, времени зря читатель не потеряет. Даже если я и не слишком порадую его в роли гида.

III. Уроки «Вех»: интеллигенция и «интеллигентщина»

1

Ставя в «Вехах» свой диагноз грехам и немощам русской интеллигенции, так очевидно проявившимся в революции 1905 года, Николай Бердяев предъявил ей, как помним, особый счет за ***очень низкий уровень философской культуры***.

За то, что в среде интеллигенции *были очень мало распространены философские знания и философское развитие.*

Что интеллигенция *просмотрела оригинальную русскую философию,* равно как и *философское содержание великой русской литературы.*

Что *мыслитель такого калибра как Чаадаев совсем не был* ею *замечен.*

Что она *не читала и не знала Вл. Соловьева, не признала его своим*, как *не признала своими ни Толстого, ни Достоевского...*

С тех пор, впрочем, столько воды утекло и авторитет «Вех» в постперестроечной России успел подняться до такой безусловной значимости, что вполне может показаться, будто к нашей сегодняшней интеллигентской среде эти бердяевские инвективы уже никакого отношения не имеют. Ныне, как известно, всякий уважающий себя автор, жаждущий, если использовать известное выражение, подхваченное г-жой Роднянской, *соблюсти интеллигентский кодекс,* всегда имеет под рукой наготове и гегелевский Абсолютный дух, и современную теорию модернизации, и шпенглеровский псевдоморфоз, и вообще все, что пожелаете. Сегодня даже патентованные физики,

математики, инженеры и прочие совсем вроде бы *не-лирики* сплошь и рядом выступают в интеллигентских дискуссиях в амплуа завзятых философов. А то и богословов — сугубых специалистов по какой-нибудь схизме или исихазму, по библеистике или литургике. Какой уж тут *низкий уровень философской культуры*! В этом невозможно упрекнуть никого из них и уж тем более г-на Сендерова, который с самим Гегелем находится в столь тесных отношениях, что вполне может позволить себе выступить в качестве его полномочного доверенного лица и, даже не удостаивая какими-либо объяснениями очередного зарвавшегося самозванца, осмелившегося прислониться к авторитету великого философа, просто похлопать его презрительно-снисходительно по плечу: — *Ну, не надо. На Гегеля неча кивать...* Я не говорю уж о г-же Роднянской, известнейшем авторе целого ряда внушительных академических работ по истории русской религиозной философии...

Но вот в чем, как говорится, вся загвоздка. Или, как принято выражаться сегодня, — *фишка*.

Вспомним: обвинение тогдашней русской атеистически-социалистической интеллигенции в философском бескультурье носит у Николая Бердяева вовсе ведь не самодовлеющий, не самостоятельно-значимый характер. Очевидное отсутствие сколько-нибудь серьезного интереса к философии — это, по Бердяеву, проявление некой куда более глубинной и всеобъемлющей несостоятельности — некоего поистине смертного греха, пропитавшего всю природу российской интеллигенции, изменившего весь ее духовный состав.

В самом деле — ведь если философия, как напоминает Н. Бердяев, действительно *есть школа любви **к истине**, прежде всего **к истине***, то почему же русская интеллигенция, такая вроде бы идейная, умудрилась выработать в себе к этой *школе **истины*** столь разительное равнодушие и небрежение?

Не потому ли, что при всей своей идейной перевдохновленности она, как утверждает Н. Бердяев, каким-то образом именно и сподобилась ***умертвить в себе*** сам ***инстинкт истины***?

Вот суть той стержневой логики, которая лежит в основе его статьи «Интеллигентская правда и философская истина», с которой начинаются «Вехи».

И не только его статьи.

Вспомним — вслед за Бердяевым, диагностировавшим на примере отношения радикальной интеллигенции к философии факт *умерщвления* ею в себе *инстинкта истины,* и все остальные авторы «Вех» приходят в своих статьях к тем же самым, в сущности, выводам. Но приходят они к этим выводам в результате анализа и всех тех других сторон и особенностей интеллигентской идеологии и психологии, тоже ставших предметом своего, особого рассмотрения у того или иного из веховцев.

Это и вульгарный материалистический утилитаризм русской интеллигенции, сводящий «благо» человека к удовлетворению почти исключительно материальных его потребностей, и ее нигилистическое недоверие к культуре, и отсутствие в пространстве ее мировоззрения абсолютных смыслов и ценностей.

Это и ее отщепенство от государства, и ее социалистический утопизм, и ее пренебрежение ценностями правового порядка.

Это и ее психоидеология героического самообожения, и ее ригористический гражданский морализм, вырастающий из абстрактного максимализма задач и целей, которые интеллигенция ставит перед собой.

Это и ее духовная чуждость народу, и ее изолированность от живой жизни, надрывная экзальтированность ее подпольной психологии.

Это и шаткость нравственных устоев ее семейного и личного быта...

Главный смысл обращения ко всем этим типическим аспектам — идеологических установок интеллигенции начала XX века, ее политических программ, ее моральных принципов и ее психологического склада как раз и состоит ведь у любого из авторов «Вех», именно в том, чтобы выявить и продемонстрировать именно — несостоятельность всех перечисленных вещей. Их не-истинность. Ту самую неистинность, которая в каждом конкретном случае всегда рассматривается в «Вехах» как проявление и следствие той, если можно так выразиться, общей, исходной, глубинной неистинности, что заложена уже в самой *мировоззренческой вере* русской интеллигенции — в ее *атеизме*. В том ее *атеизме*, в который, по выражению С. Булгакова, *русский образованный класс* именно и *определился почти поголовно* (*атеизм есть общая вера, в которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической*, — он же).

Причем — и это требует особого внимания — смысл и значимость критического анализа атеистической мировоззренческой веры тогдашней русской интеллигенции состоят в «Вехах» совсем не просто и не только в выявлении ложности самого по себе **содержания** этой веры, ее собственно-**смыслового** наполнения. Критический скальпель «Вех» проникает куда глубже — к той глубинной природе русского интеллигентского атеизма, к той, если можно так сказать, **методологической его структуре**, к самому **характеру его исходного методологического инструментария**, без которого было бы невозможно и его смысловое наполнение и который, в сущности, и предопределил собою неистинность этого наполнения.

Что же это за методологическая его структура и природа, методологический его инструмент и характер?

А вот он:

В русском атеизме, — пишет С. Булгаков, — ***больше всего поражает его догматизм, то, можно сказать, религиозное легкомыслие, с которым он принимается.***

И несколько ранее:

...приходится признать, что ***русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и*** *это не изменяется вследствие того, что он принимает* ***воинствующие, догматические, наукообразные формы...***

А вот и Семен Франк:

Быть может, ***самая замечательная особенность*** *новейшего русского общественного движения, определившая в значительной мере и его судьбу, есть его* ***философская непродуманность и недоговоренность.***

И, полностью подтверждая тем самым диагноз С. Булгакова, С. Франк указывает и на *отсутствие* ***самостоятельного идейного творчества*** *в нашем общественном движении,* на *его глубоко* ***консервативный в философском смысле характер*** и на то, что интеллигенция усвоила свою исходную ***социалистическую идею, целиком, без критики и проверки заимствовав ее в том виде, в каком она выкристаллизовалась на Западе в результате столетнего брожения идей,*** и на другие вопиющие примеры ***этого философского безмыслия***...

Вот этот ***легкомысленный догматизм*** атеистической веры, эта ***философская непродуманность и недоговоренность***, то, что вера эта не явилась ***плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли***, и есть та самая болезнь русской интеллигенции, та основополагающая (*«замечательная»*, *«поразительная»*) больная ее природа, которую так или иначе согласно друг с другом фиксируют абсолютно все авторы «Вех». И на которую сразу же, в первой же статье сборника указал Н. Бердяев, констатировав ***умерщвление*** интеллигенцией в себе ***инстинкта истины*** и обозначив тем самым исходный методологический угол зрения для всего дальнейшего анализа ее идеологии и психологии в остальных статьях.

В самом деле, ведь ***догматизм*** — это всего лишь **другое имя** того самого греха, на решающей роли которого в формировании всего духовного состава русской интеллигенции как раз и акцентирует внимание читателя Н. Бердяев, говоря об ***умерщвлении*** ею в себе ***инстинкта истины.*** Ибо там, где пропадает потребность в искании истины, в выработке ее посредством сложной и честной работы мысли, способной видеть, взвешивать и аргументированно сопоставлять все точки зрения на исследуемую проблему, — там способом отношения и к миру, и к любым идеям, и к любым проблемам немедленно и неизбежно становится именно догматизм — подход ко всему на свете с позиций тех или иных бездоказательно (*легкомысленно*) принимаемых исходных постулатов, априорно предъявляемых тем не менее в качестве не подлежащих ни малейшему сомнению «истин». А становясь прямым выражением и неотъемлемым лицом такого ***умерщвления***, новорожденный догматизм, естественно, все больше закосневает в этой своем статусе, сам же себя, если можно так выразиться, все больше и больше догматизирует, становясь уже и вообще почти не способным ни к какому серьезному диалогу. И загоняет он себя в этот самогипноз своей догматической правоты тем, увы, быстрее и тем успешнее, чем более благородными считает те цели и стимулы, которыми нагружает себя и которыми себя подхлестывает и оправдывает. Причем сплошь и рядом вполне искренне.

Именно об этом и предупреждают нас «Вехи» на примере современной им русской интеллигенции, которая всю жизнь свою строила как служение благу народа, которая именно во имя его вела свою отчаянную борьбу с аб-

солютизмом и которая, полностью сведя, в конце концов, к этому и только к этому весь смысл своего существования, как раз и превратила это «служение» в защитный барьер от всего, что могло посягнуть на догматизм ее «святой» веры.

И именно это и зафиксировал в первой же статье «Вех» Н. Бердяев, сразу, повторяю, дав тем самым методологический ключ к пониманию и анализу всех тех грехов и немощей русской интеллигенции, которые явились предметом критического исследования сборника в целом.

С русской интеллигенцией, — читаем мы на первых же страницах этой статьи, — *в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному* ***благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине.***

А этим — и интерес к философии, поскольку интерес этот стал *исчерпываться* лишь *потребностью в философской санкции ее общественных настроений и стремлений, которые от философской работы мысли не колеблются и не переоцениваются,* ***остаются незыблемыми, как догматы.*** В результате чего — радикальная интеллигенция и стала способна *без критики отвергнуть всякую, самую глубокую и истинную философию,* окажись она лишь *заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям, и идеалам.*

И Н. Бердяев заключает:

Эта демагогия деморализует душу нашей интеллигенции <...> ***Развивается моральная трусость, угасает любовь к истине и дерзновение мысли. Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда, искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию, идет разложение общеобязательного универсального сознания...***

И поэтому, подхватывает С. Булгаков, интеллигенции ***может быть свойственно что угодно, только не сомнения в своей миссии. Вследствие*** чего ***интеллигенция остается малодоступна и доводам исторического реализма и научного знания.***

Полностью поддерживает этот вердикт и С. Франк, подчеркивая, что идейное «творчество» интеллигенции ***неспособно удовлетворить никого, кто стремится к серьезному, добросовестному и, главное, плодотворному обсуждению вопроса...***

Так был выявлен «Вехами» главный **интеллектуальный** грех интеллигенции того времени. Едва ли не **корень** всех остальных ее грехов и несостоятельностей.

И вот здесь я и вижу тот важнейший методологический урок, не усвоив которого, мы вряд ли сумеем и верно разобраться в той ситуации, которую нам приходится обсуждать сегодня в связи с публикуемыми в этом номере полемическими откликами на статью Ю. Афанасьева А. Давыдова и А. Пелипенко.

Чтобы до конца уяснить всю значимость для нас в контексте нашей темы этого веховского урока, необходимо выявить, однако, еще и тот важный аспект его содержания и смысла, который связан с осмыслением «Вехами» самого **понятия** «интеллигенция», его разных значений. Поэтому стоит немного задержаться и на этой стороне теоретического наследия «Вех».

Тем более, что она не так уж часто удостаивается действительно серьезного внимание.

2

Знаменитый сборник «Вехи», столетие которого так дружно, но, по большей части, так банально-юбилейно отпраздновала осенью прошлого года наша пресса, имел, как помним, подзаголовок:

«*Сборник статей* ***о русской интеллигенции***».

Информативно предуведомление это выглядело, таким образом, вполне как будто бы однозначным.

Однако оно вовсе не было таким по существу. Недаром почти каждый автор сборника, принимаясь за свою часть совокупного портрета той *интеллигенции,* которой были посвящены «Вехи», начинает, как правило, со специального разъяснения, что, собственно, будет иметь он в виду, употребляя этот термин. В этих разъяснениях не было, казалось бы, такой уж прямой необходимости, потому что к началу XX века это специфически-русское имя-термин в привычном культурном обиходе устойчиво и закрепилось как раз прежде всего именно за той частью русского образованного класса, к которой и были обращены «Вехи», — за той общественной средой, которая со времен Белинского духовно формировалась и осуществляла себя почти исключительно в пространстве радикального атеистически-социалистического мировидения. Так что этот специфический слой русского образованного класса появился в «Вехах» под титулом *интеллигенции* отнюдь не самозвано, но в полном соответствии с реальной языковой традицией, которую всего лишь и засвидетельствовали своим терминологическим выбором авторы сборника.

Тем не менее и та потребность в специальных терминологических уточнениях, которая дает знать о себе почти у всех авторов «Вех», тоже не была случайной. Тем более — излишней. Потому что, как свидетельствуют, в частности, сами же авторы «Вех», в начале XX века социалистическая и атеистическая часть русского образованного класса носила имя *интеллигенции* хотя и преимущественно, но отнюдь все-таки не исключительно. Термин этот бытовал в применении и к *русскому образованному классу* в целом (политически и мировоззренчески очень, естественно, разнородному), на что неизменно и указывают в своих разъяснениях авторы «Вех», предупреждая, что будут говорить о русской интеллигенции не в этом смысле слова, а в том, в каком и закрепилось оно в привычном употреблении.

Мало того, — сами же авторы «Вех» вводят на страницы сборника и еще одно значение слова ***интеллигенция***: в отличие от образованного класса в це-

лом и радикально атеистической и революционной его среды, они употребляют этот термин применительно и к той возможной и чаемой ими **будущей интеллигенции**, которая должна придти на смену нынешней, атеистической, избывши ее немощи и заблуждения. Это будет, надеются они, интеллигенция, духовно совсем уже другая, нежели ее предшественница, — интеллигенция с ***новой, народившейся в ней душой*** (Н. Бердяев), интеллигенция, которая ***поднимется***, наконец, ***на высоту своей задачи*** (С. Булгаков) и о которой можно будет говорить уже в настоящем — **более *широком, общенациональном, общеисторическом смысле слова*** (Н. Бердяев).

Так возникают и перекрещиваются на страницах «Вех» три разных образа интеллигенции — три очень разные общественных среды, обозначаемые, однако, одним, общим термином.

Но — по-разному и обозначаемые.

В первом случае (образованный класс) термин ***интеллигенция*** не таит в себе никакого оценочно-эмоционального звучания, поскольку, как это совершенно очевидно, несет нагрузку всего лишь назывного обозначения некой социальной среды, существующей в русской жизни и выделяемой по этически совершенно нейтральному признаку просто образованности.

Во втором случае (радикальная атеистически-социалистическая интеллигенция) термин тоже, понятно, имеет своей задачей обозначить прежде всего определенную общественную среду тогдашнего русского образованного класса. Но на этот раз речь идет о среде, которая подвергается в «Вехах» резкой критике и вызывает по отношению к себе куда больше осуждения, чем поддержки и одобрения. Отсюда, как свидетельствует Н. Бердяев, и то пренебрежительное слово «*интеллигентщина*», которым в русском обществе нередко именовали эту специфическую социальную группу. К тому же, как полагают авторы «Вех», среда эта исторически обречена и должна исчезнуть, переродиться.

И, наконец, в третьем случае (интеллигенция в *широком, общенациональном, общеисторическом смысле слова*) термин тоже, естественно, обозначает некую конкретную общественную среду (на этот раз по преимуществу лишь возможную, будущую). Но это среда, которая, в отличие от ее революционной предшественницы, осуждаемой и провожаемой авторами «Вех» с исторической сцены, горячо ожидается ими в надежде, что она *ответит* ***насущной исторической и национальной необходимости, высокому и значительному историческому призванию*** *интеллигенции, устрашающе* ***огромной исторической ее ответственности*** *перед будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным* (С. Булгаков).

Другими словами, в этом последнем случае перед нами термин уже не просто *фиксирующий* наличие некой реальности (пусть только возможной).

И даже не просто сопряженный с **эмоционально-оценочным** звучанием, выражающим отношение современников.

Перед нами термин, **изначально**, **исходно** обладающий очевидным **нормативным** характером. То есть термин, который по самому существу свое-

му, а не ситуативно, несет в себе мощное *этическое напряжение*, поскольку обозначает такую общественную группу, сам смысл существования которой связан с идеей **долженствования**, с обязанностью стремиться быть ***на высоте своего исторического призвания***. И этим — соответствовать своему **этическому заданию** (своей **этической норме**).

Что же это за безусловная этическая норма, которой обязана соответствовать столь чаемая авторами «Вех» грядущая интеллигенция? Что должна представлять она собою, чтобы быть на высоте той исторической задачи, которая стоит перед интеллигенцией в этом **нормативном** смысле слова?

И еще: как перекликается и перекрещивается это нормативное звучание термина с теми двумя иными его звучаниями, о которых я говорил? И почему авторы «Вех», столь резко противопоставляющие эту грядущую интеллигенцию ее революционной предшественнице, все-таки и по отношению к ней тоже предпочитают употреблять не какой-то новый, соответствующий всей принципиальной ее новизне термин, а тот же, старый, коим привычно обозначалась и обозначается отвергаемая ими радикальная «каста»?

Вот вопросы, на которые нам стоит ответить именно потому, что они поистине важнейшие, центральные для нас. Как в своем собственном, «внутривеховском», контексте, то есть для действительно адекватного уяснения того, каким образом ставится авторами «Вех» проблема ***интеллигенции*** в России и какими смыслами нагружают они этот термин. Так и в конкретном контексте той «полемической» ситуации, которую мы здесь разбираем и в целях уяснения которой нас и занимает соответствующий проблемный контекст «Вех».

3

Итак, что же это за будущая интеллигенция, на которую возлагают столь высокие ожидания «Вехи»? Какими чертами она должна отличаться?

Ответ на этот вопрос достаточно очевидно вытекает из всего содержания «Вех». Но он сформулирован на их страницах и впрямую.

Я имею в виду финальные строки статьи С. Франка «Этика нигилизма», где автор выражает надежду, что в процессе *пересмотра старых ценностей и творческого овладения новыми <...> на смену старой интеллигенции, быть может, грядет «интеллигенция» новая, которая* ***очистит это имя от накопившихся на нем исторических грехов, сохранив неприкосновенным благородный оттенок его значения***.

Остановимся на этой формуле и вдумаемся в нее.

Как видим, С. Франк обозначает здесь **два** главных условия возникновения новой интеллигенции, которая призвана придти на смену старой на основе пересмотра прежних ее ценностей и творческого овладения новыми:

— во-первых, она должна очистить имя интеллигенции от накопившихся на нем исторических грехов,

— но, во-вторых, сохранить при этом благородный оттенок этого имени.

Перед нами условия, которые носят, как нетрудно понять, **принципиальный, определяющий** характер по отношению к тому феномену, который именуется термином «интеллигенция» в его нормативном значении. То есть указывают на **конститутивные признаки** этого социального феномена — грядущей интеллигенции в *широком, общенациональном, общеисторическом смысле слова*. А поскольку, повторяю, речь идет в данном случае о понятии ***интеллигенция*** с очевидным **нормативным** значением, то, значит — и на его **конститутивные критерии**.

Остановимся сначала не на первом, а на втором условии, — так будет проще уловить логику их сопряжения.

Итак, в отличие от обычного характера сопоставлений новой и старой интеллигенции на страницах «Вех», речь, как видим, идет уже не об их принципиальной разноприродности, а о том, что должна, оказывается, существовать между ними и определенная преемственность.

Какая же? Что это за *благородный* оттенок значения термина ***интеллигенция***, который слово это несло в себе даже и тогда, когда обозначало революционную среду русского образованного класса конца XIX — начала XX века? И который, оказывается, необходимо *сохранить неприкосновенным* и новой интеллигенции?

Но на этот счет никаких неясностей как раз нет и быть не может.

Как ни суров был тот исторический суд над русской интеллигенцией, который вершили авторы «Вех», однако, как помним, он никогда не был обращен к самой по себе ***жажде справедливости на земле, священной, в своей основе жажде*** (Н. Бердяев), которая руководила интеллигенцией и заставляла ее видеть смысл и цель своего существования в борьбе с самодержавием во имя блага народа. Напротив, сами по себе эта жажда и вера всегда вызывали у авторов «Вех» лишь полное понимание, поддержку и сочувствие. И сочувствие тем большее, что, как пишет С. Булгаков, интеллигенция *в этой борьбе стяжала себе многочисленные мученические венцы*, заставляющие лишь *преклониться перед святыней* ее *страданий*.

Именно этими ***благородными*** энергиями духовного мира старой интеллигенции были рождены в ней и те *задатки черт положительных и ценных*, на которые указывает Н. Бердяев: ***жажда целостного миросозерцания, в котором теория слита с жизнью, жажда веры. Интеллигенция,*** признает он, *не без основания относится отрицательно и подозрительно к отвлеченному академизму, к рассечению живой истины, и в ее требовании* ***целостного отношения к миру и жизни*** *можно разглядеть черту бессознательной религиозности*.

На эту же ***драгоценную*** черту интеллигенции указывает и С. Франк: *Русская интеллигенция при всех недочетах и противоречиях ее традиционного умонастроения обладала доселе одним драгоценным формальным свойством:* ***она всегда искала веры и стремилась подчинить этой вере свою жизнь...***

Итак, новая интеллигенция должна унаследовать у старой ту священную устремленность ее воли к установлению справедливости на земле, ту ее жажду целостного отношения к миру и жизни, тот пафос самоотверженного подчи-

нения высокой цели — цели служения своему народу, своей стране, ее жизнеустроению на началах правды и добра, которыми и созидается *благородный оттенок* значения слова *интеллигенция*, даже когда оно привычно употребляется по отношению к интеллигенции атеистически-революционной, вся мировоззренческая «вера» которой так решительно отвергается «Вехами».

Это — безусловное, непременное условие, которым оправдывается самый факт появления на исторической арене той новой интеллигенции, на которую так уповают авторы «Вех» и о *высоком историческом общенациональном призвании* которой **вне** этого условия говорить просто не приходится.

А тем самым — это одновременно и **неотъемлемый конститутивный признак** того будущего социального феномена, которому тоже усваивается имя «интеллигенция». Именно этим признаком прежде всего очерчиваются границы внутри всего образованного класса как его особой части. Это не весь образованный класс, который может включать в себя образованных индивидов сколь угодно высокого общественного равнодушия, а именно граждански активная его часть, искренне преданная идеалам того высокого служения своему народу и стране, в котором она видит сам смысл своего существования. Граждански индифферентный образованный человек просто по факту своей образованности вполне может числить себя *членом образованного класса*. Но он никак не вправе числить себя *интеллигентом* — в том этически определенном смысле этого слова, в каком оно употребляется в «Вехах» по отношению к чаемой ими будущей граждански активной и национально ответственной части образованного класса. Это — неотъемлемый, принципиальный этический критерий принадлежности к ***интеллигенции***, которую Бердяев не случайно назвал однажды своего рода этическим ***орденом*** образованного класса.

Отсюда, кстати, понятно, почему авторы «Вех» усваивают этой ожидаемой общественной группе **то же** имя, что носила и носит пока что мировоззренчески противоположная ей интеллигенция атеистически-социалистическая. Да только потому, что у них действительно есть нечто (и очень важное) общее, выделяющее их из образованного класса в целом, — а именно гражданская активность, осознанное принятие на себя ответственности за судьбы страны. То есть то, что и входит привычным *благородным* оттенком в звучание слова «интеллигенция», что предполагается понимать под неизменным и обязательным его значением.

4

Но «старой» интеллигенции — при всем несомненном *благородстве* ее конечных целевых устремлений — «Вехи» все-таки отказывают в праве претендовать на роль действительной выразительницы народных стремлений, быть интеллигенцией в общеисторическом и общенациональном смысле слова.

И отказывают, как помним, именно потому, что в стремлении к этим конечным целям она встает на ложный путь, чем искажает и сами благородные стимулы своего существования.

Отсюда — то условие непременного освобождения от ошибок и несостоятельностей этой «старой» интеллигенции, без выполнения которого не может народится душа «новой» интеллигенции и которое в формуле С. Франка поставлено первым номером.

Конкретный смысл этого требования как будто бы совершенно ясен — он обозначен всем содержанием «Вех», где подробнейшим образом как раз и обследованы, описаны и обозначены все те грехи старой интеллигенции, от которых новой интеллигенции надо *очистить свое имя*.

Тем не менее не все здесь так просто и ясно, как может показаться на первый взгляд.

В самом деле, — следует ли понимать смысл и характер этого требуемого *очищения* так, что оно может быть сведено лишь к отказу от той ложной атеистически-социалистической «веры», которая владела старой революционной интеллигенцией и порождала все прочие ложные уклонения ее политической, психологической и жизнеустроительной воли? И достаточно ли будет для *нарождения новой души* интеллигенции того перехода ее на позиции *религиозного гуманизма*, о котором говорит С. Франк и с которым будут связаны, естественно, соответствующие перемены и во всем духовно-психологическом составе ее новой природы?

То есть, другими словами, может ли быть сведена проблема нарождения новой интеллигенции, достойной своего высокого призвания, к переходу ее на новые мировоззренческие позиции только в **собственно содержательном, смысловом** их плане — в перемене, так сказать, атеистического мировоззренческого «минуса» на религиозно-гуманистический «плюс»?

Однако, во-первых, в общую концепцию авторов «Вех» как-то не укладывается, чтобы новую интеллигенцию *в широком общенациональном и общеисторическом смысле слова* они могли представлять себе как интеллигенцию исключительно религиозную.

Напомню в связи с этим хотя бы такой показательный факт.

На страницах «Вех» мы постоянно встречаем резкое противопоставление духовному миру атеистически-социалистической интеллигенции духовного мира многих выдающихся представителей русской культуры, которых, как пишет П. Струве, отделяет от нее настоящая *идейная пропасть*. Речь и у него, и у других авторов «Вех» идет о таких, в частности, именах, как Чаадаев и Вл. Соловьев, Радищев и С. Трубецкой, Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургенев, Достоевский и Л. Толстой, Чехов и Фет. Все они, по его же слову, *не носят интеллигентского лика* (то есть, понятно, лика той радикальной атеистической интеллигенции, от которой их отделяет *идейная пропасть*). И в то же время они постоянно аттестуются в «Вехах» как *наши лучшие люди* (М. Гершензон), как *светочи русского образованного класса* (П. Струве), как *крупнейшие выразители нашего народного самосознания* (С. Булгаков) — то есть наделяются характеристиками, которые полностью соответствуют статусу *интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова* и, следовательно, неоспоримо свидетельствуют об их безусловной принадлежности

к тем уже наличным ее элементам, которые войдут и в ее чаемый будущий массив. Что уже впрямую и формулирует Н. Бердяев применительно к тем русским философам, которых *не хочет знать русская интеллигенция*, которых *она относит к иному, враждебному миру,* которые *чужды "интеллигентщины"*, но которые *тоже ведь* ***принадлежат к интеллигенции.***

Между тем если Достоевский или Вл. Соловьев, Гоголь или С. Трубецкой по типу своего мировоззрения действительно могут быть названы религиозными гуманистами, то с религиозностью того же Тургенева, не говоря уж о Чехове, как впрочем и многих иных *наших лучших людей*, действительно достойных называться *крупнейшими выразителями нашего народного самосознания*, дело обстоит совсем не так безусловно. Да и религиозность Толстого очень сильно отличается от религиозности С. Булгакова или С. Франка, равно как даже и на общей принципиальной основе религиозного гуманизма среди его адептов могут быть (и были, и существуют) достаточно серьезные расхождения в понимании того, какие именно конкретные программы социального, культурного и политического устройства российской жизни в наибольшей степени отвечают принципам их общемировоззренческой религиозно-гуманистической веры. Так что при всей несомненности того факта, что авторы «Вех» действительно возлагают свои надежды прежде всего на появление именно такой, религиозно-гуманистической интеллигенции[7], вся логика их высказываний по этому вопросу никак не позволяет утверждать тем не менее, что критерием принадлежности к истинной интеллигенции должно стать наличие у нее именно религиозно-гуманистического мировоззрения. Как, впрочем, и вообще область каких-либо иных мировоззренческих установок в их собственно смысловом, программном содержании. Об этом, в частности, выразительно свидетельствует и то место из статьи С. Булгакова «Героизм и подвижничество», где сказано: *Критическое отношение к некоторым сторонам духовного облика русской интеллигенции* ***отнюдь не связано даже с каким-либо одним определенным мировоззрением, ей наиболее чуждым.*** *Люди* ***разных мировоззрений,*** *далеких между собою, могут объединиться на таком отношении, и говорить об этом громко и открыто есть долг убеждения и патриотизма.*

---

[7] С. Булгаков говорит даже о необходимости появления собственно ***церковной интеллигенции***, «*которая подлинное христианство соединяла бы с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач (чего так часто недостает современным церковным деятелям)*» — «*если бы таковая народилась*», замечает он, она «*ответила бы насущной исторической и национальной необходимости*».

Но стоит при этом обратить внимание и на то, почему он ставит к слову *интеллигенция* этот **ограничивающий** эпитет *церковная*. Да именно потому, что он отнюдь не отождествляет ее со всей той грядущей интеллигенцией, которая призвана сменить интеллигенцию атеистически-социалистическую и которая даже если и вся будет религиозной, отнюдь не обязательно, конечно, должна состоять именно из церковных деятелей. Он просто говорит о желательности появления *в том числе* и такой, *церковной,* ее части, у которой будут, очевидно, свои особенности в сравнении с частью светской...

Обратим, наконец, внимание и на такое, чрезвычайно важное в контексте наших размышлений место из статьи того же Булгакова, где он свидетельствует, что *в настоящее время можно <...> наблюдать особенно характерную для нашей эпохи* ***интеллигентскую подделку под христианство, усвоение христианских слов и идей при сохранении всего духовного облика интеллигентского героизма.*** *Каждый из нас, христианин из интеллигентов, глубоко находит у себя эту духовную складку,* — с горечью констатирует он, указывая на то, как легко удается проявлять себя традиционному *интеллигентскому героизму, переоблачившемуся в христианскую одежду и искренно принимающему свои интеллигентские переживания и привычный героический пафос за христианский праведный гнев.*

Не об этой ли *складке* иного современного православного интеллигента пишет в своих «Дневниках» и о. Александр Шмеман? Вспомним: такой *православный,* — замечает он, — *не скажет, не признает, что Православие может быть* ***упадочным*** (выделено автором. — *И. В.*), *что огромная часть увесистых томов «Минеи месячной» состоит из подражательной и часто пустозвонной риторики. Он само раздумье об этом обличит как еретическое и греховное, — продолжает А. Шмеман. — И выходит так, что человек, приблизившийся к Церкви, ставший «церковным», все время напяливает на себя узкий кафтан, не на него сшитый <...> Отсюда его воинственность, фанатизм, постоянное обличение всех и вся. Это не спокойная, ясная и* ***счастливая*** (выделено автором. — *И. В.*), *уверенность, рождающаяся из подлинного опыта. Нет, это он себя бичует,* ***самого себя уверяет в своей правоте и потому заранее ненавидит всякого, кто еще даже и не задал «вопроса», но может поставить его***[8]***...***

Но из всего этого опять-таки, таким образом, следует, что само по себе принятие даже самой «правильной» смысловой мировоззренческой установки, включая и перемену атеистического «минуса» на религиозный «плюс», еще мало что может значить и отнюдь не способно гарантировать то действительное *очищение* от гибельных традиций «интеллигентщины», без которого никакая «интеллигенция в широком общенациональном и общеисторическом смысле слова» *народиться* просто не в состоянии.

Для этого значит, явно требуется еще и другое что-то.

Что же?

5

А вот как раз то самое, на чем в первой же статье «Вех» так настойчиво акцентирует внимание читателя Николай Бердяев. И что постоянным рефреном повторяется так или иначе почти во всех других статьях «Сборника статей о русской интеллигенции».

Никакое действительное избавление от «интеллигентщины» не может произойти, если не будет прежде всего — и, в сущности, изначально — отчетливо осознан и категорически преодолен тот самый главный, коренной,

---

[8] *Шмеман А.,* прот. Дневники 1973 — 1983. — М., 2005. С.617.

глубинный ее соблазн и грех, на который указывают «Вехи», — соблазн выстраивать свою интеллигентскую «правду» и защищать ее, ***умерщвляя в себе*** (вспомним веховские формулировки) ***инстинкт истины***, подавляя ***дерзновение мысли***, ускользая от обязанности и ответственности оберегать и развивать в себе предельную внимчивость ***к доводам исторического реализма и научного знания, к серьезному, добросовестному и плодотворному обсуждению*** встающих проблем, к тому, чтобы ***идейное творчество*** всегда было ***плодом*** действительно серьезной, ***сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли***, решительно противостоящей тому ***разложению общеобязательного универсального сознания***, которое тотчас же и неизбежно начинает происходить, как только в телегу интеллигентской мысли и жизнедеятельности впрягается немедленно заступающий на место умерщвляемого инстинкта истины наглый ее антагонист — ***догматизм***. И уж тут, когда все отдается на откуп этой упрямой норовистой твари, преисполненной ***самомнения, нетерпимости, высокомерия*** и ***безмыслия***, не приходится удивляться, если телега эта окажется, в конце концов, перегружена таким количеством самой отъявленной «интеллигентщины», что ни для какой «интеллигентности» места в ней может почти уже и не остаться.

Что и доказал пример русской интеллигенции конца XIX — начала XX века, столь выразительный портрет которой оставили нам «Вехи».

И если бы только ее пример! — той давно уже вроде бы ушедшей в историческое небытие носительницы этого обязывающего имени, которая все-таки оставила по себе благодарную память хотя бы своей пусть и ложно направленной, но искренней и страстной ***жаждой справедливости на земле***, своей ***самоотверженностью***, своими ***мученическими венцами***...

Безусловное верховенство стремления к истине и только к истине при выработке и отстаивании любых мировоззренческих «вер» и «правд», любых проектов и программ общенационального или личностного жизнеустроения, безоглядная рыцарская верность этому категорическому интеллектуальному императиву — вот, по всему смыслу термина ***интеллигенция*** в его нормативной ипостаси, впервые рождающегося на страницах «Вех», тот другой, такой же неотъемлемый, сущностный, конститутивный признак социальной группы, обозначаемой этим именем, как и ответственная гражданская ее активность, осознанная устремленность ее воли к тому, чтобы самоотверженно служить своему народу, своей стране, их жизнеустроению на началах правды, добра и справедливости.

И кстати, точно так же, как искренняя направленность ее жизненной воли на служение общему благу именно и придает, по слову С. Франка, *благородный оттенок* значению слова «интеллигенция», — точно так же этот *благородный оттенок* созидается и безусловным верховенством для нее критерия истинности при выборе и определении путей такого служения. Это тоже ведь именно **этический** принцип — тот прямой **долг**, который интеллигенция принимает на себя в качестве специфически **интеллектуальной** части общества, способной и претендующей оснащать его мировоззренческими

идеями, предлагать ему программы социального, политического и культурного жизнестроительства, ориентированные общим и личным благом каждого, и делать все для того, чтобы претворять их в реальность.

Конечно, сама по себе установка на то, чтобы все это идейное и практическое творчество осуществлялось только под верховенством критерия истины, еще не гарантирует его действительную истинность. В процесс нахождения истины неизбежны и заблуждения. Но без самоотверженного и честного стремления именно к истине, без любви к ней, невозможно и никакое к ней приближение, а нравственное право предлагать обществу плоды подобного рода теоретического и практического ему «служения» и вообще теряется.

Итак, именно **оба** эти принципа — служение людям и служение истине — как раз и обеспечивают интеллигенции тот статус своеобразного **этического ордена** внутри образованного слоя общества, который на протяжении вот уже более ста лет традиционно фиксируется и признается за нею едва ли не всеми, кто на эту тему задумывался — от Н. Бердяева до А. Солженицына.

Мало того, — нетрудно убедиться, что, в сущности, именно тандем этих двух признаков и вообще включает в себя всю ту совокупность **необходимых и достаточных определений**, которая очерчивает границы и содержание всякого понятия и которая образует собою, следовательно, ядро и рассматриваемого нами понятия ***интеллигенция*** в веховской нормативной его ипостаси. Другими словами, именно она, эта совокупность, полностью охватывает собою суть и природу социального феномена, выражаемого этим понятием, обозначая суверенную территорию интеллигенции как той гражданski активной части образованного общества, которая видит нравственный стимул и смысл своего существования в альтруистическом служении людям посредством выработки и претворения в жизнь мировоззренческих концепций их личностного и общенационального бытия и которая в этом идейном и практическом своем творчестве всегда руководится лишь стремлением к истине, а потому всегда и принципиально заинтересована во всяком серьезном обсуждении своих идей и позиций, всегда открыта и внимательна к серьезной честной работе любой чужой мысли.

Словом, если коротко и торжественно, то интеллигенция — это действительно некий этический Орден рыцарей Истины, отдающих себя ближним через самоотверженный поиск Истины и самоотверженную борьбу за преображение ее Правдой их жизни.

Вот тот реальный смысл понятия «интеллигенция» в его нормативном веховском значении, к которому выводит нас анализ его осмысления на страницах *сборника статей о русской интеллигенции.*

6

Итак, бросим еще раз взгляд на пройденный нами путь.

Мы начали с констатации того факта, что, согласно всей логике знаменитого сборника, в качестве едва ли не главного, во всяком случае коренного,

исходного греха русской атеистически-социалистической интеллигенции было выявлено и зафиксировано авторами «Вех» то ***умерщвление*** ею в себе ***инстинкта истины***, которое и образовало изначальную методологическую почву для появления всех прочих ее немощей и грехов, порожденных неизбежно восторжествовавшим в этой ситуации ***догматизмом***. И мы пришли к констатации той очевидности, что, стало быть, безусловный приоритет критерия истинности при выработке любых мировоззренческих «правд» и «вер», открытость к прямому, серьезному и аргументированному их обсуждению, внимательность к противоположным точкам зрения и вообще подлинное уважение к работе мысли — необходимый и неотъемлемый **конститутивный признак** той интеллигенции, которая претендует быть на высоте своих общенациональных, общеисторических задач и само имя которой обретает поэтому на уровне этого притязания этически нормативный характер.

Выявление всего этого и можно признать поистине выдающимся, фундаментальным вкладом «Вех» в уяснение природы тех реалий русской жизни, которые начиная с 60-х годов XIX века получали для своего обозначения одно и то же имя — ***интеллигенция***. И прежде всего — в уяснение природы и необходимых признаков той интеллигенции, которую можно назвать интеллигенцией *par excellence*. Той чаемой «Вехами» грядущей интеллигенции, которая окажется, наконец, на высоте своего нормативного исторического призвания — быть чувствилищем нации, выразительницей ее самосознания, творцом и разработчиком ее духовных ориентиров и программ ее жизнестроительства, защитницей Истины, Правды и Справедливости.

Другими словами, фундаментальная значимость аналитической работы, проделанной «Вехами» по уяснению природы интеллигенции в высшем нормативном значении этого слова, состоит, стало быть, в том, что авторами сборника впервые была выявлена и показана необходимость именно такой вот — **двойной** — сущностной природы и призвания интеллигенции *par excellence* — быть чувствилищем и защитницей **Правды, Добра и Справедливости** в жизни своей нации и быть интеллектуальным чувствилищем и защитницей **Истины**. Причем особая методологическая важность этой теоретической констатации заключается в том, что она содержит в себя признание и фиксацию и еще одной принципиально важной закономерности. А именно: что два эти конститутивных признака, два призвания интеллигенции могут существовать в ней только **совместно**, в абсолютно неразрывном и напряженном **единстве**. Настолько неразрывном и напряженном, что убывание любого из них немедленно отзывается на характере и качестве другого, искажает всю природу интеллигенции, претендующей на высший статус своего имени. Вплоть до того, что когда процесс этот доходит до полной или почти полной атрофии какой-либо из этих функций, она и вообще лишается всякого права на такую претензию.

Именно это и продемонстрировали, как помним, «Вехи» на примере революционно-атеистической образованной среды своего времени. Умертвив в себе инстинкт истины, она встала на путь навязывания стране та-

ких ложных, таких губительных программ ее переустройства и так исказила этим изначальный благородный этический посыл своей деятельности, что перестала уже быть, в сущности, ***интеллигенцией***, а превратилась в нечто такое, что скорее можно было назвать уже тем именем, которым и стали ее все чаще именовать — ***интеллигентщина***.

А через полвека после «Вех» А. Солженицын на примере подавляющей части так называемой *советской интеллигенции,* полностью утратившей былые традиции этической жертвенности в служении правде и добру, продемонстрировал в сборнике «Из-под глыб» действие той же закономерности в обратном направлении, показав, что происходит, когда совершается такая утрата, — интеллигенция превращается в ***образованщину***.

Такова неизбежность. Всякое нарушение баланса двух равнозначных составляющих двойной этической природы *интеллигенции в высшем смысле этого слова* неминуемо ведет либо в пропасть всякого рода гибельной ***интеллигентщины***, либо в безидеальную плоскостность ***образованщины***. Третьего не дано.

Именно в этом и заключается тот главный урок «Вех», который имеет самое прямое отношение к разбираемой нами «полемической» ситуации вокруг статьи «Вперед нельзя назад» и ради уяснения которого я и позволил себе такой длительный экскурс на страницы знаменитого *сборника статей о русской интеллигенции*. Искренне прошу прощения за это отступление от непосредственного сюжета нашей темы, но я, как мне кажется, неплохо знаю литературу о «Вехах» и что-то не припомню, чтобы кто-нибудь действительно серьезно, скрупулезно и внимательно вглядывался в рассмотренную выше проблематику. Разве лишь Джованна Калебич Креацца, автор прошедшей у нас совершенно незамеченной небольшой книжки «*"Вехи" и проблема русской интеллигенции. К истории термина "интеллигенция" в русской общественной мысли*» (М., «Московский рабочий», 1993).

А между тем, повторяю, именно эти теоретические наработки «Вех», к которым я стремился привлечь выше внимание читателя, как раз и должны помочь нам до конца разобраться в характере поразительной полемической атаки, предпринятой г-жой И. Роднянской и г-ном В. Сендеровым на статью трех авторов, напечатанную в «Континенте».

А тем самым — помочь и мне выполнить обещание: объяснить, почему я счел необходимым все-таки напечатать и привлечь внимание читателя к этим полемическим опусам, не имеющим, как это было уже продемонстрировано во втором разделе этого текста, никакого отношения к серьезной полемике.

IV. Все тот же вирус и через сто лет...

1

Напомню, что мы начали наш экскурс на страницы «Вех» с обращения к тому счету, который предъявил Николай Бердяев интеллигенции своего времени за очень низкий уровень ее философской культуры. И смысл это-

го обращения состоял в том, чтобы уяснить и зафиксировать: в равнодушии интеллигенции к философии Бердяев сумел увидеть проявление куда более глубокого и страшного ее греха — ***умерщвления ею в себе инстинкта истины***.

На этот же **корневой** грех, неотвратимо рождающий догматическое омертвление мысли, неизменно указывают, как мы видели, и другие авторы знаменитого сборника, какие бы немощи и болезни интеллигенции, какие бы губительные уклонения ее «идейного творчества» и ее общественной деятельности, ни становились предметом их критического анализа. И именно этот общий корень всех ее прочих производных грехов и ложных уклонений и придает всем им, как опять-таки мы могли видеть, то особое общее качество, тот специфический характер, который можно обозначить, вслед за Бердяевым, именем ***интеллигентщины***.

Феномен этот описан в «Вехах» так ярко и точно, физиономия его являет себя перед нами в чертах столь резких и выразительных, не дающих спутать их ни с какими другими, что невозможно не узнать его при любой с ним встрече, в каком бы обличье он ни явился — хоть даже и в оболочке такой философской образованности и натасканности, какая и не снилась, может быть, даже иным из, по выражению П. Струве, *светочей* старой интеллигентской мысли.

Именно этот феномен мы и вынуждены наблюдать в писаниях И. Роднянской и В. Сендерова, выступающих в роли обличителей. Причем, положа руку на сердце, должен сказать, что сам я, на собственный страх и риск, собственными своими силами, никогда не решился бы, наверное, именно так обозначить характер их *идейного творчества* в этой полемике, если бы не мощный диктат «Вех» — не то неотклонимое духовное принуждение, которым обладает всякая добросовестная работа, уже проделанная кем-то в той же области, что занимает и тебя, и обойти которую ты уже просто не имеешь никакого права. А тут к тому же так, увы, все совпадает с наблюдениями и констатациями «Вех», так поразительно, прямо один к одному сходится, что ничего не поделаешь — тут и деваться уже просто некуда.

В самом деле — ведь в этом, в сущности, мы многажды и совершенно неотразимо могли убедиться уже и во втором разделе этого текста, посвященном конкретному разбору «полемики» г-д Роднянской и Сендерова. Мы имели возможность убедиться в том, что носители вируса ***интеллигентщины*** начисто утрачивают интерес и любовь к истине, а, следовательно, и ту потребность во всякой встрече с чужой (тем более оппонирующей) мыслью прежде всего видеть возможность именно поиска истины — через сопоставление аргументов, через предельное внимание к самой логике этой чужой мысли, к адекватному ее пониманию.

Или, может быть, то *идейное творчество,* которое мы наблюдали в исполнении г-жи Роднянской и г-на Сендерова, хоть с какой-то стороны может соответствовать тому безусловному «веховскому» требованию к интеллигентской мысли, которое так точно сформулировано у С. Франка?

Разве, действительно, оно способно *удовлетворить* хоть кого-то, ***кто стремится к серьезному, добросовестному и, главное, плодотворному обсуждению вопроса***?

Разве хоть один из тех острейших вопросов, которые были поставлены в статье «Вперед нельзя назад» и которые мы не раз, для пущей наглядности, перечисляли и формулировали, заинтересовал наших полемистов **по существу** и они попытались дать на него свой аргументированный ответ, внимательно рассмотрев и продумав доводы своих противников?

Да этого, как мы могли убедиться, и в замысле у наших полемистов не было. О чем к тому же впрямую свидетельствует и сама г-жа Роднянская, которая едва ли не с первых строк своей статьи торжественно сообщает:

Моя готовность обратиться в редакцию «Континента» относится к ситуации «Не могу молчать!» — и ***вызвана не столько потребностью в полемике с чужой мыслью, сколько реакцией на невыносимость факта*** (выделено автором. — *И. В.*).

Вот-вот. Признание и в самом деле просто поразительное по своей безбоязненной откровенности. Не потребность, стало быть пусть в полемическом, но все же **диалоге** с ***чужой мыслью***, а реакция на невыносимость ***факта***.

Но какого факта?

Да факта, понятно, самого появления перед глазами этой ***чужой мысли***, вызывавшей у г-жи Роднянской, как пишет она чуть ниже, ***искренний ужас*** и желание ***открыть рот и возопить***.

Но как может вызвать такую реакцию и такое желание *мысль*, которая, как мы видели, даже не уяснена и не рассмотрена — ни в ее целевой направленности, ни в ее реальной проблемной логике?

А вот может, оказывается. Может, когда в дело и вступает как раз феномен ***интеллигентщины*** в том его обличье, в котором он тоже, как и во всех других его проявлениях, многократно опознан и описан авторами «Вех». Это когда та «*правда*», которая дорога интеллигенту, становится для него неприкасаемым идолом, заранее, с порога ощеренным против всего, в чем его радарные щупальца, бдительно тестирующие вокруг все, что приближается, распознают признаки какой-то явной ему иноприродности, способной посягнуть на его неприкосновенность.

Я не собираюсь разбираться сейчас, в чем именно может заключаться та «интеллигентская правда», которою горят сердца наших полемистов и которую г-жа Роднянская именует «либеральным консерватизмом», да и имеет ли она к этой славной традиции какое-либо действительное отношение. Это особая тема, которой, может быть, «Континент» еще когда-нибудь и займется. Но сейчас эта «правда» даже и не предложена к обсуждению, если не считать той расплывчато-обобщенной ее формулировки в конце статьи И. Роднянской, с которой согласится любой нормальный человек и которую никак не станут отвергать и обличаемые ею *радикалы*.

Но то, что какова бы ни была эта «правда», она находится со статьей «Вперед нельзя назад» в тех самых взаимоотношениях, которые именно и подвер-

гаются все время беспощадной критике «Вех», это-то как раз не подлежит ни малейшему сомнению. Потому что это вывод, получаемый вовсе не в результате какого-либо особо удачного сеанса чтения в сердцах наших полемистов. Нет, это, как говорится, объективный медицинский факт. И он безошибочно устанавливается обнаружением всех тех явных симптомов и признаков зараженности вирусом интеллигентского *правдолюбия*, которые так точно были зафиксирован и описаны уже в «Вехах». Я имею в виду и ту ***глухоту к голосу жизни***, о которой говорит С. Булгаков, и отмечаемую им же ***малодоступность доводам исторического реализма и научного знания***, и первичный генерализующий диагноз Н. Бердяева, установившего, что *любовь к народному благу* у интеллигенции его времени (в нашем случае — в форме «либерально-консервативной» интеллигентской «правды») ***парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине***. Словом все то, чем мы и имели возможность наслаждаться, наблюдая за той расправой без суда и следствия, которую учинили г-жа Роднянская и г-н Сендеров над авторами статьи в «Континенте».

И есть еще один безошибочный признак зараженности интеллигентским (в смысле *интеллигентщины*) «правдолюбием», который мы тоже все время наблюдали, следуя за полемическими приемами ученых господ Роднянской и Сендерова, и который тоже был четко зафиксирован в свое время Н. Бердяевым, но о котором я, кажется, еще не упоминал.

Размышляя о том, почему в среде интеллигенции *сама по себе истина мало кого интересует*, Бердяев акцентирует свое внимание и на таком неизбежном следствии этого ***умерщвления инстинкта истины***. Он констатирует, что *во имя ложного человеколюбия и народолюбия* (то есть во имя *интеллигентской «правды»*) *у нас выработался по отношению к философским исканиям и течениям* ***метод заподозривания и сыска***.

Всеохватывающее торжество именно этого метода мы и наблюдали в полемической работе И. Роднянской и В. Сендерова. Я обозначил тогда этот метод достаточно деликатно, почти нейтрально — *чтение в сердцах*. Но, конечно же, имя, которое дает ему Бердяев, куда более удачно.

В самом деле — можно ли точнее и выразительнее, чем этим емким русским словцом ***сыск***, обозначить то неустанное и непрерывное вылавливание И. Роднянской и В. Сендеровым всех возможных «*косвенных признаков*» и «*обмолвок*», свидетельствующих якобы об исконной *клинической «святой ненависти»* Афанасьева, Давыдова и Пелипенко к России, которым, как мы видели, наши полемисты почти исключительно и занимаются, решительно уходя всякий раз от сколько-нибудь серьезного обсуждения по существу предложенных их вниманию проблем. Это действительно ведь главное их занятие, а вся содержательная направленность этих их непрерывных лихорадочных выискиваний как раз и показывает, какого рода их собственная интеллигентская *правда*. И как работает механизм тех ее сигнальных рецепторов, которые, ощупывая все вокруг, оберегают ее драгоценную безопасность, бдительно сообщая о малейших признаках появления на горизонте всего, что может хоть мало-мальски оказаться ей враждебным. И тогда она сразу же выпускает свои защитные

реакции. Что там — какие-то разговоры о *небессмысленности бунта*?.. Проблема *насилия*?.. Неуважительная интонация к исконной *имперскости* России?.. Сомнения в культурологической плодотворности российского *способа веры*?..

Ну, все, хватит. Русофобы. Сейчас...

А что сейчас?

А то, что мы и наблюдаем — тоже как неотразимый **объективный факт**, который, однако, только в подобного рода **субъективном** контексте и может иметь место. Потому что только тогда, когда:

— появление на рецепторах вашего восприятия, ангажированного вашей «правдой», даже только еще таких, только еще упреждающих, первичных сигналов о возможной ей угрозе уже само по себе вызывает у вас *реакцию искреннего* ***ужаса*** и заставляет *открыть рот и* ***возопить***,

— и ваш **праведный гнев** (в *искренности* которого можно не сомневаться), рожденный этим *искренним ужасом*, от которого слепнут глаза и недосуг уже, да и потребности такой нет, разбираться внимательнее в *чужой мысли*, спешит поскорее запустить главный защитный механизм вашего интеллигентского правдолюбия — метод ***сыска***,

— а защитная функция этого метода и состоит прежде всего в том, чтобы выискать как можно больше всего, что может больше всего и опорочить авторов текста, приведшего вас в состояние такого **ужаса**, — то есть добиться полного и безоговорочного их уничтожения как носителей потенциальной угрозы того или иного ущерба вашей *«правде»*,

— вот только тогда ваш ***вопль ужаса***, почти уже не сдерживаемый никакими рациональными ограничителями, и может достигать той высшей пронзительности звучания, которая и определяет весь интонационный строй полемических опусов г-жи Роднянской и г-на Сендерева, а продукты вашего ***сыска*** — наполняться словесной материей того уровня и качества, которая питает собою всю характернейшую стилевую фактуру этих опусов:

«Вопль Илларионова», *«словесная дымовая завеса, логические подстановки и терминологическое бряцание»*, *«ловкий подлог»*, *«скопище банальностей»*, *«непролазный "историософский" мистицизм»*, ***«намеренное*** (? — *И. В.*) *историческое невежество»*, *«воинственные пляски»*, *«тут неумолимая тройка переплюнула даже Владимира Ильича Ленина»*, *«...флюиды советизма и сталинизма, для распространителей которых такие выступления, как статья Ю. Афанасьева и соавторов, — смачная и питательная снедь»*, *«безмозглый либо коварный (выбирайте сами...) радикализм»*, *«гремучая смесь самоуверенности и невежества»*, *«не каждый день творения трех докторов гуманитарных наук столь отчетливо напоминают загаженный забор»*, *«авторы не в силах не мазнуть грязью и самые светлые страницы истории страны»*. Ну, и т. п.

Скажите, читатель, — вам не было неловко за авторов, когда вы все это читали? И еще — стилистика эта вам ни о чем не напомнила?

Думаю, многим, успевшим перешагнуть пусть даже хотя бы за пятьдесят, — просто не могла не напомнить. А мне, из моих почти восьмидесяти прожившему при классической советской власти, еще до Перестройки,

более полувека, — так еще как. Я хорошо помню эти времена. Я хорошо помню и то, что знаю из истории: как через семь лет, когда *нетерпимость к инакомыслящим*, о которой пишут почти все авторы «Вех» как об одной из характернейших черт современной им революционной интеллигенции, получила уже и официальную санкцию партийно-государственного императива, когда эта интеллигенция пришла к власти, а потом передала эстафету и своим непосредственным преемникам из среды так называемой *советской интеллигенции*, заступившим на передовые позиции *идеологического фронта*. Вот уж кто, говоря словами И. Роднянской, поистине *не стеснялся в выражениях*. И кто и стал творцом всей этой специфической стилистики «загаженных заборов», «мазанья грязью», «воинственных плясок», «смачной снеди», «воплей», «переплевываний», «дымовых завес», «бряцаний» и, выражаясь опять-таки словами И. Роднянской, прочего *скопища* стилистических *банальностей*, характерных для публицистики непоколебимых идейных борцов с врагами *советской власти, партии и народа*. Видно, и в самом деле, существует-таки то, что называют генетической стилевой памятью, и, видно, сильна-таки она и неистребима, если и через двадцать лет напоминает о себе; если штампы былого стилевого мышления обнаруживают себя и в мышлении тех, кто давно уже не приемлет, казалось бы, ничего коммунистического и совкового. Ведь дело доходит до усвоения и воспроизведения даже и такого фирменного приема советского обличительства, как обвинение в пособничестве ***врагам***, которое особо было в ходу у верных автоматчиков партии, бдительно доносивших по начальству: смотрите, что они делают! Хорошо помню это и по легендарной эпохе «Нового мира» А. Твардовского, последнюю пору которой успела еще застать и И. Роднянская, долго работавшая потом в штате некоторых преемников знаменитого редактора. Хорошо бы ей, да и В. Сендерову иногда вспоминать об этом.

Начальство, впрочем, бывает разное — в том числе и тот круг ближайших и далеких, как выражается И. Роднянская, *симпатизантов*, не без участия которых формируется то, что называется общественным мнением. Но смысл акции от этого, как известно, не меняется, и хорошо бы нашим полемистам помнить и об этом.

Но тут ничего, видно, не поделаешь. Генетика. Или, как сказал бы известный герой Михаила Булгакова, — это, господа, ***кровь***...

Упорно сталкивающие страну вправо — прекрасные агитаторы: они используют все. И для них нелишний подарок — статьи ревдемовских леваков <...> С ценным поступлением вас, сударь проектировщики «третьеримской» России? — клеймит по старинке авторов статьи «Вперед нельзя назад» В. Сендеров.

А вот и И. Роднянская:

Скажу открыто: этот безмозглый либо коварный (выбирайте сами...) радикализм ***на руку врагам нашей страны***.

Удивляюсь только, как изменило полемистке, такой вроде бы изощренной во всяческих тонкостях филологического ремесла, чувство стиля. Уж если она усвоила и выбрала ту стилистику, какую выбрала, куда эффектнее

и **стильнее** было бы использовать один из высших ее образных шедевров, *сказав открыто*, что *коварные радикалы* Ю. Афанасьев, А. Давыдов и А. Пелипенко ***льют воду на мельницу врага***...

Но особенно поразил меня пассаж, посвященный А. Илларионову, который в своем выступлении в конгрессе США дал очень резкую характеристику нынешнему российскому режиму.

Здравая мысль насчет того, что в России установился (не столь уж жесткий) авторитарный бюрократическо-корпоративный режим, в принципе еще способный к эволюции (подчеркнуто автором. — *И. В.*) <...> *такая мысль не приходит Илларионову и иже с ним на ум, не потому что они не умны, а потому что, признав или хотя бы предположив это, они окажутся не у дел по обе стороны границы.*

А ведь следуя этой логике и идя тем же путем, господа, остается только спросить: а сколько Вам, Ирина Бенционовна, заплатил за столь обнадеживающую характеристику его *не столь уж жесткого* режима В. В. Путин? Или близкие Вам активисты из лояльных ему партий? Или даже *обамовская администрация и американский «политикум»*, включая *ЦРУ*, которым Вы так льстите, выражая *надежду*, что они *по-разумному разберутся с Илларионовым?*

Неужели не стыдно?..

2

На фоне такого изысканного качества сыскной деятельности и стилистики г-жи Роднянской и г-на Сендерова все остальное в полемических их шедеврах уже не так, конечно, впечатляет.

Но — впечатляет.

И то, как усердно пытаются они уличать все время авторов статьи в разного рода логических несуразностях — вроде той, например, что вот авторы говорят о смертельном-де недуге России, от которого ей нужно избавляться, но о каких же *целительных заботах может идти речь*, если болезнь *смертельна*? Словом, *не слишком следят они* [авторы статьи. — *И. В.*] *за логикой.* Как будто нет болезней, которые неминуемо ведут к смерти, если их не лечить, но которые тем не менее излечиваются.

Или такой пример столь же несерьезной, поистине детской забавы — опять попытаться подловить авторов на чисто внешней, формальной несочетаемости употребляемых ими слов. Вот И. Роднянская натыкается на те места статьи, где авторы, предлагая свое осмысление кризиса, в котором оказалась Россия из-за своей «русской системы», упоминают в то же время и о том неостановимом глобальном цивилизационном кризисе, в который втянут мир и, естественно, точно так же и Россия.

Но, позвольте, — строго спрашивает их И. Роднянская, — *если кризис современной цивилизации действительно глобален и вам внятно буквальное значение этого слова, на каком основании вы локализуете его на тех территориях, которые вам не по душе?* <...> *Коль пафос статьи состоит в отречении от «русской системы» и «русского способа мыслить», в какую весь вы сбираетесь*

направить страну, за которую так тревожитесь? В котел «неостановимого», по вашему же слову, кризиса?

И опять: как будто бы внутри общих глобальных бед у разных стран не бывает и своих специфических, национальных, а общая неостановимость переживаемого миром цивилизационного кризиса (как и движения мира, увы, к концу света) означает, что надо сидеть сложа лапки и ничего не делать.

И вот подобного-то рода упражнениями и заполняются страница за страницей. И остается только удивляться — неужели не лень тратить столько сил на такое пустое занятие, как ловля блох? К тому же абсолютно иллюзорных?..

Однако полемисты наши отдаются этому увлечению поистине без всякой меры, открыв для себя такое благодатное для такого рода игр пространство, как пространство терминологии. И это оказывается незатруднительно: нужно только не обращать внимания на то, что многие привычные термины сплошь и рядом употребляются авторами статьи отнюдь не в их буквальном, строгом значении, а в том метафорическом переносном звучании, в каком, например, тот же возмущенно защищаемый ими от «ставящих его на место» *леваков* Пушкин мог сказать поэту — *ты царь, живи один,* не боясь, что какой-нибудь умник вознегодует: как можно так выражаться, разве поэт — *царь?..*

Так вот, если не обращать на все это ни малейшего внимания, то тут действительно открывается такой простор для презрительных насмешек, язвительной иронии и прочих полемических красот, что и вправду не удержишься.

Тогда вполне можно позволить себе сказать про *невежественных* радикалов, что *им раз плюнуть — в одном случае прицепить к православию эпитет «языческий», в другом — «ветхозаветный» <...> Ну, а утверждать, что православие — не новозаветная вера, — это круто* и *Папа в Риме не одобрил бы.*

Тогда, конечно «*теократический имперский проект*» — это ***принципиальная*** *бессмыслица по отношению к России,* поскольку уже тот же Петр *позиционировал себя как император классического римского типа — источник Закона,* и *в России никогда не существовало ничего похожего на теократию, если* ***понимать под ней*** (вот именно!) *не церковное освящение монаршей власти* (особенно такое, как в России!), *а «боговластие», возвышающееся как* ***институт*** *над властью князя или императора* (все подчеркивания — авторские, выделения полужирным — мои. — *И. В.*).

Тогда *столь же бессмысленно выражение «соборно-авторитарный» применительно к внутреннему строю исторической России,* поскольку *соборно-авторитарный (он же соборно-иерархический) строй реально существует только в Церкви,* а *общественно-политический строй «соборным» быть не может, как бы ни хотелось этого Хомякову, который и ввел в русский язык* это слово, *прежде не существовавшее ни в нем, ни в богословии*; тогда *предреволюционная Россия,* конечно же, «*средневековой монархией*» не была, что *известно всем и каждому,* и Россия, все императоры которой так охотно перенимали у просвещенной Европы все, что можно было перенять у нее готовенького, никогда не являла собою *оппозицию богоизбранной империи и ее* ***варварского*** *окружения...*

Ну и т. д., и т. п.

Повторяю — читать все это, по правде говоря, тоже просто неловко. Не так, конечно, как стилевые упражнения полемистов в советском духе, но ведь тут перед нами действительно все-таки какой-то совсем уже подростковый уровень нтеллектуальных забав. Внимание разве лишь интеллектуальных недорослей только и способный к себе привлечь

Но ведь какая всегда при этом поза непогрешимого знаточества, сколько высокомерия, какое надменное ячество!

Я не стала бы ввязываться в эту историю, если бы...

Вопль Илларионова удивить меня не может...

Не стала бы я въедливо вникать и в статью В. Можегова...

Простите, что приходится напоминать азбучные истины...

Ну, не надо. На Гегеля неча кивать. И обращаться к чуждой вам мистике тоже не стоит...

«Ученую тройку» то и дело тычут носом в то, чего она якобы знать не знает и ведать не ведает.

Разве можно *выводить из «филиокве» «человечность» Западной Церкви*?! Это же *по меньшей мере безграмотно*! Потому что *проблема «..и от Сына» относится к триадологии, к учению о Пресв. Троице, а к христологии, к учению о Боговоплощении, о вочеловечении Бога отношения не имеет.* Как будто для массового сознания, далекого от различения этих богословских тонкостей, Богочеловек Христос и Второе Лицо Святой Троицы Сын — это не одно и то же и это обстоятельство не могло не отзываться в нем именно тем культурологическим отзвуком, о котором пишут авторы статьи и о чем и идет у них речь. Хоть они и не подозревают, конечно, что *понятия «Богочеловеческий», «Богочеловечество» введены в теологический оборот русским философом Владимиром Соловьевым и поначалу отторгались католическим богословием...*

Не подозревают они, конечно, и о том, *что «имперский изоляционизм»* — это *саблезубый заяц,* ибо *в классическом европейском сознании, от Вергилия и через Данте, тождественны понятия «Рим» — и «вселенскость», «универсализм».* ...Как будто опять это имеет хоть какое-то отношение к тому, что говорят авторы. Как будто классические понятия римских времен способны в прежних смысловых границах оставаться незыблемыми на все времена. И как будто стремление иных империй к «вселенскости» в своем особом понимании не выражается сплошь и рядом и в агрессивном ее изоляционизме по отношению ко всему, что грозит размыть в ней эту особую ее «вселенскость». Или, может быть, г-н Сендеров забыл о железном занавесе, берлинской стене, глушилках и прочих атрибутах *вселенскости* коммунистической империи?

Но нет, нет, — Афанасьев, Давыдов и Пелипенко, конечно, *не ведают, что империя — тонкое и сложное научное понятие, что по вопросу о его существе пишутся серьезные статьи, устраиваются содержательные конференции.* Как не ведают они и еще о десятках подобных «тонких и сложных научных понятий». Например о том, что такое *революция*, собственную теорию которой и втолковывает им снисходительно г-н Сендеров, призывая их понять, что *чепуха это все: про движущие силы, не могущие верхи и не желающие*

низы. Его *трезвый взгляд* обнаруживает *совсем другие закономерности. Простейшие.* Оказывается, революционеры вообще никогда *никого не свергали. Страна сама падала им в руки.* И не было ни восстаний, ни многолетних гражданских войн.

Ну и т. д. Интересующиеся могут вернуться на соответствующие страницы цитируемого текста.

3

Итак, что же мы имеем, как любит выражаться современная молодежь, в **сухом остатке**. То есть в результате всей этой изнурительной и скрупулезной полемической работы по дополнительному вылавливанию очерняющих *фактов,* которая предложена нам в качестве приложения к успехам, достигнутым г-жой Роднянской и г-ном Сендеровым на поприще сыскной деятельности по выявлению у трех наших авторов признаков клинической ненависти к России?

Продвинулись ли мы хоть на шаг в осмыслении тех острейших проблем России, которые, плохо ли, хорошо ли они разрешены, но которые ясно и четко ставит перед нами статья «Вперед нельзя назад»? И к ответственному и серьезному обсуждению которых мы и призывали наших читателей, ее публикуя?

Да ни на сантиметр.

Зато по мере углубления в тот *вопль ужаса,* который по поводу этой статьи издали господа полемисты по причине «*Не могу молчать!*» (уж лучше бы промолчали), перед нами окончательно вырисовался тот самый духовно-психологический облик чистейшей воды ***интеллигентщины***, точный и выразительный портрет которой оставили нам «Вехи». Просто один к одному, в соответствии со всеми предельно четко обозначенными там ее признаками и проявлениями.

В самом деле, в работе наших полемистов в полной мере обнаружило себя, как мы не раз могли видеть, прежде всего именно то полное омертвение *инстинкта истины,* потребности в ее установлении при встрече с чужой мыслью, которое и сделало наших полемистов *малодоступными доводам исторического реализма и научного знания* (о чем и писал в свое время Н. Бердяев как о коренном грехе интеллигентщины).

Мы все время наблюдали, далее, в их текстах полное торжество того, указанного тем же Бердяевым, *метода заподозривания и сыска,* который немедленно и берется всегда на вооружение, как только происходит такое *умерщвление.*

Мы имели возможность убедиться и в полной неспособности их «идейного творчества» *удовлетворить никого, кто стремится к серьезному, добросовестному и, главное, плодотворному обсуждению вопроса* (С. Франк). И в склонности их *впадать, особенно временами, в состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком,* принимать свои *интеллигентские пере-*

живания и привычный героический пафос за христианский праведный гнев (С. Булгаков).

Перед нами, как мы видели, то и дело проступали в их манере обращения со своим противниками отчетливые черты «интеллигентов» именно того психологического типа, которому, как писал С. Булгаков, *может быть свойственно что угодно, только уже не сомнения в своей миссии* (в своей «правде»). Что в «идейном творчестве» людей подобного типа и выражается почти неизбежно чертами *идейной одержимости, самогипноза,* которые *принимают воинствующие, догматические, наукообразные формы, сковывают мысль и вырабатывают фанатизм, глухой к голосу жизни.*

И мы, наконец, то и дело сталкивались с такими проявлениями этой психологии, на которые неизменно указывали почти все авторы «Вех». И А. Изгоев, называвший революционную интеллигенцию своего времени *духовно высокомерной и идейно нетерпимой,* из-за чего, по его словам, *творческие даровитые натуры как-то сторонились* ее, *не вынося ее высокомерия и деспотизма.* И М. Гершензон, которого интеллигенция эта поражала своей *фанатической нетерпимостью.* И особенно С. Булгаков, отмечавший ее *надменность,* в которой он видел проявление своего рода сословного «аристократизма». *Кто жил в интеллигентских кругах,* писал он, *хорошо знает это* ее *высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к инакомыслящим.*

А С. Франк, как бы суммируя эти наблюдения, писал в связи с разговорами об особой как бы *религиозности* революционной интеллигенции так:

Если под религиозностью разуметь фанатизм, страстную преданность излюбленной идее, граничащую с "idee fixe" и доводящую человека <...> до уродливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого истребления всего несогласного с данной идеей, то, конечно, русская интеллигенция религиозна в высочайшей степени.

4

Таков итоговый — целокупный — двойной портрет *интеллигентщины* — как времен «Вех», так и ее современного воплощения.

Портрет, что ни говори, безотрадный, если не просто отталкивающий.

Но именно поэтому я и не пожалел ни времени своего, ни сил, чтобы воспроизвести его здесь во всех его деталях, во всей его выразительности и полноте. Хотя долгая и нудная работа эта и не доставляла мне, как я уже говорил, ни малейшего удовольствия своей малоприятной предметной начинкой.

Интеллигентщина сегодня — это, на мой взгляд, одно из самых опаснейших явлений в той среде образованного класса современной России, которая хотела бы видеть себя и быть **интеллигенцией** в самом высоком, самом благородном значении этого замечательного термина, поистине выстраданного русской культурой.

Потому что **интеллигенция** — это то чувствилище, тот мыслящий мозг народа, тот духовный его орган, которым народ может и обязан осущест-

влять интеллектуальную и нравственную рефлексию своего духовно-нравственного бытия, осознавать и ощущать свою национальную идентичность, свою «национальную идею», вырабатывать программы и проекты своего исторического развития.

И это не привилегия, а бремя и долг. И — тягчайшая ответственность, которую добровольно принимают на себя люди, ощущающие себя причастными к этому незримому и никакими уставами не скрепляемому ордену — кроме безусловной готовности и неподдельной потребности добросовестно и честно выполнять всю эту нелегкую работу интеллигенции для своей страны, для своего народа.

А честно и добросовестно выполнять эту работу — это и значит никогда не руководствоваться ни в каких интеллектуально-мировоззренческих своих поисках, разработках и акциях ничем другим, кроме критерия Истины.

И в этом — принципиальное отличие роли интеллигенции от роли той властной, околовластной или оппозиционной политической, культурной, интеллектуальной элиты, которая идеологически обслуживает интересы своей **партии** — социальной группы, политического союза, идейного течения, мировоззренческой общности, духовной касты.

Интеллигенция — **в принципе** беспартийна.

Или, скорее, **надпартийна**, хотя служение своей стране интеллигент, как и всякий человек, тоже, естественно, может осуществлять в рамках той или иной **партии**, становясь искренним рыцарем ее знамени, которое представляется ему отвечающим такой цели. Но как **интеллигент** он и рыцарем этого знамени, его защитником и трубадуром имеет право быть только в качестве бескорыстного рыцаря **Истины**.

Бескорыстное служение Истине — это и есть единственная — и уникальная — функция интеллигента на службе своей стране, своему народу. Ибо нет у страны никакого другого органа для исполнения такой функции, кроме интеллигенции. И потому когда орган этот мертвеет, перерождается и перестает выполнять свою функцию, — глохнет и нива жизни страны, и происходит в ней то, что произошло в 17-м году и держало ее потом еще семьдесят лет.

Вот почему тот вирус ***интеллигентщины***, который все еще отравляет кровь нашей интеллигенции, то и дело давая о себе знать проявлениями, одно из которых — из безобразнейших — мы только что наблюдали, и представляет собою величайшую опасность для страны.

Особенно — в нынешнем ее состоянии, когда в обществе почти уже иссяк дух солидарности, взаимопонимания и взаимоподдержки и все более расползается зараза недоброжелательности, подозрительности, недоверия, враждебности, а то и ненависти друг к другу. Если все мы — те, кто причисляет себя к интеллигенции, — не станем в этой отравленной атмосфере неукоснительно придерживаться в наших дискуссиях презумпции доверия к чужой мысли; если вместо честного и аргументированного обсуждения проблем единственно со стремлением к установлению истины, мы будем лишь с азартом выискивать в сердцах друг друга разного рода дискредитирующие

нас злонамеренности вплоть до «ненависти к России», да если еще при этом доведем до полного совершенства то искусство, которое И. Роднянская называет *«не стесняться в выражениях»*, — боюсь, мы **просто перестанем быть России нужны**...

5

Но вы ведь и сами *не стесняетесь в выражениях*! — скажет, может быть, иной не слишком внимательный читатель.

Извините.

Может быть, и я, конечно, поддаюсь порой воздействию дурного примера, который, как известно, заразителен.

Но, во-первых, для квалификации полемических приемов г-жи Роднянской и г-на Сендерова я, как можно было заметить, неизменно и почти исключительно пользуюсь только либо формулами «Вех», либо собственными фигурами речи господ полемистов.

Во-вторых, эти определения и квалификации никогда не обращены к тому, что можно обнаружить только методом чтения в сердцах, заподозривания и сыска. Они всегда имеют своим предметом только объективную реальность полемической фактуры текста моих оппонентов, фиксируемую фактически — прямой ее демонстрацией. А в такой адресованности — не к личности, а к объективным результатам ее деятельности — мера допустимой остроты поименования этих результатов определяется только степенью точности в передаче их собственного характера и достоинства.

И в-третьих, даже и в этих широких рамках я еще никогда не доходил до таких пределов, когда мне нужно было бы говорить, что я не буду стесняться в выражениях. По сравнению с той стилистикой, которую позволяют себе г-жа Роднянская и г-н Сендеров, я, согласитесь, был даже не *саблезубым зайцем,* а просто кротким агнцем.

Но вот теперь, когда нужно подводить итоги и пора называть вещи своим именами, потому что они должны быть названы точно, в полную меру их действительной природы, я эвфемизмами и экивоками ограничиваться тоже не собираюсь.

И извиняться за это тоже не буду.

Потому что ***интеллигентщина*** — это действительно настоящий **гнойник** в духовном теле нашей интеллигенции. Гнойник интеллигентской спеси, высокомерия, нетерпимости к инакомыслию, презрения к истине, идейной одержимости и фанатического истребления всего, что несогласно с агрессивно оберегаемой от всякого прикосновения той или иной интеллигентской партийной «правдой».

И этот гнойник должен быть вскрыт, иначе зараза его может погубить нас всех. Болезни надо лечить.

Именно поэтому я и попытался сделать то, что сделал. Хорошо ли, плохо ли у меня это получилось, но я сделал действительно все, что мог, видя в

этом свой долг редактора журнала, который позиционирует себя как журнал христианской демократической интеллигенции.

И это и есть та вторая причина, по которой я счел необходимым дать **мой** ответ критикам опубликованной в «Континенте» статьи «Вперед нельзя назад». Та самая причина, по которой редакции и вообще пошла на то, чтобы напечатать на страницах нашего журнала представленные полемические опусы, хотя мы однажды уже заявили, что полемику такого рода никогда печатать не будем. Но тут — решили сделать исключение. Для того, чтобы хоть однажды выставить все-таки ***интеллигентщину*** нашего времени на свет Божий во всей ее безобразной красе, не поленившись эту красу проследить во всех ее проявлениях. Тем более, что образец был на этот раз особенно репрезентативный и выразительный

И, думаем, какую-то пользу нашей интеллигенции, как той, что хоть и в разброде, но все же еще не вымерла, так и чаемой потенциальной, это все-таки может принести.

И кто знает — может быть даже и нашим полемистам, если они способны хоть сколько-нибудь трезво взглянуть хотя бы на то, какой удар их полемическое творчество нанесло их же собственной интеллигентской «правде», которую они хотели бы считать просвещенным либеральным консерватизмом, да еще в православном нимбе и которую им предоставлялась такая превосходная возможность развернуть и продемонстрировать в серьезном и уважительном сопоставлении действительных, а не выдуманных ими же самими позиций и аргументов мнимых *радикалов* с их собственными позициями и аргументами, основанными на, как выражается И. Роднянская, *азбуке «либерального консерватизма», завещанного нам Пушкиным и лучшими русскими умами — умами свободными и верующими.*

Но о той расправе без суда и следствия, которую учинили И. Роднянская и В. Сендеров над авторами статьи «Вперед нельзя назад», никак не скажешь, что такое могло быть им *завещано Пушкиным и лучшими русскими умами.*

А о том, что продемонстрировали они в ходе этой расправы, — что это и есть исповедание и защита их *православно-либерально-консервативной* правды и веры.

Потому что если уж они так настаивают на своей причастности именно к этому славному знамени, то в лучшем случае этому исповеданию и этой защите можно присвоить разве лишь имя **православно-либерально-консервативного кликушества**.

Это тоже, увы, приходится сказать им в глаза — не ради оскорбления, а для трезвого размышления. И это тем горше мне делать, что ведь перед нами вроде бы свои же люди, из одной с нами епархии и подворья — христиане, православные, интеллигенты.

Но принимая в себя вирус ***интеллигентщины***, завещанный им не лучшими русскими умами, а героями «Вех», и превращаясь из **православных интеллигентов** в одержимых **православных кликуш**, они и в православии своем

уподобляются тому «православному», о котором писал Александр Шмеман. Напомню его слова, которые я однажды уже цитировал здесь:

*Такой православный не скажет, не признает, что Православие может быть упадочным <...> **Он само раздумье об этом обличит как еретическое и греховное.** И выходит так, что человек, приблизившийся к Церкви, ставший «церковным», все время напяливает на себя узкий кафтан, не на него сшитый <...> Отсюда его **воинственность, фанатизм, постоянное обличение всех и вся.** Это не спокойная, ясная и счастливая уверенность, рождающаяся из подлинного опыта. Нет, это он себя бичует, **самого себя уверяет в своей правоте и потому заранее ненавидит всякого, кто еще даже и не задал «вопроса», но может поставить его...***

Всё.
Dixi.

6

И теперь мне остается сказать только еще два персонально адресованных слова.

Во-первых — Сергею Белякову, к статье которого я на протяжении всего этого разбора так ни разу и не обратился.

Но так и было задумано изначально, когда мы приняли решение все-таки и его статью тоже напечатать в подбор к статьям И. Роднянской и В. Сендерова. Хотя она по тону и по полемической методологии во многом отличается от их опусов. Так, С. Беляков не позволяет себе строить всю свою критику на заподозревании авторов континентской статьи в ненависти к России, хотя и замечает, что если они и любят Россию, то «странною любовью». Забыв, вероятно, что у Лермонтова этот образ несет высокий, утверждаемый им смысл. В частности и тот, что прямо противоречит трепетной любви С. Белякова к русской государственности с ее *славой, купленною кровью.*

Но в целом он предпочитает давать свои толкования объективному смыслу того, что действительно написано у авторов. На что он имеет полное право. А между тем главной задачей задуманного мною разбора была все-таки концентрация внимания прежде всего на тех особенностях полемической работы И. Роднянской и В. Сендерова, которые определили весь ее характер и в которых их ***интеллигентщина*** явила себя в особо опасных, на наш взгляд, проявлениях своих и чертах. Так что встраивать в ориентированный именно такой задачей разбор их текстов еще и какие-то обращения к статье С. Белякова, написанной в ином ключе, было просто нецелесообразным.

Зачем же тогда мы все-таки ее напечатали?

А затем, что при всей своей как бы обращенности именно к фактическому содержанию статьи трех авторов, С. Беляков, как и его союзники по ее отвержению, точно так же даже не ставит перед собою тех стержневых вопросов, которые определяют ее содержание, даже не пытается уяснить реальный смысл этих вопросов и ответить на них. И в этом отношении его

выступление так же показательно и поучительно, как и статьи, в побор к которым оно встало. Но демонстрировать это еще и отдельно на материале его критики, было бы уже явно излишним.

Поэтому пусть Сергей Станиславович не обижается, но мой ответ ему, обещанный в заголовке этого текста, он и найдет именно в моем ответе И. Роднянской и В. Сендерову. Надеюсь он вполне поймет, что́ именно мог бы я сказать ему и отдельно, если бы отдельно занялся разбором и его полемического текста. А если вдруг ему понадобятся какие-то дополнительные на этот счет разъяснения, я постараюсь удовлетворить его интерес. Если, конечно, таковой будет проявлен.

7

И, наконец, несколько моих сугубо личных уже, не от редактора журнала, а лично от И. И. Виноградова, слов, обращенных к И. Б. Роднянской. Они вызваны вступительными абзацами ее статьи, которые я вынужден здесь воспроизвести лишь с некоторыми несущественными в данном случае сокращениями.

Моя готовность обратиться в редакцию «Континента», — пишет И. Роднянская, — *относится к ситуации «Не могу молчать!» — и вызвана не столько потребностью в полемике с чужой мыслью, сколько реакцией на невыносимость факта. Однажды я уже не смолчала, высказавшись в прошлом году на декабрьской конференции памяти Солженицына <...> по поводу раздела «Россия и мир» в № 141 «Континента» и некоторых особенных материалов этого раздела. Мое выступление, как я могу заключить, возмутило тех,* ***кто инициировал публикацию текстов, подвергнутых мною гласной критике. Как правило, утверждая, что в РФ свободы слова не существует, они, с одной стороны, публикуют такие материалы без боязни расправы не только над ними лично, но и над соответствующим печатным органом; а, с другой стороны, суждение о неприемлемости подобных текстов, выносимое на публику вне специфического круга симпатизантов, ощущается ими как донос: «ведь мы так рискуем!»***

За этим, конечно, стоит и объективное положение вещей: негласно утвержденное властью предоставление, по существу, безграничной свободы высказывания маргинальным и малотиражным органам печати, чаще — сетевым, но и некоторым традиционным, с солидной репутацией, — при жестком контроле над подлинно массовыми средствами информации *<...> В этих противоречивых условиях радикальное интеллигентское сознание может позволить себе* ***в безопасной зоне весьма многое, мазохистски упиваясь между тем фантомным страхом перед репрессиями****. Понимая эту «антиномию», я согласилась откликнуться на предложение главного редактора «Континента» и выступить со своими неприятиями непосредственно на страницах журнала, то есть сменить роль «доносчика» на положение чужого среди своих и тем продемонстрировать лояльность некоему интеллигентскому кодексу.*

Поскольку появление на страницах 141-го номера таких ***неприемлемых*** — *особенных*, — как подчеркивает И. Роднянская, текстов, которые и вызвали ее *неприятие,* мог ***инициировать*** и благословить только главный редактор (или, может быть, те, кто стоит за его спиной? — писали бы уж тогда прямо), я не могу сделать иного вывода, что, следовательно, все сказанное по этому поводу адресовано лично мне. И характер этих высказываний не позволяет мне просто не заметить их и промолчать. Да и вообще когда к тебе обращаются по какому-либо поводу **лично** (хотя и несколько прикровенно), принято лично же и отвечать.

Во-первых, по поводу ***интеллигентского кодекса***. На этот счет я уже все высказал Вам в моем редакторском ответе. И повторяться не буду.

Не буду задерживаться и на том, ***маргинален*** или не маргинален наш действительно *малотиражный* журнал. Все зависит от того, что считать маргинальным, а судить об этом и давать свои оценки имеет право каждый.

Не буду останавливаться и на Вашем определении *зоны*, в которой мы, маргиналы, работаем, как абсолютно *безопасной*, предоставленной властями для, *по существу, безграничной свободы высказывания без боязни расправы.* Не могу не сделать из этого тот вывод, что стало быть, Вам виднее, поскольку совершенно убежден, что элементарная порядочность никогда не позволила бы Вам, не будь Вы в этом совершенно уверены, выступить с такими обвинениями журнала — в публикации им текстов с призывами к бунту и насилию, — с какими Вы выступили.

Поэтому могу совершенно успокоить Вас и на тот счет, что никогда не считал Вас способной на *донос* по начальству в лице власти. Да еще *гласный.*

Но, начальство бывает, как известно, разное, в том числе, если можно так выразиться, и в лице того общественного мнения, которым дорожат порядочные люди, даже когда оно не сплошь зависит лишь от их, как Вы опять же выражаетесь, *симпатизантов*. На этот счет я тоже вполне высказался уже в своем редакторском Вам ответе и повторяться не буду. Добавлю только, что именно поэтому я и решил предложить Вам, когда мне рассказали, как Вы, потрясая 141-м номером «Континента» с его призывами к бунту с трибуны почтенного собрания, состоявшего не только из ваших и наших *симпатизантов*, возмущались *невыносимостью* этого **факта**, выступить с развернутым изложением и обоснованием своего возмущения на страницах самого «Континента». И тем дать Вам возможность блокировать то впечатление именно *доносного* характера Вашего выступления с этой трибуны, который всегда имеют в глазах всех порядочных людей оглашение перед общественным мнением любых **бездоказательных** обвинений кого-то в поступках и высказываниях такого действительно недопустимого экстремистского накала. Да не дай Бог, если бы кто-то, не так хорошо знающий обстановку, как Вы, посчитал бы, что и для другого *начальства* такое выступление вполне может послужить, как Вы выражаетесь, *смачной и питательной снедью.*

Но Вы, увы, не захотели — или не в состоянии были — воспользоваться предоставленной Вам возможностью исправить допущенную Вами неловкость

(или оплошность) и прислали нам текст точно такой же поразительной бездоказательности предъявленных в нем обвинений, то есть точно такого же этического характера, и потому я не собираюсь менять свое к нему отношение и свою оценку его, высказанную в моем редакторском ответе Вам и основанную на понимании дела и критериях, которых придерживаюсь отнюдь не я один.

Однако все эти темы остаются все-таки в той сфере редакторски-авторских наших с Вами взаимоотношений, где у Вас есть полное этически легальное право думать не так, как я, а у меня — не так, как Вы. Ну и останемся каждый при своем.

Но вот, указывая на совершенно очевидную Вам полную *безопасность зоны*, в которой я как редактор журнала, печатающего такие *особенные* материалы, работаю, Вы начинаете читать уже и в **моем** сердце. И вот тут я уже имею полное право — и даже обязан — спросить у Вас и сказать Вам уже и от себя лично: а я разрешал Вам взламывать мою личностную неприкосновенность? И убежденно заверять почтенную публику в том, что находясь в этой безопасной зоне и отлично зная, что никакой расправы ни надо мною лично, ни над моим журналом за эти материалы не будет, я тем не менее находчиво и ловко использую тот чисто ***фантомный страх*** перед репрессиями, которым ***мазохистски упиваюсь***, чтобы, выражаясь в Вашем стиле, *возопить* в ответ на гласную критику по моему адресу — *ведь мы так рискуем!..*

Да Вы совсем с ума сошли в своей одержимости, Ирина Бенционовна!

Как хватило у Вас отваги и вообще решиться предлагать публике какой-либо доморощенный Ваш психоанализ в качестве рентгенограммы моей души?

Откуда Вы знаете, чего я боюсь или не боюсь, какими страхами я упиваюсь или не упиваюсь?

И где и когда Вы хоть раз слышали, чтобы я прибегал к такого рода трусливой и лицемерной защите от гласных обвинений хоть в экстремизме, хоть еще в чем, как — *ведь мы так рискуем*?!

Да отдаете ли Вы себе отчет в том, что живи я, скажем, в XIX веке и брось мне кто-нибудь в глаза такое обвинение в бесчестии, дело, при всем моем, возможно, и тогда уже христианстве, вряд ли кончилось бы без дуэли?

Но какой уж тут XIX век... Да и Вы ведь не бравый гусар или усатый драгун.

Вот и приходится, стало быть, даже и **такое** оставить просто на Вашей совести. В надежде, что в горнем мире Вам простят и этот грех, который, значит, и мне — при всем сопротивлении естества моего — остается только простить Вам согласно моему христианскому долгу. Живите с миром, если можете.

Прощайте.

Корректор — *Ю. Н. Маслов*

ЛР № 066469

Подписано в печать 02.07.2010. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Ньютон». Печ. л. 32,00. Тираж 1500 экз. Заказ № 1122

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка),* **73218**

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых лет.

Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается:

"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" –
Страстной бульвар, 8 (рядом с выходом из метро «Чеховская»)

ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –
Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.80.67

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80

"УМНЫЕ КНИГИ" – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

"ФАЛАНСТЕР" – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –
Столешников пер., 2; тел. 629.52.62

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 692.05.63

2010
№ 2

«КОНТИНЕНТ» № 144, 512 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218, 71682